В 42/568

Читальня-Библіотека
имени
А. И. Герцена
въ Ниццѣ

ВОСПОМИНАНІЯ.

Н. А. Бѣлоголовый.

ВОСПОМИНАНІЯ

и

ДРУГІЯ СТАТЬИ.

Съ 3 портретами автора, портретами П. И. Борисова, А. П. Юшневскаго, А. В. Поджіо, Гр. М. Т. Лорисъ-Меликова, С. П. Боткина, М. Е. Салтыкова, видомъ могилы Н. А. Бѣлоголоваго и

біографическимъ очеркомъ Г. А. Джаншіева и В. А. Крылова.

ПОГАШЕНО
въ Ниццѣ

МОСКВА.
Типо-лит. К. Ѳ. Александрова, Арбатъ, бл. Арбатскихъ вор., д. Платонова.
1897.

Государственная
ордена Ленина
БИБЛИОТЕКА СССР
им. В. И. ЛЕНИНА

56177-48

2007079434

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		Стр.
	Вмѣсто предисловія	VII
	Н. А. Бѣлоголовый.—Г. А. Джаншіева	X
	Памяти Н. А. Бѣлоголоваго.—В. А. Крылова	XXIII
1.	Воспоминанія о декабристахъ	1—93
2.	А. В. Поджіо	94—181
3.	Графъ М. Т. Лорисъ-Меликовъ	182—224
4.	М. Е. Салтыковъ	225—257
5.	Изъ переписки съ М. Е. Салтыковымъ	258—290
6.	С. П. Боткинъ	291—437
7.	Болѣзнь А. Н. Некрасова	438—476
8.	Кое-что о болѣзни И. С. Тургенева	477—489
9.	Гигіена и демографія	490—518
10.	Клиническій профессоръ Полунинъ	519—527
11.	Поѣздка на Уралъ въ 1866 году	528—578
12.	На о. Рюгенѣ	579—594
13.	Изъ Сибирскихъ воспоминаній	595—620
14.	Три встрѣчи съ Герценомъ	621—641
15.	Свиданіе съ гр. Л. Н. Толстымъ	642—654

(1885 г.)

Н. Бугаев

Дозволено цензурою. Москва, 14 іюня 1897 г. Типо-лит. К. Ө. Александрова.

Читальня-Библiотека имени А. И. Герцена въ Ниццѣ

Вмѣсто предисловія.

Немногіе изъ общественныхъ дѣятелей оставляютъ послѣ себя такую чистую, свѣтлую, такую добрую и славную память, какъ авторъ настоящей книги, знаменитый врачъ-гуманистъ Николай Андреевичъ Бѣлоголовый. Въ удивительной гармоніи сочетались въ этой крупной, граждански-развитой и стойкой личности высокія качества сердца, ума и характера, не только не заслонявшія одно другое, какъ это къ сожалѣнію не разъ встрѣчается въ жизни, но прекрасно дополнявшія другъ друга. Образцовый семьянинъ, нѣжный и почтительный сынъ любящій братъ, попечительный родственникъ; идеальный мужъ, слившійся во-едино съ личностью своей подруги жизни, въ теченіе долгихъ лѣтъ супружеской жизни ни разу съ нею не разстававшійся, — Н. А. обладалъ любвеобильнымъ, чуткимъ сердцемъ, которое было широко раскрыто не для однихъ семейныхъ привязанностей, но и для дружбы теплой, для прочныхъ нравственныхъ привязанностей. Всѣ кому выпало высокое счастье быть пріобщеннымъ къ нимъ, — а такихъ лицъ было не мало, начиная отъ декабристовъ, которые годились въ отцы Н. А-чу и кончая людьми нашего поколѣнія, которые годились ему въ дѣти, — согласятся со мною, если я скажу, что дружба Н. А-ча была для нихъ однимъ изъ лучшихъ воспоминаній всей жизни.

Не меньшею широтою и глубиною отличались и общественныя симпатіи этого всесторонняго альтруиста, умѣвшаго согласовать разнаго рода общественно-концентрическія привязанности, кажущіяся недостаточно развитымъ умамъ взаимно исключающими. Страстно любя свою холодную, обездоленную родину Сибирь, Н. А. всѣми фибрами души былъ привязанъ и къ Россіи, духовными интересами коей онъ жилъ и дышалъ до послѣдняго вздоха,—но любовь къ Россіи, не мѣшала ему питать глубочайшее уваженіе къ европейской, точнѣе ко всемірной, общечеловѣческой культурѣ, насажденіе коей въ Россіи онъ считалъ первымъ и самымъ священнымъ долгомъ всякаго друга русскаго народа.

Отъ природы Бѣлоголовый былъ одаренъ мягкимъ сердцемъ, но душевная теплота одна сама по себѣ, и даже въ связи съ добрымъ вліяніемъ дружной семейной жизни, не могла-бы изъ него выработать того цѣльнаго гражданина и отзывчиваго на все доброе, человѣка, съ хорошо сознанными требованіями вѣка и крѣпкими нравственными принципами, какимъ его знали, всѣ знавшіе его. Въ формированіи характера и міросозерцанія Бѣлоголоваго прежде всего слѣдуетъ отмѣтить плодотворное вліяніе семейнаго режима, чуждаго крайностей, какъ распущенности, такъ и жесткой дисциплины, и его первыхъ учителей-декабристовъ, подъ руководствомъ коихъ прошло его первоначальное ученіе. Нельзя не отмѣтить и полученное имъ прекрасное среднее образованіе, чуждое казенной муштровки, а также университетское благотворное вліяніе временъ Грановскаго и, наконецъ, тотъ высокій нравственный подъемъ, который коснулся въ концѣ 50-хъ годовъ всего, что было въ Россіи мыслящаго и разумѣющаго, свѣжаго и порядочнаго. Таковы факторы, сформировавшіе изъ даровитаго сибирскаго купеческаго сына одного изъ лучшихъ русскихъ врачей, одного изъ образованнѣйшихъ и благороднѣйшихъ русскихъ гражданъ, который смѣло могъ сказать: homo sum et nihil humani a me alienum puto.

Считаю излишнимъ и даже неумѣстнымъ передавать здѣсь подробности о воспитаніи и ученіи Бѣлоголоваго. Въ печатаемыхъ ниже воспоминаніяхъ его о декабристахъ, о Боткинѣ и др.

съ такою правдивостью и рельефностью очерченъ кругъ лицъ и впечатлѣній, окружавшихъ дѣтство и юность Н. А., что пришлось-бы только повторять, а то и портить эти прелестныя картины съ натуры, написанныя любящею и признательною рукой. Пусть читатель самъ испытаетъ всю обаятельную свѣжесть этихъ безъискусственныхъ дружескихъ воспоминаній, отъ коихъ вѣетъ какою-то чисто эпическою простотою и юношескою задушевностью, нерѣдко однако достигающихъ художественной яркости и глубокаго потрясающаго лиризма, какъ напр. въ разсказѣ о Поджіо. Вы невольно поддаетесь очарованію дружескаго пера: вы невольно полюбите героевъ автора воспоминаній, а также и... самого автора. Несмотря на всѣ усилія его, автора, стушеваться самому и выдвигать на первый планъ своихъ учителей и друзей, его любящая натура, его вдумчивый умъ, открытый, благородный характеръ, крѣпкій нравственный закалъ и твердость въ привязанностяхъ просвѣчиваютъ на каждомъ шагу.—Характеризуетъ-ли онъ взглядъ Поджіо на обязанности гражданина, обсуждаетъ-ли принципы медицинской школы Боткина или политической программы Лорисъ-Меликова,—Бѣлоголовый обрисовывается во весь ростъ со своими твердыми, благородными, гуманно-освободительными политическими принципами и крѣпкими нравственными устоями.

Въ виду сказаннаго, отсылая читателя къ самимъ произведеніямъ Бѣлоголоваго, какъ лучшимъ источникамъ для уясненія личности его, тутъ мы ограничимся немногими біографическими штрихами[1]).

Августъ 1897 г.
Москва.

Читальня-Библіотека имени А. И. Герцена въ Ниццѣ

[1]) Въ настоящее изданіе, за немногими изъятіями, вошло все, что осталось въ бумагахъ Бѣлоголоваго, а также и то, что печаталось имъ въ Россіи.

Читальня-библиотека имени А. И. Герцена въ Ниццѣ

Д-ръ Н. А. Бѣлоголовый.

Род. 5 Октября 1834 г. † 6 Сентября 1895 г.

Н. А. Бѣлоголовый родился въ Иркутскѣ въ старинной купеческой семьѣ.—Отецъ Бѣлоголоваго, человѣкъ начитанный и близко стоявшій къ декабристамъ, рѣшилъ дать дѣтямъ наилучшее образованіе. — Первыми учителями Бѣлоголоваго были жившіе недалеко отъ Иркутска декабристы: П. И. Борисовъ, А. П. Юшневскій и А. В. Поджіо, съ которымъ онъ завязалъ дружескія отношенія на всю жизнь.—Добродушный и акуратный, способный и трудолюбивый, Н. А. уже въ дѣтствѣ обнаруживалъ любознательность и страсть къ чтенію, которая, благодаря методическому руководству названныхъ наставниковъ, получила разумное направленіе и цѣлесообразное питаніе.

Среднее образованіе Н. А. получилъ въ одномъ изъ лучшихъ московскихъ пансіоновъ Эннеса, гдѣ онъ окончилъ курсъ въ 1850 г. вмѣстѣ съ знаменитымъ своимъ другомъ С. П. Боткинымъ.

Любя страстно русскую литературу, Н. А. намѣревался поступить на словесный факультетъ, но какъ разъ передъ этимъ обскурантамъ удалось ввести въ университеты, кромѣ медицинскаго факультета, комплектъ въ 300 человѣкъ, и Бѣлоголовый, какъ и С. П. Боткинъ, чтобы не остаться за порогомъ университета, вынужденъ былъ поступить на медицинскій факультетъ Московскаго университета.

Рѣдко, когда злая судьба дѣлала безсознательно такое доброе дѣло. Изъ даровитаго Бѣлоголоваго вышелъ блестящій медикъ, превосходно изучившій свою науку, но вмѣстѣ съ глубокими знаніями по своей спеціальности соединившій рѣдкое человѣколюбіе, безкорыстіе и необыкновенно живой интересъ къ общественнымъ дѣламъ. На нравственное и политическое развитіе Н. А., безъ сомнѣнія, оказало самое сильное вліяніе вѣщее слово допѣвавшаго свою лебединую пѣснь великаго учителя — Грановскаго, но едва ли не большее еще вліяніе на дальнѣйшую дѣятельность и направленіе имѣло то юношеское, бодрое настроеніе, которое охватило все, что было живаго и мыслящаго въ Россіи, съ воцареніемъ Александра II. Къ этой свѣтлой полосѣ русской жизни,

Когда раскрывалась грудь надеждѣ
И мечтамъ о счастіи земномъ,

когда не только юноши, но и старцы мечтали осуществить

Святыя бредни юныхъ дней,

относится начало общественной дѣятельности Н. А.

Какъ разъ въ эту грозную, но памятную весну 1855 г. Бѣлоголовый сбрасывалъ съ себя студенческій мундиръ, чтобы надѣть сначала казенный мундиръ городоваго врача, а затѣмъ вскорѣ смѣнить этотъ мундиръ на toga virilis русскаго убѣжденнаго, вольнолюбиваго гражданина, образъ котораго сталъ обрисовываться въ это время въ туманной перспективѣ будущаго и энергіею котораго созидались и сохранялись всѣ культурныя пріобрѣтенія послѣдующаго времени.

По окончаніи курса въ университетѣ, Н. А. отправился на родину, гдѣ вскорѣ получилъ мѣсто Иркутскаго городоваго врача. Даровитый врачъ, внимательно слѣдящій за движеніемъ науки, гуманный, общедоступный, безкорыстный, безукоризненный блюститель всѣхъ требованій медицинской этики и съ независимымъ характеромъ—находка и не для Иркутска, а потому Бѣлоголовый сразу занялъ видное и почетное мѣсто, импонируя какъ всесильной администраціи, привыкшей къ раболѣпству,

такъ и мѣстному обществу, привыкшему дотолѣ уважать только деньги и власть. Вскорѣ по вступленіи Н. А. на общественное поприще стали обнаруживаться, по окончаніи крымской войны, первые проблески пробужденія Россіи и первые признаки предстоящей отмѣны крѣпостнаго права. Отдаленные отголоски начинавшагося общественнаго пробужденія чрезъ журналы и устную молву стали доходить и до далекой Сибири, и здѣсь университетская молодежь не менѣе радостно, нежели въ коренной Россіи, привѣтствовала занимавшуюся зарю освобожденія.

Бѣлоголовый всегда живо интересовавшійся литературою и журналистикою, всегда горячо принимавшій къ сердцу общественные вопросы, съ восторгомъ пошелъ навстрѣчу зачинавшемуся общественному возрожденію. Какъ ни мало оставляли досуга ему оффиціальныя обязанности и практика, какъ ни плохо подготовлена была въ сибирской глуши 50-хъ годовъ почва для общественной самодѣятельности, Бѣлоголовый своимъ убѣжденнымъ словомъ и благороднымъ характеромъ умѣлъ расшевелить косность своихъ товарищей по профессіи, а впослѣдствіи въ Иркутскѣ образовалъ медицинскій кружокъ, который обсуждалъ научные медицинскіе вопросы, а также вопросы медицинской этики. Какъ извѣстно, къ этому же времени относятся первыя печатныя разоблаченія злоупотребленій общерусской и сибирской администраціи. Объ одномъ изъ нихъ, касавшемся Молчанова, появилась корреспонденція въ *Колоколѣ*. Введенный въ заблужденіе, Герценъ опровергъ впослѣдствіи сообщенное извѣстіе. Нужно вспомнить о томъ чрезвычайномъ авторитетѣ, какимъ пользовался въ то время *Колоколъ* въ высшихъ сферахъ, чтобы понять ликованіе друзей Молчанова. Они уже считали побѣду окончательно на своей сторонѣ, но тутъ вступилъ въ дѣло Бѣлоголовый. Никогда не знавшій Герцена, онъ поѣхалъ къ нему за-границу и съ документами въ рукахъ доказалъ ему, что онъ введенъ друзьями въ заблужденіе. Вотъ съ какимъ участіемъ и жаромъ относились люди того времени къ общественнымъ вопросамъ!

Въ концѣ 50-хъ годовъ Бѣлоголовый поѣхалъ въ Москву держать экзаменъ на доктора медицины. Въ это время дѣла отца его разстроились. Съ очень ограниченными средствами Н. А. поѣхалъ послѣ экзамена за-границу писать диссертацію. Диссертацію писалъ онъ два года, терпя сильную нужду. Выбирая самое дешевое мѣсто, онъ остановился на о. Рюгенѣ на Балтійскомъ морѣ. Здѣсь онъ нанималъ уголъ въ лавкѣ мелочнаго торговца и, занимаясь составленіемъ диссертаціи, въ отсутствіе хозяина долженъ былъ принимать покупателей. Въ 1862 году появилась его диссертація въ Москвѣ подъ заглавіемъ: «О всасываніи солей кожею». Послѣ блестящей защиты диссертаціи Н. А. намѣревался вернуться на родину, но Боткинъ и др. уговорили его остаться въ Петербургѣ.

Съ половины 60-хъ годовъ до 1881 года Бѣлоголовый жилъ въ Петербургѣ, выѣзжая ежегодно за границу на нѣсколько мѣсяцевъ съ неизмѣнною спутницею женою своею Софьею Петровною—для отдыха и освѣженія. Съ самаго начала Н. А. занялъ въ Петербургѣ одно изъ первыхъ мѣстъ въ медицинскомъ мірѣ, гдѣ общепризнанное первое мѣсто занималъ великій С. П. Боткинъ. Это первенство извѣстнаго во всей Европѣ клинициста не положило ни малѣйшей тѣни на ихъ взаимныя дружескія отношенія. Бѣлоголовый былъ и остался до конца жизни самымъ горячимъ поклонникомъ своего даровитаго друга и послѣ смерти его написалъ лучшую его біографію появившуюся въ сборникѣ Павленкова «Жизнь замѣчательныхъ людей» [1]. Боткинъ въ свою очередь необыкновенно высоко цѣ-

[1]) Въ біографіи Боткина, написанной Бѣлоголовымъ, имѣется не одна мѣткая характеристика его alter ego Боткина, вполнѣ примѣнимая и къ Бѣлоголовому. Сравнивая Боткина съ тѣми клиницистами, которые смотрятъ на больныхъ, какъ на безжизненный терапевтическій матеріалъ, Бѣлоголовый пишетъ: „въ противоположность этому Боткинъ былъ воплощенная человѣчность и доброта: онъ такъ мягко и участливо обходился съ больными, съ такою искреннею сострадательностью проникался ихъ страданіями, что одними этими врожденными своими качествами пріобрѣталъ неограниченное довѣріе больныхъ, при чемъ такая естественная гуманность, чуждая всякой сантиментальности, оказывала прекрасное воспитательное дѣйствіе на слушателей, неизбѣжно привыкавшихъ даже въ внѣ-

нилъ дарованія, познанія и высокія душевныя качества Бѣлоголоваго, и по нѣкоторымъ отдѣламъ медицины онъ открыто ставилъ его выше себя. Какою эпическою простотою и классическою красотою отзываются эти полныя взаимной нѣжности и уваженія отношенія двухъ медицинскихъ свѣтилъ, въ такомъ привлекательномъ свѣтѣ рисующія ихъ обоихъ,—особенно въ наше время ожесточенной вражды медицинскихъ свѣтилъ, во имя личныхъ и меркантильныхъ соображеній!

Съ первыхъ же лѣтъ практики Бѣлоголовый имѣлъ въ Петербургѣ громадный успѣхъ и пріобрѣлъ обширный кругъ паціентовъ во всѣхъ слояхъ общества. Своею быстрою популярностью онъ былъ обязанъ не только своему выдающемуся таланту чрезвычайно проницательнаго діагноста и запасу солидныхъ знаній, всегда неустанно и тщательно имъ пополняемому, но и вѣрности своей строгимъ и благороднымъ принципамъ медицинской этики, отошедшимъ у многихъ нынѣ въ область «забытыхъ словъ». Необыкновенная мягкость въ обращеніи, рѣдкое безкорыстіе,

---

шнихъ пріемахъ подражать обаятельной личности учителя и дѣлала его клинику, при всѣхъ прочихъ его медицинскихъ достоинствахъ, самою образцовою школою для будущихъ врачей". „Не только добросовѣстная точность и напряженная внимательность, съ какими Боткинъ изслѣдовалъ больнаго, говоритъ въ другомъ мѣстѣ біографъ его, и его привѣтливая внѣшность, сквозь которую ярко просвѣчивалась необыкновенная человѣчность, искреннее участіе къ страждущему и еще болѣе искреннее желаніе помочь ему—дѣлали изъ него идеальнаго врача, производившаго на всѣхъ, обращавшихся къ нему, зачаровывающее впечатлѣніе и убѣжденность, что если возможно исцѣленіе отъ серьезнаго недуга, то только при содѣйствіи Боткина". (См. стр. 29 и 39 брошюры Бѣлоголоваго—С. П. Боткинъ, его жизнь и дѣятельность).—Многочисленные паціенты Бѣлоголоваго, навсегда сохранившіе въ сердцѣ его благородный образъ, безъ сомнѣнія согласятся, что приведенныя черты точно списаны съ него самого. (См. мои Воспоминанія о Н. А. Бѣлоголовомъ въ *Русс. Вѣд.* отъ 14-го октября 1895 г.).—Какой получается контрастъ, если сопоставить эти простые, безъискусственные, полные задушевности пріемы Боткина и Бѣлоголоваго, съ тѣмъ полу-балаганнымъ, полу-мистическимъ сложнымъ ритуаломъ, какимъ обставляютъ свое торжественное и à la lettre драгоцѣнное появленіе у постели больнаго иные жрецы или шаманы современной медицины.

простота и задушевность, чуждая всякихъ шарлатанскихъ ухищреній, влекли къ нему больныхъ изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества и народа. Богатый и бѣдный, знатный и простолюдинъ шли къ нему съ любовью и довѣріемъ, зная заранѣе, что никакіе инквизиторскіе распросы, никакой торгъ о гонорарѣ не ждутъ его у порога медицинской знаменитости. Принять всѣхъ желавшихъ не было возможности, а потому, по недостатку времени, Н. А. поневолѣ приходилось ограничивать свои пріемы. Но для безобиднаго рѣшенія этого щекотливаго вопроса онъ употреблялъ по обыкновенію своему простое, прямое и честное средство: онъ объявлялъ, что въ такой-то день приметъ столько-то больныхъ и затѣмъ принималъ явившихся безъ различія общественнаго положенія, а послѣ того прекращался пріемъ для всѣхъ безъ изъятія.

Врагъ ученаго кумовства и непотизма, въ особенности когда жертвами его являются интересы науки и учащейся молодежи, Бѣлоголовый обратилъ въ 1869 году на себя общее вниманіе своей правдивою и исполненною гражданскаго мужества статьею (см. ниже) по поводу печальной «полунинской» исторіи, жертвою коей было 20 исключенныхъ съ 4-го курса медиковъ.

Всегда живо интересуясь литературно-общественными вопросами, Бѣлоголовый сталъ въ близкія отношенія къ прогрессивнымъ литературнымъ кружкамъ Петербурга и особенно къ *Отечественнымъ Запискамъ* временъ Салтыкова, Некрасова и Елисеева. Онъ постоянно пользовалъ ихъ, какъ врачъ, а Некрасова лечилъ во время послѣдней его болѣзни. Болѣзнь Некрасова онъ описалъ въ особой статьѣ, напечатанной въ № 10-мъ *Отечественныхъ Записокъ* за 1878 г. О болѣзни И. С. Тургенева онъ писалъ въ *Новостяхъ*, о болѣзни же М. Е. Салтыкова онъ писалъ передъ смертью въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ* 1894 г.

Въ отличіе отъ своего великаго друга Боткина, который, отдавшись всецѣло наукѣ, ради нея забывалъ и себя, и семью, и общество, Бѣлоголовый, будучи идеальнымъ врачемъ-человѣкомъ, первокласснымъ терапевтомъ, внимательно слѣдившимъ за движеніемъ науки, вмѣстѣ съ тѣмъ всегда былъ и оставался «мірскимъ» человѣкомъ, чуткимъ гражданиномъ, близко прини-

мавшимъ къ сердцу всѣ очередные общественные вопросы, интересы литературы, народнаго просвѣщенія, культуры и вообще всѣ великія и тяжкія проблемы нашего вѣка.

Начавъ свою общественную дѣятельность въ разгаръ преобразовательной эпохи, Н. А. до конца жизни оставался вѣренъ ея освободительному и просвѣтительному знамени. Въ вѣрности и твердомъ проведеніи въ жизнь благородныхъ и человѣчныхъ принциповъ этой замѣчательной эпохи, Бѣлоголовый никому не уступилъ бы, не исключая и самыхъ видныхъ публичныхъ дѣятелей этой эпохи. Едва ли многіе путемъ печати сдѣлали больше для распространенія и укрѣпленія идей великихъ реформъ, чѣмъ этотъ лишенный всякой оффиціальной дѣятельности и публичной трибуны, стойкій убѣжденный гражданинъ,— который не только своимъ правдивымъ, внушительнымъ и обворожительнымъ своею искренностью, словомъ всегда умѣлъ кстати сослужить службу дорогимъ идеямъ, но и всею своею обаятельною личностью и праведною жизнью, даже въ мелочахъ не отступавшаго отъ строгихъ принциповъ человѣчности,— былъ, такъ сказать, живымъ воплощеніемъ и пропагандою этихъ облагораживающихъ идей и принциповъ человѣчности. Этотъ всегда мягкій, до крайности снисходительный человѣкъ, готовый за ближняго положить душу, этотъ олицетворенный альтруизмъ дѣлался непримиримымъ, когда рѣчь заходила о принципахъ литературной и общественной честности. Дитя цѣльной героической эпохи, Н. А. болѣе всего чуждался половинчатыхъ людей или такъ называемыхъ «складныхъ душъ», по выраженію Салтыкова [1]), старающихся угодить: и нашимъ, и вашимъ.

---

[1]) „Складныя души“, говорилъ Салтыковъ, явленіе не новое... Если вы видите человѣка, который мечется какъ угорѣлый между двумя враждебными лагерями и называетъ это метаніе мудростью—будьте увѣрены—это „складная душа“, если вы видите человѣка, который, называя себя піонеромъ, не прочь иногда въ сумерки покалякать съ „исторіографами“ насчетъ піонерскихъ дѣлъ и называетъ это дипломатіею, будьте увѣрены, что это „складная душа“; если вы видите человѣка, который утверждаетъ, что въ иныхъ случаяхъ ломаная линія можетъ быть короче прямой и называетъ это постепенностью въ преуспѣяніи—будьте увѣрены, что это „складная душа“.—(См. Письма о провинціи. Соч. II, 355).

Какъ ни велика была у Н. А. любознательность, жажда къ извѣстіямъ объ общественной жизни, но онъ предпочелъ бы скорѣе превозмочь свою страстную любознательность, чѣмъ напр. сдѣлаться подписчикомъ, т. е. «соучастникомъ» газеты, хотя бы и богато освѣдомленной, но не сочувственной для него по направленію. Это былъ вполнѣ тотъ «читатель—другъ», о которомъ мечталъ Салтыковъ и который смотрѣлъ на подписку, какъ на своего рода нравственное сочувствіе съ изданіемъ, а не какъ на способъ удовлетворенія извѣстной привычки-потребности. Въ наше откровенно-безпринципное время это покажется донкихотствомъ, но да вѣдь въ наше безподобное практическое время nous avons changé tout ça, такъ какъ нынѣшними мудрецами доказано какъ 2×2=4, что

Безплодны всѣ труды и бдѣнія,
Безплоденъ слова даръ живой,
Безсиленъ подвигъ обличенья,
Безуменъ всякій честный бой;
Безумна честная отвага
Правдивой юности—и съ ней
Безумны всѣ желанья блага,
Святыя бредни юныхъ дней!...

Весною 1881 г., по разстроенному здоровью Н. А. долженъ былъ покинуть Петербургъ. Отдавъ всѣ свои физическія и нравственныя силы на служеніе ближнему, онъ, какъ всѣ истинные альтруисты, забывалъ о себѣ. Убѣдившись, что разстроенные нервы не позволяютъ ему отправлять обязанности врача съ обычнымъ своимъ вниманіемъ, рвеніемъ и преданностью больнымъ, Н. А. оставилъ практику и поселился за границею, выбирая большею частію маленькіе, но живописные швейцарскіе города около Лемана, гдѣ необыкновенная дешевизна жизни представляла для Н. А. много заманчиваго.

Но и вдали отъ родины онъ жилъ только ея духовными интересами, онъ внимательно слѣдилъ за переживаемыми ею радостными и горестными событіями, всегда окруженный русскими газетами и журналами. Въ это время, а именно въ 1884 г. онъ сблизился съ графомъ М. Т. Лорисъ-Меликовымъ, съ которымъ вполнѣ сходился въ своихъ политическихъ воззрѣніяхъ. Н. А.

изрѣдка посѣщали друзья изъ Россіи, гдѣ, въ его скромной квартирѣ швейцарскаго захолустья, въ Веве или въ Лозаннѣ, все дышало просвѣщеннымъ патріотизмомъ, неподдѣльною любовью къ родинѣ, гдѣ все говорило объ исключительной преданности роднымъ интересамъ русской свободы и просвѣщенія—этого, не сломившагося подъ напоромъ торжествующей дѣйствительности, представителя либеральныхъ принциповъ великой эпохи. Посильное служеніе имъ составляло цѣль и смыслъ остатка его жизни.

1892—1894 гг. Н. А. провелъ въ Ниццѣ, въ скромномъ, но извѣстномъ русскомъ пансіонѣ на виллѣ «Оазисъ», гдѣ нѣкогда жили Герценъ, Салтыковъ и др. И здѣсь, въ этомъ царствѣ изящной нѣги и аристократическаго разгула, онъ успѣлъ сдѣлаться средоточіемъ образованныхъ русскихъ людей, живущихъ не одними интересами «кармана и желудка». Но гдѣ бы Н. А. ни находился, у подошвы ли величаваго Монъ-Блана, на очаровательномъ ли берегу знаменитаго Ницскаго Залива Ангеловъ, всѣ помыслы этого подневольнаго абсентеиста-гражданина были направлены къ далекой холодной отчизнѣ и къ еще болѣе далекой ледяной родинѣ—Сибири:

Вѣдь на свѣтѣ бѣломъ всякихъ странъ довольно,
Гдѣ и солнце ярко, гдѣ и жить привольно,
Но и тамъ при блескѣ голубаго моря
Наше сердце ноетъ отъ тоски и горя,
Что не видятъ взоры ни березъ плакучихъ,
Ни избушекъ этихъ сѣренькихъ, какъ тучи.
Что же въ нихъ такъ сердцу дорого и мило,
И какая манитъ тайная къ нимъ сила?..

Рѣдко когда доносились оттуда, изъ страны «плакучихъ березъ» до Н. А. радостныя вѣсти, но какъ онѣ его утѣшали!.. Оптимистъ въ душѣ, онъ радовался, какъ дитя, и небольшому успѣху земской школы, и толкамъ о возрожденіи женскаго медицинскаго образованія, и распространенію сельскихъ библіотекъ и другимъ культурнымъ успѣхамъ русскаго народа.[1] Фа-

[1] „Тамъ вамъ въ пороховомъ дыму—писалъ мнѣ Бѣлоголовый въ письмѣ отъ 18 февраля 1892 г. изъ Лозанны, — не такъ замѣтно, какъ мнѣ, съ

натически вѣря въ благотворное дѣйствіе свободы и просвѣщенія, самомалѣйшіе проблески распространенія его, которому онъ и скудными своими средствами очень много негласно способствовалъ, онъ горячо привѣтствовалъ бодрящимъ галилеевскимъ: e pur si muove, считая якоремъ спасенія для Россіи возможно широкое распространеніе въ народныхъ массахъ науки и просвѣщенія.

Въ годину народнаго бѣдствія, посѣтившаго Россію въ 1891—92 годахъ, Н. А. взялъ на себя тяжелую и неблагодарную иниціативу сбора пожертвованій въ пользу голодающихъ среди этихъ пресыщенныхъ баръ ницскаго сезона, сначала a priori не могшихъ допустить возможности голоданія вообще и въ богатой хлѣбомъ Россіи въ частности, а потомъ вскорѣ совсѣмъ охладѣвшихъ къ этому дѣлу, какъ вещи démodée.

Въ 1894 г. Н. А. вернулся въ Россію, какъ онъ выражался, для «медленнаго умиранія». Здѣсь онъ поселился въ Москвѣ [1]), въ томъ историческомъ уголкѣ ея, на Маросейкѣ, гдѣ въ домѣ

высоты птичьяго полета, что борьба со зломъ не совсѣмъ безрезультатна... Вотъ напр. завтра 19-е февраля. Можно спорить, пожалуй, что экономическое положеніе мужика за эти 30 лѣтъ не улучшилось, но что это далеко ужъ не „святая скотина“ и что сильно шагнулъ онъ къ подобію человѣка—это и неоспоримо“.

[1]) Какъ разъ съ переѣздомъ Бѣлоголоваго въ Москву совпала неприличная выходка одного изъ преуспѣвающихъ (изъ молодыхъ да раннiй!) дѣльцовъ ново-московской медицинской школы. Онъ въ угоду нынѣшнимъ кумирамъ, старался развѣнчать старую „Иноземцевско-Боткинскую школу“, которая первая въ Россіи положила основы медицины (см. н. біографію Боткина) и утвердила благородные принципы безкорыстнаго служенія наукѣ и ближнему, согласно требованіямъ гуманнѣйшей изъ этикъ—медицинской.—Бѣлоголовый,—котораго ничто такъ не возмущало, какъ новомодная школа лихачей-клиницистовъ, дѣлающихъ изъ науки дойную корову, а изъ каѳедры пьедесталъ для рекламы, долго мучился надъ статьею, въ которой онъ готовилъ достойную отповѣдь этимъ безпринципнымъ баловнямъ нашего безвременья, но ослабѣвавшія силы не позволили ему привести въ исполненіе свое намѣреніе и онъ утѣшался тѣмъ, что дикая выходка вызвала протестъ со стороны покойнаго А. Н. Маклакова.

Боткина живали: Бѣлинскій, Грановскій и перебывали всѣ болѣе или менѣе извѣстные московскіе литераторы сороковыхъ годовъ. — Умираніе, къ несчастью, началось очень скоро. Слегши въ постель въ началѣ 1895 г., Н. А. болѣе и не вставалъ. Не смотря на продолжительныя ужасающія страданія, Н. А. все время не покидало ясное настроеніе и невозмутимое спокойствіе — какъ естественная награда честно прожитой трудовой жизни. Онъ болѣе безпокоился о своихъ племянникахъ сиротахъ, о ходившихъ за нимъ, чѣмъ о себѣ. Во все время болѣзни онъ не переставалъ интересоваться общественными дѣлами.

Еще за нѣсколько дней до смерти ему читали послѣдніе номера газетъ и журналовъ, и оффиціальная вѣсть о предстоявшемъ открытіи Женскаго Медицинскаго Института едва ли не послѣдній разъ оживила радостнымъ блескомъ его потухавшіе чудные добрые глаза. Всего за недѣлю до смерти онъ бесѣдовалъ съ сибиряками о дѣлахъ существующаго въ Москвѣ общества для пособія учащейся сибирской молодежи и выражалъ сожалѣніе, что не успѣлъ послать рѣшеннаго пожертвованія въ 1000 р. въ пользу Иркутскаго общества распространенія грамотности среди народа.

Какъ ни тяжела была для ближайшихъ друзей тяжелая картина медленнаго угасанія этого рѣдкаго гуманиста, любвеобильнаго врача-человѣка, этого честно пожившаго и вѣрно послужившаго своей родинѣ дѣятельнаго гражданина, но въ этой картинѣ неостывавшаго, до послѣдняго вздоха, интереса къ общественному дѣлу было не мало назидательнаго. Какъ всѣ цѣльные люди, носящіе на себѣ отпечатокъ духовнаго посвященія отъ великой освободительной эпохи 60-хъ годовъ, Н. А., познавшій величайшія въ жизни наслажденія: безкорыстную дѣятельность на поприщахъ альтруизма и науки, жилъ и умеръ [1]), какъ герой гражданской доблести.

---

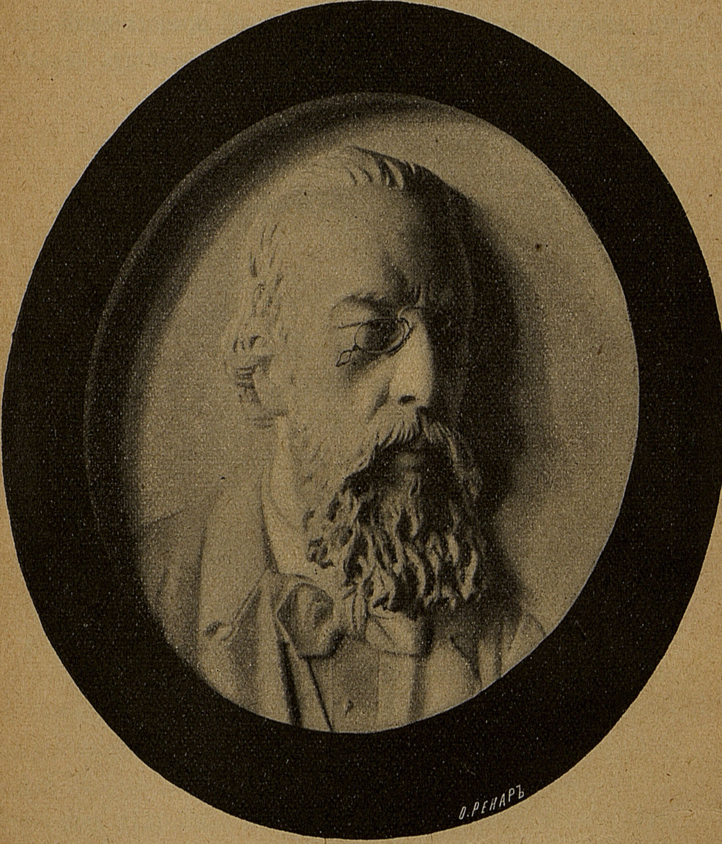
1) Н. А. Бѣлоголовый похороненъ въ Москвѣ, въ Московскомъ Покровскомъ монастырѣ рядомъ съ могилами членовъ семьи Боткиныхъ. По проэкту, составленному зятемъ П. П. Боткина художникомъ И. С. Остроуховымъ на могилѣ Бѣлоголоваго въ 1896 г. вдовою его Софьею Петровною

Потеря такихъ людей особенно чувствительна въ наше безпринципное и безхарактерное время, видѣвшее столько громкихъ паденій и съ завистливою грустью взирающее на эту чудную героическую эпоху нашего нравственнаго возрожденія, давшее своимъ сынамъ такую мощь и такой крѣпкій нравственный закалъ.—Но не скорбью и уныніемъ слѣдуетъ почитать память такихъ благородныхъ тружениковъ.—

Съ врагомъ ихъ, подъ знаменемъ тѣхъ же идей,
Ведите ихъ бой до конца.
Нѣтъ почести лучше, нѣтъ тризны святѣй
Для тѣни достойной борца!

Гр. Джаншіевъ.

сооруженъ замѣчательный по своей простотѣ, изяществу и грандіозности памятникъ. На четырехугольномъ полированномъ темно-красномъ гранитѣ покоится огромный первобытный темно-сѣрый гранитный монолитъ. Въ верхней плоскости глыбы блеститъ чуть приподнятый высѣченный въ ней черный крестъ-барельефъ, кажущійся какъ-бы созданнымъ самою природою. Въ головахъ посажены двѣ сибирскія пихты. Видъ могилы прилагается ниже.



Н. А. Бѣлоголовый [1]).

[1]) Снимокъ съ горельефа, хранящагося у С. П. Бѣлоголовой.

Памяти Н. А. Бѣлоголоваго[1]).

Скончавшійся 6-го сентября 1895 года въ Москвѣ, докторъ медицины, Николай Андреевичъ Бѣлоголовый, принадлежалъ къ числу тѣхъ рѣдкихъ людей, которые, не гоняясь за шумливой славой и блескомъ имени, приносятъ такую огромную пользу культурѣ своего отечества, какая иногда не выдается даже на долю иной знаменитости. Это былъ сильный характеръ, твердый въ своихъ принципахъ, строгій въ ихъ выполненіи, за всю жизнь, начиная отъ школьной скамьи и свѣтлой молодости до послѣднихъ минутъ, когда уже угасающій въ тяжелой борьбѣ духа и тѣла, онъ привлекалъ въ свою скромную квартиру наиболѣе выдающихся людей московской интеллигенціи. Своими взглядами, своей примѣрной жизнью и отношеніемъ къ людямъ, онъ постоянно вносилъ благое вліяніе во все, что его окружало, и тутъ сила его дѣятельности проявилась обильными результатами.

Сынъ богатаго сибирскаго купца и золотопромышленника, Бѣлоголовый родился въ Иркутскѣ (5-го октября 1834 г.). Первое воспитаніе даровитаго мальчика совершилось при довольно счастливыхъ данныхъ: въ Иркутскѣ проживали нѣкоторые изъ декабристовъ, люди развитые и образованные, они

---

[1]) Изъ Историческаго Вѣстника 1895 г.

были учителями Бѣлоголоваго, отъ нихъ онъ воспринялъ задатки своихъ любвеобильныхъ человѣчныхъ воззрѣній,— и всю жизнь съ иными изъ этихъ учителей сохранялъ пріязненныя отношенія. Въ 1846 году, двѣнадцатилѣтнимъ ребенкомъ, Бѣлоголовый былъ привезенъ въ Москву и помѣщенъ въ частный пансіонъ Эннеса, въ одинъ классъ съ Сергѣемъ Петровичемъ Боткинымъ. Эти дѣтскіе годы связали ихъ неразрывной дружбой навсегда. У Боткина, кромѣ нѣсколькихъ родныхъ, не было человѣка болѣе близкаго, чѣмъ Бѣлоголовый. Вмѣстѣ поступили они въ университетъ, на тотъ же медицинскій факультетъ, и оба случайно, потому что въ тотъ годъ на другіе факультеты, наиболѣе ихъ интересовавшіе, пріема не было; вмѣстѣ готовились къ экзаменамъ, вмѣстѣ кончили курсъ и вступили въ общественную жизнь. Бѣлоголовый былъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ русскихъ, которые присутствовали при бракосочетаніи молодого 29-ти-лѣтняго Боткина въ Вѣнѣ; школьный товарищъ сдѣлалъ цѣлое путешествіе, чтобъ быть свидѣтелемъ этого важнаго шага въ жизни друга. Наконецъ, Бѣлоголовый пріѣхалъ и въ Ментону къ умирающему Боткину, слѣдилъ за его болѣзнью, былъ при немъ до самой его кончины; друзья остались друзьями въ прямомъ смыслѣ до гроба. По своимъ дарованіямъ и знаніямъ Бѣлоголовый несомнѣнно могъ бы готовиться къ профессурѣ, но у него было извѣстнаго рода тяготѣніе къ странѣ, гдѣ онъ родился и выросъ, къ его милой Сибири, и онъ считалъ себя какъ бы обязаннымъ посвятить ей свой первый трудъ. Тотчасъ по окончаніи курса, въ 1855 г., онъ уѣхалъ въ Иркутскъ городовымъ врачемъ. Черезъ три года, однако, сознавая неполноту своихъ знаній, Николай Андреевичъ снова отправился въ Москву и еще четыре года оставался вдали отъ родины, постоянно работая и совершенствуясь въ избранномъ имъ дѣлѣ. Защитивъ диссертацію («о всасываніи солей кожею»), онъ съ званіемъ доктора вернулся опять въ Иркутскъ. Работа Бѣлоголоваго, его талантъ и знаніе уже были хорошо знакомы и оцѣнены въ городѣ, и потому на сей разъ его уже прямо пригласили на должность старшаго городового врача. Бѣлоголовый сразу поднялъ медицинскую часть въ городѣ; онъ основалъ

медицинское общество, гдѣ собиралъ всѣхъ мѣстныхъ врачей для обсужденія научныхъ вопросовъ, какъ появлявшихся въ медицинской литературѣ, такъ и наблюдаемыхъ въ мѣстной практикѣ. Это сближеніе медицинскаго персонала между собой отзывалось и пріобрѣтеніемъ новыхъ знаній врачами, и также общимъ подъемомъ ихъ дѣятельности. Иркутскіе старожилы должны помнить это время и полезную благотворную работу выдающагося медика, являвшагося всюду на помощь, не только какъ искусный врачъ, но и какъ человѣкъ въ высшей степени симпатичный, гуманный, откликавшійся на всякія злобы дня, утѣшавшій, ободрявшій однихъ, нападавшій на несправедливость другихъ, защитникъ и помощникъ слабыхъ и угнетенныхъ, прямой и рѣзкій судья всего невѣжественнаго и грубаго. Врачу особенно удобно выказать эти хорошія стороны души; ко врачу всякій, самый сухой человѣкъ, самый закоренѣлый злодѣй, относится всегда мягче и добрѣе, отъ врача выслушаетъ то, чего не потерпитъ отъ другого, и уступитъ, и подчинится. Никто, какъ врачъ, въ обществѣ не можетъ такъ возбудить надежды, окрылить слабаго: никто, какъ врачъ, не можетъ быть такимъ укротителемъ сильнаго. Невольно, только благодаря своему прямому честному характеру, Бѣлоголовый широко пользовался этимъ выгоднымъ положеніемъ врача. По отзывчивости своей натуры, онъ не могъ оставаться безучастнымъ, видя зло, не могъ быть однимъ изъ этихъ добродушныхъ свидѣтелей зла, которые, пожалуй, за угломъ и возмущаются имъ и жалѣютъ несчастнаго ближняго, но остаются бездѣятельными, оправдываясь невозможностью что-либо сдѣлать. Бѣлоголовый не могъ скрыть, когда его что-нибудь возмущало или что-нибудь радовало, не могъ не показать прямо и ясно, кому и чему онъ сочувствуетъ, что презираетъ, что ненавидитъ, противъ чего борется... И люди чувствовали его силу, какъ всѣмъ нужнаго полезнаго врача, и, скрѣпя сердце, должны были скрывать отъ него свою разнузданность, смиряться, отказываться отъ многаго дурного. Особенно это благодѣтельное вліяніе Николая Андреевича сказывалось относительно ссыльныхъ и каторжныхъ. Какъ старшій городовой врачъ, онъ много вліялъ на улучшеніе быта

этихъ несчастныхъ и часто даже прямо спасалъ иныхъ отъ тяжкаго тѣлеснаго наказанія. Это было тѣмъ болѣе возможно, что тогда медицинское выслушиваніе и постукиваніе были вновѣ; Бѣлоголовому принадлежалъ починъ въ Иркутскѣ этой системы распознаванія грудныхъ и сердечныхъ болѣзней. Старые врачи, если бы и хотѣли спорить, должны были соглашаться съ тѣмъ, что онъ простукалъ или прослушалъ, чтобъ не показаться невѣждами. Это иногда вызывало случаи поистинѣ траги-комическіе. Однажды свидѣтельствовали какого-то молодого преступника, присужденнаго къ плетямъ. Нѣкоторые изъ старыхъ врачей находили, что наказаніе не вызоветъ дурныхъ послѣдствій въ здоровьи присужденнаго. Тогда Бѣлоголовый вступился за него, заявляя, что у преступника слабое сердце, и онъ можетъ умереть подъ плетьми. Между врачами возникъ споръ, но Бѣлоголовый далъ другимъ стетоскопъ, приглашая ихъ прослушать спорное сердце. Врачи стали слушать и принуждены были уступить, въ сущности не сознавая ясно, правъ ихъ коллега, или нѣтъ. Рѣшено было, что сердце слабое, и преступникъ былъ освобожденъ отъ плетей. Это рѣшеніе, однако, удручающимъ образомъ подѣйствовало на больного; улучивъ минуту, чтобъ подбѣжать къ Бѣлоголовому, онъ шепнулъ ему: «докторъ, такъ въ самомъ дѣлѣ у меня такое больное сердце, что я долго не проживу»,—но Бѣлоголовый сумѣлъ однимъ ободряющимъ взглядомъ и шутливымъ словомъ сразу успокоить несчастнаго. Одинъ медикъ, которому я прочиталъ эти строки, попрекнулъ меня, зачѣмъ я разсказываю этотъ фактъ, могущій будто бы подать поводъ къ ложному толкованію про врача, какъ бы допустившаго нѣкоторую неправду, хотя бы и съ доброй цѣлью. Относительно Бѣлоголоваго такого рода щепетильность совсѣмъ неумѣстна: каждый поступокъ его до того строго отвѣчалъ его прекраснымъ нравственнымъ принципамъ, что если и приходилось ему что-нибудь, по обстоятельствамъ, скрывать при жизни, то посмертный его біографъ можетъ смѣло говорить обо всемъ; ни въ одномъ фактѣ жизни этого человѣка не встрѣтишь разлада съ его честными взглядами или уступки и потачки чему-нибудь дурному. Такъ, до глубины души возмущала его эта кро-

вавая расправа плетьми, что тутъ высшей правдой для него было не истязать человѣка, хоть бы оттого и не послѣдовала смерть тотчасъ послѣ наказанія. Наконецъ, въ такомъ тяжеломъ вопросѣ Бѣлоголовый и какъ медикъ былъ правъ: во всякомъ случаѣ, плети калѣчатъ человѣка, укорачиваютъ его жизнь, и гдѣ медикъ обязанъ говорить въ пользу жизни, онъ долженъ былъ говорить противъ этого преддверія убійства, противъ этой частицы смертной казни.

Среди такой жизни, полной борьбы и дѣла, провелъ Бѣлоголовый въ званіи старшаго врача города Иркутска три года. Не мало фактовъ обличенія негодяевъ и заступничества за угнетенныхъ отмѣтили дѣятельность Николая Андреевича за это время. Новое повѣтріе жизни общественной и только-что народившійся въ Женевѣ журналъ Герцена «Колоколъ» много тому способствовали. Бѣлоголовый вошелъ въ сношеніе съ Герценомъ, настоялъ на выясненіи возмутительныхъ дѣяній чиновника особыхъ порученій Молчанова, заставилъ родственниковъ одного изъ декабристовъ вернуть ему его состояніе, чего они не хотѣли сдѣлать, когда съ осужденнаго было снято наказаніе, и проч. Въ концѣ своего пребыванія въ Иркутскѣ, горячо отдаваясь заботамъ о больныхъ, Бѣлоголовый заразился сильной тифозной горячкой, которая чуть не свела его въ могилу. Болѣзнь дорогого доктора была тяжелымъ горемъ для всего Иркутска; къ квартирѣ больного безпрестанно со всѣхъ сторонъ прибѣгали за справками, всѣ доктора города считали за честь дежурить поочередно у его постели. Заботы и уходъ сдѣлали свое дѣло; Бѣлоголовый оправился, но болѣзнь оставила неизгладимые слѣды въ его до тѣхъ поръ крѣпкомъ организмѣ. Пришлось отказаться отъ непосильнаго труда въ Иркутскѣ. Бѣлоголовый поѣхалъ за границу сперва лѣчиться, отдохнуть, набраться силъ, потомъ увлекся работой по разнымъ германскимъ университетамъ. Вернулся онъ уже не въ Иркутскъ, а въ Петербургъ, гдѣ остался просто вольнопрактикующимъ врачемъ, который самъ можетъ чередить свою работу внѣ зависимости отъ возникающихъ обстоятельствъ и отъ малаго количества докторовъ. Дарованіе и умѣніе заботливо относиться къ больному скоро и

въ Петербургѣ создали Бѣлоголовому большую практику, такъ что ему даже приходилось отказываться отъ иныхъ визитовъ и передавать ихъ товарищамъ. Только не надолго связалъ онъ себя нѣкоторымъ подобіемъ службы и то по настоятельной просьбѣ его друга С. П. Боткина; именно: Бѣлоголовый совершилъ путешествіе на Уралъ, въ качествѣ врача съ герцогомъ Николаемъ Максимиліановичемъ Лейхтенбергскимъ, извѣстнымъ своей страстью къ естественнымъ наукамъ, по преимуществу къ минералогіи. Такимъ образомъ, съ конца шестидесятыхъ годовъ Бѣлоголовый надолго сдѣлался постояннымъ жителемъ Петербурга, уѣзжая ежегодно на лѣто за границу. Кружокъ, среди котораго по преимуществу любилъ жить Бѣлоголовый, былъ литературный. Его всегда интересовала литература, и онъ несомнѣнно отдался бы всецѣло этой дѣятельности, еслибъ случайно не попалъ въ медики. По его воззрѣніямъ наиболѣе симпатичной для него была редакція «Отечественныхъ Записокъ», съ Некрасовымъ, Салтыковымъ и Елисѣевымъ во главѣ. Бѣлоголовый вскорѣ сталъ близкимъ человѣкомъ и докторомъ всей редакціи. Извѣстно, что Некрасовъ умеръ на его рукахъ; съ Салтыковымъ, Елисѣевымъ, Герценомъ, Огаревымъ и другими выдающимися писателями Бѣлоголовый находился въ самыхъ пріятельскихъ отношеніяхъ. Въ Парижѣ Бѣлоголовый былъ врачемъ Тургенева и впослѣдствіи описалъ его болѣзнь. Вообще по своимъ симпатіямъ Бѣлоголовый былъ человѣкъ времени возрожденія шестидесятыхъ годовъ, хотя не сочувствовалъ многому изъ тѣхъ крайностей, которыми отличались тогда бурливыя общественныя проявленія, и тѣмъ болѣе тому, къ чему они впослѣдствіи привели. Онъ часто въ шутку называлъ себя постепеновцемъ; но онъ былъ постепеновецъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, какъ человѣкъ, твердо вѣрующій въ прогрессъ, завоевывающій его упорно, шагъ за шагомъ, безъ компромиссовъ кому бы то ни было: ни разлагавшимся дряхлымъ отживавшимъ нравамъ прошлаго, ни модному разгулу вновь народившихся увлеченій. Всегда во всемъ аккуратный, честный до утонченности, онъ не отступалъ отъ разъ выработанныхъ принциповъ, у него на все было свое «правило», — его любимое словечко, которое онъ выгова-

ривалъ, какъ-то растягивая его и съ усмѣшкой. Съ этого правила его невозможно было столкнуть и, горько печалясь о томъ, что передъ его глазами лучшія начинанія отцвѣтали, не успѣвши расцвѣсть, онъ находилъ причину этому въ отсутствіи упорства, выдержки, неутомимой постепенности,—правила. Правда, люди которыхъ Бѣлоголовый приближалъ къ себѣ, далеко не всегда отвѣчали его «правилу», но онъ былъ слишкомъ человѣкъ жизни и дѣятельности, и потому, разумѣется, въ этомъ отношеніи не былъ придирчивымъ пуристомъ. Тѣмъ не менѣе онъ не закрывалъ глаза на дурныя стороны кого бы то ни было, всегда взвѣшивалъ дурное и хорошее, и сближался только тамъ, гдѣ хорошее перевѣшивало. Если при этомъ иной разъ ему и случалось обманываться, то только потому, что онъ никогда не осуждалъ никого по однимъ слухамъ и сплетнямъ, не имѣя ясныхъ доказательствъ, не убѣдившись вполнѣ.

Отецъ Бѣлоголоваго скончался еще въ ученическіе годы Николая Андреевича, оставивъ дѣла въ запутанномъ состояніи; докторъ отказался отъ всякаго наслѣдства въ пользу братьевъ и жилъ своими трудами всю жизнь. Основавшись въ Петербургѣ, Бѣлоголовый женился (свадьба состоялась въ Италіи въ 1871 г.). Дѣтей у него не было, и когда впослѣдствіи скоропостижно умеръ его братъ, послѣ котораго осталась большая семья и еще болѣе, чѣмъ у отца, запутанныя дѣла, Николай Андреевичъ взялъ себѣ на воспитаніе двоихъ изъ его сыновей. Такъ Бѣлоголовый всегда дѣлился скромными средствами своего заработка и не только съ родными. По преимуществу же дѣла образованія и воспитанія вызывали его главное сочувствіе и помощь. У Бѣлоголоваго было нѣсколько стипендіатовъ въ Петербургскомъ университетѣ, которыхъ онъ содержалъ на свой счетъ, выбирая ихъ непремѣнно изъ уроженцевъ Сибири. За это время у профессора Боткина еженедѣльно по субботамъ собирались профессора Академіи, медики и другіе близкіе люди. Одинъ разъ въ году они отплачивали ему это гостепріимство обѣдомъ въ складчину. На такомъ обѣдѣ, по инціативѣ Бѣлоголоваго, возникла мысль почтить всѣ эти собранія ежегоднымъ пожертвованіемъ каждаго въ размѣрѣ 12 рублей. Долженствующій образоваться отъ того капи-

талъ предполагалось употребить на благотворительную воспитательную цѣль. Бѣлоголоваго попросили быть казначеемъ случайно составившагося общества, и онъ упорно съ педантическою точностью во все время пребыванія въ Петербургѣ исполнялъ это дѣло. Между участниками складчины были, конечно, и люди неряшливые, запаздывавшіе взносами, но, при аккуратности Бѣлоголоваго, постоянно напоминавшаго и тому и другому, не пропала ни одна обѣщанная копѣйка. Этотъ сборъ составилъ основу того капитала, который впослѣдствіи разросся и далъ возможность выстроить превосходную двухъ-этажную школу (на Васильевскомъ островѣ) имени Сергѣя Петровича Боткина. Созданіе этой школы много обязано Бѣлоголовому.

Въ 1881 году Бѣлоголовый надолго переѣхалъ за границу; сперва велъ тамъ скитальческую жизнь, въ Парижѣ, въ Италіи; потомъ основался на болѣе продолжительное время въ Швейцаріи, въ Веве, въ Лозаннѣ, — и наконецъ въ Ниццѣ. Причиною этого отъѣзда было главнымъ образомъ слабое здоровье его и его супруги, требовавшее теплаго климата; но также и нервамъ Николая Андреевича это удаленіе изъ родины было нужно. Онъ уѣхалъ съ какимъ-то безотраднымъ чувствомъ неудовлетворенности, обманутыхъ надеждъ во всемъ, что привелось видѣть въ общественной жизни. Торжество Каткова и ему подобныхъ, отчаянныя выходки нигилистовъ, все это шло въ разрѣзъ съ его вѣрой въ постепенное, разумное и неуклонное стремленіе впередъ къ лучшей цѣли развитія и культуры. Въ Петербургѣ онъ былъ слишкомъ рядомъ около этихъ глупыхъ общественныхъ колебаній изъ крайности въ крайность, среди воюющихъ антиподовъ, среди равнодушной массы. Въ Петербургѣ онъ скорѣе бы измаялся и сгорѣлъ; слабость здоровья, временно изгнавшая его изъ отечества, была для него спасительна. Бѣлоголовый прожилъ за границей двѣнадцать лѣтъ, но и тамъ всецѣло отдавался тому, что совершалось въ Россіи. Онъ подробно перечитывалъ русскіе журналы и газеты, велъ обширную переписку и изъ года въ годъ жадно дожидался лѣта, когда къ нему наѣзжали соотечественники, живые свидѣтели того, что онъ зналъ изъ прочитаннаго. И гдѣ онъ только могъ, онъ

всегда являлся не просто наблюдателемъ, а дѣятелемъ. Во многомъ написанномъ и напечатанномъ за эти годы онъ невидимо участвовалъ. Когда въ Россіи оказался голодъ, Бѣлоголовый не только собралъ хорошее вспомоществованіе въ средѣ русскихъ, проживавшихъ въ Ниццѣ, но пожертвовалъ весь гонораръ, полученный имъ за біографію Боткина, изданную отдѣльною книжкой издателемъ Павленковымъ.

Чувствуя, что силы его гаснутъ, Бѣлоголовый не хотѣлъ болѣе оставаться за границей. Онъ зналъ, что, живя на югѣ, онъ, можетъ быть, протянулъ бы жизнь свою на нѣсколько мѣсяцевъ дольше, можетъ быть, и не только мѣсяцевъ, но мысль умереть на чужбинѣ, вдали отъ близкихъ людей, тяготила его, и онъ рѣшился переѣхать въ Москву. Онъ устроился тамъ очень хорошо. Братъ его покойнаго друга, П. П. Боткинъ, сдалъ ему небольшую квартирку въ своемъ домѣ и все время выказывалъ и ему и его семьѣ родственную заботливость. Русская зима окончательно сломила остатокъ здоровья Николая Андреевича. Его хозяинъ Петръ Боткинъ пригласилъ его лѣтомъ къ себѣ въ деревню, и пребываніе тамъ и теплое лѣто нѣсколько подняли силы Бѣлоголоваго; но съ наступленіемъ осени онъ снова захворалъ и уже болѣе не оправился. Старшій сынъ его покойнаго друга, врачъ Сергѣй Сергѣевичъ Боткинъ, пріѣхалъ въ Москву къ послѣднимъ днямъ жизни Бѣлоголоваго и слѣдилъ за его болѣзнью, какъ онъ самъ слѣдилъ за предсмертной болѣзнью отца Сергѣя Сергѣевича. Такъ, до самой смерти Бѣлоголоваго сопровождала семья Боткиныхъ.

Бѣлоголовый былъ мужчина высокаго роста, какъ большинство сибиряковъ, красивый, съ какимъ-то выраженіемъ симпатичнаго юмора въ постоянно присущей ему легкой улыбкѣ. Не смотря на свой строгій, твердый характеръ, онъ какъ истинно русскій человѣкъ, любилъ безобидную шутку, но и въ шуткѣ онъ всегда былъ вѣренъ своимъ задушевнымъ принципамъ. Я помню, въ дни нашей юности, когда покойный профессоръ С. П. Боткинъ только что поселился въ Петербургѣ (едва тридцати лѣтъ отъ роду), среди вечеринокъ, устраиваемыхъ у него, однажды на Рождествѣ состоялся домашній маскарадъ. Каждый

изъ друзей дома придумалъ себѣ какой нибудь характерный или остроумный костюмъ. Бѣлоголовый явился наряженный трубочистомъ и за ужиномъ, среди общаго восторга, прочиталъ стихотвореніе своего сочиненія, въ которомъ призывалъ вспомнить о темной братіи, о грязныхъ труженикахъ, и проч., и тутъ же всѣ раскошелились и собрана была небольшая сумма на какое то благотвореніе. Такъ, въ забавѣ и шуткѣ, на прогулкѣ и въ веселой бесѣдѣ, въ серьезномъ дѣлѣ, въ тяжеломъ трудѣ, въ горячемъ сочувствіи къ униженнымъ и оскорбленнымъ, — словомъ въ каждомъ шагѣ жизни Бѣлоголовый постоянно проявлялъ свои въ высшей степени человѣчные свѣтлые взгляды. Оттого понятно, что близость къ нему была всегда благотворна всякому и много его душевной дѣятельности перешло въ общественную жизнь черезъ другихъ. Теперь, конечно, услѣдить это и указать мудрено, но пройдутъ годы, и рано или поздно, въ какой нибудь перепискѣ, въ какихъ нибудь воспоминаніяхъ, несомнѣнно выплыветъ наружу то благое значеніе, которое имѣлъ для своего отечества Николай Андреевичъ Бѣлоголовый.

Викторъ Крыловъ.

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ СИБИРЯКА
О ДЕКАБРИСТАХЪ.

I.

Въ одинъ свѣтлый майскій день 1842 года отецъ за обѣдомъ обратился къ старшему моему брату Андрею и ко мнѣ со словами: „Сегодня послѣ обѣда не уходите играть во дворъ; мать васъ одѣнетъ, и вы поѣдете со мной". Отецъ не объяснилъ, куда онъ хочетъ везти насъ; мы же, въ силу домашней субординаціи, распрашивать не смѣли, а потому наше дѣтское любопытство было очень возбуждено. Старшему брату было въ это время 10 лѣтъ, а мнѣ 8; жили мы въ Иркутскѣ въ своей семьѣ, состоявшей, кромѣ отца, матери и насъ, еще изъ двухъ меньшихъ братьевъ; учились мы дома и для занятій съ нами являлся ежедневно какой-то скромный и угреватый канцеляристъ, а такъ какъ мы оба были мальчики прилежные и способные, то программа элементарнаго обученія, какую могъ дать нашъ учитель, была исчерпана, и старшій братъ началъ уже ходить въ гимназію, и отецъ поговаривалъ, что пора и меня отдать туда же. Отецъ мой былъ купецъ, далеко не богатый, очень дѣятельный, замѣчательно умный и не останавливавшійся ни передъ какими жертвами, чтобы доставить намъ наивозможно лучшее образованіе, что было тогда въ Иркутскѣ крайне трудной, почти неисполнимой задачей.

Когда мы, вымытые, приглаженные и одѣтые въ наше лучшее платье, усѣлись на долгушу (длинныя безрессорныя дрожки, которыя, кажется, и до сихъ поръ въ

большомъ употребленіи въ Сибири), запряженную парой сытыхъ лошадокъ, и быстро покатили по городу, то отецъ сталъ объяснять намъ, что везетъ насъ въ деревню Малая Разводная къ декабристамъ Юшневскимъ, у которыхъ мы начнемъ учиться и для этого скоро совсѣмъ переберемся на житье къ нимъ, просилъ насъ, какъ водится, держать себя умниками и не ударить лицомъ въ грязь, если насъ сегодня же вздумаютъ проэкзаменовать. Мы были еще такъ юны и неопытны, что названіе „декабристы“ не имѣло для насъ рѣшительно никакого смысла, а потому мы съ самымъ невиннымъ любопытствомъ ждали предстоящаго свиданія.

Деревушка Малая Разводная лежитъ всего въ 5 верстахъ отъ Иркутска, причемъ дорога вначалѣ версты три идетъ по Забайкальскому тракту, а потомъ сворачиваетъ вправо по узкому проселку, поросшему по бокамъ молодымъ, корявымъ березнякомъ, и приводитъ къ названной деревушкѣ, заключавшей въ себѣ тогда домовъ 25 или 30. Мы миновали нѣсколько вытянутыхъ въ улицу крестьянскихъ домовъ и подъѣхали къ тесовымъ воротамъ, а черезъ нихъ попали въ довольно обширный дворъ, среди котораго стоялъ небольшой одноэтажный домикъ Юшневскихъ, обращенный главнымъ фасадомъ на Ангару, протекавшую подъ крутымъ обрывомъ, на которомъ была раскинута деревушка.

Къ сожалѣнію, память мнѣ измѣняетъ, и я смутно вызываю въ себѣ только немногія подробности этого перваго пріѣзда нашего въ М. Разводную. Отца моего вездѣ встрѣчали съ большимъ уваженіемъ; кромѣ природнаго ума, онъ обладалъ рѣдкою начитанностью, былъ превосходный разсказчикъ, много видалъ на своемъ вѣку, такъ какъ по торговымъ дѣламъ долженъ былъ каждое лѣто совершать поѣздку въ Нижній, Москву и часто вплоть до Петербурга; эти постоянныя поѣздки особенно способствовали его сближенію съ декабристами, потому что онъ доставлялъ контрабандныя письма и посылки

отъ нихъ къ роднымъ и наоборотъ и нерѣдко выступалъ въ многоразличныхъ дѣлахъ устнымъ посредникомъ между ссыльными и ихъ знатными столичными родственниками. Поэтому прiемъ намъ сдѣланъ былъ самый радушный; Юшневскiе, особенно мужъ, разспрашивали брата и меня о нашихъ занятiяхъ, но формальному экзамену, кажется, насъ не подвергали. Помню одно, какъ общее впечатлѣнiе этого визита, что Юшневскiй какъ-то сразу покорилъ наши дѣтскiя сердца и что на обратномъ пути мы съ братомъ находились въ восторженномъ настроенiи отъ мысли, что поступаемъ на руки къ такому прекрасному учителю.

У Юшневскихъ мы пробыли недолго, ибо отцу, къ немалому нашему удивленiю, надо было сдѣлать въ этой крохотной деревушкѣ цѣлый рядъ визитовъ. Сначала Юшневскiй повелъ насъ въ сосѣднiй домъ, дворъ котораго прилегалъ къ двору Юшневскаго и былъ отдѣленъ частоколомъ, въ которомъ была прорѣзана калитка. Здѣсь въ небольшомъ домѣ съ мезониномъ, стоявшемъ также среди двора, проживалъ другой декабристъ—Артамонъ Захарьевичъ Муравьевъ. Это былъ чрезвычайно тучный и необыкновенно веселый и добродушный человѣкъ; смѣющiеся глазки его такъ и прыгали, а раскатистый, заразительный хохотъ постоянно наполнялъ его небольшой домикъ. Кромѣ ласковости и веселыхъ шутокъ онъ насъ расположилъ къ себѣ, помню, еще и оригинальнымъ угощеньемъ; сидя по-турецки съ сложенными ногами на широкомъ диванѣ, онъ намъ скомандовалъ: „ну, теперь, дѣти, маршъ вотъ къ этому письменному столу, станьте рядомъ противъ праваго ящика; теперь закройте глаза, откройте ящикъ, запускайте въ него руки и тащите, что вамъ попадется“. Мы исполняли команду въ точности, по мѣрѣ того, какъ она производилась, и объемистый ящикъ оказался до верху наполненнымъ конфектами. Какъ видно, онъ самъ былъ охотникъ до сладкаго, и вообще, какъ я узналъ впослѣдствiи, любилъ поѣсть и пользовался репутацiей тонкаго гастронома.

Читальня-библиотека

На этомъ же дворѣ у воротъ стояла еще небольшая крестьянская изба съ окнами, выходившими на деревенскую улицу, и въ ней помѣщались декабристы — два брата Борисовы; отецъ прошелъ съ нами и къ нимъ. Старшій братъ, Петръ Ивановичъ, былъ необыкновенно кроткое и скромное существо; онъ былъ невысокаго роста, очень худощавъ; я до сихъ поръ не могу позабыть его большихъ вдумчивыхъ глазъ, искрившихся безграничной добротой и прямодушіемъ, его нѣжной, привлекательной улыбки и тихой его рѣчи. Онъ представлялся совершенною противоположностью только что оставленному нами А. З. Муравьеву: насколько послѣдній былъ шуменъ, неудержимо веселъ и экспансивенъ, настолько первый казался тихъ, даже застѣнчивъ въ разговорѣ и во всѣхъ своихъ движеніяхъ, и какая-то сосредоточенная, глубоко засѣвшая на душѣ грусть лежала на всемъ его существѣ. О П. И. Борисовѣ мнѣ придется говорить еще не разъ, такъ какъ онъ вскорѣ сдѣлался также нашимъ наставникомъ. Жилъ онъ вмѣстѣ съ своимъ братомъ Андреемъ Ивановичемъ, у котораго развилась въ ссылкѣ психическая болѣзнь, что-то въ родѣ меланхоліи; онъ чуждался всякаго посторонняго человѣка, тотчасъ же убѣгалъ въ другую комнату, если кто нибудь заходилъ въ ихъ избушку, и Петръ Ивановичъ былъ единственнымъ живымъ существомъ, которое онъ допускалъ до себя и съ которымъ свободно могъ разговаривать,—и взаимная привязанность этихъ братьевъ между собой была самая трогательная. Изъ Россіи они ни отъ кого помощи не получали и жили скудно на пособіе отъ товарищей декабристовъ; кромѣ того П. И. зарабатывалъ ничтожныя крохи рисованіемъ животныхъ, птицъ и насѣкомыхъ и былъ въ этомъ искусствѣ, не находившемъ въ то время почти никакого спроса въ Россіи, тонкимъ мастеромъ. А. И. тоже не оставался безъ дѣла: онъ научился переплетному ремеслу и имѣлъ небольшой заработокъ.

Но этимъ визиты наши еще не кончились, и отъ Борисовыхъ мы перешли черезъ улицу еще въ одну крестьянскую избу, гдѣ жилъ декабристъ Якубовичъ. Странное дѣло! Когда недѣли черезъ двѣ мы сдѣлались совсѣмъ обитателями Малой Разводной, мы Якубовича тамъ, кажется, уже не застали; то ли я забылъ, то ли за этотъ короткій промежутокъ онъ переселился въ другое мѣсто [1]), только мнѣ помнится, что я его видѣлъ всего одинъ разъ, и тѣмъ не менѣе его внѣшность сильно врѣзалась въ мою дѣтскую память: это былъ высокій, худощавый и очень смуглый человѣкъ, съ живыми черными глазами и большими усами; всѣ движенія его были полны живости и энергіи; дѣтей, видно, онъ очень любилъ, потому что тотчасъ же занялся съ нами съ великой охотой и, будучи большимъ любителемъ живописи, скоро и бойко нарисовалъ карандашемъ два рисунка и подарилъ намъ каждому на память. Наконецъ отъ Якубовича мы поѣхали домой,—и тутъ дорогой отецъ старался намъ объяснить, какого рода людей мы посѣтили, и хотя главное въ его словахъ оставалось для насъ темнымъ, но мы теперь уже съ бо̀льшимъ смысломъ отнеслись къ названію „декабристы" и связали его съ опредѣленнымъ типомъ нашихъ новыхъ знакомцевъ; такъ картинки въ книгѣ часто объясняютъ ребенку многое, что̀ въ прочитанномъ текстѣ оказалось выше дѣтскаго пониманія. Все вмѣстѣ, и наши личныя, пріятныя впечатлѣнія, полученныя отъ недавнихъ знакомцевъ, и теплый, симпатичный тонъ, съ которымъ отзывался о нихъ отецъ, сразу вызвали въ нашихъ воспріимчивыхъ сердцахъ благоговѣйное уваженіе къ этимъ таинственнымъ людямъ, которое потомъ росло съ нашимъ ростомъ и крѣпло по мѣрѣ того, какъ мы болѣе и болѣе входили въ ихъ кругъ.

---

[1]) Впослѣдствіи изъ печатныхъ источниковъ я узналъ, что Якубовичъ жилъ на поселеніи въ Усольѣ, верстахъ въ 60-ти отъ Иркутска, и, вѣроятно, временно находился въ Малой Разводной, пріѣхавъ навѣстить своихъ товарищей.

II.

Послѣдующіе дни у насъ совсѣмъ были поглощены сборами отца и матери въ Россію. Отъѣзды отца были въ семьѣ дѣломъ обычнымъ; каждый годъ въ маѣ или іюнѣ онъ отправлялся по дѣламъ въ Петербургъ, Москву или только на Нижегородскую ярмарку и возвращался домой осенью въ послѣднихъ числахъ сентября, а мы въ его отсутствіе переходили подъ исключительную и менѣе суровую команду матери. Возвращеніе отца было всегда большимъ событіемъ въ домѣ; онъ не только привозилъ намъ новыя игрушки и подарки, но чуть ли не первый знакомилъ Иркутскъ съ разными новинками и открытіями, которыя только-что появлялись тогда въ Европейской Россіи; такъ, я помню, какъ въ одинъ изъ своихъ пріѣздовъ въ 40 годахъ онъ привезъ фосфорныя спички, которымъ суждено было такъ быстро вытѣснить общеупотребительные до того „сѣрячки“; въ другой разъ — стеариновыя или, какъ ихъ называли тогда, по имени перваго петербургскаго фабриканта, „каллетовскія“ свѣчи, которыя, не знаю, какъ теперь, но въ 60-хъ годахъ еще не могли изгнать изъ употребленія дешевыя сальныя свѣчи; въ третій—первыя папиросы только что открытой въ Петербургѣ фабрики Морне и Кадошъ, съ деревянными мундштуками и т. п.

Въ описываемое мною лѣто мать вздумала и сама съѣздить въ первый разъ посмотрѣть Петербургъ и Москву, оставивши насъ, двухъ старшихъ дѣтей, на житье и ученье у Юшневскихъ, а двухъ младшихъ— дома на попеченіи старой бабушки, жившей у насъ постоянно. Мать, впервые покидавшая дѣтей и домъ для такого дальняго путешествія, волновалась, плакала, баловала насъ больше обыкновеннаго. Въ домѣ за нѣсколько дней до отъѣзда началась суета; въ комнатахъ

раскинуто было нѣсколько мягкихъ чемодановъ, на столахъ, на стульяхъ лежало платье, бѣлье и разные завернутые въ бумагу предметы, ожидавшіе своей очереди, чтобы войти въ утробу пузатыхъ чемодановъ; на дворѣ подъ навѣсомъ появился объемистый тарантасъ казанской работы; мы, дѣти, охваченные общею суматохою, шмыгали вездѣ между свертками, залѣзали въ тарантасъ и совали свой носъ всюду, вызывая нерѣдко на себя окрики старшихъ. Лихорадочное время это пролетѣло быстро, отецъ и мать наконецъ уѣхали, а насъ въ день ихъ отъѣзда перевезли къ Юшневскимъ, и для насъ началась совершенно новая жизнь въ этой чужой семьѣ.

Ранѣе насъ еще былъ помѣщенъ на воспитаніе къ Юшневскимъ мальчикъ лѣтъ 12-ти, сынъ разбогатѣвшаго крестьянина, по фамиліи Анкудиновъ. Помѣстилъ его къ Юшневскому не отецъ, самый ординарный кулакъ изъ мужиковъ и притомъ горькій пьяница, а дядя, тоже крестьянинъ, но на рѣдкость умный и предпріимчивый, и состояніе Анкудиновыхъ принадлежало ему и было нажито на почтовой гоньбѣ. Этотъ дядя имѣлъ въ Иркутскѣ большой домъ, носилъ городской костюмъ, съ трогательнымъ благоговѣніемъ относился къ образованію и горячо мечталъ сдѣлать изъ своего племянника и единственнаго наслѣдника—по возможности образованнаго человѣка. Онъ безпрестанно заѣзжалъ въ Малую Разводную, чтобы справиться объ успѣхахъ своего питомца, но мальчикъ выдался не изъ способныхъ, росъ до тѣхъ поръ въ семьѣ, мало чѣмъ ушедшей отъ крестьянства, отлично зналъ всѣ полевыя работы и уже много въ нихъ практиковался; книга его нисколько не интересовала, а его тянуло изъ классной комнаты въ лѣсъ, на пашню и особенно къ лошадямъ, до которыхъ онъ былъ страстный охотникъ, такъ какъ дядя держалъ ихъ цѣлые табуны для почтовой гоньбы. Поэтому не только ученье, а даже и внѣшній лоскъ очень туго при-

вивались къ мальчику, и онъ, по прошествіи года и къ великому огорченію дяди, оставался все тѣмъ же маленькимъ мужичкомъ съ мужицкимъ складомъ рѣчи и грубыми ухватками, какъ ни старалась его отучить отъ нихъ и сама Юшневская. Я слышалъ, какъ Юшневскій въ разговорѣ съ кѣмъ-то о безуспѣшности своей вышлифовать Анкудинова разъ выразился такъ: „да, изъ рѣдьки трудно сдѣлать мороженое“. И дѣйствительно, такъ-таки Юшневскій съ нимъ ничего и не добился. Не могу сказать навѣрное, оставило ли какой нибудь нравственный слѣдъ воспитаніе Юшневскаго на нашемъ товарищѣ, потому что потомъ я потерялъ его совсѣмъ изъ виду, а когда, много лѣтъ спустя, я, въ качествѣ врача, увидалъ его однажды уже 30 лѣтнимъ человѣкомъ, главой семьи и всего обширнаго хозяйства умершаго дяди, то онъ ни житейскими взглядами, ни всей обстановкой своей жизни, ничѣмъ не отличался, какъ мнѣ показалось, отъ зауряднаго, зажиточнаго мужика. Случайно и болѣзнь, ради которой я къ нему былъ позванъ, развилась какъ слѣдствіе алкоголизма, унаслѣдованнаго имъ отъ своего отца. Когда же мы съ нимъ познакомились у Юшневскихъ, то по натурѣ это былъ мальчикъ добрый, а потому мы съ нимъ сошлись и прожили все время вмѣстѣ очень дружно.

Какъ ни рѣзокъ былъ для насъ переходъ изъ теплаго роднаго гнѣзда, отъ шума большой семьи и городской жизни—въ тихій деревенскій домикъ пожилой четы, однако мы съ нимъ какъ-то скоро освоились и не очень скучали. Вѣроятно, этому способствовалъ прежде всего самъ Юшневскій, который такъ умѣло и тепло взялся за нашу дрессировку, что мы не только сразу ему подчинились, но и привязались къ нему со всею горячностью нашего возраста. Къ сожалѣнію, я былъ слишкомъ ребенокъ тогда, чтобы теперь съ возможными подробностями обрисовать выдающуюся личность Юшневскаго, складъ его жизни и отношеніе его къ окружаю-

П. И. Борисовъ.

Тип. К. Θ. Александрова.

щей обстановкѣ, а потому невольно долженъ ограничиваться только смутными воспоминаніями, которыя у меня сохранились, причемъ все крупное и рельефное проходило для меня незамѣченнымъ, а врѣзывались въ памяти все такія впечатлѣнія, которыя болѣе были доступны моему дѣтскому пониманію.

III.

Въ небольшомъ своемъ домикѣ, состоявшемъ изъ 4-хъ и самое большее изъ 5 комнатъ, Юшневскіе отвели для насъ одну, выходившую окнами на дворъ; она намъ служила и спальнею, и учебною. Алексѣю Петровичу,— такъ звали Юшневскаго, — было тогда за 50 лѣтъ; это былъ человѣкъ средняго роста, довольно коренастый, съ большими сѣрыми на-выкатѣ и вѣчно серьезными глазами; бороды и усовъ онъ не носилъ и причесывался очень оригинально, зачесывая виски взадъ и вверхъ, что еще болѣе увеличивало его и безъ того большой лобъ. Ровность его характера была изумительная; всегда серьезный, онъ даже шутилъ не улыбаясь, и тѣмъ не менѣе въ обращеніи его съ нами мы постоянно чувствовали, хотя онъ насъ никогда не ласкалъ, его любовное отношеніе къ намъ и добродушіе. На урокахъ онъ былъ всегда терпѣливъ, никогда не поднималъ своего голоса, не смотря на то, что Анкудиновъ своею тупостью нерѣдко задавалъ пробу этому неистощимому терпѣнію. Только однажды за все время онъ вспыхнулъ и крикнулъ на насъ, а потому, вѣроятно, этотъ единственный случай такъ и врѣзался въ моей памяти. Какъ-то разъ послѣ обѣда мы втроемъ пошли играть въ огородъ, спускавшійся передъ домомъ по откосу къ Ангарѣ; отъ нея огородъ отдѣлялся заборомъ съ небольшою калиткою, че-

резъ которую намъ запрещено было выходить на берегъ, чтобы какъ нибудь по неосторожности не свалиться въ стремительно несущуюся рѣку. На этотъ разъ что-то соблазнило насъ нарушить запрещеніе, но только-что мы стали возиться около калитки, чтобы отодвинуть тугую задвижку, какъ А. П., увидавъ изъ окна, чѣмъ мы занимаемся, крикнулъ намъ: „Зачѣмъ вы это дѣлаете дѣти? оставьте калитку въ покоѣ!“ и мы тотчасъ же отошли, но когда черезъ нѣсколько минутъ замѣтили, что А. П—ча не видно болѣе въ окнѣ, снова принялись за ту же работу и, открывъ наконецъ калитку, готовились выскочить на берегъ; вдругъ изъ окна раздался тотъ же голосъ, на этотъ разъ гнѣвный и повелительный: „Какъ же вы это не слушаетесь? Маршъ сейчасъ же въ комнаты!“ Мы повиновались и А. П. встрѣтилъ насъ сердитый въ передней, горячо распекъ за непослушаніе и въ наказаніе приказалъ намъ тотчасъ же идти въ свою комнату. Насъ очень смутилъ этотъ необычный съ его стороны окрикъ, и мы, робко прокравшись къ себѣ, стали только-что разсуждать о постигшей насъ бѣдѣ, какъ черезъ минуту или двѣ дверь отворилась и А. П., спокойный и ласковый, какъ всегда, вошелъ къ намъ и весело спросилъ: „ну, дѣти, кто изъ васъ скажетъ, какъ пишется „нѣсколько“, черезъ *ѣ* или черезъ *е*?“ Мнѣ теперь далеко за 50 лѣтъ, но, мнѣ кажется, я до сихъ поръ помню, какъ забилось мое сердце отъ радости, что А. П. болѣе на насъ не сердится, и какъ мнѣ хотѣлось броситься къ нему съ обѣщаніемъ, что я постараюсь впередъ не вызывать его справедливаго гнѣва.

Къ наказаніямъ Юшневскій вообще никогда не прибѣгалъ; правда, братъ и я были мальчики способные и оба изъ кожи лѣзли, чтобы заслужить одобреніе своего наставника, такъ что едва ли ему часто давали поводы быть нами недовольнымъ, но и Анкудиновъ, которому туго давались и русская грамматика, и французскій языкъ, подвергался только усовѣщеніямъ и вразумленіямъ и по временамъ жалобамъ на него его старому дядѣ.

Жена Юшневскаго, Марья Казиміровна, была миловидная, толстенькая старушка небольшаго роста; въ образованіе наше она не вмѣшивалась, но мы ее не особенно любили, потому что она строго заботилась о нашихъ манерахъ и легко раздражалась всякими нашими промахами. Она была полька и ревностная католичка, и самыми частыми ея посѣтителями были два ксендза, не разъ въ недѣлю приходившіе пѣшкомъ изъ Иркутска. Одинъ изъ нихъ, по фамиліи Гацицкій, худенькій, веселый и очень юркій человѣчекъ, не прочь былъ повозиться съ нами, не смотря на свой почтенный санъ и не менѣе почтенный возрастъ. Уже будучи взрослымъ, я узналъ отъ декабристовъ, что Марья Казиміровна была замужемъ въ Кіевѣ за какимъ то помѣщикомъ, отъ котораго имѣла дѣтей, потомъ увлеклась Юшневскимъ и послѣ формальнаго развода вышла за него замужъ и покорно раздѣлила съ нимъ его тяжелую участь въ Сибири. Во время нашего прожитія въ Малой Разводной пріѣзжала навѣстить ее изъ Россіи и осталась на нѣсколько лѣтъ въ Иркутскѣ ея дочь съ мужемъ, по фамиліи Рейхель, очень недурнымъ портретистомъ, и съ цѣлой кучей дѣтей.

Юшневскій кромѣ того былъ хорошій музыкантъ и слылъ чуть ли не лучшимъ учителемъ для фортепіано въ Иркутскѣ, но искусство это въ нашей глухой провинціи въ тѣ времена не пользовалось большимъ распространеніемъ и не могло прокормить учителя. На свои городскіе уроки А. П. уѣзжалъ раза три въ недѣлю утромъ и возвращался часу въ первомъ къ обѣду; въ отсутствіе его для занятій съ нами математикою являлся Петръ Ивановичъ Борисовъ, съ которымъ у насъ также и тотчасъ установились наилучшія отношенія. Если Юшневскій намъ импонировалъ своимъ обширнымъ умомъ и сдержанностью и мы питали къ нему благоговѣйное уваженіе, не лишенное нѣкотораго трепета, то съ Борисовымъ у насъ завязалась прямая и самая безхитростная дружба, такъ какъ при своей непомѣрной безобидности

и кротости онъ намъ былъ больше по плечу. Не знаю, былъ ли онъ хорошимъ математикомъ, знаю только, что во мнѣ онъ ни способностей къ этой наукѣ, ни любви къ ней не развилъ, но зато онъ насъ увлекалъ большою своей страстью къ природѣ и къ естественнымъ наукамъ, которыя изучилъ недурно, особенно растительное и пернатое царства Сибири; рисовалъ же онъ птицъ и животныхъ, какъ я упоминалъ выше, съ замѣчательнымъ мастерствомъ. По окончаніи уроковъ онъ, если день былъ хорошій, тотчасъ же бралъ насъ съ собой на прогулку въ лѣсъ, и для насъ это составляло великое удовольствіе; въ лѣсу мы не столько рѣзвились на просторѣ, сколько ловили бабочекъ и насѣкомыхъ и несли ихъ къ Борисову, и онъ тутъ же опредѣлялъ зоологическій видъ добычи и старался подѣлиться съ нами своими свѣдѣніями. Иногда приводилъ онъ насъ къ себѣ въ свой крохотный домикъ, и тогда, лишь только мы переступали порогъ комнаты, несчастный братъ его, никогда не снимавшій съ себя халата и не выходившій на воздухъ, порывисто вскакивалъ изъ-за переплетнаго станка и убѣгалъ въ сосѣднюю комнату, такъ что мы никогда не видали его лица. Въ жилищѣ Борисова насъ всегда манила собранная имъ небольшая коллекція сибирскихъ птицъ и мелкихъ животныхъ, а также великое множество его собственныхъ рисунковъ, за работой которыхъ онъ просиживалъ всѣ часы своихъ досуговъ. Въ этой страсти онъ находилъ для себя источникъ труда и наслажденія въ своей однообразной и безпросвѣтной жизни, а товарищи старались сдѣлать изъ нея рессурсъ для матеріальнаго улучшенія обстановки братьевъ, но довольно безуспѣшно, потому что тогда интересъ къ естественно историческому изученію Сибири еще не проснулся въ Россіи. Впрочемъ въ разсказываемое время въ Восточную Сибирь пріѣхала ревизія сенатора Толстаго, и одинъ изъ чиновниковъ ея Б., человѣкъ богатый, безъ всякихъ иныхъ побудительныхъ

причинъ, кромѣ тщеславія, задумалъ составить иллюстрированное описаніе своей поѣздки по Сибири и сдѣлалъ Борисову большой заказъ рисунковъ сибирской фауны и флоры. Съ какимъ рвеніемъ засѣлъ Петръ Ивановичъ за любимую свою работу—нечего и говорить и должно быть превзошелъ самого себя, насколько могу судить по тѣмъ восторженнымъ похваламъ, какія расточали ему Юшневскіе всякій разъ, какъ онъ приносилъ показать только-что оконченный рисунокъ. Позднѣе я слышалъ, что богачъ Б. обсчиталъ безъ зазрѣнія совѣсти этого труженика, не умиравшаго съ голоду единственно благодаря помощи товарищей-декабристовъ, и не доплатилъ далеко всего, что было условлено.

Разсказывалъ иногда намъ во время отдыха Борисовъ и о своемъ прошломъ, о житьѣ въ Читѣ, въ Петровскомъ заводѣ и т. п., и дѣлалъ это конечно въ формѣ, примѣнительной къ нашему возрасту; разсказы эти, къ сожалѣнію, давно мною перезабыты, и у меня осталось отъ нихъ развѣ то общее впечатлѣніе, что когда онъ своимъ тихимъ голосомъ передавалъ тяжелыя испытанія свои и своихъ товарищей, то намъ становилось чрезвычайно жаль этихъ добрыхъ и симпатичныхъ людей, такъ много выстрадавшихъ на своемъ вѣку; едва ли нужно прибавлять, что онъ при этомъ никогда не обвинялъ правительство и не развивалъ въ насъ никакихъ злобныхъ чувствъ. Изъ его разсказовъ въ моей памяти почему-то сохранился слѣдующій. Когда Артамонъ Захаровичъ Муравьевъ былъ доставленъ фельдъ-егеремъ изъ Петербурга въ Читу, то, прежде помѣщенія его въ казематъ, у него, по установленному обычаю, сдѣланъ былъ приставомъ осмотръ вещей; Муравьевъ былъ большой щеголь и между прочимъ любилъ прыскаться духами, а потому въ его чемоданѣ было нѣсколько стклянокъ съ одеколономъ; приставъ не имѣлъ понятія о такихъ потребностяхъ, а потому, не удовлетворившись объясненіемъ, что это одеколонъ, откупорилъ одну бутылку и

взялъ глотокъ жидкости въ ротъ; понятно, онъ поперхнулся, закашлялся и, насилу отплевавшись, произнесъ наконецъ съ раздраженіемъ: „Помилуйте, это Богъ знаетъ, что такое! Какъ же можно употреблять такой горлодёръ? Да я думаю, самъ Е. И. В великій князь Михаилъ Павловичъ не разрѣшаетъ себѣ такихъ крѣпкихъ напитковъ!“ И я помню, какъ Борисовъ, разсказывая этотъ эпизодъ, благодушно смѣялся надъ наивностью захолустнаго чиновника, полагавшаго, что великій князь, по своему высокому положенію, долженъ употреблять не иначе какъ самые крѣпкіе напитки.

IV.

Время для насъ проходило незамѣтно въ урокахъ съ Юшневскимъ и Борисовымъ, въ прогулкахъ и играхъ, а вечерами, когда наступили длинные осенніе вечера, и если у Юшневскихъ не было гостей, то А. П. или разсказывалъ намъ что-нибудь, то поучительное, то забавное, или заставлялъ насъ по очереди читать вслухъ разные разсказы и путешествія, достаточно удобопонятные, чтобы заинтересовать наше воображеніе. Я хотя и учился съ большимъ стараніемъ, но въ дѣтствѣ былъ порядочный разгильдяй и очень разсѣянный мальчикъ, и Юшневскій прозвалъ меня почему-то «рахманнымъ», и эта кличка оставалась за мной въ продолженіе всего пребыванія въ ихъ домѣ. Чтобы иллюстрировать степень моей тогдашней сообразительности, могу привести слѣдующій образчикъ. Какъ-то въ началѣ осени я схватилъ насморкъ; Юшневская замѣтила это за ужиномъ и приказала мнѣ, когда я буду ложиться спать, намазать хорошенько подошвы свѣчнымъ саломъ. Я и исполнилъ приказаніе буквально, а такъ какъ въ то время призна-

валъ существованіе подошвъ только у обуви, то, улегшись въ постель, взялъ свои сапоги и очень добросовѣстно началъ мазать ихъ подошвы саломъ. За этой работой засталъ меня Юшневскій и съ большимъ изумленіемъ спросилъ: «Коля, что за глупости ты это дѣлаешь?» и когда я ему съ дѣловитою озабоченностью отвѣтилъ: „Марья Казиміровна мнѣ приказала отъ насморка намазать подошвы", то даже онъ, этотъ почти никогда не улыбавшійся человѣкъ, не могъ удержаться и разразился громкимъ смѣхомъ. И долго мнѣ доставалось потомъ за эти подошвы и за этотъ первый опытъ моей медицинской практической дѣятельности! При этомъ я былъ очень застѣнчивъ и легко терялся съ мало знакомыми мнѣ людьми, а потому всякій наѣздъ гостей, когда въ залѣ накрывали къ обѣду большой столъ, обращался для меня въ немалую пытку. Особенно боялся я декабриста Панова, который довольно часто пріѣзжалъ къ обѣду и любилъ потѣшаться надо мной. Это былъ небольшого роста плотный блондинъ, съ большими выпуклыми глазами, съ румянцемъ на щекахъ и съ большими свѣтло-русыми усами; за обѣдомъ онъ начиналъ стрѣлять въ меня шариками хлѣба и, должно быть любуясь моимъ конфузомъ, приставалъ ко мнѣ съ вопросами обыкновенно все въ одномъ и томъ же родѣ: „а зачѣмъ у тебя мои зубы? когда ты у меня ихъ стащилъ? давай же мнѣ ихъ тотчасъ же назадъ!". Слѣдующіе разы повторялись тѣ же вопросы по поводу носа, глаза; я краснѣлъ до ушей, готовъ былъ провалиться подъ столъ и былъ чрезвычайно радъ, когда по окончаніи обѣда могъ удалиться въ свою комнату. Гости бывали вообще нерѣдко, заѣзжали большею частію товарищи-декабристы изъ ближайшихъ деревень; чаще же всѣхъ приходилъ, отдуваясь и запыхиваясь, сосѣдъ А. З. Муравьевъ; онъ былъ всегда веселъ, всегда хохоталъ, и его приходъ составлялъ для насъ праздникъ: онъ, бывало, расшевелитъ даже сдержаннаго Юшневскаго, пере-

будоражитъ всѣхъ въ нашемъ тихомъ домикѣ, а намъ, дѣтямъ, наскажетъ съ три короба разныхъ смѣшныхъ анекдотовъ изъ разряда „не любо—не слушай“. Его всѣ любили за беззавѣтную и дѣятельную доброту: онъ не только платонически сочувствовалъ всякой чужой бѣдѣ, а дѣлалъ все возможное, чтобы помочь ей; въ нашей деревушкѣ онъ скоро сдѣлался общимъ благодѣтелемъ, потому что, претендуя на знаніе медицины, онъ розыскивалъ самъ больныхъ мужиковъ и лѣчилъ ихъ, помогая имъ не только лѣкарствами, но и пищею, деньгами,— всѣмъ, чѣмъ только могъ. Между прочимъ онъ изучилъ и зубоврачебное искусство и мастерски рвалъ зубы, что я имѣлъ случай лично испытать впослѣдствіи на себѣ, когда мнѣ было лѣтъ около 11-ти. И замѣчательно, его необычайная тучность не дѣлала его ни апатичнымъ, ни малоподвижнымъ, хотя при его хлопотливости причиняла ему немало бѣдъ; такъ, на моей памяти онъ при паденіи изъ экипажа разъ сломалъ себѣ ногу, а въ другой разъ—руку. Чуть ли онъ и умеръ не вслѣдствіе одного изъ этихъ паденій, а умеръ онъ или въ самомъ концѣ 40-хъ годовъ, или въ началѣ 50-хъ. Впослѣдствіи онъ изъ Малой Разводной переселился въ Большую Разводную, лежавшую на 5 верстъ выше по Ангарѣ, гдѣ выстроилъ себѣ небольшой домикъ. Въ этомъ домикѣ одно время гостили декабристы Бестужевы, Николай и Михаилъ Александровичи. По отзывамъ товарищей, Николай принадлежалъ къ числу умнѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей своего времени; среднiй же братъ Александръ, извѣстный подъ литературнымъ именемъ Марлинскаго, оставался на поселеніи недолго и уѣхалъ на Кавказъ, гдѣ ему позволено было поступить въ военную службу рядовымъ, а вскорѣ былъ убитъ. Братья Бестужевы были переведены на жительство за Байкалъ въ Селенгинскъ, гдѣ оставили по себѣ отличную память, такъ какъ много содѣйствовали поднятію этого небольшаго городка какъ въ умственномъ, такъ и въ эконо-

А. П. Юшневскій.

Тип. К. Ѳ. Александрова.

мическомъ отношеніи. Ихъ труды и участіе въ обученіи дѣтей дали впослѣдствіи такихъ хорошихъ и образованныхъ сибирскихъ купцовъ, каковы были Старцевы и Лушниковы. Н. А. Бестужевъ и умеръ въ Селенгинскѣ; М. А., женившись на селенгинкѣ, дожилъ до амнистіи и умеръ въ Москвѣ по возвращеніи.

Кромѣ товарищей нерѣдко посѣщали Юшневскихъ въ качествѣ гостей и кое-кто изъ образованныхъ городскихъ обывателей; Юшневскій былъ большой хлѣбосолъ и очень любилъ угощать малорусскими и польскими блюдами, а потому гости эти нерѣдко оставались къ обѣду. Во время нашей жизни у него онъ отвелъ на дворѣ небольшое мѣсто передъ окнами, огородилъ его частоколомъ и посѣялъ кукурузу; няньчился онъ съ ней съ удивительнымъ стараніемъ, самъ поливалъ, укрывалъ отъ утренниковъ и добился-таки своего; я помню, съ какимъ торжествомъ онъ потомъ угощалъ за обѣдомъ своихъ гостей разваренной кукурузой. Гости ѣли этотъ неизвѣстный до того въ Сибири продуктъ, а хозяинъ былъ очень доволенъ своей побѣдой надъ суровымъ климатомъ. Вообще за довольно обширнымъ своимъ огородомъ онъ слѣдилъ самъ, хотя поддерживалъ его исключительно для своей домашней потребности; сельскимъ же хозяйствомъ вовсе не занимался.

Не смотря на это, деревенское населеніе относилось къ нему съ большимъ уваженіемъ и часто обращалось за совѣтомъ. Смутно припоминаю, что за преобладаніе вліянія на мірскія дѣла боролись тогда въ Малой Разводной два мужика, оба Петры по имени и которыхъ въ различіе, по росту, одного называли Петруха большой, а другаго—Петруха малый; вся деревня подѣлилась между этими предводителями на двѣ партіи, отношенія между которыми до того обострились въ описываемое время, что дѣло часто доходило до ссоръ и потасовокъ, послѣ чего міръ обращался къ Юшневскому съ просьбою разсудить ихъ дѣло. Нерѣдко А. П. съ свойствен-

нымъ ему юморомъ разсказывалъ за обѣдомъ, какъ къ нему поутру въ 10-й разъ приходилъ то тотъ, то другой изъ крестьянъ, какъ къ посреднику для разбора ихъ пререканій то изъ-за бабы, то изъ-за какой нибудь оглобли и т. п.

V.

Лѣто 1842 г., которое мы прожили у Юшневскихъ, прошло очень тревожно для Иркутска. Оно ознаменовалось эпидеміей страшныхъ пожаровъ, вслѣдствіе поджоговъ сначала въ восточной Россіи, а потомъ въ Сибири: сначала въ нѣсколько пріемовъ горѣла Казань, затѣмъ чуть не до тла выгорѣла Пермь, сильно пострадалъ Томскъ и наконецъ очередь дошла до Иркутска. Въ городѣ одновременно во многихъ мѣстахъ были подняты подметныя письма, въ которыхъ населеніе предупреждалось приблизительно за недѣлю впередъ, что такого-то числа іюля городъ будетъ зажженъ съ разныхъ концовъ и предназначается къ полному истребленію огнемъ. Въ виду дошедшихъ уже извѣстій о томъ, какія ужасныя бѣдствія причинили поджоги, обративши названные выше города въ груды пепла и оставивши тысячи жителей безъ крова и безъ средствъ, невозможно было пренебречь такими предостереженіями, а потому весь Иркутскъ всполошился и былъ охваченъ паникой; не только полиція усилила свой надзоръ, но и домохозяева сами образовали изъ себя патрули, обходившіе денно и нощно свои участки. Какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, паника порождала появленіе ложныхъ слуховъ о найденныхъ будто бы въ разныхъ мѣстахъ приготовленіяхъ для поджога въ видѣ смоленныхъ стружекъ, пакли, о поимкѣ какихъ-то подозрительныхъ людей и т. п. — и

возросла до того, что наканунѣ предсказаннаго для пожара дня болѣе зажиточная и трусливая часть населенія стала складывать свои пожитки на воза и выѣзжать въ разныхъ направленіяхъ изъ города за рѣки, благо городъ съ 3-хъ сторонъ окруженъ водою; многіе выбирались на ближайшія къ Иркутску горы, Верхоленскую и Кайскую, расчитывая, что это самыя удобныя обсерваторіи для наблюденія за ходомъ пожара въ городѣ. Грозный день наступилъ и прошелъ безъ всякихъ приключеній, такъ же благополучно миновали и послѣдующіе дни, и населеніе стало успокоиваться и понемногу возвращаться на свои мѣста. Для насъ, дѣтей, эти дни общей тревоги, напротивъ, въ Разводной прошли шумнѣе и веселѣе обычныхъ, потому что одинъ изъ иркутскихъ знакомыхъ Юшневскихъ, купецъ Баснинъ, прислалъ къ намъ своихъ сыновей, чтобы удалить ихъ въ безопасное мѣсто на случай пожара,—и это увеличеніе нашей компаніи немало способствовало большому оживленію нашихъ игръ и шалостей, но дня черезъ два гости наши вернулись въ отчій домъ, и у насъ снова воцарился прежній порядокъ и благочиніе.

Съ началомъ осени мы стали поджидать возвращенія отца и матери изъ Нижняго, — и у меня живо сохранился въ памяти тотъ моментъ, когда мы, въ ожиданіи ихъ оставаясь въ Иркутскѣ, дождались, какъ въ концѣ сентября, въ свѣтлое, солнечное утро, часу въ 10-мъ отворились ворота нашего дома и вкатилъ пузатый тарантасъ, покрытый грязью и пылью,—и мы бросились съ крыльца въ объятія прибывшихъ.

Мы продолжали ѣздить къ Юшневскому и оставались у него съ понедѣльника до субботы, и не могу навѣрное припомнить, но, кажется, въ январѣ 1844 г. нашимъ занятіямъ суждено было внезапно прерваться. Случилось, что въ это время умеръ въ деревнѣ Оёкъ (верстахъ въ 30 отъ Иркутска) поселенный тамъ декабристъ Вадковскій; Юшневскій отправился на похороны товарища и

самъ тамъ скончался совершенно неожиданно для своихъ друзей; во время заупокойной обѣдни, при выходѣ съ Евангеліемъ, онъ поклонился въ землю и когда стоявшіе подлѣ него товарищи, удивленные, что онъ долго не поднимается на ноги, рѣшились тронуть его, то онъ уже былъ мертвъ. Извѣстіе это тотчасъ же дошло до насъ, и мы много горевали о смерти учителя, къ которому успѣли сильно привязаться.

Я очень хорошо понимаю, что изъ моихъ поверхностныхъ штриховъ, набросанныхъ подъ руководствомъ дѣтской памяти и сильно затертыхъ временемъ, читатель не въ состояніи будетъ сдѣлать себѣ ясное представленіе о личности Юшневскаго; тѣмъ не менѣе я рѣшилъ отдать въ печать свои воспоминанія, отчасти въ надеждѣ, что они могутъ все-таки современемъ пригодиться, какъ источники, а отчасти смотря на нихъ, какъ на свой нравственный долгъ въ отношеніи наставника. Если я не въ силахъ показать теперь точно и въ деталяхъ педагогическіе пріемы Юшневскаго и тайну его вліянія на наши дѣтскіе умы и души, то ужъ одно то глубокое благоговѣніе, какое сохранилось во мнѣ въ его памяти, доказываетъ, что Юшневскій, не будучи педагогомъ по профессіи, былъ воспитатель далеко не заурядный. Впослѣдствіи я слышалъ отъ декабристовъ, что онъ и въ ихъ кругу выдѣлялся, на-ряду съ Николаемъ Бестужевымъ, Никитой Муравьевымъ и Лунинымъ, своимъ необыкновенно свѣтлымъ умомъ и образованностью и пользовался общимъ уваженіемъ за благородство характера и непоколебимость убѣжденій; притомъ же онъ и по возрасту былъ однимъ изъ старшихъ изъ нихъ и во время открытія заговора состоялъ уже въ званіи интенданта южной арміи и въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Вдова его вернулась до общей амнистіи въ Россію и умерла въ 60-хъ годахъ, кажется, въ Кіевѣ, въ глубокой старости.

. . . .

VI.

Черезъ нѣсколько дней отецъ снова самъ повезъ насъ въ Малую Разводную, предупредивъ, что мы увидимъ тамъ своего новаго будущаго учителя. Съ сжатымъ сердцемъ вошелъ я въ знакомый домикъ и почти не узналъ самой большой комнаты — залы: всѣ стѣны ея были обтянуты чернымъ, въ переднемъ углу между двумя окнами помѣщался католическій алтарь, убранный также чернымъ коленкоромъ и уставленный длинными восковыми свѣчами; въ комнатахъ пахло ладономъ. Марья Казиміровна вышла къ намъ заплаканная, тоже вся въ черномъ и при видѣ насъ разразилась рыданіями; понятно, и наши нервы не могли выдержать такого испытанія и мы тоже горько разрыдались. Но тутъ вскорѣ подошелъ къ намъ будущій нашъ учитель, увелъ насъ за руки въ ту комнату, которая во время пребыванія нашего въ Разводной служила намъ классной, и подвергъ легкому экзамену наши свѣдѣнія во французскомъ языкѣ. Благоговѣніе и привязанность, какія внушилъ намъ къ себѣ покойный Юшневскій, были такъ глубоки, что я помню, съ какимъ недоброжелательствомъ и даже враждебнымъ чувствомъ смотрѣли мы на человѣка, который долженъ былъ замѣнить его для насъ, и какъ неохотно ему отвѣчали. Учитель этотъ былъ Александръ Викторовичъ Поджіо, также декабристъ, но котораго мы до сихъ поръ ни разу не видали у Юшневскихъ. Съ этимъ наставникомъ связали меня впослѣдствіи самыя теплыя и дружескія отношенія, продолжавшіяся до самой его смерти, постигшей его въ 1873 году, а потому я имѣю возможность привести о немъ болѣе подробныя свѣдѣнія.

Длинные черные волосы, падавшіе густыми прядями на плечи, красивый лобъ, черные выразительные глаза, орлиный носъ, при среднемъ ростѣ и изящной пропор-

ціональности членовъ, давали нашему новому наставнику привлекательную внѣшность и вмѣстѣ съ врожденною подвижностью въ движеніяхъ и съ живостью характера ясно указывали на его южное происхожденіе. Подъ этой красивой наружностью скрывался человѣкъ рѣдкихъ достоинствъ и рѣдкой души. Тяжелая ссылка и испорченная жизнь только закалили въ немъ рыцарское благородство, искренность и прямодушіе въ отношеніяхъ, горячность въ дружбѣ и тому подобныя прекрасныя свойства итальянской расы, но при этомъ придали ему рѣдкую мягкость, незлобіе и терпимость къ людямъ, которыя до конца его жизни дѣйствовали обаятельно на всѣхъ, съ кѣмъ ему приходилось сталкиваться. Я много странствовалъ по свѣту, много знавалъ хорошихъ людей, однако другаго такого идеальнаго типа альтруиста мнѣ не приходилось встрѣчать, хотя, вѣруя въ человѣчество, не сомнѣваюсь, что, быть можетъ, пока въ рѣдкихъ экземплярахъ, онъ существуетъ вездѣ. Съ безукоризненной чистотой своихъ нравственныхъ правилъ, съ непоколебимою вѣрностью имъ и послѣдовательностью во всѣхъ своихъ поступкахъ и во всѣхъ мелочахъ жизни, съ неподкупною строгостью къ самому себѣ,—онъ соединялъ необыкновенную гуманность къ другимъ людямъ и снисходительность къ ихъ недостаткамъ и въ самомъ несимпатичномъ человѣкѣ онъ умѣлъ отыскать хорошую человѣчную сторону, искру добра и старался раздуть эту искру; дѣлалъ онъ это какъ то просто, безъискусственно, въ силу инстинктивной потребности своей прекрасной натуры, не задаваясь никакимъ доктринерствомъ, никакою преднамѣренною тенденціозностью. Оттого-то, будучи человѣкомъ средняго, невыдающагося ума, онъ производилъ сильное впечатлѣніе на окружающихъ, главное своею нравственной чистотой и духовною ясностью, и всякій въ бесѣдѣ съ нимъ ощущалъ, какъ съ него постепенно сходила черствая кора условныхъ привычекъ и ходячей морали, и въ его при-

сутствіи всякій чувствовалъ себя чище и становился примиреннѣе съ людьми. За то всѣ знавшіе его не только къ нему сильно привязывались, но у многихъ любовь эта доходила до боготворенія. Такимъ вспоминается мнѣ Поджіо и въ своей сибирской обстановкѣ, въ сношеніяхъ съ темнымъ міромъ сибирскаго населенія, такимъ же я зналъ его впослѣдствіи вольнымъ человѣкомъ, и въ Швейцаріи, и въ Италіи, родинѣ его предковъ, куда онъ попалъ уже дряхлѣющимъ старикомъ; но и въ этотъ послѣдній періодъ своей жизни, когда старость и недуги часто приковывали къ постели его изнуренное тѣло, онъ продолжалъ сохранять юношескую вѣру въ человѣка, чуткую отзывчивость къ чужому горю и живо интересоваться міровыми событіями. Хотя въ жилахъ его текла итальянская кровь и къ Италіи онъ чувствовалъ естественную нѣжность, однако въ душѣ онъ былъ чисто русскій человѣкъ и безгранично любилъ Россію, но не тою слѣпою любовью, которая закрываетъ глаза на тѣневыя стороны и на кричащіе недостатки и возводитъ грубость понятій и нравовъ въ идеалъ самобытности, а тѣмъ просвѣщеннымъ чувствомъ истиннаго патріота, которое видитъ первое условіе для благоденствія родины въ правильномъ и постепенномъ прогрессѣ, жертвуетъ собственною личностью для достиженія этого благоденствія и не разочаровывается и не падаетъ духомъ, когда его самопожертвованіе не приноситъ явнаго результата. Казалось бы, этому полу-итальянцу слѣдовало возненавидѣть Россію, гдѣ лучшая половина его жизни прошла въ тюрьмѣ и сибирскомъ изгнаніи, въ борьбѣ съ суровымъ климатомъ, невѣжествомъ и чуть не бѣдностью, но тотъ духовный патріотизмъ, который обыкновенно противупоставляется квасному, только растетъ и закаляется отъ всякихъ лишеній и личныхъ жертвъ, принесенныхъ для блага родины, — и 75-ти лѣтній Поджіо былъ искрененъ, какъ всегда, когда, любуясь со мной изумительной панорамой Флоренціи съ S.

Miniato, говорилъ мнѣ: „что за роскошь, что за рай! и мечталъ ли я, что когда-нибудь увижу все это собственными глазами? но не думайте, любезный другъ, что я желалъ бы здѣсь закрыть на вѣки мои глаза и быть похороненнымъ въ этой чудной и живописной могилѣ; нѣтъ, я желалъ бы умереть непремѣнно въ Россіи и тамъ оставить мои кости». Онъ сдержалъ и это свое слово; на слѣдующее же лѣто его умирающимъ перевезли въ Россію, гдѣ онъ черезъ нѣсколько недѣль и скончался. А насколько близка и родственна была связь у этого образцоваго русскаго патріота съ Италіей—это сейчасъ будетъ видно изъ тѣхъ біографическихъ свѣдѣній о немъ, которыя я сообщу.

VII.

Александръ Викторовичъ Поджіо происходилъ изъ древней итальянской фамиліи. Отецъ его имѣлъ имѣнье и жилъ въ верхней Италіи, въ провинціи Новара, въ концѣ прошлаго столѣтія, когда началась французская революція, нарушившая по сосѣдству и въ Италіи весь строй мирной обывательской жизни. Онъ былъ друженъ съ кѣмъ-то изъ числа тѣхъ французскихъ легитимистовъ, которыхъ волна первой революціи выбросила въ Россію, и именно въ Одессу, и этотъ пріятель сталъ зазывать Поджіо-отца перебраться изъ Италіи, волнуемой постоянными смутами, въ мирную Одессу, чтобы вмѣстѣ работать надъ созиданіемъ новаго города и надъ распространеніемъ культурной гражданственности на дѣвственной почвѣ южной Россіи. Поджіо послѣдовалъ этому зову и съ женой переселился въ Одессу, гдѣ такимъ образомъ вмѣстѣ съ его болѣе извѣстными товарищами—герцогомъ Ришелье, Ланжерономъ, Де-Рибасомъ—сдѣ-

лался однимъ изъ первыхъ піонеровъ и устроителей этого города. Онъ выстроилъ себѣ тамъ домъ, пріобрѣлъ и благоустроилъ имѣнье въ Кіевской губерніи, далъ своимъ двумъ сыновьямъ, Осипу и Александру, прекрасное воспитаніе и опредѣлилъ ихъ въ гвардію, именно въ Преображенскій полкъ. Послѣ смерти отца молодые Поджіо продолжали служить въ Петербургѣ, а мать, къ которой они питали самую нѣжную любовь, стала жить въ Кіевскомъ имѣньѣ и завѣдывать хозяйствомъ. Братья скоро завоевали себѣ видное положеніе какъ на службѣ, такъ и среди гвардейской молодежи и петербургскаго общества, такъ какъ отличались изяществомъ и красотой, прекраснымъ воспитаніемъ и своими рыцарски благородными и въ то же время живыми, чисто-южными характерами. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго, что братья вскорѣ очутились въ числѣ первыхъ въ томъ новомъ движеніи, которое, по возвращеніи нашихъ войскъ изъ Парижа, распространилось въ гвардіи и въ арміи, точно также какъ нѣтъ ничего естественнѣе, что они со всею горячностью своихъ 20-лѣтнихъ южныхъ темпераментовъ увлеклись идеею возрожденія Россіи путемъ коренныхъ реформъ и отмѣны крѣпостнаго права. Примѣрно до 1820 г. братья Поджіо считались въ числѣ самыхъ ревностныхъ пропагандистовъ новыхъ идей и самыхъ дѣятельныхъ посѣтителей тайныхъ совѣщаній, но около этого времени революціонный пылъ среди ихъ товарищей сталъ замѣтно остывать. Многіе изъ болѣе пылкихъ молодыхъ людей стали, видимо, разочаровываться въ успѣхѣ своихъ вожделѣній и перестали почти посѣщать засѣданія общества; такъ было и съ Поджіо, изъ которыхъ старшій женился, у него пошли дѣти и онъ отдался семейной жизни, тогда какъ Александръ Викторовичъ, чувствуя полный разладъ своихъ убѣжденій съ служебною дѣятельностью и потерявъ всякую надежду на близкую перемѣну къ лучшему, рѣшилъ бросить службу, вышелъ въ 1822 или 1823 году въ от-

ставку и поѣхалъ помогать матери въ деревенскомъ хозяйствѣ. Имѣніе это, какъ сказано выше, находилось въ Кіевской губерніи, т. е. какъ разъ въ томъ районѣ, гдѣ служили и дѣйствовали такія личности, какъ Пестель, Сергѣй Муравьевъ-Апостолъ Юшневскій и др., а потому Поджіо снова очутился въ кругу своихъ единомышленниковъ. Но и здѣсь онъ не нашелъ ничего такого, что обѣщало бы скорое осуществленіе его либеральныхъ стремленій, а потому еще болѣе разочарованный этимъ и не удовлетворенный своею сельскохозяйственною дѣятельностью, онъ уже составилъ планъ покинуть Россію и искать для себя новой жизни въ свободной Америкѣ. Помнится, у него уже былъ взятъ и заграничный паспортъ, какъ вдругъ скончался Александръ I-й, произошло кровавое столкновеніе на Сенатской площади, началось слѣдствіе, аресты и по дошедшимъ до А. В. извѣстіямъ объ арестованныхъ личностяхъ ему было очевидно, что скоро очередь дойдетъ и до него. Такъ оно вскорѣ и случилось: однажды А. В. былъ приглашенъ по сосѣдству на обѣдъ къ извѣстному герою 1812 года, генералу Раевскому, тестю декабриста кн. Волконскаго, въ его богатое имѣніе Грушевку; во время обѣда послышались колокольчики, почтовая тройка въѣхала въ ворота и вошедшій фельдъегерь предъявилъ приказъ объ арестованіи А. В. Поджіо и немедленномъ доставленіи его въ Петербургъ. Содержаніе въ Петропавловской крѣпости, въ Рогервикѣ, въ Шлиссельбургѣ, ссылка въ Сибирь и товарищеская жизнь въ Читѣ и Петровскомъ заводѣ—все это неоднократно разсказано въ запискахъ, изданныхъ многими декабристами, а потому я пропускаю мимо, тѣмъ болѣе, что изъ разсказовъ А. В. Поджіо за это время я ничего не могъ бы прибавить такого, что дало бы новыя и доселѣ еще неизвѣстныя подробности.

Гораздо болѣе тяжелая и трагическая участь постигла Осипа Викторовича Поджіо. Онъ недолго прожилъ съ

своей первой женой, которая умерла, оставивъ двухъ малютокъ, сыновей Александра и Льва, и молодой вдовецъ вскорѣ затѣмъ влюбился въ дочь бывшаго тогда влiятельнаго статсъ-секретаря, а впослѣдствiи таврическаго генералъ-губернатора Бороздина. Дѣвушка слыла первоклассной красавицей въ Петербургѣ, а потому у Поджiо было много соперниковъ, но онъ восторжествовалъ надъ всѣми и бракъ по обоюдной любви былъ заключенъ. Парочка вышла прелестная и, казалось, всякiй могъ бы ей предсказать на много лѣтъ безмятежной, счастливой жизни, а между тѣмъ случилось такъ, что едва прошло нѣсколько мѣсяцевъ послѣ свадьбы и молодые еще не успѣли выйти изъ перваго угара страсти, какъ началось дѣло декабристовъ и О. В. Поджiо былъ взятъ и посаженъ въ Петропавловскую крѣпость за прежнее его весьма дѣятельное участiе въ заговорѣ, хотя въ послѣднее время онъ уже никакой роли въ немъ и не игралъ. Пылкiй по своей южной, итальянской натурѣ, несчастный узникъ бился, какъ птица въ клѣткѣ, въ темной каморкѣ Петропавловской крѣпости; онъ чуть не сходилъ съ ума, вспоминая жену, дѣтей и недавнiя картины своего идеальнаго счастья и сравнивая съ ужасной обстановкой тюрьмы и съ тѣмъ безвыходнымъ будущимъ, которое вставало передъ нимъ. Мѣсяцы проходили за мѣсяцами и даже потомъ, когда жены декабристовъ получили разрѣшенiе видаться съ своими мужьями въ крѣпости, Поджiо не могъ не только добиться такого свиданiя, но даже получить хоть какое нибудь извѣстiе о своей женѣ и дѣтяхъ, потому что тесть его, Бороздинъ, какъ благонамѣренный чиновникъ, хотѣлъ во что бы то ни стало, чтобы его дочь порвала всякую связь съ своимъ преступнымъ мужемъ и смотрѣла на него какъ на покойника; для этого онъ не только не пускалъ жену въ крѣпость, но принялъ всѣ мѣры, чтобы ни письма отъ мужа къ женѣ, ни отъ жены къ мужу не доходили по назначенiю. Однако, какъ онъ ни старался очернить

зятя въ глазахъ дочери, послѣдняя рвалась къ мужу и сильно тосковала, не будучи въ состояніи добиться о немъ извѣстій, и когда наконецъ рѣшеніе суда состоялось и декабристы отправились въ сибирскую ссылку, а вслѣдъ за ними поѣхали туда же и ихъ жены, то и г-жа Поджіо, несмотря на всѣ уговоры отца, стала собираться въ дальній путь, чтобы розыскать въ Сибири своего мужа. Тогда Бороздинъ прибѣгнулъ къ рѣшительному, безчеловѣчному средству, чтобы разлучить навсегда дочь съ мужемъ: онъ сталъ хлопотать и, при его большихъ связяхъ, ему удалось добиться приказа—не отправлять его зятя въ Сибирь, а оставить его въ крѣпости на неопредѣленное время, и въ то время, какъ А. В. Поджіо и всѣ товарищи давно уже проживали дружеской и тѣсно-сплоченной корпораціей въ глубинѣ Азіи, ничуть не болѣе виновные другихъ Осипъ Викторовичъ да Батенковъ несли свое одиночное заточеніе въ Петропавловской крѣпости. Такъ прошло 8 длинныхъ лѣтъ; напрасно въ это время бѣдная жена силилась разузнать что-нибудь о мужѣ, она убѣдилась только, что его нѣтъ среди товарищей на сибирской каторгѣ, а гдѣ онъ, что съ нимъ, живъ или умеръ?—никто ей не могъ объяснить; зналъ истину только ея отецъ, но онъ молчалъ и попрежнему употреблялъ всѣ усилія развлечь свою дочь и заставить ее забыть свое прошлое. Наконецъ, черезъ 8 лѣтъ это ему удалось, и она вышла въ Крыму снова замужъ, а когда этотъ вторичный бракъ состоялся, тогда и для О. В. Поджіо открылись двери его тюрьмы и онъ изъ крѣпости былъ отправленъ въ Сибирь къ товарищамъ. Ни годы, ни крѣпость не умалили его любви къ женѣ, и онъ ѣхалъ въ Иркутскъ, увѣренный, что онъ найдетъ ее тамъ, а если нѣтъ, то выпишетъ немедленно къ себѣ. Хотя до брата и его друзей дошло уже извѣстіе о вторичномъ бракѣ жены О. В., но ни у кого не хватило духу сообщить эту вѣсть ему и нанести новый ударъ бѣдняку, уже такъ много переиспытавшему въ

крѣпости, и который теперь со всѣмъ пыломъ итальянской фантазіи строилъ планы о возобновленіи своего, такъ неожиданно и на такой длинный срокъ нарушеннаго, семейнаго счастія. Пришлось нѣкоторое время обманывать его и, мало-по-малу подготовляя къ удару, скрывать истину, пока она не была открыта ему, кажется, по просьбѣ декабристовъ, тогдашнимъ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири В. Я. Руппертомъ.

Я помню очень хорошо фигуру Осипа Викторовича: въ немъ почти не удержался итальянскій типъ, онъ мало имѣлъ сходства съ братомъ и, въ противоположность послѣднему, былъ высокъ ростомъ, широкоплечъ и далеко не такой выраженный брюнетъ. Его атлетическое сложеніе было однако совсѣмъ расшатано крѣпостнымъ заключеніемъ, онъ сильно страдалъ скорбутомъ, не выносилъ ни твердой, ни горячей пищи, и я помню, какъ свою тарелку супа онъ выносилъ всегда въ холодныя сѣни, чтобы остудить ее. Скорбутъ же, вѣроятно, и былъ причиной его ранней смерти, такъ какъ онъ умеръ въ Иркутскѣ еще въ концѣ 40-хъ годовъ.

VIII.

Въ описываемое время, т. е. въ 40-хъ годахъ, иркутскіе декабристы пользовались уже значительной свободой; большинство изъ нихъ жило въ окрестныхъ деревняхъ съ правомъ время отъ времени пріѣзжать въ городъ, а вскорѣ многіе изъ нихъ и совсѣмъ перебрались въ Иркутскъ, по крайней мѣрѣ, на зимніе мѣсяцы, и первый примѣръ тому подали, помнится, Волконскіе. Кромѣ названной мною разводинской колоніи, въ окрестностяхъ Иркутска проживали еще слѣдующіе декабристы: Трубецкой, Волконскій, Никита и Александръ

Муравьевы, оба брата Поджіо, Сутгофъ, Мухановъ, Пановъ, докторъ Вольфъ, Бечасновъ—и размѣстились они въ такомъ порядкѣ: Трубецкой съ семьей, Сутгофъ съ женой, Вадковскій и Лунинъ жили въ большомъ селѣ Оёкъ, въ 30 верстахъ отъ Иркутска; но эта колонія въ 40-хъ годахъ совсѣмъ уже разсѣялась, потому что Вадковскій, какъ мы сказали выше, умеръ, Сутгофъ получилъ разрѣшеніе вступить рядовымъ въ кавказскую армію, а Лунинъ, если не ошибаюсь, еще въ 1841 г. за написанное имъ возраженіе противъ „донесенія слѣдственной коммиссіи“ по дѣлу декабристовъ и дошедшее до свѣдѣнія императора Николая, былъ внезапно арестованъ и сосланъ въ Акатуевскій рудникъ нерчинскихъ заводовъ, гдѣ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ и умеръ. Волконскіе жили въ деревнѣ Урикъ, въ 17 верстахъ отъ Иркутска, гдѣ у нихъ былъ свой помѣстительный домъ и обширное сельское хозяйство, которымъ занимался съ большимъ увлеченіемъ старикъ Волконскій. Въ Урикѣ же жили Никита и Александръ Михайловичи Муравьевы, Николай Алексѣевичъ Пановъ и докторъ Фердинандъ Богдановичъ Вольфъ. Никита Михайловичъ Муравьевъ въ это время былъ вдовъ, похоронивъ свою самоотверженную жену, которую всѣ декабристы боготворили какъ своего ангела хранителя; любовь эту они перенесли на оставшуюся послѣ нея дочку Софью, которую всѣ называли не иначе какъ Нонушка. Въ половинѣ 40-хъ годовъ Нонушку увезли для воспитанія въ Москву, я уже не засталъ ея въ Урикѣ и только помня, какъ часто и съ какою нѣжностью произносилось ея имя стариками декабристами, я впослѣдствіи, будучи въ Москвѣ студентомъ, воспользовался случаемъ ее видѣть и нашелъ ее чрезвычайно симпатичной. Тогда она была уже замужемъ за Бибиковымъ и умерла въ Москвѣ въ 1892 г. Самъ Никита Михайловичъ Муравьевъ вскорѣ же умеръ въ Урикѣ, гдѣ и похороненъ рядомъ съ Пановымъ. Другой братъ А. М. Муравьевъ женился на гувернанткѣ дѣ-

тей Волконскихъ и еще въ конпѣ 40-хъ годовъ получилъ разрѣшеніе поступить на государственную службу въ Западной Сибири и дослужился въ Тобольскѣ до званія совѣтника губернскаго правленія. Докторъ Вольфъ умеръ тоже въ первой половинѣ 40-хъ годовъ, а потому я его не помню, но память о немъ долго сохранялась въ иркутскомъ обществѣ, какъ о весьма искусномъ и гуманномъ врачѣ; вѣра въ него была такая, что, и двадцать лѣтъ спустя, мои иркутскіе паціенты мнѣ показывали его рецепты, уже выцвѣтшіе отъ времени и хранимые съ благоговѣніемъ какъ святыня, спасшая нѣкогда ихъ отъ смерти. — Наконецъ, братья Поджіо и Мухановъ пріютились въ 7 верстахъ отъ Урика, въ глухой деревушкѣ Усть-Куда, да Бечасновъ жилъ особнякомъ въ Смоленщинѣ, въ 12 вер. отъ Иркутска.

Двумя главными центрами, около которыхъ группировались иркутскіе декабристы, были семьи Трубецкихъ и Волконскихъ, такъ какъ онѣ имѣли и средства жить шире и обѣ хозяйки—Трубецкая и Волконская своимъ умомъ и образованіемъ, а Трубецкая—и своею необыкновенною сердечностью, были какъ бы созданы, чтобы сплотить всѣхъ товарищей въ одну дружескую колонію, а присутствіе дѣтей въ обѣихъ семьяхъ вносило еще больше оживленія и теплоты въ отношенія. Нельзя не пожалѣть, что такіе высокіе и цѣльные по своей нравственной силѣ типы русскихъ женщинъ, какими были жены декабристовъ, не нашли до сихъ поръ ни должной оцѣнки, ни своего Плутарха, потому что, если революціонная дѣятельность декабристовъ мужей, по условіямъ времени, не допускаетъ насъ относиться къ нимъ съ совершеннымъ объективизмомъ и историческимъ безпристрастіемъ, то ничто не мѣшаетъ признать въ ихъ женахъ такіе классическіе образцы самоотверженной любви, самопожертвованія и необычайной энергіи, образцы, какими въ правѣ гордиться страна, вырастившая ихъ, и которые безъ всякаго зазора и незави-

симо всякой политической тенденціозности могли бы служить въ женской педагогіи во многихъ отношеніяхъ идеальными примѣрами для будущихъ поколѣній. Какъ не почувствовать благоговѣйнаго изумленія и не преклониться передъ этими молоденькими и слабенькими женщинами, когда онѣ, выросшія въ холѣ и въ атмосферѣ столичнаго большаго свѣта, покинули, часто наперекоръ совѣтамъ своихъ отцовъ и матерей, весь окружавшій ихъ блескъ и богатство, порвали со всѣмъ своимъ прошлымъ, съ родными и дружескими связями, и бросились, какъ въ пропасть, въ далекую Сибирь съ тѣмъ, чтобы розыскать своихъ несчастныхъ мужей въ каторжныхъ рудникахъ и раздѣлить съ ними ихъ участь, полную лишеній и безправія ссыльно-каторжныхъ, похоронивъ въ сибирскихъ тундрахъ свою молодость и красоту. Чтобы еще болѣе оцѣнить величину подвига Трубецкой, Волконской, Муравьевой, Нарышкиной, Энтальцевой, Юшневской, Фонъ-Визиной, Анненковой, Ивашевой и др., надо помнить, что все это происходило въ 20-хъ годахъ, когда Сибирь представлялась издали какимъ-то мрачнымъ, ледянымъ адомъ, откуда, какъ съ того свѣта, возвратъ былъ невозможенъ и гдѣ властвовалъ произволъ такихъ легендарныхъ жестокосердыхъ воеводъ, которыми были только что сошедшіе со сцены правители Пестель, Трескинъ и другіе. Некрасовъ попробовалъ было представить необычайную духовную силу, обнаруженную этими женщинами въ ихъ борьбѣ съ безчисленными препятствіями, въ двухъ поэмахъ, посвященныхъ памяти Трубецкой и Волконской, но при всемъ нашемъ уваженіи къ его таланту и не смотря на много горячихъ, истинно вдохновенныхъ строкъ, въ цѣломъ эти поэмы оставляютъ насъ неудовлетворенными и кажутся и холодными, и мѣстами натянутыми, оттого-ли что самъ поэтъ въ эту пору уже и постарѣлъ и зачерствѣлъ, и недостаточно проникнутъ былъ благодарнымъ сюжетомъ, или же слишкомъ былъ онъ связанъ цензурными условіями, чтобы

свободно и безъискусственно подняться до нравственной высоты вдохновившихъ его героинь и очертить ихъ болѣе натуральными красками. Несомнѣнно, однако, что при описанiи путешествiй Трубецкой и Волконской Некрасовъ пользовался многими достовѣрными источниками. Такъ, въ концѣ 50-хъ годовъ въ Иркутскѣ я собственными глазами читалъ подлинное предписанiе отъ 1826 года сибирскаго генералъ-губернатора Лавинскаго, находившагося въ Петербургѣ, иркутскому губернатору Цеймерну; въ этой бумагѣ Лавинскiй сообщалъ губернатору о предстоящемъ прiѣздѣ въ Иркутскъ двухъ женъ декабристовъ, Нарышкиной и Энтальцевой, для слѣдованiя за мужьями и предписывалъ ему употребить всевозможныя мѣры, чтобы убѣдить отказаться этихъ дамъ отъ ихъ намѣренiя; для этого онъ совѣтовалъ сначала дѣйствовать ласковыми убѣжденiями, представляя путешественницамъ, что, вернувшись обратно въ Россiю, онѣ сохранятъ свои имущественныя и сословныя права, а не сдѣлаются безправными женами каторжныхъ; въ случаѣ же, если бы Цеймернъ уговариванiемъ не могъ достигнуть своей цѣли, то ему предписывалось перемѣнить ласковый тонъ на рѣзкiй, пробовать дѣйствовать устрашенiемъ и особенно не скупиться на преувеличенныя и самыя черныя краски, изображая, что значитъ осеннее путешествiе по Байкалу, когда осеннiе вѣтры зачастую носятъ парусныя суда цѣлый мѣсяцъ по озеру, не позволяя пристать къ берегамъ, и когда экипажъ рискуетъ погибнуть отъ голода и холода. Генералъ-губернаторъ давалъ самыя подробныя указанiя, какъ запугать двухъ слабыхъ женщинъ въ дикомъ краю, и я очень жалѣю, что не имѣлъ возможности снять копiю съ этого любопытнаго предписанiя и привести его въ подлинныхъ выраженiяхъ; оно бы самымъ документальнымъ образомъ доказало, что Некрасовъ, приводя дiалогъ между княгиней Трубецкой и губернаторомъ въ Иркутскѣ, не выдумалъ его отъ себя и былъ безусловно правъ съ точки

зрѣнія исторической правды, вложивъ въ уста губернатора замѣчательныя слова:

„Простите! да, я мучилъ васъ
„И мучился и самъ,
„Но строгій я имѣлъ приказъ
„Преграды ставить вамъ!
„И развѣ ихъ не ставилъ я?
„Я дѣлалъ все, что могъ,
„Передъ судомъ душа моя
„Чиста, свидѣтель—Богъ!

Правъ онъ точно также, говоря отъ лица Волконской:

„Въ Иркутскѣ продѣлали то же со мной,
„Чѣмъ такъ Трубецкую терзали...

ибо всѣ эти самоотверженныя женщины должны были пройти черезъ сказанныя терзанія, когда высшая мѣстная власть, пользуясь ихъ беззащитностью въ дикомъ краѣ и незнакомствомъ съ нимъ, старалась всячески нагнать на нихъ ужасъ описаніемъ опасностей ихъ дальнѣйшей поѣздки и участи, ожидающей ихъ въ рудникахъ. Но ни одна изъ нихъ не дрогнула и не позволила отклонить себя отъ своего намѣренія. Сквозь тысячи преградъ натуральныхъ и искусственныхъ всѣ они добрались до мужей, безропотно исполняли свою миссію ангеловъ-хранителей и умерли, обожаемыя всѣми близко ихъ знавшими, хотя, увы! до сихъ поръ недостаточно оцѣненныя потомствомъ. Прискорбно мнѣ то, что и мои воспоминанія не прибавятъ ничего новаго къ характеристикѣ этихъ замѣчательныхъ женщинъ; хотя я имѣлъ случай видать нѣкоторыхъ изъ нихъ, именно Юшневскую и Волконскую очень часто, а Трубецкую изрѣдка, но не умѣлъ ни цѣнить ихъ, ни понимать, потому что находился еще въ томъ возрастѣ, который заставляетъ смотрѣть на взрослыхъ слишкомъ снизу вверхъ и цѣнить ихъ лишь постольку, поскольку они имѣютъ соприкосновеніе съ интересами личной дѣтской жизни.

IX.

Въ 1845 г. Трубецкіе, какъ я сказалъ выше, жили еще въ Оекскомъ селеніи въ большомъ собственномъ домѣ. Семья ихъ тогда состояла, кромѣ мужа и жены, изъ 3-хъ дочерей,—старшей Александры, уже взрослой барышни, двухъ меньшихъ прелестныхъ дѣвочекъ, Лизы—10 лѣтъ и Зины—8 лѣтъ, и только-что родившагося сына Ивана. Былъ у нихъ еще раньше сынъ Левъ, умершій въ Оекѣ въ 9-ти лѣтнемъ возрастѣ, общій любимецъ, смерть котораго долго составляла неутѣшное горе для родителей и только появленіе на свѣтъ новаго сына отчасти вознаградило ихъ въ этой потерѣ. Самъ князь Сергѣй Петровичъ былъ высокій, худощавый человѣкъ, съ некрасивыми чертами лица, длиннымъ носомъ, большимъ ртомъ, изъ котораго торчали длинные и кривые зубы; держалъ онъ себя чрезвычайно скромно, былъ малоразговорчивъ, и вслѣдствіе этого считался человѣкомъ ума рядоваго. О княгинѣ же, Катеринѣ Ивановнѣ, урожденной графинѣ Лаваль, мнѣ трудно что-нибудь сказать, потому-что я видалъ ее очень мало и мнѣ пришлось бы повторять только банальности и то съ чужихъ словъ; помню только, что она была небольшаго роста, съ пріятными чертами лица и большими кроткими глазами, и иного отзыва о ней не слыхалъ, какъ тотъ, что это была олицетворенная доброта, окруженная обожаніемъ не только своихъ товарищей по ссылкѣ, но и всего оекскаго населенія, находившаго всегда у ней помощь словомъ и дѣломъ. Князь тоже былъ очень добрый человѣкъ, а потому мудренаго ничего нѣтъ, что это свойство перешло по наслѣдству и къ дѣтямъ, и всѣ они отличались необыкновенною кротостью. Въ половинѣ 1845 года произошло открытіе дѣвичьяго института Восточной Сибири въ Иркутскѣ, куда Трубецкіе въ пер-

вый же годъ открытія помѣстили своихъ двухъ меньшихъ дочерей, и тогда же переселились на житье въ городъ, въ Знаменское предмѣстье, гдѣ купили себѣ домъ.

Мое сближеніе съ семьей Волконскихъ было болѣе короткое, а потому я могу разсказать о ней сравнительно больше; она заключалась тогда изъ мужа, жены, сына-подростка и дочери. Старикъ Волконскій, — ему уже тогда было около 60 лѣтъ,—слылъ въ Иркутскѣ большимъ оригиналомъ. Попавъ въ Сибирь, онъ какъ-то рѣзко порвалъ связь съ своимъ блестящимъ и знатнымъ прошедшимъ, преобразился въ хлопотливаго и практическаго хозяина и именно опростился, какъ это принято называть нынче. Съ товарищами своими онъ хотя и былъ друженъ, но въ ихъ кругу бывалъ рѣдко, а больше водилъ дружбу съ крестьянами; лѣтомъ пропадалъ по цѣлымъ днямъ на работахъ въ полѣ, а зимой—любимымъ его времяпровожденіемъ въ городѣ было посѣщеніе базара, гдѣ онъ встрѣчалъ много пріятелей среди подгородныхъ крестьянъ и любилъ съ ними потолковать по душѣ о ихъ нуждахъ и ходѣ хозяйства. Знавшіе его горожане немало шокировались, когда, проходя въ воскресенье отъ обѣдни по базару, видѣли, какъ князь, примостившись на облучкѣ мужицкой телѣги съ наваленными хлѣбными мѣшками, ведетъ живой разговоръ съ обступившими его мужиками, завтракая тутъ же вмѣстѣ съ ними краюхой сѣрой пшеничной булки. Когда семья переселилась въ городъ и заняла большой двухъ-этажный домъ, въ которомъ впослѣдствіи помѣщались всегда губернаторы, то старый князь, тяготѣя больше къ деревнѣ, проживалъ постоянно въ Урикѣ и только время отъ времени наѣзжалъ къ семейству, но и тутъ,—до того барская роскошь дома не гармонировала съ его вкусами и наклонностями, — онъ не останавливался въ самомъ домѣ, а отвелъ для себя комнатку гдѣ-то на дворѣ, — и это его собственное помѣщеніе смахивало скорѣе на кладовую, потому что въ немъ въ большомъ

безпорядкѣ валялись разная рухлядь и всяческія принадлежности сельскаго хозяйства; особенной чистотой оно тоже похвалиться не могло, потому что въ гостяхъ у князя опять-таки чаще всего бывали мужички, и полы постоянно носили слѣды грязныхъ сапоговъ. Въ салонѣ жены Волконскій нерѣдко появлялся запачканный дегтемъ или съ клочками сѣна на платьѣ и въ своей окладистой бородѣ, надушенный ароматами скотнаго двора или тому подобными не салонными запахами. Вообще въ обществѣ онъ представлялъ оригинальное явленіе, хотя былъ очень образованъ, говорилъ по французски какъ французъ, сильно грассируя, былъ очень добръ и съ нами, дѣтьми, всегда милъ и ласковъ; въ городѣ носился слухъ, что онъ былъ очень скупъ. Такъ какъ мнѣ едва ли придется далѣе возвращаться къ старику Волконскому, то я здѣсь кстати разскажу мое послѣднее свиданіе съ нимъ, бывшее нѣсколько лѣтъ послѣ амнистіи, въ 1861 или въ 1862 году. Я былъ тогда уже врачемъ и проживалъ въ Москвѣ, сдавая свой экзаменъ на доктора; однажды получаю записку отъ Волконскаго съ просьбою навѣстить его. Я нашелъ его, хотя бѣлымъ, какъ лунь, но бодрымъ, оживленнымъ и притомъ такимъ нряднымъ и франтоватымъ, какимъ я его никогда не видывалъ въ Иркутскѣ; его длинные серебристые волоса были тщательно причесаны, его такая же серебристая борода подстрижена и замѣтно выхолена, и все его лицо съ тонкими чертами и изрѣзанное морщинами дѣлали изъ него такого изящнаго, картинно-красиваго старика, что нельзя было пройти мимо него, не залюбовавшись этой библейской красотой. Возвращеніе же послѣ амнистіи въ Россію, поѣздка и житье за границей, встрѣчи съ оставшимися въ живыхъ родными и съ друзьями молодости и тотъ благоговѣйный почетъ, съ какими всюду его встрѣчали за вынесенныя испытанія— все это его какъ-то преобразило и сдѣлало и духовный закатъ этой тревожной жизни необыкновенно яснымъ и

привлекательнымъ. Онъ сталъ гораздо словоохотливѣе и тотчасъ же началъ живо разсказывать мнѣ о своихъ впечатлѣніяхъ и встрѣчахъ, особенно за границей; политическіе вопросы снова его сильно занимали, а свою сельскохозяйственную страсть онъ какъ будто покинулъ въ Сибири вмѣстѣ со всей своей тамошней обстановкой ссыльно-поселенца. Но при всей этой видимой бодрости онъ жаловался на одышку и другія болѣзненныя явленія, просилъ меня осмотрѣть его, — и я нашелъ у него старческое перерожденіе артерій съ послѣдовательнымъ разстройствомъ компенсаціи сердца, отекомъ ногъ и т. п. Тутъ же по поводу своихъ опухшихъ ногъ Волконскій передалъ мнѣ удивительную исторію, случившуюся съ нимъ въ Парижѣ, назидательную для врачей и для паціентовъ. Въ 50-хъ и 60-хъ годахъ среди русской знати, ѣздившей за границу для лѣченія, большой репутаціей, какъ консультантъ, пользовался дрезденскій профессоръ Вальтеръ, и большинство обращалось къ нему за совѣтомъ и за назначеніемъ минеральныхъ водъ. Побывалъ у него и Волконскій, а потомъ черезъ нѣсколько времени, попавши въ Парижъ, почувствовалъ себя очень нехорошо: вѣроятно, отъ усиленной ходьбы по улицамъ, отъ частыхъ подъемовъ по высокимъ лѣстницамъ, дѣятельность больнаго сердца нарушилась и старика стали особенно безпокоить сильно отекшія ноги, и такъ какъ проф. Вальтеръ случайно находился тутъ же въ Парижѣ, то Волконскій, узнавъ объ этомъ, пришелъ къ нему посовѣтоваться. Недаромъ говорится: „въ Парижъ пріѣдешь—угоришь"; должно быть угорѣлъ и профессоръ и, сбитый съ панталыку суетой парижской жизни, принялъ больнаго, куда-то торопясь, спѣшно осмотрѣлъ наиболѣе мучившую его ногу, распухшую и всю испещренную красными и синими полосами, и затѣмъ, принявъ озабоченную физіономію, безъ дальнѣйшихъ разспросовъ и околичностей сказалъ: „не могу скрыть отъ васъ, князь, что ваше состояніе крайне

серьезно: у васъ воспаленіе кровеносныхъ сосудовъ, болѣзнь настолько опасная, что если мы не поспѣшимъ отнять у васъ поскорѣе ногу, то я не ручаюсь за вашу жизнь. Но самъ я не хирургъ, а потому сдѣлаемъ лучше всего такъ: отправляйтесь немедленно домой и ложитесь въ постель, а сегодня же въ 4 часа я заѣду къ вамъ и привезу съ собой одного изъ лучшихъ здѣшнихъ хирурговъ и мы потолкуемъ, а такъ какъ, мнѣ кажется, операцію рискованно откладывать въ долгій ящикъ, то мы захватимъ съ собой и ассистентовъ и все нужное, чтобы сдѣлать ее тотчасъ же, если только найдемъ это нужнымъ“. Ошеломленный такимъ неожиданнымъ приговоромъ, старикъ еле доплелся до своей квартиры, перетревожилъ ужасною вѣстью всю свою семью, бывшую, къ великому счастью, вмѣстѣ съ нимъ въ Парижѣ, улегся въ постель и всѣ стали съ понятнымъ волненіемъ поджидать пріѣзда докторовъ. Въ положенное время они явились цѣлымъ взводомъ съ ящикомъ инструментовъ; семья тотчасъ же аттаковала Вальтера разспросами, и онъ, повторивъ ей то же, что высказалъ утромъ больному, пошелъ съ врачами въ спальню паціента и сталъ совмѣстно сь ними осматривать ноги паціента и тутъ же, обращаясь къ дочери Волконскаго, указалъ ей на широкія красныя и синія полосы, покрывавшія густою сѣтью распухшія голени, какъ на зловѣщій признакъ воспаленія венъ, заставляющій его настаивать на операціи. „Какъ?—сказала молодая женщина,—да вѣдь это полосы отъ цвѣтныхъ шерстяныхъ чулокъ, которые носитъ всегда папа!“ и, увидавъ удивленіе, смѣшанное съ недовѣріемъ, на лицѣ ученаго нѣмца, распорядилась подать мыло и теплую воду и тотчасъ же на глазахъ консиліума смыла на чисто всѣ эти грязныя полосы и пятна. Смущенный Вальтеръ поспѣшилъ ретироваться съ привезенными хирургами и инструментами. „Да, не заступись за меня дочь, отхватили бы мнѣ ваши знаменитые коллеги обѣ ноги, а то бы, пожалуй,

и совсѣмъ зарѣзали",—закончилъ Волконскій свой разсказъ, добродушно посмѣиваясь. Это было мое послѣднее свиданіе съ старикомъ; онъ вскорѣ уѣхалъ изъ Москвы и въ половинѣ 60-хъ годовъ умеръ въ имѣніи своего зятя Кочубей, въ селѣ Воронки, Козелецкаго уѣзда, Черниговской губерніи.

X.

Но если старикъ Волконскій, поглощенный своими сельскохозяйственными занятіями и весь ушедшій въ народъ, не тяготѣлъ къ городу и гораздо больше интересовался деревней, то жена его, княгиня Марья Николаевна, была дама совсѣмъ свѣтская, любила общество и развлеченія и съумѣла сдѣлать изъ своего дома главный центръ иркутской общественной жизни. Говорятъ, она была хороша собой, но, съ моей точки зрѣнія 11-ти-лѣтняго мальчика, она мнѣ не могла казаться иначе, какъ старушкой, такъ какъ ей перешло тогда за 40 лѣтъ; помню ее женщиной высокой, стройной, худощавой, съ небольшой относительно головой и красивыми, постоянно щурившимися глазами. Держала она себя съ большимъ достоинствомъ, говорила медленно и вообще на насъ, дѣтей, производила впечатлѣніе гордой, сухой, какъ бы ледяной особы, такъ что мы всегда нѣсколько стѣснялись въ ея присутствіи; но своихъ дѣтей, Мишеля и Нелли, она любила горячо и хотя и баловала ихъ, но въ то же время строго слѣдила сама за ихъ воспитаніемъ. Мишель былъ на два года старше меня и въ 1845 г. ему минуло 13 лѣтъ, Нелли же была на 2 года моложе своего брата. Зимой въ домѣ Волконскихъ жилось шумно и открыто, и всякій, принадлежавшій къ иркутскому обществу, почиталъ за честь бывать въ немъ,

и только генералъ-губернаторъ Рупертъ и его семья и иркутскій гражданскій губернаторъ Пятницкій избѣгали, вѣроятно, изъ страха, чтобы не получить выговора изъ Петербурга, появляться на многолюдныхъ праздникахъ въ домѣ политическаго ссыльнаго. Въ описываемое мною время оживленію Иркутска немало содѣйствовало присутствіе въ немъ ревизіи сенатора Толстаго, назначенной въ 1844 г., и въ составъ которой входило человѣкъ 15 молодежи изъ лучшихъ знатныхъ фамилій; тутъ были кн. Львовъ, кн. Голицынъ, кн. Шаховской, гр. Сиверсъ, баронъ Ферзенъ, Безобразовъ и др.—и всѣ они постоянно вращались у Волконскихъ, потому что, кромѣ этого дома и дома Трубецкихъ,тогдашняя иркутская жизнь мало могла дать для развлеченія свѣтской молодежи, а у Волконскихъ же бывали и балы, и маскарады, и всевозможныя зимнія развлеченія. Мой старшій братъ и я, сдѣлавшись учениками А. В. Поджіо, тотчасъ же попали въ этотъ кругъ и стали часто бывать въ немъ; такихъ сверстниковъ для компаніи Мишелю, большею частію изъ воспитанниковъ губернской гимназіи, собиралось постоянно человѣкъ 15, и это посѣщеніе свѣтскаго барскаго дома не могло не вліять на насъ въ хорошую сторону, исподволь шлифуя наши нравы и манеры, оставлявшіе желать многаго по причинѣ глухой обстановки тогдашней провинціальной жизни.

Однажды задумано было устроить домашній спектакль изъ мальчиковъ, собиравшихся въ домѣ Волконскихъ; не помню, кто былъ распорядителемъ и кого угораздило выбрать для этого Фонъ-Визинскаго „Недоросля“, піесу, меньше всего подходившую для домашняго театра и во всякомъ случаѣ бывшую далеко не по силамъ юныхъ артистовъ. Волненіе и суета поднялись въ нашемъ кружкѣ великія; роли были розданы и переписаны; Мишель долженъ былъ изображать Митрофана, жившій у нихъ въ домѣ и учившійся съ нимъ мальчикъ Зверевъ—Простакову, мой братъ—Правдина и т. д.; на мою долю

досталась небольшая роль Простакова, которую я исправно отзубрилъ, но все боялся, что сробѣю передъ публикою и меня бросало то въ холодъ, то въ жаръ при мысли, что вдругъ, выйдя на сцену, я перезабуду все и не въ состоянiи буду произнести ни одного слова; даже просыпаясь ночью, я старался пробѣжать въ головѣ всю роль, начиная съ выходной фразы: „мѣ... мѣшковатъ немного“.—Уже заказаны были декорацiи, и репетицiи у Волконскихъ шли довольно часто въ полномъ составѣ нашей труппы, но то ли изъ игры нашей ничего путнаго не выходило, то ли по другимъ причинамъ, затѣя эта вскорѣ рухнула, и намъ такъ и не удалось дебютировать на сценическихъ подмосткахъ. Надо полагать что актеры мы были самые первобытные, потому что ни одинъ изъ насъ ни разу не видалъ до того никакихъ образцовъ, которымъ могъ бы подражать, такъ какъ только около этого времени въ Иркутскѣ чуть ли не впервые появилась драматическая труппа дававшая публичные спектакли, да и то такая горемычная, что ея лицедѣйствомъ трудно было воспользоваться намъ для руководства.

Съ этими первыми театральными впечатлѣнiями, испытанными мною на моемъ вѣку, связано у меня нѣсколько забавныхъ воспоминанiй, которыя я приведу здѣсь для иллюстрацiи того уровня, на какомъ находилось въ Сибири около половины XIX столѣтiя сценическое искусство, и для этого позволю себѣ небольшое отступленiе. Начать съ того, что представленiя прибывшей тогда въ городъ труппы происходили въ небольшомъ деревянномъ баракѣ, построенномъ въ центрѣ городскаго сада, живописно раскинувшагося по берегу Ангары; баракъ этотъ былъ такъ неказистъ и малъ, что когда я прiѣхалъ въ 1854 г. въ Иркутскъ уже юношей и нашелъ на окраинѣ этого сада вновь выстроенное зданiе благороднаго собранiя или клуба, то для прежняго храма Мельпомены не нашли лучшаго употребленiя, какъ обратить его въ кухню для новаго собранiя. Наивность и публи-

ки, и актеровъ недалеко ушла отъ эпохи Аристофана,— и у меня еще тогда врѣзалась въ память одна афиша, на которой послѣ названія пьесы и поименованія дѣйствующихъ лицъ стояло примѣчаніе, предупреждавшее посѣтителей, чтобы они не думали, что актеръ такой-то выйдетъ на сцену въ дѣйствительно пьяномъ видѣ, а что опьяненіе это будетъ кажущееся, требуемое исполняемою имъ ролью. Очень памятенъ мнѣ также мой восторгъ, когда отецъ въ первый разъ меня взялъ съ собой въ этотъ баракъ на одно изъ представленій, и то чувство, не то недоумѣнія, не то разочарованія, какое я испыталъ послѣ него, вернувшись домой. Спектакль состоялъ изъ двухъ пьесъ; сначала шелъ какой-то переводный водевиль изъ испанскихъ нравовъ, подъ названіемъ „Донъ Рануде де-Калибрадосъ“ или „Что и честь, когда нечего ѣсть“, а потомъ извѣстное драматическое представленіе „Купецъ Иголкинъ“. Водевиль мнѣ показался верхомъ совершенства и остроумія, я такъ и закатывался со смѣху и съ затаеннымъ дыханіемъ ловилъ каждое слово актеровъ, которые мнѣ казались какими-то особыми существами, хотя едва ли на самомъ дѣлѣ они были на высотѣ достоинства испанскихъ грандовъ, ими изображаемыхъ. „Иголкинъ“ же меня удовлетворилъ гораздо меньше: патріотическая соль его мнѣ тогда была мало доступна, а актеры, вдругъ преобразившіеся изъ благородныхъ испанцевъ въ русскихъ гражданъ, стали до того ходульны, начали такъ дико завывать, что получалось впечатлѣніе чего-то неестественнаго, нагонявшаго на меня, несмотря на жадный интересъ къ представленію, уныніе и даже скуку. А тутъ въ довершеніе всего случился еще эпизодъ, разрушившій всякую иллюзію въ одномъ изъ самыхъ патетическихъ мѣстъ: на сценѣ московская площадь съ Кремлемъ вдали, толпится народъ, съ колокольни Ивана Великаго несется мѣрный протяжный благовѣстъ; очевидно, благовѣстъ этотъ производился за кулисами ударами въ большой тазъ, и

вдругъ, шутя или неумышленно, тазъ этотъ вырвался изъ рукъ звонаря и съ звяканьемъ и дребезжаніемъ завертѣлся по полу,—отчего получился трезвонъ, слишкомъ знакомый всякому, и не имѣющій ничего общаго съ колокольнымъ звономъ, такъ что вся публика, настроенная мелодрамой на минорный тонъ, разразилась громкимъ хохотомъ. Наконецъ, когда представленіе кончилось и мы поѣхали домой, нашъ кучеръ Кузьма неожиданно обернулся съ козелъ и сказалъ отцу тономъ, звучавшимъ самой презрительной насмѣшкой: „ну ужъ кіятръ, А. В., только одно прозваніе; какой же это кіятръ?“— А что?—спросилъ удивленный отецъ,—развѣ ты тоже смотрѣлъ?—„А какъ же!—продолжалъ Кузьма,—мы съ кучерами смотрѣли сперва въ щелки снаружи, да тутъ плохо видать, а потомъ вышелъ къ намъ одинъ изъ ахтеровъ и говоритъ: не хотите ли, ребята, идти полюбопытствовать поближе, я васъ проведу даромъ. Ну, извѣстно, дѣло занятное; мы, человѣкъ 6, оставили лошадей на товарищей и прошли за нимъ въ домъ; а онъ, какъ насъ провелъ и говоритъ опять: ну, говоритъ, послуга за послугу; вы тутъ смотрѣть можете, а только намъ безпремѣнно нуженъ для представленія кучерской армякъ; пущай намъ кто нибудь изъ васъ дастъ на часокъ на подержаніе, вернемъ безъ обману во всей исправности. Какъ это онъ намъ сказалъ, мы и видимъ— статья не подходящая: какъ можно хозяйское добро такъ зря отдать чужому человѣку; кто его знаетъ, какой онъ человѣкъ? А тутъ выскочили, значитъ, его товарищи и всѣ пристаютъ—дайте, да дайте! Мы видимъ, дѣло дрянь, хотѣли было вонъ, а они возьми, да дверь то замкни на замокъ, и у насъ тутъ безъ потасовки бы не обошлось, да одинъ изъ кучеровъ надумался и говоритъ: а ну васъ, черти!—берите вотъ мой армякъ, его не убудетъ; только бы, чтобы на чести, не рвать и не пачкать! Да тутъ же имъ и снялъ свой армякъ“. И тутъ отецъ мой припомнилъ, что новгородскій купецъ Иголкинъ ще-

голялъ дѣйствительно въ какомъ-то армякѣ, смахивавшемъ на кучерской и плохо приходившемся на могутный ростъ актера-трагика. Вотъ какими незатѣйливыми рессурсами обладало сценическое искусство въ Иркутскѣ менѣе чѣмъ полвѣка назадъ и пусть современники сравнятъ это положеніе съ настоящимъ и они невольно скажутъ: свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

Впрочемъ, тутъ же, около этого времени, въ концѣ 1846 г. или въ началѣ 1847 г., сдѣлана была попытка удовлетворить потребностямъ общества въ театральныхъ позорищахъ и устроенъ былъ любительскій спектакль въ гимназіи; поставлены были двѣ пьесы и исполненіе ихъ заслужило общее одобреніе, а интересъ спектакля еще увеличился тѣмъ, что одна изъ пьесъ была мѣстнаго произведенія и принадлежала, кажется, перу иркутскаго старожила, штабъ-лѣкаря А. И Орлова. У меня изъ нея въ памяти осталось нѣсколько куплетовъ, которые я привожу здѣсь, какъ любопытный и нигдѣ не сохраненный образчикъ туземной поэзіи того времени. Вотъ эти куплеты:

Нашъ Иркутскъ—прекрасный городъ,
Это—сущій Божій даръ,
Хоть зимой въ немъ страшный холодъ,
И ужасный лѣтомъ жаръ.
Хоть въ Иркутскѣ не прельщаютъ
Ни палаты, ни дворцы,
Не дивятъ, не восхищаютъ
Насъ гвардейцы-молодцы,
Хоть блестящаго вокзала
Долго мы не заведемъ,
Хоть газеты иль журнала
Мы еще не издаемъ,
Хоть не пишемъ сочиненій
На заказъ и на показъ
И Демидовскихъ хоть премій
Не биралъ никто изъ насъ,

Хоть, быть можетъ, очень многи
Насъ во многомъ обвинятъ,
Если дѣльно, если строго
Разбирать насъ захотятъ
Петербуржцы, москвитяне
Съ европейскимъ ихъ умомъ,
Но за то мы, иркутяне,
Благоденственно живемъ.
Есть у насъ всего довольно,
Если взять да перечесть,
Такъ что вырвется невольно:
Все въ Иркутскѣ нашемъ есть!
Много всякаго запасу,
Рыбы, дичи, сколько хошь,
И огромный туязъ квасу
На базарѣ льютъ за грошъ.
Есть у насъ два гастронома
И десятокъ поваровъ,
И для тона есть два тома
Превосходныхъ докторовъ и т. д.

Далѣе все въ этомъ же родѣ слѣдовало перечисленіе немудреныхъ и первобытныхъ достопримѣчательностей города, которое заканчивалось тѣмъ, что спросите у любого жителя и всякій вамъ скажетъ: „славно намъ въ Иркутскѣ жить!“ Понятно, такіе куплеты встрѣчены были восторженно и нѣкоторое время распѣвались польщенными иркутскими горожанами, которыхъ патріотическія претензіи почти и не шли далѣе здороваго пищеваренія и сытыхъ желудковъ. Вторая пьеса была нѣкогда извѣстный водевиль „Школьный учитель“, которому постарались тоже придать мѣстный колоритъ; такъ, между прочимъ, въ сценѣ экзамена вставленъ былъ такой вокальный діалогъ между учителемъ и учениками: Учитель: „Чѣмъ замѣчательна Сибирь, что въ ней ростетъ, что въ ней родится?“. Ученики: „Корица, перецъ и имбирь“. Учитель: „Ребята, врать такъ не годится“.—Та-

ковы были зачатки иркутскаго театра, когда меня въ 1847 г. отправили учиться въ Москву, а въ 1854 г., когда я пріѣхалъ студентомъ домой на вакацію, то я уже нашелъ настоящій театръ въ весьма помѣстительномъ и спеціально выстроенномъ зданіи, съ ложами, съ постоянной труппой, съ репертуарами изъ пьесъ Гоголя, Островскаго и т. п., конечно, съ гардеробомъ, избавлявшимъ актеровъ отъ необходимости занимать костюмы у кучеровъ.

Такъ быстро развилась въ Иркутскѣ одна изъ отраслей изящнаго искусства,—и этому быстрому ея росту немало содѣйствовало, безъ сомнѣнія, присутствіе декабристовъ. Ужъ одна открытая жизнь въ домѣ Волконскихъ прямо вела къ сближенію общества и зарожденію въ немъ болѣе смягченныхъ и культурныхъ нравовъ и вкусовъ. Но и помимо того, какъ ни старались остальные декабристы не слишкомъ выдаваться впередъ и сохранять свое скромное положеніе ссыльнопоселенцевъ, но единовременное появленіе въ небольшомъ и разнокалиберномъ обществѣ 20-тысячнаго городка 15 или 20 высокообразованныхъ личностей не могло не оставить глубокаго слѣда. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ напримѣръ Николай Бестужевъ, Никита Муравьевъ, Юшневскій и Лунинъ, оказывали неотразимое вліяніе своими выдающимися умами, большинство же тѣмъ глубокимъ и разностороннимъ просвѣщеніемъ, пробѣлы въ которомъ они тщательно восполнили во время своей замкнутой отъ міра, но дружно сплоченной жизни въ Читѣ и Петровскомъ заводѣ. Истинное просвѣщеніе сдѣлало то, что люди эти не кичились ни своимъ происхожденіемъ, ни превосходствомъ образованія, а напротивъ, старались искренно и тѣсно сблизиться съ окружавшей ихъ провинціальной средой и внести въ нее свѣтъ своихъ познаній; всѣ пройденныя ими въ жизни испытанія наложили на нихъ печать не озлобленія, не человѣконенавистничества, а безграничной гуманности, необыкновен-

наго благодушія и скромности и создали изъ нихъ тотъ своеобразный и рѣдкій въ Россіи типъ, который съ такимъ высокимъ художественнымъ тактомъ и такъ вѣрно воспроизводилъ гр. Л. Толстой въ отрывкѣ изъ романа „Декабристы". Естественно поэтому, что они скоро завоевали себѣ общую любовь и уваженіе въ Иркутскѣ, и благотворное вліяніе ихъ на окружающую среду было глубоко, хотя, быть можетъ, и не легко уловимо, потому что достигалось медленно и незамѣтно, не громкими фразами и не блестящими дѣлами, а разумной и всегда согрѣтой гуманными наклонностями бесѣдой и личнымъ примѣромъ безукоризненной честности во всѣхъ проявленіяхъ своей будничной жизни, бывшей на виду у всѣхъ. Каждый изъ нихъ въ отдѣльности и всѣ вмѣстѣ взятые—они были такими живыми образцами культуры, что естественнымъ образомъ поднимали значеніе и достоинства ея въ глазахъ всякаго, кто съ ними приходилъ въ соприкосновеніе, и особенно въ тѣхъ, въ комъ бродило смутное сознаніе чего-то лучшаго въ жизни, чѣмъ то животное прозябаніе и самоопошливаніе, какими отличалась жизнь тогдашняго провинціальнаго захолустья. И нѣтъ сомнѣнія, что весьма многіе изъ иркутскихъ чиновниковъ и купцовъ, только въ силу этого непосредственнаго обаянія просвѣщенія, почувствовали большую потребность въ духовныхъ наслажденіяхъ жизни, стали больше читать и особенно стали заботиться о томъ, чтобы дать своимъ дѣтямъ по возможности совершенное образованіе. Недаромъ же съ этого именно времени, т. е. съ конца 40-хъ годовъ, которые считаются въ Россіи самымъ глухимъ и неблагодарнымъ періодомъ въ исторіи русскаго просвѣщенія XIX вѣка, въ иркутскомъ обществѣ обнаруживается первое стремленіе молодежи въ русскіе университеты, которое, получивъ тогда первый толчекъ, продолжало съ тѣхъ поръ только прогрессивно рости и развиваться.

XI.

Но возвращаюсь къ разсказу о моемъ воспитанiи у А. В. Поджiо, продолжавшемся около двухъ лѣтъ, до мая 1847 года. Зимой для уроковъ,—первую зиму старшiй братъ мой и я, а вторую—я и третiй мой братъ,—ходили на городскую квартиру Поджiо, жившаго въ двухъ шагахъ отъ нашего дома, на Большой же улицѣ, а на лѣто мы переѣзжали съ нимъ вмѣстѣ въ его домикъ въ деревнѣ Усть-Куда. Учились мы у него французскому и русскому языкамъ, а для математики къ намъ въ домъ раза два въ недѣлю продолжалъ прiѣзжать кротчайшiй П. И. Борисовъ изъ Малой Разводной. Не смотря на то, что Поджiо никакъ не принадлежалъ къ присяжнымъ педагогамъ и принялся за воспитанiе дѣтей, когда ему уже перешло за 40 лѣтъ, но это отсутствiе навыка и правильнаго метода окупалось у него чрезвычайной добросовѣстностью и терпѣнiемъ, такъ что мы скоро сдѣлали замѣтные успѣхи въ ученьѣ и стали бойко болтать по-французски. Но главная суть не въ этомъ, а въ томъ, что нравственное влiянiе на насъ Поджiо, какъ воспитателя, было огромное. Я уже раньше сказалъ о его рѣдкой добротѣ и прекрасныхъ качествахъ, а потому, чтобы нечповторяться, прибавлю только, что при всей страстности и живости своего южнаго темперамента, которыхъ изъ него не могли вытравить ни крѣпость, ни ссылка, онъ не былъ ни раздражителенъ, ни вспыльчивъ, и его обращенiе съ нами отличалось большою ровностью и чисто женственною нѣжностью, такъ что мы не могли не привязаться къ нему и не стараться отплатить ему нашимъ послушанiемъ; кромѣ того онъ всегда былъ искрененъ въ своихъ поступкахъ и не допускалъ ни малѣйшей фальши даже въ словахъ. Зимой, когда мы только на нѣсколько часовъ прибѣгали на

уроки въ его квартиру, это воспитательное его вліяніе на насъ было болѣе поверхностное и легко могло изглаживаться всей нашей остальной обстановкой грубоватаго провинціальнаго быта, но другое дѣло—лѣтомъ, когда мы жили съ нимъ подъ одной крышей и совсѣмъ поступали подъ его наблюденіе, и тогда неизбѣжно подчинялись цѣльному обаянію его личности и проникались тою чистою и нравственно здоровою атмосферою, какая его постоянно окружала.

Въ полномъ разцвѣтѣ весны, примѣрно около половины мая, Поджіо увозилъ насъ съ собою въ деревню Усть-Куда, гдѣ у него былъ свой домикъ и свое огородное и полевое хозяйство, и тамъ мы оставались до половины сентября. Деревня эта лежитъ въ 23—24 верстахъ отъ Иркутска, немного въ сторонѣ отъ Ангарскаго тракта, при впаденіи рѣки Куды въ Ангару. Въ городъ для свиданья съ родными мы пріѣзжали не чаще одного или двухъ разъ въ мѣсяцъ, большею частью вмѣстѣ съ Поджіо, когда ему нужно было сдѣлать покупки въ городскихъ лавкахъ или повидаться съ кѣмъ нибудь по дѣламъ, и для насъ эти поѣздки составляли большое наслажденіе. Подавалась такъ называемая телѣжка или фаэтонъ на длинныхъ дрогахъ, запряженный парой лошадей; обыкновенно кучера не брали вовсе, а Поджіо правилъ самъ лошадьми, надѣвши въ рукава свою камлотовую шинель и сѣрую шляпу съ широкими полями, изъ подъ которой развѣвались его длинные черные волосы. На возвратномъ пути изъ Иркутска мы особенно любили подъемъ на Верхоленскую гору, на которой требовалось около получаса времени; тогда мы вылѣзали изъ экипажа и рыскали по окраинамъ дороги, углубляясь понемногу въ придорожный лѣсъ, то въ погонѣ за бабочками и насѣкомыми, то въ поискахъ за ягодами, грибами и цвѣтами, и, бывало, успѣвали такъ избѣгаться, что, когда А. В., взобравшись на гору, позоветъ насъ, мы, утомленные, бросались въ экипажъ и

крупной рысцой ѣхали дальше. За станціей Урикъ, гдѣ до разрѣшенія жить въ городѣ жили Волконскіе, мы сворачивали съ Ангарскаго тракта на узкій проселокъ и на этомъ перѣздѣ къ дому надо было переѣзжать въ бродъ рѣку Куду, гдѣ насъ ожидало новое удовольствіе: въ жаркіе дни А. В. позволялъ намъ выкупаться, а самъ, сидя на берегу, курилъ изъ своего длиннаго чубука и только поторапливалъ, чтобы мы не черезчуръ долго злоупотребляли этимъ перерывомъ нашего путешествія. Наконецъ, вотъ и наша резиденція Усть-Куда, гдѣ протекли два памятныхъ лѣта моего дѣтства, о которыхъ я всегда вспоминалъ съ любовью, и гдѣ съ того времени мнѣ не пришлось побывать ни разу.

Деревенька была небольшая, вытянувшаяся въ одну улицу изъ полусотни домовъ. Домъ, занимаемый Поджіо, былъ небольшой и отличался отъ прочихъ крестьянскихъ только тѣмъ, что былъ обшитъ тесомъ и потому казался опрятнѣе; небольшое крылечко со двора вводило въ обширныя темныя сѣни, откуда поднималась широкая лѣстница на чердакъ, служившій сѣннымъ сараемъ; изъ сѣней входъ былъ въ большую комнату съ окнами на деревенскую улицу, игравшую роль и салона и столовой; потомъ слѣдовали двѣ комнаты, выходившія на огородъ, изъ нихъ одну занималъ А. В., а другую я съ братомъ. Къ дому примыкалъ обширный дворъ, на которомъ мы большею частью рѣзвились во время отдыха отъ занятій; деревьевъ кругомъ не было, зато передъ нашими окнами тянулся рядъ парниковъ и грядъ, гдѣ Поджіо съ большими заботами выращивалъ всякую рѣдкую въ Сибири зелень и особенно ухаживалъ за дынями и канталупами, которыми очень гордился. Какъ итальянецъ по привычкамъ, онъ предпочиталъ мясу хорошіе овощи и фрукты, и отсутствіе послѣднихъ въ Иркутскѣ составляло для него чувствительное лишеніе. Мнѣ до сихъ поръ памятенъ его разсказъ, какъ радостно былъ онъ изумленъ, когда, по переселеніи въ Усть-Куду изъ Забайкалья при-

шедшая къ нему на другой же день крестьянка предложила, не хочетъ ли онъ у нея купить „яблочковъ“?—„Какъ? да откуда же вы ихъ привозите?“—Зачѣмъ привозить, батюшка, сами выводимъ здѣсь. — „Почемъ же вы ихъ продаете?“—Да положите рублика два за мѣшокъ.—Для Поджіо это былъ великій сюрпризъ, онъ не вѣрилъ своимъ ушамъ: какъ? яблоки въ Сибири, да еще продаются мѣшками? и онъ приказалъ бабѣ непремѣнно принести ему мѣшокъ, но разочарованіе наступило скоро, когда продавщица доставила ему мѣшокъ самаго неказистаго картофеля, и тутъ онъ впервые узналъ, что за отсутствіемъ яблоковъ въ Сибири ихъ громкимъ именемъ титулуется простой картофель.

На нашемъ же дворѣ, кромѣ различныхъ хозяйственныхъ службъ, стояла особнякомъ маленькая избушка, вросшая въ землю и покачнувшаяся на бокъ: въ ней одиноко проживалъ сосланный за польское возстаніе полякъ Сабинскій; это былъ фанатикъ своей національной идеи и хотя съ декабристами онъ былъ хорошо знакомъ, но особенной близости между ними, казалось, не видѣлось. Во время нашихъ игръ во дворѣ мы нерѣдко видали его возвращающимся съ прогулки въ свою крохотную избушку,—и я какъ теперь помню его, хотя уже далеко не первой молодости, но стройную фигуру съ большими черными глазами, всегда смотрѣвшими строго и сосредоточенно изъ-подъ густо нависшихъ бровей; мы его немного побаивались, но къ этому дѣтскому страху примѣшивалось и невольное уваженіе послѣ того, какъ Поджіо сказалъ намъ, что это человѣкъ очень образованный и отлично говоритъ на семи языкахъ. Долго пришлось бѣдному Сабинскому изжить въ Сибири, и только въ амнистію 1856 года онъ получилъ разрѣшеніе вернуться на свою родину, въ Кіевъ, но продолжительная ссылка не сломила его энергіи и преданности польскому дѣлу и, какъ я узналъ впослѣдствіи, во время возстанія 1863 года онъ снова вызвалъ противъ себя

преслѣдованіе правительства за дѣятельное участіе въ антирусскихъ демонстраціяхъ, за пѣніе гимновъ въ кіевскихъ костелахъ, и снова былъ куда-то высланъ, будучи уже болѣе чѣмъ 70-ти лѣтнимъ старикомъ.

Кромѣ Поджіо, въ разстояніи нѣсколькихъ домовъ отъ него, проживалъ еще въ то время въ Усть-Кудѣ декабристъ Петръ Александровичъ Мухановъ въ своемъ новомъ, совсѣмъ съ иголочки, выстроенномъ имъ самимъ домикѣ въ 3 или 4 комнатки, куда мы заходили довольно часто или съ Поджіо, или одни, такъ какъ Мухановъ на лѣто взялъ на себя занятія съ нами по ариѳметикѣ. Это былъ человѣкъ могучаго сложенія, широкоплечій и тучный, съ большими рыжими усами и нѣсколько суровый въ обращеніи, такъ что у насъ, дѣтей, особенной близости съ нимъ не было, а потому и личность его оставила мало слѣда въ моей памяти. Въ началѣ 50-хъ годовъ онъ померъ скоропостижно въ Иркутскѣ чуть ли не наканунѣ дня своего вступленія въ бракъ съ директрисой иркутскаго института М. А. Дороховой. Въ томъ возрастѣ, въ какомъ я былъ, меня гораздо больше, чѣмъ Мухановъ, интересовалъ, часто проживавшій въ его домикѣ, помѣшанный ссыльный Гаевскій. Кто онъ былъ прежде и за какую провинность попалъ онъ въ Сибирь, я и теперь не знаю; слышалъ я только, что онъ, будучи до наказанія человѣкомъ сановитымъ и образованнымъ, во время слѣдованія въ сибирскую ссылку былъ вслѣдствіе какихъ-то недоразумѣній на нѣсколько лѣтъ задержанъ въ тобольскомъ острогѣ и вынесъ въ немъ очень много тяжелыхъ притѣсненій, что̀ и было причиной его помѣшательства. Онъ былъ маленькій, худенькій старичекъ, лѣтъ около 60, со сморщеннымъ лицомъ и вѣчно насупленными, густыми и сѣдыми бровями; его часто можно было видѣть на деревенской улицѣ, выступающимъ всегда величаво въ длинной, очевидно съ чужаго плеча, сѣрой выцвѣтшей шинели и съѣзжавшемъ ему на глаза картузѣ и постоянно разсуждающимъ

вслухъ самъ съ собою съ непомѣрной жестикуляціей. Человѣкъ онъ былъ кроткій и безобидный и только, когда ему противорѣчили или когда къ нему черезчуръ назойливо приставали деревенскіе мальчуганы, онъ горячился и разражался такими отрывистыми, генеральскими окриками, которые заставляли догадываться, что прежде онъ принадлежалъ къ сословію лицъ командующихъ. Передъ Мухановымъ онъ просто благоговѣлъ и часто намъ таинственно и шепотомъ передавалъ, что это не кто иной, какъ великій князь Константинъ Павловичъ, желающій сохранять строжайшее инкогнито; себя же онъ считалъ за какого-то миѳическаго фельдмаршала фонъ-Пуфа, посланнаго съ войскомъ въ Китай для освобожденія принцессы Помаро, взятой китайцами въ плѣнъ и заточенной въ фарфоровой башнѣ. Отъ Муханова онъ часто заходилъ къ Поджіо и Волконскимъ, и декабристы всегда участливо принимали бѣднаго помѣшаннаго старика изъ состраданія къ его одиночеству и безпомощности. Мы съ братомъ часто выручали его изъ схватокъ съ деревенскими дѣтьми, а потому онъ къ намъ очень благоволилъ, произвелъ въ свои адъютанты, при встрѣчѣ разсылалъ насъ съ порученіями къ своей арміи и съ невозмутимой важностью главнокомандующаго выслушивалъ наши доклады; все это насъ очень забавляло, и мы много ухаживали за жалкимъ старичкомъ съ тѣмъ чувствомъ, съ какимъ свойственно въ тотъ возрастъ относиться къ занимательнымъ игрушкамъ. Много разсказывали тогда, какъ Гаевскій однажды забрался на пріемъ къ ревизору Толстому и началъ публично распекать его за какіе-то воображаемые промахи, сказавши между прочимъ: „ты сенаторъ Толстый“, а я изъ тебя сдѣлаю тонкаго“. О послѣдующей судьбѣ Гаевскаго, гдѣ и при какихъ условіяхъ кончилъ онъ свою безпріютную жизнь, я ничего не слыхалъ впослѣдствіи.

XII.

Подъ мягкимъ, хотя и неослабнымъ наблюденіемъ Поджіо, привольно и весело протекала наша деревенская жизнь. Уроки наши оставляли намъ много свободнаго времени, которое наполнялось самыми разнообразными развлеченіями, но главнымъ притягательнымъ для насъ пунктомъ и источникомъ всякихъ увеселеній былъ Камчатникъ, лѣтняя резиденція Волконскихъ, отстоявшій въ 2-хъ — 3-хъ верстахъ отъ нашей деревни. Первоначально открылъ это мѣсто О. В. Поджіо и, прельстившись его величественной красотой и безлюдьемъ, выстроилъ для себя маленькій домикъ, а впослѣдствіи мѣстность эта сманила и Волконскихъ и въ годы, описываемые мною, они имѣли тамъ уже давно обжитой, помѣстительный двухъэтажный домъ, съ разбросанными кругомъ него службами, но все это имѣло характеръ временнаго жилья и даже не было обнесено заборомъ. Мѣстность была дѣйствительно очень живописна; передній фасъ дома былъ обращенъ къ Ангарѣ, протекавшей своими быстрыми, хрустально чистыми струями въ 30—40 саженяхъ отъ него и въ этомъ мѣстѣ дававшей весьма широкій плесъ, но сейчасъ же влѣво рѣка разбивалась на два или на три протока, огибавшіе большіе зеленые острова, поросшіе молодымъ кустарникомъ, березнякомъ, боярышникомъ и другими лиственными породами сѣверной природы; сзади дома непосредственно тянулась цѣпь лѣсистыхъ горъ, и одна изъ нихъ, самая высокая и ближайшая къ дому, съ вершины которой открывался превосходный видъ на дремучую даль съ прорѣзывавшею ее Ангарой, носила названіе въ память декабриста доктора Вольфа—Вольфсбергъ. Вокругъ дома столѣтнія лиственницы и сосны образовали тѣнистый природный паркъ, а сибирское

лѣто, такъ щедро вознаграждающее за свою кратковременность, развело богатый и роскошный цвѣтникъ своей разнообразной, дикой флоры. Большое достоинство этой дачи заключалось еще въ томъ, что близость холодной и быстрой рѣки значительно умѣряла жаръ знойнаго лѣта и дѣлала вечера даже прохладными.

А какъ весело жилось въ этомъ прелестномъ, хотя глухомъ и такъ страшно удаленномъ отъ европейской жизни уголкѣ! И не только это казалось мнѣ тогда, въ моей наивности и въ дѣтскомъ незнакомствѣ съ таинственнымъ прошлымъ этихъ почтенныхъ людей, которыхъ судьба, насильственно нарушивъ весь нормальный строй ихъ жизни, забросила на Камчатникъ, но впослѣдствіи мнѣ не разъ приходилось слышать отъ самихъ декабристовъ, уже по возвращеніи ихъ въ Россію съ какою благодарною памятью и съ какимъ наслажденіемъ вспоминали они о своемъ пребываніи какъ въ этой, такъ и въ другихъ сибирскихъ дебряхъ. Конечно, все-же это была жизнь подневольная, а извѣстно, что даже золотая клѣтка, и тѣмъ менѣе сибирская, не въ состояніи замѣнить свободы, но въ этомъ-то и состояла замѣчательная, характерная черта декабристовъ, коренившаяся въ ихъ солидномъ образованіи и культурности, что они, казалось, легко примирялись съ своею участью. Этою культурностью достиглось прежде всего то, что они, проведя нѣсколько лѣтъ всѣ вмѣстѣ на каторгѣ, сплотились между собой въ тѣсный кружокъ, въ большую братскую семью, среди которой находилось нѣсколько человѣкъ съ выдающимся умомъ и въ которой члены, обладавшіе наибольшею нравственною силою и большими матеріальными средствами, поддерживали своею энергіею менѣе устойчивыхъ, а небогатымъ давали возможность и средства расширять кругъ своихъ познаній. Притомъ они не замкнулись въ своей кружковщинѣ и при переходѣ на поселеніе тотчасъ же постарались найти себѣ практическую дѣятельность по душѣ и пристроиться

къ какому-нибудь дѣлу на пользу края, гдѣ они были обречены искупать свою вину, а эта дѣятельная жизнь не позволяла имъ расплываться въ безплодныхъ сокрушеніяхъ о загубленной судьбѣ и ожесточаться, и, привлекая къ нимъ глубокія симпатіи и уваженіе со стороны туземнаго населенія, которыя они не могли не замѣчать на каждомъ шагу, напротивъ, болѣе или менѣе примиряла большинство изъ нихъ съ ихъ сибирскимъ настоящимъ.

На Камчатникъ мы отправлялись пѣшкомъ или вмѣстѣ съ А. В. Поджіо, или одни, иногда съ утра, но большею частью пообѣдавши дома, и обыкновенно находили тамъ шумную и веселую компанію. Кромѣ Волконской, мужъ которой часто отлучался по своему сельскому хозяйству въ Урикъ, дѣтей, товарища сына—Паши Звѣрева, гувернера, m-r. Милльеръ, и гувернантки, тамъ жилъ О. В. Поджіо и постоянно кто-нибудь временно гостилъ или изъ декабристовъ, или изъ городскихъ знакомыхъ. Нѣсколько разъ въ лѣто пріѣзжала семья Трубецкихъ, зачастую привозя съ собою двухъ барышень Раевскихъ. Раевскій тоже былъ политическій сосланный, прожившій также десятки лѣтъ въ Сибири, и хотя былъ сосланъ одновременно съ ними, но не считался принадлежащимъ къ ихъ кругу и, кажется, на каторгѣ съ ними не былъ. О немъ и его семьѣ я мало могу сказать; жилъ онъ въ селѣ Олонкахъ, въ 60-ти верстахъ отъ Иркутска, и имѣлъ кромѣ жены, двухъ дочерей и двухъ сыновей; дочерей онъ оставилъ при себѣ, а сыновей отправилъ для воспитанія въ Россію. Самъ Владиміръ Ѳедосѣевичъ Раевскій держалъ себя какъ-то особнякомъ и, должно быть, рѣдко выѣзжалъ изъ Олонокъ, потому что мнѣ ни разу не пришлось его видѣть ни у декабристовъ, ни въ городѣ; репутацію онъ имѣлъ человѣка весьма умнаго, образованнаго и остраго, но озлобленнаго и ядовитаго. Дочерямъ его въ описываемое время—старшей Александрѣ было уже около 16-ти лѣтъ и она держала себя

съ нами взрослой, серьезной барышней, а меньшой Елизаветѣ—лѣтъ двѣнадцать. Когда пріѣзжали онѣ и Трубецкіе со своими тремя дочерьми, то изъ Камчатника тотчасъ же посылали за нами и устраивались тацны, petits jeux, игра въ горѣлки на лужайкѣ передъ домомъ и т. п. и обыкновенно праздникъ заканчивался фейерверкомъ, до котораго Мишель Волконскій былъ большой охотникъ и любилъ устраивать его самъ. Во всѣхъ этихъ увеселеніяхъ нерѣдко принимали участіе и сенаторскіе чиновники, пріѣзжавшіе также группами въ 2, 3, 4 человѣка повеселиться въ гостепріимномъ домѣ.

Немалую также роль въ развлеченіяхъ Камчатника играла охота, особенно осенью за зайцами, на которую захватывали и насъ. Наиболѣе страстнымъ охотникомъ изъ всѣхъ былъ О. В. Поджіо; у него была даже своя пара прекрасныхъ гончихъ собакъ,—и вотъ около конца августа эти умныя собаки, соскучившись лѣтнимъ бездѣйствіемъ, отправлялись на развѣдку на лежащіе противъ Камчатника острова, и тогда тявканье и гоньба по горячему Заграя и Плаксы (клички обѣихъ собакъ) начинали ежедневно разноситься далеко въ чуткомъ вечернемъ воздухѣ и смущать старческое сердце Ос. Вик—ча и 14-тилѣтнее сердце Мишеля, которому подарено было ружье, и онъ, какъ неофитъ, страстно жаждалъ охотничьихъ подвиговъ. Тогда, наконецъ, снаряжалась экспедиція, и хотя собственно стрѣлковъ было человѣкъ 8 или 10, экспедиція эта принимала большіе размѣры, потому что, помимо насъ и прислуги, нанималось нѣсколько десятковъ мужиковъ, бабъ и дѣтей и все это въ лодкахъ переправлялось на одинъ изъ сосѣднихъ острововъ. Эти дни охоты придавали особенное оживленіе нашей деревенской жизни и врѣзались въ моей памяти какъ одно изъ самыхъ яркихъ воспоминаній того времени. Еще наканунѣ мы помогали Ал. Вик—чу и Муханову набивать патроны, а въ день охоты съ утренней зарей спѣшили въ Камчатникъ и тамъ суетились, помогая на-

гружать большой карбазъ охотничьими снарядами и провизiею, между тѣмъ какъ собаки, визжа отъ радости, прыгали и метались какъ съумасшедшiя. Наконецъ, все готово, карбазъ отваливалъ; гребцы едва успѣвали взяться за весла, какъ быстрая Ангара живо перебрасывала на выбранный островъ всю эту оживленную компанiю, стряхнувшую съ себя всѣ заботы дня и горѣвшую нетерпѣнiемъ поскорѣе добраться до бѣдныхъ зайцевъ, которые и не чувствовали, какая страшная гроза на нихъ надвигалась.

Высадившись, компанiя торопливо пускалась въ путь по росистой и уже сморщившейся и пожелтѣвшей отъ осеннихъ утренниковъ травѣ; впереди быстро шагалъ Осипъ Викт—чъ; онъ, какъ главный распорядитель, осматривалъ мѣстность, отдавалъ приказы загонщикамъ и распредѣлялъ, куда стать каждому охотнику. Братъ мой и я поступали по-очереди въ адъютанты то къ Алек. В—чу, то къ Осипу В—чу и очень дорожили своимъ прикомандированiемъ къ послѣднему, не столько ради его первенствующей роли, какъ лучшаго стрѣлка, сколько потому, что его собственное увлеченiе и охотничiй азартъ невольно сообщались и намъ и придавали еще бо̀льшую живость переносимымъ впечатлѣнiямъ. Вотъ, разставивши всѣхъ по мѣстамъ, О. В—чъ устанавливается, наконецъ, и самъ на облюбованномъ для себя мѣстѣ, обыкновенно передъ неширокою лужайкою, идущею вдоль невысокой поросли лѣса или кустарника, осматривается внимательно кругомъ и надѣваетъ пистоны; я помѣщаюсь сбоку на какомъ нибудь пнѣ, шагахъ въ десяти, и наблюдаю за О. В—мъ. Солнце стоитъ уже высоко и заливаетъ яркими лучами лежащiй передъ нами пейзажъ начинающей блекнуть природы; въ чуткомъ осеннемъ воздухѣ уже разносятся гдѣ-то далеко отъ насъ крики загонщиковъ: го-го-го-го! Крики эти мало по малу приближаются къ намъ и среди этого наростающаго гаму начинаетъ слышаться тявканье пары гончихъ, но О. В—чъ продол-

жаетъ стоять спокойно, прислонясь къ стволу дерева и разсѣянно щурясь на окружающую поляну; вдругъ тявканье одной изъ собакъ быстро приблизилось къ намъ, еще нѣсколько мгновеній и вблизи отъ насъ раздались разъ за разомъ два выстрѣла; О. В—чъ тотчасъ же встрепенулся и взвелъ курки, крикнувъ въ мою сторону отрывистымъ шепотомъ: „ну теперь, братецъ, стоять смирно!“ Повторять мнѣ приказъ не нужно, я и безъ того уже весь вниманіе и съ замирающимъ сердцемъ слѣжу за преобразившейся вмигъ фигурой стараго охотника: все лицо его какъ то оживилось, помолодѣло, глаза быстро перебѣгаютъ по лежащей передъ нами полянкѣ; вдругъ онъ съ необычайной быстротою перебрасываетъ ружье, прикладывается и направляетъ дуло впередъ; я безшумно поворачиваю глаза въ сторону направленнаго ружья и жду не безъ сердечнаго трепета, что вотъ-вотъ у меня подъ ухомъ раздается оглушительный выстрѣлъ, но проходитъ нѣсколько секундъ, я оглядываюсь на О. В—ча и вижу, что онъ уже опустилъ ружье и, стало быть, тревога была фальшивая. А между тѣмъ выстрѣлы все учащаются и справа и слѣва, сопровождаясь то возгласами торжества, то разочарованья; дикое оранье загонщиковъ все приближается, лай собакъ становится еще горячѣе, и вскорѣ надъ зеленью нашей полянки показывается отчаянно подпрыгивающая спинка бѣляка; О. В—чъ не медлитъ, слѣдуетъ выстрѣлъ, другой,—и заяцъ, сдѣлавъ прыжокъ въ сторону, пропадаетъ вдругъ изъ моихъ глазъ. „Кажется, убилъ; поищи тамъ“,—говоритъ мнѣ О. В—чъ, и я стремглавъ, не помня себя, бѣгу по указанію его пальца и послѣ немногихъ поисковъ взадъ и впередъ попадаю взоромъ на бѣлѣющую массу. Да, это заяцъ; онъ лежитъ, бѣдный, на боку и вздрагиваетъ ножками, глаза его еще поварачиваются, но они уже подернуты какой-то тусклой дымкой и не видятъ моего приближенія; его бѣлая пушистая шкурка слиплась на боку брызнувшею изъ

раны кровью; онъ мнѣ кажется необыкновенно большимъ, и я торжественно тащу его О. В—чу, который мелькомъ взглянулъ на него съ одобрительными словами: „славный, жирный!“ и снова сталъ въ выжидательную позу. И такъ продолжаемъ мы стоять 4—5 часовъ все на томъ же мѣстѣ, и часы эти летятъ незамѣтно, благо зайцевъ много и они то и дѣло шмыгаютъ мимо.

Наконецъ, солнце уже далеко перешло на западную половину неба, голоса загонщиковъ становятся и хриплѣе и лѣнивѣе, выстрѣлы рѣже и, наконецъ, я съ великимъ прискорбіемъ вижу появляющуюся между кустами фигуру одного изъ наименѣе ретивыхъ охотниковъ со словами: „а что, О. В., не пора ли червяка заморить, да и по домамъ?“ О. В—чъ самъ неохотно выслушивалъ это предложеніе, но покоряется ему, зная, что большинство соратниковъ не на его сторонѣ и что дѣйствительно запаздывать негодится, такъ какъ на обратные сборы времени уйдетъ немало. Начинается обходъ охотниковъ и снятіе ихъ съ мѣста, крики загонщиковъ смолкаютъ, и всѣ направляются къ коврамъ, разостланнымъ подъ деревьями, гдѣ ожидаетъ холодный завтракъ, кажущійся намъ необыкновенно вкуснымъ, и чай; происходитъ общій осмотръ добычи; всѣ разсаживаются на коврахъ и ѣда перемѣшивается разсказами того или другаго охотника о пережитыхъ впечатлѣніяхъ дня, среди которыхъ случается и немало комическихъ эпизодовъ, поднимающихъ общій смѣхъ. Всѣ наэлектризованы очень весело, шутятъ и острятъ, и чаще всего мишенью остротъ дѣлался гувернеръ Милльеръ, подслѣповатый и очень близорукій человѣкъ и потому плохой стрѣлокъ, изводящій пропасть зарядовъ и всегда возвращающійся съ пустыми руками, а между тѣмъ великій хвастунъ и благёръ. Въ числѣ постоянныхъ участниковъ нашихъ охотъ всегда находится одинъ изъ кудинскихъ крестьянъ, страстный охотникъ, являющійся съ своимъ кремневымъ

ружьемъ и съ своей бѣлой овчаркой-собакой, сносно выдрессированной для охоты за утками и болотной дичью и совсѣмъ непригодной для гоньбы за зайцами. Вотъ этого-то пса Милльеръ по своей подслѣповатости нерѣдко принималъ за зайца, подкрадывался къ нему и немало извелъ на него своихъ патроновъ и только благодаря тому, что онъ стрѣлокъ былъ горе-горькій, собака какъ бы чудомъ оставалась цѣлой и невредимой. За-то между нею и французомъ установились особыя и дѣйствительно вызывавшія на смѣхъ отношенія: овчарка, добродушная и ласковая со всѣми, не могла видѣть равнодушно француза и какъ только онъ поднимался съ мѣста, тотчасъ же вскакивала, очевидно признавая въ немъ своего личнаго и опаснаго врага, отбѣгала на почтительное разстояніе и начинала неистово лаять и подпрыгивать. А такъ какъ собака всегда присутствовала при этихъ полевыхъ завтракахъ и при ней Милльеръ не могъ пошевелиться безъ того, чтобы не раздалось вблизи сердитое ворчанье, а вмѣстѣ съ тѣмъ не начались и обычныя остроты товарищей по охотѣ, то и самолюбивый французъ просто возненавидѣлъ своего лохматаго врага. Наконецъ завтракъ былъ конченъ, мы усаживались въ карбазы и отчаливали отъ перебудораженнаго нами острова, на которомъ снова воцарялась непробудная тишина, и только уцѣлѣвшіе зайцы, вѣроятно, долго не могли успокоиться отъ волненія, причиненнаго нашимъ нашествіемъ. А мы съ трофеями возвращались домой, гдѣ на берегу насъ встрѣчали дамы. Континентальная сибирская осень отличается своею ясною сухостью, и я ни разу не помню, чтобы дождь или непогода захватили насъ на охотѣ и омрачили мои воспоминанія объ этихъ веселыхъ дняхъ, полныхъ для меня и донынѣ своею свѣтлою прелестью.

Уженье рыбы занимало также видную роль въ нашихъ лѣтнихъ досугахъ. У А. В. Поджіо былъ арендованъ подъ покосъ лугъ, извѣстный подъ названіемъ „Выго-

родки“, верстахъ въ 2-хъ—3-хъ отъ деревни и прилегавшій къ рѣкѣ Кудѣ; когда онъ отправлялся на Выгородки, то бралъ и насъ съ собой, къ компаніи нашей нерѣдко присоединялись Мишель съ Звѣревымъ и гувернеромъ, и мы по цѣлымъ часамъ простаивали съ удочками подъ тощими прибрежными ивами, вытаскивая изъ тихихъ заводей рѣки пескарей и окуней, водившихся въ ней въ изобиліи.

XIII.

Кромѣ того за это же время я пристрастился къ чтенію и эта страсть, только возраставшая съ годами, доставила мнѣ въ жизни самыя чистыя и высокія наслажденія, а потому я не могу не вспомнить съ благодарностью, что этой страстью я въ значительной степени былъ обязанъ времени, проведенному у А. В. Поджіо. Впрочемъ, я долженъ прибавить, что и отецъ мой, будучи весьма занятымъ своими торговыми дѣлами, любилъ постоянно читать и слѣдить за литературой, выписывалъ журналы, имѣлъ хорошую для того времени библіотеку и своимъ примѣромъ тоже поощрялъ во мнѣ зарождавшуюся страсть. Отецъ самъ по себѣ давалъ такую высокую цѣну хорошему образованію, что, вѣроятно, и безъ вліянія декабристовъ не остановился бы передъ трудностями дать намъ его, а трудности эти были весьма существенны и, помимо удаленности Иркутска отъ образовательныхъ центровъ, заключались и въ томъ, что отецъ пользовался только весьма умѣреннымъ достаткомъ, а никогда не считался богачемъ. Несомнѣнно, однако, что знакомство и общеніе съ декабристами еще болѣе укрѣпило его въ намѣреніи относительно нашего воспитанія и очень облегчило ему выполненіе этой задачи. Онъ не

замедлилъ ее выполнить и, отправляясь ежегодно по дѣламъ на Нижегородскую ярмарку, въ Москву и Петербургъ, онъ въ 1846 году увезъ съ собою старшаго моего брата и помѣстилъ его въ пансіонъ Эннеса, одинъ изъ лучшихъ иностранныхъ пансіоновъ, бывшихъ тогда въ Москвѣ; мнѣ же было объявлено, какъ второму сыну, что на слѣдующій годъ очередь будетъ за мной.

Вообще можно сказать, что иркутское купечество проявляло уже тогда бо̀льшее стремленіе къ образованію, чѣмъ это замѣчалось среди купечества внутренней Россіи,—и этого, мнѣ кажется, была довольно понятная причина. Попадалось и въ Иркутскѣ нѣсколько старинныхъ и богатыхъ купеческихъ домовъ, жившихъ замкнутою и патріархальною жизнью, но ихъ было немного; большинство же состояло изъ недавнихъ выходцевъ изъ той же внутренней Россіи, почти исключительно изъ Вологодской, Вятской и Архангельской губерній, а такъ какъ въ далекую Сибирь пускались все люди способные, предпріимчивые, не удовлетворявшіеся рутинными и тѣсными рамками мѣстной торговли и стремившіеся въ Сибирь, какъ въ отдаленную страну, гдѣ ихъ способности и энергія могли найти болѣе обширное поле для примѣненія, то такимъ образомъ естественно образовывался подборъ людей умныхъ и дѣятельныхъ, любившихъ работать мозгами, а не сидѣть, сложа руки. Подвижность ихъ была дѣйствительно изумительная, ибо рѣдкій изъ этихъ иркутянъ не покидалъ каждый годъ свой семьи на 3—4 мѣсяца, отправляясь или на нижегородскую ярмарку, или вдоль по Ленѣ—въ Якутскъ и Охотскъ, а съ конца 1850-хъ годовъ въ районъ этихъ путешествій вошла и Амурская окраина; эти же путешествія сами по себѣ служили отличнымъ развивающимъ средствомъ, такъ какъ знакомили съ новыми мѣстами, сводили съ множествомъ новыхъ людей иныхъ понятій, обычаевъ и взглядовъ, а это не могло не расширить еще больше умственный кругозоръ этихъ живыхъ лю-

дей. Какъ на образецъ такой подвижности могу указать опять-таки на моего отца, который еще за нѣсколько лѣтъ до своей смерти, а умеръ онъ 56 лѣтъ отъ роду, совершилъ свою 25-ю поѣздку въ Москву, что̀, считая въ оба конца, впередъ и обратно, по 10,000 верстъ, даетъ почтенный итогъ въ 250,000 верстъ; кромѣ того, онъ нѣсколько разъ съѣздилъ въ Якутскъ, на Амуръ и даже въ годъ своей смерти, уже совсѣмъ расшатанный болѣзнью, успѣлъ побывать и въ Петербургѣ и въ Николаевскѣ на Амурѣ, т.-е. на крайнихъ, западномъ и восточномъ, пунктахъ Россійской имперіи, между которыми разстояніе по календарю значится въ 9,917 верстъ. Еще если бы эти путешествія совершались съ тѣми удобствами, съ какими они совершаются въ настоящее время, а надо помнить, что примѣненіе пара на русскихъ путяхъ началось лишь въ началѣ 50-хъ годовъ, когда открылась Николаевская желѣзная дорога и появились первые пароходы на Волгѣ и Камѣ; до того же надо было вплоть до Москвы ѣхать на тарантасахъ и на перекладныхъ по такимъ дорогамъ, которыя въ весеннее и осеннее время дѣлались почти непроѣздными. Я не берусь съ точностью высчитать, какую часть своей жизни употребилъ такимъ образомъ мой отецъ на разъѣзды, потому что не знаю навѣрное числа его поѣздокъ въ Якутскъ, на Амуръ, въ Енисейскую тайгу, но едва ли я преувеличу, сказавши, что 7—8 лѣтъ своей жизни онъ провелъ въ пути между двумя станціями; достаточно сказать, что онъ до того обжился въ тарантасѣ и отвыкъ отъ осѣдлыхъ удобствъ, что послѣдніе годы своей жизни, когда ему удавалось прожить нѣсколько мѣсяцевъ покойно дома, онъ уже потерялъ привычку спать въ кровати, а устраивался на ночь въ большомъ креслѣ полу-лежа и надѣвая на себя свой дорожный костюмъ: халатъ на бѣличьемъ мѣху, мягкіе козловые сапоги (ичиги) и даже какую-то мягкую шапку на голову.

И большинство иркутскихъ купцовъ вело подобную

разъѣздную жизнь, такъ что лѣтомъ городъ замѣтно пустѣлъ, потому что одна часть уѣзжала въ Нижній, другая уплывала по Ленѣ, третья разъѣзжалась по золотымъ пріискамъ, и только въ октябрѣ, по возвращеніи мужей, начиналась и въ городѣ и въ семьяхъ полная жизнь. Надо думать, что выработкѣ болѣе самостоятельныхъ и прогрессивныхъ личностей въ иркутскомъ купечествѣ не мало способствовало также то, что въ Сибири, при отсутствіи крѣпостнаго права, вовсе не существовало помѣстнаго дворянства и слѣдовательно не было того общественнаго элемента, который, если и былъ въ русскихъ провинціяхъ нѣсколько культурнѣе остальныхъ, зато немало грѣшилъ своимъ привиллегированнымъ положеніемъ, своею замкнутостью и тѣмъ родовымъ чванствомъ, съ какимъ относился къ такъ называемымъ податнымъ сословіямъ. Въ сибирскихъ городахъ общество состояло изъ чиновниковъ, военныхъ и гражданскихъ, и изъ купцовъ, и эти два сословія, въ силу численной малочисленности общественныхъ силъ, неизбѣжно перемѣшивались между собою чаще, сближались тѣснѣе, и это вело только къ еще большему развитію купцовъ и ихъ общественной равноправности. Безъ сомнѣнія, своимъ панегирикомъ въ честь иркутскихъ купцовъ я нимало не хочу умалить заслугъ декабристовъ и ихъ роли въ дѣлѣ просвѣщенія Сибири, а стараюсь только объяснить, почему ихъ выдающіяся личности тотчасъ же были надлежащимъ образомъ оцѣнены и пріобрѣли въ Иркутскѣ общія симпатіи, а ихъ пропаганда необходимости образованія встрѣтила такую подготовленную почву, что быстро стала приносить плоды. Такъ, одновременно съ моимъ старшимъ братомъ отправленъ былъ изъ Иркутска старшій же сынъ купца В. Н. Баснина, человѣка очень богатаго, умнаго и большаго оригинала, и помѣщенъ также въ пансіонъ Эннеса, а на слѣдующій годъ, когда отправили и меня, отвезенъ былъ туда же и второй сынъ Баснина. А вѣдь

не трудно понять, какъ тяжело доставалось это образованіе дѣтей нашимъ родителямъ и надо было сильно сознавать его значеніе, чтобы идти на такія жертвы; не говоря уже о матеріальныхъ затратахъ, весьма значительныхъ, вслѣдствіе удаленности Иркутска отъ столицъ, какой нравственной борьбы стоила нашимъ отцамъ и матерямъ рѣшимость отпускать своихъ дѣтей за 5,000 верстъ на руки совершенно чужихъ и постороннихъ людей, совсѣмъ въ другую часть свѣта, откуда всякое письмо шло въ одинъ конецъ никакъ не меньше мѣсяца, а въ весеннія и осеннія распутицы срокъ этотъ удлиннялся чуть что не вдвое, телеграфа же тогда не было еще и въ поминѣ. Для дѣтей тоже эта разлука съ домашнимъ кровомъ обходилась не безъ большой ломки, но мнѣ кажется, судя по видѣннымъ мною образцамъ, такая ранняя оторванность отъ семьи скорѣе имѣла на нихъ благопріятное, чѣмъ дурное, вліяніе въ смыслѣ выработки нравственныхъ характеровъ. Перенесенные въ совершенно новую обстановку и рано предоставленные самимъ себѣ, дѣти ранѣе обыкновеннаго, въ 12—14-лѣтнемъ возрастѣ, сознавали необходимость строже слѣдить за собою и за своими поступками, обходиться безъ совѣтовъ старшихъ, привыкали распоряжаться своими дѣйствіями самостоятельно и не разсчитывать на баловство и на всепрощающую любовь домашнихъ; все это развивало наши характеры и придавало имъ большую энергію и выдержку. Конечно, бывало иногда и обратное, то-есть что такая преждевременная самостоятельность и такое отсутствіе родительскаго контроля обращались во вредъ и приготовляли деморализованныхъ людей, но такъ какъ во-первыхъ я такихъ примѣровъ знаю сравнительно очень мало, а во-вторыхъ случаи воспитательной порчи среди дѣтей, выросшихъ подъ крыломъ родителей и постоянно на помочахъ, встрѣчались, и, пожалуй, встрѣчаются въ Россіи и до сихъ поръ очень часто, то я склоненъ скорѣе

думать, что система воспитанія сибирскихъ мальчиковъ вдали отъ родныхъ имѣла, по крайней мѣрѣ для своего времени, гораздо больше хорошихъ послѣдствій, чѣмъ дурныхъ.

Промелькнула и послѣдняя зима моего привольнаго и беззаботнаго дѣтства дома. Я все продолжалъ заниматься у А. В. Поджіо, къ которому на смѣну выбывшаго старшаго брата поступилъ теперь мой 3-й братъ. Наступила весна. Недѣли за двѣ до отправленія въ Москву меня уволили отъ всѣхъ занятій и въ теченіе этого времени баловали до отвалу, исполняя всѣ мои желанія и прихоти, вродѣ того, какъ баловали въ тѣ годы сыновей, сдаваемыхъ въ рекруты. Мать старалась не отпускать меня отъ себя, въ голосѣ отца слышались въ обращеніи со мной необычно-ласковыя ноты, братья великодушно уступали мнѣ во всемъ и дарили мнѣ свои любимыя вещи, разныя бабушки и тетушки, а у насъ ихъ было немало, носили меня на рукахъ. Словомъ, я чувствовалъ себя калифомъ на часъ, и мое упоеніе этимъ имянниннымъ настроеніемъ смущалось только частыми слезами бѣдной матери и набѣгавшимъ на меня смутнымъ представленіемъ о предстоящей мнѣ перемѣнѣ въ жизни. Тяжесть разлуки со мной усиливалась для родителей еще тѣмъ обстоятельствомъ, что въ этомъ, 1847 году, отецъ никакъ не могъ ѣхать самъ въ Москву, а потому приходилось меня даже на дорогу сдать на попеченіе постороннимъ людямъ, и въ спутники или, какъ говорится въ Сибири, въ попутчики мои до Москвы найдены были интендантскій чиновникъ Галенковскій, ѣхавшій въ отпускъ, и иркутскій мѣщанинъ Стрекаловскій, молодой человѣкъ, отправлявшійся въ Москву для изученія стекляннаго и фаянсоваго производства, и которому отецъ спеціально поручилъ меня во время путешествія. Наканунѣ назначеннаго къ отъѣзду дня мать позвала меня къ себѣ и уложила мой чемоданъ при мнѣ для того, чтобы я зналъ, гдѣ и что изъ моего бѣлья и

платья лежитъ, и не перерывалъ по пустому весь чемоданъ, и въ заключеніе дала мнѣ особенную книжечку, въ которой записанъ былъ весь мой гардеробъ, съ наказомъ беречь все и не растеривать, такъ какъ ходить за мной больше ужъ будетъ некому. Потомъ я перешелъ въ кабинетъ къ отцу и онъ мнѣ прочиталъ составленное имъ для меня и написанное на большомъ листѣ бумаги наставленіе, какъ я долженъ вести себя въ дорогѣ и по пріѣздѣ въ Москву, наполненное не банальными сентенціями, а съ тѣмъ яснымъ здравымъ смысломъ, который его отличалъ, и тою попечительною любовью, которая старалась предусмотрѣть до мелочей всѣ затрудненія и дотолѣ невѣдомыя мнѣ положенія, какія могли мнѣ встрѣтиться на чужбинѣ при дебютахъ въ самостоятельной жизни; эту инструкцію онъ отдалъ мнѣ, приказавъ почаще въ нее заглядывать и совѣтоваться съ нею во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ.

Утро отъѣзда прошло въ большихъ суетахъ; въ послѣдній разъ я пообѣдалъ въ своей семьѣ, и тотчасъ же послѣ обѣда всѣ родные и близкіе размѣстились въ разныхъ экипажахъ и поѣхали провожать меня до Вознесенскаго монастыря, лежащаго въ 4-хъ верстахъ отъ города по московскому тракту и служащаго обычнымъ мѣстомъ послѣдняго разставанья съ ѣдущими въ Россію; впереди, на долгушѣ, ѣхалъ я съ родителями и братьями. Въ монастырѣ былъ отслуженъ по всегдашнему обыкновенію напутственный молебенъ у мощей иркутскаго святителя Иннокентія, потомъ всѣ перешли въ монастырскую гостиницу, напились чаю, и затѣмъ наступилъ послѣдній моментъ прощанія. Отецъ чуть не насильно вырвалъ меня изъ объятій матери и подсадилъ въ тарантасъ, по бокамъ моимъ помѣстились товарищи моего путешествія; всѣ обнажили головы, перекрестились и съ словами: „ну, трогай ямщикъ; съ Богомъ!“ застоявшаяся тройка весело двинулась, унося меня въ невѣдомую даль. Въ послѣдній разъ мелькнуло у меня

въ глазахъ поблѣднѣвшее, заплаканное лицо матери и неестественно-веселое лицо отца съ судорожно подергивавшимися губами, и я залился горькими слезами, уткнувшись лицомъ въ свою дорожную подушку; мои спутники не пытались даже меня утѣшать и оставили свободно выплакаться. Этими слезами я оплакивалъ первый періодъ моего дѣтства, веселый, счастливый; впереди меня ждало что то новое, особенное и, главное, совсѣмъ чужое...

Здѣсь я обрываю послѣдовательный разсказъ о моей личной жизни и далѣе коснусь ея лишь настолько, насколько въ нее входятъ позднѣйшія мои воспоминанія о декабристахъ. Чувствую опять-таки, что эти воспоминанія и мелки и скудны и если тѣмъ не менѣе пишу ихъ, то въ надеждѣ, что и они могутъ со временемъ пригодиться какъ достовѣрный матеріалъ.

XIV.

Въ Москвѣ я тотчасъ же поступилъ въ пансіонъ Эннеса, гдѣ уже находился мой старшій братъ, и такъ какъ подготовленъ я былъ хорошо, то и былъ принятъ въ 3-й классъ, а, продолжая учиться старательно, черезъ три года, т.-е. въ 1850 году, когда мнѣ не исполнилось еще 16 лѣтъ, былъ въ состояніи выдержать вступительный экзаменъ въ московскій университетъ на медицинскій факультетъ. Въ университетѣ мои занятія шли также успѣшно и я надѣялся въ 1855 году кончить курсъ и вернуться на родину, но Крымская война совсѣмъ перепутала мои планы, когда правительство предложило намъ, еще студентамъ 4-го курса, поступить военными врачами до окончанія полнаго медицинскаго образованія. Во мнѣ началась сильная борьба: съ одной

стороны, всѣми помыслами меня тянуло неудержимо домой въ Иркутскъ, страстно хотѣлось повидать отца и мать, которыхъ я не видалъ 7 лѣтъ, хотѣлось отогрѣться въ теплѣ родной семьи послѣ многолѣтняго пребыванія среди чужихъ; а съ другой, мое 19-лѣтнее сердце не могло оставаться равнодушнымъ къ героическимъ усиліямъ русской арміи, и я рвался туда—на эти севастопольскія укрѣпленія, гдѣ лилась родная кровь и валялись тысячи раненыхъ, которымъ, въ качествѣ врача, я могъ принести посильную пользу. Узелъ этихъ колебаній я разрубилъ тѣмъ, что рѣшилъ воспользоваться лѣтней вакаціей 1854 года и, сдавши переходные экзамены съ 4-го курса на 5-й, прокатиться въ Иркутскъ, повидаться съ родителями и проститься съ ними, быть можетъ, снова на долгій срокъ, такъ какъ тогда я бы могъ съ болѣе покойной совѣстью и съ удовлетворенными чувствами отправиться по окончаніи курса врачемъ въ дѣйствующую армію.

Тутъ же весьма кстати для меня подошло, что вакаціи въ университетѣ въ этотъ годъ были продолжительнѣе обыкновенныхъ, вслѣдствіе того, что, по случаю войны, вышло распоряженіе, въ виду недостатка военныхъ врачей, ускорить выпускъ казеннокоштныхъ студентовъ 4-го курса, а также и всѣхъ своекоштныхъ, добровольно пожелавшихъ обойтись безъ 5-го курса; такихъ добровольцевъ нашлось немало и только 50 человѣкъ, въ числѣ которыхъ былъ и я, хотѣли во что бы то ни стало отслушать 5-й курсъ; тѣмъ не менѣе и насъ пристегнули къ товарищамъ и заставили сдать переходные экзамены къ началу мая; такимъ образомъ, мои вакаціи должны были продлиться около четырехъ мѣсяцевъ. Однако, мое намѣреніе воспользоваться этимъ длиннымъ отдыхомъ, чтобы съѣздить въ Иркутскъ, т. е. отмахать 10,000 верстъ, считая туда и обратно, и притомъ въ раннее весеннее время, когда не установилась лѣтняя дорога и не сбыли весенніе разливы рѣкъ, имѣю-

щіе мѣсто обыкновенно въ маѣ, не могло не казаться очень опрометчивымъ и безразсуднымъ, а потому, когда я сообщилъ мое намѣреніе пріятелю моего отца, купцу П. И. Куманину, у котораго я проживалъ все время моего пребыванія въ Москвѣ, то этотъ весьма умный и почтенный человѣкъ, очень любившій меня, уставился на меня своими глазами, выражавшими недоумѣніе, въ здравомъ ли я умѣ и не черезчуръ ли перезубрилъ во время экзаменовъ. Но я такъ горячо и въ то же время убѣдительно развилъ мои мотивы, что старикъ тутъ же обнялъ меня, сказавши: „Ну, что же? въ добрый часъ, валяй, другъ любезный, а если твой отецъ осерчаетъ на тебя за твою поѣздку и найдетъ ее сумасшедшей, то ему ты такъ-таки и скажи, что, значитъ, и я на старости лѣтъ сошелъ съ ума, потому что я планъ твой одобрилъ и благословилъ тебя на дорогу“.—Я успѣлъ подыскать себѣ и двухъ попутчиковъ, ѣхавшихъ до Тюмени и, сдавъ 3-го мая послѣдній экзаменъ, на слѣдующій же день выѣхалъ изъ Москвы въ родные края.

Не буду обременять мой разсказъ подробностями своего путешествія; скажу только, что оно было сопряжено съ большими препятствіями по причинѣ весенней распутицы и громадныхъ разливовъ Волги и особенно рѣкъ Западной Сибири: Тобола, Иртыша, Оби, и др. Особенно памятенъ остался у меня перевозъ въ 60 верстахъ по ту сторону Тюмени, гдѣ слившіяся вмѣстѣ рѣки Тоболъ и Исеть затопили огромное пространство и образовали цѣлое море, среди котораго водораздѣлъ двухъ рѣкъ обозначался лишь верхушками затопленныхъ деревьевъ. Бывалый человѣкъ, отысканный мною въ Тюмени въ качествѣ попутчика до Иркутска, предупредилъ меня, что, чтобы перебраться черезъ эту необозримую пучину, намъ необходимо выѣхать изъ Тюмени къ ночи, къ восходу солнца быть на перевозѣ, немедленно захватить карбазъ и только тогда мы могли бы къ концу дня добраться до противоположнаго берега.

Мы такъ и исполнили все по этой программѣ, весьма удачно заняли карбазъ и поплыли, какъ вдругъ, послѣ 2-хъ часоваго плаванія, поднялся сильный вѣтеръ и развелъ большія волны по импровизированному морю и вынудилъ перевозчиковъ вернуться назадъ; намъ предстояла впереди—отчаянная перспектива сидѣть на берегу неопредѣленное время, такъ какъ поджидалась почта, которая и должна угнать нашъ единственный карбазъ; изъ этого плачевнаго положенія мы вышли тѣмъ, что, по совѣту мужиковъ, отправились въ объѣздъ по Курганскому тракту, сдѣлали около 150 верстъ крюку, имѣли вмѣсто одного огромнаго перевоза—семь небольшихъ, но, несмотря на это, на слѣдующее утро добрались до противоположнаго берега этого наводненнаго пространства.

Вслѣдствіе этихъ помѣхъ, какъ я ни спѣшилъ и ни рвался впередъ, я могъ добраться до Иркутска только 11-го іюня, употребивъ на переѣздъ чуть не 40 дней. Дома я засталъ только братьевъ: отецъ съ матерью проводили лѣто въ 80 верстахъ отъ города, на озерѣ Байкалѣ, на берегу котораго, по притоку Сѣннушки, отецъ нашелъ золото и въ этотъ годъ самъ руководилъ работами для добычи его. Переночевавши одну ночь въ Иркутскѣ и сходивши въ баню, чтобы смыть съ себя толстый слой дорожной грязи, я на завтра же пустился далѣе въ путь на Байкалъ; мое московское письмо, извѣщавшее о моемъ пріѣздѣ, успѣло предупредить родителей 2—3 днями раньше, такъ что они меня ужъ поджидали и вышли встрѣтить на берегъ Байкала, когда лодка моя причалила. Радость нашего свиданія была самая безумная; отецъ не только не разсердился на меня за опрометчивость, а напротивъ, и теперь я, будучи самъ старикомъ и вспоминая эту сцену, кажется, слышу въ своихъ ушахъ тотъ дикій и восторженный крикъ отца, который вырвался изъ его груди, когда онъ душилъ меня въ объятіяхъ; о матери я ужъ и не говорю,

она и смѣялась и плакала тѣми слезами, которыя служатъ проявленіемъ высшаго счастья на землѣ.

XV.

Я долго бы не кончилъ, если бы далъ волю своимъ лирическимъ воспоминаніямъ и принялся бы подробно описывать, какъ я проблаженствовалъ и расцвѣлъ душевно, проживя этотъ мѣсяцъ, послѣ 7-милѣтней разлуки, въ кругу дорогихъ своихъ родныхъ и притомъ въ самый лучшій періодъ роскошнаго сибирскаго лѣта на берегу грандіознаго Байкала. Для моихъ родныхъ, а особенно для меня, этотъ мѣсяцъ промелькнулъ такъ быстро, что мы и не замѣтили, какъ подошло время моихъ обратныхъ сборовъ въ Москву. Дней за десять до предположеннаго отъѣзда отецъ, мать и я перебрались съ пріисковъ въ Иркутскъ. Это короткое мое пребываніе въ городѣ посвящено было мной между прочимъ и посѣщенію тѣхъ лицъ, которыя знали меня ребенкомъ и къ которымъ я являлся теперь студентомъ-юношей; въ числѣ этихъ лицъ декабристы занимали первое мѣсто.

За мое отсутствіе кружокъ ихъ нѣсколько порѣдѣлъ, вслѣдствіе смерти А. З. Муравьева, О. В. Поджіо и П. А. Муханова († 12-го февраля 1854 года), а въ положеніи живыхъ произошла замѣтная перемѣна. Они еще болѣе упрочились въ городѣ и пользовались еще болѣе теплыми симпатіями отъ всѣхъ, что̀ было естественнымъ послѣдствіемъ продолжительнаго вліянія ихъ на общество своимъ образованіемъ и личными достоинствами. Много также ихъ улучшенному положенію содѣйствовало и то, что тогдашній восточно-сибирскій генералъ-губернаторъ Н. Н. Муравьевъ (впослѣдствіи графъ Амурскій), человѣкъ далеко недюжинный по уму и по адми-

нистративнымъ взглядамъ, тотчасъ же оцѣнилъ этихъ рѣдкихъ людей, сталъ искать ихъ дружбы и они вскорѣ сдѣлались частыми и почетными гостями въ его домѣ; притомъ жена Муравьева была француженка, уроженка По, не говорившая по-русски, и для нея декабристы и ихъ жены представляли въ глухой Сибири какъ бы счастливый оазисъ, гдѣ она могла найти и языкъ, и нравы, и вкусы, напоминавшіе ей далекую родину. Волконскіе и Трубецкіе имѣли теперь въ городѣ собственные дома и жили еще болѣе свободно и открыто, такъ какъ Муравьевъ не стѣснялся, какъ его предшественникъ, бывать у нихъ часто, а за начальствомъ смѣло тянулось и все общество. Между тѣмъ и дѣти декабристовъ уже выросли и были пристроены: Мишель кончилъ курсъ въ иркутской гимназіи и Муравьевъ тотчасъ же принялъ его къ себѣ въ чиновники особыхъ порученій, а Нелли, лишь только ей исполнилось 16 лѣтъ, вышла замужъ за одного изъ наиболѣе приближенныхъ къ Муравьеву чиновниковъ—Молчанова, котораго вскорѣ разбилъ параличъ, затѣмъ онъ лишился разсудка и умеръ въ Москвѣ, оставивши молоденькую вдову съ малолѣтнимъ сыномъ. У Трубецкихъ двѣ старшія дочери были тоже замужемъ: старшая — за кяхтинскимъ градоначальникомъ Ребиндеромъ, вторая — за сыномъ декабриста же Давыдова, а меньшая, помнится, тогда была уже помолвлена за генералъ-губернаторскаго чиновника Свербеева.

Въ судьбѣ А. В. Поджіо также произошла капитальная перемѣна: въ 1851 или 1852 году онъ женился на классной дамѣ иркутскаго дѣвичьяго института Ларисѣ Андреевнѣ Смирновой, дѣвушкѣ лѣтъ 26-ти, урожденной москвичкѣ и безъ всякаго состоянія, но чрезвычайно доброй, и эта доброта и большой здравый смыслъ сглаживали разницу, которая была замѣтна въ образованіи, вкусахъ и самыхъ натурахъ обоихъ супруговъ и сдѣлала бракъ этотъ счастливымъ. Въ этотъ мой пріѣздъ въ Иркутскъ я его нашелъ уже отцомъ грудной дочки—

Вари, на которой и сосредоточилъ А. В. всю страсть своей любящей натуры. Средства, получаемыя имъ изъ Россіи, были невелики, чтобы содержать семью, а потому А. В. долженъ былъ отыскивать новые источники доходовъ для удовлетворенія самыхъ скромныхъ потребностей своей жизни. Онъ, между прочимъ, арендовалъ у иркутскаго приказа общественнаго призрѣнія принадлежавшее ему угодье, извѣстное подъ названіемъ „Рупертовской заимки". Это былъ небольшой участокъ земли, верстахъ въ 2-хъ отъ города, съ пашнею, покосомъ и огородомъ, а главное съ небольшимъ жилымъ домомъ, въ одной половинѣ котораго жилъ самъ Поджіо съ семьей, а другую сдавалъ на лѣто въ видѣ дачнаго жилья кому-нибудь изъ иркутскихъ знакомыхъ. Но аренда эта давала только небольшое подспорье для жизни и едва ли вся выгода ея не заключалась въ томъ, что ею окупалась квартира; уроковъ тоже было мало—и А. В. поддался всеобщему туземному увлеченію—попробовать свое счастье въ золотопромышленности; для этого онъ рѣшилъ даже затратить свой небольшой капиталецъ, хранившійся на рукахъ у старшаго племянника, сына О. В., въ Россіи. Мое короткое пребываніе въ Иркутскѣ совпало какъ разъ съ тѣмъ временемъ, когда онъ былъ увлеченъ рѣчкой Элихтой, верстахъ въ трехстахъ отъ Иркутска, и самолично производилъ на ней изысканія, такъ-что я его едва успѣлъ повидать, когда онъ пріѣзжалъ ненадолго для свиданія съ семьей, и тотчасъ же вернулся опять къ своей развѣдочной партіи. Нечего и говорить о томъ, что онъ встрѣтилъ меня горячо и нѣжно, какъ родной, повелъ тотчасъ же знакомить съ своей молодой женой, еще кормившей тогда маленькую Варю, и съ самымъ искреннимъ участіемъ разспрашивалъ о моихъ занятіяхъ и дальнѣйшихъ планахъ. Съ годами его итальянская пылкость нисколько не улеглась, а нашла теперь новую пищу въ своей маленькой семьѣ, за которой онъ ухаживалъ съ самой трогательной заботли-

востью; эта-то заботливость и заставила его удариться въ золотопромышленность для того, чтобы обезпечить будущность жены и дочери, потому что самъ онъ по личнымъ свойствамъ былъ человѣкомъ безъ всякихъ любостяжательныхъ наклонностей и привыкъ довольствоваться только самымъ необходимымъ. Но, привыкши ко всякому дѣлу относиться горячо, онъ и теперь засыпалъ меня подробностями о золотоносныхъ прелестяхъ своей Элихты и прежде столь чуждыми его языку разсказами о „породахъ“, „шурфахъ“, „шлихахъ“ и тому подобными выраженіями, смыслъ которыхъ для меня былъ бы совсѣмъ непонятенъ, если бы я не прожилъ передъ этимъ мѣсяцъ у отца на пріискѣ и не успѣлъ войти въ курсъ этихъ работъ и усвоить весь этотъ своеобразный пріисковый жаргонъ. На прощанье, обнимая меня, онъ сказалъ со своимъ всегдашнимъ добродушнымъ юморомъ: „Эхъ, братецъ, ну что вы тамъ возитесь со своей ученой медициной, мертвыхъ все-таки не воскресите; кончайте тамъ съ ней поскорѣе, да спѣшите сюда, здѣсь мы съ вашимъ отцомъ покажемъ вамъ, какъ загребаютъ золото лопатами“.

Не менѣе радушная встрѣча ожидала меня и у П. И. Борисова, продолжавшаго жить всей въ той же Малой Разводной, но только въ другомъ домикѣ, нарочно построенномъ для братьевъ Борисовыхъ А. З. Муравьевымъ среди большаго, пустыннаго двора. Но если у Поджіо все кипѣло новой жизнью и самъ онъ преобразился, даже помолодѣлъ и чувствовалъ себя блаженнѣйшимъ человѣкомъ въ заботахъ о семьѣ, то здѣсь, наоборотъ, во всѣхъ мелочахъ чувствовалось, какъ отчужденность отъ міра и людей и старая холостая затхлость все болѣе и болѣе съуживала рамки существованія и затирала въ нихъ жизнь этого удивительно кроткаго и чрезвычайно любящаго человѣка. Изъ записокъ М. А. Бестужева (*Русская Старина*, 1881, ноябрь) я узналъ только, что и у П. И. Борисова нѣкогда былъ свой романъ и онъ

надѣялся обзавестись собственной семьей, заручившись согласіемъ на бракъ молоденькой и хорошенькой вдовушки Ильинской, мужъ которой былъ все время до своей смерти казематнымъ врачемъ при декабристахъ и въ Читѣ, и въ Петровскомъ заводѣ, но родные невѣсты напугали ее до того совмѣстнымъ сожительствомъ съ съумасшедшимъ братомъ Борисова, что она потомъ взяла свое обѣщаніе назадъ. Теперь онъ окончательно погребъ себя заживо въ малоразводинскомъ домикѣ, изъ оконъ котораго только и былъ виденъ мертвый дворъ, поросшій крапивой, лебедой и лопухомъ, и гдѣ онъ доживалъ свои дни вмѣстѣ со своимъ помѣшаннымъ братомъ Андреемъ и старымъ котомъ «Гарушинымъ», къ которому былъ привязанъ какъ къ давнему члену семьи; другой компаніи у него почти не было, потому что всѣ его товарищи, жившіе въ Разводной, померли, а декабристы, переселившіеся въ Иркутскъ, были заняты каждый своимъ дѣломъ и могли только изрѣдка навѣщать его. Петръ Ивановичъ старался наполнить свой день чтеніемъ и живописью и, казалось, совсѣмъ помирился съ такимъ могильнымъ одиночествомъ, только взглядъ его большихъ, глубокихъ и задумчивыхъ глазъ и все грустное выраженіе маленькаго, изрѣзаннаго преждевременными морщинами, лица показывали и безъ словъ, что не легко ему живется на свѣтѣ. О себѣ онъ, по обыкновенію, ничего не говорилъ, а все время разспрашивалъ меня до мельчайшихъ подробностей о моемъ московскомъ житьѣ, о занятіяхъ, объ университетѣ, — и вотъ теперь, когда я пишу эти строки, какъ упрекаю я себя за юношескій эгоизмъ, позволившій мнѣ увлечься этими разспросами и сдѣлавшій то, что все это мое послѣднее свиданіе съ Борисовымъ я только и говорилъ, что о себѣ, и не попробовалъ своимъ участіемъ дать ему высказаться искренно о его собственномъ внутреннемъ мірѣ и тѣмъ хоть сколько-нибудь согрѣть его убійственное одиночество; но вѣдь мнѣ тогда было только

19 лѣтъ и едва ли онъ сталъ бы разоблачаться откровенно передъ такимъ незрѣлымъ юношей. Къ счастію, судьба вскорѣ, нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ моего посѣщенія, положила быстрый и трагическій конецъ тяжелому существованію обоихъ братьевъ; въ воспоминаніяхъ декабриста Бѣляева (*Русская Старина*, 1881 г., апрѣль) разсказывается, что больной братъ поджегъ свой домъ въ Разводной и оба брата сгорѣли; до меня же дошелъ разсказъ объ ихъ смерти въ такомъ видѣ: женщина, приходившая каждый день прибирать комнаты и готовить обѣдъ братьямъ, однажды не могла достучаться у дверей и слышала только жалобное мяуканье голоднаго кота и, предвидя что-то недоброе, дала знать сельскимъ властямъ; староста распорядился выломать дверь и тогда нашли Петра Ивановича мертвымъ, въ кровати, и въ той же комнатѣ, подлѣ этой кровати, висѣлъ въ петлѣ, тоже уже безжизненный, его несчастный братъ. Петръ Ивановичъ умеръ ночью отъ разрыва аневризмы, и невозможно было опредѣлить, пришелъ ли старшій братъ ночью, услыхавъ стоны умиравшаго, или же только утромъ, чтобы узнать, почему П. И. не встаетъ, и, увидавъ его мертвымъ, понялъ, что онъ безъ брата и его ухода совсѣмъ погибшій человѣкъ и рѣшилъ тутъ же покончить съ собой. Да и дѣйствительно, какъ могъ бы далѣе существовать этотъ одичалый и полупомѣшанный человѣкъ, какъ чумы избѣгавшій людей, потерявъ единственное живое существо, связывавшее его съ міромъ и такъ самоотверженно нянчившееся съ нимъ въ теченіе почти всѣхъ 30-ти лѣтъ.

При краткости времени, остававшагося у меня до отъѣзда, я точно также только по разу могъ заѣхать къ Трубецкому и Волконскимъ. Въ домѣ Трубецкихъ я нашелъ всѣхъ въ какомъ-то угнетенномъ настроеніи: княгиня давно похварывала, давно уже не выѣзжала и приняла меня лежа на кушеткѣ; князь замѣтно былъ озабоченъ ея положеніемъ и казался еще угрюмѣе и со-

средоточеннѣе чѣмъ всегда. Все это побудило меня сократить мой визитъ елико возможно; кромѣ хозяевъ и меня въ гостиной находилось еще лицо, которое я видѣлъ въ первый разъ: это былъ худенькій старичекъ, сидѣвшій въ креслѣ у окна, съ вытянутой и закутанной пледомъ ногой и по временамъ судорожно вздрагивающій отъ боли; оказалось, то былъ декабристъ И. Д. Якушкинъ, пріѣхавшій тогда изъ Западной Сибири, чтобы повидаться съ своими товарищами по каторгѣ. На меня онъ сдѣлалъ впечатлѣніе желчнаго и брюзжащаго старичка только отъ того, что какъ разъ въ этотъ день онъ страдалъ припадкомъ подагры и вмѣшивался въ общій разговоръ съ явнымъ раздраженіемъ; лишь впослѣдствіи я узналъ отъ его товарищей, какой въ сущности это былъ добрый и превосходный человѣкъ. Между прочимъ, у меня осталось въ памяти, что разговоръ зашелъ о тогдашнихъ университетскихъ порядкахъ и я жаловался на непомѣрныя строгости, съ какими преслѣдовало начальство насъ, студентовъ, за всякое нарушеніе формы. Якушкинъ замѣтилъ, что все это та же столь памятная въ ихъ молодости аракчеевщина и по поводу ея вспомнилъ и тутъ же разсказалъ случай съ ихъ товарищемъ-декабристомъ Лунинымъ, отличавшимся, какъ извѣстно, всегда необузданностью своихъ протестовъ противъ такихъ распоряженій. Лунинъ былъ гвардейскимъ офицеромъ и стоялъ лѣтомъ съ своимъ полкомъ около Петергофа; лѣто было жаркое, и офицеры и солдаты въ свободное время съ великимъ наслажденіемъ освѣжались купаньемъ въ заливѣ; начальствовавшій генералъ-нѣмецъ неожиданно приказомъ запретилъ подъ строгимъ наказаніемъ купаться впредь на томъ основаніи, что купанья эти происходятъ вблизи проѣзжей дороги, и тѣмъ оскорбляютъ приличіе; тогда Лунинъ, зная, когда генералъ будетъ проѣзжать по дорогѣ, за нѣсколько минутъ передъ этимъ залѣзъ въ воду въ полной формѣ, въ киверѣ, мундирѣ и ботфортахъ, такъ что генералъ еще

издали могъ увидать странное зрѣлище барахтающагося въ водѣ офицера, а когда поровнялся, Лунинъ быстро вскочилъ на ноги, тутъ же въ водѣ вытянулся и почтительно отдалъ ему честь. Озадаченный генералъ подозвалъ офицера къ себѣ, узналъ въ немъ Лунина, любимца великихъ князей и одного изъ блестящихъ гвардейцевъ, и съ удивленіемъ спросилъ: „что вы это тутъ дѣлаете?"— „Купаюсь,—отвѣтилъ Лунинъ, — а чтобы не нарушить предписаніе вашего превосходительства, стараюсь дѣлать это въ самой приличной формѣ". Конца разсказа не помню, даже можетъ быть Якушкинъ его и не досказалъ, но и въ приведенномъ видѣ анекдотъ этотъ достаточно характеристиченъ для Лунина, котораго безпокойный духъ не могла угомонить и ссылка въ Сибирь; за свои протесты онъ былъ отдѣленъ отъ товарищей и отправленъ съ жандармами въ Акатуевскій заводъ, гдѣ черезъ непродолжительное время и умеръ въ совершенномъ одиночествѣ. По возвращеніи моемъ черезъ годъ въ Иркутскъ, я уже не засталъ княгини Трубецкой въ живыхъ, она умерла послѣ продолжительныхъ страданій отъ внутренняго рака, оставивъ самую теплую память по себѣ не только въ семьѣ, но и среди всѣхъ, имѣвшихъ случай знать эту умную и необыкновенно кроткую женщину.

Волконскіе жили въ новомъ выстроенномъ ими домѣ у Успенской церкви, красивомъ снаружи, хотя и деревянномъ, и богато убранномъ внутри. Старика Волконскаго я не засталъ въ городѣ; онъ, какъ ревностный агрономъ, по случаю наступавшаго страднаго времени уѣхалъ наблюдать за работами въ д. Урикъ; сына Мишеля тоже не было, онъ по званію генералъ-губернаторскаго чиновника особыхъ порученій находился гдѣ-то въ командировкѣ; такъ что я нашелъ дома только княгиню, конечно, немного постарѣвшую и дочь, обратившуюся изъ 12-лѣтней дѣвочки въ изящную, стройную и красивую женщину. Какъ разъ въ это время у

нихъ гостила вдова министра двора императора Николая, свѣтлѣйшаго князя Петра Михайловича Волконскаго, и приходившаяся родной сестрой декабристу Серг. Григ. Волконскому; она очень любила брата и, когда со смертью мужа съ нея спали оковы и стѣсненія придворной жизни, то ничто ее не могло удержать отъ поѣздки въ Иркутскъ на свиданіе съ братомъ послѣ 30-лѣтней разлуки, ни неудовольствіе императора, ни трудность пути, и она пустилась въ далекое путешествіе. Она пожелала меня видѣть и вышла также въ гостиную; это была очень оригинальная старушка, весьма живая и подвижная и, несмотря на свои чуть ли не 70 лѣтъ, она, добравшись до Иркутска, и здѣсь не оставалась спокойно на мѣстѣ, а разъѣзжала безпрестанно, успѣла побывать и за Байкаломъ и съ замѣчательною любознательностью интересовалась всѣми особенностями края. Въ обществѣ разсказывалось, что княгиня Волконская уговорила мужа, по случаю предстоявшаго пріѣзда сестры, занять одну изъ лучшихъ комнатъ нижняго этажа и отдѣлать ее поприличнѣе; онъ добродушно подчинился этому желанію, но не замедлилъ въ этотъ богато убранный кабинетъ натаскать косъ, подковъ и тому подобныхъ принадлежностей сельскаго своего хозяйства и придать ему, къ большому огорченію домашнихъ, характеръ, никакъ не соотвѣтствовавшій роскоши помѣщенія.

XVI.

Въ концѣ іюля я разстался съ родными и Иркутскомъ, предполагая, что покидаю ихъ снова на много лѣтъ, но судьба устроила иначе. Послѣдній мой годъ въ университетѣ прошелъ въ усиленныхъ занятіяхъ чрезвычайно быстро, ознаменовавшись двумя событіями—

торжественно отпразднованной годовщиной столѣтія московскаго университета въ январѣ и смертью императора Николая въ февралѣ. Чтобы не отвлекаться отъ прямой моей задачи—о декабристахъ, я воздержусь отъ личныхъ моихъ воспоминаній объ этихъ двухъ событіяхъ и о томъ, какъ они отозвались на нашихъ студенческихъ кружкахъ и въ тогдашнемъ обществѣ, въ которомъ я вращался. По случаю продолжавшейся войны нашему выпускному курсу предписано было сдать экзамены въ мартѣ, и я въ четвергъ на Страстной недѣлѣ кончилъ мое послѣднее испытаніе изъ оперативной хирургіи у профессора Иноземцева и вскорѣ имѣлъ въ рукахъ дипломъ на званіе лѣкаря съ отличіемъ.

Желаніе ѣхать на войну и помогать раненымъ во мнѣ нисколько не поколебалось, но подъ вліяніемъ геройскихъ страданій Севастополя сосредоточилось цѣликомъ на мысли попасть непремѣнно въ этотъ городъ, гдѣ кипѣла горячая и самоотверженная работа врачей. Пироговъ уже дѣйствовалъ тамъ нѣсколько мѣсяцевъ съ отрядомъ, снаряженнымъ великой княгиней Еленой Павловной изъ десяти врачей, привезенныхъ имъ съ собой изъ Петербурга, а какъ разъ въ началѣ мая было объявлено въ Правленіи университета, что онъ вербуетъ новый отрядъ врачей, который вскорѣ предполагается великою княгинею послать туда же; и желающимъ вступить въ эту вторую экспедицію предлагалось немедленно записаться. Я съ радостью ухватился за этотъ такъ кстати подоспѣвшій вызовъ, потому что, кромѣ завиднаго преимущества поработать подъ руководствомъ великаго Пирогова, онъ не связывалъ меня необходимостью поступать въ военное вѣдомство и тѣмъ давалъ возможность по окончаніи войны тотчасъ же возвратиться въ Иркутскъ въ свою семью, гдѣ теплая и нѣжная заботливость отца и матери и вся жизнь въ родномъ кругу пріобрѣли для меня новую прелесть съ тѣхъ поръ, какъ я побывалъ тамъ временнымъ гостемъ. Я и еще двое

изъ моихъ товарищей немедленно заявили наше желаніе ректору Альфонскому, онъ послалъ нась къ попечителю; генералъ Назимовъ принялъ насъ очень любезно, расхвалилъ за намѣреніе и, записавъ наши фамиліи и адресы, сказалъ, что на-дняхъ сообщитъ о насъ въ Петербургъ и чтобы мы были наготовѣ къ выѣзду, ибо насъ могутъ потребовать внезапно. Но на этомъ дѣло и стало; наступило лѣто, прошли май и іюнь, а насъ все не вызывали; мы тяготились и своимъ бездѣльемъ и тѣмъ, что проживали наши скудные рессурсы (я еще въ этомъ отношеніи находился въ сравнительно лучшихъ условіяхъ), всѣ наши однокурсники мало-по-малу пристроились къ работѣ и разъѣхались изъ душной Москвы, а мы все не предвидѣли конца нашимъ ожиданіямъ. Наконецъ, нужда заставила обоихъ моихъ товарищей отказаться отъ севастопольскаго плана и искать средствъ къ существованію въ провинціи; я остался одинъ и сталъ скучать еще больше; въ началѣ іюля я въ послѣдній разъ сходилъ за справкою къ попечителю и, узнавъ отъ него, что нѣтъ ни слуху, ни духу о второмъ Пироговскомъ отрядѣ, отказался также ждать долѣе и уѣхалъ въ Иркутскъ къ большой радости моихъ родителей.

Въ кругу декабристовъ не произошло ничего новаго, кромѣ убыли вышеозначенныхъ членовъ, братьевъ Борисовыхъ и княгини Трубецкой, но уже сама по себѣ смерть императора Николая I-го значительно измѣнила ихъ положеніе къ лучшему и заставляла надѣяться на близкую перемѣну въ ихъ участи. Домъ Волконскихъ не только оставался главнымъ центромъ общественной жизни, но замѣтно пріобрѣлъ еще большее вліяніе; всѣ высшіе чины усердно посѣщали его, съ одной стороны поощряемые дружбой съ Волконскими главнаго начальника края Муравьева, а съ другой, зная, что Волконскіе, при своихъ большихъ связяхъ въ Петербургѣ, могутъ помочь и дальнѣйшей карьерѣ и открыть доступъ

въ столичныя гостиныя. Домъ Трубецкихъ, напротивъ, со смертью княгини, стоялъ какъ мертвый; старикъ Трубецкой продолжалъ горевать о своей потерѣ и почти нигдѣ не показывался; дочери его всѣ вышли замужъ, сынъ же находился пока въ возрастѣ подростка. Мой старый учитель А. В. Поджіо весь поглощенъ былъ своей маленькой дочкой Варей, которую любилъ до безумія и съ которой готовъ былъ бы няньчиться съ утра до вечера, если бы не хлопоты и наблюденіе за золотымъ пріискомъ на р. Элихтѣ, требовавшія его частыхъ отлучекъ изъ города. А золото все не давалось ему какъ кладъ и, какъ это большею частью случается, недѣлями промывалось въ достаточномъ количествѣ, а недѣлями розсыпь скрывалась куда-то подъ землю и промывка шла самая скудная, далеко не окупавшая затратъ, такъ что Поджіо постоянно переходилъ отъ надежды на обогащеніе къ отчаянію, что пріискъ раззоритъ его окончательно и лишитъ его и семью послѣднихъ средствъ къ существованію. Во время своихъ пріѣздовъ въ городъ онъ очень часто забѣгалъ къ намъ, чтобы подѣлиться съ отцомъ своими сомнѣніями или посовѣтоваться о той или другой мѣрѣ въ своемъ золотопромышленномъ хозяйствѣ. Живой, необыкновенно отзывчивый на все и искренно сердечный, онъ былъ всегда желаннымъ гостемъ въ нашемъ домѣ, гдѣ всѣ отъ мала до велика его любили какъ родного,—и даже бабушка, жившая у насъ, ветхая и совсѣмъ сгорбленная старушка лѣтъ 85, съ большимъ трудомъ выползала изъ своей комнаты, чтобы повидать А. В—ча и пожаловаться ему на свои старческіе недуги. „Хоть поскучусь Ал. В—чу, все какъ будто легче станетъ“, говорила она. Съ генералъ-губернаторомъ, гр. Муравьевымъ, Поджіо сдружился очень коротко, хотя, несмотря на всѣ настоянія Муравьева, никогда не показывался на его оффиціальныхъ пріемахъ и балахъ, но въ тѣсномъ кружкѣ своихъ семействъ они бывали другъ у друга безпрестанно, а лѣтомъ, когда

Муравьевъ уѣзжалъ изъ Иркутска обыкновенно на Амуръ, жена его переѣзжала какъ бы на дачу въ небольшой домикъ Поджіо и ютилась тамъ въ одной комнаткѣ.

Въ этотъ періодъ я рѣдко бывалъ у декабристовъ, потому что, съ одной стороны, чуждался посѣщать такіе дома, въ которыхъ собиралось зачастую высшее провинціальное общество, а съ другой стороны и потому, что мнѣ было некогда, ибо, по пріѣздѣ въ Иркутскъ, мнѣ немедленно поручено было исправлять одновременно три должности: иркутскаго городоваго, окружнаго и ветеринарнаго врачей, и у меня, при безпрестанныхъ командировкахъ въ громадный по размѣрамъ округъ (тогда Верхоленскій и Балаганскій округа составляли еще нераздѣльныя части Иркутскаго), едва хватало времени, чтобы управиться съ работой.

А время было крайне живое, и иркутское общество, несмотря на громадное пространство, отдѣлявшее его отъ Россіи, съ лихорадочнымъ интересомъ слѣдило за крупными событіями, совершавшимися тамъ: за паденіемъ Севастополя, окончаніемъ войны и заключеніемъ парижскаго мира. Много было обиды для національнаго самолюбія во всѣхъ этихъ фактахъ, но это тяжелое чувство значительно умѣрялось явными признаками поворота къ лучшему въ русской жизни, — признаками, съ которыми знакомила насъ каждая почта, приходившая изъ Россіи. Наступилъ и день коронаціи Александра II въ Москвѣ, т. е. 26-е августа 1856 года, а вмѣстѣ съ нимъ и объявленіе милостиваго манифеста, всегда столь жадно ожидаемаго въ Сибири нѣсколькими тысячами лицъ, попавшими въ нее не по своей доброй волѣ. Дождались наконецъ и декабристы конца своей 30-тилѣтней ссылки. Они угадывали заранѣе, что послѣ смерти императора Николая имъ позволено будетъ вернуться въ Россію, а благодушный характеръ новаго императора и высказываемыя имъ сужденія объ участи дека-

бристовъ вскорѣ сдѣлали то, что догадки эти перешли въ увѣренность, въ подтвержденіе чего могу привести слѣдующее доказательство. Передъ моимъ отъѣздомъ изъ Москвы въ іюлѣ 1855 г. меня пригласила къ себѣ Е. С. Молчанова, дочь Волконскихъ; она около этого времени привезла изъ Иркутска своего разбитаго параличемъ мужа и поселилась въ Москвѣ для его лѣченія. Узнавъ о томъ, что я собираюсь ѣхать въ Иркутскъ, она предложила мнѣ совершить этотъ переѣздъ въ отличномъ дормезѣ, устроенномъ со всѣми удобствами и предназначавшемся для возвращенія ея матери въ Россію послѣ амнистіи.

XVII.

Вѣстникомъ радостной для декабристовъ вѣсти объ ихъ освобожденіи изъ 30-тилѣтней ссылки былъ сынъ Волконскихъ Мишель, находившійся въ день коронаціи въ Москвѣ, и его то генералъ Муравьевъ, съ свойственной ему сердечной чуткостью, выбралъ курьеромъ, для доставленія въ Иркутскъ милостиваго манифеста и дабы онъ первый могъ сообщить своимъ родителямъ и ихъ товарищамъ конецъ ихъ сибирскихъ испытаній и позднюю зарю ихъ новой жизни. Вечеромъ того самаго дня, какъ обнародованъ былъ манифестъ, молодой Волконскій пустился въ путь, стремглавъ промчался по осенней распутицѣ въ 17 дней огромное пространство, отдѣляющее Москву отъ Иркутска, и привезъ старикамъ столь давно жданную вѣсть объ ихъ освобожденіи. Но въ Иркутскѣ и въ Восточной Сибири только весьма немногимъ счастливцамъ довелось дожить до конца ссылки; кости большинства изъ нихъ давно уже покоились на скромныхъ погостахъ сибирскихъ селъ и деревень. Ста-

рики Волконскіе и Трубецкой съ сыномъ тотчасъ же воспользовались правомъ возвращенія и, едва дождавшись зимняго пути, покинули Иркутскъ. Поджіо же не хотѣлъ разставаться первое время съ Сибирью; онъ все надѣялся, что его пріисковое дѣло оправдаетъ себя и дастъ ему возможность обезпечить семью, но чѣмъ дальше, тѣмъ надежды эти все болѣе слабѣли и кончилось тѣмъ, что пріискъ не только не обогатилъ его, а напротивъ поглотилъ и тотъ скромный капиталецъ, которымъ онъ владѣлъ; словомъ, повторилась исторія, столь зачастую случающаяся въ Сибири. Будущность не могла не представляться старику въ мрачныхъ краскахъ; ему уже перешло за 60 лѣтъ, и онъ ясно понималъ, что въ Иркутскѣ уроками нельзя добыть порядочнаго куска хлѣба, а тѣмъ менѣе обезпечить жену и ребенка на случай своей смерти. Въ это время онъ получилъ отъ старшаго своего племянника А. О. Поджіо, сына декабриста Осипа Викторовича, предложеніе переѣхать къ нему въ петербургское имѣніе, гдѣ ему предоставлялись и спокойное доживанье своего вѣка и матеріальное довольство для семьи. Племянникъ писалъ, что это не есть благодѣяніе съ его стороны, а прямой долгъ, такъ какъ онъ считаетъ, что еще не совсѣмъ расквитался въ той долѣ имущества, которая ему досталась вслѣдствіе ссылки дяди въ Сибирь,—и Александръ Викторовичъ, не видя передъ собой другаго выхода, рѣшилъ принять это предложеніе.

Въ 1859 году 3-го мая онъ пустился въ обратный путь изъ того мрачнаго края, гдѣ ему суждено было прожить около половины своей жизни; ѣхалъ онъ въ него во цвѣтѣ молодости и здоровья; но съ загубленною будущностью, съ разбитыми надеждами, безъ малѣйшаго просвѣта на лучшее, а возвращался обратно сѣдымъ старикомъ, но съ тѣмъ же вѣчно юнымъ, любящимъ сердцемъ, заставлявшимъ его глубоко горевать отъ разлуки съ Сибирью, къ которой онъ искренно при-

вязался и гдѣ нажилъ много дорогихъ друзей и даже собственную семью, но, съ другой стороны, онъ не могъ не радоваться, что вывозилъ эту семью на вольный свѣтъ и на просторъ европейской цивилизаціи.

Изъ декабристовъ, не воспользовавшихся амнистіею и оставшихся доживать свой вѣкъ въ Сибири, было, кажется, только двое: Горбачевскій и Бечастновъ, если не считать Д. Ир. Завалишина, который за свои статьи, печатавшіяся въ *Морскомъ Сборникѣ* и обличавшія въ разныхъ административныхъ промахахъ генералъ-губернатора Восточной Сибири, былъ, по ходатайству графа Муравьева Амурскаго, высланъ изъ Сибири, противъ его желанія, и поселился въ Москвѣ, гдѣ и умеръ въ концѣ 80-хъ годовъ. Горбачевскаго я никогда не видалъ; онъ жилъ безвыѣздно въ Петровскомъ заводѣ, за Байкаломъ, и умеръ тамъ въ 60-хъ годахъ, оставивъ по себѣ прекрасную память какъ среди товарищей, такъ и среди населенія завода. Но Владиміра Александровича Бечастнова я видалъ часто, и онъ теперь, какъ живой, стоитъ передо мной. Это былъ маленькій добродушный и необыкновенно юркій толстякъ; особенно крупнымъ умомъ онъ не отличался и не выдавался своимъ образованіемъ надъ общимъ уровнемъ провинціальнаго общества, какъ его товарищи, но тѣмъ не менѣе это былъ чрезвычайно добрый и честный человѣкъ. Съ отцомъ моимъ у него было общее промышленное предпріятіе, а именно, отецъ далъ деньги, а Бечастновъ устроилъ въ 12-ти верстахъ отъ Иркутска, въ деревнѣ Смоленщинѣ, небольшую маслобойню, на которой приготовлялось конопляное масло. Предпріятіе было грошевое, а потому отецъ мало имъ интересовался, но Бечастновъ по понятной причинѣ, что другихъ матеріальныхъ рессурсовъ у него для жизни не было, былъ весь поглощенъ имъ и, будучи по натурѣ крайне суетливаго характера, постоянно, когда пріѣзжалъ въ городъ, забѣгалъ къ намъ, всегда запыхавшись, всегда озабоченный, и допекалъ

отца разными мелочами. Онъ вѣчно куда-то торопился, и не ходилъ, а бѣгалъ по улицамъ, быстро семеня своими короткими ножками; въ разговорахъ никогда не усиживалъ на одномъ мѣстѣ, безпрестанно вскакивалъ, пересаживался, страшно жестикулировалъ руками, то и дѣло нюхая табакъ и размахивая клѣтчатымъ фуляромъ. Отцу пришлось однажды сдѣлать съ Бечастновымъ небольшую поѣздку по губерніи и онъ по возвращеніи говорилъ: „Я всегда считалъ, что маленькіе люди гораздо болѣе непокладисты въ жизни, чѣмъ большіе, но Бечастновъ въ дорогѣ—это что-то ужасное: тарантасъ у насъ былъ отличный, вещи уложены въ немъ превосходно и мнѣ можно было лежать въ немъ, вытянувшись во весь ростъ (отецъ мой былъ роста колоссальнаго), а Вл. Ал. всю дорогу вертѣлся, толкалъ меня, извиняясь и жалуясь, что ему тѣсно, коротко, не хватаетъ мѣста“. При этомъ Бечастновъ былъ очень разсѣянъ; прибѣжавъ на минутку, онъ всегда засиживался цѣлые часы, потомъ, спохватившись вдругъ, столь же быстро убѣгалъ, захвативъ чужую шапку или калоши и даже шубу, все перепутывалъ, забывалъ, хотя тутъ же въ разговорѣ записывалъ для памяти, вытаскивая изъ кармана огромную кипу бумагъ и на первую попавшуюся набрасывая безпорядочно карандашемъ все то, что̀ находилъ нужнымъ. Съ такой суетливостью и разсѣянностью онъ попадалъ постоянно въ просакъ, давая тѣмъ пищу къ разнымъ шуткамъ надъ собой,—и нѣтъ возможности передать массу анекдотовъ, ходившихъ по поводу разныхъ комическихъ положеній, какія съ нимъ случались въ дѣйствительности. Декабристы разсказывали, какъ по окончаніи каторги въ Петровскомъ заводѣ и передъ своей разлукой другъ съ другомъ въ предстоявшемъ имъ разселеніи по сибирскимъ захолустьямъ они согласились устроить прощальный обѣдъ въ честь коменданта завода, генерала Лепарскаго, который заслужилъ между ними общее уваженіе за свое гуманное и полное такта отношеніе къ ихъ горь-

кой судьбѣ. Въ распорядители обѣда выбранъ былъ, какъ первостатейный гастрономъ, Арт. Зах. Муравьевъ, а въ помощники ему былъ предложенъ Бечастновъ, какъ очень расторопный человѣкъ, хотя тутъ же многіе возставали противъ такого выбора, говоря, что онъ непремѣнно что-нибудь перепутаетъ или сломаетъ. Однако выборъ состоялся,—и обѣдъ шелъ на славу; Бечастновъ хлопоталъ въ потѣ лица и, поощряемый одобреніями товарищей, леталъ вокругъ стола, ни на минуту не присаживаясь на мѣсто. Подали жаркое; Бечастновъ торжественно вноситъ банку съ какими-то рѣдкостно замаринованными грибками, ставитъ на столъ со словами: „вотъ особенно рекомендую это чудо искусства“ и затѣмъ съ обычной стремительностью бѣжитъ изъ столовой снова за чѣмъ-то, и тутъ совершенно неожиданно и къ общему удивленію, банка летитъ со стола вслѣдъ за Бечастновымъ, лопается и всѣ эти микроскопическіе грибки и рыжики очутились на полу; вскорѣ все объяснилось тѣмъ, что когда Бечастновъ развязывалъ бумагу, закрывавшую банку, то нечаянно намоталъ шнурокъ, придерживавшій бумагу, вокругъ пуговицы своего сюртука,—и этотъ-то шнурокъ сыгралъ плохую шутку, сваливъ чудо искусства на полъ.

А вотъ другой примѣръ въ совершенно такомъ же родѣ: однажды Бечастновъ, посидѣвъ у насъ, собрался уходить и, уже надѣвъ шубу въ передней, сталъ разсказывать провожавшему его отцу какую-то длинную исторію; во время разговора онъ полѣзъ въ карманъ и быстро вытащилъ свой носовой платокъ, и въ это время стоявшая на окнѣ въ сосѣдней комнатѣ ведерная бутыль съ настаивавшейся на ягодахъ наливкой съ трескомъ лопнула и наливка наводнила комнату; виновникомъ этого загадочнаго явленія оказался мѣдный пятакъ, который Бечастновъ вытащилъ съ платкомъ изъ кармана и, какъ изъ пращи, угодилъ имъ въ бутыль. Такіе разсказы въ безчисленномъ множествѣ ходили по городу

и передавались въ присутствіи самого Бечастнова, который съ милымъ добродушіемъ подтверждалъ ихъ и самъ первый хохоталъ надъ своими приключеніями. Могъ бы и я привести еще нѣсколько примѣровъ, но мнѣ и безъ того совѣстно передъ памятью декабристовъ и передъ памятью Бечастнова въ частности, что я ограничиваюсь одной смѣшной стороной въ характеристикѣ его личности, очень почтенной и дѣятельной въ хорошемъ значеніи слова и во всякомъ случаѣ заслуживавшей своей злополучной судьбой болѣе серьезнаго и болѣе сочувственнаго отзыва. Но таково свойство моихъ записокъ: составлялись они на основаніи воспоминаній, сложившихся частію въ дѣтскіе годы, частію въ годы ранней юности, когда голова моя еще не умѣла порядкомъ анализировать ни людей, ни фактовъ, и скользила по нимъ поверхностно, схватывая только выдающіяся мелочи. Не подлежитъ сомнѣнію одно, что и Бечастновъ при своей, общей со всѣми декабристами, рѣдкой мягкости характера, любви къ народу и жаждѣ труда и дѣятельности на пользу общественную, могъ вносить только доброе, честное и прогрессивное въ окружающую его обстановку, и хотя крестьяне деревни, гдѣ онъ жилъ, подчасъ подсмѣивались надъ его неловкостью и разсѣянностью, называя его, какъ говорятъ, то Бесчастнымъ, то Несчастнымъ, но любили и уважали его, какъ своего старшаго брата, и въ трудныя минуты шли къ нему за совѣтомъ. Онъ и женился на крестьянкѣ той же деревни Смоленщины, и о томъ, какъ онъ жилъ въ своей домашней жизни, я ничего сказать не могу, потому что изъ нашихъ общихъ знакомыхъ, повидимому, рѣдко кто его посѣщалъ; тамъ же онъ и померъ отъ удара въ концѣ 60-хъ годовъ и похороненъ, оставивъ, какъ слышно, большую семью съ весьма скудными средствами.

На этомъ и заканчиваю я мои воспоминанія о декабристахъ, весьма скудныя фактическимъ матеріаломъ и потому не претендующія на серіозное значеніе, но ду-

мается, что и въ этомъ видѣ онѣ могутъ пригодиться современемъ, когда наступитъ возможность свободно разработывать эту страницу русской исторіи. Писалъ я эти воспоминанія, будучи самъ 6о-тилѣтнимъ и больнымъ старикомъ, стоя одною ногой въ гробу и желая передъ смертью очистить свою совѣсть, воздавая должное этимъ людямъ за то, чѣмъ считалъ имъ себя обязаннымъ и за что внутренно благодарилъ ихъ всю жизнь. Они сдѣлали меня человѣкомъ, своимъ вліяніемъ разбудили во мнѣ живую душу и пріобщили ее къ тѣмъ благамъ цивилизаціи, которыя скрасили всю мою послѣдующую жизнь. Болѣе всѣхъ изъ нихъ я обязанъ этимъ своимъ пробужденіемъ Ал. Викт. Поджіо, — и самое завѣтное мое желаніе написать еще одну главу, посвятивъ ее цѣликомъ описанію послѣднихъ годовъ жизни этого почтеннаго старца, игравшаго въ моей жизни роль втораго отца. Только хватило бы у меня на это силъ и памяти!

ДЕКАБРИСТЪ А. В. ПОДЖІО.

1859—1873 гг.

I.

Въ хорошее время возвратился А. В. Поджіо изъ Сибири, и контрастъ между тѣмъ временемъ, когда его сослали туда, и его возвращеніемъ былъ колоссальный и походилъ для него болѣе на сказку, чѣмъ на дѣйствительность. Переворотъ этотъ въ его личной жизни совпалъ съ первымъ десятилѣтіемъ царствованія императора Александра II. Едва ли въ ту пору у Александра II были болѣе преданные и болѣе благоговѣвшіе передъ нимъ подданные, чѣмъ эти старцы, появлявшіеся тогда изъ нѣдръ Сибири какъ бы на веселый праздникъ. И много лѣтъ спустя Поджіо не могъ разсказывать о своихъ тогдашнихъ ощущеніяхъ безъ дрожи въ голосѣ и явнаго волненія. Ему впослѣдствіи пришлось разочароваться, но онъ продолжалъ высоко чтить въ своей душѣ Александра II, слагая всю вину своего разочарованія на среду.

Когда Поджіо пріѣхалъ въ іюнѣ 1859 г. въ Москву,— онъ нашелъ тамъ многихъ изъ своихъ товарищей и именно тѣхъ, которыхъ, какъ поселенныхъ въ западной Сибири, онъ не имѣлъ возможности видѣть около 20 лѣтъ; тутъ были Нарышкинъ, Оболенскій, фонъ-Визинъ, Пущинъ, Свистуновъ, Якушкинъ и друг.; кн. Трубецкой тоже поселился въ Москвѣ. Встрѣча старыхъ друзей, понятно, была самая трогательная; одинъ изъ нихъ, кажется, Якушкинъ, поселился въ Хамовникахъ, въ отдаленной части Москвы, и такъ какъ онъ, страдая вѣчно

подагрой и ревматизмами, почти не могъ выходить изъ дому, то они условились въ извѣстные дни и часы собираться у него вмѣстѣ, чтобы наговориться до-сыта послѣ долгой разлуки. Эти частыя свиданія не ускользнули отъ бдительнаго надзора московской полиціи, донесено было о нихъ строгому московскому генералъ-губернатору, графу Закревскому, и онъ, въ предупрежденіе, чтобы эти 60—70-лѣтніе старики не затѣяли новой революціи, распорядился немедленно о высылкѣ ихъ изъ Москвы, обязавъ подпиской, что всякій разъ, какъ имъ встрѣтится надобность по дѣламъ побывать въ Москвѣ, они должны испрашивать разрѣшенія у московскаго начальства на опредѣленный и короткій срокъ. И бѣдные декабристы вынуждены были покинуть негостепріимную столицу, порвать свои непосредственныя взаимныя сношенія, скрѣпленныя чуть не полувѣковой дружбой и симпатіями, и разселиться по разнымъ городамъ и селамъ, какъ въ Сибири,—но на этотъ разъ въ европейской Россіи—и въ одиночку. Кажется, высылка эта произошла послѣ выѣзда Поджіо изъ Москвы въ Петербургъ, куда ему дано было разрѣшеніе съѣздить на короткое время; въ Петербургъ его тянуло отчасти стремленіе посмотрѣть мѣсто, гдѣ протекли первые годы его молодости и службы, но еще больше горячее желаніе повидаться съ самой дружеской ему семьей декабриста Волконскаго, проживавшей тогда тамъ, и съ которой онъ не видался послѣ выѣзда ея изъ Иркутска, т.-е. съ 1856 года.

На пути въ Петербургъ, Поджіо остановился въ Твери, чтобы навѣстить Матвѣя Ивановича Муравьева-Апостола, своего товарища по процессу и каторгѣ, брата казненнаго С. И. Муравьева-Апостола, и который поселился съ своей старушкой женой вначалѣ въ этомъ городѣ, а впослѣдствіи перебрался въ Москву, гдѣ и умеръ въ возрастѣ далеко за 80 лѣтъ. Здѣсь, въ Твери, ожидала Поджіо новая, совсѣмъ непредвидѣнная, встрѣча. Во время своей блестящей молодости и свѣтской петербургской

жизни, онъ, будучи молодымъ преображенскимъ офицеромъ, часто посѣщалъ семью одного изъ своихъ однополчанъ, Игнатьева, впослѣдствіи извѣстнаго члена государственнаго совѣта, и отца еще болѣе извѣстнаго дипломата и министра внутреннихъ дѣлъ съ 1881 по 1882 г.; молодой Игнатьевъ зналъ объ участіи въ заговорѣ своего товарища, но или не посѣщалъ самыхъ сборищъ заговорщиковъ, или, если и бывалъ на нихъ, то не игралъ никакой выдающейся роли, а потому не былъ привлеченъ къ слѣдствію и дослужился впослѣдствіи до самыхъ высшихъ государственныхъ должностей. У этого Игнатьева была сестра, молодая дѣвушка, про которую ходили слухи, что она была очень неравнодушна къ красивому товарищу брата; насколько справедлива была эта молва—провѣрить теперь, за давностью лѣтъ, абсолютно невозможно, но она какъ будто подтверждается тѣмъ фактомъ, что вскорѣ послѣ приговора надъ декабристами, молодая Игнатьева отказалась не только отъ своей свѣтской, но и вообще мірской жизни и постриглась въ монашество. Слѣпой случай сдѣлалъ то, что когда Поджіо пріѣхалъ въ Тверь, Игнатьева была игуменьей тверского женскаго монастыря и, узнавъ о проѣздѣ своего стариннаго знакомаго и бальнаго кавалера, пожелала непремѣнно его видѣть съ женой. Поджіо поѣхали на приглашеніе, и въ монастырскихъ стѣнахъ, въ скромной кельѣ настоятельницы, состоялась любопытная встрѣча этихъ двухъ старыхъ существъ, столь близкихъ въ молодости, и которыхъ судьба, въ послѣдующіе годы жизни, провела черезъ такой рядъ разнообразныхъ и тяжелыхъ испытаній, съ тѣмъ, чтобы свести теперь на минуту снова—ее въ видѣ схимницы, а его—въ видѣ амнистированнаго каторжника. Невольная свидѣтельница этого свиданія, жена Поджіо, разсказывая мнѣ объ этой встрѣчѣ, забыла за старостью лѣтъ всѣ подробности и только помнила, какъ старушка-монахиня, сжимая ея руки въ своихъ, сказала ей: „вы —

В. А. Поджіо.

Тип. К. Ѳ. Александрова.

счастливѣйшая женщина! вы должны посвятить всю вашу жизнь, чтобы заботиться о вашемъ мужѣ и беречь его, потому что это—святой человѣкъ“!

Въ Петербургѣ Поджіо пробылъ только нѣсколько дней, проведенныхъ почти безвыходно въ семьѣ Волконскаго, хотя и тутъ онъ не избѣжалъ встрѣчи съ Игнатьевымъ, братомъ монахини, но только на этотъ разъ—встрѣчи въ другомъ тонѣ и духѣ. Игнатьевъ въ это время занималъ постъ петербургскаго генералъ-губернатора, а потому ему немедленно было донесено о пріѣздѣ въ столицу поднадзорнаго Поджіо; онъ тотчасъ же прислалъ въ гостинницу, гдѣ остановился послѣдній, курьера съ запиской, въ которой спрашивалъ его, не согласится ли онъ повидаться съ старымъ товарищемъ, и если согласится, то Игнатьевъ пришлетъ за нимъ въ тотъ же вечеръ карету, чтобы побесѣдовать на свободѣ послѣ столь длинной разлуки. Тонъ записки не понравился Поджіо—и первое движеніе его было отказаться, прибавивъ, что Игнатьевъ, если желаетъ его видѣть, можетъ самъ пріѣхать въ гостинницу; но благодушный нравъ и нежеланіе навлечь на себя и семью новыя непріятности заставили его принять приглашеніе. Свиданіе вышло неискреннее, а потому въ высшей степени натянутое; генералъ-губернаторъ встрѣтилъ стараго товарища въ передней, увелъ его въ кабинетъ, и только когда заперъ за собой дверь, рѣшился обнять его. И разговоръ какъ-то не клеился, потому что Игнатьевъ, очевидно, никакъ не могъ попасть въ надлежащій тонъ и не съумѣлъ быть въ немъ ни генералъ-губернаторомъ, ни старымъ пріятелемъ, а напротивъ, какъ-то сконфуженно вертѣлся передъ своимъ гостемъ и скорѣе походилъ на подсудимаго, представшаго передъ лицо грознаго судьи. Крайне деликатный Поджіо, по чуткости своей натуры, чувствовалъ всю неестественность свиданія, чувствовалъ какую огромную пропасть вырыла жизнь между нимъ и этимъ его стариннымъ товарищемъ; замкнувшись въ своей роли

гостя по принужденію, онъ смотрѣлъ съ холоднымъ любопытствомъ и съ чувствомъ нравственнаго превосходства на блестящаго генерала, увивающагося около него и выражавшаго ему, скромному человѣчку, сочувствіе въ изысканно-ходульныхъ и кудреватыхъ фразахъ. Такое свиданіе не могло продолжаться долго, и впослѣдствіи Поджіо всегда недоумѣвалъ, зачѣмъ тогда понадобилось Игнатьеву видѣться съ нимъ? Онъ отказывался вѣрить, чтобы то было праздное и жестокое любопытство взглянуть на своего опальнаго товарища; если же, напротивъ, его подвинуло на то хорошее чувство—проблескъ истинно добраго огонька въ сердцѣ этого всю жизнь затянутаго въ корсетъ придворнаго человѣка, то какъ этотъ огонекъ не обнаружился ни единымъ жестомъ, ни единой фразой, идущей отъ сердца, и деревянный царедворецъ съумѣлъ все время свиданія остаться въ своей деревянной оболочкѣ. Извѣстно, что въ тайныхъ обществахъ, подведенныхъ потомъ гуртомъ подъ заговоръ декабристовъ, участниковъ было въ четыре или пять разъ больше противъ того числа лицъ, которыя подпали подъ наказаніе; слѣдствіе захватило въ свою сѣть самую крупную рыбу, мелкая же успѣла уйти изъ нея; впослѣдствіи эта ускользнувшая отъ привлеченія къ суду молодежь обратилась въ смиренныхъ гражданъ и дослужилась до генеральскихъ чиновъ, и со многими изъ такихъ прежнихъ заговорщиковъ, а потомъ генераловъ, пришлось теперь столкнуться Поджіо, и всѣ они при этихъ встрѣчахъ отдавали должную дань уваженія посѣдѣвшему въ ссылкѣ старику и видимо цѣнили въ немъ собственное молодое увлеченіе. Такія свиданія были пріятны и будили въ Поджіо рой хорошихъ воспоминаній; свиданіе же съ Игнатьевымъ оставило въ немъ до конца жизни гнетущее чувство разочарованія въ своемъ старомъ пріятелѣ и единомышленникѣ.

Такъ какъ личныя средства Поджіо были истощены, то ему ничего не оставалось, какъ, принявши предло-

женіе племянника, поселиться съ женой и дочерью у послѣдняго въ имѣніи, въ торопецкомъ уѣздѣ, псковской губерніи, и тамъ доживать свой вѣкъ. Побывавъ въ Москвѣ и Петербургѣ и повидавшись со многими товарищами по ссылкѣ и старинными знакомыми, онъ уѣхалъ въ помѣстье племянника, разсчитывая тамъ найти покой и отдохновеніе отъ своей скитальческой жизни и сложить тамъ свои старыя кости. Но его ждало разочарованіе, и чуть ли не самое горькое изъ всѣхъ перенесенныхъ имъ. Племянникъ, хотя и былъ человѣкъ зажиточный, но разсчетливъ и имѣлъ довольно большую семью, жившую въ той же самой усадьбѣ; въ характерѣ его, сухомъ и дѣловомъ, съ консервативными убѣжденіями, не было ничего общаго съ живымъ и страстнымъ темпераментомъ и широкими политическими убѣжденіями дяди, на которыя сибирская ссылка не имѣла никакого вліянія, и онъ вернулся изъ Сибири еще болѣе убѣжденнымъ либераломъ и конституціоналистомъ, чѣмъ какимъ попалъ въ нее. Притомъ, самое устройство жилья для него и его семьи не понравилось старику и сразу ему показало, что это далеко не тотъ уютный и удобный для его преклонныхъ лѣтъ уголъ, какимъ онъ рисовалъ его въ своемъ воображеніи и гдѣ разсчитывалъ успокоиться до конца своихъ дней: его поселили въ мрачныхъ, темныхъ комнатахъ небольшого флигеля, не дали ему своего хозяйства, а обязали ходить въ большой домъ за завтраки и обѣды. Старикъ, при нетребовательности, выработанной въ немъ путемъ всякихъ лишеній въ теченіе своей ссылки, и при своей врожденной крайней деликатности, не протестовалъ вначалѣ и старался помириться съ этимъ матеріальнымъ неудобствомъ, и, вѣроятно, успѣлъ бы въ этомъ, еслибы, къ тому же, и не столько племянникъ, сколько его жена (урожденная княжна Гагарина) не давали ему постоянно и въ разныхъ мелочахъ чувствовать, что его содержатъ, какъ бѣднаго родственника, на хлѣбахъ изъ милости. Вотъ этого-то

униженія и постоянныхъ ежедневныхъ оскорбительныхъ уколовъ не могъ онъ вынести; онъ чувствовалъ, что самая дорогая для него задача, какая оставалась въ жизни,—это—воспитаніе его маленькой Вари,—не могла совершаться благопріятно и нормально при подобной обстановкѣ и условіяхъ; и убѣдившись, что условія эти никоимъ образомъ улучшиться не могутъ, а скорѣе будутъ ухудшаться, онъ рѣшился сразу покончить съ ними и вырваться изъ этого тяжелаго заточенія. Онъ попробовалъ объясниться съ племянникомъ и попросилъ выдѣлить ему на руки ту небольшую часть наслѣдственнаго капитала, которая приходилась еще на его долю и оставалась до сихъ поръ въ распоряженіи племянника; но послѣдній прямо ему объявилъ, что разсчетовъ между ними никакихъ быть не можетъ, такъ какъ старикъ успѣлъ израсходовать всю свою наслѣдственную часть на свое прожитіе въ Сибири и на золотопромышленное предпріятіе. Сильно поразилъ этотъ отвѣтъ стараго Поджіо своей неожиданностью; а такъ какъ настаивать на выясненіи денежныхъ разсчетовъ было не въ его натурѣ, рыцарски щекотливой въ дѣлахъ такого рода, то онъ тотчасъ же прервалъ этотъ неріятный разговоръ и немедленно покинулъ негостепріимный кровъ, проживъ въ немъ всего-на-все нѣсколько мѣсяцевъ.

И опять приходилось старику начинать безпріютную, скитальческую жизнь, имѣя уже 63 года на плечахъ и мучительныя заботы на душѣ о своей крохотной, но столь дорогой семьѣ; онъ чувствовалъ, что годы расшатываютъ его здоровье, силы падаютъ, а впереди онъ не можетъ предложить этой семьѣ ничего, кромѣ лишеній и нужды, и главнымъ образомъ не можетъ дать своей обожаемой крошкѣ-дочери такого вполнѣ законченнаго воспитанія, о какомъ всегда думалъ. Въ этомъ безвыходномъ положеніи онъ рѣшилъ искать для себя мѣста управляющаго имѣніемъ, и потому направился прямо въ Москву, разсчитывая на своихъ многочислен-

ныхъ знакомыхъ, жившихъ тамъ, и случай на этотъ разъ оправдалъ его надежды. Въ Москвѣ проживало, между прочимъ, семейство Дараганъ; К. Я. Дараганъ былъ долго на службѣ въ Иркутскѣ, гдѣ женился на дочери золотопромышленника И. К. Кузнецова, потомъ вышелъ въ отставку и переѣхалъ на житье въ Москву; человѣкъ онъ былъ очень богатый, благодаря женитьбѣ, и при этомъ замѣчательно добрый; съ Поджіо онъ познакомился въ Сибири и тамъ же еще они сошлись такъ, что между семьями установились дружескія связи. Незадолго до пріѣзда въ Москву Поджіо, Дараганъ купилъ себѣ богатую подмосковную съ прекраснымъ барскимъ домомъ и со всевозможными затѣями, съ оранжереями, прекраснымъ паркомъ; при имѣніи была и довольно обширная запашка; будучи самъ плохимъ и лѣнивымъ хозяиномъ, то-и-дѣло путаясь въ своихъ сельскохозяйственныхъ распоряженіяхъ и ежедневно ловя себя въ промахахъ, онъ очень обрадовался тому, что Поджіо ищетъ себѣ мѣсто, и тотчасъ же предложилъ ему переѣхать въ его Никольское и взять бразды управленія въ свои руки.

Все это происходило въ 1860 году. Въ этомъ году въ мартѣ я вернулся въ Москву изъ-за границы, гдѣ провелъ около 1½ лѣтъ, занимаясь въ западныхъ университетахъ довершеніемъ своего медицинскаго образованія, и приступилъ тотчасъ къ сдачѣ экзамена на доктора медицины. Зная, что Поджіо живетъ такъ близко отъ Москвы, мнѣ очень хотѣлось повидаться съ нимъ, но усиленныя занятія и экзамены до того заполонили и время, и мои помыслы, что я не находилъ свободныхъ двухъ дней, чтобы съѣздить въ село Никольское, гдѣ устроился и хозяйничалъ мой старый воспитатель. Я отложилъ эту поѣздку до университетскихъ вакацій, которыя должны были сдѣлать естественный перерывъ въ моихъ экзаменахъ; вакаціи эти наступили, но когда я собирался исполнить свое намѣреніе, въ моей иркут-

ской семьѣ произошли два печальныя событія, сильно потрясшія меня: умерла неожиданно послѣ родовъ жена моего старшаго брата, совсѣмъ молоденькая женщина, а вслѣдъ затѣмъ я получилъ извѣстіе, что отецъ мой отчаянно захворалъ и находится при смерти. Къ отцу я былъ безгранично привязанъ, а потому, услыхавъ объ его опасномъ положеніи, не могъ уже спокойно усидѣть въ Москвѣ, рѣшилъ поѣхать въ Иркутскъ и въ нѣсколько дней собрался въ далекое путешествіе. Я написалъ Поджіо, что не могу и на этотъ разъ исполнить своего намѣренія—повидаться съ нимъ, изложилъ причины, заставляющія меня спѣшить въ Сибирь, и успѣлъ еще до отъѣзда получить отъ него отвѣтъ. Отвѣтъ этотъ сохранился у меня, и я помѣщаю его здѣсь,— и намѣренъ помѣстить еще нѣкоторыя изъ уцѣлѣвшихъ его писемъ ко мнѣ, полагая, что эти интимныя, дружескія страницы лучше и прямѣе, чѣмъ моя слабая характеристика, познакомятъ читателя съ однимъ изъ типичныхъ декабристовъ, сохранившихъ наперекоръ тяжкимъ испытаніямъ своей жизни, или, вѣрнѣе, благодаря именно этимъ испытаніямъ, несмотря на старческій возрастъ, и свою голубиную чистоту духа, и юную пылкость, и горячность его, и незмѣнную преданность своимъ молодымъ убѣжденіямъ... Вотъ это первое письмо:

„*Никольское*, *25-го іюня*, *1860 г.*—Поѣзжайте, скачите, любезнѣйшій, почтеннѣйшій мой Н. А.! Сердце такъ громко отозвалось—и повинуйтесь его голосу. Есть случаи въ жизни, когда надо одними ими жить, отбросивъ причуды разсудка,—будетъ еще время для послѣдняго; теперь же скачите успокаивать, облегчать недуги отца и утѣшайте, подкрѣпляйте бѣднаго брата.

„Что за важность, что упустите время для экзаменовъ, и къ чему вамъ этотъ формализмъ, когда вы докторъ и безъ ихъ, профессорской, санкціи. Исполненный любви къ наукѣ, вы ее обогатите и безъ патента. Нигдѣ я не вычиталъ, чтобы Ипократъ былъ докторомъ меди-

цины, или чтобы Мажанди внесъ свое имя въ наши дворянскія книги по полученіи владимірскаго крестика!.. Итакъ, съ Богомъ, туда, туда, на востокъ, куда несутся постоянно и мои мысли и желанія, поклониться ему, какъ солнцу. Не пишу къ роднымъ вашимъ; вашъ пріѣздъ исполнитъ ихъ такими ощущеніями, что нѣтъ мѣста для тѣхъ, которыя вызоветъ мое писаніе; буду писать послѣ. Они знаютъ, сколько я скорблю и горюю съ ними, и какъ я помню доброту и этой и другой покойницы (моей матери, умершей до того за три года). Слишкомъ люблю васъ, чтобы простить вамъ, что у насъ не побывали! Уѣхать, не повидавшись, развѣ это возможно? Вчера еще, за часъ до полученія вашего письма, двое больныхъ просили помощи, и вотъ почти одновременно вскрикнули мы съ Анной Ивановной (Дараганъ): пріѣдетъ Николай Андреевичъ и поможетъ имъ... И имъ не помогли, и меня разстроили. Какъ все это устроилось глупо, что не видались мы и въ послѣдній мой пріѣздъ въ Москву; Елизавета Петровна (Соколова, наша общая знакомая) меня такъ напугала вашими занятіями, что я не посмѣлъ нарушить ихъ несвоевременнымъ посѣщеніемъ. Я выѣзжалъ въ Москву, чтобы встрѣтить Николая Николаевича (графа Муравьева-Амурскаго); пообѣдалъ съ нимъ въ Троицкомъ (извѣстный тогда трактиръ въ Москвѣ) и проводилъ до 1-й станціи. Онъ по прежнему дружитъ со мною, несмотря на разногласія наши относительно Иркутска. Много было уступокъ съ его стороны, но все-таки онъ доказывалъ существованіе кововъ и доносовъ въ III отдѣленіе; я оставилъ его спокойнѣе и не предвижу худого; по крайней мѣрѣ я все употребилъ, чтобы его успокоить, и разувѣрилъ во многомъ. Ну, Господь съ вами еще разъ и всѣми вашими. Варя сидитъ среди комнаты и читаетъ всѣмъ вслухъ по-французски; боюсь за такое развитіе и не умѣю исправить его. Обнимаю васъ, дорогой мой; жена крѣпко жметъ вамъ руку. А. П.“.

Въ разъясненіе того, о чемъ говорится въ концѣ

печатаемаго письма по поводу свиданія съ гр. Муравьевымъ-Амурскимъ, слѣдуетъ замѣтить, что рѣчь идетъ о событіи, сильно взбудоражившемъ сонную жизнь Иркутска въ 1859 г., именно о дуэли между двумя генеральскими чиновниками особыхъ порученій, Беклемишевымъ и Неклюдовымъ. Въ свое время дуэль эта надѣлала не мало шуму и за предѣлами Россіи, а потому, предполагая ее болѣе или менѣе извѣстной, не будемъ здѣсь передавать ея подробностей; упомянемъ только, что она произвела въ Иркутскѣ необычное волненіе и вызвала наружу давно существовавшій антагонизмъ между туземной молодежью и молодыми привозными чиновниками, составлявшими дворъ генералъ-губернатора. Туземцы приняли сторону убитаго Неклюдова, стали довольно открыто демонстрировать противъ Беклемищева, и эти демонстраціи привели гр. Муравьева въ большое раздраженіе; онъ увидѣлъ въ нихъ враждебные „ковы“, направленные косвенно противъ него самого и его управленія, и нашелъ нужнымъ прибѣгнуть къ энергическимъ мѣрамъ для ихъ подавленія, причемъ нѣсколько лицъ довольно чувствительно пострадали. Вотъ на эту-то исторію и намекаетъ въ своемъ письмѣ Поджіо. Въ Иркутскѣ тогда же говорили, что при декабристахъ ничего подобнаго не могло бы случиться; они, и особенно Волконскіе и Поджіо, будучи всегдашними посредниками между генералъ-губернаторомъ и сибирскимъ обществомъ, служили своего рода средостѣніемъ и помогли бы гр. Муравьеву подвергнуть дѣло спокойному и всестороннему разсмотрѣнію и удержали бы его отъ запальчивости и деспотическихъ мѣръ, въ какихъ въ данномъ случаѣ не было никакой настоятельной надобности!

II.

Отца моего я не нашелъ въ живыхъ по пріѣздѣ въ Иркутскъ, а потому, проживъ на мѣстѣ три недѣли,

поспѣшилъ вернуться обратно для окончанія своихъ экзаменовъ, и въ первыхъ числахъ октября снова былъ въ Москвѣ. Вскорѣ пріѣхалъ туда и Поджіо съ семьей, но больной, и я немедленно навѣстилъ его на квартирѣ Дараганъ, гдѣ онъ остановился. Нашелъ я его очень измѣнившимся, и не даромъ; вслѣдствіе простуды у него развилось острое воспаленіе почекъ съ лихорадками, бѣлкомъ въ мочѣ, общимъ отекомъ и пр. явленіями, которыя въ такомъ возрастѣ не могли не вызывать серьезныхъ опасеній. Но духъ его былъ бодръ, и онъ, возбужденный свиданіемъ послѣ нашей трехъ-лѣтней разлуки, не давалъ мнѣ порядочно изслѣдовать себя и безпрестанно отвлекалъ отъ медицинскихъ разспросовъ въ область политики, перебивая словами: „да полноте, братецъ, оставьте меня въ покоѣ; если надо мнѣ умереть, то съумѣю умереть и безъ вашей медицины; вотъ, еслибы такая болѣзнь приключилась со мной въ Сибири, я бы попросилъ вытопить баньку, сходилъ бы попариться, и все бы съ меня какъ рукой сняло, а тутъ, извольте, — до бани надо ѣхать и трястись по адской мостовой добрыхъ полчаса; лучше потолкуемъ о другомъ и болѣе интересномъ“ — и заводилъ рѣчь о разныхъ вопросахъ современной жизни и внутренней и внѣшней политики, всегда поглощавшихъ сильно его вниманіе.

Болѣзнь, благодаря крѣпости организма, приняла вскорѣ благопріятное теченіе, и какъ я ни старался удержать А. В. еще подольше въ Москвѣ, до полнаго исчезновенія болѣзненныхъ явленій, — уговорить его остаться больше десяти дней не было никакой возможности. Незадолго до того на постъ московскаго генералъ-губернатора назначенъ былъ, вмѣсто гр. Закревскаго, генералъ Тучковъ, человѣкъ весьма почтенный и добрый, и, что̀ главное, во времена своей молодости также нѣсколько сопричастный къ заговору декабристовъ, но, какъ не игравшій никакой видной роли, ускользнувшій отъ преслѣдованія слѣдственной коммиссіи. Заручившись

отъ него разрѣшеніемъ пріѣхать въ Москву для совѣщанія съ врачами, Поджіо нашелъ не лишнимъ явиться къ нему, чтобы поблагодарить его за необыкновенно быстрое позволеніе, и былъ принятъ Тучковымъ съ трогательными выраженіями самаго искренняго участія и почтенія; въ разговорѣ генералъ-губернаторъ просилъ, чтобы Поджіо всегда обращался прямо къ нему при всякомъ недоумѣніи или столкновеніи съ полицейскими властями, однако не скрылъ отъ него, что петербургское правительство смотритъ косо на частые пріѣзды декабристовъ въ столицы. Этого намека достаточно было, чтобы Поджіо почувствовалъ стѣсненіе оставаться подольше въ Москвѣ, да и кромѣ того онъ тяготился жизнью въ шумной и свѣтской семьѣ Дарагана, гдѣ цѣлый день толпились гости и засиживались до 3—4 часовъ ночи, а потому и утромъ день начинался очень поздно; онъ не привыкъ къ такому складу жизни, и, какъ больной, особенно не могъ помириться съ нимъ, а потому лишь только стало ему получше, онъ немедленно уѣхалъ назадъ въ Никольское.

Но не прошло и мѣсяца, какъ Поджіо пришлось прибѣгнуть къ генералу Тучкову, чтобы снова испросить позволеніе на пріѣздъ въ Москву, по случаю внезапной смерти старика декабриста князя С. П. Трубецкого. Князю Трубецкому разрѣшено было проживать въ Москвѣ, въ видѣ исключенія и подъ тѣмъ предлогомъ, чтобы не разставаться съ сыномъ, который поступилъ студентомъ въ московскій университетъ. Жилъ онъ въ небольшой квартиркѣ на Кисловкѣ вмѣстѣ съ сыномъ, и я нерѣдко навѣщалъ его; хотя разница въ лѣтахъ между нами была на цѣлыхъ 50 лѣтъ, но меня привлекала къ нему и необыкновенная доброта его, и то чувство благоговѣнія, какое я питалъ съ своего еще безсознательнаго дѣтства къ декабристамъ, тѣмъ болѣе, что, живя весьма уединенно и тѣсно, не выходя на воздухъ вслѣдствіе одышки, старикъ скучалъ и всегда при про-

щаніи настойчиво просилъ заходить къ нему. Онъ, видимо, дряхлѣлъ, и давняя болѣзнь сердца, по мѣрѣ развитія старческаго окостенѣнія сосудовъ, все болѣе и болѣе безпокоила его мучительными припадками, а потому я нисколько не удивился, когда въ ноябрѣ раннимъ утромъ ко мнѣ прибѣжалъ кто-то сказать, что князю очень плохо и меня просятъ прійти поскорѣе. Я отправился немедленно и нашелъ его уже мертвымъ въ сидячей позѣ на диванѣ; бѣлье на немъ и все кругомъ залито было хлынувшей изо рта кровью съ такой стремительностью и въ такомъ количествѣ, что смерть наступила быстро и безъ страданій. Черезъ нѣсколько дней, а именно 22-го ноября 1860 г., его похоронили; отпѣваніе происходило въ небольшой церкви на Никитской улицѣ, въ которой было совершенно пусто, потому что около гроба бывшаго диктатора и главы заговора декабристовъ насъ собралось никакъ не больше 20—25 человѣкъ — и Поджіо былъ въ томъ числѣ; ему тотчасъ же дали знать о смерти Трубецкаго, и онъ успѣлъ пріѣхать во-время, чтобы проводить тѣло стараго товарища до могилы. Онъ такъ торопился вернуться обратно въ деревню, что я едва имѣлъ время поговорить съ нимъ и убѣдиться, что здоровье его значительно поправилось.

Въ зиму 1860—61 годовъ онъ еще раза два пріѣзжалъ на короткое время въ Москву и урывками видѣлся со мною; здоровье его стало лучше, но уже никогда, со времени перенесенной болѣзни, не возвращалось къ прежней нормѣ; стали появляться кой-какіе объективные признаки, указывавшіе на старѣющееся сердце, и самъ онъ начиналъ жаловаться на приближеніе старости, хотя продолжалъ поражать меня, какъ врача, своей юношеской живостью и подвижностью, а также удивительною ясностью духа и тѣмъ страстнымъ интересомъ, съ какимъ онъ слѣдилъ за всѣми проявленіями тогдашней бурной русской жизни. Тутъ же вскорѣ подошелъ и день 19-го февраля, этотъ кульминаціонный пунктъ но-

вѣйшей русской исторіи; Поджіо съ восторгомъ привѣтствовалъ его и искренно, безъ малѣйшей утрировки, называлъ его самымъ счастливѣйшимъ днемъ своей жизни, говоря: „эхъ, кабы не Варя! ничего бы я такъ не желалъ, какъ въ такой свѣтлый моментъ закрыть навсегда свои глаза!“. Онъ очень тяготился своимъ бездѣльемъ въ усадьбѣ Дарагана и смотрѣлъ на свое управленіе ею какъ на синекуру со стороны богатаго пріятеля, а между тѣмъ ему, этому 65-лѣтнему старику, такъ хотѣлось принять хотя небольшое участіе въ великомъ дѣлѣ освобожденія крестьянъ, что онъ съ радостью ухватился за первый представившійся къ тому случай. У дочери Волконскаго-декабриста, Е. С. Кочубей, а по первому мужу Молчановой, остался послѣ смерти Молчанова маленькій сынъ и на его имя довольно крупное имѣніе въ московской губерніи; мать, какъ опекунша, попросила Поджіо взять на себя нелегкій трудъ управлять этимъ имѣніемъ на это переходное время, съ тѣмъ, чтобы составить и ввести уставныя грамоты. Имѣніе называлось село Шуколово и находилось въ глухомъ углу дмитровскаго уѣзда московской губерніи, и Поджіо съ величайшей готовностью принялъ это предложеніе; забывъ о болѣзни и забравъ семью, онъ осенью того же 1861 года переселился изъ Никольскаго въ уединенное и захолустное Шуколово. Съ пыломъ молодого человѣка и въ то же время съ сознательнымъ благоговѣніемъ старца, призваннаго на склонѣ своей жизни къ осуществленію завѣтныхъ идеаловъ всей этой длинной жизни, принялся онъ за изученіе положенія, за старательное ознакомленіе съ мѣстными условіями, боролся съ поднимавшимися на каждомъ шагу препятствіями, недоразумѣніями, недовѣріемъ къ себѣ бывшихъ рабовъ, но не падалъ духомъ и бодро старался привести дѣло къ удовлетворительному концу. Очень я жалѣю, что не могу дать подробныхъ свѣдѣній о томъ, какъ онъ справлялся съ своей трудной задачей; эти свѣдѣнія были бы весьма любо-

пытны, потому что должны бы обрисовать намъ почтенную фигуру кабинетнаго теоретика освобожденія крѣпостныхъ и стараго борца за него—какъ разъ въ тотъ моментъ, когда ему пришлось проводить свои свѣтлыя мечты на практикѣ и сплошь и рядомъ стараться примирять непримиримое. Но у меня сохранилось отъ этого времени одно его письмо, которое отчасти даетъ понятіе о его благодушномъ и нѣсколько тревожномъ настроеніи; оно было написано въ легкомъ юмористическомъ тонѣ, всегда его отличавшемъ, и я его помѣщаю, выпустивъ только нѣсколько строкъ, касающихся лично меня; мѣсяца и числа на письмѣ не проставлено, — по разсчету оно должно относиться къ ноябрю 61-го года.

„Нѣтъ я не молчалъ, а писалъ, гремѣлъ; но перуны мои миновали васъ, виновнаго! И васъ ли щадить? Полтора мѣсяца въ Москвѣ, и ни словечка, и не изучить въ это время отечественную географію, чтобы узнать, гдѣ это Дмитровъ, гдѣ это Шуколово? Хорошо еще, что случился ученый мужичокъ Максимычъ и васъ наставилъ. Я же вамъ писалъ—и что же? „Виноватъ“,—говоритъ мнѣ дворовый, уже оплѣшивѣвшій на барской службѣ.—А что?—„Потерялъ-съ“. Такъ и погибло письмо, писанное мною десять дней тому назадъ. Теперь опять за перо, опять пиши, а руки-то едва ходятъ. Но дѣлать нечего, надо же если не побраниться, то опять поблагодарить за дружбу и высказанное усердіе...

„Жаль, что не видимся и не толкуемъ, а мало ли о чемъ было поразбесѣдоваться? Врядъ ли я скоро къ вамъ заберусь; теперь взялся за дѣло, только-что прислали довѣренности. А какъ бы вы думали, что изъ двухъ дѣлъ труднѣе? опредѣлить ли надѣлъ съ соглашеніемъ крестьянъ, или составить грамотку? Первое уже кончено, а не угодно ли теперь взяться за послѣднюю: получасовой трудъ растянутъ въ мѣсячный! Сосѣдъ Лужинъ по обоюдному соглашенію представилъ четыре грамоты, и одна за другой были ему возвращены: одна

недополнена, другая переполнена, одна ниже, другая выше и пр. Теперь мудрецы-юристы ломаются, пока есть время, а тамъ увидите, какъ станетъ срокъ подходить, такъ и начнутъ, какъ водится, валить черезъ пень въ колоду. Хозяйство здѣсь ничтожное, но сложно: трехъэтажный домъ, 23 человѣка дворни. Боже мой! надо же мнѣ именно натолкнуться на это число? посмотрѣли бы вы на этихъ ребятишекъ всѣхъ возрастовъ, всѣхъ породъ! что за плодовитость! Если у васъ есть барыни, страждущія безплодіемъ, посылайте ихъ не за границу, а на Икшинскія воды (такъ именуется наша рѣчка); въ нихъ зарождаются не инфузоріи, а матерія, уже выработанная съ высшимъ механизмомъ и подходящая весьма близко къ человѣку. Да и намъ-то самимъ, образованнымъ, стоитъ ли кичиться собой? Всмотритесь въ насъ,— похожъ на человѣка, а все не то, чего-то недостаетъ. Не законодателямъ, а вамъ, ученымъ, надлежитъ изслѣдовать прежде всего русскій мозгъ, — отъ рожденія ли есть недостатокъ одной выпуклости и увеличеніе другой, или же это есть совмѣстное и неотвратимое послѣдствіе такихъ-то общественныхъ условій? А все-таки дворовыхъ мнѣ не сбыть! Съ 1-го генваря мои граждане начнутъ свою вольную общественную жизнь,—а дворовые? — подумайте за меня. Итакъ, какъ видите, любезнѣйшій Н. А,, я все въ томъ же безвыходномъ, весьма тяготящемъ меня, положеніи. У васъ—университетъ, у меня—та же навозная губернія; у васъ — солнце, у меня — тотъ же тусклый, скверный московскій фонарь; у васъ — тотъ же кружокъ близкихъ, а у меня, увы! не тотъ уже кружокъ, зато есть свой цѣлый треугольникъ! Въ одномъ углу сижу я, недовольный, распухшій, надутый, какъ будто и впрямь тотъ же помѣщикъ. Въ другомъ углу, за рѣкой, сидитъ или лежитъ, не знаю, помѣщица 50 лѣтъ, но еще румяная, дородная; возлѣ нея сидитъ или лежитъ, тоже не знаю, весьма дальній родственникъ (а почему же весьма дальнему родственнику

не быть и весьма близкимъ); а поодаль лежитъ (ужъ этотъ, вполнѣ знаю, лежитъ) такъ называемый мужъ! Этотъ мужъ уже 32 года парализованъ и на отдыхѣ. А что за добрая, что за сострадательная женщина Авдотья Ивановна! Владѣлица 38 душъ, что̀ составитъ съ двумя вышереченными и всѣ 40, она съ 19-го февраля, когда въ этотъ роковой день вырвали изъ ея материнскихъ объятій дѣтокъ-крестьянъ, заперлась, обрекла себя на затворническую жизнь и всю горячность сердца сосредоточила на этихъ двухъ существахъ, одинаково ей дорогихъ, одинаково страждущихъ, одинъ—излишнею молодостью, другой—излишнею старостью. И какъ нѣжно, заботливо умѣетъ Авдотья Ивановна дѣйствовать успокоительно на одного и возбудительно на другого, какъ умѣетъ она предохранить одного отъ внѣшнихъ видѣній, которыя могли бы взволновать безмятежную жизнь, другого—отъ тѣхъ потрясеній, которыя могутъ его въ конецъ разстроить. Такимъ образомъ, во избѣжаніе вторичнаго окончательнаго паралича, она скрываетъ отъ него случайную эмансипацію, и ежедневно счастливый еще помѣщикъ отдаетъ по прежнему приказанія старостѣ: „завтра—сгонъ, собрать барановъ, бабъ не спускать» и пр. Паралича, какъ видите, нѣтъ, а помѣщикъ есть, и сама медицина должна разрѣшить женамъ обманывать мужей, а вы не забудьте вписать въ номенклатуру вліятельныхъ причинъ на параличи — и эмансипацію. — Но пора заглянуть и въ третій уголокъ моего треугольника, котораго не видать, но вы слышите, вѣроятно, раздающіеся тамъ 85 голосовъ. Слышите? нѣтъ? ну, такъ прислушайтесь: „упокой душу раба твоего Гавріила!“. А вы не знаете, кто этотъ Гавріилъ? нѣтъ? очень жаль; это ни больше, ни меньше, какъ Гаврило Павловичъ Головинъ,—и этого не знаете? еще того хуже! а, кажется, печатано о немъ и о его родословной тоже: весь родъ былъ благочестіемъ проникнутый, весь онъ былъ богомольный и зарожденный въ страхѣ Бо-

жіемъ, а Гавріилъ, въ особенности возлюбившій Бога и потомъ уже монашенокъ, принялся за постройку храма и обители... Вотъ онъ и сказалъ своимъ 500 душамъ: „три дня—Богу и три дня — мнѣ“! И пошли всѣ шесть дней въ работу; храмъ построилъ, а мужичковъ поразстроилъ! А когда настало 19-е февраля, дворня задурила, разбѣжалась, а мужички за ней: будетъ три дня работать Богу и всѣмъ на одного!“ — „Давайте же, бестіи (покойникъ не любилъ скрывать своихъ мыслей), куръ, барановъ“.—„Не дадимъ“. Тутъ ужъ совсѣмъ затуманилось въ головѣ у бѣдняжки, пересталъ звонить къ заутрени, ходить пѣть на клиросѣ, и когда послалъ за посредникомъ и сказалъ ему, что не даютъ ему, богомольцу, куръ, и получилъ въ отвѣтъ: и не дадутъ! „А барановъ?“—не дадутъ! онъ при этихъ словахъ взялъ да и умеръ! миръ его праху! Такъ вотъ вамъ мои уголки, и судите, любезный другъ, похожи ли они на мои былыя мечты — тамъ, за горами, за долами, отогрѣваться на женевскомъ солнцѣ, упиваться не мертвящей водою Икши, а живительною Виши! А между тѣмъ здоровье плохо, страданія повторяются, и на дняхъ болѣзнь такъ прибавила шагу, что я думалъ и не удержать ее; въ галопъ еще не пошла, вотъ что̀ могу вамъ только сказать, но знаю, что при нашей нагорной мѣстности сѣдоку не удержаться. Какъ человѣкъ теперь не оппозиціонный, я ни ей, никому и ничему не противлюсь.—Теперь другое: когда же мы увидимся? врядъ ли мнѣ собраться къ вамъ раньше генваря: дорога сквернѣйшая, переѣздъ долгій, здоровье плохо, да къ тому же впереди писанья безъ конца! а по сумбуру настоящаго письма можете судить и о томъ, какой будетъ выражать грамота. Вы, какъ медикъ, простите все водяное водяному, ну, а тѣ-то, тѣ-то!.. Боже мой, даже страхъ беретъ! Какъ-то вы меня прочтете и поймете? вотъ вамъ доказательство необходимости съ вами поболтать. Обнимаю васъ, другъ мой,—и до свиданья!“.

Приведу въ отрывкахъ еще одно письмо ко мнѣ отъ Поджіо, писанное вслѣдъ за предъидущимъ, отъ 16 генваря 1862 года, изъ того же Шуколова; въ немъ, хотя и не говорится ни слова о его дальнѣйшей личной дѣятельности по дѣлу освобожденія крестьянъ, но зато высказываются нѣкоторыя разсужденія по поводу тогдашнихъ текущихъ событій, любопытныя для характеристики его взглядовъ на эти событія, какъ одного изъ тѣхъ типичныхъ декабристовъ, который, и по возвратѣ изъ Сибири, продолжалъ жить не прошлымъ, а настоящимъ, живо интересоваться всѣмъ происходящимъ въ общественной жизни, оставаясь при этомъ вѣрнымъ убѣжденіямъ своей молодости.

„Наконецъ, добрый и милый другъ мой Н. А., письмо ваше, отъ 13 декабря, запало въ шуколовскіе предѣлы и сблизило нѣсколько опять меня съ вами. Я такъ отдѣленъ отъ всего живого, что невольно зарождается вопросъ, отъ сего ли я еще міра? Поэтому, писавши ко мнѣ, ошибочно вы говорите: „вы, вѣроятно, знаете". Убѣдитесь въ одномъ, что я ровно ничего не знаю, несмотря на обширную мою переписку, которая заключается или по управленію имѣніемъ, или же по длящемуся еще дѣлу съ моимъ однофамильцемъ (т.-е. съ племянникомъ). Слышалъ вскользь о побоищахъ университетскихъ, скорблю о нихъ, какъ о недостойныхъ призванія образованнаго класса. Улицы — не forum, и заявлять свои притязанія на нихъ несвойственно ни духу времени, ни духу борцовъ, которые должны избѣгать всякаго столкновенія съ грубой матеріальной силой. Такой дикой родъ борьбы выказываетъ только безсиліе; безсиліе же ведетъ къ утратѣ того послѣдняго нравственнаго вліянія, какимъ пользовалось наше студенчество. Согласитесь, любезный другъ, что горькія послѣдствія и васъ самихъ приводятъ къ такому заключенію; сосчитать только число несчастныхъ, пострадавшихъ жертвъ, взять въ соображеніе вновь составляемый уни-

версите́тскій уставъ, который, конечно, будетъ стѣснительнѣе прежняго, — вотъ итогъ тѣхъ неумѣстныхъ и не въ должныхъ условіяхъ выраженныхъ манифестацій или демонстрацій, какъ ихъ называютъ франки. Университеты потеряютъ, конечно, значительную часть своего вліянія въ мірѣ умственномъ,—положимъ, временно, но и это много. Успѣхъ одинъ и, я согласенъ, огромный: это—удаленіе японца министра народнаго просвѣщенія, кн. Путятина, и назначеніе способнаго и истинно передового человѣка—Головнина"... (слѣдуютъ цѣлыхъ двѣ страницы о моихъ личныхъ дѣлахъ, никому неинтересныхъ)... „Извѣстія объ Амурѣ крайне меня огорчили: по истинѣ какой-то fatum преслѣдуетъ всѣ наши предпріятія по всѣмъ частямъ устройства этого края. Что сказать, когда Уссури, эта жемчужина страны, и та такъ ужасно пострадала отъ наводненія. Въ какомъ богатомъ видѣ представляло этотъ край безпристрастное, живописное перо Максимова! и все это унесено или затоплено! Если такое истребительное явленіе должно было осуществиться, то, конечно, лучше, что оно высказалось при самомъ началѣ водворенія, чѣмъ впослѣдствіи, когда бы подверглись опустошенію многолѣтніе запасы и труды. Когда мнѣ воспѣвали богатство и условія будущности Амура, я всегда задавалъ себѣ вопросъ: какимъ образомъ страна, изобилующая такими богатствами, не вызвала къ себѣ избытокъ густого народонаселенія смежнаго съ нею Китая и оставалась такъ долго вовсе необитаемой? Тутъ что-то есть и есть какая-то противодѣйствующая сила противъ всякаго заселенія. Конечно, азіатецъ не способенъ на подвигъ европейца—порабощать себѣ всѣ силы природы; конечно, если мы будемъ дѣйствовать съ первоначальной горячностью и настойчивостью, то преодолѣемъ всѣ препятствія и укоренимся съ успѣхомъ на Амурѣ, но сколько для этого нужно и времени и энергіи! Перваго у насъ много, а на послѣднюю мы такъ скудны.—Поступокъ Мих. Алек.

Бакунина ничѣмъ не извиняется; такое нарушеніе всѣхъ обязательствъ не можетъ оправдываться никакими изворотами, въ какія бы формы онъ ихъ ни облекалъ! Платить за слѣпое довѣріе такою эгоистическою неблагодарностью — преступно; оставить бѣдную молодую женщину на произволъ, среди искушеній, подвергнуть отвѣтственности столько лицъ, оказавшихъ ему теплое участіе, — врядъ ли все это вмѣстѣ даетъ ему довольно смѣлости искать встрѣчи съ Ник. Ник. (гр. Муравьевымъ-Амурскимъ) въ Парижѣ. Столбцы заграничной русской печати обогатятся, вѣроятно, его произведеніями, и любопытно бы знать, какимъ перомъ станетъ онъ чертить абрисы нашей Сибири и какими красками представитъ торжество своего бѣгства? О себѣ вамъ скажу, что въ послѣднее время здоровье мое стало сноснѣе. Не смѣю и думать и обѣщать себѣ видѣть васъ въ Шуколовѣ при этихъ морозахъ и вьюгахъ; безсовѣстно было бы и требовать такое самоотверженіе, но съ тепломъ обѣщаюсь сдѣлаться самымъ неумѣреннымъ требователемъ необходимости — васъ крѣпко обнять. Съ тепломъ будемъ поумнѣе и придумаемъ средство, какъ удобнѣе осуществить это законное нетерпѣніе. — Вашъ А. Поджіо“.

Едва ли нужно пояснять читателю, что въ началѣ письма Поджіо говоритъ о тогдашнихъ (1861 г.) университетскихъ безпорядкахъ, возникшихъ въ Москвѣ по поводу матрикулъ, введенныхъ министромъ народнаго просвѣщенія гр. Путятинымъ и кончившихся печальнымъ побоищемъ на Тверской площади, а въ концѣ — о бѣгствѣ изъ Сибири черезъ Николаевскъ на Амурѣ въ Европу извѣстнаго агитатора М. А. Бакунина. Критическое отношеніе Поджіо къ студенческимъ смутамъ и волненіямъ вызвано главнымъ образомъ тѣмъ обстоятельствомъ, что я, хотя уже и давно покончилъ свое студенчество, однако, грѣшный человѣкъ, очень одобрялъ студенческія требованія, и настолько явно и активно выказывалъ свое сочувствіе имъ, что неоднократно рисковалъ компромет-

тировать себя. Поджіо зналъ это, боялся за меня, и, для предупрежденія опасности, почелъ необходимымъ высказать свой отрицательный взглядъ на пользу студенческихъ безпорядковъ и своимъ трезвымъ словомъ остудить мой молодой пылъ. Что же касается до отношенія его къ бѣгству Бакунина, то оно болѣе чѣмъ понятно: между этими людьми не было ничего общаго; Поджіо былъ вскормленникъ принциповъ великой французской революціи, равенства и братства, и идеи индивидуальной свободы, и за проведеніе ихъ въ бытъ своего отечества онъ заплатилъ цѣной 30 лѣтъ своей искалѣченной жизни; самое же появленіе соціализма на сценѣ всемірной исторіи XIX вѣка, его зарожденіе и развитіе, совершилось значительно позднѣе и застало декабристовъ давно въ Сибири, лишенными возможности усвоить значеніе новаго ученія; они смотрѣли на него какъ на утопію и относились къ нему вполнѣ отрицательно. Бакунинъ же былъ представителемъ идей революціи 1848 г., и не только рядовымъ представителемъ, а онъ развивалъ ихъ самостоятельно дальше и довелъ ихъ до крайнихъ предѣловъ, смѣло можно сказать, до самыхъ извращенныхъ представленій о человѣческой свободѣ; онъ сдѣлался анархистомъ и проповѣдывалъ отрицаніе всѣхъ существующихъ общественныхъ устоевъ: религіи, родины, власти, семьи и даже образованія. Такимъ образомъ, между этими двумя протестантами противъ существовавшаго въ Россіи порядка лежала цѣлая пропасть, и никакое сближеніе и соглашеніе между ними было невозможно ни въ Иркутскѣ, гдѣ они встрѣтились вмѣстѣ въ концѣ 1858 г., будучи оба поднадзорными, ни еще того менѣе въ Женевѣ, гдѣ позднѣе имъ суждено было жить обоимъ въ качествѣ свободныхъ гражданъ. Притомъ Поджіо до конца дней оставался вѣрнымъ рыцарскимъ убѣжденіямъ своего времени, ненавидѣлъ всякую ложь и никогда не могъ примириться съ революціонной доктриной позднѣйшей эпохи: „цѣль оправдываетъ сред-

ства“, а, стало быть, никакъ не могъ смотрѣть на бѣгство Бакунина какъ на поступокъ, заслуживающій одобренія и похвалы; онъ зналъ, что Бакунинъ, для его осуществленія, нарушилъ честное слово, данное имъ генералъ-губернатору и своему родственнику, гр. Муравьеву, въ томъ, что онъ не злоупотребитъ предоставленной ему свободой передвиженія по Сибири и оказаннымъ довѣріемъ—и не убѣжитъ изъ ссылки. Вообще Поджіо и Бакунинъ—это два антипода, и по политическимъ убѣжденіямъ, и по своимъ моральнымъ правиламъ въ жизни; это—альфа и омега...

Гораздо понятнѣе и естественнѣе сложились отношенія у Поджіо съ петрашевцами, когда амнистія 1856 года замѣнила послѣднимъ каторгу поселеніемъ, и трое изъ нихъ, а именно Петрашевскій, Львовъ и Спѣшневъ, были водворены на поселеніе въ Иркутскъ и застали тамъ еще Поджіо. Хотя трудно было бы и даже совсѣмъ невозможно отыскать преемственную связь въ развитіи идей между декабристами и петрашевцами, но одинаковая участь, одинаково загубленная жизнь, тѣ же тяжкія испытанія сибирской каторги, все это вмѣстѣ неизбѣжно сближало между собой этихъ людей двухъ разныхъ поколѣній. Съ Спѣшневымъ и Львовымъ Поджіо, несмотря на большую разницу въ лѣтахъ, сошелся близко и часто видался до своего выѣзда изъ Сибири; а вскорѣ послѣ того и они оба были окончательно прощены и вернулись въ Россію, гдѣ Спѣшневъ безвыѣздно поселился въ своей деревнѣ, кажется, новгородской губерніи, и тамъ, немного времени спустя, умеръ, а Львовъ въ послѣдствіи сталъ извѣстенъ какъ одинъ изъ учредителей техническаго общества въ Петербургѣ и, сдѣлавшись постояннымъ секретаремъ его, отдалъ всю остальную свою жизнь на организацію и служеніе этому обществу. Участь же самого Петрашевскаго была гораздо печальнѣе; это была натура сильная и каторга не могла сломить его энергіи; по прекращеніи ея, онъ появился въ Иркутскѣ, и въ

дѣлѣ упомянутой дуэли между Беклемишевымъ и Неклюдовымъ принялъ такое выдающееся участіе и такъ открыто агитировалъ противъ Беклемишева, что навлекъ на себя гнѣвъ генералъ-губернатора, гр. Муравьева, до того очень къ нему благоволившему, и, по распоряженію его, былъ высланъ на житье въ одну изъ глухихъ, лежавшихъ въ сторонѣ отъ большого тракта, деревень Шушинской волости, енисейской губерніи. И здѣсь онъ не угомонился, и, сойдясь съ своими новыми односельцами, сдѣлался ихъ адвокатомъ и отъ ихъ имени сталъ осаждать мѣстныя власти безпрестанными прошеніями на разныя утѣсненія и неправды; прошенія эти доводились до свѣдѣнія графа Муравьева, постоянно поддерживали его раздраженіе,—и Петрашевскому не сдобровать бы и не избѣжать новыхъ преслѣдованій, еслибы смерть вскорѣ не положила конецъ его скитальческой жизни; онъ заразился тифомъ и умеръ въ своемъ глухомъ поселкѣ, одинокій, вдали отъ друзей, лишенный всякой медицинской помощи, всякаго ухода. Поджіо успѣлъ познакомиться съ Петрашевскимъ въ Иркутскѣ, но особеннаго сближенія между ними не могло произойти,— для этого и знакомство ихъ было слишкомъ кратковременно, да и разница во взглядахъ и сужденіяхъ слишкомъ велика: Поджіо былъ не больше, какъ чистокровный либералъ, политическія же стремленія Петрашевскаго шли гораздо дальше; но и расходясь принципіально во взглядахъ, Поджіо не могъ не уважать этого строптиваго человѣка за его незыблемую вѣру въ свои идеалы. Пребываніе же Бакунина въ Иркутскѣ не отличалось безупречностью и въ тамошнемъ обществѣ не оставило послѣ себя симпатичныхъ и теплыхъ воспоминаній. Послѣ амнистіи 1856 г., Бакунинъ изъ Петропавловской крѣпости былъ высланъ на поселеніе въ Томскъ, но въ концѣ 1858 г., по собственному желанію и по ходатайству графа Муравьева-Амурскаго, приходившагося ему дядей, перемѣщенъ на жительство въ Иркутскъ. Здѣсь

онъ сразу занялъ привиллегированное положеніе въ домѣ генералъ-губернатора и вращался исключительно въ правительственномъ кругу среди фаворитовъ дяди, избѣгая сближенія съ мѣстнымъ обществомъ, а потому и въ дѣлѣ Беклемишевской дуэли, разыгравшейся на его глазахъ, стоялъ на сторонѣ враждебной общественнымъ симпатіямъ. Такъ, между прочимъ, доподлинно извѣстно, что опроверженіе въ „Колоколѣ" на помѣщенное раньше въ этой газетѣ правдивое изложеніе всѣхъ обстоятельствъ дуэли было составлено при участіи Бакунина и прислано Герцену съ собственноручнымъ письмомъ его, въ которомъ заключалась горячая просьба, въ память старыхъ дружескихъ отношеній, помѣстить немедленно это опроверженіе. Весьма возможно, что въ умѣ Бакунина уже тогда назрѣлъ замыселъ бѣжать изъ Сибири, а потому онъ и держалъ себя въ Иркутскѣ постоянно въ маскѣ, думая только о своемъ планѣ и стараясь лишь вкрасться въ довѣріе графа Муравьева; въ этомъ онъ дѣйствительно успѣлъ и, воспользовавшись этимъ довѣріемъ, бѣжалъ черезъ Амуръ при первой возможности и безъ особаго труда.

Все это я привелъ здѣсь для возстановленія истины, а главное для объясненія причины, почему безпристрастный Поджіо такъ строго отозвался о немъ, зная хорошо всѣ подробности пребыванія Бакунина въ Иркутскѣ и двусмысленную роль, какую онъ игралъ тамъ. Затѣмъ возвращаюсь къ своему разсказу.

III.

Мнѣ удалось-таки побывать у Поджіо въ Шуколовѣ, куда я попалъ въ концѣ марта 1862 года. Послѣ суровой зимы и наступившей оттепели, вдругъ снова завернули

морозы, навалило снѣгу, и я нашелъ убогую деревеньку, занесенную сугробами свѣжаго снѣга ослѣпительной бѣлизны, что̀ придавало ей искусственную опрятность и даже нѣсколько нарядный видъ. Поджіо ютился съ семьей въ двухъ комнатахъ нижняго этажа барскаго дома, отъ стѣнъ и изъ щелей котораго отовсюду несло холодомъ, потому что домъ давно оставался необитаемымъ, и незанятая часть его не отапливалась; самъ Поджіо на своемъ вѣку привыкъ мириться со всякими невзгодами и съ гораздо худшей обстановкой, но теперь онъ сокрушался за жену и за свою дѣвочку, обреченныхъ прожить суровую и долгую зиму въ пустомъ холодномъ домѣ, лишенныхъ всякаго общества,—и это бы еще не бѣда,—а главное, лишенныхъ свѣжаго воздуха, такъ какъ зимой зачастую по цѣлымъ недѣлямъ имъ не было возможности выйти изъ дому по причинѣ морозовъ и сугробовъ.

Уставная грамота была составлена и представлена, но всетаки хлопотъ по управленію у Поджіо, при его великой заботливости и добросовѣстности, было множество; съ его „новыми гражданами“, какъ онъ называлъ шуколовскихъ крестьянъ, установились у него хорошія и мирныя отношенія; они оцѣнили его прямодушіе и искренность, не боялись никакихъ подвоховъ съ его стороны и при всякомъ недоумѣніи шли къ нему за совѣтомъ и разъясненіемъ. Но и при такомъ удовлетворительномъ ходѣ дѣла, онъ видимо и на каждомъ шагу сознавалъ лежавшую на немъ большую отвѣтственность, какъ бы не обидѣть мужиковъ, а съ другой стороны, какъ бы не поступить черезчуръ въ ущербъ интересамъ малолѣтняго землевладѣльца,—а потому тяжело и больно было смотрѣть на эту постоянную и напряженную озабоченность почтеннаго старика, которому, по лѣтамъ, и по здоровью, давно пора бы на покой отъ такихъ кропотливыхъ, мелочныхъ, но въ сущности весьма сложныхъ и отвѣтственныхъ дѣлъ. Но какъ устроить

этотъ покой, когда будущность всей семьи была не обезпечена матеріально? Самъ Поджіо на всѣ мои разговоры на эту тему энергично отмахивался руками, какъ бы отбиваясь отъ назойливаго нападенія, и отвѣчалъ: „ахъ, оставьте, братецъ, послѣ, когда-нибудь послѣ мы объ этомъ поговоримъ"; я даже не могъ узнать отъ него, на чемъ остановились его переговоры съ племянникомъ, о которыхъ онъ мелькомъ сообщилъ мнѣ въ вышепомѣщенномъ письмѣ. Зато, воспользовавшись его уходомъ по какимъ-то хозяйственнымъ распоряженіямъ, я настойчиво приступилъ къ его женѣ, и она мнѣ созналась, что мужъ самъ сильно озабоченъ будущностью семьи, такъ какъ средства ихъ слишкомъ недостаточны, чтобы жить безъ сторонняго заработка и вмѣстѣ съ тѣмъ доставить Варѣ такое образованіе, какое ему хотѣлось; единственная надежда на племянника рушилась, потому что онъ, послѣ долгой и весьма волновавшей старика переписки, рѣшительно отказался признать свой долгъ и выдать ту часть состоянія дяди, которая, по разсчетамъ послѣдняго, оставалась въ его рукахъ. Тогда меня осѣнила внезапная мысль, которую я высказалъ тутъ же моей собесѣдницѣ: „А что вы скажете, если прибѣгнуть къ помощи „Колокола" и заявить въ немъ объ отказѣ племянника? я бы могъ взять это на себя въ маѣ, когда выѣду за границу; „Колоколъ" теперь очень распространенъ и Герценъ такая сила, что если его заявленіе не заставитъ одуматься племянника, то по крайней мѣрѣ его дрянной поступокъ будетъ преданъ оглашенію и сохранится въ печати".

Мысль моя понравилась Ларисѣ Андреевнѣ, но ее смущало то, что мужъ ея, при извѣстной его щекотливости въ денежныхъ вопросахъ и боязни печатнаго скандала, ни за что не позволитъ мнѣ привести ее въ исполненіе. „Ну, въ такомъ случаѣ и не будемте ему говорить,—сказалъ я,—и пусть это останется тайной между вами и мной; я беру это оглашеніе на свою от-

вѣтственность, печатаю, а тамъ увидимъ, что̀ изъ этого выйдетъ". Какъ мнѣ самому ни хотѣлось заручиться побольше фактическими данными, прежде чѣмъ предать дѣло гласности, сколько я ни подъѣзжалъ съ окольными разспросами въ этотъ день къ старику, чтобы развѣдать обстоятельнѣе ихъ взаимные разсчеты, но онъ оставался вѣренъ своимъ нравственнымъ правиламъ и никакъ не хотѣлъ допустить меня, посторонняго, хотя и близкаго ему человѣка, въ свои фамильныя дрязги. Я такъ и уѣхалъ на завтра изъ Шуколова, не добившись ничего точнаго, но сознавая твердо одно, что надо поскорѣе высвободить Поджіо изъ этого захолустья, худшаго, чѣмъ Сибирь, и гдѣ онъ рисковалъ окончательно загубить и свое здоровье, и самыя дорогія свои мечты относительно воспитанія дочери.

Черезъ два мѣсяца я выѣхалъ за границу, и въ ближайшемъ послѣ того нумерѣ „Колокола" появилось небольшое письмо къ его редактору, въ которомъ говорилось, что онъ ошибается, утверждая, что всѣ декабристы, за исключеніемъ Анненкова, получили послѣ амнистіи отъ своихъ родственниковъ, владѣвшихъ за время ихъ ссылки перешедшими къ нимъ имѣніями, полное возстановленіе своихъ имущественныхъ правъ; что къ Анненкову надо присоединить и А. В. Поджіо, не получившаго своей доли имущества отъ племянника А. О. Поджіо, во владѣніи котораго оно все время находилось. Успѣхъ этого заявленія вышелъ полный,— и когда я, три мѣсяца спустя, вернулся изъ-за границы въ Москву и увидѣлся съ старымъ Поджіо, то онъ горячо благодарилъ меня за услугу и разсказалъ, какъ онъ былъ озадаченъ, получивъ недавно, чуть не послѣ годовалаго перерыва всякой переписки, снова письмо отъ племянника; тотъ писалъ, что до сихъ поръ онъ считалъ себя правымъ, но, узнавъ о заявленіи, помѣщенномъ недавно въ „Колоколѣ", очень смущенъ этимъ и, боясь быть пристрастнымъ въ своемъ личномъ дѣлѣ, а также во

избѣжаніе дальнѣйшихъ на себя нареканій, предлагаетъ возникшее между ними недоразумѣніе подвергнуть разбору третейскаго суда. Старикъ, потерявшій уже всякую надежду на разрѣшеніе спорнаго вопроса, былъ крайне удивленъ этимъ письмомъ, тѣмъ болѣе, что ничего не зналъ о статейкѣ въ „Колоколѣ", и только когда жена открыла ему о нашемъ заговорѣ, задуманномъ въ Шуколовѣ, дѣло для него объяснилось; но онъ не могъ быть на меня въ претензіи, такъ какъ послѣдствія заговора сопровождались такими быстрыми и благими послѣдствіями.

Я въ декабрѣ того же года уѣхалъ на службу въ Иркутскъ, а вскорѣ послѣ того состоялось собраніе третейскаго суда, который, по разсмотрѣніи всѣхъ счетовъ, приговорилъ племянника къ уплатѣ дядѣ, помнится, 15.000 рублей. Невеликъ былъ этотъ капиталъ, но для старика—крайне существенъ, ибо, вмѣстѣ съ оставшимися у него крохами, давалъ ему возможность привести въ исполненіе всѣ лелѣемые имъ планы: и независимость, и покой подъ старость, и средства прожить остатокъ жизни въ менѣе суровомъ климатѣ и въ болѣе цивилизованныхъ условіяхъ и, наконецъ, доставить дочери возможно полное образованіе.

Но какъ разъ въ это время, когда онъ сталъ создавать планы о дальнѣйшей своей вполнѣ независимой жизни, случились обстоятельства, которыя заставили его отложить эти планы пока въ сторону. Въ семьѣ Волконскихъ за эти годы произошла большая перемѣна: дочь ихъ, Молчанова, вышла вторично замужъ, по страстной любви, за богатаго черниговскаго помѣщика Кочубея, и старики поселились вмѣстѣ съ нею въ степной усадьбѣ новобрачныхъ, Воронки, наслаждаясь идеальнымъ счастіемъ молодой парочки; но это продолжалось недолго. Въ концѣ 1862 г., до Поджіо стали доходить тревожныя извѣстія о здоровьѣ старушки Волконской, а вслѣдъ затѣмъ и настойчивое приглашеніе, чтобы онъ пріѣхалъ

поскорѣе въ Воронки. Поджіо былъ такъ привязанъ къ этой семьѣ, что, забывъ о личныхъ своихъ планахъ, безъ колебаній оставилъ Шуколово и пріѣхалъ въ черниговскую губернію, чтобы быть подлѣ своихъ друзей въ такое тяжелое для нихъ время и раздѣлить съ ними уходъ и заботы о больной.

Старушка медленно угасала и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ умерла. Едва успѣли ее похоронить, какъ у молодого Кочубея стало быстро развиваться легочное страданіе, и кіевскіе медицинскіе авторитеты нашли, что только южный климатъ можетъ задержать злую болѣзнь, и поэтому посовѣтовали увезти больного на зимовку въ Венецію. Молодая Кочубей совсѣмъ потеряла голову отъ отчаянія; кромѣ больного мужа, у нея были на рукахъ ея два маленькіе сына (одинъ отъ перваго брака и второй—отъ Кочубея), съ которыми она ни за что не хотѣла разставаться, такъ что надо было пуститься въ путешествіе большою колоніей, и Поджіо, не раздумывая долго, рѣшился съ своей маленькой семьей ѣхать вмѣстѣ, чтобы по возможности облегчить трудности переѣзда и ухода за больными. Вся эта многочисленная компанія двинулась въ дорогу осенью 1863 г. и, добравшись до Венеціи, устроилась тамъ на зиму; но неблагопріятная ли погода и вообще сырой климатъ этого города, или индивидуальное предрасположеніе болѣзни,— только отъ этого переселенія не вышло никакого толка; чахотка продолжала галоппировать, и въ декабрѣ пришлось, по совѣту врачей, перемѣститься въ итальянскій городокъ Нерви, на Средиземномъ морѣ, а оттуда еще разъ въ мѣстечко Ронго, гдѣ больной и умеръ ранней весной. Горе жены не знало предѣловъ, и Поджіо не рѣшился покинуть ее въ такихъ печальныхъ обстоятельствахъ, а помогъ перевести тѣло покойнаго въ Россію и остался нѣсколько мѣсяцевъ въ Воронкахъ, чтобы дать привыкнуть молодой вдовѣ къ ея положенію и чтобы присмотрѣть первое время за обширнымъ хозяйствомъ.

Эта первая поѣздка Поджіо за границу была совершена имъ при слишкомъ исключительныхъ условіяхъ и въ такой трагической обстановкѣ, что онъ, будучи весь поглощенъ заботами объ умирающемъ и тяжелымъ горемъ дорогой ему семьи, не имѣлъ ни возможности, ни духу насладиться знакомствомъ съ прекрасной родиной его отцовъ и удовлетворить хотя бы малую долю своей любознательности при видѣ иной расы людей и иныхъ порядковъ общежитія и государственнаго строя. Но, проведя весну и лѣто въ Воронкахъ, онъ окончательно обдумалъ свой планъ переѣхать на постоянное житье за границу, и какъ ни уговаривалъ его старый Волконскій остаться у нихъ и вмѣстѣ съ нимъ доживать свой вѣкъ, его живая натура и еще не израсходованный запасъ духовныхъ силъ не могли примириться съ бездѣятельною жизнью инвалида и отшельника въ русской глухой усадьбѣ; его влекло пожить кипучею жизнью западной Европы, на которую онъ взглянулъ теперь лишь мимоходомъ и гдѣ онъ былъ увѣренъ найти и больше образовательныхъ средствъ для дочери, и лучшій климатъ, и болѣе симпатичныя условія для продленія своей „зеленой“ старости.

Въ сентябрѣ 1864 года я получилъ въ Иркутскѣ отъ него слѣдующее письмо, которое привожу почти цѣликомъ, чтобы показать, какъ и въ моментъ такого крупнаго переворота въ его судьбѣ его старческое сердце продолжало любовно вспоминать о Сибири и тепло относиться къ оставленнымъ тамъ друзьямъ и знакомымъ, съ которыми онъ не надѣялся больше увидаться въ жизни.

„Воронки, 12-го августа 1864 г.—Намѣренно медлилъ я, умышленно не писалъ вамъ, добрѣйшій Н. А.; хотѣлось выждать окончательное рѣшеніе, чтобы дать моему письму характеръ опредѣлительный. Теперь скажу вамъ, наконецъ, что я ѣду за границу; на дняхъ послѣдовало на то Высочайшее разрѣшеніе. Ѣду, и не думайте, почтен-

ный докторъ, что отъ лѣтъ до того посоловѣлъ, что тамъ, за долами, разсчитываю найти для себя и исцѣленіе, и здоровье и т. п. Ѣду съ тою мыслью, что два, три мѣсяца лишняго солнца принесутъ мнѣ нѣкоторое облегченіе, — и то выигрышъ передъ концомъ концовъ. Ѣду на этотъ разъ не въ Италію, а въ Швейцарію, и именно въ Лозанну, гдѣ и тепло, и дешево, и будетъ наука для Вари. Вспомните, что ей десять лѣтъ и что при малыхъ моихъ средствахъ я только тамъ и могу обойтись безъ неизбѣжныхъ гувернантокъ, къ которымъ не лежитъ ни сердце мое, ни карманъ. Варя, моя бѣдная дѣвочка! Вчера я видѣлся съ княгиней Репниной и долго говорилъ съ нею о Швейцаріи, гдѣ она провела зиму; она угрожала мнѣ и холодомъ, и голодомъ, проживши въ пансіонѣ въ Веве и платя по 6 франковъ за себя и за дочь. Страшно! но надо взять въ разсчетъ, что барыня летала прежде лебединымъ полетомъ, а теперь спустилась на ласточкинъ, и мудрено ли, что то, что ей казалось сквернымъ, невыносимымъ, то для меня, воробушка отъ рожденія, покажется очень ладнымъ? Выѣзжаю при грустныхъ впечатлѣніяхъ; отрываться отъ своего, отъ своихъ — не легко; не спорю, тамъ встрѣчу толпу, но какъ эта толпа глухо и несозвучно отзывается! Мы условились было съ Серг. Григ. (декабристомъ Волконскимъ) зимовать вмѣстѣ въ Гельвеціи, а вышло не такъ: онъ такъ расхворался въ Виши, что возвратился въ Россію и хочетъ жить въ семьѣ. Онъ очень слабъ, и больно мнѣ, что, стоя у мѣты, мы такъ разлучаемся... Гдѣ моя молодость? будь она въ рукахъ, я, клянусь вамъ, былъ бы прежде въ Сибири, чѣмъ въ Швейцаріи. Все утрачено, кромѣ неизмѣнныхъ моихъ чувствъ къ краю и къ вашему семейству. Съ вами не теряю еще надежды свидѣться, но съ тѣми другими, дорогими сибиряками не встрѣчаться мнѣ никогда! Вотъ что и больно. На русскихъ пространствахъ чувства не должны допускаться; довольствоваться же заочной дружбой, право, не утѣши-

тельно. Я несу на себѣ эти тягостныя условія, живя врозь со всѣми мнѣ близкими!“.

Въ заключеніе слѣдуетъ длинный перечень лицъ, которымъ онъ поручаетъ мнѣ раздать его прощальные привѣты въ виду вѣчной разлуки.

Съ этого времени начинается новый періодъ въ жизни Поджіо, его новыя скитанія, но на этотъ разъ по Швейцаріи и Италіи и вполнѣ добровольныя... Интересъ, какой возбуждало въ немъ знакомство съ культурными странами, былъ громаденъ и согрѣтъ чисто юношескою пылкостью. До сихъ поръ онъ только теоретически зналъ и цѣнилъ свободу, а теперь, на старости лѣтъ, ему предстояла возможность въ дѣйствительности посмотрѣть на иной строй общественной и государственной жизни...

Ограниченныя средства не позволяли ему путешествовать такъ, какъ требовала его неугомонившаяся любознательность и относительная бодрость физическихъ силъ, и онъ прямо направился въ дешевую Швейцарію и поселился сначала въ Лозаннѣ. Здѣсь онъ немедленно принялся за болѣе систематическое обученіе дочери и одновременно самъ накинулся на расширеніе собственныхъ познаній; училась дочь, учился и старый отецъ. Онъ обложилъ себя книгами по всевозможнымъ отраслямъ знаній и прежде всего занялся изученіемъ страны, куда забросила его судьба. Маленькая Швейцарія, едва превосходящая по числу народонаселенія любую изъ большихъ нашихъ губерній, но съ послѣдовательно въ теченіе шести вѣковъ выработанною республиканскою формою управленія, съ ея демократическими нравами и патріархальной простотой и въ то же время съ ея высокой умственной культурой, пришлась ему какъ разъ по душѣ. Въ противоположность многимъ русскимъ, а въ томъ числѣ и Герцену, видѣвшимъ въ Швейцаріи какое-то отжившее государственное тѣло съ застывшими формами и нравами, а потому неспособное развиваться далѣе, онъ съумѣлъ найти въ ней живую политическую

силу и убѣдиться, что ея съ виду простые и немудреные обитатели вовсе не поглощены однимъ физическимъ трудомъ и личной борьбой за существованіе, отнюдь не представляютъ изъ себя сытыхъ и довольныхъ своимъ настоящимъ людей, но что и въ нихъ работаетъ вѣковѣчное исканіе истины и живое стремленіе къ прогрессу — съ тою только разницей отъ другихъ націй, что, издавна владѣя свободой и демократическими учрежденіями, швейцарцы свято чтутъ и бережно охраняютъ ихъ, и, боясь какъ бы не изуродовать ихъ скороспѣлыми надстройками и реформами, вводятъ послѣднія крайне осторожно и обдуманно. По мѣрѣ того, какъ его знакомство съ Швейцаріей становилось полнѣе и разностороннѣе, Поджіо проникался глубокимъ уваженіемъ къ ея гражданамъ, предки которыхъ съумѣли провести свою республику невредимой черезъ столѣтія и отстоять ее и въ разгарѣ господства дикой силы, и черезъ темную эпоху среднихъ вѣковъ, съ такимъ же успѣхомъ и съ тою же энергіею, съ какими въ нашъ періодъ исторіи ихъ потомкамъ пришлось спасать свою крохотную родину отъ такихъ хищныхъ и всесильныхъ враговъ, какими были Наполеонъ I и Бисмаркъ, и отъ напора крайнихъ ученій послѣдняго времени. Мало того, отрицая наличность застоя въ современной Швейцаріи, онъ высоко цѣнилъ ея теперешнія заслуги передъ Европой въ томъ отношеніи, что она, какъ небольшое опытное поле, не перестаетъ работать въ общечеловѣческую пользу, служа прогрессу постепеннымъ усовершенствованіемъ своихъ политическихъ формъ.

Не разъ онъ говаривалъ мнѣ такъ: „Вы знаете, я не люблю спорить, но когда я слышу толки нашихъ русскихъ радикаловъ, когда они, отдавая должную дань совершенству швейцарскихъ учрежденій, поносятъ въ то же время самый швейцарскій народъ, обвиняя его въ тупости и дикости, въ неспособности къ мышленію и, главное, къ увлеченію тѣми идеями, которыя, по наше-

му, считаются идеями высшаго порядка, у меня такъ и чешется языкъ, чтобы возразить этимъ господамъ: да кто же, наконецъ, создалъ и сберегъ для васъ эти, еще недавно бывшія какъ бѣльмо на глазу у всей Европы, превосходныя учрежденія, блага которыхъ вы одобряете и такъ высоко цѣните, какъ не сами эти тупоголовые и безъидейные швейцарцы? воля ваша, тутъ что-то не такъ,—и въ вашей критикѣ мнѣ слышатся тѣ легковѣсныя жалобы лакея или кухарки, которые, потерявъ по своей винѣ хорошее мѣсто, стараются оправдать себя, говоря: „да, это мѣсто было сытное и покойное, да только хозяева были нехороши и нельзя было съ ними поладить“. Ну, какъ не цѣнить хотя бы эту изумительную, чисто демократическую, нивеллировку личностей, какой вы не только не найдете нигдѣ въ Европѣ, да и въ Америкѣ едва ли скоро дождетесь; здѣсь нѣтъ и быть не можетъ ни деспотовъ, ни родовитой знати, или вельможъ, нѣтъ даже очень крупныхъ богачей, а число среднихъ мало-по-малу все уменьшается. Каждый кантонъ самостоятельно управляется своими лучшими и самыми способными людьми, а высшее управленіе всей страной лежитъ на федеральномъ совѣтѣ, выбираемомъ изъ этихъ лучшихъ людей; эти федеральные совѣтники, по нашему министры, выдѣляютъ каждый годъ изъ своей среды одного на должность президента швейцарской конфедераціи. Но кому за предѣлами Швейцаріи извѣстны эти скромные, но во истину даровитые и въ высшей степени почтенные патріоты, отдающіе на служеніе родинѣ и своему народу свои способности и несущіе отвѣтственный трудъ безъ всякихъ честолюбивыхъ или иныхъ личныхъ замысловъ, потому что и жалованья здѣсь самыя скромныя. Кто, внѣ Швейцаріи, знаетъ имя настоящаго президента швейцарской конфедераціи или его предшественника? это всегда какой-то анонимъ, извѣстный лишь немногимъ, самымъ завзятымъ политиканамъ. А еслибы вамъ, случайно попавши въ его резиденцію—въ Бернъ,

пришла фантазія посмотрѣть на этого таинственнаго главу государства, то вы отлично можете исполнить это вблизи: ступайте въ извѣстную пивную, куда онъ, по окончаніи совѣтскихъ и парламентскихъ преній, забѣгаетъ промочить свое усталое горло кружкой пива; тутъ онъ сидитъ, ничѣмъ не отличаясь отъ прочихъ посѣтителей и ведя скромно бесѣду съ ними, за простымъ, не прикрытымъ скатертью, деревяннымъ столомъ. Да и чѣмъ ему кичиться? пройдетъ годъ, и этотъ калифъ на часъ исчезаетъ и совсѣмъ стушевывается въ толпѣ швейцарскихъ гражданъ. Это ли не идеалъ въ наше время демократическаго устройства въ Европѣ,—и результаты вамъ тутъ же на лицо: проходятъ десятки, сотни лѣтъ, кругомъ рушатся и перекраиваются могущественныя государства, а Швейцарія все стоитъ себѣ незыблемо съ своимъ политическимъ строемъ, оставаясь въ Европѣ чуть не единственной страной порядка и истинной свободы, гдѣ живется покойно и мирно... Вотъ почему, — говорилъ Поджіо,—я и воюю такъ за швейцарцевъ и отстаиваю ихъ удивительно выработанныя республиканскія качества и здравый смыслъ противъ обвиненій ихъ въ тупости и въ неумѣніи пользоваться выгодами своихъ учрежденій. Посадить бы этихъ критиковъ, и особенно изъ нашихъ соотечественниковъ, поуправлять нѣкоторое время швейцарской республикой и посмотрѣть, что бы изъ того вышло; я убѣжденъ, что самые лучшіе изъ нихъ, самые умные и дѣловитые, въ короткое время отрезвились бы на дѣлѣ отъ своихъ „прекрасныхъ“ теорій и пошли бы нога въ ногу съ швейцарскимъ народомъ; неисправимые же утописты вскорѣ бы увидали, что тутъ имъ ничего не подѣлать, и поскорѣе бы сами убрались по добру, по здорову съ своими метафизическими требованіями отъ жизни“.

Приведенныя слова Поджіо, конечно, не были высказаны имъ съ подстрочной точностью и за одинъ разъ, а представляютъ пересказъ многократныхъ бесѣдъ

его со мной и приблизительный сводъ его впечатлѣній отъ знакомства съ швейцарскимъ народомъ. И чѣмъ больше онъ узнавалъ эту страну, тѣмъ сильнѣе увлекался ея чисто-демократическими порядками, здравомысліемъ ея обитателей и безхитростной простотой ея нравовъ.

IV.

Въ Лозаннѣ Поджіо прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ и, осмотрѣвшись хорошенько, нашелъ, что Женева представляетъ больше удобства, какъ для жизни, такъ и для воспитанія дочери, — и переѣхалъ въ этотъ послѣдній городъ. Въ 1860-хъ годахъ въ Женевѣ проживала значительная колонія русскихъ, или, вѣрнѣе сказать, жило нѣсколько русскихъ колоній, потому что, при свойственной намъ племенной разобщенности и нетерпимости къ людямъ другихъ убѣжденій, особенно въ ту бурную эпоху обновленія, съ ея горячими идейными спорами, сверженіемъ старыхъ принциповъ и постановкою новыхъ, все это русское поселеніе распалось на нѣсколько отдѣльныхъ кружковъ, рѣзко розниввшихся одинъ отъ другого, а потому никогда не сходившихся вмѣстѣ. Основался здѣсь и свой сенъ-жерменскій кварталъ изъ нѣсколькихъ нашихъ аристократическихъ семей, осѣвшихъ на цѣлые годы, ради здороваго климата и дешеваго комфорта швейцарской жизни. Проживало здѣсь и нѣсколько помѣщичьихъ семей изъ внутреннихъ губерній, устроившихся надолго въ Женевѣ также, — кто для поправленія здоровья, кто для образованія дѣтей въ тамошнихъ образцовыхъ пансіонахъ, а кто просто для пріятнаго проживанія своихъ только-что полученныхъ выкупныхъ свидѣтельствъ. Около этого времени выбралъ Женеву

для своего пребыванія и А. И. Герценъ, только-что покинувшій Лондонъ вмѣстѣ съ Огаревымъ, Тхоржевскимъ и Чернецкимъ, своими пособниками по изданію „Колокола“, — и хотя въ этотъ періодъ своей дѣятельности онъ начиналъ уже сомнѣваться въ ея дальнѣйшемъ успѣхѣ и замѣчать, что общественное мнѣніе въ Россіи становится къ нему холоднѣе и придирчивѣе, очень жаловался на свою заброшенность, однако его присутствіе въ Женевѣ все-таки привлекло въ этотъ городъ не мало его горячихъ сторонниковъ, остававшихся ему вѣрными. Наконецъ, во второй половинѣ 60-хъ годовъ въ Женевѣ начинаетъ осѣдать новая и молодая русская эмиграція, состоявшая изъ студентовъ, замѣшанныхъ въ организацію революціонныхъ движеній въ Россіи. А если къ этому русскому населенію Женевы прибавить еще вращающуюся среди насъ крупную фигуру Бакунина и курьезную личность эмигранта князя Долгорукаго, издававшаго до того въ Брюсселѣ свой собственный органъ, вначалѣ подъ названіемъ „Будущность“, а потомъ „Правдивый“, то нельзя не признать этого общества разношерстнымъ; среди путаницы его разнородныхъ взглядовъ и убѣжденій не легко было разобраться нашему выходцу изъ Сибири. Для него это было то же самое, что переходъ изъ темнаго заточенія въ ярко освѣщенный залъ, потому что въ ту пору Женева была самымъ яркимъ мѣстомъ русской эмиграціи, и все, что въ ней не предпринималось, имѣло отзывъ и среди молодежи внутри Россіи. Поджіо достигъ уже того возраста, когда въ правѣ былъ считать свою пѣсню спѣтой, и относился къ бурлившей вокругъ него борьбѣ въ качествѣ сторонняго, недѣятельнаго, хотя вовсе не безстрастнаго наблюдателя и свидѣтеля. Равнодушнымъ и безстрастнымъ онъ не могъ быть потому, что продолжалъ горячо любить Россію и свято хранить свои либеральныя убѣжденія, вошедшія у него въ плоть и въ кровь; онъ не могъ поступиться ими ни въ сторону ре-

акціонныхъ стремленій, возникавшихъ тогда на родинѣ, ни въ сторону радикальныхъ увлеченій крайними западными ученіями. Когда правительство шло впередъ и, освободивъ крестьянъ, приступало къ реорганизаціи своего строя, вводя послѣдовательно судебную и земскія реформы и общую воинскую повинность, онъ былъ горячимъ его партизаномъ и защитникомъ; когда это поступательное движеніе пріостановилось, онъ глубоко скорбѣлъ и волновался. Но если онъ осуждалъ наши колебанія и постепенный поворотъ на реакціонный путь, то все же не могъ не отдавать правительству должной справедливости за исполненныя уже имъ широкія преобразованія,—и въ то же время не могъ отдѣлаться отъ тяжелаго сознанія, что главной причиной рѣзкаго поворота въ правительственной прогрессивной политикѣ была незрѣлость самого русскаго общества, выразившаяся въ томъ, что оно не смогло выдѣлить достаточной опоры для этой политики и чрезъ то дало возможность развитію крайней партіи, а эта послѣдняя, неумѣренностью и нетерпѣливостью своихъ требованій и постояннымъ призывомъ къ насилію, достигла лишь того, что правительство было вынуждено повернуть назадъ. При опредѣленности своихъ взглядовъ и при совершенной убѣжденности своей не только въ безполезности, но и во вредѣ тогдашней революціонной агитаціи за границею, Поджіо, попавъ въ Женеву, не могъ сблизиться ни съ одной изъ волновавшихся въ ней тогда политиканствующихъ партій.

Такимъ образомъ, въ этомъ небольшомъ швейцарскомъ городѣ можно было изучать все, такъ сказать, геологическое напластованіе русскихъ революціонныхъ слоевъ за XIX-е столѣтіе и, проходя по Монбланскому мосту, или по одной изъ бойкихъ улицъ, встрѣтить и старческую, но еще подвижную и изящную фигуру Поджіо, этого представителя вымиравшаго уже типа декабристовъ, и выразительную физіономію Герцена съ его

огненными глазами, и могучій торсъ всегда небрежно одѣтаго Бакунина и, наконецъ, того или другого изъ „зеленыхъ“ членовъ молодой эмиграціи; но еслибы безпристрастный наблюдатель задумалъ изучать эти политическіе типы русской эмиграціи разныхъ десятилѣтій и отыскивать между ними преемственную связь, то пришелъ бы въ недоумѣніе отъ того хаоса мнѣній и противорѣчій, отъ того непримиримаго нравственнаго разлада, какіе раздѣляли этихъ представителей протеста. Если держаться обычной номенклатуры партій, Поджіо въ этомъ случайномъ конгломератѣ являлся представителемъ прогрессивнаго либерализма, умѣреннаго и отчасти удовлетвореннаго тѣмъ торжествомъ своихъ идеаловъ, къ осуществленію которыхъ близилось правительство Александра II. Герценъ былъ крайнимъ радикаломъ, воинствующимъ публицистомъ съ неотразимой силой огромнаго таланта, но въ это время уже терявшій реальную почву подъ ногами, вслѣдствіе 20-лѣтняго выѣзда изъ Россіи, и потому неясно разбиравшійся въ томъ гигантскомъ броженіи умовъ, какое внесло на родинѣ первое десятилѣтіе новаго царствованія; въ одинаковомъ же положеніи находился и его ближайшій сотрудникъ Огаревъ. А вокругъ сошедшаго со сцены Поджіо и уже сходившаго съ нея Герцена, бурлила и шумѣла молодая эмиграція, эта партія, считавшая себя представительницею новыхъ вѣяній, и которую въ то время только съ натяжкой можно было приравнять къ соціалистической; скорѣе—то была группа нигилистовъ, потому что, состоя изъ незрѣлыхъ юношей и недоучившихся студентовъ, она не имѣла опредѣленныхъ политическихъ взглядовъ, и вся программа ея сводилась на огульное отрицаніе всего прошлаго Россіи и заслугъ ея прежнихъ дѣятелей на пользу общества и народа, а въ настоящемъ—на полное уничтоженіе всякаго государственнаго и общественнаго строя; впослѣдствіи группа эта, вступивъ въ интернаціоналъ-соціалистическое обще-

ство, существовавшее въ Женевѣ, усвоила ученіе соціализма и стала ближе всего сходиться съ Бакунинымъ и его проповѣдью анархизма. Этой партіи Поджіо и Герценъ были совсѣмъ чужды, а она смотрѣла на нихъ съ высоты своихъ юныхъ увлеченій и безграничной вѣры въ непогрѣшимость обращавшихся тогда среди нея сокрушительныхъ теорій Писарева и Зайцева, съ тою, однако разницею, что Поджіо былъ въ ея глазахъ человѣкомъ уже совсѣмъ сданнымъ въ архивъ, а потому не заслуживалъ съ ея стороны никакого вниманія, и она вполнѣ игнорировала его присутствіе въ Женевѣ,—тогда какъ Герценъ представлялся лицомъ еще дѣятельнымъ, продолжалъ издавать „Колоколъ", хотя и не съ прежнимъ успѣхомъ, и съ мнѣніями его во всякомъ случаѣ имъ надо было считаться. Герценъ лично мнѣ жаловался горько на тяжелыя отношенія и частыя столкновенія, возникавшія между нимъ и этой молодежью. Въ началѣ онъ встрѣтилъ ее съ горячимъ участіемъ и интересомъ, какъ новый для него типъ нарождающагося поколѣнія послѣ крѣпостнической Россіи, и гостепріимно предложилъ ей сотрудничество въ своей газетѣ „Колоколъ", какъ организованномъ уже органѣ, и указывалъ при этомъ на это сотрудничество какъ на денежный заработокъ, такъ какъ большая часть этой молодежи нуждалась въ средствахъ къ жизни. Изъ предложенія этого ничего не вышло, ибо молодая эмиграція, сильная только въ своемъ отрицаніи всего существующаго, не была способна ни къ систематической работѣ вообще, ни къ литературному труду въ частности, а еще того менѣе къ выясненію политическихъ и общественныхъ задачъ времени; въ этихъ молодыхъ умахъ не сложилось пока ничего опредѣленнаго, а царилъ полный хаосъ и смутныя вожделѣнія лучшаго, какъ прямое слѣдствіе переходнаго времени. Не могла она также подчиняться Герцену, какъ главному руководителю изданія и цензору ихъ статей и мнѣній, потому что признавала его человѣкомъ отста-

лымъ и потерявшимъ всякое вліяніе на формированіе рядовъ оппозиціи; дѣло дошло до того, что эмиграція потребовала, чтобы Герценъ отказался отъ газетной дѣятельности и передалъ изданіе „Колокола“ совсѣмъ въ ихъ распоряженіе. Разладъ все увеличивался, и безпрестанныя непріятности и столкновенія привели къ тому, что Герцену опротивѣла Женева, и въ 1866 г. онъ переѣхалъ на житье во Флоренцію.

Отношенія между Герценомъ и Поджіо съ первой встрѣчи установились самыя теплыя и естественныя, основанныя на взаимномъ уваженіи. Герценъ встрѣтилъ Поджіо съ тѣмъ восторженнымъ почетомъ и увлеченіемъ, на какія способна была его страстная натура. Съ своей стороны, Поджіо слишкомъ высоко цѣнилъ громадный публицистическій талантъ Герцена, чтобы не отозваться горячо на это сближеніе. Но знакомство ихъ совпало съ 1864—1866 годами, годами самыми смутными въ ту эпоху русскаго броженія, когда общество стояло уже на распутьи и не ударилось, казалось, еще рѣзко въ реакцію, а между тѣмъ оппозиція продолжала горячо травить всѣ преобразовательныя начинанія, и потому, вскорѣ послѣ искреннихъ изліяній первыхъ встрѣчъ Герцена и Поджіо, они перешли къ обсужденію современныхъ темъ, и тутъ не замедлила обнаружиться замѣтная рознь между ними. Только-что пріѣхавшій изъ внутренней Россіи Поджіо убѣдился тамъ на мѣстѣ въ инертности нашего общества, въ его неподготовленности къ самодѣятельности, а потому всѣ свои надежды на это освобожденіе онъ возлагалъ на добрую волю правительства, думая, что оно, въ послѣдовательномъ ходѣ собственныхъ реформъ, само неизбѣжно придетъ къ сознанію необходимости дальнѣйшихъ реформъ, если только ему никто не будетъ въ томъ мѣшать; а такими помѣхами Поджіо считалъ всѣ нароставшія противодѣйствія, какъ со стороны реакціонной партіи, такъ и со стороны радикальной печати, подпольной и заграничной, а стало

быть въ томъ числѣ и „Колокола“; онъ находилъ также несвоевременнымъ возстаніе въ Польшѣ и непрерывныя броженія среди учащейся молодежи и т. п. Герценъ же, давно выѣхавъ изъ Россіи, не имѣлъ самъ яснаго представленія о состояніи умовъ, особенно внутри Россіи, а основывалъ его на тѣхъ сообщеніяхъ, какія ему дѣлали пріѣзжавшіе къ нему изъ Петербурга его единомышленники, хотя въ описываемые года число ихъ замѣтно порѣдѣло, и считалъ правительственную власть до того уже поколебленною общимъ недовольствомъ, что ее легко принудить пойти, какъ онъ думалъ, на капитуляцію. Притомъ, въ силу своихъ радикальныхъ убѣжденій, онъ крѣпко стоялъ, что если и возможны дальнѣйшія дарованныя реформы, то ихъ никогда нельзя считать прочными; а потому настаивалъ на необходимости вести наступательное движеніе и раздувать недовольство въ обществѣ. Долго происходили на эту тему между Герценомъ и Поджіо горячіе споры, не нарушавшіе однако же между ними ни добрыхъ отношеній, ни частыхъ свиданій и бесѣдъ, какъ между истинно-образованными людьми и патріотами, преслѣдующими одну и ту же цѣль, но расходящимися въ выборѣ дорогъ къ ней. Вскорѣ случился одинъ эпизодъ, нѣсколько остудившій эти отношенія; о немъ я разскажу позднѣе.

Мои личныя встрѣчи съ Поджіо возобновились съ осени 1865 г., когда я, слишкомъ медленно поправляясь отъ тяжелаго сыпного тифа, выѣхалъ изъ Иркутска и, по всегдашнему своему роковому влеченію на Западъ, не замедлилъ очутиться за границей и между прочимъ въ Женевѣ. Зайдя навѣстить Герцена, я узналъ отъ него, что Поджіо живетъ въ Женевѣ, но что въ данное время у него серьезно больна жена, и по этой причинѣ онъ весь отдался уходу за больной и никуда не показывается самъ, да и Герценъ съ Огаревымъ, чтобы не стѣснять его, давно прекратили свои посѣщенія къ нему. Такъ какъ я на завтра же долженъ былъ съ однимъ

знакомымъ выѣхать въ Италію черезъ Симплонъ, и мы уже запаслись билетами въ почтовой каретѣ, то я, не теряя времени, пошелъ разыскивать Поджіо по данному мнѣ Герценомъ адресу и нашелъ его въ скромномъ четырехъ-франковомъ пансіонѣ на краю города. Семью засталъ я въ угнетенномъ настроеніи: жена, Лариса Андреевна, страдала тяжелою болѣзнью и, блѣдная и истощенная, уже около двухъ недѣль не вставала съ постели; старикъ хлопоталъ около нея и былъ очень разстроенъ. Къ счастію, вскорѣ пріѣхалъ лечившій больную—докторъ Стреленъ, почтенный и прекрасно знавшій свое дѣло врачъ; онъ передалъ мнѣ, что нашелъ у больной полипъ большой величины и на-дняхъ собирается извлечь его съ полной увѣренностью въ успѣхѣ. Видя, что леченіе находится въ такихъ опытныхъ рукахъ, я успокоился самъ и постарался подбодрить своихъ старичковъ, что̀ мнѣ отчасти удалось. Я просидѣлъ у нихъ цѣлый день вплоть до поздняго вечера, силясь удовлетворить разсказами ненасытное любопытство Поджіо, желавшаго отъ меня вывѣдать по возможности все о Сибири и покинутыхъ тамъ пріятеляхъ. На завтра въ шестомъ часу утра я уже укатилъ изъ Женевы, а на перепутьи, во Флоренціи, получилъ письмо, увѣдомлявшее, что операція у его жены была сдѣлана и сопровождалась самымъ благополучнымъ исходомъ.

Зиму этого года я устроился на житье въ Вѣнѣ, чтобы освѣжить свои медицинскія знанія, и цѣлые дни проводилъ въ больницѣ. Моя переписка съ Поджіо снова началась; лично о себѣ онъ въ ней сообщалъ мало, а потому я приведу только немногія выдержки, которыя могутъ содѣйствовать читателю въ уясненіи описываемой личности. Такъ, 8 ноября 1865 г. онъ между прочимъ пишетъ:

„Вы жалуетесь на скуку и одиночество,—но почему же вы предпочли Вѣну другимъ университетамъ, изобилующимъ соотчичами; вы сами говорите, что въ Берлинѣ

найдете скорѣе школьныхъ профессоровъ, болѣе вамъ нужныхъ,—и добрый путь вамъ! Тамъ же и профессоръ Бисмаркъ, преподающій начертаніе новой европейской географіи; слышали ли вы, какой фуроръ произвелъ онъ своимъ появленіемъ въ циркѣ?—вотъ поприще, достойное этого скакуна на колокольню. Вы жалуетесь на одиночество, а устроившійся у васъ славянскій кружокъ развѣ вамъ не съ руки ни по уму, ни по сердцу? Вѣрно, изъ панславизма ничего не выходитъ, и изъ-за этого раздуваемаго огонька австрійскій дымокъ глаза ѣстъ? Какъ быть! народы взялись за умъ, — и племена (простите за сравненіе) отдаются, какъ непотребныя женщины, тому или тѣмъ, кто имъ предлагаетъ больше. Правительство, провозглашающее права личности и свободу, поборетъ всякое другое; такая вывѣска (если она выражена ясно и съ гарантіями) заманитъ къ себѣ многихъ и, чего добраго, скорѣе, чѣмъ наша елка. Вотъ у васъ Вѣна опустѣла, и вся жизнь ея переселилась съ Пратера въ Пештъ (по случаю коронованія имп. Франца Іосифа венгерской короной). Благонамѣренный человѣкъ вашъ австрійскій императоръ, въ добавокъ и умный! Желаю ему успѣха и, какъ всегда, примиренія, а не усмиренія... А что̀ дѣлается въ нашей Сибири? меня и огорчило, и потѣшило извѣстіе объ открытіи въ ней искателей не золота, а сепаратизма; что за дичь! въ Сибири — сепаратисты! Вы ее знаете какъ и я, и знаете, есть ли тамъ что-нибудь подобное на такія притязанія. Вѣроятно, наплывъ поляковъ способствовалъ размноженію идей самыхъ дикихъ, и, вѣроятно, нѣкоторые юноши подцѣпили безсознательно идею объ отдѣленіи Сибири, поговорили — и только. Все это просто смѣшно, и я смѣюсь при убѣжденіи, однако же, что дѣло кончится ничѣмъ и жертвъ не будетъ; не слѣдъ было поднимать этого вопроса и начинать безтактное преслѣдованіе".

Послѣднія строки письма касаются возникшаго тогда дѣла объ открытіи якобы заговора объ отдѣленіи Си-

бири, но Поджіо ошибался въ своемъ благодушіи, воображая, что оно кончится пустяками. Это въ сущности дѣйствительно смѣшное дѣло многимъ обошлось дорого—цѣной нѣсколькихъ лѣтъ бѣдствій и лишеній; такіе извѣстные дѣятели, какъ Ядринцевъ и Потанинъ, поплатились за него подслѣдственнымъ заключеніемъ и высылкой въ архангельскую губернію, но они, какъ даровитые юноши, съумѣли потомъ выдвинуться впередъ,—а сколько болѣе ординарныхъ юношей изъ ихъ товарищей навсегда погибли для полезной дѣятельности?

Въ концѣ 1865 года скончался Серг. Григ. Волконскій, старый другъ и товарищъ по ссылкѣ Поджіо, и вотъ въ какихъ выраженіяхъ передаетъ онъ мнѣ это извѣстіе въ письмѣ, отъ 24-го января 1866 года, изъ Женевы:

„Вотъ и я доплелся за вами живыми до 1866 г., любезный другъ Н. А.; плетусь и переживаю при этомъ многое и многихъ. Пережилъ и добраго старика моего Сергѣя Григорьевича! Не знаю, дошла ли до васъ вѣсть о почти внезапной его кончинѣ? Наканунѣ онъ много, по обыкновенію, писалъ, въ день смерти отдавалъ приказанія, заказалъ себѣ обѣдъ, послѣ чего захотѣлъ уснуть—и уснулъ на вѣки! Вода была и въ ногахъ, и въ рукахъ, и, надо полагать, появилась и въ сердцѣ. Я началъ письмо съ этой горькой вѣсти, находясь подъ гнетомъ тяжкаго для меня впечатлѣнія; такъ пусто сдѣлалось въ моемъ уголкѣ безъ его нескончаемыхъ писемъ. Умеръ онъ въ Воронкахъ (черниговской губерніи), и такъ недальновиденъ былъ старый докторъ Фишеръ, что, не предвидя кончины, не предупредилъ сына, и тотъ пріѣхалъ поклониться только могилѣ. Миръ его праху! — и не тревожить бы его Долгорукому, который взялся за его біографію и неумѣстно, и несвоевременно — сколько въ томъ дерзости! — заявилъ себя хранителемъ тѣхъ тайнъ, которыя будто бы покойный довѣрилъ ему для оглашенія лишь послѣ его смерти. И

въ какомъ ложномъ свѣтѣ выставилъ онъ покойника! и что подумаетъ Киселевъ (графъ и посланникъ при французскомъ дворѣ), при его бывшихъ сношеніяхъ съ Сергѣемъ Григорьевичемъ? И это же ложь, все—ложь; но сочинителю, вѣроятно, хотѣлось свести свои личные счеты съ Киселевымъ, и онъ воспользовался удобнымъ для себя случаемъ—и подъ прикрытіемъ мертваго. Какъ эти люди понимаютъ благородство чувствъ живыхъ и умершихъ! Неужели Сергѣй Григорьевичъ выжидалъ своей смерти, чтобы высказаться, и неужели ему былъ нуженъ для этой цѣли побочный, пристрастный голосъ? Правду-матку онъ съумѣлъ бы высказать и самъ"...

Къ этой статьѣ Долгорукаго о Волконскомъ возвращается онъ и въ слѣдующемъ письмѣ: „Кн. Долгорукому вздумалось почтить Серг. Григор. въ некрологѣ, напечатанномъ въ „Колоколѣ". Хотѣлось самому порисоваться и для этого придумалъ пустымъ разсказамъ придать характеръ какой-то политической исповѣди. Это—извѣстный пріемъ. Между тѣмъ старикъ мой представленъ не только болтуномъ, а даже вралемъ, — но495 вралъ ли онъ когда? Въ политикѣ, какъ и въ гастрономіи, подогрѣтое никуда не годно; человѣчество идетъ впередъ, выбрасывая все старое—и прежде всего самихъ стариковъ. Славный работникъ — время, особенно съ тѣхъ поръ, какъ оно горячо принялось за работу и не покидаетъ великую общественную мастерскую"...

Здѣсь я долженъ сдѣлать отступленіе, чтобы объяснить, насколько помню, почему всегда благодушный и спокойный Поджіо на этотъ разъ такъ разгорячился и высказалъ такое сильное негодованіе противъ некролога Волконскаго, напечатаннаго Долгорукимъ,—тѣмъ болѣе, что это негодованіе не ограничилось изліяніемъ въ письмахъ, какъ въ приведенныхъ отрывкахъ изъ двухъ писемъ ко мнѣ, но и привело къ личному непріятному объясненію Поджіо съ Долгорукимъ, а вслѣдъ затѣмъ къ охлажденію отношеній между первымъ и Герценомъ.

Какъ уже сказано раньше, кн. Долгорукій жилъ въ это время въ Женевѣ и принадлежалъ къ числу русской эмиграціи; но чѣмъ было вызвано бѣгство его изъ Россіи—достовѣрно этого я ни отъ кого изъ эмигрантовъ узнать не могъ. Большею частью выѣздъ его приписывался и оскорбленному честолюбію, и тяжелому разладу въ семейной жизни, и другимъ подобнымъ причинамъ, ничего общаго съ политикой не имѣющимъ. Лично я съ нимъ знакомъ не былъ, но разъ или два видѣлъ его въ одномъ изъ женевскихъ кафé; тогда это былъ типъ русскаго барина, нѣсколько зажирѣвшаго, безукоризненнаго по костюму и аристократа по манерамъ, въ годахъ—примѣрно между 55 и 60 годами. Очевидно, онъ владѣлъ хорошимъ достаткомъ и жилъ богато; въ эмиграціи держался особнякомъ, и будучи хорошо знакомъ съ Герценомъ и Огаревымъ, въ то же время далеко не вполнѣ раздѣлялъ ихъ политическія мнѣнія, а воспиталъ въ себѣ болѣе умѣренныя, какъ доказываютъ издававшіяся имъ въ Брюсселѣ газеты, сначала „Будущность“, а потомъ „Правдивый“; изданія эти просуществовали недолго и не имѣли ходу въ публикѣ, потому что самъ Долгорукій не имѣлъ публицистическаго таланта и не могъ конкуррировать съ Герценомъ, а его программа въ то возбужденное время не могла не казаться слишкомъ прѣсной и безцвѣтной, особенно въ такомъ вяломъ изложеніи. По своимъ взглядамъ Долгорукій, казалось бы, скорѣе всѣхъ долженъ былъ сойтись съ Поджіо, какъ умѣреннымъ прогрессистомъ, но и этого не случилось; напротивъ, Поджіо его старался сторониться, не довѣряя ни искренности его политическаго фрондёрства, ни даже порядочности его нравственныхъ правилъ. Поэтому появленіе въ „Колоколѣ“ некролога С. Г. Волконскаго за подписью кн. Долгорукаго непріятно поразило Поджіо, особенно, когда, прочитавъ, онъ убѣдился, что некрологъ не столько имѣлъ въ виду возда761 должнаго уваженія памяти умершаго, сколько личныя поли-

тическія цѣли — задѣть кой-кого изъ живыхъ, прикрываясь будто бы разоблаченіями такой безукоризненной личности, какою былъ покойный. Къ сожалѣнію, у меня нѣтъ подъ руками нумера „Колокола“ съ этимъ некрологомъ; но изъ письма Поджіо видно, что его больше взволновала несправедливая и неприличная вылазка противъ графа Киселева, и которая никакъ не могла исходить отъ лица Волконскаго. Извѣстно, что въ то время, когда вспыхнуло возстаніе декабристовъ, гр. Киселевъ состоялъ корпуснымъ командиромъ южной арміи, изъ среды которой вышли многіе главные заговорщики, какъ казненные Пестель, Сергѣй Ив. Муравьевъ-Апостолъ и Бестужевъ-Рюминъ, а также и такіе крупные ея чины, какъ генералъ-маіоръ кн. С. Г. Волконскій и главный интендантъ А. П. Юшневскій. Извѣстно также, что онъ не только хорошо зналъ этихъ своихъ подчиненныхъ, но очень уважалъ и цѣнилъ ихъ умъ, прекрасное образованіе и благородный характеръ, во многомъ имъ симпатизировалъ, хотя возможно, что не былъ знакомъ съ тайной организаціей ихъ заговора и самое большее, смутно подозрѣвалъ ее. Это доказывается тѣмъ, что имя его нисколько не было замѣшано въ слѣдственное дѣло, и потому онъ не только не былъ привлеченъ къ суду, а напротивъ, впослѣдствіи сдѣлался однимъ изъ самыхъ видныхъ и чуть ли не единственнымъ истинно государственнымъ дѣятелемъ, въ лучшемъ смыслѣ слова, всего Николаевскаго царствованія. Его біографъ А. Заблоцкій-Десятовскій, а впослѣдствіи историкъ М. Семевскій, показали, какую всегда безупречную и вѣрную своимъ либеральнымъ убѣжденіямъ роль игралъ онъ и въ устройствѣ, и въ управленіи министерства государственныхъ имуществъ, и въ Николаевскихъ подготовительныхъ комитетахъ для освобожденія крестьянъ. Могу, съ своей стороны, прибавить отъ себя, что мнѣ лично никогда не приходилось слышать отъ декабристовъ никакихъ упрековъ гр. Киселеву за то, что онъ будто бы измѣ-

нилъ ихъ дѣлу, а напротивъ, въ своихъ отзывахъ они единодушно признавали не только его обширный умъ, но и безукоризненное благородство его характера. Вотъ почему такъ сильно и вознегодовалъ Поджіо на нападеніе кн. Долгорукаго и, какъ человѣкъ рыцарски прямой, рѣшилъ высказать ему въ лицо свое негодованіе при первой встрѣчѣ, а такъ какъ Женева—городъ небольшой, и главная жизнь ея сосредоточена на центральныхъ улицахъ, то случай къ тому скоро представился. Встрѣтившись съ княземъ на Монбланскомъ мосту, онъ прямо попросилъ его къ себѣ для объясненія и горячо напалъ на него за статью, доказывая, какъ лживо изложены и подтасованы были въ ней мнѣнія покойнаго о многихъ предметахъ и лицахъ и главнымъ образомъ о гр. Киселевѣ. Объясненіе вышло бурное и колкое: князь пробовалъ защищаться, но неудачно и бездоказательно, тогда какъ Поджіо брался, на основаніи сохранившейся у него переписки съ Волконскимъ, доказать, что мнѣнія послѣдняго явно противорѣчатъ приписаннымъ ему княземъ Долгорукимъ. Въ пылу этого объясненія Поджіо очень разгорячился и, говоря о заграничной оппозиціонной печати, между прочимъ передалъ и свой взглядъ на нее: находя ее и полезной, и даже необходимой, когда она въ рукахъ талантливаго и тактичнаго руководителя и ведется правдиво и дѣловито, онъ признавалъ, что она скорѣе подрываетъ въ обществѣ довѣріе къ печатному слову, если служитъ личнымъ интригамъ, сплетнямъ, искажаетъ событія, даетъ фальшивыя представленія о лицахъ и т. п.; что печать послѣдняго рода, напротивъ, крайне вредна, ибо позволяетъ безпрестанно уловлять себя во лжи. Говоря все это Поджіо имѣлъ въ виду все тотъ же злополучный некрологъ Волконскаго; но взбѣшенный Долгорукій побѣжалъ прямо къ Герцену, разсказалъ ему о только-что бывшемъ объясненіи и представилъ все дѣло въ такомъ видѣ, что Поджіо считаетъ газету „Колоколъ“—изданіемъ и вред-

нымъ, и лживымъ, и сплетническимъ. Теперь пришла очередь Герцена оскорбиться и вспыхнуть, и тутъ же рѣшено было, послѣ совѣщанія съ Огаревымъ, прервать немедленно всякія сношенія съ Поджіо. Нужно замѣтить, что Поджіо любилъ вообще читать много и особенно газеты, и многіе изъ его друзей, зная эту слабость старика и его невозможность по недостатку средствъ удовлетворять ей, подписывались на его имя на излюбленныя имъ газеты („Journal des Débats"), миланскую „Perseveranza", „С.-Петербургскія Вѣдомости" и т. п.), присылали только-что вышедшія въ свѣтъ почему-либо интересныя книги и брошюры, большею частью политическаго характера,—и Поджіо условился съ Герценомъ, что, по прочтеніи полученнаго, онъ будетъ все, газеты и книги, пересылать послѣднему, а этотъ будетъ пускать весь этотъ читальный матеріалъ въ обращеніе среди русскихъ, интересующихся политикой и политическими вопросами. Вотъ теперь для ознаменованія разрыва съ Поджіо, Герценъ и Огаревъ постановили возвратить всѣ полученныя отъ него газеты и книги, что̀ и было немедленно приведено въ исполненіе безъ объясненій. Понятно, какъ это огорчило бѣднаго старика, потому что показало ему прямо, что Герценъ, безъ всякой попытки выяснить для себя дѣло, принялъ сторону кн. Долгорукаго. Впослѣдствіи недоразумѣніе это, не знаю, какими путями, сгладилось; знаю только, что когда вскорѣ, въ томъ же 1866 году, Герценъ покинулъ Женеву для Флоренціи, онъ разстался съ Поджіо такъ дружески, какъ будто никакихъ размолвокъ между ними не было. Эти подробности о размолвкѣ съ Герценомъ я услышалъ впервые послѣ смерти Поджіо отъ вдовы его; самъ же онъ, несмотря на всю нашу короткость, никогда мнѣ о ней не говорилъ, или потому, что не придавалъ ей никакого значенія, а еще вѣроятнѣе, просто вслѣдствіе старческой забывчивости. Князю же Долгорукому вскорѣ пришлось попасться по другому дѣлу, но на̀

этотъ разъ предстать уже передъ формальнымъ судомъ и поплатиться за свои не всегда достовѣрныя печатныя обличенія. Онъ составилъ на французскомъ языкѣ и выпустилъ въ свѣтъ небольшой томъ подъ заглавіемъ: „Notice sur les principales familles en Russie“. Книга вышла слишкомъ любопытной; но, давая и этому своему труду пристрастный и обличительный характеръ, Долгорукій ввелъ въ него не мало собственнаго балласта, сдобривъ въ избыткѣ пикантными анекдотами, сплетнями и вообще разсказами сомнительной исторической достовѣрности. Книга эта задѣла заживое многихъ и привлекла автора къ суду парижскаго трибунала. Состоялся весьма скандальный процессъ, кончившійся печально для Долгорукаго: такъ какъ онъ не могъ представить въ защиту своей книги никакихъ серьезныхъ доказательствъ, то и былъ осужденъ за клевету.

V.

За это время въ моей судьбѣ произошла капитальная перемѣна, и я, съ осени 1866 г., вслѣдствіе стеченія разныхъ непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, вынужденъ былъ отказаться отъ Сибири и поселиться на житье въ Петербургѣ въ качествѣ практикующаго врача. Работы вскорѣ у меня набралось такъ много, что я началъ утомляться не меньше, чѣмъ въ Иркутскѣ, но въ петербургскихъ занятіяхъ было для меня то привлекательное удобство, какого я лишенъ былъ въ Сибири, а именно— отдыхъ былъ у меня подъ руками. Проработавъ съ сентября по начало іюня самымъ безшабашнымъ образомъ, я садился въ вагонъ, ѣхалъ за границу и старался послѣ разныхъ перепутій попасть къ началу іюля въ Женеву, куда меня влекло купанье въ Арвѣ, притокѣ, впадаю-

щемъ въ Рону въ самомъ городѣ. Эта Арва вытекаетъ изъ ледниковъ Монблана; поэтому температура ея воды въ самое жаркое время года колеблется между 7° и 8° Ц., а такъ какъ она падаетъ съ громадной высоты, то увлекаетъ въ своемъ стремительномъ теченіи массу осадковъ и песка, отчего воды потока на видъ чрезвычайно мутны и грязны; плавать въ этой рѣкѣ, и вслѣдствіе крайней быстроты ея теченія, и вслѣдствіе крайне низкой температуры, почти невозможно; но зато быстрое трехъ-кратное погруженіе въ нее даетъ удивительное наслажденіе отъ немедленной, по выходѣ, наступающей сильной реакціи, и это убѣдило меня, что изъ всѣхъ испытанныхъ мною средствъ въ борьбѣ съ моимъ переутомленіемъ и его послѣдствіями — это было самое дѣйствительное. Я пріѣзжалъ въ Женеву, селился въ томъ предмѣстьѣ ея, гдѣ протекаетъ Арва, и продѣлавъ трехънедѣльный курсъ купаній, смывалъ съ себя всѣ признаки усталости и воскресалъ тѣломъ и душой. Такой системы я держался подъ-рядъ четыре года, съ 1868 по 1871 гг., и эти посѣщенія Женевы для меня скрашивались еще тѣмъ, что всякій разъ я, пріѣзжая туда, зналъ, что найду, если не въ городѣ, то въ близкихъ его окрестностяхъ, Поджіо; а свиданья съ нимъ дѣлались для меня годъ отъ году истинной потребностью, и я ими очень дорожилъ. Къ тому чисто-сыновнему чувству уваженія, какое я съ дѣтства питалъ къ нему, примѣшивалась съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе самая нѣжная привязанность по мѣрѣ того, какъ я, будучи теперь самъ зрѣлымъ человѣкомъ, узнавалъ его все ближе и цѣнилъ сознательнѣе его рѣдкія душевныя качества. Меня привязывала къ старику и удивительная ясность его духа, его рыцарское благородство, всегдашнее желаніе помочь всѣмъ и каждому, и, наконецъ, его необыкновенная скромность. Эта скромность была до того велика, что я, несмотря на все желаніе разузнать отъ него многое о дѣлѣ декабристовъ и въ частности о лич-

номъ его участіи въ немъ, всегда встрѣчалъ въ немъ рѣшительный отпоръ, и мои попытки онъ обыкновенно прекращалъ словами: «что̀ вамъ за охота раскапывать эту древнюю исторію, которую не стоитъ и вспоминать; что̀ было, то и прошло; поговоримте лучше о современномъ, это гораздо интереснѣе!». И дѣйствительно, онъ, какъ молодой человѣкъ, весь жилъ настоящимъ, и всѣ бесѣды его вращались въ кругу текущихъ событій и вопросовъ, за развитіемъ которыхъ онъ слѣдилъ съ неослабѣвающимъ вниманіемъ. Онъ любилъ видѣть и новыя мѣста, и новыхъ людей, но для путешествій у него не хватало средствъ; зато, живя въ Швейцаріи, онъ старался сходиться направо и налѣво съ людьми разныхъ національностей и разныхъ направленій, не изъ празднаго любопытства и болтовни, а потому что на живыхъ источникахъ желалъ пополнять и провѣрять свои свѣдѣнія о политической и общественной современности, столь живо его интересовавшей. Оттого кругъ его знакомыхъ былъ всегда довольно обширенъ, не говоря уже о русскихъ и больныхъ; для нихъ онъ былъ въ Швейцаріи своего рода благодѣтельнымъ геніемъ, вслѣдствіе своего благодушія, самой искренней участливости къ чужой бѣдѣ и горю и готовности помочь всякому и совѣтами, и посильными хлопотами. Многіе изъ его русскихъ знакомыхъ не предполагали, что онъ декабристъ, а иностраннымъ его пріятелямъ и въ голову не могло придти, что они въ лицѣ этого высокообразованнаго и добродушнаго собесѣдника видятъ передъ собой одного изъ русскихъ революціонеровъ, проведшаго всю прежнюю свою жизнь въ самыхъ трагическихъ условіяхъ каторги и ссылки. Этимъ только подтверждается сказанное выше о скромности Поджіо и показываетъ, до чего онъ не терпѣлъ рисоваться собою и пріобрѣтать расположеніе и симпатіи окружающихъ столь легкой и дешевой цѣной, какъ разсказы о своемъ прошломъ.

Вспоминается мнѣ при этомъ одно утро въ августѣ 1869 г., въ Монтрё, куда я пріѣхалъ изъ Женевы къ Поджіо, чтобы навѣстить его и пожить съ нимъ и его семьей; мы шли съ нимъ по шоссе, идущемъ вдоль Женевскаго озера, и любовались изумительною красотой раскинувшейся передъ нами Ронской долины и величественнымъ видомъ снѣжныхъ горъ на противоположномъ берегу озера. Вдругъ Поджіо, вглядываясь пристально вдоль дороги, сказалъ мнѣ: „Постойте, братецъ; видомъ этимъ мы успѣемъ еще налюбоваться много разъ, а теперь я покажу вамъ кое-что болѣе любопытное. Вотъ видите, передъ нами на мосту стоитъ фигура; пройдемте мимо нея и вглядитесь въ нее хорошенько: это—извѣстный французскій историкъ и эмигрантъ Эдгаръ Кине́ (Quinet); онъ переѣхалъ на дняхъ сюда и поселился въ двухъ шагахъ отъ насъ въ сосѣднемъ пансіонѣ". Невысокій старикъ, съ длинными сѣдыми волосами, бритымъ лицомъ и крупными, далеко не симпатичными чертами, всею внѣшностью напоминавшій квакера, стоялъ, опершись на чугунную рѣшетку моста, и задумчиво смотрѣлъ на противоположный савойскій берегъ, гдѣ возвышались горы и скалы его родины: онѣ были отъ него на разстояніи получаса, но доступъ къ нимъ былъ закрытъ для него, какъ бѣжавшаго отъ преслѣдованій Наполеона. Когда мы проходили мимо него, онъ тоже внимательно посмотрѣлъ на насъ, и меня непріятно поразилъ его жесткій и надменный взглядъ, между тѣмъ какъ Поджіо съ благоговѣніемъ и состраданіемъ осмотрѣлъ его, а когда мы прошли мимо, восторженно заговорилъ о горькой участи бѣднаго изгнанника. Слушая его, у меня невольно промелькнуло въ головѣ сравненіе жизненныхъ поприщъ этихъ двухъ старцевъ, изъ которыхъ каждый боролся и каждый сдѣлался жертвой; но большая разница лежала въ послѣдующей судьбѣ того и другого. Французъ Кине́ безъ особаго труда и риска спасся отъ преслѣдованія за границу въ Швей-

царію, проживалъ здѣсь на лонѣ дивной природы и среди европейскаго комфорта долгіе годы своего изгнанія, окруженный общимъ уваженіемъ и навѣщаемый постоянно своими парижскими друзьями и почитателями. Онъ могъ и теперь, въ изгнаніи, стоять съ гордо поднятой головой и имѣть видъ независимаго человѣка, потому что швейцарское убѣжище обезпечивало за нимъ неприкосновенность его личности и убѣжденій, тогда какъ вся жизнь Поджіо протекла въ суровой школѣ каторжника и поселенца, лишеннаго всѣхъ правъ состоянія, въ безпощадной школѣ полнаго обезличенія, гдѣ человѣкъ низводится на степень неодушевленнаго и никому ненужнаго предмета. И если, несмотря на свойства и продолжительность вынесенныхъ испытаній, Поджіо съумѣлъ уберечь своя святая святыхъ, не утративъ горячей любви къ людямъ и сохранивъ до смерти вѣру въ свои юношескіе идеалы и въ прогрессъ, то пусть проститъ меня тѣнь Эдгара Кинé, что изъ этихъ двухъ старцевъ-революціонеровъ я почувствовалъ гораздо больше симпатіи и почтенія къ скромному Поджіо. Но не такъ судитъ исторія, и судъ ея признается болѣе справедливымъ и безпристрастнымъ, хотя несомнѣнно она имѣетъ своихъ баловней и любимцевъ, въ доказательство чего достаточно провести нашу параллель дальше. Не прошло и двухъ лѣтъ послѣ этой встрѣчи на мосту, какъ имперія Наполеона пала и торжествующій Кинé вернулся въ Парижъ съ ореоломъ мученичества, былъ встрѣченъ восторженно народомъ, могъ на закатѣ жизни насладиться побѣдой своихъ политическихъ идей и, умирая, предвкусить то безсмертіе, которое готовитъ ему родина въ ознаменованіе его заслугъ, его борьбы за ея независимость.

Я пріѣзжалъ обыкновенно въ Женеву въ самый разгаръ лѣтняго зноя, когда купаться въ ледяной Арвѣ было всего сноснѣе, но зато этотъ же зной выгонялъ Поджіо изъ города куда-нибудь на альпійскія высоты, и

для прохлады, и для укрѣпленія здоровья дочери. Особенно онъ полюбилъ горную климатическую станцію Моржéна (Morgin) въ валлійскомъ кантонѣ. Я тотчасъ же давалъ знать ему о своемъ появленіи въ Женевѣ, а онъ немедленно начиналъ бомбардировать меня письмами, приглашая къ себѣ на свиданье.

„Такъ и есть!—писалъ мнѣ Поджіо:—тутъ онъ! тутъ арвинецъ! и хотя бы ему стоило пройти сквозь строй ревматизмовъ, онъ останется вѣренъ своимъ злополучнымъ и ложнымъ убѣжденіямъ. Но какъ бы то ни было, а спасибо нашей холодной грязнухѣ: ей мы обязаны нашими годовыми свиданьями. Вотъ вы, славу Богу, выбрались въ чистое поле и надышетесь вольнымъ воздухомъ. Воздухъ, почтенный другъ, а не вода, лжедокторъ мой, для которой Творецъ и не далъ человѣку жабръ! Вотъ я, по звѣриному инстинкту, который всегда такъ разуменъ, и поднимаюсь на высоты морженскія, куда слетаются орлы и стекаются серны; простите меня на этотъ разъ, что я не слѣдую указаніямъ ученыхъ, а указаніямъ животныхъ. Не лучше ли и вамъ, любезный другъ, повозвыситься, чѣмъ спускаться ко дну? Но васъ на путь не наставишь, а право такъ досадно и грустно, что время вашего ырянья и нашего отлета почти-что совпадаютъ вмѣстѣ. Какъ нетерпѣливо всѣ мы васъ ожидаемъ".

Въ другой разъ онъ пишетъ: „Горе мнѣ — и только съ моими воспитанниками: я ли ихъ не заучивалъ и не держалъ на одной лишь азбукѣ?—а смотришь, выросли, ударились въ дебри науки и ищи ихъ— одного въ Реме (кн. Волконскій,—онъ былъ тогда на минеральныхъ водахъ въ центральной Германіи), другого — въ Арвѣ! Вотъ до чего довелъ васъ умъ, зашедшій за разумъ? И что̀ вы творите, любезный другъ? опомнитесь, докторъ! Попали въ Швейцарію и, вмѣсто спасенія, ищете своей погибели. Арва?!—отдѣлались разъ, отдѣлались другой, а третьяго берегитесь. Арва, и гдѣ же?! — въ Женевѣ, въ африканскій жаръ, въ улицѣ Dancet, пообокъ двухъ

кладбищъ!! У насъ здѣсь свобода слова, вы—не на Владимірской (улица въ Петербургѣ, на которой я жилъ), и позвольте мнѣ вамъ сказать, что дѣлать такой вздоръ—неприлично. Но вы неизлечимы, и гласъ мой теряется въ горахъ, а потому давайте, при таковыхъ данныхъ, соображать свиданіе... Больно мнѣ знать васъ на такомъ близкомъ разстояніи и не наговориться до-сыта, если только это возможно!".

Такія письма сыпались на меня безпрерывно съ горныхъ вершинъ, и если я привожу изъ нихъ эти отрывки, мало кому интересные по своему содержанію, но дорогіе для меня по воспоминаніямъ, то чтобы показать, сколько еще живости и сердечности сохранялось въ этомъ старцѣ, перешагнувшемъ за 70 лѣтъ.

Покончивъ съ моими купаньями, я немедленно устремлялся отыскивать Поджіо въ швейцарскихъ горахъ. Самымъ любимымъ его мѣстопребываніемъ сдѣлался Морже́нъ, до котораго надо было добираться частью желѣзной дорогой, частью пароходами, и наконецъ послѣдніе $3^1/_2$ часа пути отъ желѣзнодорожной станціи Monthey, составлявшіе подъемъ на высоту свыше 1.500 метровъ, приходилось дѣлать или шагомъ въ экипажѣ по шоссе, или съ одинаковой затратой времени пѣшкомъ, — всего на это перемѣщеніе изъ Женевы требуется 6—$6^1/_2$ часовъ. Морже́нъ, даже при обиліи въ Швейцаріи живописныхъ горныхъ станцій, представляетъ дѣйствительно мѣсто превосходное, какъ по величественной природѣ, его окружающей, и по удивительной панорамѣ, открывающейся съ него на сосѣдній Dent du Midi и на снѣжные исполины Ронской долины, такъ и по совокупности тѣхъ гигіеническихъ условій, которыя изъ такихъ швейцарскихъ высотъ дѣлаютъ во время жаровъ незамѣнимый пріютъ для стариковъ и для нервныхъ и грудныхъ больныхъ. Безукоризненный по чистотѣ воздухъ, глотаемый легкими съ осязаемымъ наслажденіемъ, полное безвѣтріе, умиротворяющая тишина, нарушаемая лишь

звонкимъ говоромъ горныхъ ручьевъ, множество прекрасныхъ прогулокъ въ старинныхъ хвойныхъ лѣсахъ съ ихъ бальзамическимъ запахомъ и перемежаемыхъ изумрудными горными лугами; прогулки тамъ—для людей почтеннаго возраста и для больныхъ; здоровая же молодежь имѣетъ въ своемъ распоряженіи массу отважныхъ восхожденій на сосѣдніе альпійскіе великаны, — восхожденій, столь благотворно развивающихъ мышечную силу и возстановляюшихъ нравственную энергію послѣ утомительныхъ городскихъ занятій. Для лицъ, нуждающихся въ горномъ леченіи, въ предѣлахъ высоты отъ 4-хъ до 5-ти тысячъ футовъ, я особенно рекомендую Моржéнъ, какъ одну изъ самыхъ красивыхъ и здоровыхъ мѣстностей. Въ $1/_4$ часа ходьбы отъ Моржена начинается спускъ въ прелестную долину, не даромъ получившую названіе „долины Изобилія“ (la vallée d'Abondance), жители которой благоденствуютъ, благодаря прекраснымъ свойствамъ климата и своей зажиточности, сочнымъ пастбищамъ и массѣ скота,—благоденствуютъ до того, что даже не умираютъ, какъ серьезно увѣрялъ школьный учитель, котораго Поджіо, встрѣтивъ на прогулкѣ, сталъ разспрашивать о мѣстныхъ болѣзняхъ. „Болѣзни?“ — переспросилъ удивленно учитель: — да у насъ ихъ нѣтъ, и мы ихъ вовсе не знаемъ“.

— „Однакоже, вѣдь у васъ умираютъ отъ чего-нибудь?“.

— „У насъ не умираютъ, — отвѣчалъ съ достоинствомъ педагогъ: — смерть здѣсь является случайностью, болѣе или менѣе рѣдкою (Ici il n'y a pas des décès, la mort n'est qu'un accident plus ou moins rare“).

Въ описываемые годы въ Моржéнѣ на верху горы стоялъ четырехъ-этажный деревянный отель на 100—120 кроватей, содержимый съ безукоризненной опрятностью, съ свѣжимъ и вкуснымъ столомъ; правда, комнатки были и тѣсны, и скудно меблированы, но кому же пришло бы въ голову, забравшись въ такую высь, сидѣть въ

своей комнатѣ? Сезонъ въ Морже́нѣ продолжался очень недолго, всего едва два мѣсяца—іюль и августъ, но зато въ это короткое время отель бывалъ биткомъ набитъ, и я могъ направляться въ него только тогда, когда Поджіо давалъ мнѣ знать, что очистилась комната. Общество состояло больше чѣмъ на половину изъ швейцарцевъ и ихъ семей, а остальное дополняли иностранцы всякихъ національностей, случайно узнавшіе о прелестяхъ этой вовсе не рекламируемой и мало извѣстной мѣстности. Поджіо не могъ налюбоваться своимъ открытіемъ Морже́на; здѣсь все ему напоминало далекую и памятную Сибирь: и бодрящая прохлада воздуха, особенно послѣ солнечнаго заката, когда послѣ знойнаго іюльскаго дня нельзя было выйти, не накинувъ на себя плэда, и рощи старыхъ сосновыхъ лѣсовъ, сквозь чащу которыхъ приходилось пробираться съ трудомъ и ступая ногой по густо разросшемуся мху, какъ по ковру, и журчанье горныхъ потоковъ и т. д.; онъ мѣстную рѣчку даже иначе не называлъ какъ Элихта, памятная для него по его золотопромышленнымъ неудачамъ, и, показавъ мнѣ всѣ красоты Моржена, восторженно говорилъ: „Чистѣйшая Сибирь, не правда ли? вѣдь это тѣ же Байкальскія горы! замѣтьте, и горныя породы тѣ же, и кварцу много; недостаетъ только черемухи, ея я нигдѣ здѣсь не нашелъ; а будь она, да будь Владиміръ (мой меньшой братъ, увлекавшійся сильно золотопромышленностью), и мы бы съ нимъ не утерпѣли, чтобы не ударить съ десятокъ шурфовъ. Но сибиряки говорятъ, что великій сѣятель сѣялъ золото только тамъ, гдѣ посадилъ черемуху, а опыту сибиряковъ мы съ Владиміромъ больше вѣримъ, чѣмъ наблюденіямъ ученыхъ инженеровъ. Видя себя среди этихъ родныхъ картинъ, я воскресаю тѣломъ, дѣлаю прогулки по нѣскольку верстъ, пытаюсь даже лазить по горамъ. Со стороны глядя, можно подумать, что старикъ-молъ сошелъ съума, — можетъ, оно и есть отчасти, но тогда я скажу: какъ пріятно сходить съума и въ то же время пріобрѣтать здоровье!“.

Поджіо успѣлъ развести себѣ порядочное знакомство между альпійскими пастухами, сыроварами и разными горными обитателями и, гуляя, безпрестанно останавливался погуторить съ тѣмъ или другимъ изъ знакомыхъ или заходилъ въ ихъ хижины. Тоже и въ отелѣ: онъ зналъ почти всѣхъ, а со многими и близко сдружался, ибо его сообщительная натура невольно привлекала къ нему. Къ моему пріѣзду онъ всегда припасалъ мнѣ на осмотръ нѣсколько больныхъ, такъ что выработалъ даже особое выраженіе для этого и говорилъ женѣ: „надо обложить доктора больными, чтобы онъ не заскучалъ и не уѣхалъ отъ насъ раньше срока“,—хотя, говоря такъ, онъ заботился вовсе не обо мнѣ и моемъ развлеченіи, а просто, въ силу своего мягкосердія, не могъ устоять противъ попытки помочь чѣмъ-нибудь страждущему лицу. До чего были разнообразны его знакомства и разнонаціональны больные, какими онъ меня „обкладывалъ“, могу привести въ примѣръ, какъ въ одинъ пріѣздъ я долженъ былъ взять на свое медицинское попеченіе: нѣмку, племянницу знаменитаго въ свое время прусскаго фельдмаршала Врангеля; англичанку—мистриссъ Чэмберленъ, жену меньшого брата извѣстнаго вожака англійскихъ уніонистовъ, и итальянку, гремѣвшую тоже въ свое время танцовщицу, Карлоту Гризи, а теперь почтенную даму, съ ея прелестной 17-лѣтней дочерью Эрнестиной. Чтобы сдружить эту послѣднюю съ своей дочерью для совмѣстныхъ прогулокъ и развлеченій, Поджіо и его жена особенно сблизились съ Гризи и не безъ интереса слушали длинные разсказы состарѣвшейся Пери о ея сценическихъ успѣхахъ, объ эпохѣ Лудовика-Филиппа и начала второй имперіи, о литературно-художественныхъ кругахъ того времени, которые близко и хорошо Гризи знала, потому что ея родная сестра, знаменитая пѣвица, жила много лѣтъ и открыто въ гражданскомъ бракѣ съ даровитымъ писателемъ Теофилемъ Готье, и ихъ салонъ привлекалъ къ себѣ все, что было

замѣчательнаго и выдающагося въ тогдашней общественной и артистической жизни Парижа. Карлота же Гризи представлялась теперь благообразной и весьма скромной старушкой, у которой единственнымъ утѣшеніемъ подъ старость была ея хорошенькая дочка и неисчерпаемые разсказы о ея блестящемъ прошломъ.

Несмотря на шумную отельную жизнь и трудность уединиться отъ знакомствъ, Поджіо находилъ время по нѣскольку часовъ на дню отдавать чтенію газетъ. Политика сдѣлалась въ старости его преобладающею страстью, и онъ не успокоивался, пока не прочитывалъ всѣхъ газетъ, бывшихъ у него подъ руками, и какихъ бы оттѣнковъ онѣ ни были. Лично онъ держался въ европейской политикѣ самыхъ широкихъ либеральныхъ взглядовъ, считалъ Наполеона III и Бисмарка чуть не личными своими врагами и благоговѣлъ передъ Кавуромъ, Жюль-Фавромъ, венгерскимъ патріотомъ Францемъ Деакомъ и другими передовыми дѣятелями того времени, не говоря уже о Гарибальди, къ которому онъ питалъ юношеское обожаніе. Около этого же времени онъ довольно близко познакомился съ Кастелляромъ, проживавшимъ тогда изгнанникомъ въ Женевѣ, и они вдвоемъ— этотъ знаменитый представитель испанскаго радикализма и этотъ бывшій сибирскій каторжный—нерѣдко подолгу засиживались вмѣстѣ, обсуждая будущее Европы, хотя во многомъ и противорѣчили другъ другу. Вскорѣ Кастелляръ вернулся съ тріумфомъ на свою родину и принялъ весьма видное и дѣятельное участіе въ ея управленіи, но когда въ августѣ 1869 г. онъ вздумалъ посѣтить Женеву, на этотъ разъ не эмигрантомъ, а въ качествѣ отдыхающаго на вакаціи парламентскаго дѣятеля, Поджіо нарочно вернулся раньше съ горы, чтобы повидаться съ нимъ. Къ сожалѣнію, у меня нѣтъ подробностей ни о ихъ прежнихъ бесѣдахъ, ни объ этой послѣдней встрѣчѣ, и только въ одномъ изъ писемъ Поджіо ко мнѣ, въ 1869 г., я нахожу слѣдующее коротенькое

сообщенiе: „Изъ Nyon (городокъ на Женевскомъ озерѣ) мы должны были отправиться въ Женеву, куда насъ вызвала депеша хозяйки пансiона m-me Piccaud, извѣщавшая о скоромъ отъѣздѣ Кастелляра. Нечего было дѣлать, сложили свои шпаргалiи, поплыли и застали Кастелляра еще тамъ. Это свиданiе послужило мнѣ новымъ подтвержденiемъ, что не исчезаютъ люди, которые неизмѣнно идутъ къ цѣли, несмотря на Монбланы, встрѣчаемые ими на своемъ пути. Это, и при теперешнемъ его значенiи, все тотъ же неуклонный человѣкъ, какъ и два года назадъ въ изгнанiи. Какое онъ навѣваетъ спокойствiе! Счастливецъ!“.

Вотъ это-то увлеченiе текущими политическими вопросами до того овладѣло всѣми помыслами Поджiо, что сдѣлалось его конькомъ и любимой тэмой для безконечныхъ разсужденiй. Оно и понятно: для его старѣющагося мозга политика давала самую легкую, удобоваримую пищу, а другихъ занятiй у него подъ руками не было, ибо воспитанiе дочери съ годами настолько ушло впередъ, что она блестяще заканчивала свой курсъ въ высшей школѣ для дѣвицъ, не нуждаясь болѣе въ помощи отца, которому оставалось только гордиться—какъ ея разносторонними познанiями, такъ и особенно ея успѣхами въ музыкѣ.

VI.

Проживъ съ Поджiо недѣли двѣ, я обыкновенно разставался съ нимъ до слѣдующаго года. Такъ подошелъ 1870 г., памятный годъ франко-прусской войны, разгрома французской имперiи и созданiя взамѣнъ ея нѣмецкой имперiи въ Европѣ. Поджiо любилъ Францiю, но ненавидѣлъ Наполеона, потому что ясно сознавалъ, ка-

кое пагубное вліяніе производилъ на всѣ слои населенія развращающій режимъ его царствованія; его особенно удивляло крайнее самомнѣніе французовъ, ихъ исключительность и поразительное невѣжество относительно всего, что̀ происходило за предѣлами ихъ страны, — тѣ недостатки, которые привели къ тому, что они совсѣмъ просмотрѣли, какъ за послѣднія 50 лѣтъ выросло подлѣ нихъ могущество Германіи, какъ ушли самостоятельно и быстро впередъ ея образованіе, экономическое развитіе и богатство и ея военная организація. Я находился въ Женевѣ для своихъ купаній, когда послѣдовало легкомысленное объявленіе Наполеономъ этой войны, и военныя событія послѣдовали съ такой неожиданной быстротой, что мнѣ пришлось волей-неволей провести весь августъ, не двигаясь съ мѣста, потому что вторженіе нѣмцевъ въ предѣлы Франціи заставило меня отказаться отъ поѣздки въ Парижъ, куда я въ этомъ году предполагалъ съѣздить[1]). Поджіо этотъ годъ спустился

[1]) Приведу выдержку изъ письма Поджіо ко мнѣ съ морженскихъ высотъ, чтобы показать, какъ онъ принялъ объявленіе войны: „Нѣтъ, другъ мой, все еще не кончено, и я думаю, что державы, если онѣ есть, не допустятъ такого потрясенія; если же онѣ не скажутся, то, очевидно, для того только, чтобы оба пѣтуха другъ друга заклевали. Предоставить ихъ другъ другу— разсчетъ чисто макіавеллистическій и въ то же время самый безчеловѣчный. Но зачѣмъ вы его, готтентота, мошенника, разбойника, браните одного? не вся ли эта гнусная стая и лаетъ, и ищетъ добычи? давно ли эта несчастная страна кляла его, негодяя, а теперь кричитъ: „виватъ!“. Вотъ куда привели эти несбыточныя теоріи, только усиливавшія власть! Пусть гибнутъ всѣ эти сподвижники деспота, я къ нимъ сдѣлался безжалостенъ, но почему должны гибнуть всѣ добытыя истины? Гдѣ же этотъ миръ, эти добытыя права, которыми гордились народы? гдѣ же эта солидарность ихъ, — и не опять ли произволъ восторжествуетъ надъ ними, и тогда снова возобновятся и ненависти, и раздѣленія между ними! Вотъ что̀ ужасно и грустно, до какой степени насъ попятили назадъ! Не надо отчаяваться, но сколько нужно будетъ потратить времени и усилій, чтобы вернуться потомъ на утрачен-

съ горъ раньше, и я переѣхалъ въ его пансіонъ, къ m-me Piccaud, и весь августъ прожилъ съ нимъ вмѣстѣ. Женева, какъ ближайшая сосѣдка Франціи, тѣсно связанная съ нею племенными симпатіями и старинными торговыми сношеніями, была въ сильной степени заинтересована исходомъ начавшейся борьбы; къ тому же она быстро наполнилась французскими семьями, бѣжавшими не только изъ пограничныхъ департаментовъ, но и изъ Парижа, вслѣдствіе паники передъ наступавшими германскими полчищами; всѣ отели и пансіоны быстро переполнились, и на улицахъ безпрестанно приходилось встрѣчать все прибывающихъ бѣглецовъ, съ дѣтьми и багажами, въ поискахъ, гдѣ бы найти пристанище для своихъ семей. Весь городъ принялъ необычайную ему физіономію лихорадочной оживленности и суетливой тревоги; вездѣ, въ кофейныхъ и на тротурахъ, собирались группы и велись горячіе толки и споры по поводу войны; выходившія много разъ на дню печатныя депеши брались у разносчиковъ чуть не съ бою, и извѣстія передавались тутъ же, по прочтеніи, знакомымъ и незнакомымъ лицамъ. Вся эта тревога станетъ особенно понятной, если вспомнить, съ какой головокружительной быстротой шли событія. Не прошло недѣли послѣ вторженія нѣмцевъ на французскую территорію, какъ 6-го августа послѣдовало кровопролитное сраженіе при Вёртѣ, послѣ котораго всѣ, вѣрившіе до того въ непобѣдимость французскихъ войскъ, впервые могли оцѣнить силы противника и поняли, что превосходства военачальниковъ, выработанность плана кампаніи, стойкость и дисциплина войскъ, словомъ главные факторы успѣха были въ рукахъ у нѣмцевъ. Не успѣла еще публика опомниться отъ сраженія при Вёртѣ, какъ вскорѣ по-

---

ную теперь точку! Спасибо, что вы, другъ мой, такъ здраво и глубоко оцѣнили все это, тогда какъ всѣ ожидаютъ и даже жаждутъ кровавой войны, какъ занимательнаго зрѣлища, — словно она не задѣваетъ правъ каждаго человѣка. Отвратительно — и только...

слѣдовалъ еще болѣе кровопролитный и еще болѣе рѣшительный бой при Гравелотѣ, обложеніе Страсбурга и Меца, а къ концу августа дезорганизованныя и растерявшіяся французскія войска, утратя вѣру въ своихъ вождей и въ свои силы, стягивались къ Седанской долинѣ, гдѣ ихъ ждалъ послѣдній разгромъ.

Общее волненіе сообщалось и нашему пансіону, а въ немъ больше всего отражалось на Поджіо. Онъ по своей миролюбивой натурѣ не терпѣлъ войны вообще и не выносилъ разговоровъ о крови, а тутъ чуть не ежедневно приходили извѣстія о самыхъ безпощадныхъ кровопролитіяхъ, въ которыхъ тысячи молодыхъ французскихъ и нѣмецкихъ жизней приносились въ жертву честолюбиваго спора о преобладаніи двухъ расъ. Въ началѣ онъ все старался успокоить себя, что война обойдется безъ особенныхъ потрясеній для Франціи, что нѣмцы, столкнувъ съ императорскаго престола Наполеона, подадутъ руку французамъ и уйдутъ восвояси, удовлетворившись доказательствомъ своего военнаго превосходства; но его надежды быстро стали блѣднѣть, по мѣрѣ того, какъ быстро росъ успѣхъ нѣмцевъ и вмѣстѣ съ нимъ росло и ихъ опьяненіе побѣдами. Въ женевскомъ казино открылъ свои засѣданія дамскій комитетъ общества Краснаго Креста, и Поджіо уговорилъ жену и дочь ходить туда днемъ для работы по приготовленію перевязочныхъ средствъ, корпіи и т. п., а самъ или погружался въ газеты и изучалъ карту военныхъ дѣйствій, или бесѣдовалъ со мной и старался разобраться во всевозможныхъ случайностяхъ, ожидающихъ борющихся. Но стоило раздаться невдалекѣ голосу разносчика, появлявшагося чуть не ежечасно въ это время съ крикомъ: „новыя депеши!“ — какъ онъ смолкалъ и съ такой тревогой взглядывалъ на меня, что я тотчасъ же вскакивалъ и бѣжалъ за разносчикомъ, чтобы перехватить эти послѣднія извѣстія, которыя или всегда сообщали о новыхъ пораженіяхъ французовъ и побѣдоносномъ углуб-

леніи врага внутрь Франціи, или же, если шли съ французской стороны, умалчивали о пораженіяхъ и представляли положеніе вещей въ превратномъ видѣ. Особенно негодовалъ Поджіо на это бахвальство парижской прессы, на ея плоскія насмѣшки надъ нѣмцами и на возмутительное искаженіе событій, какое она давала своему народу, почти умалчивая о крупныхъ пораженіяхъ своихъ войскъ и возводя ничтожныя аванпостныя удачи ихъ чуть не въ полный разгромъ нѣмецкихъ армій, между тѣмъ какъ послѣднія настоятельно двигались все впередъ, усиливая тѣмъ еще бо̀льшую панику и деморализацію въ странѣ. „Да что же это такое? неужто они всѣ тамъ поголовно сошли съ ума? — вскрикивалъ онъ, прочитывая такія фанфаронады; — неужто Наполеонъ и его управленіе успѣли до того развратить журналистику, что въ ея рядахъ не находится 2—3 честныхъ человѣкъ, которые бы въ такой критическій моментъ поняли, что надо серьезно и открыто смотрѣть въ глаза опасности, а не скрывать ее, и что теперь не время для гаерскихъ шуточекъ и площадныхъ глумленій надъ врагомъ. Нѣтъ, знаете, никогда мнѣ и въ голову не приходило дожить до такого паденія великой Франціи!“. И несомнѣнно, что это разочарованіе въ нравственныхъ и цивическихъ качествахъ французовъ еще больше угнетало рыцарскую душу Поджіо, чѣмъ рядъ ея военныхъ пораженій. Та же самая причина заставляла его крайне непріязненно смотрѣть на молодыхъ французовъ, наводнившихъ Женеву, очевидно, съ цѣлью избавиться отъ военной службы и на безопасной почвѣ присутствовать зрителями разгрома своей родины; двое такихъ юношей съ матерью устроились и въ нашемъ пансіонѣ, и Поджіо, при всей своей благовоспитанности и деликатности, до того не могъ скрывать своего презрѣнія къ нимъ, что всѣ мы боялись, какъ бы не вышло столкновенія во время табльдотовъ.

Мнѣ не пришлось дожить въ Женевѣ до самаго дра-

матическаго эпизода этой войны — до Седана. Перваго сентября я уѣхалъ, а на слѣдующій день въ Мюнхенѣ узнали о плѣненіи императорской арміи, съ ея коронованнымъ вождемъ во главѣ, — и, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ разлуки, мысли мои безпрестанно возвращались къ Поджіо. Я представлялъ себѣ, какое сильное волненіе долженъ онъ былъ переживать въ этотъ день, съ одной стороны—отъ радостнаго чувства о невозвратномъ и такомъ позорномъ крушеніи Наполеона и его режима, а съ другой — отъ жгучихъ и безплодныхъ попытокъ проникнуть въ тайны развертывающейся фазы дальнѣйшей войны. Переживаемый моментъ въ исторіи былъ одинъ изъ самыхъ любопытныхъ и загадочныхъ: передовая нація, такъ долго царившая надъ Европой, и своей блестящей военной силой и славой, и образованіемъ, и высшей умственной культурой, какъ-то внезапно и быстро пала подъ ударами съ виду, казалось, немудренаго врага, и на авансцену исторіи выступала побѣдившая ее новая сила, болѣе жесткая, менѣе симпатичная, вслѣдствіе своего безстрастія, сухости и безпощадной жестокости, но несомнѣнно успѣвшая развить въ себѣ, въ эпоху своей политической приниженности, и больше выдержки и терпѣнія, и даже больше здраваго смысла, чѣмъ было въ его противникѣ. Въ такой моментъ историческаго катаклизма невозможно, стоя на самой нейтральной почвѣ безпристрастія, дѣлать соображенія и заключенія, и самая геніальная голова не можетъ не спутаться въ предположеніяхъ не только сколько-нибудь отдаленнаго, но даже ближайшаго будущаго. Надо ждать и дать время успокоиться расходившимся стихіямъ; но старику Поджіо ждать было некогда, и я воображалъ себѣ, какъ онъ мучительно ломаетъ свою голову, стараясь разрѣшить кардинальный для себя вопросъ: къ какимъ послѣдствіямъ для общечеловѣческаго прогресса приведетъ замѣна Франціи Германіею во главѣ Европы?— произойдетъ ли задержка въ человѣческомъ развитіи и

надолго ли?—или же оно будетъ идти впередъ, но только болѣе послѣдовательно и устойчиво, а не такими безумными скачками отъ жирондистовъ къ Наполеону I, отъ Луи Блана—къ Луи Наполеону, какъ это было въ эпоху гегемоніи Франціи?

Черезъ два или три дня я попалъ въ Берлинъ и, какъ вполнѣ понятно, нашелъ эту тогда еще королевскую столицу въ состояніи полнаго угара отъ блестящихъ и быстрыхъ успѣховъ германскихъ войскъ. Несмотря на страшную убыль въ населеніи, за отходомъ войскъ и ландвера, несмотря на массу женщинъ и дѣтей въ траурѣ по убитымъ, главныя улицы были переполнены радостными лицами и ликующимъ народомъ; постоянно приходилось натыкаться на патріотическія демонстраціи передъ королевскими дворцами и передъ памятникомъ Фридриха Великаго. Въ подтвержденіе того, какъ это чувство безграничнаго торжества охватило всѣхъ отъ мала до велика, начиная съ послѣдняго лавочника и рабочаго и кончая первоклассными людьми науки, не могу воздержаться, чтобы не привести слѣдующій примѣръ изъ моего тогдашняго посѣщенія Берлина. Мы съѣхались здѣсь, по обыкновенію, съ проф. П. С. Боткинымъ и согласились сократить по возможности срокъ нашего обычнаго берлинскаго пребыванія передъ въѣздомъ въ Россію, до того намъ было жутко, какъ-то не по себѣ, при этомъ взрывѣ энтузіазма чуждаго намъ народа отъ кровопролитныхъ побѣдъ, на этомъ національномъ торжествѣ, вызванномъ страшными погромами столь симпатичной нашему сердцу Франціи. Но узнавъ, что проф. Вирховъ находится въ Берлинѣ, мы не хотѣли уѣхать, не сдѣлавъ ему визита, какъ это привыкли дѣлать въ каждый нашъ проѣздъ черезъ Берлинъ; а такъ какъ онъ въ это время завѣдывалъ бараками, устроенными по случаю войны въ предмѣстьѣ Моабитъ, то мы въ первое же утро отправились туда и застали Вирхова за обходомъ больныхъ. Онъ принялъ насъ съ тѣмъ обыч-

нымъ милымъ радушіемъ, съ какимъ всегда встрѣчалъ, особенно Боткина, сталъ тотчасъ же угощать интересными больными и дѣлиться свѣжими своими научными наблюденіями и предположеніями; затѣмъ, показалъ намъ устройство бараковъ, этого тогда только зарождавшагося типа больницъ, и разнныя введенныя имъ новыя приспособленія въ вентиляціи, топкѣ и т. п. Когда, послѣ двухъ-часового обхода, мы перешли въ кабинетъ Вирхова, то разговоръ нашъ съ медицинскихъ вопросовъ обратился на жгучую дѣйствительность,—на войну, на неостывшее еще Седанское поле и пр. Не трудно было впередъ угадать, что Вирховъ будетъ гордиться чудодѣйственными успѣхами германскихъ армій, талантливой и обдуманной разработкой всѣхъ деталей похода, храбростью офицеровъ и стойкостью солдатъ; странно было бы, напротивъ, еслибы этого не было; но чего мы никакъ оба не ожидали,—это того, что этотъ не только геніальный ученый, но и выдающійся проповѣдникъ гуманныхъ идей въ міровой политикѣ, обрушится съ свирѣпой, безпощадной ненавистью на несчастный французскій народъ. Когда одинъ изъ насъ попробовалъ-было заикнуться о томъ, какъ было бы желательно, въ интересахъ человѣколюбія, чтобы теперь, съ паденіемъ Наполеона, война прекратилась и снова возстановился общій миръ въ Европѣ, всегда вдумчивое и спокойное лицо Вирхова вдругъ преобразилось и приняло жесткое, несвойственное ему выраженіе, и онъ живо возразилъ: „Нѣтъ, нѣтъ, какъ это можно! нельзя останавливаться на полъ-дорогѣ; надо хорошенько проучить французовъ, надо въ конецъ обезсилить эту подлую націю, сломать ее и предписать ей такой унизительный миръ, чтобы она никогда, никогда больше не могла поднять своей головы и претендовать на значеніе въ Европѣ. Это наши военачальники должны сдѣлать въ интересахъ не одной Германіи, но и всей Европы, чтобы освободить ее навсегда отъ вліянія этого позорнаго, до корня ногтей де-

морализованнаго племени. Намъ же Францiя должна еще дорого заплатить за Iену и всѣ наши прежнiя униженiя“ и т. д., и т. д. Вирховъ много и горячо, не допуская никакихъ возраженiй, продолжалъ говорить въ этомъ тонѣ, такъ что мы при первой возможности сочли за лучшее проститься и вышли озадаченные; особенно пораженъ былъ Боткинъ, ибо онъ былъ гораздо дружнѣе съ Вирховымъ, чѣмъ я, мало приходившiй съ нимъ въ соприкосновенiе; онъ никогда не видалъ его въ такомъ воинственномъ настроенiи. „Ну—сказалъ онъ, выйдя на воздухъ:—ужъ если Вирховъ до того ошалѣлъ отъ побѣдъ, что потерялъ самообладанiе, не выноситъ возраженiй и требуетъ дальнѣйшаго пролитiя крови, — значитъ, о другихъ нѣмцахъ и говорить нечего.—Дѣло дрянь,—и не сдобровать бѣднымъ французамъ!“.

Зима 1870—71 г. поглотила общее вниманiе кровавой борьбой, продолжавшейся во Францiи осадой Парижа, вспышкой коммуны и т. д. Я, среди своихъ занятiй, едва успѣвалъ обмѣниваться рѣдкими письмами съ Поджiо и видѣлъ изъ этой переписки, что если онъ и прежде не ждалъ ничего путнаго отъ этой войны, то теперь окончательно разочаровался въ ея послѣдствiяхъ для Европы.—„Помните ли,—писалъ онъ еще въ началѣ зимы,—какъ вы, а за вами и я, бѣгали за газетчиками, нагоняли, упускали и опять хватали крикуновъ des grosses nouvelles; давно ли это было, а теперь я гоню ихъ и въ шею, и въ бока. Тогда наши пруссаки поражали оружiемъ негоднаго предателя... а теперь, чуждые и всему человѣчеству, и мнѣ—пруссаки грабятъ, жгутъ, разстрѣливаютъ народъ, ибо армiй нѣтъ! Такъ вотъ чѣмъ разрѣшилась пресловутая германская культура, и эти временщики случайности думаютъ владычествовать надъ мiромъ и основать какую-то чудовищную имперiю! Впрочемъ дѣло не въ томъ: быть или не быть этой феодальной фурiи, а въ томъ, что, несмотря на эфемерное ея существованiе, она успѣетъ надѣлать еще много пакостей и,

чего добраго, Россіи, — своей наивной сосѣдкѣ. Если нейтралы, эти евнухи, неспособные къ зарожденію чего-нибудь жизненнаго, не воспрянутъ отъ сна и не положатъ конца этимъ неистовствамъ, то бросайте свои внутреннія болѣзни и принимайтесь за хирургію. Таковъ наступитъ духъ времени, и никакіе властители вамъ не помогутъ. Видите, какъ паника заразительна; невольно за всѣми вашими журналистами и я кричу: „караулъ!"— тогда какъ столько успокоительныхъ знаменій вокругъ! Посмотрите на эти георгіевскіе кресты, развѣшанные на нѣмецкихъ выяхъ, на этихъ двухъ фельдмаршаловъ (наслѣдникъ нѣмецкаго престола и принцъ Фридрихъ-Карлъ), пріобрѣтенныхъ русскою арміею. Нѣтъ, что ни говорите, а нѣмцы-все таки свои.—„Какъ-съ? что-съ? повторите!"—восклицаетъ дикій (такъ прозвалъ Поджіо одного тамбовскаго помѣщика, жившаго въ томъ же пансіонѣ) дикимъ голосомъ.—„Нѣтъ, батюшка, съ вами не сговоришь; вы — катковисты, вы трусите!" — возражалъ я. — „Я-то? да дайте мнѣ кабардинскій полкъ и пустите меня на любой прусскій полкъ одинъ-на-одинъ, — и я вамъ докажу!" — „Вѣрю, вѣрю, успокойтесь и присядьте", — покончилъ я. Не согласись я съ этими кабардинцами, вотъ и готовъ раздоръ въ родѣ тѣхъ, какіе и у васъ въ ходу по случаю этого сквернаго, по правдѣ сказать, „нѣмецкаго вопроса".—Видя, какой оборотъ принимаютъ событія, звѣриную жестокость нѣмцевъ, съ одной стороны, провозглашеніе коммуны, съ другой—Поджіо понялъ, что въ Европѣ наступаетъ новая антипатичная ему эра, эра крови и желѣза, съ наглою откровенностью провозглашающая своимъ девизомъ: „сила господствуетъ надъ правомъ", и разсчитывать пережить ее было бы легкомысленно для Поджіо; махнувъ рукой, онъ сталъ съ большимъ равнодушіемъ относиться ко всему происходящему.

VII.

Въ 1871 году, весной, я женился и черезъ нѣсколько дней послѣ свадьбы былъ уже въ Швейцаріи, чтобы познакомить жену мою съ Поджіо и его маленькой семьей, какъ съ людьми мнѣ самыми дорогими и близкими. Старикъ былъ въ восторгѣ отъ счастливой перемѣны въ моей судьбѣ и принялъ мою жену какъ родную дочь. Но мой глазъ врача не могъ не примѣтить большую перемѣну, которая произошла въ немъ за то короткое время, что мы не видались; дряхлость въ формѣ разныхъ недуговъ видимо его одолѣвала; онъ все болѣе и болѣе начиналъ чувствовать и въ разговорѣ часто сталъ возвращаться къ близости своей смерти. Сама по себѣ смерть его не пугала, но онъ не могъ отдѣлаться отъ щемящей заботы при мысли, что̀ будетъ съ его женой и дочерью при тѣхъ ничтожныхъ средствахъ, какими онѣ будутъ располагать послѣ его смерти. Дочь его кончила курсъ въ высшей женевской школѣ, и такъ какъ у нея была большая страсть къ музыкѣ и недюжинный музыкальный талантъ, то отецъ дѣлалъ всевозможное, чтобы развить его. Она брала уроки у лучшихъ женевскихъ піанистовъ, но Поджіо и этимъ не удовлетворился; узнавъ, что въ это время проживаетъ во Флоренціи знаменитый піанистъ Гансъ фонъ-Бюловъ, не отказывающійся давать уроки хорошо подготовленнымъ ученицамъ, онъ вступилъ съ нимъ въ переговоры. Бюловъ согласился допустить молодую Поджіо въ число избранныхъ ученицъ, но предупреждалъ, что она должна поторопиться своимъ пріѣздомъ, такъ какъ весной 1872 г. онъ намѣревается покинуть Флоренцію и отправиться въ многолѣтнее путешествіе въ Америку. Такимъ образомъ, мѣшкать было нельзя, и когда мы пріѣхали въ Швейцарію, у Поджіо уже готовъ былъ планъ тою же

осенью переселиться во Флоренцію. Мы прожили съ нимъ около двухъ недѣль въ Моржéнѣ, и нельзя было равнодушно видѣть, съ какой трогательной грустью прощался старикъ, какъ съ этимъ своимъ любимымъ мѣстомъ, такъ и вообще съ Швейцаріей, столь пришедшейся ему по душѣ всѣмъ складомъ ея жизни. Въ началѣ августа мы съ нимъ разстались, и въ концѣ сентября онъ былъ во Флоренціи.

Музыкальное переселеніе это вышло однако не совсѣмъ удачно. Причудливый и нервный Бюловъ не былъ образцовымъ учителемъ; онъ часто уѣзжалъ изъ Флоренціи въ экскурсіи по Италіи, часто манкировалъ уроками и кончилъ тѣмъ, что въ январѣ и совсѣмъ покинулъ Италію для своего далекаго путешествія. Но Поджіо уже устроился на новомъ мѣстѣ, и возвращаться обратно въ Швейцарію ему не позволяли ни денежныя средства, ни здоровье, да и тихая жизнь во Флоренціи съ ея неисчерпаемыми богатствами искусства приковала его къ себѣ артистическими ея интересами, и не столько для себя, сколько въ видахъ болѣе разносторонняго образованія дочери. Скоро и знакомыхъ развелось у него не меньше, чѣмъ въ Женевѣ; не говоря уже о двухъ или трехъ русскихъ семьяхъ, перекочевавшихъ вслѣдъ за Поджіо изъ Женевы единственно для того, чтобы не разлучаться съ обаятельнымъ старцемъ, онъ перезнакомился почти со всѣми многочисленными русскими, зимовавшими во Флоренціи, и вскорѣ его убогая квартирка сдѣлалась общимъ складомъ всякихъ горей и прибѣжищемъ для всѣхъ, нуждавшихся или въ совѣтѣ, или въ нравственномъ утѣшеніи. Кромѣ того, многіе флорентійцы искали случая свести знакомство съ этимъ выходцемъ изъ Сибири, въ жилахъ котораго текла ихъ родная кровь; между ними даже бывали и такіе, которые предъявляли права на дальнее родство, такъ какъ фамилія Поджіо принадлежитъ къ стариннымъ флорентійскимъ и до сихъ поръ много имѣетъ представителей въ Италіи. Самъ же По-

джіо и среди этого родственнаго племени оставался тѣмъ же чисто русскимъ человѣкомъ, и всѣ красоты Италіи, высокая ея культура и внѣшнее и внутреннее изящество ея сыновъ не могли вытѣснить изъ его сердца его глубокую и преобладающую привязанность къ Россіи, къ его суровой и убогой родинѣ съ ея невѣжественными, забитыми обитателями.

Здѣсь кстати я приведу изъ флорентійской жизни Поджіо въ эту зиму одинъ фактъ, который лучше всякихъ комментаріевъ покажетъ, какъ онъ, будучи 74-хъ лѣтнимъ старцемъ, уже изгрызаннымъ собственнымъ недугомъ и дряхлостью, оставался вѣренъ завѣтамъ всей своей жизни—никогда не думать о себѣ, своемъ покоѣ и отдавать себя въ жертву тамъ, гдѣ онъ могъ сколько-нибудь облегчить чужую нужду. И, что особенно цѣнно, дѣлалъ онъ это не въ крупномъ, а въ мелочахъ, не на виду у всѣхъ, а безъ фразъ и просто, дѣлалъ не въ силу усвоеннаго въ молодости разсудочнаго альтруизма, а по врожденному любвеобилію своего сердца и неослабѣвшему сочувствію къ безпомощному человѣку вообще, будь онъ даже, какъ въ разсказываемомъ случаѣ, не живой, а уже умершій. У меня былъ большой пріятель и также врачъ, лѣтъ на 6 или 7 моложе меня, съ которымъ я сошелся еще въ Сибири и полюбилъ его за душевную чистоту и недюжинныя способности; фамилія его была Елинъ, и былъ онъ незаконнорожденный сынъ декабриста Горбачевскаго, который далъ ему отличное воспитаніе и до конца своей жизни заботился о немъ. Прослуживъ лѣтъ шесть врачомъ въ Забайкальской области и потомъ въ Иркутскѣ, Елинъ выѣхалъ изъ Сибири, чтобы довершить свое медицинское образованіе въ Вѣнѣ и въ Берлинѣ, и неожиданно схватилъ тамъ воспаленіе легкихъ, перешедшее въ галоппирующую чахотку. Въ мой лѣтній выѣздъ за границу въ 1871 году, я, осмотрѣвъ его, увидѣлъ, что спасеніе едва ли возможно, и посовѣтовалъ перезимовать въ Пизѣ; я раз-

считывалъ, что въ случаѣ, когда, какъ не трудно было предвидѣть, дѣло пойдетъ все хуже и хуже, онъ не будетъ чувствовать себя совершенно одинокимъ и не слишкомъ захандритъ, зная, что въ нѣсколькихъ часахъ разстоянія отъ него проживаетъ Поджіо, всегда и во всемъ готовый помочь по мѣрѣ силъ. Для этого я далъ больному товарищу рекомендательное письмо къ Поджіо, и онъ въ проѣздъ черезъ Флоренцію провелъ нѣсколько часовъ у старика, былъ принятъ съ теплымъ радушіемъ, и, снабженный всякими практическими указаніями, немедленно перебрался въ Пизу. Вначалѣ болѣзнь какъ будто задержалась, судя по письмамъ больного къ Поджіо и ко мнѣ, но въ концѣ января произошло обостреніе процесса, подъ вліяніемъ котораго внезапно хлынула горломъ кровь ночью, и въ припадкѣ этого кровотеченія Елинъ скончался прежде, чѣмъ успѣлъ явиться лечившій его врачъ. Два русскіе студента и оба товарища по болѣзни, ходившіе за нимъ послѣдніе дни, немедленно послали депешу Поджіо съ извѣстіемъ о смерти, и послѣдній съ первымъ же поѣздомъ поѣхалъ въ Пизу, принялъ на себя нужныя мѣры для огражденія имущества покойнаго и для похоронъ, переночевалъ тамъ, а на слѣдующее утро, самъ едва двигая ногами, проводилъ тѣло бѣднаго юноши-сибиряка на кладбище и опустилъ его въ чужую землю. Вслѣдъ затѣмъ онъ подробно, на четырехъ почтовыхъ листахъ, описываетъ мнѣ своей дрожащей рукой самыя похороны и, со словъ очевидцевъ, послѣднія минуты покойнаго. Чтобы не удлиннять напрасно моего разсказа, я не привожу его, потому что интересныхъ фактовъ оно для читателей не даетъ, и все значеніе этого письма для личности Поджіо заключается въ томъ, что дряхлый старикъ, предпринявъ такой тяжелый для его лѣтъ подвигъ, какъ эта поѣздка на похороны едва знакомаго ему лица, ни единымъ словомъ въ немъ не обмолвливается ни о себѣ, ни о томъ, какого утомленія и труда стоила ему эта поѣздка;

въ глазахъ его никакого нѣтъ подвига тутъ, а есть простое непреложное исполненіе обязанности по отношенію къ земляку,—обязанность, не исполнить которую онъ не могъ по свойствамъ своей души и по своимъ нравственнымъ правиламъ. Какъ врачъ, я много имѣлъ дѣла съ больными стариками, знаю по опыту, какъ хроническій маразмъ жестоко сушитъ самыя благородныя сердца, дѣлаетъ ихъ эгоистичными и глухими къ страданіямъ даже близкихъ и родныхъ людей, а потому выставляю этотъ случай, при всей его мелочности, и даже именно вслѣдствіе его мелочности, какъ примѣръ рѣдкаго самозабвенія и самопожертвованія въ интересахъ совсѣмъ сторонняго лица. Старость имѣетъ свои законныя права на покой и отдыхъ, и ей свойственно пользоваться такою естественною привиллегіею. Надо прибавить, что Поджіо не былъ „религіознымъ" человѣкомъ и не дѣйствовалъ подъ вліяніемъ піэтическихъ убѣжденій; его міровоззрѣніе скорѣе приближалось къ пантеистическому, и онъ съ одинаковымъ уваженіемъ относился ко всѣмъ религіямъ, самъ въ церковь не ходилъ, никакихъ обрядовъ не соблюдалъ и дѣлалъ добро для добра, безъ всякихъ отвлеченныхъ разсчетовъ.

Выѣхавъ на слѣдующее лѣто за границу, я почувствовалъ непреодолимую потребность навѣстить Поджіо и побесѣдовать съ нимъ; мнѣ просто его недоставало, да и по письмамъ было видно, что смерть скоро положитъ конецъ нашимъ кратковременнымъ свиданіямъ. Притомъ, онъ писалъ самыя зазывательныя письма, приглашая насъ съ женой къ себѣ на Лукккскія воды, куда онъ выѣхалъ отъ знойнаго флорентійскаго лѣта; онъ превозносилъ какъ несравненныя красоты выбранной имъ мѣстности и замѣчательную ея прохладу, такъ и удобства и дешевизну этой глуши, гдѣ онъ съ женой и дочерью наняли себѣ небольшую квартиру, имѣя про запасъ лишнюю комнату для насъ, привезли съ собой

свою кухарку изъ Флоренціи и жили совсѣмъ особнякомъ, а въ перспективѣ указывалъ на свое намѣреніе переѣхать позднѣе, на сентябрь, на ближайшія морскія купанья, тутъ же по близости. Все это вмѣстѣ такъ было соблазнительно, что мы, несмотря на дальность путешествія и на августовскіе жары, не устояли и пустились въ среднюю Италію.

Лукккскія-воды (bagni di Lucca), нѣкогда сильно гремѣвшія и особенно прославленныя Гейне, находятся теперь въ большомъ упадкѣ. Прежде, помимо репутаціи своихъ цѣлебныхъ, горячихъ сѣрныхъ ключей, они служили однимъ изъ любимыхъ лѣтнихъ убѣжищъ во время лѣтнихъ жаровъ для итальянской знати и иностранцевъ: больные, нуждающіеся въ сѣрныхъ ваннахъ, стекаются и понынѣ туда въ большомъ количествѣ, но съ годами, особенно съ развитіемъ желѣзныхъ дорогъ, пошли въ ходъ морскія купанья и отвлекли отъ Лукккскихъ-водъ ту значительную часть публики, которая ищетъ прохлады. Въ настоящее время пріѣздъ посѣтителей бываетъ на эти воды и количественно меньше, и качественно скромнѣе, и только множество прекрасныхъ палаццо и виллъ, стоящихъ безлюдными и съ заколоченными ставнями, свидѣтельствуютъ о прежней шумной и блестящей жизни. А между тѣмъ, мѣстоположеніе водъ, окруженныхъ высокими горами и богатою роскошною растительностью, чрезвычайно живописно и дѣлаетъ изъ нихъ одну изъ лучшихъ лѣтнихъ станцій, особенно въ Италіи, далеко не щедрой на такія мѣста, гдѣ можно укрываться отъ палящихъ лучей южнаго солнца.

Поджіо наслаждался красотой незнакомаго ему мѣста, но это было уже не то живое и страстное наслажденіе, какъ бывало еще 3—4 года назадъ въ Швейцаріи, а какое-то грустное, угнетенное; очевидно, онъ чувствовалъ, какъ года брали свое, и онъ уже не могъ пускаться въ дальніе походы, а бродилъ лишь по узкому ущелью, вдоль котораго протянулось на протяженіи болѣе 2-хъ верстъ наше мѣстечко.

Мы прожили около десяти дней на Луккскихъ-водахъ вмѣстѣ и вмѣстѣ же оттуда перевалили черезъ горы, послѣ трехъ-часового пути въ экипажѣ, въ приморскій городокъ Віарреджіо, извѣстный морскими купаньями; купанья эти были необходимы для здоровья молодой Поджіо, и переѣздъ совпадалъ весьма кстати и съ моимъ желаніемъ покупаться въ Средиземномъ морѣ. Пріѣхали мы въ Віарреджіо 31 августа подъ-вечеръ и съ большимъ трудомъ могли отыскать себѣ помѣщеніе на ночь въ одномъ изъ отелей, потому что городокъ былъ наполненъ съѣзжавшимися отовсюду купальщиками; всѣ отели и частныя квартиры были заняты,—и мы пришли бы въ отчаяніе, если бы насъ тотчасъ же не успокоило извѣстіе, что 1 сентября, т.-е. на завтра, кончается сезонъ морскихъ купаній въ Италіи, всѣ разъѣдутся, и мы можемъ выбирать для себя любую квартиру. И дѣйствительно, на завтра съ ранняго утра потянулись длинными вереницами купальщики съ семьями и чемоданами къ станціи желѣзной дороги; для удовлетворенія всей этой массы отъѣзжающихъ пущено было нѣсколько дополнительныхъ поѣздовъ, и къ вечеру Віарреджіо опустѣло, какъ бы по волшебству, такъ что мы безъ труда нашли себѣ подходящую квартиру и устроились за баснословно-дешевую цѣну: за 60 франковъ въ мѣсяцъ мы наняли на сентябрь небольшой двухъ-этажный домикъ и размѣстились въ немъ, съ грѣхомъ пополамъ, вшестеромъ, считая въ томъ числѣ и нашу флорентійскую кухарку. Меня не мало удивлялъ такой странный взглядъ итальянцевъ на морское купанье: они упрямо держатся преданій, что средиземныя купанья, начинаясь съ 15-го іюня, полезны только до 1-го сентября, а съ 1-го сентября становятся вдругъ почему-то положительно вредными, и, несмотря на прекрасную погоду, спѣшатъ вернуться отъ моря въ душную и знойную атмосферу своихъ городовъ, хотя сентябрь на берегу моря большею частью бываетъ очень пріятенъ. Такъ было и на этотъ разъ:

погода стояла восхитительная, купанье превосходное и теплое, а между тѣмъ въ обширномъ stabilimento dei bagni (купальнѣ) я купался почти одинъ и лишь изрѣдка въ компаніи съ двумя тоже зажившимися въ Віарреджіо англичанами, и купался до 20-го сентября, до тѣхъ поръ, когда хозяинъ купальни предупредилъ меня, что онъ приступаетъ къ разборкѣ ея, и что далѣе я могу купаться только въ открытомъ морѣ.

Мы могли бы вполнѣ быть довольными пребываніемъ въ Віарреджіо, если бы состояніе здоровья Поджіо не начинало все болѣе и болѣе тревожить нашу маленькую колонію. Онъ, по своему обыкновенію, не любилъ распространяться лично о себѣ и изрѣдка, и то только наединѣ со мной, жаловался на одолѣвающіе его недуги, но не трудно было и такъ подмѣтить, что жизненная энергія его быстро истощается. Онъ, любившій еще на Луккскихъ водахъ побродить по ближайшимъ окрестностямъ, проводилъ въ Віарреджіо по нѣсколько дней не выходя изъ дома и сидя неподвижно въ нашей маленькой столовой, или за чтеніемъ газеты, или погруженный въ свои мрачныя думы. А думы эти не могли не быть самаго тяжелаго свойства: онъ чувствовалъ, какъ онъ выражался, что онъ „уходитъ", что смерть его близка, а при этомъ не могъ не думать о томъ, что̀ станется послѣ него съ женой и дочерью, оставляемыми съ ничтожными средствами, недостаточными, чтобы существовать безъ посторонняго заработка. Иногда онъ старался отогнать отъ себя эти навязчивыя мысли, дѣлался разговорчивымъ, пускался въ шутки и въ свое безобидное остроуміе, но это продолжалось не долго, и его кроткіе глаза снова затягивались сѣткой тяжелаго горя, справляться съ которымъ ему день ото дня становилось труднѣе.

Это мрачное настроеніе Поджіо и тревожный упадокъ его физическихъ силъ заставили насъ ускорить возвращеніе во Флоренцію, и мы перебрались туда около 20-хъ

чиселъ сентября. По позднему времени года, мнѣ слѣдовало бы уже возвращаться въ Россію, но, уступая настойчивымъ просьбамъ старика, мы согласились продлить наше пребываніе во Флоренціи на 10 дней и отпраздновать вмѣстѣ приближавшіяся именины моей жены, 17 (29) сентября,—согласились тѣмъ охотнѣе, что Поджіо могъ, пожалуй, не пережить слѣдующей зимы, а мнѣ такъ тяжело было потерять навсегда дорогого наставника. Въ близости своей смерти онъ былъ увѣренъ еще больше моего и напрягалъ свои послѣднія усилія, чтобы провести, по возможности не разлучаясь, эти немногіе остающіеся дни, руководилъ нашими экскурсіями и нерѣдко самъ выходилъ съ нами. Онъ заботился какъ добрый хозяинъ, чтобы мы не упустили познакомиться съ тѣми характерными сторонами флорентійской жизни и второстепенными ея особенностями, которыя легко ускользаютъ отъ вниманія заѣзжихъ путешественниковъ, занятыхъ по горло осмотромъ знаменитыхъ храмовъ, музеевъ и галлерей. Такъ однажды онъ свелъ насъ самъ въ отдаленную часть города, чтобы показать намъ лучшаго Стентерелло; какъ неаполитанскій Пульчинелли, такъ флорентійскій Стентерелло — любимое дѣйствующее лицо мѣстныхъ простонародныхъ театровъ и вводится въ самыя разнообразныя народныя драмы и комедіи, какъ вставное лицо, чтобы отозваться съ задорнымъ юморомъ и остроуміемъ на всякіе мѣстные факты городской жизни и на болѣе широкіе вопросы, занимающіе итальянскія массы. Стентерелло выражается на мѣстномъ флорентійскомъ нарѣчіи, а потому соль его балагурства почти совсѣмъ непонятна иностранцу-туристу, но для послѣдняго любопытенъ самый видъ этой многотысячной толпы, болѣе чѣмъ на половину принадлежащей къ низшимъ слоямъ городского сословія, и то напряженное вниманіе, съ какимъ она слѣдитъ за словами своего любимца, разражаясь беспрестанно своимъ здоровымъ гомерическимъ хохотомъ. Поджіо успѣлъ уже

до того войти въ нравы Флоренціи и усвоить ея жаргонъ, что самъ наслаждался отъ души остроуміемъ Стентерелло и всей первобытной простотой спектакля и, смѣясь до слезъ, переводилъ намъ по возможности самыя выдающіяся мѣста пьесы и наиболѣе пикантныя шутки Стентерелло.

Остался еще у меня въ памяти такой случай изъ этихъ послѣднихъ моихъ прогулокъ съ Поджіо: однажды возвращались мы съ нимъ вдвоемъ по набережной рѣки Арно изъ публичнаго сада—„Кашино“, куда старикъ любилъ выходить, чтобы тамъ на солнцѣ погрѣть свои старыя кости, и вели какой-то оживленный разговоръ, такъ что и не замѣтили быстро катившую на встрѣчу изящную коляску; сидѣвшій въ ней пожилой и плотный господинъ, поровнявшись съ нами, снялъ цилиндръ и вѣжливо предупредилъ Поджіо своимъ поклономъ. Я съ любопытствомъ спросилъ: Кто это?—„Хороши же вы!—отвѣтилъ Поджіо:—не узнали нашего главнаго хозяина, самого итальянскаго короля Виктора Эммануила! а у меня съ нимъ вотъ уже завелось шапочное знакомство; флорентійцы хотя и почитаютъ его, но у нихъ не въ обычаѣ привѣтствовать его при частыхъ встрѣчахъ на улицахъ (король жилъ тогда во Флоренціи); ну, а я, какъ иностранецъ и какъ горячій поклонникъ этого рыцарски-благороднаго человѣка, поставилъ за правило всегда отвѣшивать ему самый почтительный поклонъ. Не избалованный такой любезностью, вотъ онъ и запримѣтилъ мою физіономію, и теперь при всякой встрѣчѣ спѣшитъ раскланяться со мной, какъ съ старымъ знакомымъ, прежде, чѣмъ я усмотрю его и успѣю снять шляпу. И въ этой мелочи онъ вѣренъ, какъ видите, своей репутаціи короля—galantuomo!“—И дѣйствительно, не можетъ не поразить такое деликатное отношеніе главы государства къ первому встрѣчному и поперечному на улицѣ, какимъ ни больше, ни меньше долженъ былъ представляться итальянскому королю скромный Поджіо!

Отпраздновавъ именины жены, мы на завтра же пустились въ Петербургъ; разставанье наше на этотъ разъ было особенно печально, потому что, не высказываясь прямо, каждый изъ насъ чувствовалъ въ глубинѣ души невольное сомнѣніе, что едва ли намъ предстоитъ въ будущемъ возобновить наши дружескія встрѣчи и сожительство. Зима прошла для Поджіо чрезвычайно тяжело: онъ безпрестанно хворалъ; его легочный катарръ то и дѣло обострялся и утомлялъ дѣятельность старчески перерожденнаго сердца до такой степени, что ему приходилось совсѣмъ плохо; въ январѣ одно время положеніе было таково, что лечившій врачъ предупредилъ семью о возможности близкой смерти. Письма отъ него приходили все рѣже и рѣже, и по ихъ содержанію нельзя было не видѣть, что всѣ политическіе и общественные интересы отошли для него на задній планъ, а всѣ мысли его сосредоточились на печальной участи, ожидающей его жену и дочь. Но тутъ ему нежданно-негаданно судьба улыбнулась: въ его дорогую Варю, тогда 17-лѣтнюю дѣвушку, влюбился молоденькій русскій офицеръ, зимовавшій по болѣзни во Флоренціи, и сдѣлалъ ей предложеніе; дочери онъ нравился и имѣлъ независимое состояніе, а потому Поджіо не только безпрепятственно, но и съ большой радостью согласился на этотъ бракъ, ибо теперь онъ могъ умереть спокойно, зная, что послѣ него жена и дочь будутъ имѣть и естественнаго защитника, и обезпеченныя средства. Это счастливое событіе сняло самый мучительный грузъ съ его души и скрасило послѣдніе мѣсяцы его жизни. Теперь у старика оставалось послѣднее его завѣтное желаніе—сложить свои кости въ Россіи подлѣ своего друга и товарища Волконскаго, и онъ настоялъ на томъ, чтобы, лишь только весна наступитъ въ Россіи, его перевезли въ черниговскую губернію; тамъ же должна была совершиться и свадьба его дочери. Отговорить его отъ этого переѣзда не было никакой возможности; онъ торопилъ

жену укладкой вещей и, при первыхъ извѣстіяхъ объ установившейся веснѣ въ Россіи, онъ съ большими мученіями пустился въ дорогу и полуживой добрался до села Воронки. До чего онъ сомнѣвался самъ въ возможности благополучнаго окончанія этого путешествія — видно изъ послѣдняго письма его ко мнѣ, въ которомъ онъ высказываетъ это прямо, и, прощаясь со мной какъ на смертномъ одрѣ, заканчиваетъ словами:

„Прощайте, любезный другъ; мое душевное вамъ спасибо за ваше постоянное расположеніе и дружбу; немногіе меня дарили такими доводами неизмѣнныхъ и постоянныхъ чувствъ. Награди васъ вся совѣсть ваша“.

Однако кое-какъ ему удалось добраться до Россіи и дотащиться до знакомой усадьбы Воронки; это дало ему большое нравственное успокоеніе, ибо всѣ его предсмертныя желанія были исполнены. Выбранная имъ для себя могила находилась рядомъ подлѣ дорогихъ ему могилъ стариковъ Волконскихъ, съ которыми онъ дружно дѣлилъ тяжелые годы своей сибирской каторги и поселенія, и была тутъ же—въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ дома, гдѣ онъ собирался умирать; не любя никому быть въ тягость при жизни, онъ былъ доволенъ, что и послѣ смерти онъ не принесетъ своей семьѣ большихъ хлопотъ съ погребеніемъ его тѣла, съ какими оно было бы сопряжено въ случаѣ смерти въ чужой странѣ. Доволенъ былъ онъ и тѣмъ, что владѣлица усадьбы—дочь Волконскихъ (тогда — Рахманова, по своему третьему мужу), любившая его какъ родного, облегчитъ уходъ за нимъ женѣ и дочери во время его агоніи, и своимъ дружескимъ участіемъ поможетъ имъ скорѣе перенести тотъ періодъ остраго горя и сиротливаго одиночества, какого онъ не могъ не предвидѣть при другой обстановкѣ. Наконецъ, если онъ самъ, привыкши на своемъ вѣку къ бѣдности и всякимъ лишеніямъ, не давалъ никакого значенія житейскимъ удобствамъ, то его маленькая семья не могла не чувствовать и не радоваться за

него, что, благодаря переѣзду въ Воронки, эти послѣднія недѣли его жизни были обставлены полнымъ комфортомъ и такою широкою возможностью удовлетворить всѣ желанія умирающаго, какая была бы немыслима при ихъ денежныхъ средствахъ и въ жалкихъ условіяхъ дешевенькихъ меблированныхъ квартиръ Флоренціи. Рахманова была женщина очень богатая, и домъ ея былъ полонъ какъ чаша.

Но все это были лишь успокоенія нравственнаго свойства; жизненный же недугъ продолжалъ додѣлывать быстро свою сокрушительную работу и сдѣлалъ такіе успѣхи, что въ концѣ мая, когда я, покончивъ свои петербургскія занятія, гостилъ въ тверскомъ имѣніи у родныхъ моей жены, получена была мной депеша отъ жены Поджіо съ извѣстіемъ, что больному совсѣмъ плохо. Мы съ женой собрались въ нѣсколько дней и, увѣдомивъ о своемъ пріѣздѣ въ Воронки, отправились черезъ Москву, Курскъ—и на передпослѣдней станціи передъ Кіевомъ нашли высланный для насъ экипажъ, который, послѣ двухъ-часовой ѣзды, доставилъ насъ въ усадьбу Рахмановой въ 11-мъ часу утра. Меня провели тотчасъ же въ просторную комнату, которую занималъ Поджіо, и я увидѣлъ его полулежавшимъ въ большомъ и глубокомъ креслѣ, обложеннымъ подушками. Онъ встрѣтилъ меня словами:—„Ну, такъ и есть! Я узналъ вашу походку, когда вы шли по залѣ, и сказалъ женѣ: это, навѣрное, онъ!“—Видимо, онъ меня очень поджидалъ и съ обычной, прежней его горячностью обрадовался намъ обоимъ; но внѣшній его видъ, общій отекъ, затрудненное дыханіе при безпрерывномъ кашлѣ и особенно весьма ослабленная дѣятельность сердца слишкомъ явно указывали, что силы для борьбы съ болѣзнью приходили къ окончательному истощенію, а вскорѣ сдѣланное мною медицинское изслѣдованіе открыло еще присутствіе затянувшагося воспалительнаго процесса въ лѣвомъ легкомъ и начинавшійся отекъ праваго. Словомъ, смерть

стояла у изголовья, но, возбужденный и обрадованный нашимъ пріѣздомъ, Поджіо еще весь этотъ день старался шутить, входилъ въ самыя мелочныя заботы о томъ, все ли приготовлено для насъ, не забыли ли чего-нибудь въ отведенномъ для нашего житья флигелѣ, и настоялъ на томъ, что самъ закажетъ повару завтрашній обѣдъ, стараясь выбирать самыя оригинальныя блюда малороссійской кухни, чтобы угостить насъ на славу. Къ вечеру онъ замѣтно утомился, и мы рано оставили его въ покоѣ; на слѣдующій день слабость и затрудненное дыханіе еще болѣе усилились, а къ семи часамъ пополудни послѣднее достигло такой мучительной степени, что онъ сталъ метаться, по временамъ бредить, вслѣдствіе начавшагося отека мозга, и упросилъ перенести его въ креслѣ на открытую террасу; его желаніе было исполнено, такъ какъ дневной жаръ схлынулъ и наступалъ чудный и теплый іюньскій вечеръ. Онъ еще нашелъ въ себѣ достаточно силъ, чтобы выразить свое удовольствіе при видѣ богатой зелени родной степи и заходящаго солнца, но физическихъ страданій это не успокоило, и его вскорѣ внесли обратно въ комнату, гдѣ почти немедленно началась агонія, продолжавшаяся вплоть до утра; но солнце еще не взошло, когда онъ умеръ. Такъ кончилась эта жизнь, полная тяжелыхъ испытаній, самоотреченія и сохранившая до конца своего—и молодыя свои убѣжденія, и непоколебленную ничѣмъ любовь къ людямъ, и вѣру въ добро.

Его похоронили въ углу воронковскаго сада, подлѣ небольшой часовни, воздвигнутой надъ могилами Волконскихъ.

Послѣ смерти Поджіо, я получилъ отъ семьи его нѣсколько тетрадокъ, найденныхъ въ его вещахъ. Очевидно, онъ хотѣлъ набросать свои записки о процессѣ декабристовъ, но мысль эта возникла у него поздно, за годъ или за два до смерти, судя по неразборчивости почерка; онъ остановился въ самомъ началѣ ея осуществленія, и

хотя найденная рукопись не представляетъ ничего цѣльнаго и законченнаго, я счелъ не лишнимъ помѣстить ее въ заключеніе моихъ воспоминаній*), чтобы дать читателю возможность самому познакомиться болѣе непосредственно съ личностью этого стараго декабриста.

---

*) Въ бумагахъ Н. А. Бѣлоголоваго сохранились отрывки изъ записокъ Поджіо.

Графъ Михаилъ Таріеловичъ Лорисъ-Меликовъ.

1878 – 1888.

I.

Обстоятельства сблизили меня за границею съ графомъ Лорисомъ на склонѣ его жизни, въ послѣдніе четыре года ея, и я считаю до нѣкоторой степени своимъ нравственнымъ долгомъ передать мои воспоминанія и кой-какія данныя о немъ русскимъ читателямъ, такъ какъ онъ представлялся личностью, далеко не заурядною, одно время очень популярною у насъ и сыгравшею видную, хотя и кратковременную, роль въ нашей исторіи послѣднихъ лѣтъ. Я отнюдь не имѣю въ виду писать его біографіи, для этого у меня нѣтъ достаточно матеріала, ни тѣмъ менѣе дѣлать анализъ и оцѣнку его служебной и государственной дѣятельности, для которыхъ еще не наступило, да и врядъ ли скоро наступитъ время, а просто намѣренъ подѣлиться моими личными впечатлѣніями и тѣми біографическими свѣдѣніями, остающимися до сихъ поръ неизвѣстными публикѣ, которыя я узналъ непосредственно отъ покойнаго при частыхъ моихъ бесѣдахъ съ нимъ.

Въ первый разъ я увидѣлъ графа еще въ апрѣлѣ 1878 года въ Петербургѣ, куда онъ пріѣхалъ по окончаніи войны и вскорѣ пожелалъ посовѣтоваться со мной о своемъ здоровьи; я былъ какъ разъ въ это время

такъ занятъ, что вначалѣ отказался было къ нему пріѣхать, за неимѣніемъ свободнаго времени, и согласился только нѣкоторое время спустя и послѣ настойчиваго повторенія приглашенія. Жилъ онъ тогда въ небольшой квартирѣ 3-го этажа дома Васильевой на Сергіевской улицѣ. Свиданье это имѣло чисто дѣловой характеръ и разговоръ нашъ ни разу не выходилъ за черту своей медицинской цѣли, но помню, что и тогда графъ очень пріятно поразилъ меня своимъ искрящимся умомъ и безъискусственной простотою обращенія. Я осмотрѣлъ его, нашелъ нѣсколько затронутыя стародавнимъ, но, повидимому, остановившимся процессомъ легкія, хроническій катарръ дыхательныхъ вѣтвей, и въ виду этого, а также наклонности къ частымъ кровохарканіямъ, сдѣлалъ нужныя медицинскія указанія для предотвращенія ухудшеній на будущее время, а затѣмъ, признавъ въ общемъ итогѣ состояніе здоровья довольно удовлетворительнымъ распрощался, — и на этомъ знакомство наше остановилось.

II.

Слѣдующая встрѣча наша произошла въ 1884 году при совершенно иной обстановкѣ. За эти 6 лѣтъ для насъ обоихъ много утекло воды; не только въ судьбѣ графа, но и въ моей случилась капитальная перемѣна, для объясненія которой я долженъ, не смотря на нежеланіе занимать своей особой, сказать нѣсколько словъ о самомъ себѣ. Занимаясь не въ мѣру, т. е. не по своимъ силамъ, практикою въ Петербургѣ, я, къ концу 25-ти лѣтія своей медицинской дѣятельности, вдругъ, что называется, надорвался, почувствовалъ ясные признаки мозговаго переутомленія и лѣтомъ 1879 года выѣхалъ

за границу съ надеждою, что одного года отдыха отъ утомительной практики вполнѣ будетъ достаточно, чтобы меня освѣжить и снова подвинтить на работу. Я очень скучалъ отъ этого продолжительнаго перерыва въ привычныхъ занятіяхъ и, насилу дождавшись окончанія срока, положеннаго на праздношатаніе, увѣрилъ себя, что я совсѣмъ отдохнулъ и къ сентябрю 1880 года вернулся въ Петербургъ, но едва только принялся за практику, какъ тотчасъ же долженъ былъ убѣдиться, что моя пѣсня, какъ медицинскаго работника, была спѣта и что я безвозвратно утерялъ то нравственное равновѣсіе, которое необходимо врачу для добросовѣстнаго исполненія его обязанностей; всякій пустякъ меня не только волновалъ, но и злилъ, и я съ отчаяніемъ видѣлъ, какъ изъ невозмутимаго и очень терпѣливаго человѣка я становлюсь нервнымъ и раздражительнымъ и не въ состояніи силою воли справляться съ этимъ превращеніемъ. Когда для меня стало ясно, какъ дважды два, что далѣе я практиковать не могу, я рѣшился на радикальную мѣру и весной 1881 года выѣхалъ на безсрочное время за границу, находя, что отказаться отъ практики и вмѣстѣ съ тѣмъ не покидать Россіи было бы задачей, не разрѣшимой при моемъ характерѣ; не умѣя ни отказывать больнымъ, ни вести дѣла, спустя рукава, я заблагоразсудилъ совсѣмъ удалиться, спасая не только себя, но и моихъ многочисленныхъ паціентовъ отъ врача, утратившаго вѣру въ самого себя. Многіе могутъ найти мой поступокъ эгоистичнымъ, мнѣ же онъ представляется совсѣмъ не такимъ, но оправдываться не буду, да и притомъ здѣсь рѣчь идетъ не обо мнѣ.

Перемѣна, постигшая графа Лориса за эти шесть лѣтъ, была еще несравненно разительнѣе, и, имѣя въ виду, что она болѣе или менѣе всѣмъ извѣстна, излагать ее было бы излишне. Онъ тоже съ 1881 года былъ не у дѣлъ и тоже съ расшатанными силами мыкался по лицу западной Европы, ища возстановленія ихъ. Никакъ

нельзя сказать про него, чтобы онъ переносилъ охотно и легко свое выселеніе изъ Россіи и не старался избѣжать его; такъ, зиму 1883—1884 года онъ всю провелъ въ Петербургѣ, но уже въ началѣ ея, а именно въ декабрѣ, схватилъ какую-то лихорадочную инфекціонную болѣзнь, то-ли тифъ, то-ли возвратную горячку, и къ которой, какъ осложненіе, присоединилось подострое воспаленіе верхушки лѣваго легкаго, такъ что съ декабря по 20-ыя числа апрѣля пролежалъ въ постели и, съ наступленіемъ первыхъ весеннихъ дней, по совѣту проф. Боткина, прямо съ кровати былъ перевезенъ въ вагонъ Варшавской желѣзной дороги и отправленъ въ Висбаденъ съ тѣмъ, чтобы на зиму переѣхать въ Ниццу. Привожу этотъ фактъ, какъ доказательство, что графъ проживалъ за границей вслѣдствіе своего разстроеннаго здоровья, а никакъ не по доброй волѣ, какъ это утверждали многіе, упрекавшіе его въ абсентеизмѣ,— и почти навѣрное можно сказать, что только благодатный климатъ юга позволилъ ему протянуть свою жизнь на нѣсколько лишнихъ лѣтъ, а оставайся онъ въ Петербургѣ,—его раньше не было бы въ живыхъ.

Вотъ послѣ этого-то его выѣзда въ 1884 году изъ Петербурга, я съ женой, въ іюнѣ, тоже попалъ въ Висбаденъ съ тѣмъ, чтобы прожить тамъ лѣто и начало осени до переселенія въ Ментону, мѣсто моей тогдашней зимовки. Просматривая однажды листокъ для пріѣзжихъ я увидѣлъ въ числѣ русскихъ фамилій—фамилію графа Лориса и зашелъ къ нему, чтобы возобновить наше знакомство. Жилъ онъ далеко отъ меня, на противоположномъ концѣ города, занимая небольшую меблированную квартиру, содержимую петербургской нѣмкой Франкъ, и отъ нея же пользовался столомъ; вся обстановка жизни была на холостую ногу; при немъ находился только его русскій лакей, а вся семья проводила лѣто въ Гомбургѣ, въ полутора часахъ ѣзды по желѣзной дорогѣ отъ Висбадена, и графиня съ дочерьми изрѣдка пріѣз-

жала навѣстить мужа. Принялъ онъ меня очень привѣтливо, какъ стараго знакомаго, и съ этого же свиданія между нами установились сразу самыя искреннія и дружескія отношенія, чему, вѣроятно, не мало способствовало нѣкоторое сходство въ нашемъ подневольномъ скитаніи вдали отъ родины, хотя я и чувствую очевидное преувеличеніе, приравнивая мою скромную дѣятельность и незамѣтное существованіе къ такому видному кораблю, какимъ былъ гр. Лорисъ. Помню, что онъ меня встрѣтилъ словами: «я слышалъ, что вы очень скучаете, я тоже; давайте, составимъ, какъ говоритъ Шекспиръ, одно горе: вдвоемъ намъ и скучать будетъ веселѣе“; и затѣмъ съ устъ его полилась такая искренняя, скорбная рѣчь о своей безцѣльной, праздной жизни въ настоящемъ, такая откровенная исповѣдь своихъ промаховъ и ошибокъ въ прошломъ, что разстояніе, отдѣлявшее насъ, тотчасъ же рушилось, и я увидалъ передъ собой не царедворца, не важную персону, а обыкновеннаго человѣка, безъ всякой драпировки и фразъ, въ его неподдѣльной натурѣ, близко родственной мнѣ по духу, и почувствовалъ къ нему неодолимое влеченіе. Теперь, когда графа уже нѣтъ въ живыхъ, и я не разъ задавалъ себѣ вопросъ, какъ могла завязаться такая дружеская короткость, полная молодаго увлеченія, между двумя пожилыми людьми съ столь противоположными темпераментами, между графомъ съ его южной, живой и экспансивной натурой и мною, сыномъ ледяной Сибири, замкнутымъ и несообщительнымъ, между веселымъ и остроумнымъ аѳинияниномъ и суровымъ аскетическимъ спартанцемъ? я долженъ признать безъ всякаго самоуничиженія, что въ данномъ случаѣ Кавказъ покорилъ Сибирь, а не наоборотъ, и что весь дѣятельный починъ въ установкѣ правды и естественности между нами долженъ быть цѣликомъ отнесенъ къ графу. Не могу знать, чѣмъ онъ дорожилъ во мнѣ; я же въ немъ, помимо разносторонняго и пріятнаго ума, высоко цѣнилъ его человѣч-

ность, его горячую вѣру въ прогрессъ, его простоту и честность въ отношеніяхъ. Не смотря на его типичную армянскую внѣшность, въ внутреннемъ его складѣ не было ничего инородческаго; говорилъ онъ превосходнымъ русскимъ языкомъ съ печатью литературной обработки, хотя нерѣдко уснащивалъ его разными простонародными поговорками, въ родѣ, наприм., „тара бара, крута гора", „мели, Емеля, твоя недѣля", и т. п., за русской литературой онъ слѣдилъ съ большою любовью, до послѣдняго времени удерживалъ въ памяти множество стиховъ Пушкина, Лермонтова, Некрасова и др. и нерѣдко цитировалъ ихъ въ разговорѣ, любилъ также приводить остроумныя изреченія Салтыкова, котораго былъ большимъ поклонникомъ. Хотя онъ и горячо любилъ свою кавказскую родину, но любовь эта была отодвинута на второй планъ въ его сердцѣ, первое же мѣсто въ немъ занимала Россія, какъ цѣлое, и графа смѣло можно было назвать русскимъ патріотомъ въ лучшемъ значеніи слова. Ничѣмъ не отличаясь отъ русскаго образованнаго человѣка, онъ лишенъ былъ одного изъ крупныхъ національныхъ недостатковъ его, а именно, въ немъ не было того мелочнаго самолюбія, которое безпрестанно у насъ приводитъ къ тому, что умные и въ сущности совсѣмъ единомышленные люди легко готовы изъ-за самаго пустого слова или ничтожнаго пререкательства разссориться, сдѣлаться чуть не вѣчными и непримиримыми врагами и пожертвовать, такимъ образомъ, интересами коллективнаго блага—пустой личной обидѣ, самому мелкому недоразумѣнію. Графъ же отличался, напротивъ, терпимостью къ чужимъ мнѣніямъ, не былъ мелочно обидчивъ и, не считая себя непогрѣшимымъ, всегда спокойно и внимательно выслушивалъ возраженія; это, вѣроятно, и дало поводъ обвинять его характеръ въ чрезмѣрной гибкости, податливости и даже въ азіатской хитрости, что было, по моему мнѣнію, совершенно несправедливо, ибо, охотно выслушивая всякія

мнѣнія, онъ оставался на рѣдкость устойчивъ въ своихъ основныхъ убѣжденіяхъ и его нельзя было сбить съ нихъ. Терпимость же къ посторроннимъ и часто враждебнымъ ему взглядамъ, напротивъ, служила лучшимъ признакомъ той ширины ума, которая и дѣлала изъ него истиннаго государственнаго человѣка, преслѣдующаго главную намѣченную имъ государственную цѣль, не позволяя отвлекать себя отъ нея никакими второстепенными препятствіями и меньше всего уколами личнаго самолюбія. По политическимъ своимъ убѣжденіямъ—это былъ умѣренный постепеновецъ, который не мечталъ ни о какихъ коренныхъ переворотахъ въ государственномъ строѣ и признавалъ ихъ положительно пагубными въ неподготовленныхъ обществахъ, но, непоколебимо вѣруя въ прогрессъ человѣчества и въ необходимость для Россіи примкнуть къ его благамъ, крѣпко стоялъ на томъ, что правительству необходимо самому поощрять постепенное развитіе общества и руководить имъ въ этомъ направленіи. Поэтому онъ былъ за возможно широкое распространеніе народнаго образованія, за нестѣсняемость науки, за расширеніе и большую самостоятельность самоуправленія и за привлеченіе выборныхъ отъ общества къ обсужденію законодательныхъ вопросовъ въ качествѣ совѣщательныхъ членовъ. Дальше этого его реформативные идеалы не шли и они, съ точки зрѣнія западнаго европейца, едва ли могутъ быть названы иначе, какъ весьма скромными и узкими; у насъ же реакціонная печать нашла ихъ чуть не революціонными и, окрестивъ ихъ названіемъ лже-либеральныхъ, осыпала графа глумленіемъ, стараясь выставить его чуть не врагомъ отечества. Нельзя не добавить, что ко всѣмъ этимъ преслѣдованіямъ и клеветамъ самъ онъ относился очень благодушно и незлобиво и однажды выразился по этому поводу такъ: „далась же имъ эта диктатура сердца! и неужели Катковъ серьезно думаетъ меня уязвить такой лестной кличкой, которой, на самомъ

дѣлѣ, я могу лишь гордиться и особенно въ такое жестокое и злобствующее время, какъ наше? да вѣдь я бы почелъ для себя самой величайшей почестью и наградой, если бы на моемъ могильномъ памятникѣ вмѣсто всякихъ эпитафій помѣстили только одну эту кличку".

Черезъ день послѣ моего перваго посѣщенія графъ заѣхалъ ко мнѣ на квартиру, познакомился съ моей женой и высказалъ снова такое искреннее желаніе сойтись покороче, что мы стали видаться довольно часто. Въ это лѣто себя онъ чувствовалъ настолько порядочно, что всякій день выѣзжалъ и, обыкновенно выйдя изъ экипажа, прохаживался нѣкоторое пространство пѣшкомъ. Положеніе его тогда было еще не выяснено и трудно было считать его окончательно сошедшимъ со сцены, а потому знакомствомъ его дорожили, и онъ рѣдко бывалъ дома одинъ; въ Висбаденѣ проживало много русскихъ и большинство изъ нихъ, время отъ времени, навѣщало его, а изъ старыхъ знакомыхъ не мало было такихъ, которые заѣзжали въ Висбаденъ нарочно для свиданья съ нимъ. Лечившіеся въ этотъ сезонъ въ Висбаденѣ датскій и греческій короли и пріѣзжавшій къ нимъ въ гости принцъ уэльскій также побывали у него; не разъ встрѣчалъ я въ его кабинетѣ принца нассаускаго Николая и супругу его—графиню Моренбергъ, дочь поэта Пушкина. Я, какъ человѣкъ мало общественный, не съ особенной охотой заходилъ къ графу, зная, что у него неизбѣжно наткнешься на какое нибудь новое знакомство, а потому тѣмъ болѣе бывалъ радъ, когда его ландо подъѣзжало подъ балконъ моей квартиры и онъ вызывалъ меня, чтобы узнать, дома ли я и можно ли съ часокъ поболтать? — тогда можно было съ нимъ бесѣдовать по душѣ, не стѣсняясь присутствіемъ незнакомыхъ лицъ.

Къ осени мы такъ сдружились, что когда подошло время разставаться и перекочевывать на наши зимнія стоянки, графъ сталъ поговаривать о томъ, что онъ

хочетъ измѣнить Ниццѣ и поселиться у насъ въ Ментонѣ и очень огорчился, когда я возсталъ противъ этого плана на томъ основаніи, что онъ въ Ментонѣ навѣрное скоро соскучится. Между образомъ жизни Ниццы и Ментоны разница огромная: первая — большой, оживленный городъ, нѣчто въ родѣ обширнаго международнаго каравансарая, вѣчно кишащаго не столько трудными больными, сколько или туристами, или страстными игроками въ рулетку, или, наконецъ, богатыми и праздными людьми, ищущими теплаго солнца и вѣчнаго лѣта въ роскошной рамкѣ живописной природы и при всевозможныхъ удобствахъ и развлеченіяхъ большого города,—тогда какъ Ментона есть скорѣе не что иное, какъ госпиталь, переполненный тяжелыми и почти исключительно чахоточными больными, дни которыхъ болѣе или менѣе сочтены и все вниманіе, какъ ихъ самихъ, такъ и сопровождающихъ ихъ больныхъ, поглощено леченіемъ и наблюденіемъ за уходомъ. Покуда воздухъ нагрѣвается горячимъ солнцемъ, всѣ эти изможденные болѣзнью страдальцы, изъ которыхъ $^3/_4$ приговорено къ близкой смерти, бродятъ, какъ дантовскія тѣни, по улицамъ или набережной городка или сидятъ на скамейкахъ общественнаго сада или даже посѣщаютъ другъ друга, но какъ только солнце начинаетъ приближаться къ закату, они спѣшатъ закупориться въ своихъ квартирахъ и отеляхъ, и зимой Ментона съ 4-хъ часовъ вечера превращается въ совершенно пустынный и мертвый городъ. Мнѣ при моихъ наклонностяхъ такая жизнь была совсѣмъ по вкусу, но казалось болѣе чѣмъ сомнительнымъ, чтобы графъ съ его живымъ и общительнымъ нравомъ могъ удовлетвориться такой меланхолической и однообразной обстановкой и самъ не впасть въ хандру. И онъ убѣдился резонностью этихъ доводовъ, и мы разъѣхались по своимъ зимнимъ станціямъ, условившись, что будемъ навѣщать другъ друга, такъ какъ разстояніе между Ниццой и Ментоной составляетъ не много болѣе часа ѣзды по желѣзной дорогѣ.

Я такъ и устроился, что всю зиму разъ или два въ мѣсяцъ забирался въ Ниццу, обыкновенно съ женой, на полдня, успѣвалъ сдѣлать нѣсколько визитовъ, и затѣмъ мы обѣдали у графа и проводили съ нимъ 3—4 часа. Семья его на эту зиму уѣзжала въ Петербургъ, а потому онъ жилъ одинъ въ небольшой, но очень удобной квартирѣ съ неизмѣннымъ своимъ лакеемъ Осипомъ, а завтракъ и обѣдъ ему приносили отъ хорошаго повара со стороны. Хозяинъ онъ былъ весьма радушный и хлѣбосольный и угощалъ насъ на славу; самъ же ѣлъ очень умѣренно и пилъ исключительно свое родное Кахетинское вино, которое выписывалъ съ Кавказа и возилъ съ собою повсюду въ путешествіяхъ. Здоровье его шло довольно сносно, и хотя онъ продолжалъ жаловаться на него и сильно кашлять, однако, старался выѣзжать и пользоваться воздухомъ и только къ намъ въ Ментону такъ-таки и не рискнулъ пріѣхать ни разу, изъ боязни простудиться дорогой въ вагонѣ. Но какъ онъ ни бодрился духомъ и ни старался встрѣчать насъ весело, но ужъ самая радость эта показывала, какъ онъ сильно скучаетъ безъ семьи и безъ всякой дѣятельности. Кто-то довольно остроумно сравнилъ его пребываніе въ Ниццѣ съ положеніемъ Прометея, прикованнаго къ скалѣ и терзаемаго, но не коршунами, а воронами и сороками. Знакомыхъ у него въ Ниццѣ было много, даже черезъ-чуръ много, потому что большинство ихъ принадлежало къ тому разряду пустыхъ и безпринципныхъ русскихъ туристовъ, наводняющихъ Ниццу, для которыхъ весь житейскій интересъ сосредоточивается на переносѣ изъ дома въ домъ разныхъ сплетенъ и новостей изъ хроники монтекарлійской рулетки; графъ очень тяготился посѣтителями этого рода, а между тѣмъ отказать имъ въ пріемѣ у него не хватало мужества. Но въ числѣ его гостей бывали и такіе, приходу которыхъ онъ искренно радовался, ибо изъ бесѣдъ съ ними онъ извлекалъ много для себя новаго и поучительнаго,—и къ такимъ знакомствамъ въ

описываемую зиму слѣдуетъ отнести французскаго сенатора Рено, извѣстнаго прусскаго магната графа Генкель фонъ-Доннерсмарка и еще нѣсколькихъ отдѣльныхъ личностей. Бо̀льшую же часть дня графъ проводилъ за чтеніемъ; газетъ, какъ русскихъ, такъ и французскихъ, онъ читалъ много и, слѣдя съ увлеченіемъ за текущею политикою, онъ почти не пропускалъ ни одного выдающагося сочиненія по политическимъ и политико-экономическимъ наукамъ, любилъ всегда потолковать по поводу прочитаннаго, потому что, ничего не беря на вѣру, относился ко всякой книгѣ критически, пропуская ея содержимое, такъ сказать, черезъ фильтръ собственнаго всегда дѣятельнаго, всегда работающаго мышленія.

III.

Лѣтомъ 1885 года мы снова съѣхались въ Висбаденѣ вмѣстѣ, но этотъ разъ графъ уже жилъ съ семьей, т. е. съ женой и 3 дочерьми, и два сына его, гвардейскіе офицеры, тоже пріѣзжали для свиданія съ родителями по окончаніи красносельскаго лагеря. Занималъ онъ бельэтажъ прекрасной виллы, расположенной на возвышенности, и съ балкона которой можно-было любоваться превосходнымъ видомъ на лежащій подъ ногами Висбаденъ и его окрестности, но графъ никогда не выходилъ на балконъ и не пользовался съ него ни видомъ, ни воздухомъ, ибо съ этого лѣта началъ все болѣе и болѣе заражаться воздухобоязнью и впадать въ самый не гигіеничный образъ жизни и все изъ страха, какъ-бы не простудиться. Страхъ этотъ принималъ характеръ своего рода маніи: мало того, что, не смотря на знойное лѣто, графъ не рѣшался снять съ себя хоть часть надѣтыхъ на себя фуфаекъ, онъ рѣдко позволялъ открыть окно

Душевно уважаемому
Н. А. Бѣлоголовому,
отъ одного изъ числа
многихъ его почита-
телей

М. Лорисъ-Меликовъ

30 Декабря 84 г.
Ницца. —

Графъ М. Т. Лорисъ-Меликовъ.

Тип. К. Ө. Александрова.

въ своей спальнѣ, гдѣ и обѣдалъ и проводилъ бо̀льшую часть дня, сидя или передъ письменнымъ столомъ, или въ креслѣ посреди комнаты; бывало, придешь къ нему, просидишь часъ или полтора и уходишь съ тяжелой головой и какъ ошалѣлый отъ этой тепличной атмосферы, въ которой къ тому же столбомъ стоялъ табачный дымъ, такъ какъ графъ безпрестанно жегъ свои толстыя крученыя папиросы; выѣзды на воздухъ все становились рѣже и рѣже. Напрасны были усилія доказать несомнѣнную пагубу такого образа жизни, онъ ничего не хотѣлъ слушать, а если иногда и соглашался съ справедливостью такихъ указаній, то не въ силахъ былъ побороть въ себѣ свой безотчетный страхъ. А между тѣмъ это постоянное пребываніе въ искусственно созданной паровой ваннѣ до того избаловало его кожу, что онъ, почти не выходя изъ комнаты, то и дѣло получалъ насморкъ и обостренія кашля, и, наконецъ въ самой срединѣ жаркаго іюля схватилъ острый суставный ревматизмъ, уложившій его дней на десять въ кровать. Замѣчу здѣсь, что во время своихъ заболѣваній онъ прямо не обращался ко мнѣ, а посылалъ за кѣмъ нибудь изъ мѣстныхъ врачей; дѣлалъ это онъ, прежде всего, по своей крайней деликатности, избѣгая меня безпокоить, а частью оттого, что я, какъ врачъ объективной школы, не брался давать совѣтовъ на основаніи однихъ субъективныхъ показаній и жалобъ, а настаивалъ на непремѣнномъ изслѣдованіи органовъ; для графа же такое изслѣдованіе, связанное съ раздѣваніемъ, служило непреоборимымъ пугаломъ, — и изъ-за этого между нами всегда происходили жаркія схватки, кончавшіяся тѣмъ, что каждый сохранялъ свою прежнюю позицію. Лечась у другихъ, графъ все-таки не отправлялъ въ аптеку ни одного прописаннаго ему рецепта, не представивъ его прежде на мое одобреніе.

Лѣто, однако же, миновало для него довольно благополучно и не скучно, потому что, кромѣ круга обыч-

ныхъ висбаденскихъ знакомыхъ, къ нему часто пріѣзжалъ кто-нибудь погостить. Къ осени мы опять распрощались, съ тою только разницею, что онъ предстоявшую зиму проводилъ съ семьей въ Ниццѣ, я же — во Флоренціи, и сношенія наши поддерживались перепискою до іюня 1886 года, когда мы снова съѣхались въ Висбаденѣ. Поселился онъ въ нагорной виллѣ предшествовавшаго года, ибо съ семьей своей болѣе не разлучался и только составъ послѣдней убавился выходомъ одной изъ дочерей графа замужъ за г. Новикова, и свадьба была отпразднована въ апрѣлѣ въ Ниццѣ. Въ это лѣто онъ непремѣнно предположилъ себѣ съѣздить изъ Висбадена въ Петербургъ, и необходимость эта сильно его тяготила и смущала опасеніемъ, какъ бы опять не расхворіться въ Петербургѣ; но онъ смотрѣлъ на поѣздку, какъ на исполненіе долга, а потому въ первыхъ числахъ іюля уѣхалъ и прожилъ въ Петербургѣ около 4-хъ недѣль; изъ этого времени часть опять-таки прохворалъ, но вернулся обратно, оживленный свиданіемъ съ множествомъ знакомыхъ и вполнѣ счастливый благополучнымъ исполненіемъ заданной себѣ задачи.

Свиданія мои съ графомъ продолжались по прежнему часто, и мы такъ сжились вмѣстѣ, что я хотѣлъ было на слѣдующую зиму перебраться на зимовку въ Ниццу и даже поручилъ своимъ тамошнимъ знакомымъ пріискать для меня небольшую квартирку, какъ вдругъ одно непредвидѣнное обстоятельство совсѣмъ разрушило этотъ планъ: у меня въ Сибири умеръ братъ, а нѣсколько мѣсяцевъ спустя его жена, оставивъ послѣ себя 10 человѣкъ дѣтей въ Петербургѣ,—и мы съ женой надумали взять на свое попеченіе 2-хъ меньшихъ мальчиковъ, а, при такомъ внезапномъ приростѣ нашей семьи, простой экономическій разсчетъ заставлялъ насъ отказаться отъ жизни въ дорогой Ниццѣ и выбрать для нашего пребыванія болѣе скромную и болѣе подходящую подъ нашъ бюджетъ мѣстность, притомъ такую, гдѣ бы

намъ можно было жить и лѣто, и зиму безъ переѣздовъ, столь неудобныхъ съ дѣтьми во многихъ отношеніяхъ. Выборъ нашъ палъ на городокъ Вевей на Женевскомъ озерѣ, въ Швейцаріи. Въ началѣ сентября дѣти были доставлены къ намъ изъ Петербурга и мы, чтобы своевременно до наступленія осени устроиться на новомъ мѣстѣ, немедленно выѣхали изъ Висбадена, разставшись съ графомъ съ большою грустью и съ неувѣренностью, придется ли намъ свидѣться—и гдѣ, и когда?

IV.

Для графа сезонъ 1886—1887 г. въ Ниццѣ вышелъ далеко неудачнымъ. Въ эту зиму въ февралѣ произошло, какъ извѣстно, на побережьи Средиземнаго моря жестокое землетрясеніе, отъ котораго сильно пострадала и Ницца и въ ней много домовъ было разрушено; послѣ главной катастрофы легкія сотрясенія продолжались долго и поддерживали панику вслѣдствіе ожиданія новыхъ несчастій, а потому всѣ пріѣхавшіе на зимовку иностранцы спѣшили уѣхать поскорѣе подальше, въ болѣе безопасныя мѣста — и городъ быстро опустѣлъ. Графъ за все это время всеобщаго труса и заразительной паники высказалъ замѣчательную неустрашимость: онъ не только не подумалъ покинуть Ниццу, не только не вышелъ изъ своего нѣсколько пострадавшаго отъ землетрясенія дома и не переселился въ палатку на площадь или за городъ, какъ это сдѣлала почти вся иностранная колонія, а остался въ своей спальнѣ, гдѣ какъ разъ треснула стѣна, къ которой была приставлена его кровать, и стѣна эта могла, при новомъ сотрясеніи, повалиться прямо на него. Но все-же онъ не могъ не тревожиться если не за себя, то за свою семью, и то-ли вслѣдствіе этой подавляющей

тревоги, то-ли по другой какой причинѣ, только чрезъ 3—4 недѣли послѣ землетрясенія у графа открылось небольшое кровохарканье, протянувшееся почти два мѣсяца, не смотря на дѣятельное леченіе. Всѣхъ знакомыхъ не мало поражало то, что этотъ мужественный человѣкъ, не испугавшійся землетрясенія и покойно спавшій подъ надтреснутой стѣной, перебывавшій на своемъ вѣку болѣе чѣмъ въ сотнѣ сраженій и кровавыхъ схватокъ, терялся, какъ малый ребенокъ, когда видѣлъ въ своей мокротѣ жилку крови, и падалъ духомъ до совершенной утраты самообладанія. Такая кажущаяся непослѣдовательность человѣческой натуры встрѣчается, однако же, часто и далеко не такъ рѣдки люди, истощенные хроническими болѣзнями, которые не только не боятся смерти, а ждутъ ея съ нетерпѣніемъ и даже иногда посягаютъ на самоубійство, но подобное равнодушіе къ жизни не мѣшаетъ имъ приходить въ отчаяніе отъ всякаго новаго болѣзненнаго припадка и преувеличивать опасное его значеніе; такое противорѣчіе, кажется, можно объяснить себѣ тѣмъ, что эти хроники боятся, какъ бы всякое новое болѣзненное явленіе не повлекло за собой не столько новыя страданія, сколько еще большее изнуреніе нравственныхъ силъ въ борьбѣ съ физическимъ недугомъ. И чѣмъ сильнѣе былъ умъ человѣка и энергичнѣе воля, тѣмъ ему труднѣе примириться съ своею зависимостью отъ капризовъ больного тѣла и съ прогрессивнымъ возрастаніемъ своего духовнаго безсилія; Некрасовъ очень близко выразилъ это состояніе своимъ сжатымъ стихомъ: „хорошо умереть, тяжело умирать“. Такъ было и съ графомъ; хотя кровохарканье было незначительно и врачи не предусматривали никакой опасности, онъ впалъ въ состояніе полной прострации и смотрѣлъ на себя какъ на умирающаго; онъ вызвалъ немедленно своего старшаго сына изъ Петербурга и сдѣлалъ всѣ предсмертныя распоряженія. Когда же, къ концу апрѣля, кровь въ мокротѣ

исчезла, онъ тотчасъ же ободрился и вскорѣ увѣдомилъ меня письмомъ о своемъ намѣреніи провести лѣто въ Вевей и просилъ подыскать ему квартиру. Порученіе было не изъ легкихъ, потому что выборъ меблированныхъ виллъ и квартиръ въ нашемъ захолустномъ городкѣ крайне ограниченъ, — и мы съ женой рѣшили удержать для графа нѣсколько комнатъ въ одномъ изъ лучшихъ отелей, предоставляя семейству его, осмотрѣвшись, самому пріискать себѣ помѣщеніе по вкусу.

2-го іюня 1887 г. онъ пріѣхалъ съ семьей; мы встрѣтили ихъ на желѣзно-дорожной станціи и водворили въ приготовленномъ помѣщеніи. Графа я нашелъ похудѣвшимъ, но бодрымъ и очень веселымъ; все ему нравилось, и тишина и скромная внѣшность нашего городка, и отдѣльный особнякъ изъ 4-хъ комнатъ, устроенный для него и семьи въ нижнемъ этажѣ отеля, и приготовленная для него большая комната съ большой террасой въ садъ, прилегавшій къ Женевскому озеру, и долженствовавшая служить ему спальней, кабинетомъ и салономъ. Я тотчасъ же ему высказалъ мучившую меня мысль, какъ бы онъ не соскучился въ Вевей за цѣлое лѣто, такъ какъ здѣсь нѣтъ иныхъ развлеченій, кромѣ экскурсій, недоступныхъ для него по отдаленности; общества также не имѣется, ибо это далеко не столь посѣщаемое мѣсто, какъ Висбаденъ, который кромѣ осѣдлой русской колоніи, привлекаетъ къ себѣ лѣтомъ много отечественныхъ туристовъ, какъ пунктъ, съ одной стороны, лежащій вблизи главной трактовой дороги изъ Россіи къ большинству минеральныхъ водъ,—а съ другой, по удобствамъ жизни, представляющій счастливое сочетаніе городского комфорта съ дачными приспособленіями для людей, желающихъ пріятно и покойно отдохнуть лѣто. Вевей же — небольшой городокъ въ 7,500 жителей, въ которомъ, кромѣ классически красиваго вида на озеро и обступившихъ его горъ, нѣтъ ничего и даже трудно отыскать тѣнистую прогулку, ибо

ближайшія окрестности сплошь воздѣланы подъ виноградники; трудолюбивые туземцы заняты постоянно своимъ дѣломъ; ни русскаго, ни международнаго общества не заводится, и если отели городка лѣтомъ и переполняются туристами всевозможныхъ націй, то этотъ бродячій народъ въ немъ не осаживается, а, проведя день, много два, спѣшитъ далѣе для осмотра другихъ живописныхъ мѣстъ Швейцаріи и смѣняется новыми толпами. На всѣ высказываемыя мною опасенія графъ отвѣчалъ съ рѣшительною увѣренностью: „э! другъ любезный, повѣрьте, никого и ничего мнѣ не нужно; всѣ эти Ниццы и Висбадены съ ихъ обществами надоѣли мнѣ до такой тошноты, что я съ наслажденіемъ мечтаю, какъ отдохну здѣсь отъ нихъ; книгъ у насъ съ вами въ волю, газетъ по-горло, буду читать, а потомъ вы не откажетесь заходить ко мнѣ почаще и станемъ бесѣдовать“.

Первые три дня по пріѣздѣ прошли въ хлопотахъ о квартирѣ, но послѣ тщетныхъ поисковъ ничего подходящаго не отыскалось, а потому рѣшено было, какъ самое удобное, остаться на все лѣто въ томъ отельномъ помѣщеніи, которое занято было съ пріѣзда. Графъ тотчасъ же помирился и съ этой обстановкой, и съ своимъ одиночествомъ и продолжалъ сохранять ровное и ясное настроеніе духа; только въ одномъ онъ оставался неисправимымъ—это въ своемъ безобразномъ укладѣ жизни, и короталъ дни, герметически закупорившись въ одной комнатѣ. Лѣто было изъ ряду вонъ знойное, засуха стояла такая, что всѣ ручьи и водоемы пересохли, растительность была сожжена палящими лучами, и всѣ мы задыхались отъ духоты, а онъ едвали перешолъ разъ десять на свою террасу посидѣть на воздухѣ и только однажды выбрался на небольшую городскую площадь, на которую выходилъ другой фасъ гостинницы, и тотчасъ же послалъ своего лакея оповѣстить меня о такомъ необыкновенномъ подвигѣ. Притомъ онъ страдалъ безсонницами, вѣроятно, отъ недостатка движенія,

а частью и оттого, что проводилъ въ кровати болѣе половины сутокъ; проснувшись утромъ, онъ пилъ въ постели чай, читалъ свѣжія газеты, одѣвался и въ 11 часу перебирался на кушетку, поставленную въ глубинѣ комнаты и съ которой были видны въ окна прилегающая часть отельнаго сада и небольшой клочекъ Женевскаго озера; во 2-мъ часу послѣ завтрака онъ опять ложился на кровать часа на два для отдыха, а потомъ остальную часть дня не сходилъ съ своей кушетки; передъ ней стоялъ круглый столъ, на которомъ онъ писалъ свою довольно обширную корреспонденцію и тутъ же въ 12 часовъ ему накрывался завтракъ, а въ 7 часовъ—обѣдъ, такъ что и въ комнатѣ онъ ограничилъ свои движенія елико возможно.

Между нами установилось такъ, что я каждый день приходилъ къ нему около 5 часовъ и оставался почти до 7, и всегда заставалъ его полу-лежащимъ на кушеткѣ съ вытянутыми и прикрытыми пледомъ ногами. Казалось бы, трудно было придумать болѣе убійственную по однообразію обстановку для такой энергичной и дѣятельной натуры, но или графъ успѣлъ примириться съ такимъ однообразіемъ въ предшествовавшія 6 лѣтъ бездѣйствія, или же умѣлъ скрывать хорошо свои истинныя ощущенія, но только онъ не имѣлъ скучающаго вида, всегда былъ веселъ и привѣтливъ и неистощимъ на разговоры о политикѣ и на разсказы о разныхъ событіяхъ, которыми была такъ богата его жизнь. Политическіе разговоры наши передавать не берусь, между прочимъ, и потому именно, что, случаясь изо дня въ день, они касались всѣхъ ежедневныхъ перипетій европейской политической жизни, а такъ какъ мы оба отъ бездѣлья пожирали даже до излишества великое множество газетъ, то тема эта у насъ никогда не оскудѣвала и постоянно разнообразилась.

V.

Для общей характеристики взглядовъ графа Михаила Таріеловича, могу повторить только сказанное уже мною раньше о его политическихъ убѣжденіяхъ относительно благоустроенія Россіи и развѣ прибавить, что и въ обсужденіяхъ западно-европейской политики онъ всегда оставался на точкѣ зрѣнія послѣдовательнаго либерала, строго убѣжденнаго защитника органическаго прогресса, съ одинаковымъ несочувствіемъ относившагося ко всѣмъ явленіямъ, задерживающимъ нормальный ростъ и правильное развитіе народовъ, съ какой бы стороны эти явленія ни обнаруживались, со стороны-ли нетерпѣливыхъ радикальныхъ теоретиковъ, спѣшившихъ приложить принципы, выработанные работой передовыхъ кабинетныхъ мыслителей, къ государственной жизни, или со стороны представителей реакціи, не пренебрегающихъ никакими мѣрами, чтобы искусственно задержать пробуждающееся самосознаніе народныхъ массъ, вмѣсто того, чтобы открыть ему правильные пути для его послѣдовательнаго развитія. Поэтому онъ одинаково горячо возставалъ и противъ нездороваго преобладанія, пріобрѣтеннаго радикалами на дѣла Франціи, и противъ той политики желѣза и ежовыхъ рукавицъ, какую съ такимъ успѣхомъ примѣняетъ Бисмаркъ въ дѣлахъ той остальной Европы, которая входитъ въ орбиту германскаго вліянія. Но доктринеромъ графа назвать было нельзя; отъ доктринерства его спасали его рѣдкій здравый смыслъ и та обширная и всесторонняя практическая дѣятельность, черезъ которую онъ прошелъ; онъ хорошо понималъ, что жизнь государства такъ сложна и разнообразна, что не можетъ быть уложена въ извѣстныя рамки и подчинена заранѣе составленной программѣ, а потому даже для ошибокъ людей не сочувственныхъ ему

взглядовъ склоненъ былъ находить если не оправданіе, то объясненіе въ этихъ неподдающихся кабинетному предусмотрѣнію условіяхъ жизни. Помню, однажды, бесѣдуя по поводу того, какъ французскіе радикалы, начиная съ Гамбетты и кончая Флоке, лишь только достигали сами кормила правленія, неминуемо вынуждены были подмѣнивать свой яркій радикализмъ—убѣжденіями болѣе блѣдныхъ цвѣтовъ и начинали устраивать разныя уступки дѣйствительности, графъ сказалъ: „да, принципы—одно, а власть—другое, и, связавши ихъ вмѣстѣ, далеко не уѣдешь; это все равно, что запречь въ одну упряжку ломовую лошадь съ кровнымъ скакуномъ. У насъ это очень наглядно и остроумно объяснилъ покойный министръ народнаго просвѣщенія Ковалевскій: когда онъ изъ попечителей Московскаго учебнаго округа былъ назначенъ министромъ, то на одномъ изъ первыхъ докладовъ директоръ департамента представляетъ ему на утвержденіе три ходатайства его-же, Ковалевскаго, по званію попечителя и на всѣ три Ковалевскій—министръ кладетъ резолюцію: отказать; тогда удивленный директоръ рѣшается ему замѣтить, — что вѣдь это его же собственныя ходатайства, и на это Ковалевскій далъ слѣдующій отвѣтъ: „знаю, но я писалъ эти ходатайства, когда не былъ министромъ; когда стоишь внизу, то обыкновенно многаго не видишь, а какъ заберешься на верхушку горы, то горизонтъ дѣлается шире и тутъ только лучше начинаешь отличать соотношеніе предметовъ, лежащихъ у тебя подъ ногами“.

Политическихъ споровъ между нами не возникало, такъ какъ мы мало расходились въ основныхъ убѣжденіяхъ, а если иногда и встрѣчались разногласія въ мелочахъ, то графъ, не терпѣвшій мелочныхъ и праздныхъ препирательствъ, обыкновенно первый же старался прекратить ихъ миролюбивымъ образомъ. Кромѣ разсужденій о политикѣ, онъ любилъ также передавать разные эпизоды изъ всего имъ пережитаго, слышаннаго или

читаннаго, много сообщалъ о Кавказѣ, не только о современномъ по своимъ личнымъ впечатлѣніямъ, но и изъ прежней его исторіи, почерпнутой имъ изъ источниковъ печатныхъ и не печатныхъ. Разсказчикъ онъ былъ увлекательный, умѣлъ схватить выдающуюся сторону передаваемаго и представить такъ рельефно и обстоятельно, что, слушая его, казалось, читаешь интересно написанную книгу; при его богатой памяти, запасъ этихъ разсказовъ былъ до того неистощимъ, что рѣдкій день я уходилъ отъ него, не выслушавъ чего нибудь новаго, оригинальнаго и крѣпко теперь упрекаю себя, что не записывалъ тотчасъ же всего, оттого многое мною или позабыто, или не можетъ быть возстановлено въ той блестящей, талантливой передачѣ, которая давала этимъ разсказамъ особенный интересъ, обрисовывая лучше всего замѣчательную личность самого разсказчика. Конечно, со временемъ личность графа и вся его дѣятельность будетъ подробно и со всѣхъ сторонъ изучены будущими біографами на основаніи офиціальныхъ документовъ; я же постараюсь сообщить то немногое, что сохранилось у меня въ памяти изъ разсказовъ графа о его дѣтствѣ и ранней молодости, полагая, что и эти скудныя данныя могутъ пригодиться для выясненія образованія его характера, а также отчасти познакомить современниковъ съ его, такъ сказать, до-историческимъ періодомъ жизни.

VI.

Всѣ попадавшіяся мнѣ на глаза біографическія замѣтки о графѣ Лорисѣ рожденіе его относятъ къ 1826 году, а въ Conversations Lexicon Брокгауза, гдѣ помѣщена сжатая, но въ общихъ чертахъ вѣрная, біографія

его, даже прямо указано, что онъ родился 1-го января 1826 г., а между тѣмъ въ годъ своей смерти графъ считалъ себя близкимъ къ 64 годамъ, такъ что, если только онъ самъ не ошибался, то, значитъ, онъ родился никакъ не въ 1826 г., а въ 1825 или даже 1824 году. Отецъ его происходя изъ стариннаго рода армянскихъ дворянъ, занимался торговлею и имѣлъ небольшое, но обезпеченное состояніе; сыновей у него было двое,—и, будучи человѣкомъ мало образованнымъ, онъ самъ едва ли бы додумался до мысли дать имъ лучшее образованіе, если бы случай не свелъ его близко съ молодымъ горнымъ офицеромъ Вас. Вас. Клейменовымъ *), которому удалось уговорить Лориса отца не жалѣть денегъ и дать мальчикамъ европейское образованіе. Приглашенъ былъ опытный наставникъ, и такъ какъ мальчики обладали прекрасными способностями (меньшій братъ графа кончилъ отлично курсъ юридическихъ наукъ въ училищѣ правовѣденія, очень успѣшно служилъ на Кавказѣ по гражданской части, но умеръ еще въ молодыхъ лѣтахъ), то ученье пошло удачно впередъ и когда Михаилу исполнилось 11—12 лѣтъ, отецъ, сдавъ его на руки двумъ армянскимъ купцамъ, ѣхавшимъ по торговымъ дѣламъ въ Москву, поручилъ помѣстить его въ тамошній Лазаревскій институтъ восточныхъ языковъ. Тяжело было мальчику разставаться съ родными и съ роднымъ привольемъ и ѣхать въ такую сѣверную даль и къ чужимъ людямъ; онъ сильно горевалъ, а дорогой его тоска дошла до того, что у него родилась мысль убѣжать съ пути домой; въ подкладку его платья мать передъ отъ-

---

*) Этого, теперь уже умершаго, В. В. Клейменова, о которомъ графъ Лорисъ вспоминалъ всегда съ глубокой благодарностію, какъ о человѣкѣ, преимущественно способствовавшемъ его образованію, я зналъ очень хорошо впослѣдствіи, въ 1860-хъ годахъ, въ Иркутскѣ, гдѣ онъ въ генеральскомъ чинѣ занималъ мѣсто горнаго ревизора и пользовался очень почтенной репутаціей.

Н. Б.

ѣздомъ зашила 20 рублей мелкой новенькой монетой, отчеканенной въ Тифлисѣ, гдѣ въ тѣ времена существовалъ монетный дворъ, и на этотъ-то собственный капиталъ онъ и задумалъ добраться до дому. Планъ свой онъ привелъ въ исполненіе и съ одной изъ станцій Воронежской губерніи убѣжалъ обратно по столбовой дорогѣ, тайкомъ отъ своихъ спутниковъ, но они его нагнали на 6-й верстѣ и снова засадили въ тарантасъ. Въ Москвѣ купцы остановились на Ильинкѣ, на воейковскомъ подворьѣ, какъ разъ на томъ самомъ, куда и я былъ привезенъ, только 9 или 10 годами позднѣе, и тоже 12-ти лѣтнимъ мальчикомъ и тоже посторонними людьми изъ Сибири. Это случайное совпаденіе не мало потѣшало и графа, и меня, ибо выходило, что у обоихъ насъ наши первыя впечатлѣнія въ Москвѣ пріурочены были къ одной и той же обстановкѣ, и мы могли помочь другъ другу оживить свои общія дѣтскія воспоминанія и объ оживленной панорамѣ на Ильинку, виднѣвшейся изъ номерныхъ оконъ и приковывавшей наше жадное любопытство, на магазины противоположныхъ домовъ, съ ихъ яркими вывѣсками готоваго платья и съ зазывающими передъ входами сидѣльцами, и о широкомъ корридорѣ, выходившемъ деревянной, грязной галлереею на узкій дворъ и служившемъ одинаково намъ обоимъ мѣстомъ головоломныхъ эквилибристическихъ упражненій во время отсутствія нашихъ пѣстуновъ, то и дѣло отлучавшихся по дѣламъ, и т. д. Оба мы были въ то время дикарями, привезенными для отдачи въ западную науку изъ двухъ антиподныхъ окраинъ Русской имперіи, и всѣ эти дѣтскія впечатлѣнія, затертыя гдѣ-то глубоко въ памяти, вдругъ стали подниматься на поверхность, воскрешаемыя и подсвѣжаемыя то тѣмъ, то другимъ изъ насъ и своей наивной теплотой согрѣвали насъ двухъ стариковъ, переброшенныхъ судьбой съ далекихъ нашихъ родныхъ мѣстъ на берега Женевскаго озера и уже сдавшихъ себя въ архивъ послѣ жизни, обильной,

хотя и далеко не въ равной мѣрѣ, самыми разнообразными впечатлѣніями и превращеніями.

Въ Лазаревскомъ институтѣ Лорисъ учился очень хорошо и долженъ былъ поступить впослѣдствіи въ Московскій университетъ, но, будучи большимъ шалуномъ, до окончанія институтскаго курса попался въ шалости, имѣвшей на всю его будущность рѣшающее значеніе и вынудившей его перемѣнить мирную ученую карьеру на военную. Учитель технологъ, говоря на урокѣ о различныхъ клеяхъ, познакомилъ учениковъ съ составомъ какого-то особенно имъ рекомендуемаго клея; Лорисъ, приготовивъ по данному рецепту этотъ клей, придумалъ для испытанія его достоинства намазать имъ сидѣнье стула на каѳедрѣ передъ началомъ урока одного изъ нелюбимыхъ учителей; ничего не подозрѣвавшій учитель сѣлъ, а когда хотѣлъ встать, то оказался до того приросшимъ къ мѣсту, что сбѣжавшееся начальство насилу могло его отклеить; пошло дознаніе, и когда добрались до виноватаго, то рѣшено было исключить Лориса изъ института и немедленно же отправить назадъ къ родителямъ на Кавказъ, и, благодаря лишь заступничеству вліятельныхъ армянъ, начальство смилостивилось и, удаливъ мальчика изъ института, позволило ему для продолженія образованія переѣхать въ Петербургъ, гдѣ онъ поступилъ въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ и такимъ непредвидѣннымъ образомъ превратился въ воина.

Здѣсь потекла для него та сѣрая и мало говорившая ему жизнь, какою отличалось воспитаніе тогдашнихъ военныхъ школъ, т. е. онъ весь отдался изученію николаевской выправкѣ, верховой ѣздѣ, мало или вовсе не заботясь о расширеніи умственныхъ своихъ познаній и, по мѣрѣ возмужанія, посвящая свои досуги кутежамъ съ товарищами, и за весь этотъ періодъ жизни Лориса трудно было бы привести что нибудь выдающееся, если бы не было его знакомства съ поэтомъ Некрасовымъ.

Знакомство это относится къ 1841 или, еше вѣрнѣе, къ 1842 году, т. е. къ тому темному періоду существованія поэта, когда онъ изыскивалъ всякія средства, чтобы не быть затертымъ нищетой и безвѣстностью. Крайне нуждавшійся Некрасовъ пріютился тогда у нѣкоего профессора Беницкаго, имѣвшаго у себя нѣсколько воспитанниковъ для приготовленія въ разныя петербургскія школы; юнкеръ Лорисъ, посѣщая одного изъ этихъ пансіонеровъ, познакомился тутъ-же и съ Некрасовымъ. Какъ разъ около этого времени Лорисъ и его однокашникъ Нарышкинъ задумали нанять себѣ маленькую квартирку въ городѣ, чтобы имѣть собственный пріютъ, такъ какъ ихъ, какъ выпускныхъ юнкеровъ, отпускали не только на праздники, но позволяли отлучаться изъ школы и среди недѣли; Некрасовъ, узнавъ объ этомъ планѣ, тотчасъ же предложилъ, чтобы и его приняли въ компанію, и они втроемъ наняли себѣ квартирку гдѣ-то около Николаевской, въ то время Грязной, въ домѣ Шаумана. Зажиточностью товарищество похвастаться не могло: Лорисъ получалъ отъ родителей 25 рублей ежемѣсячно, Нарышкинъ столько же, а Некрасову, въ описываемое время, отецъ ничего не давалъ и только изрѣдка, въ неправильныхъ промежуткахъ и понемногу, высылала ему мать, да кромѣ того онъ состоялъ корректоромъ въ „Репертуарѣ и Пантеонѣ“ Ѳ. Кони и сдавалъ въ этотъ же журналъ свои плохо оплачиваемые стихи, такъ что весь его доходъ едва ли превышалъ доходы его сожителей. Всѣ трое были очень молоды, любили весело пожить и, получивши свои небольшіе доходы, чрезвычайно быстро спускали ихъ съ рукъ и потомъ, въ ожиданіи слѣдующей получки, впадали въ меланхолію и жили отшельниками. Вотъ въ эти-то тощія недѣли и періодическія безденежья Некрасову приходилось особенно бѣдствовать и терпѣть отъ голоду и холоду, тогда какъ для его товарищей юнкеровъ школа служила спасительною пристанью, въ которой они имѣли

все необходимое. Некрасовъ уже и тогда очень любилъ писать стихи, но выше заурядности не поднимался и, по словамъ Лориса, трудно было предположить, чтобы впослѣдствіи могъ выработаться изъ него такой сильный поэтическій талантъ; однако, и тогда онъ отличался большимъ остроуміемъ и наблюдательностью, которую прилагалъ особенное стараніе развивать въ себѣ, заводя для этого знакомство повсюду и съ самыми разнообразными личностями; онъ и Лориса нерѣдко увлекалъ съ собой для компаніи въ гости къ разнымъ мелкимъ чиновникамъ, жившимъ по окраинѣ Петербурга, а однажды, чисто для изученія типа, онъ свелъ дружбу съ полицейскимъ сыщикомъ, приглашалъ его къ себѣ и потомъ съ большимъ остроуміемъ изображалъ Лорису характерныя особенности своего новаго знакомаго. Остался отъ этого сожительства еще одинъ забавный эпизодъ въ памяти Лориса и который онъ передавалъ съ неподражаемымъ юморомъ: разъ, на Рождествѣ, Некрасовъ предложилъ ему отправиться, замаскировавшись обоимъ, на вечеринку къ одной чиновничьей семьѣ въ Измайловскій полкъ; они вечеромъ зашли въ костюмерную лавочку, выбрали для себя костюмы, Некрасовъ—венеціанскаго дожа, а Лорисъ—испанскаго гранда и, тутъ же переодѣвшись, оставили у костюмера свое платье и условились, что они на слѣдующее утро заѣдутъ за своимъ платьемъ и тогда заплатятъ и за костюмы. Взяли карету и отправились; еще дорогой они провѣрили свои капиталы,—хватитъ-ли ихъ на уплату за экипажъ и костюмы?—и нашли, что хватитъ; но случилось такъ, что съ вечеринки они заѣхали еще куда-то, что-то выпили и, только возвращаясь подъ утро домой, спохватились, что у нихъ не достанетъ денегъ на выкупъ платья. Лорисъ живо вспоминалъ себѣ этотъ трагикомическій день, когда они сначала бѣгали въ маскарадныхъ костюмахъ по своей нетопленной квартирѣ, тщетно стараясь согрѣться въ коротенькихъ тогахъ и въ длинныхъ чулкахъ вмѣсто

панталонъ, и недоумѣвая, какъ выйти имъ изъ такого нелѣпаго положенія, и какъ потомъ, чтобы отогрѣть окоченѣвшіе члены, они рѣшили пожертвовать для растопки печи однимъ стуломъ изъ своей убогой меблировки и поддерживали огонь мочалкой, выдернутой изъ дивана, а сами разсѣлись на полу передъ печкой, на коврѣ, привезенномъ Некрасовымъ изъ деревни; скоро заговорилъ въ нихъ голодъ, а ѣсть было рѣшительно нечего и купить было не на что, и только послѣ долгихъ переговоровъ лавочникъ, у котораго были раньше заложены двѣ серебряныя ложки, единственная драгоцѣнность Некрасова и подарокъ его матери, согласился отпустить имъ въ долгъ студени, и дожъ и грандъ благородно подѣлили между собой эту незатѣйливую трапезу. Пріятели разослали въ разные концы записки къ знакомымъ съ просьбою ихъ выручить, но отовсюду получили отказъ, и лишь къ вечеру Нарышкинъ добылъ денегъ и выручилъ ихъ изъ бѣды. Вскорѣ послѣ этого сожительство съ Некрасовымъ прекратилось, не по причинѣ какого-нибудь разлада, а просто по измѣнившимся обстоятельствамъ; Лорисъ вышелъ въ офицеры, и пріятели потеряли другъ друга изъ виду, а когда, примѣрно, года черезъ два, Лорисъ столкнулся съ Некрасовымъ на Невскомъ и послѣдній затащилъ его къ себѣ на квартиру у Аничкова моста, то дѣла поэта видимо уже стали процвѣтать: и самъ онъ ходилъ щеголемъ, и квартира его была меблирована не безъ изящества. Это было ихъ послѣднее свиданье; Лорисъ уѣхалъ вскорѣ на Кавказъ и не возвращался въ Петербургъ до 1878 года, Некрасовъ же умеръ въ 1877 году; только когда Лорисъ состоялъ уже начальникомъ Терской области, онъ получилъ письмо отъ Некрасова, въ которомъ поэтъ, напоминая ихъ прежнія отношенія, просилъ его принять участіе въ литераторѣ Благовѣщенскомъ, отправленномъ по болѣзни, на Кавказъ, на продолжительное житье и безъ всякихъ средствъ къ существованію, и Лорисъ

исполнилъ просьбу стараго прiятеля. Я нарочно разсказалъ подробно все, что зналъ о сношенiяхъ Лориса съ Некрасовымъ, потому что, съ одной стороны, фактъ этотъ можетъ послужить для бiографовъ того и другого, а съ другой, объяснить отчасти ту любовь къ поэзiи и къ литературѣ, которую питалъ Лорисъ и которая такъ гуманизировала его, не взирая на суровую и боевую его обстановку на Кавказѣ.

Служба Лориса въ мѣстѣ расположенiя лейбъ-гвардiи Гродненскаго гусарскаго полка, куда онъ былъ выпущенъ изъ школы, ничѣмъ не отличалась отъ обычной офицерской службы того времени и продолжалась до 1847 года, когда онъ перечислился на Кавказъ состоять при намѣстникѣ, князѣ Воронцовѣ. Кавказъ свой онъ чрезвычайно любилъ, но именно какъ нераздѣльную часть Россiи, и много разъ я слыхалъ его жалобы на то, что русское общество, вслѣдствiе присущей ему апатiи, не дѣлаетъ рѣшительно ничего, чтобы тѣснѣе привязать эту богатую окраину къ Россiи. Не могу привести его подлинныхъ выраженiй, но приблизительно онъ выражалъ свой взглядъ на эти отношенiя такимъ образомъ: „Правительство сдѣлало все, что могло, оно силой оружiя закрѣпило Кавказъ за имперiею, но чтобы присоединенiе это обратилось въ прочную, неразрывную связь, необходимо культурное влiянiе, нужно, чтобы русскiе люди и капиталы устремились въ этотъ благодатный край и устраивались въ немъ землевладѣльцами, промышленниками, фабрикантами. Сколько разъ твердилъ я объ этомъ московскимъ купцамъ и тузамъ, слушаютъ, соглашаются во всемъ, а сами не двигаются съ своихъ крѣпко насиженныхъ мѣстъ, между тѣмъ иностранцы льнутъ къ непочатымъ богатствамъ Кавказа, какъ мухи къ меду, снуютъ вездѣ, заключаютъ съ жителями какiе-то долгосрочные контракты и понемногу все захватываютъ въ свои руки. До сихъ поръ въ Закавказскихъ губернiяхъ почти нѣтъ русскихъ собственниковъ, вла-

дѣющихъ городскими и сельскими имуществами,—и это обстоятельство не разъ вызывало удивленіе даже въ иностранной печати, за то въ этихъ губерніяхъ имѣется множество бековъ и агаларовъ изъ мусульманъ, обладающихъ превосходными землями, которыя они весьма плохо обрабатываютъ и готовы сейчасъ продать за безцѣнокъ; влеченія къ сельскому хозяйству они не имѣютъ, занимаются почти исключительно покровительствомъ ворамъ и разбойникамъ и тѣмъ больше всего мѣшаютъ водворенію порядка и безопасности. На Кавказѣ давно признано, что исламъ не уживается съ современною цивилизаціею, наши юридическія и нравственныя понятія идутъ часто въ разрѣзъ съ магометанскимъ вѣроученіемъ, такъ, напримѣръ, лжесвидѣтельствованіе считается у насъ преступнымъ, по понятіямъ же мусульманина скрыть преступленіе и дать ложное показаніе въ пользу единовѣрца есть дѣло богоугодное. Вотъ почему особенно желательно, чтобы землевладѣльцы христіане постепенною скупкою земель вытѣсняли поскорѣе этихъ крупныхъ собственниковъ бековъ и уравновѣшивали тѣмъ преобладанія христіанскаго элемента надъ магометанскими, именно желательно, чтобы вытѣсненіе совершалось не насильственно и не правительственными мѣрами а миролюбивымъ образомъ и собственнымъ почином предпріимчивыхъ членовъ русскаго общества. И надо спѣшить съ этимъ, время не терпитъ, и наше положеніе на Кавказѣ остается подверженнымъ разнымъ непредвидѣннымъ случайностямъ.

Повѣствованіе о службѣ графа Лориса на Кавказѣ, его военныхъ походахъ и гражданской дѣятельности съ 1878 года на Волгѣ, въ Харьковѣ и Петербургѣ не входитъ въ планъ моего разсказа; тутъ мнѣ трудно что нибудь прибавить къ напечатаннымъ уже сообщеніямъ А. А. Скальковскаго, Писарева и др., и надо надѣяться, что эти отрывочныя свѣдѣнія дополнятся впослѣдствіи другими близкими очевидцами этой дѣятельности и, еще

позднѣе, будутъ сгруппированы и обработаны полнѣе и объективнѣе будущими безстрастными исторіографами съ привлеченіемъ и архивныхъ документовъ. Добавлю только, со словъ самого графа, что переѣздъ на Кавказъ послужилъ счастливой перемѣной для его самообразованія и для примѣненія его способностей къ практической дѣятельности. Намѣстники—князь Воронцовъ, а послѣ него графъ Муравьевъ-Карсскій—отличили эти способности молодого человѣка и стали давать ему сложныя и трудныя порученія, которыя отвлекли Лориса отъ пустой и свѣтской жизни и пробудили интересъ къ болѣе живымъ и развивающимъ умъ вопросамъ. Кромѣ того у него былъ въ Тифлисѣ двоюродный братъ — докторъ Ю. Ѳ. Ахвердовъ, человѣкъ весьма образованный и серьезный, отъ котораго тоже не ускользнули богатые задатки натуры Лориса, и онъ настойчиво сталъ уговаривать его больше читать, чтобы расширить свой умственный горизонтъ. Докторъ имѣлъ свою отборную библіотеку, и въ числѣ первыхъ книгъ, предложенныхъ имъ для прочтенія, были „Мемуары Альфьери", и Лорисъ съ признательностію вспоминалъ, какое сильное впечатлѣніе произвели на него эти „Мемуары", какъ съ тѣхъ поръ онъ пристрастился къ книгамъ и сталъ почерпать изъ нихъ и болѣе осмысленный взглядъ на жизнь, и самое чистое наслажденіе. Съ этимъ вмѣстѣ и служебная карьера Лориса шла быстро впередъ, и война 1854—1855 годовъ застала его уже съ такой прекрасной репутаціей, что по сдачѣ Карса ему поручена была трудная должность коменданта Карсской крѣпости. Передъ началомъ войны онъ былъ помолвленъ съ княжной Ниной Ивановной Аргутинской-Долгорукой и теперь изъ Карса выпросилъ себѣ 2-хъ недѣльный отпускъ, обвѣнчался и вернулся на свое комендантство съ молодой женой. Бракъ этотъ былъ идеально счастливый; скромная, необыкновенно кроткая графиня сдѣлала для Лориса семейную жизнь такою пристанью, въ которой онъ

всегда увѣренъ былъ найдти отдыхъ и спокойствіе послѣ своихъ походовъ и разныхъ житейскихъ треволненій,— и для нея теперь, конечно, самое величайшее и невознаградимое горе, что ей суждено было пережить своего мужа послѣ тридцати-трехъ лѣтняго супружескаго счастія. Дѣтей отъ этого брака, какъ упомянулъ выше, осталось пятеро.

VII.

Возвращаюсь къ нашей совмѣстной Вевейской жизни. Трудно было помириться съ ея безлюдьемъ и монотонностью живому уму графа и онъ, кромѣ постояннаго чтенія, старался найти еще себѣ какую-нибудь пищу; такъ вскорѣ по пріѣздѣ въ Вевей, надумалъ онъ было устроивать у себя въ Кубанскомъ имѣньи стеклянный заводъ, имѣя въ виду, что это производство составляетъ на Кавказѣ насущную потребность, ибо до сихъ поръ вся стеклянная посуда привозится туда изъ Новороссіи и даже чуть ли не изъ еще болѣе отдаленныхъ губерній; обложилъ себя русскими и французскими руководствами; вступилъ въ знакомство съ швейцарскими стеклянными заводчиками и весьма дѣятельно списывался по этому поводу съ управляющимъ его имѣньемъ; нѣсколько недѣль продолжалось его увлеченіе этимъ планомъ, пока, наконецъ, онъ не убѣдился, что заочно нельзя устроивать солидное предпріятіе; къ тому же его собственныя средства были недостаточны для правильной постановки дѣла, а пріискивать компаньоновъ въ Россіи посредствомъ переписки тоже было совсѣмъ неудобно. Потомъ онъ схватился за мысль поднять культуру плодовыхъ деревьевъ въ своемъ имѣніи, разузнавалъ письмами въ Бордо о наиболѣе подходящихъ для Кавказа сортахъ

и, помнится, отправилъ черенки къ управляющему; но всѣ эти поиски за дѣломъ приводили его въ концѣ къ грустному сознанію, что всѣ его затѣи—не серьозныя предпріятія, а скорѣе походятъ на праздную забаву, зло подсмѣивался надъ собой и своимъ безсиліемъ быть хоть малымъ полезнымъ своему краю и не безъ горечи восклицалъ: „аль у сокола крылья связаны? аль пути ему всѣ заказаны?“.

Такъ прошли іюнь и іюль—самые глухіе мѣсяцы въ томъ отношеніи, что я составлялъ для графа почти единственнаго собесѣдника въ Вевей. Кромѣ меня въ эту пору довольно часто его навѣщалъ извѣстный Нубаръ-паша, всесильный египетскій эксъ-министръ; онъ только что былъ свергнутъ съ поста, который занималъ очень долго, отправился путешествовать по Европѣ и прожилъ въ Вевей 2 или 3 недѣли съ женой, съ своей дочерью, бывшей замужемъ за другимъ египетскимъ министромъ Тиграномъ-пашею, и съ маленькой прелестной внучкой. Нубаръ питалъ большое уваженіе къ графу и охотно посвящалъ его въ тайны египетской государственной жизни и въ тѣ интриги, какія разыгрывались англичанами съ цѣлью забрать страну совсѣмъ въ свои руки. Графъ же цѣнилъ въ Нубарѣ умнаго и интереснаго собесѣдника, но съ августа же наша резиденція значительно оживилась, стали появляться и знакомые земляки, отбывшіе свои курсы минеральныхъ водъ, и около графа образовался небольшой кружокъ симпатичныхъ ему людей, съ которыми онъ любилъ коротать время.

По мѣрѣ приближенія отъѣзда въ Ниццу его привязанность ко мнѣ дѣлалась крѣпче и нѣжнѣе; онъ безпрестанно возвращался въ разговорѣ къ предстоявшему мнѣ на зиму одиночеству въ Вевей и пытался меня уговаривать на переѣздъ или съ нимъ въ Ниццу, или хоть въ другой людный центръ, гдѣ была бы возможность съ кѣмъ нибудь отводить душу.

— „Я то и дѣло думаю о васъ и мучусь за васъ: ну, какъ вы проведете цѣлые 8 мѣсяцевъ совсѣмъ одни въ такой трущобѣ? и мнѣ вы будете сильно недоставать въ Ниццѣ, и весной я снова буду рваться съ нетерпѣніемъ къ вамъ; но около меня все же будетъ нѣсколько человѣкъ, съ которыми такъ или сякъ я буду убивать время, а вы вѣдь въ этомъ одиночномъ заточеніи разучитесь говорить! Право, поѣдемъ съ нами!“

Хотя я самъ съ большою грустью ждалъ разлуки съ графомъ, однако, наотрѣзъ отказывался покинуть Вевей и имѣлъ на то солидныя причины, а именно: для меня внѣшнія удобства вевейской жизни (ея дешевизна, возможность жить круглый годъ безъ переѣздовъ, умѣренный климатъ при отсутствіи дѣтскихъ эпидемическихъ болѣзней и т. п.) заставляли цѣнить себя выше, чѣмъ всевозможныя развлеченія большихъ и шумныхъ городовъ; къ тому же я уже успѣлъ привыкнуть къ окружавшему меня безлюдью и мертвенной тишинѣ и мнѣ не легко было ломать установленный уже строй жизни и снова пуститься на шумъ и сутолоку, давно потерявшіе для меня всякую привлекательность. Графъ соглашался съ моими доводами до того, что самъ начиналъ высказывать мысль—нанять и себѣ большую квартиру въ Вевей, устроить ее со всѣми удобствами и зазимовать, но разубѣдить его въ непрактичности такого плана было не трудно, такъ какъ между его положеніемъ и моимъ была огромная разница: ему и южный климатъ былъ необходимъ для здоровья, и его матеріальныя средства допускали безъ затрудненія переѣздъ въ Ниццу, и самъ онъ былъ несравненно живѣе и общительнѣе меня, такъ что для него отсутствіе всякаго общества было бы весьма чувствительно, а вѣчный tête-à-tête между нами, людьми, лишенными всякой живой дѣятельности, неизбѣжно, въ концѣ концевъ, надоѣлъ бы ему своимъ однообразіемъ, и, наконецъ, жестоко было бы съ его стороны зарывать съ собой въ такомъ угрюмомъ мѣстѣ,

какъ Вевей, свою семью, особенно молодыхъ дочерей. На такихъ разсужденіяхъ планъ вевейской зимовки скоро проваливался. Иногда на графа передъ отъѣздомъ находили мрачныя думы о томъ, что онъ постепенно дѣлается хилѣе и слабѣе и что онъ можетъ не пережить зимы; тогда я, замѣтивъ, какъ успокоительно дѣйствуютъ на него мои увѣренія въ противномъ, начиналъ трунить надъ его страхомъ, сводить все на ипохондрію и т. п. Помню, какъ послѣ одного изъ такихъ разговоровъ онъ сказалъ съ шутливымъ отчаяніемъ: „ну, есть ли на свѣтѣ болѣе несчастнѣйшій человѣкъ, чѣмъ я, и котораго бы болѣе преслѣдовала людская несправедливость? И будучи на верху карьеры и почестей, я ничѣмъ не воспользовался отъ государства, и остался по прежнему съ весьма, какъ вы знаете, ограниченными средствами; русскія же газеты недавно распространили извѣстіе, что я покупаю обширное помѣстье за границей; я имѣю претензію на репутацію хорошаго полководца, потому что одержалъ нѣсколько побѣдъ, велъ цѣлую военную кампанію и взялъ крѣпость Карсъ, которую считали неприступной, а вотъ Османъ-бей [1]) оспариваетъ мои военныя заслуги и увѣряетъ, что Карсъ взялъ вовсе не я, а онъ—Османъ-бей; наконецъ, я жалуюсь, что я боленъ и стра-

[1]) Османъ-бей очень бойкій турецкій авантюристъ, бывшій маіоръ турецкой службы, бѣжавшій въ Россію и отчасти извѣстный въ русской литературѣ, издалъ въ Италіи небольшую книжку на французскомъ языкѣ съ описаніемъ своихъ похожденій въ Россіи и сношеній съ нашими государственными людьми; это очень поверхностный памфлетъ, наполненный всякою бранью, въ которомъ между прочимъ, достается и гр. Лорису и говорится, что взятіемъ Карса Россія обязана автору этой книги, состоявшему тогда переводчикомъ при штабѣ Кавказской арміи. Графъ вспомнилъ объ этомъ господинѣ потому, что за нѣсколько недѣль до приведенныхъ словъ Османъ-бей пріѣзжалъ въ Вевей и добивался, чтобы графъ или принялъ, или далъ ему что нибудь на бѣдность, а когда не успѣлъ ни въ томъ, ни въ другомъ, то прислалъ графу ругательное письмо и скрылся изъ нашихъ мѣстъ.

Н. Б.

даю, а вы, мой Брутъ, и въ этомъ не хотите мнѣ вѣрить и обзываете меня ипохондрикомъ".

Однако, въ общемъ итогѣ графъ остался очень доволенъ своимъ Вевейскимъ пребываніемъ и въ 20-хъ числахъ сентября 1887 г., въ сравнительно бодромъ видѣ, пустился въ обратный путь въ Ниццу. Зима тамъ вышла не изъ удачныхъ по причинѣ дождей и необычныхъ холодовъ и, хотя онъ провелъ ее сносно, безъ явныхъ обостреній своей болѣзни, но почти не выѣзжалъ, хандрилъ и скучалъ и съ февраля 1888 г. началъ уже радоваться въ письмахъ, что приближается время перекочевки въ Вевей, а 1 іюня я встрѣтилъ его на станціи при выходѣ изъ вагона и вмѣстѣ съ нимъ доѣхалъ до отеля, гдѣ онъ жилъ въ предыдущемъ году и гдѣ для него было приготовлено прежнее помѣщеніе. Здѣсь, въ той же самой комнатѣ и при томъ же самомъ освѣщеніи, въ которыхъ я привыкъ его видать ежедневно нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, мнѣ особенно легко было замѣтить во внѣшности графа значительную перемѣну, происшедшую за это короткое время: морщинъ и складокъ на лицѣ и сѣдины въ волосахъ почти не прибавилось, а между тѣмъ все лицо поблѣднѣло и осунулось, а въ его прекрасныхъ и всегда ласково улыбавшихся глазахъ появлялись по временамъ, не смотря на радость нашей встрѣчи, какой-то несвойственный имъ мрачный блескъ и угрюмая сосредоточенность. Я приписалъ перемѣну эту утомленію отъ 24 часовой ѣзды по желѣзной дорогѣ, да и самъ онъ жаловался на крайнюю усталость и попросилъ поскорѣе ему устроить постель, чтобы отдохнуть. Но и на завтра, когда я зашелъ утромъ навѣдаться о немъ, онъ предпочелъ не вставать съ кровати, хотя былъ гораздо веселѣе и безъ умолку разсказывалъ о своихъ зимнихъ впечатлѣніяхъ отъ новыхъ знакомствъ съ людьми и съ прочитанными книгами; только на третій день онъ одѣлся и перебрался на свое прежнее облюбованное мѣстечко на кушеткѣ

въ углу комнаты, и наши свиданія снова пошли, какъ заведенная машина; съ точностью хронометра являлся я къ нему, и оба мы съ равнымъ нетерпѣніемъ ежедневно ждали этихъ часовъ встрѣчъ, ибо разговоръ нашъ никогда не страдалъ недостаткомъ матеріала и намъ служилъ обоимъ чуть не единственнымъ развлеченіемъ въ окружавшей насъ очень однообразной жизни. „Удивляюсь я“, говорилъ графъ, „какъ мы съ вами разрѣшаемъ отлично почти не разрѣшаемую задачу: говоримъ, говоримъ каждый день, а все далеко не можемъ вычерпать нашъ разговорный фондъ, и всегда послѣ вашего ухода я вспоминаю, что не успѣлъ и половины затронуть того, о чемъ хотѣлъ было потолковать“. Однако, я находилъ, что въ этотъ пріѣздъ онъ охотнѣе отдается воспоминаніямъ о прошломъ и не съ прежнимъ увлеченіемъ занимается текущими событіями, хотя и продолжаетъ читать множество газетъ; онъ и самъ неоднократно высказывалъ, что сталъ гораздо равнодушнѣе ко всему происходящему и объяснялъ это тѣмъ, что настоящія теченія, такъ ярко и опредѣленно вырисовывающіяся въ европейской жизни, этотъ періодъ отступленія вспять ему крайне несимпатичны, и что онъ совсѣмъ разочаровался въ скорой перемѣнѣ къ лучшему, до которой ему навѣрное не дожить. Взамѣнъ того, онъ все болѣе углублялся въ наблюденіе за ходомъ одолѣвавшихъ его недуговъ, я чаще заставалъ его въ мрачномъ духѣ, и разные мои способы, чтобы развлечь его или ободрить медицинскими аргументами, оказывались уже менѣе успѣшными, чѣмъ въ прежнее время. Мысль о близкой смерти все чаще и чаще возвращалась въ его рѣчахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе и болѣе овладѣвали имъ заботы о томъ, чтобы семья его могла прожить безбѣдно послѣ его смерти, и онъ рѣдкій день не былъ этимъ занятъ. Кромѣ семьи, еще сильно озабочивала его участь устроеннаго имъ во Владикавказѣ ремесленнаго училища, носящаго его имя; это тоже было близкое его сердцу

дѣтище, обязанное не только ему своимъ происхожденіемъ, но и дальнѣйшимъ процвѣтаніемъ, благодаря постоянной заботливости графа о немъ; его очень радовалъ возраставшій успѣхъ школы, улучшеніе и расширеніе программы преподаванія, но такъ какъ годичный расходъ на училище дошелъ уже до 18,500 р., то у него рождался страхъ, что послѣ его смерти училище не будетъ встрѣчать прежней поддержки и будетъ падать, а потому онъ старался заинтересовать въ ней кой-кого изъ своихъ богатыхъ знакомыхъ, завѣщая имъ заботы о немъ.

Всѣ эти предсмертныя распоряженія и заботы не могли не настраивать его печально; притомъ и лѣто выдалось холодное и сырое, пріѣзжихъ никого не было, и въ довершеніе всего мнѣ встрѣтилась необходимость для здоровья семьи переѣхать изъ Вевей въ горы. Чтобы не покидать надолго графа, я рѣшилъ ограничить свое отсутствіе самымъ короткимъ срокомъ, а именно двумя недѣлями, и вмѣстѣ съ тѣмъ перебраться куда нибудь по близости, такъ чтобы это не помѣшало мнѣ навѣщать его по временамъ изъ моей новой резиденціи; наконецъ, горный отель, куда я переѣхалъ, былъ соединенъ съ Вевейскимъ отелемъ графа телефономъ, и мы условились переговариваться при помощи его, особенно, если встрѣтится что нибудь экстренное. Моя отлучка продолжалась съ 17-го іюля по 1-е августа, и за это время я успѣлъ побывать два раза у графа; онъ скучалъ, сильно хандрилъ и жаловался на общую слабость и безсонницу, а во второе мое посѣщеніе, 28 іюля, на ревматическую боль въ лѣвой рукѣ, которую онъ приписывалъ тому, что въ одинъ изъ жаркихъ дней посидѣлъ на своей терассѣ съ Нубаръ-пашей, заѣхавшимъ проѣздомъ по Швейцаріи снова навѣстить его. Я особеннаго значенія этой жалобѣ не придалъ и уѣхалъ, обѣщая черезъ 3 дня совсѣмъ вернуться, но уже въ самый день моихъ сборовъ къ обратному выѣзду въ

Вевей меня утромъ вызвали къ телефону отеля, и графиня—дочь сообщила мнѣ, что папа очень боленъ и ждетъ меня съ нетерпѣніемъ. Въ тотъ же вечеръ я перебрался въ Вевей и пошелъ тотчасъ же къ графу. Онъ дѣйствительно расхворался не на шутку, и хотя внѣшнее проявленіе болѣзни—такъ называемый опоясывающій лишай (herpes Zoster, Zona), находившійся на лѣвой ладони и перешедшій потомъ на предплечіе и плечо, самъ по себѣ не могъ внушать серьезныхъ опасеній, но въ виду сильнаго истощенія больного и, главное, полной неизвѣстности относительно истиннаго состоянія легкихъ и другихъ внутреннихъ органовъ, а потому при невозможности своевременно предотвратить всякія осложненія, слѣдовало быть очень осторожнымъ въ предсказаніи. Графъ казался очень возбужденнымъ отъ довольно значительной лихорадки, постоянно стоналъ отъ болей и совсѣмъ упалъ духомъ; съ трудомъ можно было уговорить его обнажить всю руку, чтобы прослѣдить на ней размѣщеніе группы лишайныхъ пузырьковъ. Лѣчившій его вевейскій врачъ сдѣлалъ все нужное для облегченія больного, но привелъ его въ отчаяніе, предупредивъ, что болѣзнь можетъ протянуться около 6 недѣль; я постарался его успокоить и на первый разъ успѣлъ въ томъ.

Нѣтъ надобности подробно передавать послѣдовательный ходъ болѣзни; скажу только, что онъ былъ полонъ тревогъ для окружавшихъ и очень мучителенъ для больного по причинѣ сильныхъ пароксизмовъ невралгическихъ болей въ лѣвой рукѣ, безсонныхъ и возбужденныхъ ночей, довольно сильной лихорадки, замѣчавшагося по временамъ упадка сердечной дѣятельности и т. п. Все это приводило графа въ самое тяжелое психическое угнетеніе; иногда онъ терялъ всякое самообладаніе, раздражался ничтожнымъ пустякомъ и при мнѣ не однажды повторялись сцены, послѣ которыхъ я возвращался домой, разбитый печальнымъ зрѣлищемъ этого

свѣтлаго ума и мощной воли, изнемогавшихъ на моихъ глазахъ въ борьбѣ съ болѣзнью. Мои тревоги усиливались еще тѣмъ обстоятельствомъ, что никакъ нельзя было признать удовлетворительною всю постановку леченія, а между тѣмъ всѣ усилія исправить ее были напрасны. Какъ иностранный врачъ, по законамъ Швейцаріи, я не имѣлъ права лечить графа, а потому долженъ былъ для соблюденія формальности передать его одному изъ туземныхъ врачей, на что графъ, отлично понимая необходимость такой передачи, безпрекословно согласился съ условіемъ, чтобы я руководилъ леченіемъ и чтобы безъ моего согласія не предпринималась никакая врачебная мѣра. Такъ дѣло и уладилось, но и при этихъ условіяхъ мое руководительство оставалось больше номинальнымъ и очень меня мучило: не смотря на довѣріе графа ко мнѣ, я никакъ не могъ уговорить его хоть разъ дать себя изслѣдовать фундаментально, чтобы опредѣлить истинное состояніе его внутреннихъ органовъ и выяснить, нѣтъ ли причинной связи между этимъ состояніемъ и столь безпокоившей больного сыпью, что мнѣ казалось болѣе чѣмъ вѣроятнымъ. Но отпоръ со стороны графа былъ такъ рѣшителенъ, мои настоянія до того раздражали его, что я, ради нашихъ отношеній, вынужденъ былъ уступить ему и вести леченіе съ завязанными глазами; напрасно я ему доказывалъ, до какой степени онъ вредитъ и самому себѣ и насилуетъ меня, ставя въ странное положеніе врача XVIII столѣтія, имѣющаго въ своемъ распоряженіи для заключенія о ходѣ болѣзни — наружный видъ больного, его субъективныя жалобы, пожалуй, изслѣдованіе его пульса, языка и т. п.; даже для измѣренія температуры тѣла графъ ни разу не согласился поставить себѣ термометръ подъ мышку, а опредѣлялъ лихорадочное состояніе, держа шарикъ термометра между большимъ и указательнымъ пальцами здоровой руки. Понятно, что въ такихъ потемкахъ значительно съуживалась

самая задача лѣченія и приходилось только заботиться о поддержаніи силъ и правильности отправленій, доступныхъ врачебному наблюденію, и, главное, успокоивать моральное психическое возбужденіе больного. Ему не разъ казалось, что ему жить остается всего нѣсколько дней, онъ умолялъ меня не дать ему умереть въ гостинницѣ, а перевезти поскорѣе на частную квартиру и т. п. Особенно памятенъ мнѣ вечеръ 17 августа 1888 г., когда я, пришедши въ условленный часъ въ отель, встрѣтилъ поджидавшую меня въ корридорѣ графиню всю въ слезахъ и съ словами: „ему совсѣмъ плохо; ступайте къ нему поскорѣе"; онъ привѣтствовалъ меня необычно-мрачнымъ взглядомъ и слабымъ пожатіемъ руки и сталъ говорить тихимъ, торжественнымъ голосомъ: „ну, прощайте, дорогой мой; я чувствую, что конецъ мой приходитъ и я вижу васъ въ послѣдній разъ; дайте же мнѣ поблагодарить васъ за дружбу и за всѣ заботы обо мнѣ", и далѣе въ этомъ родѣ. Признаюсь, сильно сжалось у меня сердце и отъ этихъ словъ и отъ тона, съ какимъ они произносились, но убѣдившись на-скоро, что ихъ ничто не оправдывало, я справился съ собою и, засмѣявшись, замѣтилъ въ отвѣтъ, что заявленіе этой предсмертной благодарности онъ смѣло можетъ отложить до болѣе подходящаго времени и сталъ его убѣждать, что все теченіе болѣзни не только не указываетъ на смертельную опасность, а, напротивъ, предвѣщаетъ близкое поправленіе; объясненіе это его успокоило, вскорѣ онъ разговорился, а черезъ четверть часа мы, какъ ничего не бывало, болтали уже о посторонныхъ предметахъ. Но приступы такой отчаянной безнадежности въ своемъ поправленіи возвращались чаще и чаще, не смотря на то, что всѣ болѣзненные припадки видимо дѣлались слабѣе; онъ самъ не могъ не замѣчать этого улучшенія и часто просилъ извиненія въ невольныхъ нервныхъ вспышкахъ, съ которыми не можетъ совладѣть, и однажды сказалъ: „есть чье-то извѣстное

изреченіе, истину котораго я испытываю теперь на себѣ; потеряешь состояніе—не бѣда, потеряешь здоровье—и то даже не бѣда, а вотъ когда потеряешь самую энергію жить, тогда пиши совсѣмъ пропало". При наблюденіи этихъ вспышекъ и во мнѣ сложилось такое безотрадное убѣжденіе, что хотя графъ и выйдетъ благополучно изъ настоящаго заболѣванія, такъ какъ ему постепенно становилось лучше и онъ могъ уже съ постели переходить на кушетку, но съ такими расшатанными нервами, которыя будутъ отравлять постоянно его дальнѣйшее существованіе. Все это мнѣ такъ больно было видѣть, такъ меня волновало, что я ходилъ дома самъ не свой, не досыпалъ ночей, а между тѣмъ старался являться къ графу всегда въ маскѣ невозмутимаго спокойствія и этимъ спокойствіемъ поднимать его упавшую энергію. Наконецъ, я не выдержалъ этого напряженія и свалился; по счастію, это случилось уже въ концѣ августа, когда состояніе графа настолько поправилось, что онъ могъ обойтись безъ моихъ медицинскихъ совѣтовъ и когда изъ Петербурга пріѣхалъ одинъ изъ друзей графа, а также и его младшій сынъ, такъ что прекращеніе нашихъ ежедневныхъ свиданій не было особенно ощутимо. Пролежалъ я ровно недѣлю и, какъ только всталъ, первый выходъ мой былъ къ графу; нашелъ я его въ относительно лучшемъ видѣ, по прежнему на кушеткѣ и по прежнему обложеннымъ газетами: лишай подсохъ и исчезъ, появился аппетитъ и пищевареніе совершалось болѣе правильно, но этимъ улучшеніе и ограничилось, потому что пароксизмы невралгическихъ болей въ рукѣ продолжались и зачастую лишали его сна, а небольшое повышеніе температуры, получаемое даже при несовершенномъ измѣреніи ея между пальцами, учащеніе перебоевъ въ сердцѣ и появленіе крови въ мокротѣ и т. п. указывали, что нарушеніе легочнаго процесса все еще не вступило въ періодъ хроническаго затишья. Онъ по прежнему не въ силахъ былъ спра-

вляться съ наплывомъ тяжелыхъ предчувствій, и даже пріѣздъ кой-кого изъ старыхъ знакомыхъ только отчасти развлекалъ его и онъ замѣтно легче утомлялся разговорами; правда, иногда и теперь случалось, что, увлекшись бесѣдой, онъ забывалъ о болѣзни, оживлялся, глаза загорались своимъ мягкимъ блескомъ, остроумная и шутливая рѣчь его радостно электризовала присутствующихъ, ибо напоминала имъ прежняго Лориса, но это продолжалось недолго, и онъ снова впадалъ въ свое сумрачное настроеніе.

Какъ только онъ почувствовалъ, что набрался достаточно силъ для совершенія обратнаго переѣзда на югъ, то началъ торопиться въ путь, боясь, чтобы новое ухудшеніе не задержало въ Вевей до холоднаго времени, и 17 сентября уѣхалъ, а на слѣдующій день извѣстилъ меня депешею, что благополучно добрался до своей зимней квартиры. Послѣдовавшія затѣмъ письма отъ него были довольно успокоительны: въ Ниццѣ онъ замѣтно пріободрился, сталъ выѣзжать на прогулки, и даже чаще чѣмъ въ предыдущія зимы, и только жаловался, что лѣвая рука все продолжаетъ его сильно мучить. Послѣднее его письмо ко мнѣ было отъ 11 декабря 1888 года и ничѣмъ не предвѣщалс близкой опасности, а потому полученная мною лаконическая депеша отъ $^{12}/_{24}$-го декабря, сообщавшая о его кончинѣ, поразила своею неожиданностью. Изъ дошедшихъ до меня впослѣдствіи подробностей о предсмертной болѣзни графа знаю только, что онъ слегъ въ постель $^{5}/_{17}$-го декабря, по причинѣ усиленія кашля и появленія лихорадочнаго состоянія, очень страдалъ отъ безсонныхъ ночей и силы его быстро падали; встревоженная семья уговорила его призвать на консультацію нѣмецкаго врача, состоявшаго при виртембергскомъ королѣ, зимовавшемъ въ Ниццѣ, но было поздно. Консультація состоялась въ 4 часу дня $^{12}/_{24}$ декабря, за 5 часовъ до смерти, и графъ даже въ эти послѣдніе часы своей жизни остался вѣренъ своей

антипатіи къ медицинскимъ осмотрамъ; напрасно докторъ-консультантъ склонялъ его допустить къ изслѣдованію груди, графъ отвѣчалъ: „не сегодня, любезный докторъ, а завтра, если только буду живъ; если же нѣтъ....“ и онъ пожалъ плечами. А въ 8 ч. 40 мин. того-же вечера для него наступилъ вѣчный покой, къ которому онъ перешелъ въ полномъ сознаніи.

Россія лишилась въ лицѣ его одного изъ даровитѣйшихъ, безкорыстнѣйшихъ своихъ сыновъ и можно лишь искренно и не въ оскорбленіе живущимъ пожелать ей побольше такихъ!

Можетъ быть, многіе изъ безстрастныхъ читателей этихъ страницъ найдутъ, что онѣ написаны въ слишкомъ хвалебномъ тонѣ и спросятъ меня: „да неужели же графъ не имѣлъ никакихъ недостатковъ?“ — Несомнѣнно имѣлъ, отвѣчу я; на то онъ и былъ человѣкъ съ нервами, плотью и кровью, а потому ничто человѣческое ему не было чуждо, но прошу помнить, что я даю не характеристику графа, а только свои личныя воспоминанія о немъ,—въ моихъ же личныхъ впечатлѣніяхъ его мелкіе недостатки и слабости съ избыткомъ вознаграждались его богатыми достоинствами, и не столько поражалъ въ немъ его обширный, свѣтлый умъ, сколько благожелательное сердце, которое въ этомъ 60-лѣтнемъ старцѣ, не смотря на точившую его медленно болѣзнь и пережитыя превратности, не зачерствѣло и сохранило горячую вѣру въ человѣчество и чисто юношескую чуткость къ появленіямъ всего честнаго и благороднаго въ окружающей жизни. Какимъ онъ остался въ моей памяти, такимъ я и старался передать его здѣсь, насколько съумѣлъ.

Въ Русскомъ Біографическомъ словарѣ, издаваемомъ Императорскимъ Русскимъ Историческимъ Обществомъ подъ словомъ „Александръ II" приводятся весьма интересныя оффиціальныя свѣдѣнія о программѣ и дѣятельности графа Лорисъ-Меликова.

Верховная Распорядительная Коммиссія приступила къ дѣлу. Въ первомъ засѣданіи ея, 4-го марта (1880 г.), графъ Лорисъ-Меликовъ указалъ на двѣ главныя ея задачи: принятіе рѣшительныхъ мѣръ къ подавленію преступныхъ дѣйствій анархистовъ и изысканіе средствъ для уврачеванія причинъ, породившихъ крамолу и поддерживающихъ ее. Необходимымъ средствомъ къ достиженію этихъ обѣихъ цѣлей почиталось прежде всего объединеніе дѣйствій всѣхъ судебныхъ и административныхъ органовъ, призванныхъ къ обнаруженію и преслѣдованію преступныхъ замысловъ и дѣйствій. Какъ на другую причину, затрудняющую борьбу правительства съ крамолой, указывалось на крайнюю медленность производства дознаній и дѣлъ о государственныхъ преступленіяхъ. Третій вопросъ, предложенный графомъ на обсужденіе Коммиссіи, было разсмотрѣніе и точное опредѣленіе двухъ мѣръ, обыкновенно принимаемыхъ противъ лицъ, заподозрѣнныхъ въ политической неблагонадежности: высылки и полицейскаго надзора. Наконецъ, графъ обратилъ вниманіе Коммиссіи на то, что понятіе о политической неблагонадежности допускаетъ много степеней, разграничить которыя полиція не всегда бываетъ въ состояніи, а это влечетъ за собою неосмотрительность при опредѣленіи административныхъ взысканій. Въ заключеніе, главный начальникъ предложилъ Коммиссіи заняться разработкою этихъ четырехъ вопросовъ, а Коммиссія постановила: собрать подробныя свѣдѣнія какъ о личномъ составѣ, такъ и о стоимости всѣхъ органовъ правительственныхъ и общественныхъ, призванныхъ къ охраненію порядка и обнаруженію преступныхъ замысловъ въ столицѣ и ея окрестностяхъ. Съ цѣлью ускоренія производства дознаній и дѣлъ о государственныхъ преступленіяхъ, Коммиссія поручила своимъ членамъ разсмотрѣть и провѣрить списки арестованныхъ, а также привести въ извѣстность всѣхъ лицъ, подверг-

шихся административнымъ взысканіямъ, высланныхъ или отданнымъ подъ надзоръ полиціи.

Въ слѣдующихъ засѣданіяхъ Верховная Распорядительная Коммиссія приняла рядъ мѣръ, направленныхъ, главнымъ образомъ, къ облегченію участи лицъ, заподозрѣнныхъ въ политической неблагонадежности, и поручила сенатору Ковалевскому, изслѣдовавъ вопросъ объ административной высылкѣ, установить по возможности однообразныя правила по этому предмету. По представленію ея главнаго начальника состоялось Высочайшее повелѣніе о рѣшеніи впредь всѣхъ политическихъ дѣлъ по личнымъ всеподданнѣйшимъ докладамъ графа Лорисъ-Меликова, или же въ его присутствіи, — по докладамъ министра юстиціи, а также объ освобожденіи отъ полицейскаго надзора лицъ, исправившихся въ поведеніи и нравственности.

Въ началѣ апрѣля графъ Лорисъ-Меликовъ представилъ Императору Александру пространный докладъ, съ изложеніемъ отчета о дѣятельности Коммиссіи и взглядовъ выработанныхъ ея предсѣдателемъ. Указавъ на возложенную на него Высочайшимъ довѣріемъ задачу,— охранить государственный порядокъ и общественное спокойствіе и объединить направленныя къ тому дѣйствія всѣхъ властей, графъ признавалъ предоставленныя ему для того полномочія столь широкими, „что идти далѣе по этому пути—совершенно невозможно". Впечатлѣніе, произведенное указомъ объ учрежденіи Верховной Распорядительной Коммиссіи онъ находилъ „въ высшей степени благотворнымъ", такъ какъ мѣра эта устрашила злоумышленниковъ, доказавъ имъ твердое рѣшеніе правительства положить, во что бы то ни стало, предѣлъ ихъ покушеніямъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, возбудила надежды благомыслящей части общества и отечества, успокоила ее, намѣтивъ рѣшимость правительства не останавливаться на мѣрахъ внѣшняго свойства.

«Произведенное указомъ 12-го февраля впечатлѣніе», развивалъ графъ мысль свою, «не есть случайное и отнюдь не должно быть скоропреходящимъ. Въ этомъ впечатлѣніи выразилась не только исторически выработавшаяся, завѣтная черта русскаго народа, — довѣріе къ мудрымъ предначертаніямъ своего Государя, но и упованіе, что тотъ Монархъ, который вѣрною рукою поставилъ Россію, въ другую, страшную для нея годину, на путь процвѣтанія, столь же твердо и рѣшительно укажетъ исполнителямъ его воли на способы къ избавленію той же Россіи отъ встрѣченныхъ ею на томъ же пути искусственныхъ преградъ. Такія чувства — лучшій залогъ для будущаго и ими нельзя не дорожить. Съ ними не страшны для государственной власти въ Россіи, ни лжеученія Запада, ни доморощенные безумцы. Но чувства эти должны быть удовлетворены, насколько это, въ настоящее время, возможно, иначе государственная язва будетъ все болѣе и болѣе захватывать здоровыя части государственнаго организма,

тѣсно связанныя между собою. Правительство въ эпоху, переживаемую нынѣ Россіею, должно уяснить себѣ разнородныя явленія, порождаемыя общимъ теченіемъ государственной жизни въ связи ихъ между собою и съ прошедшимъ государства, и отдѣлить въ нихъ случайное отъ неизбѣжнаго. Только такое сознательное отношеніе къ этимъ явленіямъ можетъ указать на дѣйствительныя средства къ уврачеванію болѣзни».

Докладъ перечислялъ мѣры, принятыя въ продолженіе истекшихъ трехъ мѣсяцевъ съ цѣлью, съ одной стороны, объединить и усилить охранительную дѣятельность въ мѣстѣ пребыванія Государя, а съ другой—изучить разнородныя причины приведенія къ настоящему затруднительному положенію, разъяснить общественное настроеніе и изыскать способы къ полному возстановленію порядка. То были: объединеніе дѣятельности полицейскихъ и жандармскихъ властей, преобразованіе розыскной части въ столицѣ и усиленіе полицейскихъ средствъ, установленіе болѣе быстраго движенія дознаній и болѣе внимательнаго къ нимъ отношенія. Отъ всѣхъ этихъ мѣръ графъ Лорисъ-Меликовъ ожидалъ наилучшихъ послѣдствій и выразилъ намѣреніе, въ дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ, продолжать неуклонно слѣдовать усвоенной имъ и Высочайше одобренной системѣ.

«Время особаго усиленія соціалистическихъ ученій въ Европѣ, гласилъ докладъ, совпало съ тѣмъ временемъ, когда общественная жизнь въ Россіи находилась въ періодѣ великихъ преобразованій, ознаменовавшихъ славное царствованіе Вашего Величества. Ученія эти находили здѣсь, какъ и вездѣ, послѣдователей, но число таковыхъ не могло быть велико и вліяніе ихъ не было замѣтно на первыхъ порахъ. Внутри государства не существовало удобнаго для нихъ класса—земледѣльческаго пролетаріата, а созданная реформами жизнь занимала и во многомъ удовлетворяла умственныя силы развитыхъ элементовъ общества; подроставшее же поколѣніе, такъ называемая учащаяся молодежь, не могло не помнить прежнихъ порядковъ и съ довѣріемъ относилось къ будущему. Никогда, и, можетъ быть, нигдѣ, сила правительственной власти не выражалась блистательнѣе и торжественнѣе, какъ въ то время, и никогда составныя части русскаго общества не были одушевлены болѣе сознательною приверженностью къ лицу своего Монарха. Прочность такого настроенія зависѣла отъ хода самыхъ преобразованій, отъ правильной ихъ постановки, отъ урегулированія и пополненія ихъ. При продолжительности же этого настроенія законный порядокъ, приноровленный къ потребностямъ времени и историческимъ условіямъ Россіи, успѣлъ бы настолько укорениться, что предстоявшая неизбѣжная борьба началъ порядка съ народившимися лжеученіями не могла бы сопровождаться особенною опасностью для государственнаго строя».

«Къ несчастью» — продолжалъ докладъ, — «не таковъ былъ ходъ дѣла. Новые порядки создали во многихъ отрасляхъ управленія новое положеніе для представителей власти, требовавшее другихъ знаній, другихъ пріемовъ дѣятельности, иныхъ способностей, чѣмъ прежде. Истина эта не была достаточно усвоена и далеко не всѣ органы власти заняли подлежащее имъ мѣсто. Ложно понятое назначеніе въ общемъ государственномъ строѣ повело къ ряду нарушеній прямыхъ обязанностей, къ ряду столкновеній. Неизбѣжныя ошибки, часто увлеченіе, еще чаще неумѣніе приноровиться къ новымъ порядкамъ и руководить обстоятельствами и людьми, вызывали отдѣльные прискорбные факты, изъ которыхъ стали выводиться общія заключенія въ невыгоду новыхъ началъ, проведенныхъ въ жизнь. Разнообразіе взглядовъ, проявившееся въ обществѣ, проникло и въ правительственныя вліятельныя сферы, гдѣ также стала образовываться пародія партій, стремившихся провести въ дѣло свои убѣжденія при каждомъ удобномъ случаѣ. Затаенная борьба увлекла мнѣнія въ крайности. Одни стремились, не только къ урегулированію реформъ, но и къ упраздненію ихъ послѣдствій. Другіе стали на ихъ сторону, защищая съ одинаковою горячностью основныя ихъ начала и неизбѣжные недостатки. Самыя умѣренныя попытки урегулировать дѣйствіе реформъ и пополнить недостатки законодательства по нетронутымъ отраслямъ управленія встрѣчались съ противодѣйствіемъ, явнымъ или скрытымъ, или оставались безъ движенія. Такая участь постигла предуказанные Высочайшею волею вопросы первой важности, каковы: возвышеніе нравственнаго уровня нашего духовенства, реформа податная, преобразованіе губернскихъ административныхъ учрежденій, установленіе отношеній нанимателей къ рабочимъ, дарованіе правъ раскольникамъ, переустройство тюремъ и многіе другіе. Безчисленный рядъ коммиссій, безконечныя, безплодныя переписки, раздражали общественное мнѣніе и не удовлетворяли никого. Все тонуло въ канцеляріяхъ и застой этотъ отражался на дѣятельности вновь созданныхъ учрежденій».

Докладъ указывалъ затѣмъ на неудовлетворительный ходъ и развитіе главнѣйшихъ преобразованій царствованія: «Крестьянское дѣло послѣ кипучей дѣятельности первыхъ дней вошло въ общую колею и неподвижность въ улучшеніи слабыхъ его сторонъ создало такую обособленность несовершеннаго крестьянскаго управленія, которая могла казаться полезной лишь въ первые дни великой реформы. Новые суды, созданные при недостаточныхъ полицейскихъ порядкахъ, стали въ изолированное отъ общаго строя положеніе, не смягчаемое нисколько вліяніемъ прокуратуры, далеко не усвоившей себѣ надлежащаго значенія. Личный составъ судебныхъ учрежденій, неосторожно критическими, а часто непріязненными отношеніями къ окружающимъ

его порядкамъ, усилилъ подобное же отношеніе къ этимъ порядкамъ въ другихъ общественныхъ слояхъ. Адвокатура заняла мѣсто, непонятное для простого ума, и затронула многія, молчавшія до того струны. Духовенство продолжало, за рѣдкими исключительными явленіями, коснѣть въ невѣжествѣ и мало-по-малу лишалось и того вліянія, какое имѣло прежде. Оно отовсюду систематически устранялось, приходы закрывались, духовныя семинаріи оставались прежними бурсами. Значеніе дворянства, какъ сословія, стушевалось; мало чѣмъ поддерживаемое земство, привлекшее сначала лучшія силы мѣстнаго населенія, не могло остаться долго на той же высотѣ, при отсутствіи средствъ къ болѣе широкому исполненію мѣстныхъ задачъ и при недостаткѣ оживляющей правительственной поддержки. Городское самоуправленіе рѣдко гдѣ встрѣтило на первыхъ же шагахъ сочувственное отношеніе администраціи къ своимъ нуждамъ и правамъ. Кромѣ того, общія потребности населенія возрастали, а положеніе нашихъ финансовъ разстроилось чрезвычайными военными издержками. Цѣнность бумажнаго рубля упала, цѣнность продуктовъ увеличилась, появились новые налоги. Всѣ возбужденныя такими и подобными явленіями неудовольствія, болѣе или менѣе основательныя разочарованія, при застоѣ насущныхъ вопросовъ, указанныхъ уже Вашимъ Величествомъ къ разрѣшенію, усиливали съ каждымъ годомъ число недовольныхъ и уменьшали устойчивость почвы подъ началами государственнаго порядка. Параллельно съ этимъ увеличивалась рознь въ дѣйствіяхъ правительственныхъ учрежденій, призванныхъ къ охраненію порядка, и вліяніе соціальныхъ ученій зрѣло».

Начертавъ общую картину внутренняго состоянія Россіи, графъ Лорисъ-Меликовъ переходилъ къ положенію учебной и воспитательной части въ связи съ настроеніемъ учащейся молодежи: «Народившееся за это время молодое поколѣніе не было уже свидѣтелемъ дореформенныхъ безобразій; точка отправленія его ожиданій была уже не та, что для прежнихъ поколѣній, и воспріимчивость къ впечатлѣніямъ окружающей жизни была сильнѣе. Необходима была рука твердая, но не рѣзкая, руководимая не исключительно системою, но и извѣстною долею сердечности, чтобы сдержать наружныя проявленія горячей учащейся молодежи, чтобы направить ея стремленія, чтобы приготовить изъ нея полезныхъ и надежныхъ дѣятелей для будущаго. Къ несчастью, въ эту эпоху, руководство учебнымъ вѣдомствомъ не было сопутствуемо описанными чертами, что было тѣмъ болѣе прискорбно, что руководящая власть была вооружена новою учебною системою и новыми уставами среднихъ учебныхъ заведеній, не имѣвшими за собою поддержки общественнаго мнѣнія. Чтобы возбудить эту поддержку, необходима была извѣстная мягкость пріемовъ и формъ. Противоположный способъ привелъ къ еще большему раздраженію об-

щественнаго мнѣнія и масса молодыхъ людей враждебно отнесшаяся къ предъявленнымъ къ ней требованіямъ, встрѣтила въ семьѣ и обществѣ не осужденіе, а сочувствіе. Молодые люди, не кончивъ научной подготовки, не приспособленные къ труду и къ практической дѣятельности, стали выбрасываться школою въ жизнь и стали искать исхода въ дѣятельности внѣ закона, пополняя собою ряды послѣдователей соціальныхъ лжеученій. Семья и общество, мало знакомыя, собственно говоря, съ сущностью этихъ лжеученій и подъ впечатлѣніемъ чувства неудовлетворенности общимъ ходомъ дѣлъ, отнеслись равнодушно къ проявленіямъ крайнихъ теорій. Не находя себѣ отпора или даже авторитетныхъ порицателей, теоріи эти, схватываемыя безъ критики и клочками, загнѣздились въ цѣлыхъ кружкахъ и начали проявляться наружу. Первыя подобныя проявленія были признаны за болѣзненные наросты, а не за выраженія болѣзни, требующей внимательнаго изученія и въ особенности санитарныхъ мѣръ для сокращенія ея эпидемическихъ свойствъ. Сообразно сему и мѣры были приняты исключительно полицейскаго характера: обыски, аресты, административная высылка и военный судъ. Мѣры эти, принимавшіяся безъ системы, подъ вліяніемъ раздраженія, не излѣчили зла, а народили новую массу недовольныхъ, тѣмъ болѣе, что при разрозненности и торопливости дѣйствій правительственныхъ властей, допускалось смѣшеніе всѣхъ родовъ и видовъ теорій, если онѣ не согласовались съ установленнымъ порядкомъ вещей, а въ этомъ смѣшеніи часто упускались крайніе анархисты». Въ довершеніе обзора докладъ упоминалъ еще о двухъ фактахъ, вліявшихъ на общественное неудовольствіе: обнаруженіе судомъ прискорбной неправильности дѣйствій многихъ административныхъ лицъ и отсутствіе надлежащаго руководства періодическою печатью.

Обращаясь къ желаніямъ и ожиданіямъ, проявлявшимся въ русскомъ обществѣ, графъ Лорисъ-Меликовъ свидѣтельствовалъ, что какъ тѣ, такъ и другія—чрезвычайно разнообразны, истекая изъ личныхъ воззрѣній. Одни удовольствовались бы единичными частными улучшеніями, другіе желаютъ преобразованій болѣе общихъ, третьи хотятъ возврата отъ чрезвычайныхъ мѣръ къ законному порядку, четвертые—облегченія тяжестей налоговъ, улучшенія финансоваго управленія. Жалуются на распущенный порядокъ разныхъ вѣдомствъ, на чрезмѣрное отягощеніе бюджета, на недостатки духовенства, въ особенности — на учебное вѣдомство, которое, по отзыву графа, «возбудило противъ себя и государственныхъ сановниковъ, и духовенство, и дворянство, и ученое сословіе, и земство и города; однимъ словомъ,—всѣхъ, кромѣ лично заинтересованныхъ въ продолженіи существующаго направленія».

Предположенныя графомъ Лорисъ-Меликовымъ направленныя къ установленію лучшихъ порядковъ государственныя мѣропріятія были слѣдующія:

«1) Идти твердо и рѣшительно въ дѣлѣ преслѣдованія злоумышленниковъ противъ государственнаго порядка и общественнаго спокойствія, но не смѣшивать съ ними людей, не участвующихъ въ преступной соціальной партіи, а виновныхъ лишь въ проступкахъ, не имѣющихъ прямого соотношенія къ соціально-революціоннымъ проявленіямъ».

«2) Всемѣрно стремиться къ установленію полнаго единства дѣйствій всѣхъ органовъ правительственной власти, призванныхъ къ борьбѣ съ преступными лжеученіями. Сюда относятся преобразовательныя мѣропріятія къ объединенію, сосредоточенію и усиленію дѣятельности разнаго рода полицій и направительное руководство министерства юстиціи, судебныхъ учрежденій и въ особенности—прокуратуры, безъ чего успѣхъ мѣропріятій полицейскихъ затрудненъ».

«3) Съ постепеннымъ достиженіемъ указанныхъ въ предъидущихъ пунктахъ цѣлей, стремиться къ возвращенію отъ чрезвычайныхъ мѣръ къ законному теченію дѣлъ».

«4) Побудить правительственныя учрежденія и лица къ болѣе внимательному отношенію къ выразившимся насущнымъ потребностямъ народа и общества и къ его представителямъ. Нельзя не оказывать благорасположеннаго участія къ нуждамъ духовенства, къ заявленіямъ дворянства, къ дѣятельности земства, къ потребностямъ городовъ. Слѣдуетъ дать ходъ такимъ предположеніямъ, кои давно уже намѣчены Высочайшею волею Вашего Императорскаго Величества и осуществленіе коихъ останавливается въ канцеляріяхъ и всякаго рода коммиссіяхъ. Полезно было бы привлекать и дворянство, и земство, и города къ участію въ такихъ вопросахъ, которые близко касаются ихъ мѣстныхъ нуждъ».

«5) Возстановить утраченное учебнымъ вѣдомствомъ довѣріе всѣхъ сословій и всѣхъ слоевъ общества, не касаясь коренныхъ основъ учебной системы. Необходимыя для этого измѣненія въ личномъ составѣ управленія учебнымъ вѣдомствомъ будутъ встрѣчены величайшимъ сочувствіемъ всею Россіею. Безъ этихъ измѣненій успѣхъ принимаемыхъ мѣръ будетъ постоянно парализоваться новымъ наслоеніемъ вредныхъ элементовъ, тревожныхъ для настоящаго и грустныхъ для будущаго».

«Направленіе вѣдомствъ» —такъ кончался докладъ— «зависитъ преимущественно отъ лицъ, стоящихъ во главѣ ихъ. Задача ихъ — быть точными исполнителями благихъ предначертаній Вашего Величества на счастіе Россіи и ея народовъ. Велика ихъ отвѣтственность передъ потомствомъ и глубоко должно быть сознаніе ихъ въ томъ, что они— слуги своего дѣла и что одна изъ существеннѣйшихъ ихъ цѣлей есть привлеченіе сердецъ къ источнику власти въ Россіи. Въ тяжкія минуты государственной жизни, подобныя переживаемымъ нынѣ, они

болѣе, чѣмъ когда-либо, должны стоять на высотѣ своего призванія, и по складу способностей, и по любви къ управляемымъ. Безъ этихъ условій, вмѣстѣ соединенныхъ, они не могутъ быть достойными исполнителями воли своего Государя и приносятъ не пользу, а вредъ, грозящій усиленіемъ тѣхъ осложненій, которыя привели насъ къ настоящему тяжелому времени».

Одобренныя Императоромъ Александромъ мысли, изложенныя въ докладѣ графа Лорисъ-Меликова, легли въ основаніе всей его дальнѣйшей дѣятельности. Одновременно графъ Толстой уволенъ отъ должностей министра народнаго просвѣщенія и оберъ-прокурора Св. Синода и замѣненъ въ первой изъ нихъ А. А. Сабуровымъ, во второй—К. П. Побѣдоносцевымъ. Облеченный безграничнымъ Монаршимъ довѣріемъ, графъ Лорисъ-Меликовъ въ циркулярѣ къ генералъ-губернаторамъ, сообщилъ имъ новыя начала, усвоенныя правительствомъ въ борьбѣ съ соціально-революціоннымъ движеніемъ, и пригласилъ ихъ сообразоваться съ ними, указавъ на двойную цѣль, къ коей должны быть направлены всѣ усилія властей: неуклонное преслѣдованіе злоумышленниковъ и успокоеніе благонадежныхъ общественныхъ элементовъ возбужденіемъ въ нихъ сочувствія къ правительственной дѣятельности.

6-го августа состоялся именной Высочайшій указъ Правительствующему Сенату, въ которомъ изображено: «Слѣдя, со дня учрежденія Верховной Распорядительной Коммиссіи, за мѣропріятіями главнаго начальника оной, мы убѣдились, что ближайшая цѣль учрежденія Коммиссіи—объединеніе дѣйствій всѣхъ властей для борьбы съ крамолою—настолько уже достигнута вполнѣ, согласными съ видами нашими, распоряженіями генералъ-адъютанта графа Лорисъ-Меликова, что дальнѣйшія указанія наши по охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія могутъ быть приводимы въ исполненіе въ общеустановленномъ законномъ порядкѣ, съ нѣкоторымъ лишь расширеніемъ круга вѣдѣнія министра внутреннихъ дѣлъ“.

Министромъ внутреннихъ дѣлъ назначенъ генералъ-адъютантъ гр. Лорисъ-Меликовъ; товарищемъ министра—ближайшій его сотрудникъ и довѣренный совѣтникъ, статсъ-секретарь Кахановъ; вторымъ товарищемъ—свиты Его Императорскаго Величества генералъ-маіоръ Черевинъ.

Тотчасъ по вступленіи въ должность министра внутреннихъ дѣлъ, графъ Лорисъ-Меликовъ представилъ на благоусмотрѣніе Государя соображенія свои о важной правительственной мѣрѣ. „Къ числу самыхъ правильныхъ средствъ», писалъ онъ во всеподданнѣйшемъ докладѣ отъ 11 августа, «къ повѣркѣ дѣйствій мѣстныхъ властей и къ изученію потребностей различныхъ частей обширной Россійской Имперіи, принадлежали, въ царствованіе въ Бозѣ почивающаго Госу-

даря Императора Николая Павловича, ревизіи губерній особо назначавшимися сенаторами. Ревизіи эти имѣли всегда самыя благотворныя послѣдствія и, содѣйствуя къ оживленію мѣстной жизни, доставляли высшему правительству неоцѣнимые матеріалы, какъ для точнаго опредѣленія дѣйствительнаго положенія обревизованныхъ губерній, такъ и для выясненія необходимыхъ мѣръ къ исправленію замѣченныхъ неустройствъ». Такія ревизіи, и съ тою же цѣлью, министръ признавалъ крайне полезными и въ настоящее время, въ видахъ прочнаго охраненія государственнаго порядка и общественнаго спокойствія. По мнѣнію его, онѣ послужили бы также къ выясненію разнообразныхъ воззрѣній, и, вообще, настроенія умовъ внѣ столичныхъ центровъ, и къ пополненію современными данными, имѣющихся въ разныхъ вѣдомствахъ свѣдѣній по слѣдующимъ, подлежащимъ разрѣшенію, вопросамъ: преобразованіе административныхъ губернскихъ учрежденій сообразно потребностямъ времени, способы къ прочному объединенію полицейскихъ властей, уясненіе степени распространенія соціально-революціонной пропаганды, изученіе вліянія административныхъ высылокъ и проч. „Настоящая минута», продолжалъ гр. Лорисъ-Меликовъ, „была бы въ высшей степени удобною для назначенія сенаторскихъ ревизій въ шести или семи губерніяхъ различныхъ полосъ Имперіи. Ревизіи эти были бы крайне полезны не только для вѣдомства министерства внутреннихъ дѣлъ, но, безъ сомнѣнія, и для другихъ вѣдомствъ, которыя могли бы также дополнить этимъ путемъ свѣдѣнія свои по многимъ, весьма важнымъ предметамъ, какъ, напримѣръ, по предрѣшенному уже Вашимъ Величествомъ вопросу о замѣнѣ подушной подати. Самое назначеніе ревизій не можетъ, по моему убѣжденію, не произвести весьма успокоительнаго впечатлѣнія на общество, какъ новое доказательство Высочайшаго Вашего Величества попеченія о благѣ народномъ».

Императоръ Александръ утвердилъ предположенія министра внутреннихъ дѣлъ, согласно коимъ назначены для производства ревизіи сенаторы: Ковалевскій — въ губерніяхъ Казанской и Костромской, впослѣдствіи въ Оренбургской и Уфимской; Мордвиновъ—въ Тамбовской и Воронежской; Половцевъ—въ Кіевской и Черниговской; Шамшинъ—въ Самарской и Саратовской.

Коммиссія изъ представителей разныхъ вѣдомствъ выработала особое наставленіе ревизующимъ сенаторамъ, поднесенное министромъ юстиціи на Высочайшее утвержденіе. Наставленіе это представляло программу, широко охватывавшую всѣ главнѣйшія отрасли внутренняго управленія. Сенаторы приглашались подвергнуть тщательному изслѣдованію и подробной разработкѣ нижеслѣдующія вопросы:

1) *По вѣдомству министерства внутреннихъ дѣлъ*: о распространеніи въ Россіи соціально-революціонныхъ лжеученій; объ админи-

стративной высылкѣ и ея послѣдствіяхъ; о настроеніи умовъ крестьянскаго населенія, въ особенности, по поводу слуховъ о новомъ надѣленіи землею; объ экономическомъ положеніи мѣстнаго населенія въ связи съ причинами упадка народнаго благосостоянія и общественной нравственности; о недостаткахъ мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій и въ частности, общественнаго крестьянскаго управленія; о предоставленномъ сельскимъ обществамъ правѣ исключать или не принимать обратно порочныхъ своихъ членовъ; о дѣятельности земскихъ учрежденій и о степени удовлетворительности личнаго ихъ состава, а также о пререканіяхъ земствъ съ правительственными органами; о правильности примѣненія Городового Положенія; о преобразованіи и объединеніи дѣйствій всѣхъ административныхъ учрежденій въ губерніяхъ и уѣздахъ, а равно и полицейскихъ властей различныхъ наименованій; объ отношеніяхъ Корпуса жандармовъ къ общей полиціи; о санитарныхъ условіяхъ городовъ; о положеніи раскольниковъ и евреевъ. 2) *По судебному вѣдомству*: объ отношеніяхъ прокурорскаго надзора къ судебнымъ и административнымъ учрежденіямъ; о личномъ и количественномъ его составѣ; о состояніи мѣстъ заключенія и о надзорѣ за арестантами; объ участіи полиціи въ разслѣдованіи преступленій; объ улучшеніи порядка составленія списковъ присяжныхъ засѣдателей; о степени удовлетворительности мировыхъ судебныхъ установленій; о присяжныхъ повѣренныхъ и другихъ лицахъ, коимъ предоставлено право ходатайствовать предъ судомъ; о порядкѣ исполненія судебныхъ рѣшеній по гражданскимъ дѣламъ. 3) *По финансовому вѣдомству*: о предположенномъ сліяніи управленій акцизнымъ сборомъ съ казенными палатами; о тяжести и недостаткахъ подушной подати; о причинахъ накопленія недоимокъ, какъ постоянныхъ, такъ и случайныхъ, и о мѣрахъ къ ихъ предотвращенію; объ отмѣнѣ акциза на соль; о положеніи ремесленнаго, фабричнаго и заводскаго населенія; о техническомъ образованіи и недостаткѣ въ техникахъ; о вліяніи сельскихъ банковъ, ссудо-сберегательныхъ кассъ и товариществъ на благосостояніе крестьянъ; о положеніи евреевъ въ промышленности и торговлѣ; о недостаткахъ паспортной системы. 4) По *вѣдомству государственныхъ имуществъ*: о сліяніи мѣстныхъ органовъ этого министерства съ общими губернскими учрежденіями; о недостаткахъ существующаго порядка сдачи въ аренду казенныхъ оброчныхъ статей; о сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ; о переселенческомъ движеніи; о привлеченіи земствъ и частныхъ лицъ къ совокупной съ министерствомъ дѣятельности по сельскому хозяйству; о введеніи правильнаго лѣсного хозяйства и о мѣрахъ къ охраненію лѣсовъ; о взаимныхъ отношеніяхъ сельскихъ хозяевъ и рабочихъ; о введеніи минеральнаго топлива. 5) *По вѣдомству народнаго просвѣщенія*: о состояніи университетовъ Казанскаго и св. Владиміра

въ Кіевѣ, и о взаимныхъ отношеніяхъ попечителей учебныхъ округовъ съ университетскими совѣтами; о среднемъ образованіи вообще и въ частности о положеніи реальныхъ училищъ и учительскихъ семинарій, училищъ городскихъ и народныхъ; о привлеченіи земствъ и городовъ къ болѣе дѣятельному участію въ народномъ образованіи. 6) *По вѣдомству путей сообщенія:* о содержаніи и распредѣленіи бечевниковъ и о денежныхъ сборахъ съ судовъ; о порядкѣ завѣдыванія шоссейными дорогами; о привлеченіи земствъ и городовъ къ устройству подъѣздныхъ путей къ желѣзнымъ дорогамъ и къ судоходнымъ рѣкамъ и каналамъ.

Осенью 1880 года ревизующіе сенаторы отправились къ мѣстамъ своего назначенія.

Между тѣмъ, нѣсколько коммиссій дѣятельно трудились надъ преобразованіемъ и улучшеніемъ разныхъ частей управленія. Одной изъ нихъ порученъ былъ пересмотръ всѣхъ дѣйствующихъ узаконеній о печати; другая занималась разсмотрѣніемъ списковъ административно-ссыльныхъ и поднадзорныхъ и примѣненіемъ къ нимъ новыхъ, выработанныхъ сенаторомъ Ковалевскимъ, правилъ.

Наступилъ 1881 годъ.

Въ концѣ января графъ Лорисъ-Меликовъ свидѣтельствовалъ, во всеподданѣйшемъ докладѣ, о благотворныхъ послѣдствіяхъ принятой правительствомъ системы постепеннаго возвращенія государственной жизни къ правильному ея теченію, удовлетворяющему, по его выраженію, внутреннимъ стремленіямъ благомыслящей части общества и укрѣпляющему временно поколебленное довѣріе населенія къ силѣ и прочности правительственной власти въ Россіи. Результаты эти графъ приписывалъ ряду государственныхъ мѣръ, принятыхъ со времени назначенія его начальникомъ Верховной Распорядительной Коммиссіи, и впослѣдствіи—министромъ внутреннихъ дѣлъ. Но, разсуждалъ онъ, въ видахъ прочнѣйшаго порядка, слѣдуетъ воспользоваться наступившимъ успокоеніемъ умовъ. «Великія реформы царствованія Вашего Величества“,—читаемъ далѣе въ докладѣ,—„вслѣдствіе событій, обусловленныхъ совмѣстными съ ними, но не ими вызванными проявленіями ложныхъ соціальныхъ ученій, представляются до сихъ поръ, отчасти не законченными, а отчасти не вполнѣ согласованными между собою. Кромѣ того, многіе, первостепенной государственной важности вопросы, давно уже предуказанные Державною волею, остаются безъ движенія въ канцеляріяхъ разныхъ вѣдомствъ. Для законченія реформъ и для разрѣшенія стоящихъ на очереди вопросовъ въ центральныхъ управленіяхъ имѣется уже много матеріаловъ, добытыхъ опытомъ прошедшихъ лѣтъ и пріуготовительными работами. Сенаторскія ревизіи, имѣющія главною цѣлью изслѣдованіе настоящаго положенія провинціи и мѣстныхъ потребностей, должны внести богатый

вкладъ въ эти матеріалы и уяснить мѣстными данными то направленіе, какое для успѣха дѣла необходимо будетъ дать предстоящимъ преобразовательнымъ работамъ центральныхъ учрежденій; но и эти данныя, при окончательной разработкѣ ихъ, несомнѣнно окажутся недостаточными безъ практическихъ указаній людей, близко знакомыхъ съ мѣстными условіями и потребностями».

Основываясь на этихъ соображеніяхъ, министръ внутреннихъ дѣлъ признавалъ, что призваніе общества къ участію въ разработкѣ необходимымъ для настоящаго времени мѣропріятій и есть именно то средство, которое „и полезно, и необходимо для дальнѣйшей борьбы съ крамолою“. Важнымъ и подлежащимъ зрѣлому обсужденію представлялся при этомъ способъ осуществленія этой мысли.

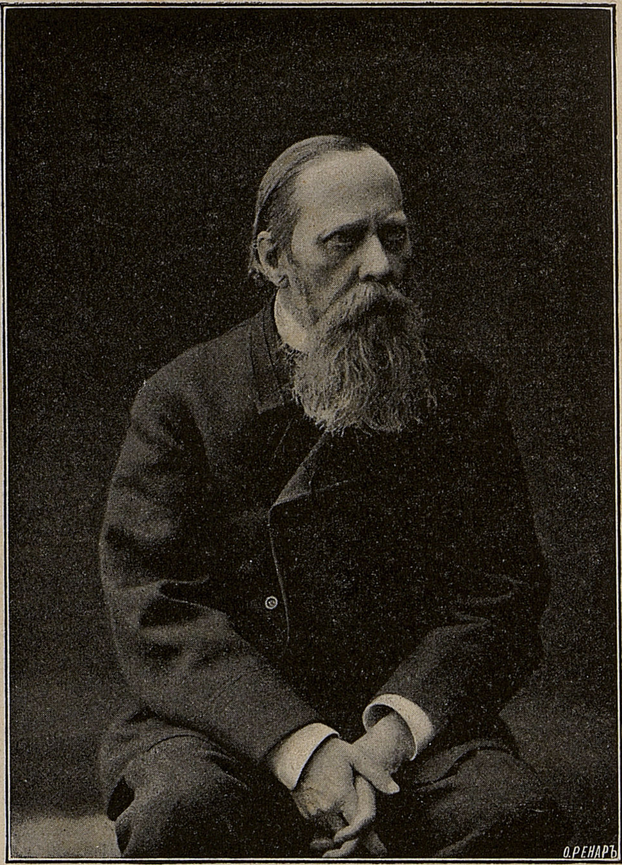
Графъ Лорисъ-Меликовъ снова и энергически высказался противъ организаціи народнаго представительства въ Россіи, а почиталъ наиболѣе цѣлесообразнымъ порядокъ разсмотрѣнія предстоявшихъ разрѣшенію правительства задачъ, уже испытанный въ первые годы царствованія Императора Александра II.

По его мнѣнію, слѣдовало остановиться на учрежденіи въ С.-Петербургѣ временныхъ подготовительныхъ коммиссій, на подобіе организованныхъ въ 1859 году редакціонныхъ коммиссій съ тѣмъ, чтобы работы этихъ коммиссій были подвергаемы разсмотрѣнію, съ участіемъ лицъ, взятыхъ изъ среды земства и нѣкоторыхъ значительныхъ городовъ.

1-го марта, въ $12^1/_2$ часовъ дня, Государь одобрилъ составленный въ этомъ смыслѣ проектъ правительственнаго сообщенія, повелѣвъ, чтобы до напечатанія его въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ проектъ былъ выслушанъ въ засѣданіи Совѣта Министровъ, созванномъ на 4-е марта.

Въ 3 часа 35 минутъ по полудни не стало Императора Александра II. (стр. 878—889).

Читальня-библіотека имени А. И. Герцена въ Ниццѣ



Софьѣ Петровнѣ и Николаю Петровичу Богословскимъ въ знакъ глубокой признательности и благодарности. М. Салтыковъ

М. Е. Салтыковъ.

Тип. К. Ѳ. Александрова.

Изъ воспоминаній о М. Ев. Салтыковѣ *).

I.

Я намѣреваюсь передать здѣсь все, что осталось у меня въ памяти о послѣдней заграничной поѣздкѣ М. Е. Салтыкова, предпринятой имъ лѣтомъ 1885 года въ Висбаденъ, гдѣ мнѣ пришлось прожить съ нимъ 4 недѣли подъ одной крышей и ежедневно проводить съ нимъ многіе часы.

Знакомству нашему тогда исполнилась уже десятилѣтняя давность и, начавшись въ 1875 г., во время его тяжкой болѣзни, въ формѣ отношеній паціента и врача, оно впослѣдствіи приняло болѣе интимный и пріятельскій характеръ и, послѣ выѣзда моего за границу въ 1881 г., поддерживалось постоянно оживленной перепиской. Корреспондентъ онъ былъ изумительный по аккуратности,—и я всегда удивлялся, какъ при обиліи своихъ письменныхъ работъ онъ не только не тяготился часто писать письма, но и любилъ самъ ихъ получать; стоило только на недѣлю замѣшкаться отвѣтомъ къ нему, какъ

---

*) Въ бумагахъ покойнаго Н. А. Бѣлоголоваго, между прочимъ, оказалось нѣсколько отрывочныхъ воспоминаній о другѣ его М. Е. Салтыковѣ. Н. А. нѣсколько разъ принимался за эту работу, но не успѣлъ ее окончить. Въ началѣ 1895 г., за нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти, онъ принялся за окончательную отдѣлку своихъ воспоминаній, но не успѣлъ привести въ исполненіе своего намѣренія. Согласно предсмертному желанію покойнаго Н. А. мною приведены въ возможный порядокъ оставшіеся отрывки.

Г. Д.

онъ тотчасъ же разражался или жестокимъ выговоромъ или жалкими упреками, въ родѣ того, „что онъ всѣмъ надоѣлъ“, „всѣ его забываютъ“ и т. п. Здоровье его было съ давнихъ поръ плохо, но, любя горячо свои литературныя занятія, онъ чуть не цѣлые дни просиживалъ за своимъ письменнымъ столомъ, читалъ, писалъ и въ этомъ любимомъ трудѣ находилъ до нѣкоторой степени отвлеченіе отъ мучительныхъ припадковъ и свойственной ему хандры. Къ веснѣ 1885 г. не вдругъ, а мало-по-малу ему стало дѣлаться замѣтно хуже: сначала начали его безпокоить нервныя боли въ глазахъ, не связанныя ни съ какимъ очевиднымъ поврежденіемъ зрительнаго аппарата, а между тѣмъ заставившія его отказаться отъ обычнаго чтенія, а вслѣдъ затѣмъ появились судорожныя сокращенія въ мышцахъ тѣла, особенно выраженныя въ рукахъ, головѣ и верхней части туловища, и до такой степени сильныя, что писаніе стало для него не только затруднительнымъ, а почти невозможнымъ; не будучи такимъ образомъ въ состояніи отдаваться своему обычному времяпрепровожденію и видя въ этомъ ухудшеніи наступленіе финала своей писательской дѣятельности, онъ, понятно, сдѣлался еще болѣе раздражительнымъ и сильно затосковалъ.....

Съ Салтыковымъ я познакомился въ 1874 г., когда онъ явился въ первый разъ въ мои пріемные часы для бѣдныхъ, чтобы посовѣтоваться о своемъ здоровьи; раньше я его видѣлъ всего разъ или два у Г. З. Елисѣева на собраніи редакціи *Отечественныхъ записокъ*, но мелькомъ, и не рѣшался съ нимъ познакомиться, видя его суровость, не поощрявшую меня на такой шагъ, и отчасти уже наслышавшись о его непривѣтливости къ незнакомымъ людямъ. Когда я его осмотрѣлъ у себя, то нашелъ рѣзко выраженный порокъ сердца, именно недостаточность 3-хъ створчатаго клапана аорты и застарѣлый катарръ легкихъ и глотки, далъ надлежащій совѣтъ и особенно настаивалъ, чтобы онъ велъ болѣе правиль-

ную и діэтичную жизнь, не засиживался въ ночь за картами, какъ можно меньше пилъ французскихъ винъ, а до картъ и до вина онъ въ то время былъ большой охотникъ. Онъ горячо протестовалъ противъ такихъ ограниченій, но, казалось, убѣдился моими доказательствами, что въ его болѣзни правильный образъ жизни и разумная гигіена неизмѣримо важнѣе всякихъ аптечныхъ средствъ.

Послѣ этого свиданія мы не видались нѣсколько мѣсяцевъ. Помнится, въ декабрѣ того же года у него померла мать и онъ долженъ былъ ѣхать въ Тверскую губернію въ деревню, гдѣ она скончалась. Время было сырое и холодное, и изъ этого путешествія онъ вернулся въ Петербургъ съ явленіями суставнаго ревматизма пальцевъ, не обративъ на это вниманія, пока въ мартѣ не разразился надъ нимъ сильный суставный параличъ; тогда онъ слегъ въ постель и послалъ за мной. Жилъ онъ тогда на Пескахъ, въ домѣ кн. Курцевича, занимая 3-й этажъ. Болѣзнь шла бурно, съ осложненіями въ формѣ воспаленія сердечной мышцы и плевры; все это, вмѣстѣ съ сильной лихорадкой, безсонными ночами, полнымъ отсутствіемъ аппетита такъ его изнуряло, что я нѣкоторое время сомнѣвался въ возможности спасти его, однако черезъ двѣ недѣли ему стало немного получше. Во время тяжкаго періода онъ былъ кротокъ и послушно исполнялъ всѣ предписанія, но по мѣрѣ того какъ осложненія болѣе или менѣе уступили и силы стали возвращаться, онъ все дѣлался нетерпѣливѣе и особенно раздражался тѣмъ, что ревматическая опухоль и боль снова и снова возобновлялись въ тѣхъ суставахъ, которые нѣсколько дней оставались совершенно свободными и какъ бы здоровыми. „Да что же это? когда же это наконецъ кончится?—кричалъ онъ, видя меня входящимъ; полюбуйтесь, какъ опять вздуло это плечо“! и т. п. И для меня становилось яснымъ съ теченіемъ болѣзни, что ревматизмъ его приметъ затяжную форму и можетъ про-

длиться въ петербургскихъ условіяхъ неопредѣленное время съ вѣроятіемъ на періодическія ухудшенія, а потому я настоялъ на необходимости поѣздки за границу и тѣмъ скорѣйшей, что петербургская весна съ своей внезапной перемѣнчивостью погоды грозила отозваться не благопріятно на дальнѣйшемъ ходѣ болѣзни. Салтыковъ сгоряча сильно возсталъ противъ моего предложенія; замѣчательно, что, проживъ до 50 лѣтъ на свѣтѣ и будучи радикальнымъ западникомъ по убѣжденіямъ, онъ ни разу не удосужился и не искалъ случая побывать за границей, а потому мысль пуститься въ путешествіе ему теперь, больному, да еще въ добавокъ съ плохимъ знаніемъ языка, такъ какъ я ему предлагалъ южную Германію, казалась ему тѣмъ болѣе ужасной и неосуществимой. Однако уговоры мои восторжествовали надъ его страхами и во второй половинѣ апрѣля, его, скованнаго еще ревматизмомъ, переложили изъ извощичьей кареты въ вагонъ желѣзной дороги и съ семьей отправили въ Баденъ-Баденъ...

II.

М. Е. Салтыковъ родился въ январѣ 1826 г. въ селѣ Спасскомъ, Калязинскаго уѣзда, Тверской губ. Отецъ его былъ столбовой помѣщикъ, женившійся на купчихѣ; отъ брака этого родилось 5 сыновей и 3 сестры. Семья была дикая и нравная, отношенія между членами ея отличались какой-то звѣрской жестокостью, чуждой всякихъ теплыхъ родственныхъ сторонъ; объ этихъ отношеніяхъ можно отчасти судить по повѣсти „Семейство Головлевыхъ“, гдѣ Салтыковъ воспроизвелъ нѣкоторые типы своихъ родственниковъ и ихъ взаимную вражду и ссоры, но только отчасти, потому что, по словамъ ав-

тора, онъ почерпнулъ изъ дѣйствительности только типы, въ развитіи же фабулы разсказа и судьбы дѣйствующихъ лицъ допустилъ много вымысла. Отецъ былъ человѣкъ смирный и находился совсѣмъ подъ башмакомъ жены, которая была и умнѣе, и отличалась чрезвычайно властнымъ характеромъ; она же завѣдывала и всѣмъ сельскимъ хозяйствомъ и значительно увеличила фамильную собственность, прикупивъ нѣсколько имѣній.

Первымъ учителемъ Салтыкова былъ какой-то сельскій учитель въ фризовомъ сюртукѣ, но это продолжалось недолго, ибо вскорѣ вернувшаяся изъ какого-то петербургскаго института старшая сестра занялась обученіемъ братьевъ; она была очень строга и за всякую провинность била братьевъ линейкою такъ жестоко, что, вспоминая объ этомъ періодѣ своего воспитанія, М. Е. говорилъ съ содроганіемъ. Въ 1837 г. М. Е. былъ отвезенъ въ Москву въ дворянскій институтъ, въ которомъ провелъ около 2-хъ лѣтъ, а оттуда въ 1839 г. переведенъ былъ въ Петербургъ въ Царскосельскій лицей какъ лучшій воспитанникъ. Но въ лицеѣ онъ сталъ учиться гораздо хуже и кончилъ курсъ въ 1844 году; особенно шаловливъ не былъ. Разсказывая объ этомъ, онъ очень жалѣлъ, что ему не удалось кончить курсъ въ дворянскомъ институтѣ и поступить въ университетъ; винилъ онъ въ этомъ своего дядьку, который былъ присланъ изъ деревни родителями для ухода за нимъ. Въ то время было въ обычаѣ, что многіе баричи поступали въ дворянскій институтъ съ своими дядьками изъ крѣпостныхъ, и дядьки эти дѣлались какъ бы комнатными сторожами, получая казенное жалованье отъ института въ 25 р. ассигн. въ мѣсяцъ. Когда вышло распоряженіе о присылкѣ изъ дворянскаго института двухъ лучшихъ воспитанниковъ въ Царскосельскій лицей, то директоръ предложилъ 13-ти-лѣтнему Салтыкову поступить въ лицей на казенный счетъ,—и Салтыковъ отказался, предпочитая поступить въ московскій университетъ; тогда

дядька увѣдомилъ о томъ родителей, и мать сильно разсердилась на сына за этотъ отказъ и принудила перейти его въ лицей. Въ лицеѣ преподаваніе предметовъ велось тогда поверхностно, такъ что отлично приготовленному Салтыкову вначалѣ пришлось повторять зады и бездѣльничать, онъ сталъ понемногу залѣниваться, а затѣмъ и во все пребываніе въ лицеѣ учился плоховато; въ 1844 г., на 18-мъ году, онъ кончилъ курсъ и выпущенъ на службу.

Въ лицеѣ онъ пристрастился къ литературѣ и сталъ много читать; тогда же у него явилась страсть писать стихи, о которыхъ вспоминалъ впослѣдствіи съ большимъ сарказмомъ, особенно о неоконченной своей трагедіи „Коріоланъ". Первое его стихотвореніе было напечатано въ *Библіотекѣ для чтенія*, а вскорѣ около 10 стихотвореній появилось въ *Современникѣ*, издававшемся Плетневымъ; Плетневъ до того заинтересовался юнымъ сотрудникомъ, что пріѣхалъ разъ на экзаменъ, но, какъ увѣрялъ М. Е., едва ли составилъ себѣ о немъ хорошее впечатлѣніе, потому что сотрудникъ на экзаменѣ отвѣчалъ плоховато, по обыкновенію. Замѣчательно, что по выходѣ изъ лицея Салтыкову болѣе никогда и въ голову не приходило заниматься поэзіею. Вскорѣ потомъ онъ сошелся со многими изъ петрашевцевъ, и хотя на ихъ тайныхъ собраніяхъ не бывалъ, но посѣщалъ какой-то кружокъ изъ 5—6 человѣкъ, на которомъ читались разныя сочиненія Фурье и школы сенъ-симонистовъ.

Въ 1847 г. онъ напечаталъ въ *Современникѣ* же первую свою повѣсть подъ заглавіемъ, кажется, „Противорѣчіе", о которой, какъ онъ говорилъ, ему даже вспоминать стыдно, до того она была дика и восторженна и написана подъ очевиднымъ впечатлѣніемъ фурьевскихъ тенденцій; подписана она была псевдонимомъ Неполевымъ; Бѣлинскій отозвался, что это произведеніе есть бредъ больного ума. Вторая повѣсть Салтыкова была „Запутанное дѣло"; написана она и проще, и остроумнѣе,

и въ ней уже начинаетъ скользить незаурядное дарованіе автора.

Вскорѣ тутъ же литературной дѣятельности Салтыкова былъ положенъ предѣлъ на очень многіе годы. Грянула революція 1848 г., пронеслась искрою по всей Западной Европѣ и всколыхнула до того непоколебимые престолы нѣмецкихъ государей.... Помимо суда надъ несчастными петрашевцами, назначена была особенная коммиссія подъ предсѣдательствомъ Бутурлина, чтобы розыскать, не скрываются ли гдѣ-нибудь въ Россіи задатки пагубныхъ ученій, охватившихъ Европу. Коммиссія обратила вниманіе на обѣ повѣсти, написанныя Салтыковымъ, и отмѣтила ихъ какъ неблагонамѣренныя, а Бутурлинъ при встрѣчѣ съ военнымъ министромъ княземъ Чернышевымъ вскользь замѣтилъ, что въ его канцеляріи находится въ лицѣ Салтыкова чиновникъ вольнаго образа мыслей. Дѣло обѣщало кончиться пустяками, выговоромъ не больше, но какъ разъ въ это время Салтыковъ захворалъ и подалъ князю Чернышеву прошеніе объ увольненіи его въ отпускъ въ деревню для леченія. Чернышевъ при пріемѣ прошенія вспомнилъ предупрежденіе Бутурлина относительно Салтыкова и заблагоразсудилъ доложить о преступномъ образѣ мыслей своего подчиненнаго государю, а послѣдній положилъ резолюцію выслать Салтыкова въ Вятку. Салтыковъ былъ призванъ къ министру и ему была объявлена высочайшая резолюція, гласившая, что его „за распространеніе идей, потрясшихъ Европу, слѣдовало бы отдать въ солдаты, но, снисходя къ носимому имъ имени и къ молодости лѣтъ, государь повелѣть соизволилъ выслать его въ Вятку на службу подъ непосредственное наблюденіе губернатора“; по выслушаніи этого рѣшенія преступникъ прямо изъ министерства былъ отвезенъ на адмиралтейскую гауптвахту, а черезъ два дня отправленъ съ жандармами на мѣсто высылки.

Вятскимъ губернаторомъ былъ въ то время Середа,

прямо въ домъ котораго и привезенъ былъ жандармами Салтыковъ, но губернаторъ не вышелъ къ нему, а отправилъ къ полицiймейстеру, который и принялъ вновь прибывшаго подъ расписку. Середа вскорѣ причислилъ Салтыкова въ штатъ чиновниковъ губернскаго правленiя, что показалось послѣднему очень обиднымъ и онъ обратился къ вице - губернатору, бывшему также лицеисту, за совѣтомъ, что ему дѣлать. Вице-губернаторъ посовѣтовалъ своему однокашнику не ходить вовсе къ должности,—и не прошло и мѣсяца, какъ Середа получилъ разомъ два письма, одно отъ бывшаго тогда директора хозяйственнаго департамента Николая А. Милютина, а другое — отъ извѣстнаго географа Ханыкова, въ которыхъ оба эти влiятельныя лица просили обратить вниманiе на молодого Салтыкова и облегчить его участь; тогда губернаторъ быстро измѣнилъ свои отношенiя къ Салтыкову и сдѣлалъ своимъ чиновникомъ особыхъ порученiй, а впослѣдствiи совѣтникомъ губернскаго правленiя; на этомъ мѣстѣ онъ оставался до окончанiя своей ссылки, живя почти безвыѣздно въ Вяткѣ и занимаясь почти исключительно собиранiемъ свѣдѣнiй для подготовлявшагося въ то время Городоваго Положенiя.

Жизнь въ Вяткѣ тянулась однообразная и безцвѣтная, интеллигентныхъ людей было мало, за исключенiемъ нѣсколькихъ сосланныхъ поляковъ, съ которыми хотя Салтыковъ и былъ знакомъ, но не коротко; жизнь проходила въ мало интересной службѣ и въ карточной игрѣ по вечерамъ; отъ скуки и слѣдуя общему обыкновенiю въ это время Салтыковъ пристрастился-было къ употребленiю водки. Писать онъ тамъ и не пробовалъ; „даже подобной мысли въ голову не приходило,—говорилъ онъ, —до того заѣдала эта тупая и пошлая среда; я только видѣлъ всѣ безобразiя провинцiальной жизни, но не вдумывался, а какъ бы впитывалъ ихъ тѣломъ, и только по возвращенiи въ Петербургъ, когда я снова очутился въ литературномъ кругу, я рѣшился изобразить пережитое въ „Губернскихъ Очеркахъ“.

Неоднократно пытались многіе хлопотать о переводѣ Салтыкова въ другія губерніи, чтобы вызвать его изъ опротивѣвшей ему по горло Вятки. Такъ, ген. Середа, назначенный командиромъ мещерякскаго войска, просилъ о назначеніи его въ Оренбургскій край, а также случайно проѣзжавшій черезъ Вятку генералъ-губернаторъ Восточной Сибири Муравьевъ (впослѣдствіи графъ Муравьевъ Амурскій), познакомившись съ Салтыковымъ, принялъ въ немъ участіе и просилъ у государя о назначеніи его въ число состоявшихъ при немъ чиновниковъ, но въ отвѣтъ на эти ходатайства получался короткій отвѣтъ: „рано“. Такъ наступила русско-турецкая война 1854 — 55 г.; военныя силы Россіи вскорѣ истощились и потребовалось свѣжее подкрѣпленіе со стороны населенія; вездѣ стали создаваться губернскія ополченія и дѣло дошло и до Вятской губерніи, а такъ какъ въ ней мало было видныхъ помѣщиковъ и дворянъ, то для принятія команды надъ вятскимъ ополченіемъ былъ присланъ генералъ-адьютантъ Ланской, женатый на вдовѣ поэта Пушкина. Салтыковъ познакомился съ Ланскими и часто бывалъ у нихъ въ домѣ; вскорѣ императоръ Николай умеръ, пошли перемѣны въ министрахъ и братъ Ланского сдѣланъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ; тогда Ланской изъ Вятки написалъ брату-министру письмо, въ которомъ просилъ ходатайствовать у царя за Салтыкова и въ отвѣтъ на это немедленно послѣдовало высочайшее распоряженіе о снятіи съ Салтыкова полицейскаго надзора и позволенія ѣхать ему изъ Вятки куда онъ пожелаетъ. Онъ въ ноябрѣ 1855 г. прямо поѣхалъ въ Петербургъ и попалъ туда какъ разъ въ ту благодатную эпоху оживленія, которое внесло въ мертвую русскую жизнь новое царствованіе; онъ снова возобновилъ старыя литературныя связи и кромѣ того поступилъ на службу чиновникомъ особыхъ порученій при министрѣ Ланскомъ.

Въ ноябрѣ же 1855 г., въ проѣздъ черезъ Москву,

онъ женился на Елизаветѣ Аполлоновнѣ Болтиной, съ которою познакомился въ Вяткѣ, но такъ какъ бракъ этотъ состоялся помимо желанія матери Салтыкова, которая до тѣхъ поръ считала М. Е—ча своимъ любимымъ сыномъ, то она очень разсердилась и въ наказаніе убавила, вмѣсто того чтобы прибавить, субсидію, присылаемую на прожитіе изъ дома. Жалованье по должности было далеко недостаточно, чтобы жить сносно въ Петербургѣ вдвоемъ, и нужда заставила Салтыкова снова приняться за литературную работу. Кто-то изъ знакомыхъ предложилъ помѣстить начало „Губернскихъ Очерковъ“ въ начинавшемся тогда *Русскомъ Вѣстникѣ* и взялся быть посредникомъ между авторомъ и Катковымъ; Катковъ того времени, какъ извѣстно, былъ не тотъ страшный бука, какимъ мы его знаемъ теперь; онъ тогда былъ въ либеральномъ лагерѣ и, усмотрѣвъ великія достоинства литературнаго дебютанта въ обличительномъ духѣ, охотно сталъ печатать его разсказы въ своемъ журналѣ.

Въ нашу задачу не входитъ слѣдить за постепеннымъ появленіемъ многочисленныхъ сочиненій Салтыкова; это сдѣлаютъ современемъ гораздо лучше насъ и обстоятельнѣе будущіе библіографы и біографы Салтыкова; цѣль нашихъ замѣтокъ сообщить только то, что намъ удалось слышать отъ самого Салтыкова о его жизни въ тѣхъ отрывистыхъ бесѣдахъ, которыя намъ довелось имѣть съ нимъ. Засвидѣтельствуемъ только какъ современники, что съ самаго появленія „Губернскихъ Очерковъ“ репутація его какъ первокласснаго писателя и сатирика была сдѣлана, и успѣхъ его среди читающей публики не только не уменьшался, а постепенно росъ до самой его смерти.

Черезъ нѣкоторое время онъ былъ назначенъ вице-губернаторомъ въ Рязань, и извѣстно, что при этомъ назначеніи Александръ II выразился: „я радъ этому и желаю, чтобы Салтыковъ и на службѣ дѣйствовалъ въ

томъ же духѣ, какъ онъ пишетъ“. Губернаторомъ въ Рязани былъ тогда Муравьевъ, старшій сынъ гр. Муравьева-Виленскаго, человѣкъ жестокій и страшный самодуръ; между нимъ и Салтыковымъ тотчасъ же начались безпрерывныя столкновенія и установились самыя невозможныя отношенія, кончившіяся тѣмъ, что черезъ два года Салтыковъ долженъ былъ перемѣнить мѣсто. Разсказывается по этому поводу слѣдующій анекдотъ. Когда Муравьевъ-отецъ спросилъ министра Ланского, получитъ ли его сынъ, Рязанскій губернаторъ, какую-нибудь царскую награду по случаю Пасхи, то министръ отвѣтилъ: „о! какъ же, поздравьте его, въ награду мы убираемъ отъ него Салтыкова въ Тверь“. Въ Тверь Салтыковъ былъ переведенъ тоже вице-губернаторомъ; тутъ онъ нашелъ всю обстановку гораздо симпатичнѣе, чѣмъ въ Рязани: тверское общество слыло тогда передовымъ, дворянство заключало въ своемъ кругу много образованныхъ людей, а предводителемъ былъ извѣстный А. М. Унковскій, одинъ изъ благороднѣйшихъ и безукоризненнѣйшихъ дѣятелей той эпохи, съ которымъ Салтыкова съ тѣхъ поръ связывала самая тѣсная и искренняя дружба; смѣло можно сказать, что онъ былъ и оставался до конца самымъ близкимъ человѣкомъ къ Салтыкову. Тверскимъ губернаторомъ былъ Барановъ, человѣкъ не особенно далекій, но очень добрый и ничѣмъ не перечившій, а скорѣе сочувствовавшій либеральнымъ стремленіямъ дворянства.

Изъ скудныхъ разсказовъ Салтыкова о своемъ пребываніи въ Твери цѣльнѣе всего былъ переданъ имъ разсказъ о представленіи его царю. Въ Твери тогда была расположена какая-то дивизія, кажется, кавалерійская, которую изрѣдка пріѣзжалъ инспектировать еще Николай Павловичъ; ради этой традиціи въ бытность тамъ Салтыкова пріѣхалъ какъ-то и императоръ Александръ II и остановился во дворцѣ, нѣкогда выстроенномъ для принца Ольденбургскаго. Къ обѣденному цар-

скому столу разъ удостоился быть приглашеннымъ и Салтыковъ: обѣдало всего человѣкъ около 40; кромѣ царя, тутъ были великіе князья Константинъ и Михаилъ, а изъ тверскихъ обывателей—губернаторъ, предводитель дворянства и Салтыковъ, какъ вице-губернаторъ; передъ обѣдомъ гр. Адлербергъ подвелъ Салтыкова къ царю и представилъ, и царь спросилъ только у него, откуда онъ родомъ и давно ли служитъ въ Твери. А послѣ обѣда подошелъ къ Салтыкову одинъ изъ свитскихъ и сказалъ, что великій князь Константинъ Николаевичъ желаетъ съ нимъ познакомиться и для этого указалъ ему въ коридорѣ у окна мѣсто, гдѣ просилъ подождать, какъ великій князь откланяется у царя и пройдетъ мимо. Вскорѣ дѣйствительно великій князь вышелъ и прямо подошелъ къ Салтыкову съ вопросомъ: „какъ ваша фамилія?“, а потомъ надѣлъ пенснэ и, осмотрѣвъ съ головы до пятокъ, шаркнулъ ногой и съ словами „честь имѣю кланяться“ молодцовато удалился. Салтыковъ передавалъ эту сцену съ удивительнымъ юморомъ.

Служба скоро надоѣла Салтыкову, и онъ, пробывши въ Твери около 2-хъ лѣтъ, вышелъ въ 1861 году въ отставку и переѣхалъ въ Петербургъ, чтобы посвятить свои силы исключительно литературѣ, и именно *Современнику*, гдѣ тогда большимъ вліяніемъ на журналъ пользовался Чернышевскій; Салтыковъ не отрицалъ, что и онъ многимъ обязанъ въ своемъ развитіи Чернышевскому. Но и литература его не удержала надолго, и черезъ два года онъ снова ѣдетъ на службу, на этотъ разъ предсѣдателемъ казенной палаты въ Пензу, послѣ Пензы переходитъ въ Тулу, и наконецъ, снова въ Рязань, все на то же предсѣдательское мѣсто.

Между своимъ переходомъ изъ Тулы на службу въ Рязань Салтыковъ пріѣзжалъ въ Петербургъ, это было, кажется, въ 1867 году, и тогда у Некрасова зародилась мысль взять въ аренду *Отечественныя Записки*; онъ высказалъ свой планъ Салтыкову и пригласилъ его быть

участникомъ въ предпріятіи на равныхъ правахъ. Салтыковъ готовъ былъ дать свое согласіе, но находилъ, что двухъ беллетристовъ во главѣ журнала недостаточно, чтобы поставить его на должную высоту, а что имъ надо пригласить третье лице, знакомое съ земскими и бытовыми вопросами, и указалъ какъ на такое подходящее лицо на Г. З. Елисѣева. Елисѣеву послали записку, но когда тотъ явился и узналъ въ чемъ дѣло, то напрямикъ объявилъ, что онъ съ такимъ подлецомъ, какъ Краевскій, въ соглашеніе входить ни за что не будетъ, и, надѣвъ шапку, удалился съ совѣщанія. Такъ предпріятіе и не состоялось и Салтыковъ, не имѣя средствъ къ существованію, снова долженъ былъ обратиться къ службѣ и принялъ мѣсто въ Рязани.

Но усидѣть ему долго тамъ не пришлось; продолжая писать и печатать, онъ неизбѣжно долженъ былъ навлекать на себя косые взгляды высшаго правительства, которому не могла нравиться такая сатирическая дѣятельность предсѣдателя казенной палаты,—и Александръ II, желавшій лѣтъ 10 назадъ, чтобы Салтыковъ примѣнялъ свои литературныя воззрѣнія на государственной службѣ, теперь нашелъ его двойственную дѣятельность неудобною и, по личному желанію царя, Салтыковъ былъ уволенъ въ отставку, причемъ однако же былъ награжденъ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и ежегодною пенсіею въ 1,000 руб. Благодаря этому обстоятельству, навсегда закончилась чиновная карьера Салтыкова, и онъ могъ остальную часть своей жизни посвятить исключительно литературѣ, гдѣ онъ, конечно, неизмѣримо больше принесъ пользы обществу, чѣмъ своими административными талантами.

Вернувшись въ Петербургъ съ тѣмъ, чтобы поселиться въ немъ навсегда, Салтыковъ засталъ уже *Отечественныя Записки* въ арендѣ у Некрасова и Елисѣева и тотчасъ же напомнилъ первому его обѣщаніе принять и его на равныхъ правахъ въ соредакторы, но Некра-

совъ сначала отказалъ, потому что журналъ шелъ небойко и не могъ вынести расхода на трехъ редакторовъ. Тогда Салтыковъ вступилъ въ *Отечественныя Записки* въ качествѣ простого сотрудника, но такъ какъ вскорѣ успѣхъ журнала сталъ расти, и главное, благодаря ежемѣсячно являвшимся статьямъ Салтыкова, то, по истеченіи года, Некрасовъ нашелъ полезнымъ сдѣлать его третьимъ равноправнымъ редакторомъ и такимъ образомъ обезпечить журналъ его постояннымъ сотрудничествомъ. Съ этого времени матеріальное состояніе нашего сатирика стало быстро улучшаться, потому что журналъ постепенно пріобрѣталъ большее распространеніе и, наконецъ, сталъ давать отличный дивидендъ своимъ редакторамъ; это финансовое улучшеніе тѣмъ болѣе было кстати, что у Салтыкова, такъ долго жившаго бездѣтнымъ, въ 1872 году родился сынъ Константинъ, а спустя годъ—дочь Елизавета.

Все шло хорошо до 1875 года, здоровьемъ онъ пользовался хорошимъ и велъ ту безалаберную жизнь, которая была тогда въ обычаѣ у петербургскихъ литераторовъ, и открыто былъ въ противорѣчіи всѣмъ правиламъ гигіены: днемъ сидѣлъ за работой, а вечера проводилъ за карточнымъ столомъ, много пилъ вина и поздно ложился спать. Въ декабрѣ 1874 года умерла въ Тверской губерніи его мать и онъ поѣхалъ на похороны; зима была лютая, въ поѣздкѣ онъ простудился и положилъ начало той болѣзни, которая такъ жестоко отравила все его послѣдующее существованіе. Вскорѣ по возвращеніи въ Петербургъ, у него открылся сильный ревматизмъ суставовъ, осложненный воспаленіемъ сердца; болѣзнь приняла такой оборотъ, что долго боялись за его жизнь,—и въ концѣ апрѣля его прямо съ постели врачи отправили въ Баденъ-Баденъ. До этого разу Салтыковъ за границей не бывалъ. Въ Баденъ-Баденѣ онъ поправился довольно быстро, такъ что осенью переѣхалъ въ Парижъ, на зиму въ Ниццу, а вес-

ной вернулся въ Петербургъ, но вернулся уже съ рѣзкою болѣзнью сердца, сдѣлавшей его инвалидомъ на всю остальную жизнь. Помимо жестокаго и не прекращавшагося съ тѣхъ поръ кашля и болѣзненныхъ ощущеній со стороны сердца, у него постепенно все болѣе и болѣе развивалось множество разнообразныхъ нервныхъ припадковъ, которые сдѣлали его очень мнительнымъ и заставляли безпрестанно прибѣгать къ медицинской помощи; онъ самъ не рѣдко говаривалъ, что страсть къ лѣченію его деморализируетъ, и все-таки продолжалъ глотать массу лѣкарствъ.

Литературная слава его продолжала расти и крѣпнуть и болѣзнь нисколько не отзывалась на его творческой способности и плодовитости; послѣ смерти Некрасова съ 1878 года онъ сталъ во главѣ тріумвирата, завѣдывавшаго изданіемъ—*Отечественныхъ Записокъ* и въ которомъ мѣсто Некрасова занялъ Н. К. Михайловскій; съ этого времени онъ сталъ подписываться подъ журналомъ какъ отвѣтственный редакторъ и на него же легли всѣ хлопоты по сношенію съ главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати, которыя съ каждымъ годомъ дѣлались все тяжелѣе и непріятнѣе. Жизнь онъ велъ очень замкнутую, изрѣдка ѣздилъ въ итальянскую оперу, да въ два—три знакомыхъ дома, гдѣ всегда для него устраивалась карточная партія. Такъ шло до февраля 1884 г., когда вышло запрещеніе *Отечественныхъ Записокъ*, поразившее Салтыкова своею неожиданностью; для характеристики отношеній правительства къ первоклассному русскому таланту можетъ служить то, что главное управленіе не сочло даже нужнымъ увѣдомить Салтыкова о запрещеніи издаваемаго имъ журнала, и онъ узналъ о немъ отъ одного пріятеля, прочитавшаго извѣстное „сообщеніе“ въ *Правительственномъ Вѣстникѣ* и забѣжавшаго выразить редактору свое соболѣзнованіе. Ударъ для Салтыкова, понятно, былъ весьма чувствителенъ, потому что сразу лишалъ его столь дорогого ему и привычнаго за-

нятія по редижированію изданія, и кромѣ того значительно урѣзывалъ его матеріальныя средства; но еще болѣе чувствительное разочарованіе нанесло отношеніе къ нему общества: не только онъ не нашелъ въ немъ никакихъ признаковъ сочувствія, какихъ въ правѣ былъ ожидать, но весьма многіе изъ его нѣкогда страстныхъ поклонниковъ стали теперь видимо сторониться отъ него, какъ отъ зачумленнаго. До ушей его дошло между прочимъ и такое развѣнчаніе его дѣятельности, какимъ ознаменовала себя нѣкогда столь либеральная Тверь; въ этомъ городѣ нѣсколько лѣтъ назадъ земство устроило мѣстный музей и вскорѣ послѣ открытія рѣшило поставить въ его залѣ бюстъ Салтыкова, какъ знаменитаго уроженца Тверской губерніи, какъ ея гордость и славу, — и бюстъ былъ выставленъ до тѣхъ поръ, пока правительственная кара не постигла *Отечественныхъ Записокъ*; но лишь только гроза разразилась надъ головой Салтыкова, тотчасъ же предсѣдатель тверской палаты Жизневскій (не разъ до того выражавшій лично старику свое восторженное поклоненіе передъ его талантомъ) предложилъ комитету, управлявшему музеемъ, убрать бюстъ, какъ изображеніе лица неблагонамѣреннаго, и хранить его на чердакѣ.

Таковъ былъ приговоръ родной губерніи, а если большинство остального общества и не отнеслось къ Салтыкову столь же демонстративно враждебно, то проявило такое полнѣйшее равнодушіе къ грубому прекращенію его дѣятельности, что все это подняло много горечи въ душѣ писателя и окончательно подорвало его силы. Смущало его и то, что талантъ его продолжалъ проситься наружу императивно и онъ не могъ зачесть себя въ число писателей, уже покончившихъ съ своею дѣятельностью; обличительная сатирическая струна звучала еще такъ громко и чутко, что онъ не могъ не писать, но мысль, — гдѣ печатать впредь свои произведенія,—ставила его въ большое затрудненіе. Онъ былъ друженъ

съ давнихъ поръ съ Юрьевымъ, редакторомъ *Русской Мысли*, а потому охотнѣе всего желалъ участвовать въ этомъ журналѣ и первое „Пестрое письмо" послалъ къ Юрьеву, но московская цензура, просмотрѣвъ статью, не согласилась на ея печатаніе; тогда Салтыковъ по полученіи обратно статьи, предложилъ Стасюлевичу попытать, не будетъ ли петербургская цензура менѣе придирчива, и дѣйствительно „Пестрое письмо" появилось благополучно на страницахъ *Вѣстника Европы*, а за нимъ столь же благополучно прошла и вся серія „Пестрыхъ писемъ". Кромѣ того въ эту же зиму Салтыковъ напечаталъ еще нѣсколько сказокъ въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ* и въ *Недѣлѣ*, и почитатели его, вѣроятно, согласятся съ нами, что такія вещи, какъ „Коняга", „Неумытый Трезоръ" и большинство „Пестрыхъ писемъ" могутъ быть причислены къ лучшимъ его произведеніямъ, а потому никакъ нельзя было ожидать, что это были его лебединыя пѣсни.

А между тѣмъ къ веснѣ 1885 г. ему вдругъ стало хуже: стали сначала безпокоить боли въ глазахъ, не связанныя ни съ какимъ очевиднымъ пораженіемъ глазного аппарата, а между тѣмъ боли эти лишали его возможности читать, затѣмъ появилось дрожаніе рукъ, такъ что почеркъ его сталъ неузнаваемъ и даже простое писаніе сдѣлалось для него весьма затруднительнымъ; и не будучи въ состояніи отдаваться двумъ любимымъ своимъ занятіямъ—чтенію и писательству—онъ, понятно, сталъ еще болѣе раздражительнымъ и меланхоличнымъ, ожидая, что все это признаки приближающейся смерти. Врачи находили полезнымъ разсѣять его слишкомъ сосредоточенное на своемъ здоровьи вниманіе поѣздкою за границу, но такъ какъ онъ для своего развлеченія ни за что бы не оставилъ Россіи, то они прибѣгли къ такой уловкѣ: дѣтямъ его вначалѣ было прописано провести лѣто съ матерью въ Гапсалѣ, теперь же этотъ планъ былъ передѣланъ и имъ назначено было брать сначала

желѣзно-грязныя ванны въ Эльстерѣ, а потомъ купаться въ морѣ, а при этомъ планѣ и М. Е., чтобы не оставаться все лѣто одному въ Петербургѣ, долженъ былъ тоже ѣхать за границу. Оно такъ и случилось, но и тутъ онъ, отправивъ семью въ концѣ мая, самъ насилу собрался выѣхать въ концѣ іюня.

III.

Я намѣренъ остановиться нѣсколько дальше на этой поѣздкѣ, чтобы по возможности подробно передать все, что осталось у меня въ памяти отъ моихъ частыхъ встрѣчъ съ М. Е. и бесѣдъ, имѣвшихъ мѣсто за эту его послѣднюю поѣздку. Я жилъ въ это время въ Висбаденѣ и часто съ нимъ переписывался, и изъ писемъ видѣлъ, что у него сильное желаніе пріѣхать также въ Висбаденъ и пожить со мною вмѣстѣ: въ его планъ входило пріѣхать къ семьѣ въ Эльстеръ къ концу ея лѣченія, переѣхать съ нею въ Висбаденъ и потомъ, отпустивъ ее къ морю, самому остаться на нѣкоторое время въ этомъ городѣ. По мѣрѣ того, какъ приближалось наше свиданіе, я видѣлъ со страхомъ, что ему дѣлается все хуже и хуже: уже послѣднія письма изъ Петербурга были писаны имъ сильно дрожащимъ и измѣнившимся почеркомъ, а изъ Эльстера я сталъ получать коротенькія записки, написанныя такъ, что съ трудомъ можно было разобрать, съ безпрестаннымъ пропускомъ буквъ въ словахъ, и исполненныя самыми отчаянными жалобами на свое состояніе. Въ одномъ изъ этихъ писемъ онъ извѣщалъ, что 10-го іюля пріѣдетъ съ семьей въ Висбаденъ, и просилъ задержать для него на двѣ недѣли комнаты въ пансіонѣ, гдѣ онъ прежде живалъ,—и дѣйствительно въ означенный день

поздно вечеромъ онъ пріѣхалъ. Когда на завтра утромъ я пришелъ навѣстить его, то только потому не удивился перемѣнѣ, происшедшей въ немъ за два года, со времени нашего послѣдняго свиданья, что письмами былъ приготовленъ къ самому худшему. Наружно онъ замѣтно похудѣлъ и лицо его стало блѣдно-желтымъ; при моемъ входѣ онъ всталъ мнѣ на встрѣчу, подалъ мнѣ руку, но потомъ тотчасъ же въ какомъ-то нервномъ изнеможеніи опустился на стулъ и закрылъ лице рукою,— и такъ просидѣли мы молча съ полъ-минуты; когда же, наконецъ, на мои разспросы, онъ заговорилъ, то меня поразило въ его рѣчи свойство, прежде ей не присущее, а именно какое-то бормотанье, неясное произношеніе словъ. Вскорѣ, начавъ разсказывать о своихъ приключеніяхъ, во время путешествія, онъ оживился, хотя живость эта была раздражительная, и, отвѣчая ему, надо было быть крайне осторожнымъ, чтобы какъ нибудь словомъ невпопадъ или противорѣчіемъ, не усилить эту раздражительность. Онъ жаловался на все: на желѣзныя дороги, на отели, на извощиковъ, но больше всего доставалось врачамъ, выславшимъ его за границу.Затѣмъ зашелъ разговоръ о здоровьи и,такъ какъ время подошло къ обѣду, то мы условившись, что я на слѣдующее утро зайду его посмотрѣть, разстались.

На завтра медицинскій осмотръ далъ мнѣ тѣ же болѣзненныя явленія, которыя я находилъ года 3—4 тому назадъ, только въ еще болѣе усиленной степени подъ вліяніемъ времени. Въ этомъ развинченномъ организмѣ не было ни одного органа нормальнаго и во истину приходилось удивляться его живучести: сложный сердечный порокъ, стародавній бронхитъ, заставлявшій подозрѣвать расширеніе дыхательныхъ вѣтвей, хроническое пораженіе печени и почекъ, частые кишечные катарры и т. п., все это выражалось еще яснѣе, чѣмъ прежде, но теперь отступило на второй планъ, на первый же выступалъ рядъ явленій, свидѣтельствовавшихъ о пора-

женіи мозгового существа, а именно—замѣтное ослабленіе памяти относительно того, что дѣлалось вокругъ него за послѣдніе дни, рѣшительная невозможность сосредоточиться на своей творческой работѣ и что нибудь написать, сильное подергиванье рукъ и мышцъ лицевыхъ, раздражительность, бывшая, правда, всегда, но теперь переходившая всѣ границы и т. д. Разговоры его большею частью вращались около его болѣзни, около описанія своихъ болѣзненныхъ ощущеній, и отвлечь его на другія тэмы составляло не малаго труда, а если это удавалось, то по прежнему приходилось не рѣдко удивляться оригинальности и остроумію этого ума, его изощренности схватывать смѣшныя стороны предмета и возводить ихъ до гротеска. Не рѣдко бывало, что, разговорившись, онъ начиналъ увлекаться своимъ разсказомъ, острить, лице его оживлялось, какъ вдругъ въ самомъ пылу увлеченія онъ вдругъ останавливался, говоря: „ну вотъ меня снова начинаетъ душить“ или „дергать“, и тотчасъ же впадалъ снова въ свое мрачное настроеніе. Не смотря на то, что онъ высказывалъ постоянно полную безнадежность въ своемъ направленіи, онъ неотступно самымъ жалостливымъ голосомъ просилъ что нибудь ему выписать и, ругая безплодность лѣкарствъ, цѣлый день принималъ въ извѣстные часы то ложку микстуры, то капли, то порошки, и ужасно боялся какъ бы не перепутать и не пропустить время пріема. Всѣ мои старанія ограничить его въ этомъ постоянномъ глотаніи лѣкарствъ были напрасны и на всѣ мои уговоры пріостановить хоть на нѣсколько дней то или другое изъ нихъ, онъ обыкновенно умолялъ: «ахъ, нѣтъ, пожалуйста, не отнимайте у меня, вѣдь я чувствую, что оно мнѣ помогаетъ». И приходилось уступать ему.

Десять дней семья его прожила съ нимъ въ Висбаденѣ, и не проходило дня, чтобы мы не видались: то я заходилъ къ нему, то онъ, задыхаясь и съ остановками, поднимался къ намъ, не смотря на то, что мы жили на

горѣ. Все это время больше всего его угнетало то, что онъ не могъ написать задуманную имъ сказку «Богатыри», каждый день садился онъ къ письменному столу, писалъ нѣсколько строкъ, но тотчасъ же зачеркивалъ; онъ жаловался, что не можетъ подбирать выраженій для своей мысли, хотя скелетъ сказки лежалъ совсѣмъ готовый въ головѣ; сущность ея онъ передавалъ приблизительно въ слѣдующемъ видѣ: „Родился богатырь, здоровенный, голосъ какъ труба, растетъ въ люлькѣ не по днямъ, а по часамъ, и все ждутъ съ радостной надеждою, что изъ него выйдетъ, когда онъ выростетъ? Вотъ ужъ онъ вышелъ изъ люльки и все растетъ и здоровѣетъ, подросъ такъ, что пора бы ужъ ему изъ дому на вольный воздухъ, а онъ все сидитъ и только растетъ, да изумляетъ свою семью страшной силой. Наконецъ, однажды онъ всталъ, потянулся и вышелъ изъ дому, родные и знакомые слѣдовали за нимъ вдали съ смутнымъ трепетомъ радостной надежды, повторяя себѣ: „идетъ, идетъ богатырь! ну что онъ теперь натворитъ"? Богатырь прямо пошелъ въ близъ лежащій лѣсъ, идетъ, играючи выворачиваетъ огромныя деревья, а толпа, слѣдующая сзади, дивится силѣ и говоритъ: „ну что-то дальше будетъ?" а богатырь дошелъ до огромнаго дупла, остановился, посмотрѣлъ внутрь, залѣзъ въ него, свернулся калачикомъ и уснулъ. Долго стояла толпа вокругъ дупла въ благоговѣйномъ ожиданіи, что сонъ этотъ будетъ непродолжителенъ и говорила всѣмъ: „тише, тише, спитъ богатырь, не будите". Однако, простоявши такъ не малое время и видя, что богатырь не просыпается, разошлись по своимъ дѣламъ, говоря шепотомъ: „тише, тише, не будите, спитъ богатырь". Пришли вечеромъ, смотрятъ, все спитъ богатырь и храпъ его стоитъ по лѣсу; пришли на завтра—то же самое, да такъ онъ и спитъ все по сіе время.—Кромѣ этой сказки ему хотѣлось написать для „Русскихъ Вѣдомостей" еще двѣ сказки—„Солнце и свиньи" и „Забытая балалайка", въ которой

онъ хотѣлъ представить И. С. Аксакова, — но обѣ эти сказки еще не были имъ достаточно обдуманы.

Между тѣмъ приближалось время отъѣзда семьи Салтыкова къ французскимъ морскимъ купаньямъ въ Ройанѣ; самъ же онъ находился въ колебанiи, вернуться ли ему прямо въ Петербургъ изъ Висбадена или же остаться съ нами на нѣкоторое время. Состоянiе его было таково, что пустить его въ Россiю одного было бы очень рисковано, онъ могъ не только захворать, но умереть дорогою, что онъ самъ, очевидно, понималъ; даже оставить его одного въ какомъ нибудь изъ Висбаденскихъ отелей я находилъ не безопаснымъ въ виду его крайней слабости и психическаго угнетенiя. Къ счастiю въ пансiонѣ, гдѣ мы жили, очистились какъ разъ подлѣ насъ двѣ хорошенькiя комнаты,—и я предложилъ ему занять ихъ съ тѣмъ, чтобы жить съ нами однимъ хозяйствомъ, вмѣстѣ обѣдать и ужинать. Онъ ухватился за это предложенiе съ великою радостью, хотя не безъ оговорокъ, что онъ намъ надоѣстъ, что не дастъ спать по ночамъ своимъ жестокимъ кашлемъ и т. д.,—и въ тотъ день, какъ уѣхала его семья, онъ, проводивъ ее, прямо съ желѣзной дороги прiѣхалъ на новоселье.

IV.

Жизнь наша сначала пошла такъ прекрасно, что мы съ женою не могли нарадоваться, ибо признаюсь откровенно, что трусили не мало этого сожительства, зная болѣзненную раздражительность и рѣзкую нетерпимость Салтыкова. Но то-ли прекращенiе вѣчныхъ препирательствъ съ женой и дѣтьми, а вмѣсто того, нашъ внимательный уходъ за нимъ, то-ли ему дѣйствительно

это время стало немного полегче, но только на него нашелъ, какъ говорится, «тихій часъ», онъ сталъ чрезвычайно кротокъ и благодушенъ. И тутъ, ближе вглядываясь въ этого человѣка, можно было легко замѣтить, что столь щедро одарившая его природа дала ему и прекрасное сердце и весьма деликатную нравственную организацію, и только продолжительная болѣзнь, да семейныя невзгоды сдѣлали то, что на фонѣ Головлевской наслѣдственности развился такой дикій и грубый человѣкъ, какимъ представлялся Салтыковъ для лицъ мало его знавшихъ. Для насъ онъ не только не былъ грубымъ человѣкомъ, а агнцемъ доброты и кротости, въ высшей степени деликатнымъ во всѣхъ отношеніяхъ и горячо благодарнымъ намъ за дружескій уходъ, которымъ мы старались его окружить.

Прожили мы вмѣстѣ около 6-ти недѣль и, противъ нашихъ ожиданій, дружно и гладко, безъ малѣйшихъ столкновеній. М. Е. не хотѣлъ нарушать рутины нашей жизни, которую мы съ женой привыкли вести, и совершенно къ ней приладился. Утрами я заходилъ къ нему, всякій разъ выслушивалъ его жалобы на различные болѣзненные припадки, старался его успокоить и непремѣнно каждый день подвергалъ его медицинскому осмотру, такъ какъ замѣтилъ, что онъ даетъ большое значеніе такой внимательности къ себѣ и очень цѣнитъ ее, и, покончивъ съ этой статьей, пытался развлечь его политическими новостями дня; онъ самъ аккуратно пробѣгалъ нѣсколько русскихъ газетъ и, кромѣ того, *Temps* и *Figaro*. Потомъ онъ усаживался или писать письма къ женѣ и къ знакомымъ, или же отправлялся навѣстить гр. Лорисъ-Меликова; хотя послѣдній жилъ не далѣе 10 минутъ отъ насъ, М. Е. долженъ былъ брать извозчика, потому что не могъ, вслѣдствіе страшной своей одышки, подниматься на крутую гору, гдѣ находилась квартира графа. Къ половинѣ 1-го часа онъ приходилъ къ намъ и мы тотчасъ же садились втроемъ обѣдать.

Ѣлъ онъ чрезвычайно умѣренно, и такъ какъ мы съ хозяйкой пансіона условились, чтобы она почаще давала намъ дичь, которую онъ любилъ, то онъ обыкновенно оставался доволенъ нашимъ простымъ и безъискусственнымъ столомъ. Въ 3 часа онъ уходилъ къ себѣ отдохнуть, а въ 5-мъ часу шелъ въ курзалъ на музыку, возвращался къ себѣ, читалъ и въ 7-мъ часу, когда мы приходили съ нашей прогулки, шелъ къ намъ, мы ужинали вмѣстѣ и бесѣдовали до 9-ти или 9½ часовъ, когда они вставали, чтобы, простившись, уйти на свою половину.

Эта тихая, правильная жизнь нерѣдко разнообразилась визитами къ намъ кое-кого изъ знакомыхъ, заѣзжавшихъ въ Висбаденъ по дорогѣ, или чтобы посовѣтоваться со мною, или просто повидаться. Такъ, дня три прожилъ покойный поэтъ Надсонъ, котораго я устроилъ въ нашемъ же пансіонѣ въ двухъ комнатахъ между своими и салтыковскими; заѣзжали М. М. Стасюлевичъ, Ядринцевъ, сенаторъ А. и другіе. Съ мало знакомыми или вовсе незнакомыми лицами М. Е. обходился не только сдержанно, но рѣзко, большею частью угрюмо молчалъ, чѣмъ приводилъ въ немалое смущеніе и даже трепетъ нашихъ гостей, хотя мы всегда старались оставлять у себя на обѣдъ или ужинъ только людей, болѣе или менѣе, симпатичныхъ ему по уму и взглядамъ. На покойнаго Надсона онъ нагналъ такой страхъ, что тотъ послѣ отъѣзда въ письмахъ ко мнѣ, прося передать поклонъ М. Е—чу, прибавлялъ: „если только это его не разсердитъ". Въ числѣ моихъ хорошихъ знакомыхъ жилъ тогда графъ П.—Б., который посѣщалъ насъ довольно часто; это былъ старый холостякъ, образованный и очень богатый аристократъ, относившійся съ большимъ почтеніемъ къ Салтыкову; чтобы поразнообразить для Салтыкова нашъ довольно въ сущности однообразный столъ, я попросилъ графа П. задать намъ тонкій обѣдъ, пригласивъ мою жену,

меня и его, а чтобы еще скрасить этотъ фестиваль для Салтыкова, пожертвовать нѣсколько сотъ въ пользу литературнаго фонда, въ которомъ М. Е. принималъ всегда самое горячее участіе. Обѣдъ былъ устроенъ на славу, а когда въ заключеніе за дессертомъ хозяинъ поднесъ Салтыкову, помнится, 1,000 рублей для внесенія отъ имени неизвѣстнаго въ литературный фондъ, то М. Е. былъ совсѣмъ растроганъ. Послѣ обѣда онъ вскорѣ ушелъ домой; мы же оставались въ гостяхъ еще довольно долго и когда сдѣлали нѣсколько шаговъ, то очень удивились, увидавъ въ подъѣзжавшей «конкѣ» М. Е., стоявшаго на ногахъ и усиленно махавшаго намъ руками; поровнявшись съ нами, онъ остановилъ вагонъ, продолжая меня подзывать, а когда я подошелъ, заговорилъ взволнованно и торопливо: «Этакая чертовщина! вздумалъ я прокатиться на конкѣ, а кошелекъ или потерялъ, или оставилъ дома, расплатиться нечѣмъ и сойти потому не могу; вотъ ужь 3-й разъ объѣзжаю кругомъ всего города, и кондукторъ, должно быть, считаетъ меня или за съумасшедшаго или за жулика и начинаетъ посматривать на меня подозрительно. Какое счастье, что я васъ встрѣтилъ, а то я, чтобы не проѣздить до ночи, подумывалъ отдать въ залогъ часы;—и то ужъ наѣздилъ на себя уйму денегъ». Я далъ ему денегъ и онъ покатилъ заканчивать свою 3-ю поѣздку по Висбадену.

Особенно врѣзался у меня эпизодъ извѣстнаго критика и библіографа Павла Васильевича Анненкова. Съ послѣднимъ М. Е. сошелся въ Баденъ-Баденѣ, гдѣ прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ 1876 г., когда лѣчился отъ сочленовнаго ревматизма; Анненковъ же былъ давно постояннымъ жителемъ Баденъ-Бадена и въ описываемый нами годъ, узнавъ, что Салтыковъ не можетъ по болѣзни навѣстить его, прислалъ телеграмму, что выѣзжаетъ самъ на свиданіе въ Висбаденъ въ день депеши. Получивъ это извѣстіе, М. Е. пришелъ ко мнѣ

утромъ, не столько обрадованный ожидаемой встрѣчей, сколько, по своей нервозности, раздраженный внезапностью и близостью ея. «Ну зачѣмъ онъ ѣдетъ»?—говорилъ онъ, «онъ едва ноги волочитъ, еще недавно послѣ удара совсѣмъ не могъ ходить и говорить, я тоже вотъ въ какомъ положенiи, — ну какое можетъ быть между нами свиданье? еще, пожалуй, оба издохнемъ тутъ на вашихъ рукахъ! А все-таки мнѣ надо встрѣтить гостя на желѣзной дорогѣ; скажите, когда приходитъ поѣздъ изъ Бадена?» По справкѣ оказалось, что прiѣхать Анненковъ можетъ скорѣе всего въ 3 часу дня, а потому надо ѣхать на станцiю тотчасъ послѣ нашего обѣда и я, чтобы облегчить М. Е. розыскъ прiѣхавшаго, настоялъ, что поѣду вмѣстѣ съ нимъ. Такъ мы и сдѣлали, но къ нашему разочарованiю, на прибывшемъ поѣздѣ Анненкова не оказалось и я объяснилъ себѣ это, что онъ какъ нибудь пропустилъ поѣздъ въ Майнцѣ, гдѣ ему надлежало перемѣнить вагонъ и что, вѣроятно, прiѣдетъ съ слѣдующимъ, приходившимъ черезъ часъ, а потому уговорилъ Салтыкова прождать этотъ часъ на станцiи. Приходитъ слѣдующiй поѣздъ, я самымъ тщательнымъ образомъ обшарилъ всѣ вагоны, но Анненкова и тутъ не было,—и мы не безъ недоумѣнiя и не безъ досады вернулись домой. Каково же было мое удивленiе, когда часа черезъ два, возвращаясь съ прогулки съ женой, я увидалъ, что на балконѣ нашего дома Салтыковъ стоитъ съ Анненковымъ и бесѣдуетъ. М. Ев. тотчасъ же вышелъ мнѣ на встрѣчу въ корридоръ и торопливымъ шепотомъ сталъ говорить: «ну хорошъ же Анненковъ, вотъ такъ развалина! пропустилъ въ Майнцѣ поѣздъ и прiѣхалъ на извощикѣ, потерялъ свой багажъ, и лучше всего то, что я вскорѣ послѣ вашего ухода выхожу случайно на балконъ и вижу, что Анненковъ на противоположной сторонѣ улицы смотритъ номеръ дома, я ему кричу:-—„П. В.! я здѣсь, идите сюда!“ а онъ, представьте себѣ, мнѣ отвѣчаетъ: «нѣтъ, мнѣ сказали

нечетный номеръ, а у васъ какой? кажется, четный»! и не идетъ, насилу я его урезонилъ, что все время жилъ въ № 8, а не въ нечетномъ номерѣ; я стою на балконѣ и уговариваю, а онъ стоитъ внизу передъ входомъ и все мнѣ не вѣритъ и упирается. Вотъ такъ гость!

И дѣйствительно, отъ прежняго Анненкова, котораго я не видалъ не болѣе 4-хъ лѣтъ, всегда добродушнаго, привѣтливаго и оживленнаго собесѣдника, оставалась только развѣ его коренастая, ширококостная фигура; онъ обратился въ дряхлаго старика, говорилъ медленно, съ запинкой и, подъ вліяніемъ бывшаго размягченія мозга, очевидно не вполнѣ отчетливо относился и къ лицамъ и къ мѣсту, и ко всему съ нимъ происходившему. Салтыковъ казался передъ нимъ молодымъ и бодрымъ человѣкомъ и онъ, словно почувствовалъ это свое тѣлесное превосходство, замѣтно подбодрился и съ необычною ему внимательностью и молодцоватостью заботился обо всѣхъ мелочахъ, чтобы сдѣлать пребываніе Анненкову у насъ пріятнымъ и удобнымъ, напримѣръ, входя во всѣ распоряженія, чтобы хорошо угостить его и, узнавъ, что Анненковъ любитъ рейнвейнъ, самъ отправился и купилъ бутылку вина потоньше. Сначала подъ вліяніемъ дорожнаго утомленія и приключеній Анненковъ былъ шибко не въ духѣ, старался, но безуспѣшно, объяснить, какъ пропустилъ поѣздъ въ Майнцѣ и постоянно ругалъ нѣмецкаго извощика, взявшаго съ него до Висбадена, по его мнѣнію, черезъ чуръ дорого, а именно 12 марокъ, но потомъ онъ понемногу успокоился, на лицѣ его появилась добрая улыбка и рѣчь стала связнѣе и послѣдовательнѣе. За ужиномъ онъ и еще разошелся, чѣмъ я и воспользовался, чтобы спросить у него, въ какомъ положеніи стоитъ у него дѣло по разбору бумагъ и писемъ покойнаго И. С. Тургенева, которое М-е Віардо поручила ему? «Помилуйте», отвѣчалъ Анненковъ, „въ такомъ ли состояніи я теперь, чтобы заниматься подобной обширной и отвѣтствен-

ной работой; писемъ и бумагъ послѣ Тургенева остались груды и много интереснаго; но только что я приступилъ къ разсортировкѣ ихъ, какъ захворалъ и вынужденъ былъ отказаться отъ предложенія Віардо".

Салтыковъ былъ веселъ и очень любезенъ по отношенію къ гостю, такъ что ужинъ шелъ очень оживленно и, по окончаніи его, мы, не вставая изъ-за стола, продолжали свою бесѣду, пока неожиданно не явился новый гость—одинъ военный генералъ, проживавшій тогда въ Висбаденѣ и котораго М. Е. не долюбливалъ, — и, какъ я замѣтилъ уже раньше, приходъ этого въ сущности весьма хорошаго человѣка, но не причастнаго къ литературѣ, вызывалъ всегда у него рѣзкую перемѣну тона и усиленныя подергиванія. Такъ было и на этотъ разъ: М. Е. сразу сдѣлался сухъ и угрюмъ, и судороги въ мышцахъ лица, головы и всего туловища приняли такіе размѣры, что на него больно было смотрѣть; разговоръ тотчасъ перешелъ на военныя темы, генералъ и Анненковъ начали разсказывать разные военные анекдоты, Салтыковъ сосредоточенно молчалъ и едва держался на стулѣ отъ чрезмѣрныхъ подергиваній, какъ вдругъ я, съ безпокойствомъ слѣдившій за этимъ рѣдкимъ по силѣ припадкомъ, увидѣлъ, что судороги сразу прекратились, голова М. Е. склонилась на грудь,—и этотъ внезапный переходъ до того меня поразилъ, что моею первою мыслью, было, ужъ не умеръ ли онъ или, по малой мѣрѣ, не впалъ ли въ глубокій обморокъ, тѣмъ болѣе, что, не смотря на все стараніе уловить дыхательныя движенія, я ихъ подмѣтить не могъ. Я машинально взглянулъ на жену, она смотрѣла на меня тревожно и вопросительно, а генералъ монотонно продолжалъ тянуть какой то безконечный разсказъ изъ жизни Великаго Князя Константина Павловича и вмѣстѣ съ Анненковымъ не замѣчали нашей тревоги. Такъ прошло съ минуту, и я ужъ собирался взять М. Е. за руку и пощупать его пульсъ, какъ вдругъ изъ груди его вы-

рвался чуть слышный храпъ, и я убѣдился, что онъ просто задремалъ отъ усталости проведеннаго дня и убаюканный военными анекдотами. Черезъ нѣсколько минутъ онъ открылъ глаза, смущенно оглядѣлъ насъ и, убѣдившись, что мы не обращаемъ на него вниманія, дослушалъ спокойно разсказъ и, по окончаніи его, всталъ со словами; „а вѣдь ужъ половина дня—того, и больнымъ людямъ пора и на покой, а особенно вамъ, П. В., послѣ вашихъ дорожныхъ приключеній, и когда я ихъ провожалъ по спальнямъ, онъ мнѣ шепнулъ: „простите, пожалуйста, а я вѣдь вздремнулъ самымъ безсовѣстнѣйшимъ образомъ; очень ужъ допекли меня гости наши своими казарменными разсказами".

Утромъ Салтыковъ получилъ изъ Баденъ-Бадена депешу отъ Анненковой, въ которой та спрашиваетъ, гдѣ ея мужъ, и что съ нимъ сталось, такъ какъ взятый имъ съ собой багажъ возвращенъ назадъ изъ Майнца, а о немъ самомъ нѣтъ ни слуха, ни духа; отвѣтъ былъ посланъ самый успокоительный. Вплоть до обѣда М. Е. занималъ гостя, передавалъ ему разныя петербургскія литературныя новости, гость молча сидѣлъ и слушалъ, по временамъ давая вопросы, нерѣдко дѣтски нелѣпые и явно показывавшіе, что для этого ревностнаго бытописателя русской литературы еще недавно столь жизненные интересы потеряли смыслъ и значеніе и что болѣзнь лишила его памяти, и онъ почти автоматически выслушивалъ жалобы Салтыкова на современное положеніе литературы. Я нѣсколько разъ заходилъ къ нимъ на выручку Салтыкова, боясь, чтобы такая безтолковая бесѣда не утомила его, но онъ съ удивительнымъ терпѣніемъ и кротостью исполнялъ свою роль хозяина и не раздражался невпопадными вопросами собесѣдника; видимо, состраданіе къ болѣзненному положенію послѣдняго, уваженіе къ его старымъ заслугамъ, и наконецъ, всегдашняя незлобивость Анненкова на этотъ разъ совсѣмъ обезоружила обыкновенно вспыльчиваго, какъ

волканъ, сатирика. Въ одинъ изъ моихъ забѣговъ, я засталъ, какъ Салтыковъ подробно разсказывалъ гостю объ успѣхѣ *Русской Мысли*. „И кто же ее издаетъ?"—спросилъ Анненковъ. — Лавровъ! „А вотъ какъ: значитъ, правительство его простило, и позволило ему вернуться въ Россію",—самымъ апатичнымъ тономъ произнесъ Анненковъ, даже не изумившись нисколько такому предполагаемому имъ превращенію въ судьбѣ извѣстнаго соціалиста. Но Салтыковъ и тутъ справился съ собой и, только бросивъ на меня знаменательный взглядъ, продолжалъ ровнымъ голосомъ: «да что вы, П. В.? какъ же это можно? Лавровъ, про котораго я вамъ говорю, совсѣмъ другой».—Бесѣда продолжалась за обѣдомъ, послѣ котораго мы съ Салтыковымъ проводили Анненкова на желѣзную дорогу и усадили въ вагонъ.—„Ну, слава Богу, все обошлось благополучно",—говорилъ мнѣ Салтыковъ, возвращаясь домой; „угостили мы его на славу и вы, пожалуйста, поблагодарите хозяевъ пансіона за обѣдъ; онъ все выхвалялъ мнѣ—и обѣдъ и вино, и ваши сигары, а онъ по всѣмъ этимъ частямъ дока: и самъ всегда любилъ поѣсть и любилъ другихъ угостить, даже, бывало, на чужихъ обѣдахъ хлопоталъ больше хозяевъ по части угощенія присутствовавшихъ, такъ-что въ Петербургѣ кто то остроумно и вѣрно прозвалъ его гостепріимнымъ гостемъ".

Когда не было у насъ гостей мы проводили время съ М. Е. въ мирныхъ бесѣдахъ. Любимой и постоянной тэмой его была его болѣзнь и многоразличныя его болѣзненныя ощущенія, но я старался его отъ нихъ отвлекать, переводя разговоръ на литературу, явленія общественной жизни и т. п. предметы. Человѣкъ онъ былъ чрезвычайно горячій и страстный, въ спорахъ сильно разгорячался, начиналъ говорить съ окрикомъ, но ни разу не помню, чтобы споръ у него переходилъ, что въ нашихъ нравахъ, въ личности, и готовъ былъ сейчасъ же согласиться съ доводами противника, если находилъ ихъ

убѣдительными. Иногда такой конецъ спора у него выходилъ очень оригинально и даже поражалъ своей быстротой; напримѣръ, какъ-то мы заспорили о даровитости и нравственныхъ достоинствахъ еврейской расы; онъ нападалъ на евреевъ, я защищалъ ихъ, доказывалъ, что евреи способны выставить крупныхъ дѣятелей не только въ банкирской и мастерской сферѣ, но и въ ученой, называлъ имена извѣстныхъ мыслителей и ученыхъ и т. д. — „Да, знаете-ли?"—загремѣлъ М. Е., „мнѣ ужъ до крайности противна въ нихъ — эта операція обрѣзанія, которой они калѣчатъ своихъ дѣтей". — Ну, а я, вообразите, наоборотъ, великій партизанъ съ медицинской точки зрѣнія этой операціи, — отвѣчалъ я, — на своихъ наблюденіяхъ я убѣдился, что между евреями неизмѣримо рѣже встрѣчаются онанисты, чѣмъ между русскими дѣтьми и отчасти приписываю это—той самой операціи, на которую вы нападаете,—и на этомъ основаніи нерѣдко настаивали на этой операціи въ русскихъ семьяхъ"—и затѣмъ пояснилъ, почему я пришелъ къ такому убѣжденію, съ такими подробностями, которые приводить здѣсь было-бы не умѣстно. Я не могъ удержаться отъ смѣха, какъ, вмѣсто всякаго отвѣта, М. Е. вскочилъ съ кресла, стремительно подошелъ ко мнѣ и серьезно спросилъ меня: „а какъ вы думаете, не надо ли намъ обрѣзать Константина (его 13-тилѣтній сынъ?)".

Вообще же до споровъ у насъ доходило рѣдко, и нашъ разговоръ носилъ почти всегда мирный характеръ. Извѣстно, какъ онъ сильно любилъ литературу и охотно велъ рѣчь о ней, въ своихъ приговорахъ о различныхъ произведеніяхъ былъ очень строгъ, но съ точки зрѣнія своей требовательности, безпристрастенъ и логически доказывалъ причины своего неудовлетворенія тѣмъ или другимъ моднымъ писателемъ. Помню разъ, какъ онъ на меня горячо напалъ за то, что я отозвался неуважительно о талантахъ Виктора Гюго и Достоевскаго и принудилъ меня сознаться въ опрометчивости моего отзыва;

закончилъ онъ свою защиту словами: „Какъ можно: у Достоевскаго былъ первостепенный талантъ, но только онъ въ своихъ произведеніяхъ уродовалъ его, отдалъ на служеніе и восхваленіе самыхъ уродливыхъ тенденцій. У него есть маленькій разсказъ „Кроткая“; просто плакать хочется, когда его читаешь; такихъ жемчужинъ немного во всей европейской литературѣ“. Къ творчеству Тургенева и гр. Л. Толстаго относился съ большимъ уваженіемъ, а о болѣе позднихъ литературныхъ силахъ сожалѣлъ, что у нихъ чувствуется недостатокъ серьезнаго образованія и они творятъ, слишкомъ полагаясь на вдохновеніе, на свой талантъ, и не сознавая даже необходимости и пользы большей систематичности и расширенія знаній. Онъ однажды по этому поводу сказалъ: „и Тургеневъ находитъ тоже, что среди молодежи — талантовъ не мало, но всѣ они—грубы, не выполированы, и они меня сильно бранятъ за то, что я не стараюсь сближаться съ ними и влiять на нихъ частыми бесѣдами; даже уговариваютъ меня открыть для этого — журфиксы, и я самъ понимаю, что это, пожалуй, слѣдовало бы устроить, но какъ? я вѣдь человѣкъ дикій, не общественный, на словахъ горячъ, и выйдетъ только то, что мы всѣ перессоримся; да и жена моя—дама не литературная;—я заведу литературныя журфиксы, а она назоветъ на нихъ своихъ знакомыхъ, гвардейцевъ всякаго оружія, что же это будетъ такое“?

Не разъ поднимались въ печати диспуты о томъ, принадлежитъ ли М. Е. къ какой-нибудь политической партіи и рѣшались различно. Мнѣ кажется тоже, что хотя онъ и имѣлъ довольно опредѣленные политическіе взгляды, но съ такимъ своеобразнымъ оттѣнкомъ, что его трудно было бы поставить подъ то или другое шаблонное партійное знамя. Въ ранней молодости, въ концѣ 40-хъ годовъ, онъ увлекался тогдашними соціалистическими теоріями, и, принадлежа непосредственно къ кружку Буташевича-Петрашевскаго, не разъ посѣщалъ какую-то группу

этого кружка, въ которой для неофитовъ читались произведенія Фурье, Кабе и др. и самъ говаривалъ, что, черезъ 10 лѣтъ, по возвращеніи въ Петербургъ, послѣдовательная и убѣжденная логика Чернышевскаго не оставалась на него безъ вліянія, что иногда и выражалось на духѣ нѣкоторыхъ и гораздо позднѣйшихъ его произведеній, но это слишкомъ мало, чтобы на основаніи его симпатій къ основному источнику происхожденія соціализма, на основаніи его сочувствія къ ненормальному и бѣдственному положенію рабочаго класса, причислить Салтыкова къ соціалистамъ; вся его литературная дѣятельность въ общемъ, вся его личная жизнь противорѣчатъ такому зачисленію. Онъ самъ однажды въ разговорѣ такъ развивалъ свой взглядъ на буржуазію: „какъ говорятъ французы—il y a fagots et fagots, такъ есть буржуазія и буржуазія; я, какъ самъ рабочій человѣкъ, не могу не чувствовать уваженія къ той части западно-европейской буржуазіи, которая работаетъ съ утра до вечера самымъ добросовѣстнымъ образомъ и честнымъ трудомъ достигаетъ благосостоянія и обезпеченности; она обладаетъ весьма солидными познаніями и ея труды нерѣдко производительны для всего человѣчества; не могу же я эту буржуазію ставить на одну доску съ нашей, съ какимъ-нибудь московскимъ фабрикантомъ, ворочающимъ милліонами, и который самъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о трудѣ, а всю свою жизнь проводитъ вѣчнымъ именинникомъ въ кутежахъ, да въ пирахъ; онъ даже о техникѣ своего производства не имѣетъ ясныхъ понятій и отнюдь не слѣдитъ за его усовершенствованіемъ, а ограничивается тѣмъ, что нанимаетъ для фабрики англичанина управляющаго, платитъ по 25,000 р. въ годъ, тотъ ведетъ все дѣло, и нашъ фабрикантъ только или собираетъ деньги въ кубышку, или спускаетъ ихъ въ Кунавино“. Я стараюсь употребить въ этой передачѣ подлинныя слова Салтыкова, но не ручаюсь, чтобы моя ослабѣвшая память могла возстановить ихъ въ точности.

Изъ переписки съ М. Е. Салтыковымъ.

I.

У меня сохранилась довольно объемистая коллекція писемъ М. Е. Салтыкова. Наша переписка, начатая въ 1875 г., продолжалась вплоть до его смерти, закончившись небольшой запиской отъ 22-го апрѣля 1889 г., написанной покойнымъ, стало-быть, за 6 дней до смерти, карандашемъ и уже коснѣющей рукой. Писемъ этихъ на-лицо— 117; кромѣ того, около десятка, относившихся къ концу 1885 г. и первой половинѣ 1886 г., я, къ сожалѣнію, затерялъ во время моихъ частыхъ заграничныхъ кочеваній съ мѣста на мѣсто. Письма эти, какъ все исходящее отъ такого первокласснаго таланта, полны самаго живаго интереса, и я приму мѣры, чтобы они рано или поздно появились въ печати. Письма цѣнны, какъ задушевныя изліянія Салтыкова передъ человѣкомъ, котораго онъ считалъ въ числѣ близкихъ ему людей; они писались по поводу и подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ отъ всего совершавшагося тогда вокругъ него, писались просто и откровенно, безъ малѣйшей рисовки, которая вообще ему была чужда и даже прямо антипатична. Они могутъ дать будущимъ біографамъ великаго сатирика немало любопытныхъ и дополнительныхъ чертъ для изученія этой чрезвычайно сложной натуры, одаренной необыкновеннымъ умомъ, обширнымъ не только литературнымъ, но и политическимъ образованіемъ, способностью проникаться до корня волосъ современными ему вопросами и фактами, въ высшей степени тонко анализировать

ихъ и продукты своего анализа передавать читающей публикѣ въ такой ясной и остроумной формѣ, какой не обладалъ у насъ ни одинъ писатель послѣ Гоголя. Печатать эти письма цѣликомъ теперь, по многимъ причинамъ, было бы невозможно, и пришлось бы много выкинуть, примѣняясь къ требованіямъ времени, а на такую операцію у меня не поднялась бы рука изъ уваженія къ свѣжей памяти покойнаго.

Есть однако одна сторона въ этихъ письмахъ, которую не только можно и теперь не хранить подъ спудомъ, а, напротивъ, слѣдуетъ передать печатно, не откладывая въ долгій ящикъ, ибо я, пока живъ, могу ее освѣтить и комментировать скорѣе, чѣмъ кто-либо другой. Я разумѣю все, что касается болѣзни Салтыкова: писавши ко мнѣ, какъ къ другу и врачу, онъ особенно подробно распространялся объ этой тяжелой сторонѣ своей жизни.

Съ 1868 г. я изрѣдка встрѣчалъ Салтыкова у Г. З. Елисѣева. Онъ былъ тогда человѣкъ совсѣмъ здоровый, не привыкшій стѣсняться никакими діэтетическими и гигіеническими правилами, любившій зачастую выпить въ хорошей компаніи лишнюю бутылку вина и просидѣть напролетъ цѣлую ночь за карточнымъ столомъ. Когда онъ, осенью 1874 года, въ первый разъ зашелъ ко мнѣ посовѣтоваться относительно кое-какихъ начавшихся безпорядковъ въ здоровьи, и я нашелъ у него органическій порокъ сердца (отложенія на аортальныхъ клапанахъ), серьезно поставилъ ему на видъ его безпорядочный и неумѣренный образъ жизни и счелъ необходимымъ для большей дѣйствительности моихъ совѣтовъ попугать его неизбѣжными и опасными послѣдствіями. Словамъ моимъ, къ несчастію пришлось вскорѣ оправдаться. Въ декабрѣ того же года умерла мать Салтыкова, и онъ долженъ былъ по дѣламъ имущественнаго раздѣла съѣздить въ Тверскую губернію; ѣхать пришлось во время начавшейся зимы, было холодно, вѣтрено и сыро, и онъ вернулся въ Петербургъ сильно простуженный. Не привыкши

хворать, онъ не обратилъ никакого вниманія на свое недомоганье, продолжалъ выходить, посѣщать театры, жалуясь на разныя боли и особенно въ ступняхъ ногъ, но къ медицинѣ не прибѣгалъ. Такъ прошло нѣсколько недѣль, а въ концѣ февраля 1875 г. онъ слегъ и послалъ за мной; у него развился острый сочленовный ревматизмъ, который провелъ рѣзкую грань въ жизни Салтыкова и превратилъ его изъ здороваго человѣка въ того мученика-больнаго, какимъ онъ оставался цѣлыхъ 14 лѣтъ, вплоть до своей смерти. Заболѣваніе его было такъ сильно, сопровождалось такими тяжкими осложненіями, какъ воспаленіе сердца и плевры, что, имѣя въ виду уже бывшее до болѣзни пораженіе сердца, можно было серьезно бояться, чтобы дѣло не кончилось плохо. А потому, когда лихорадка прекратилась, опухоль большихъ суставовъ исчезла и больной могъ перебраться съ кровати на кресло, я, считая, что окончательное выздоровленіе возможно только въ самыхъ благопріятныхъ климатическихъ условіяхъ, сталъ настойчиво требовать выѣзда больнаго за границу и надолго. Салтыковъ вначалѣ и слышать не хотѣлъ о такомъ предложеніи; онъ до того ни разу не бывалъ заграницей и при всемъ своемъ теоретическомъ интересѣ къ Западу никакъ не могъ переварить мысли ѣхать туда полу-живымъ, при невозможности двигаться самостоятельно, да еще и не владѣя нѣмецкимъ языкомъ; не могъ примириться съ необходимостью покинуть Петербургъ со всѣми удобствами домашней жизни, разстаться съ многочисленными друзьями и пріятелями и съ дорогимъ ему литературнымъ дѣломъ; притомъ приходилось кочевать со всей семьей, т. е. съ женой и двумя маленькими дѣтьми. Эта перспектива приводила его въ отчаяніе, но настоятельность поѣздки была такъ очевидна, что мало по-малу удалось его урезонить и въ 20-хъ числахъ апрѣля отправить на весну и лѣто въ Баденъ-Баденъ для лѣченія тамошними горячими ваннами и съ тѣмъ, чтобы, если онъ не совсѣмъ по-

правится за лѣто, провести послѣдующую зиму въ Ниццѣ и не возвращаться въ Петербургъ ранѣе весны 1876 года.

Программа эта была выполнена въ точности, и когда въ августѣ я заѣхалъ въ Баденъ-Баденъ, чтобы навѣстить больнаго, то нашелъ его значительно поправившимся; его уже не возили на прогулку въ ручной коляскѣ, какъ это было первые два мѣсяца по пріѣздѣ, а теперь онъ могъ самъ, и едва опираясь на палку, разгуливать по тѣнистой Лихтенталевской аллеѣ. Оживленное, веселое расположеніе духа показывало явно, до чего онъ доволенъ результатами лѣченія, и лишь опухоли и боли въ мелкихъ суставахъ напоминали ему, что онъ все еще не совсѣмъ развязался съ болѣзнію. Въ одномъ отношеніи дѣло было плохо: пораженіе аортальныхъ клапановъ, обостренное бывшимъ въ мартѣ воспаленіемъ сердечной ткани, не вернулось къ своему старому, доревматическому положенію, что выражалось для врача объективнымъ изслѣдованіемъ органа, а для самого больного большею одышкой и изрѣдка тоскливыми ощущеніями въ сердцѣ. Все это вмѣстѣ—и состояніе сердца и остатки ревматизма—дѣлали возвращеніе Салтыкова въ Петербургъ на зиму слишкомъ рискованнымъ; это онъ сознавалъ теперь и самъ, а потому легко подчинился рѣшенію, что зимовка въ Ниццѣ необходима.

Съ концомъ августа кончился циклъ его ваннъ въ Баденъ-Баденѣ, и 1-го сентября онъ переѣхалъ въ Парижъ, гдѣ мы снова свидѣлись; ему стало еще замѣтно лучше, и онъ радовался, какъ ребенокъ, что попалъ, наконецъ, въ Парижъ, давно манившій его къ себѣ, уже порядочно окрѣпши на ногахъ, такъ что могъ ходить много и безнаказанно. Онъ съ ранней молодости любилъ этотъ городъ и поклонялся ему заочно, какъ великой лабораторіи европейской политической жизни. Поэтому, попавши въ него въ первый разъ, онъ увлекался до того, что забывалъ о своихъ недугахъ и цѣлые часы бро-

дилъ по улицамъ, разыскивая и знакомясь лично съ разными историческими достопримѣчательностями, которыя до того отлично зналъ изъ книгъ и по наслышкѣ. Его наблюдательный умъ былъ такъ поглощенъ неисчерпаемо-богатымъ разнообразіемъ кипучей жизни Парижа и своеобразными особенностями его обитателей, что онъ не замѣтилъ, какъ прошло 6 недѣль и наступила холодная и сырая осень, начавшая снова расшевеливать его ревматизмы и напомнившая ему, что пора переѣзжать на югъ. Въ концѣ октября онъ былъ въ Ниццѣ и оставался въ ней до мая; здѣсь онъ перенесъ два возврата ревматизма, но легкіе, такъ что вынесъ ихъ на ногахъ; въ общемъ ему стало лучше и движеніе пальцевъ возстановилось настолько, что къ нему вполнѣ вернулась способность писать. Но здѣсь же его постигло то жестокое разочарованіе, съ которымъ онъ не могъ помириться всю остальную жизнь: онъ ожидалъ, что съ исчезновеніемъ послѣднихъ признаковъ ревматизма къ нему воротится его прежнее положеніе совсѣмъ здороваго человѣка, и онъ заживетъ старой безмятежной жизнью, какую велъ до болѣзни. А вышло не такъ; выздоровленіе не принесло ему полнаго возврата прежнихъ силъ, и онъ остался на всѣ остальные годы инвалидомъ, хроническимъ больнымъ, страдающимъ припадками сердечнаго разстройства въ той разнообразной его формѣ, которую знаменитый врачъ Андраль окрестилъ названіемъ сердечнаго худосочія (cachexie cardiaque); его неотвязными спутниками дѣлаются отнынѣ постоянная одышка, по временамъ мѣшавшая ему вовсе ходить, и мучительный, удушливый кашель, достигавшій при ухудшеніяхъ такой степени, что повергалъ въ ужасъ всѣхъ присутствовавшихъ; къ этому то-и-дѣло присоединялись болѣзненныя разстройства то въ томъ или другомъ органѣ, то въ той или другой системѣ и чаще всего въ нервной.

Уже по дорогѣ изъ Ниццы въ Петербургъ, остановившись въ Парижѣ, писалъ онъ мнѣ отъ 16-го мая

1876 г.: „Я встрѣтилъ здѣсь у Тургенева одного доктора изъ Кобленца Риттерсгаузера, который слегка оскультировалъ меня и нашелъ во мнѣ четыре смертельныя болѣзни: болѣзнь правой почки, болѣзнь лѣвой стороны печени, страданье сердца и общую анемію тѣла. Вотъ увидимся въ Берлинѣ; посмотрите, сколько есть въ этомъ правды. Одно скажу: астма страшно мучитъ меня,—и теперь, когда умеръ министръ Рикаръ и когда всякому приходитъ на умъ эта смерть, то и мнѣ мнится какъ-то, не издохну ли и я такимъ же образомъ, т. е. задушенный?"

Наше свиданіе въ Берлинѣ не состоялось. Салтыковъ такъ спѣшилъ домой, что засталъ меня еще въ Петербургѣ, и такъ былъ доволенъ и счастливъ, очутившись снова дома, послѣ 15-мѣсячныхъ кочеваній на чужбинѣ, что находился въ самомъ пріятномъ настроеніи и былъ необыкновенно веселъ, остроуменъ и даже шаловливъ. Такимъ я засталъ его, заѣхавши къ нему тотчасъ по пріѣздѣ; помню, напримѣръ, какъ въ то время, какъ мы бесѣдовали съ нимъ о послѣднемъ періодѣ его путешествія, въ дверяхъ кабинета показалась толстая фигура нѣмки-акушерки, принимавшей у жены его дѣтей и зашедшей теперь поздравить его съ пріѣздомъ; увидавъ ее, Салтыковъ быстро поднялъ ноги подъ себя на кресло и такимъ испуганно комическимъ тономъ закричалъ: „ахъ: нѣтъ, нѣтъ, довольно! я больше рожать не буду!", что акушерка и я неудержимо расхохотались. Послѣ этого перваго осмотра я остался удовлетворенъ результатомъ годичнаго пребыванія больнаго за границей, ибо явленія ревматизма суставовъ изчезли, повидимому, радикально и съ тѣхъ поръ, дѣйствительно, не возвращались; изъ 4-хъ же смертельныхъ болѣзней, которыми напугалъ его кобленцскій врачъ, можно было придавать существенное и весьма серьезное значеніе лишь пораженію сердца, которое могло не только отравлять существованіе Салтыкова болѣзненными припадками, но, при какой нибудь

непредвидимой случайности, а тѣмъ болѣе при грубой неосторожности, грозило сдѣлаться для него прямо гибельнымъ. Поэтому неизбѣжно пришлось настоять на правильномъ образѣ жизни и воспретить всякія излишества, и надо отдать справедливость Салтыкову, какъ ни противны были эти стѣсненія широкой его натурѣ, онъ имъ подчинился и съ тѣхъ поръ никогда не заслуживалъ упрека въ рѣзкомъ нарушеніи предписаннаго режима.

Послѣдующія 5 лѣтъ прошли довольно благополучно, если не считать часто повторявшіяся обостренія его легочнаго катарра, заставлявшія его обращаться къ лѣкарствамъ; внѣ этихъ ухудшеній, онъ выѣзжалъ каждый день, посѣщалъ театры, игралъ, не заигрываясь, въ карты и очень много работалъ. Со смертью Некрасова, т. е. съ 1877 г., на его долю выпала главная роль въ дѣлѣ завѣдыванія *Отечественными Записками*, на него легли всѣ сношенія съ цензурнымъ управленіемъ, непосредственные переговоры съ литераторами и сотрудниками и множество мелочныхъ заботъ по административному и хозяйственному управленію журналомъ. Весь этотъ сложный и разнообразный трудъ выносилъ онъ прекрасно, нисколько не ослабляя своей личной писательской дѣятельности: всего хуже и тяжелѣе отзывались на его впечатлительной натурѣ часто возникавшія столкновенія съ цензурой, а ожиданія выхода въ свѣтъ каждой новой книжки журнала сильно его тревожили и имѣли замѣтное вліяніе на отправленія его больнаго сердца: у него усиливались и учащались сокращенія сердца, что сопровождалось нарушеніемъ правильности ритма, а для него субъективно это выражалось ощущеніемъ безотчетной и невыносимой сердечной тоски. Частая повторность такимъ ощущеній дѣлала характеръ его все болѣе и болѣе раздражительнымъ, а настроеніе духа мрачнымъ и ипохондричнымъ; конечно, мнительность его была не безпричинна, а преувеличеніе припад-

ковъ лежало въ свойствахъ его нервнаго темперамента, но для врача онъ былъ больнымъ очень труднымъ и тяжелымъ, требовавшимъ большой лавировки и такта, ибо излѣченіе его болѣзни было невозможно, приходилось для продленія жизни орудовать малодѣйствительными палліативными лѣкарствами и стараться успокоивать его діалектикой, а Салтыковъ не мирился ни съ какими палліативами и былъ слишкомъ нетерпѣливъ, чтобы удовлетворяться банальными увѣреніями о необходимости терпѣнія и успокоиваться надеждою на улучшеніе, когда это улучшеніе все не приходило.

II.

Съ весны 1881 года я, по собственному нездоровью, долженъ былъ прекратить свою практику въ Петербургѣ и уѣхать за границу, и съ этого года у меня съ Салтыковымъ установилась постоянная переписка, не прерывавшаяся до его смерти. Не разъ за этотъ 8-лѣтній періодъ прогрессирующее болѣзненное разстройство и связанная съ нимъ нравственная тоска заставляли врачей отправлять его время отъ времени лѣтомъ за границу, не столько для лѣченія, сколько для воздѣйствія перемѣной обстановки на его угнетенный духъ,—и тогда мы обыкновенно съѣзжались гдѣ нибудь вмѣстѣ для свиданія. Такъ, въ томъ же 1881 г. онъ, выѣхавши съ семьей въ Висбаденъ, сдѣлалъ оттуда въ началѣ августа небольшую экскурсію въ Швейцарію, познакомился съ Люцерномъ и Интерлакеномъ и прогостилъ два дня въ Тунѣ, гдѣ я проживалъ тогда; а черезъ мѣсяцъ въ томъ же году мы еще разъ съѣхались въ Парижѣ. Также видѣлись мы и въ 1883 г., а въ 1885 году онъ

пріѣхалъ изъ Россіи въ Висбаденъ, гдѣ я проводилъ съ женой лѣто, и прожилъ 5 недѣль съ нами подъ одной крышей, вмѣстѣ обѣдая и почти не разлучаясь съ утра до вечера. Это было наше самое продолжительное и самое тѣсное сожительство, о которомъ у меня осталось больше всего воспоминаній, это же было и наше послѣднее свиданіе, потому что послѣ этого года онъ болѣе ни разу не выѣзжалъ за границу: поѣздки эти, по мѣрѣ ухудшенія его болѣзни, только жестоко утомляли его, не принося съ собой никакого, даже нравственнаго, облегченія.

Возвращаясь къ письмамъ Салтыкова ко мнѣ, я долженъ замѣтить, что общій тонъ ихъ грустенъ и мраченъ подъ вліяніемъ приступовъ одолѣвавшихъ его недуговъ и гнетущихъ условій жизни; лишь изрѣдка прорывается у него острое слово, шутка или смѣхъ, а потомъ онъ снова хмурится и впадаетъ въ минорный тонъ. Въ рѣдкомъ письмѣ онъ не распространяется о своей болѣзни, и передавать подъ-рядъ всѣ его жалобы было бы безполезно и утомительно для читателя. Поэтому я ограничусь немногими и самыми необходимыми выдержками, чтобы показать, до какой степени эти послѣдніе годы своей жизни Салтыковъ непрерывно находился подъ гнетомъ болѣзненныхъ ощущеній, какъ на основномъ фонѣ его болѣзни сердца то-и-дѣло являлись въ видѣ узоровъ самыя разнообразныя мучительныя осложненія, и онъ цѣлыми годами, изо дня въ день и безъ всякаго перерыва, долженъ былъ страдать и стонать, не будучи въ состояніи выносить этихъ страданій. Многіе изъ близкихъ ему людей, а въ томъ числѣ и врачи, нерѣдко упрекали его въ преувеличеніи своихъ жалобъ, но такое обвиненіе едва-ли справедливо; во-первыхъ, здоровому человѣку такъ же трудно понимать больнаго, какъ сытому разумѣть голоднаго; можно искренно и горячо пожалѣть и больнаго и голоднаго, но самое высшее человѣческое сострадание притупляется и оскудѣваетъ,

если потребность въ сочувствіи и помощи тянется на протяженіи многихъ лѣтъ; это мы можемъ видѣть на каждомъ шагу и въ большомъ масштабѣ и испытывать сами, пробѣгая свою ежедневную газету и сталкиваясь въ ней съ разными бѣдствіями и печалями, угнетающими человѣческую жизнь; во-вторыхъ, надобно принимать во вниманіе и чрезвычайно нервную организацію Салтыкова: тамъ, гдѣ заурядный больной могъ вынести больше, онъ не выносилъ и стоналъ громко и во всеуслышаніе.

Перелистывая лежащія передо мной письма, я вижу, что настроеніе ихъ можно раздѣлить на два періода: письма до 1884 г. и потомъ съ 1884 г. по его смерть. Хотя и за первые годы онъ въ рѣдкомъ письмѣ не пожалуется на свое болѣзненное состояніе, но это бываетъ урывками и при этомъ онъ постоянно отвлекается вопросами общаго интереса; письма же его съ конца 1884 г., когда болѣзнь сдѣлала новые шаги впередъ и увеличила его разобщеніе съ внѣшнимъ міромъ, все болѣе сосредоточиваются на описаніи болѣзненныхъ ощущеній и часто проникнуты самымъ мрачнымъ отчаяніемъ отъ безконечныхъ страданій и тоской отъ жизни. Не слѣдуетъ забывать, что въ 1884 г, произошло закрытіе *Отечественныхъ Записокъ*, а вскорѣ и самая болѣзнь стала накладывать узду на творческую его дѣятельность и обрекать на періодическое бездѣйствіе, и едва ли это совпаденіе было случайное, т. е. едва ли закрытіе журнала, который такъ дорогъ былъ его сердцу, и перенесенное при томъ душевное потрясеніе не вызвало ускоренный ходъ самаго болѣзненнаго процесса.

Чтобы дать понятіе о состояніи здоровья Салтыкова въ 1881 г., привожу выдержку изъ его письма отъ 11-го іюля этого года, писаннаго изъ Висбадена тотчасъ по выѣздѣ изъ Россіи: „Благодарю васъ за письмо, которое было для меня тѣмъ дороже, что вы и сами, какъ я слышалъ, не совсѣмъ здоровы. Что касается до меня, то, мнѣ кажется, я совсѣмъ кончаю карьеру. Главнымъ

образомъ, сердце угнетено, и причина этого явленія, сколько могу судить, заключается въ актѣ предвиженія, которое всегда дѣйствуетъ на меня угнетающимъ образомъ. А между тѣмъ, я въ Берлинѣ прожилъ сутки, да и здѣсь, благодаря Лихачевымъ, могъ бы проводить время безъ скуки. Но, должно быть, скука-то именно и нужна для меня вмѣстѣ съ абсолютнымъ спокойствіемъ. Такой тоски, такого адскаго отвращенія къ жизни я никогда не испытывалъ. Вы вотъ поощряете меня къ дальнѣйшимъ писаніямъ, а повѣрите ли, что въ теченіе 9 дней моего пребыванія здѣсь я двухъ строкъ выжать изъ себя не могу. Въ Петербургѣ кое-что задумалъ, половину написалъ, и теперь сталъ въ тупикъ, хотя въ головѣ и ясно. Въ іюльской книжкѣ (ежели выйдетъ) прочтете начало проектированнаго мною цѣлаго ряда писемъ, касающихся исключительно современности. Увидите, что письмо написанó сразу; точно также, наканунѣ отъѣзда, написалъ начало втораго письма, а теперь вотъ не могу и не могу. Вотъ почему, я полагаю, что не попаду въ Тунъ, хотя всей душой желалъ бы. Боюсь, что помру въ Висбаденѣ. Представьте себѣ, насилу хожу.— Я сегодня хотѣлъ начать пить Вейльбахъ [1]) и всталъ въ 7 часовъ. Но шелъ проливной дождь (даже и теперь, въ 11 часовъ, нѣтъ-нѣтъ да и пойдетъ), я и остался дома. Здѣсь эту воду продаютъ въ бутылкахъ и говорятъ, надо пить прямо изъ бутылки, чтобы не исчезъ air fixe. Но горе мое въ томъ, что ходить не могу. Легкомысленные Л—вы заставили меня пройти до Диттенмюле (съ версту) и я чуть совсѣмъ не погибъ. Ванны я взялъ двѣ поясныхъ, но бросилъ: ужасно волнуютъ. Хочу посидѣть дома, посмотрѣть, чтò дальше будетъ съ сердцемъ. Къ докторамъ не обращаюсь, потому что опасаюсь новыхъ экспериментовъ; но Вейльбахъ буду пить....“

Несмотря на такое начало своего путешествія, онъ

---

[1]) Сѣрную минеральную воду.

все-таки нѣсколько поправился за лѣто, хотя и не признавалъ этого, кашлялъ меньше, могъ сдѣлать небольшое путешествіе по Швейцаріи и затѣмъ пожить около 3-хъ недѣль въ Парижѣ, пользуясь и его театрами и его уличной жизнью, и при всѣхъ этихъ переѣздахъ и неудобствахъ отельной жизни успѣлъ написать ту серію остроумныхъ разсказовъ, которые озаглавлены имъ „За рубежемъ“. Но лишь только онъ вернулся въ Петербургъ, какъ эффектъ поѣздки пропалъ, и онъ пишетъ мнѣ отъ 24-го сентября: „Пишу къ вамъ на первый разъ кратко, ибо какъ-то совсѣмъ неслыханно боленъ. Мало того, что цѣлую ночь не спалъ, но восемь часовъ кряду, сидя на стулѣ, дышалъ точно на рысяхъ. Именно восемь часовъ. Сейчасъ посылаю къ Соколову [2]) съ просьбой помочь. Думаю, что не путешествіе меня сразило, а разныя удовольствія, въ родѣ, напримѣръ, того, что вырѣзали мою статью, и мнѣ надобно бы теперь хлопотать, а я не могу. Сверхъ того, вышла моя книга „За рубежемъ“ и меня одолѣли книгопродавцы. Весь день я долженъ былъ болтать, да къ вечеру и доболтался...“

Затѣмъ слѣдуетъ рядъ писемъ, свидѣтельствующихъ о его постоянной хворости и все возрастающей раздражительности; да и теченіе всей окружающей его жизни не приноситъ ему ничего утѣшительнаго и радостнаго, а напротивъ держитъ все время его нервы въ такомъ напряженіи, которое заставляетъ беспрестанно возвращаться къ мысли о прекращеніи своей литературной дѣятельности и даже о смерти. Привожу для примѣра выдержку изъ письма отъ 15-го мая 1882 г.:

Извѣстіе, сообщенное вами о Тургеневѣ, повергло мень въ необыкновенное уныніе. Хоть я и не былъ съ нимъ особенно близокъ, но все-таки это личность крупная и какъ-то тяжело слышать упоминовеніе о смерти рядомъ съ именемъ человѣка, послужившаго развитію

---

[1]) Извѣстный клиницистъ, недавно умершій.

каждаго болѣе или менѣе порядочнаго человѣка. Буду надѣяться, что болѣзненный казусъ и на этотъ разъ разрѣшится благополучно. Смертей больше нежели достаточно. Вотъ Новодворской умеръ; къ нему на смѣну отправился умирать..., въ чахоткѣ, почти безнадежной. Невольно приходитъ на мысль: а слѣдующая очередь за кѣмъ? Оно, пожалуй, было бы и нехудо попасть въ очередь, да хлопотъ и мученья много. Вы, господа медики, все стараетесь *продлить*, а по нынѣшнему времени лучше и цѣлесообразнѣе было бы сократить и устранить хлопоты. Вотъ вы не читаете *Московскія Вѣдомости*, а мы читаемъ, и узнаемъ оттуда, что у насъ не только есть права, но и болѣе того—обязанности и даже политическія...... Вотъ какъ прочтешь такую вещь и знаешь, какой она эффектъ произведетъ, такъ и думается: какъ было бы хорошо, ничего этого не читать, не слышать и даже буквъ этихъ не видать. Серьезно вамъ говорю, что когда я прочиталъ эту передовую статью (третьяго дня), то со мной почти припадокъ сдѣлался,—не злобы, а безвыходнаго горя и отчаянія. Именно только хлопотъ и мученья много, а то, пожалуй, было бы даже лучше какой-нибудь хорошенькій тифецъ заполучить“...

Лѣто онъ провелъ на дачѣ въ Ораніенбаумѣ и былъ недоволенъ, какъ всегда впрочемъ, и обстановкой своей дачной жизни и состояніемъ своего здоровья („здоровье мое все въ томъ же видѣ“, — пишетъ онъ 11-го августа, „въ горлѣ и груди пѣніе; ночью — кашель, продолжающійся около 2-хъ часовъ; мнѣ и въ итальянскую оперу абонироваться не нужно: въ горлѣ свой итальянецъ сидитъ; надоѣло“) и нетерпѣливо ждалъ возвращенія къ своему письменному столу въ Петербургъ, куда все лѣто не переставалъ ѣздить по понедѣльникамъ для отправленія редакторскихъ обязанностей. Въ послѣдующую зиму онъ неоднократно получалъ обостреніе своего легочнаго катарра, вынуждавшее его по недѣлямъ сидѣть въ комнатахъ, а съ февраля посыпались болѣзни на жену

и дѣтей, послѣ чего врачи посовѣтовали въ началѣ мая отправить семью за границу, пробовали уговорить и его на поѣздку, но онъ уперся, ссылаясь на редакторскія дѣла, и уѣхалъ къ семейству только въ іюлѣ; не прошло и мѣсяца по выѣздѣ, какъ онъ пишетъ изъ Кларана отъ 9-го августа 1883 г.: „Пишу къ вамъ, имѣя передъ собой Dent du Midi, и въ то же время весь скрюченный прострѣломъ. Боль невыносимая, ни согнуться, ни разогнуться. Таковы послѣдствія слишкомъ дѣятельной жизни. Цѣлыхъ четыре дня каждодневно проводилъ въ увеселительныхъ поѣздкахъ, а сегодня я уже пошевелиться съ трудомъ могу. Я всегда, впрочемъ, думалъ, что мнѣ больше всего необходимо спокойствіе, которое я могу получить только дома, хотя тамъ не климатъ, а какая-то каша... Все остальное здѣсь превосходно. Озеро изумительно, горы волшебныя; отели похожи на дворцы“... Письмо это заканчивается словами: „Затѣмъ, представьте мою радость, 19-го августа я выѣзжаю изъ Парижа въ мѣста не столь отдаленныя, т. е. домой“.

Зима съ 1883 на 1884 годъ прошла для него тяжелѣе предъидущихъ, и разные недуги, кромѣ обычныхъ, преслѣдовали его безпрерывно, не давая опомниться. Начать съ того, что онъ „привезъ (какъ онъ выражается) изъ заграницы новаго фасона болѣзни, какихъ прежде не зналъ“; сначала въ сентябрѣ — упорную невралгію сѣдалищнаго нерва; въ октябрѣ разболѣлись глаза до того, что вынудили его обратиться къ окулисту, а отъ 5-го декабря онъ пишетъ: „Вы, я полагаю, браните меня за молчаніе, а дѣло, между тѣмъ, объясняется очень просто: я не выхожу изъ болѣзни. Цѣлую недѣлю страдалъ холероподобнымъ (какъ выражается Н. И. Соколовъ) поносомъ, а полторы недѣли назадъ посѣтила меня совсѣмъ неожиданно болѣзнь, которую Соколовъ назвалъ цынгою, а Боткинъ — purpura. Но дѣло не въ названіи, а въ томъ, что я цѣлыхъ три дня былъ безъ ногъ, а отчасти и безъ рукъ, потому что кровоизліяніе сдѣла-

лось и въ правой рукѣ, около кисти... Очевидно, наступаетъ разложенiе, выражающееся въ самыхъ непредвидѣнныхъ формахъ. Вы удивитесь, конечно, когда и за всѣмъ тѣмъ прочтете въ декабрьской книжкѣ мою статью. Но это дѣло особое. Нельзя мнѣ не писать, покуда публика этого требуетъ. Иначе мнѣ матъ и журналу матъ. Пишу почти насильно и съ явнымъ ущербомъ, и все-таки пишу... Съ декабрьскимъ № заканчиваю 15 лѣтъ своего редакторства въ *Отеч. Зап.* Изъ трехъ первоначальныхъ редакторовъ остался только я. Я считался всегда самымъ слабымъ и самымъ больнымъ, а живу. Можетъ быть, потому и живу, что не очень-то дорожу жизнью. Елисѣевъ, впрочемъ, тоже живетъ, но какое же значенiе имѣетъ его жизнь? Только со смертью борется — и больше ничего. Но и моя жизнь — видимо къ концу, и хотя я заключилъ съ Краевскимъ условiе еще на два года, но врядъ ли дотяну. По крайней мѣрѣ, умру на мѣстѣ битвы. Ужасно будетъ обидно, если ударитъ такая немочь, которая разобьетъ организмъ, не позволитъ, безъ согласiя, убрать неспособное тѣло заграницу. И безъ того досадно, что мало дѣлаешь, а тутъ ужъ кровно больно будетъ".

Въ апрѣлѣ 1884 г. разразилась надъ Салтыковымъ новая, на этотъ разъ внѣшняя бѣда: *Отеч. Записки* были прекращены. Хотя онъ всегда предсказывалъ, что это когда-нибудь можетъ случиться, но находиться въ ожиданiи угрожающаго бѣдствiя или имѣть дѣло съ совершившимся фактомъ—двѣ вещи разныя. Если судить по письму, въ которомъ онъ увѣдомлялъ меня о закрытiи журнала, и по сдержанности его выраженiй, можно было подумать, что Салтыковъ принялъ и перенесъ этотъ ударъ покойно, но самая краткость извѣщенiя и какая-то ненатуральная торжественность его тона заставляли предполагать, какъ тяжело ему справиться съ мыслями о крутомъ поворотѣ, который вносило въ его жизнь закрытiе журнала. Не говоря о значительномъ ущербѣ и о

томъ, что онъ лишался самъ правильно организованнаго труда, съ которымъ сжился въ теченіе 15-ти лѣтъ, онъ долженъ былъ присутствовать при внезапномъ разгромѣ горячо любимаго дѣла, разставаться съ давними своими товарищами-сотрудниками и т. п. Помимо всего этого, ему, при его живости и безпрерывной недужности, приходилось серьезно задуматься о будущности своей и своихъ дѣтей, тѣмъ болѣе, что въ своемъ тяжеломъ пессимистическомъ настроеніи духа онъ привыкъ преувеличивать недостаточность своихъ денежныхъ средствъ,— приходилось, стало быть, создавать себѣ новое положеніе и искать сторонняго заработка. При этомъ опять-таки нельзя мѣрять Салтыкова на общій аршинъ и надо помнить, что, не смотря на совсѣмъ расшатанное здоровье, его наклонность къ литературному труду и творческая производительность продолжали оставаться изумительными, и что при его неуходившемся еще интересѣ къ событіямъ текущей жизни, при его страстной отзывчивости, ему невозможно было примириться съ ролью молчаливаго наблюдателя, сложить на груди руки и не высказывать того, что такъ императивно просилось подъ его перо. Наконецъ, внезапный перерывъ въ работѣ, составлявшей для него главный стимулъ и чуть-ли не единственное наслажденіе въ жизни и въ то же время самое дѣйствительное отвлеченіе отъ его недуговъ и тѣхъ болѣзненныхъ ощущеній, которыя онъ испытывалъ, отдавалъ его всецѣло во власть этихъ самоощущеній и неизбѣжно долженъ былъ усилить его раздражительность и мрачное, ипохондрическое направленіе его мыслей. Оно такъ и было,—и съ этой поры тонъ его писемъ становится еще безотраднѣе и жалобы на здоровье болѣе усиленными.

Первое время заняла его ликвидація журнальнаго дѣла, затянувшаяся до средины лѣта, проведеннаго имъ на Сиверской станціи около Петербурга. Среди мрачнаго раздумья о будущемъ и при полномъ литератур-

номъ бездѣйствіи, потому что онъ еще не могъ рѣшить, гдѣ будетъ помѣщать впредь свои статьи, онъ писалъ: „Что̀ касается до моего соціальнаго положенія, то я теперь все равно, что генералъ безъ звѣзды. Никакъ не могу выяснить себѣ какого я пола. Заниматься ничѣмъ не могу, ибо, направивши свою дѣятельность извѣстнымъ образомъ, очень трудно ломать“. Состояніе здоровья ухудшилось, кашель и одышка настолько велики, что онъ рѣдко пользуется дачнымъ воздухомъ и все лѣто старается поправить себя усиленнымъ лѣченіемъ, но, не видя облегченія, разражается часто претензіями на врачей. Такъ, по возвращеніи въ городъ, онъ въ письмѣ отъ 31-го августа 1884 г. формулируетъ эти претензіи въ слѣдующей оригинальной формѣ: „посѣщаетъ меня д-ръ Г., но мы съ нимъ больше о вольномысліи бесѣдуемъ. Да и вообще моя участь такая: всѣ доктора со мной бесѣдуютъ больше о вольномысліи, нежели о моей болѣзни. Можетъ быть, болѣзнь-то такого рода, что на нее нужно махнуть рукой. Тѣмъ не менѣе, я страдаю поистинѣ жестоко. Изъ комнаты въ комнату переходя, задыхаюсь, а чтобы пройти по корридору, раза три отдыхаю: стою, упершись въ стѣну и вылупивши глаза. Надо утромъ видѣть, что̀ со мной происходитъ. А врачи, видя меня, восклицаютъ: Какой у васъ сегодня прекрасный видъ! А я, по крайней мѣрѣ, раза четыре въ день по получасу лаю какъ собака. Вотъ что значитъ быть сатирикомъ: и лицо не настоящее“!

III.

Къ осени литературный кризисъ его кончился, благодаря приглашенію М. М. Стасюлевича участвовать въ *Вѣстникѣ Европы*, и въ ноябрьской книгѣ журнала по-

является послѣдовательный рядъ разсказовъ Салтыкова, начавшійся съ „Пестрыхъ писемъ“; одновременно онъ довольно часто помѣщаетъ сказки и небольшіе фельетоны въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ.* Это возобновленіе дѣятельности его немного успокоило, но успокоеніе длилось не долго: около Рождества расхворался опасно его сынъ скарлатиной, осложненной воспаленіемъ сердца, и нѣкоторое время находился при смерти. Тревога за жизнь мальчика, тяжелый уходъ за нимъ, а также абсолютный карантинъ, когда въ теченіе почти двухъ мѣсяцевъ никто, кромѣ врачей не переступалъ порога его квартиры и пр. — не замедлили потрясти организмъ отца, растревожить его больное сердце и вызвать значительное ухудшеніе его состоянія. Сынъ поправился, но положеніе отца внушало врачамъ опасеніе, чтобы болѣзнь его не усилилась за лѣто, а потому поднятъ былъ вопросъ о поѣздкѣ за границу, встрѣченный со стороны Салтыкова рѣшительнымъ отказомъ; тогда врачи прибѣгли къ хитрости и предписали везти дѣтей для укрѣпленія ихъ здоровья, вмѣсто Гапсаля, какъ было рѣшено вначалѣ, на желѣзныя воды Эльстеръ (въ Саксоніи), а потомъ на морскія купанья. Только подъ давленіемъ такого предписанія Салтыковъ, не желая одиночествовать все лѣто въ Петербургѣ, увидѣлъ себя вынужденнымъ ѣхать и самому за-границу и, рѣшившись, началъ заблаговременно списываться со мной, гдѣ и какъ намъ съѣхаться вмѣстѣ. Такъ какъ я собирался іюль и августъ прожить въ Висбаденѣ, то онъ и остановился на этомъ городѣ. Семью онъ отправилъ раньше въ Эльстеръ, а самъ собрался выѣхать изъ Петербурга 18 го іюня и такъ боялся этой поѣздки и возможности умереть въ вагонѣ, что за два дня до отъѣзда написалъ мнѣ: „такъ какъ я безпримѣрно боленъ, то, можетъ быть, умру дорогой. Я уже написалъ на счетъ этого женѣ инструкцію съ описаніемъ всѣхъ цѣнностей, которыя при мнѣ будутъ находиться, потому что везу съ собой всѣ капиталы, потребные на

вояжъ". — Не высказывая ему, я тоже не безъ страха за него смотрѣлъ на эту поѣздку; пугалъ меня не его собственный тревожный взглядъ на нее, — къ его предчувствіямъ близкой смерти я уже достаточно привыкъ, чтобы ихъ принимать на вѣру, — а то, что въ его состояніи за послѣдніе два мѣсяца замѣтно и для меня произошли какія-то рѣзкія перемѣны къ худшему. Я могъ догадываться объ этомъ заочно только по сильно измѣнившемуся почерку его писемъ; изъ четкаго и весьма твердаго онъ сдѣлался дрожащимъ, крайне неразборчивымъ и утратилъ многія свои характерныя особенности; притомъ изрѣдка стали встрѣчаться въ письмахъ пропуски нѣкоторыхъ буквъ или неправильная перестановка ихъ въ словахъ.

Остановившись на недѣлю въ Эльстерѣ, пока дѣти заканчивали курсъ своего лѣченія, онъ съ семьей перебрался въ Висбаденъ, гдѣ я ему приготовилъ, по его же указанію, помѣщеніе въ пансіонѣ, въ которомъ онъ останавливался въ 1881 году. Перемѣна, происшедшая въ немъ со времени нашего послѣдняго свиданія, т.-е. всего за два года, была разительна: онъ похудѣлъ, сильно осунулся и имѣлъ видъ порядкомъ-таки одряхлѣвшаго старика; но что больше всего меня поразило въ немъ — это какое-то мышечное безпокойство: его подергивало, и по временамъ эти подергиванія принимали видъ Виттовой пляски; болѣе рѣзки и часты они были вдоль лѣвой руки и особенно въ плечѣ и въ лѣвыхъ мышцахъ шеи. Когда онъ чѣмъ-нибудь раздражался, а раздражался онъ теперь по всякому ничтожному поводу, тогда подергиванія дѣлались общими, переходили на личныя мышцы и онъ начиналъ гримасничать; они не были постоянны, появлялись по нѣскольку разъ въ день, держались по нѣскольку часовъ и замирали, но рѣдко вполнѣ. Вначалѣ я думалъ, что эти подергиванія есть не что иное, какъ та форма Виттовой пляски, которую иногда наблюдали врачи какъ спутницу болѣзней сердца; но, присмотрѣвшись

въ теченіе нѣсколькихъ дней къ больному, я сталъ больше и больше склоняться къ предположенію, что они зависятъ отъ какой-нибудь центральной причины въ мозгу, или кисты или гуммы. Подозрѣвать послѣднюю давало поводъ прошлое больного; послѣдствія однако же показали, что мое предположеніе было не вѣрно и что при вскрытіи Салтыкова такихъ мѣстныхъ опухолей въ мозгу не оказалось. Появились эти припадки за мѣсяцъ до отъѣзда его изъ Петербурга, но особенно они усилились вслѣдствіе дорожнаго безпокойства и утомленія, и появленіе ихъ, на придачу къ прежнимъ, дѣлало положеніе Салтыкова еще болѣе невыносимымъ и совершенно оправдывало и его мрачное настроеніе духа, и его необыкновенную раздражительность, развившуюся до того, что съ нимъ трудно было разговаривать и еще труднѣе успокаивать надеждою на улучшеніе; особенно тяжелъ онъ сдѣлался въ семейной жизни и легко вспыхивалъ отъ всякаго противорѣчія жены, отъ ничтожной шалости дѣтей. Притомъ за эти послѣдніе годы онъ, все въ чаяніи облегченія, привыкъ къ злоупотребленію лѣкарствами, и я, съ ужасомъ за его пищевареніе, видѣлъ, какъ чуть не ежечасно онъ глоталъ какое-нибудь аптекарское снадобье, — то микстуру, то порошки или пилюли; пробовалъ я было ограничить эту неумѣренность, но безъ всякаго успѣха: если онъ соглашался разстаться съ тѣмъ или другимъ изъ привезенныхъ съ собой лѣкарствъ, то только подъ условіемъ, чтобы взамѣнъ я выписалъ ему другое отъ себя.

Черезъ нѣсколько дней семья его должна была уѣхать на морскія купанья во Францію, и, чтобы не оставлять его въ одиночествѣ при такомъ убійственномъ настроеніи, я предложилъ ему переѣхать въ нашъ пансіонъ Brüsselerhof, гдѣ я жилъ съ женой. Какъ разъ къ тому времени очистились двѣ смежныя съ нашими комнаты, такъ что онъ могъ имѣть и столъ вмѣстѣ съ нами, и вмѣстѣ проводить все праздное время. Онъ очень обра-

довался этому предложенію и въ день отъѣзда семьи немедленно перебрался въ свое новое помѣщеніе. Сожительство наше продолжалось 5 недѣль, и если бы не постоянно гнетущее чувство, что у насъ на глазахъ все болѣе расхварывался и какъ-то безпомощно догоралъ этотъ сильный талантъ, если бы не вѣчный страхъ, что вотъ-вотъ явится новое внезапное осложненіе въ его болѣзни и уложитъ его въ постель, — это время оставило бы во мнѣ самыя теплыя и пріятныя воспоминанія. Сознаюсь чистосердечно и въ томъ, что, беря Салтыкова на наше попеченіе съ его репутаціей сварливаго и неуживчиваго человѣка, я изрядно-таки побаивался, что такое тѣсное сожитіе не кончится безъ непріятностей и порчи старыхъ отношеній; но онъ все время былъ безукоризненно деликатенъ съ нами; преувеличенно благодарилъ насъ за уходъ, какимъ былъ окруженъ, и держалъ себя такимъ общительнымъ, простымъ и кроткимъ собесѣдникомъ, что не только не являлось никакихъ поводовъ къ разладицѣ, а, напротивъ, мы прожили вмѣстѣ самымъ дружественнымъ образомъ и сблизились еще больше, чѣмъ до того. Но, несмотря на эту мирную и правильно урегулированную жизнь и на прекрасное время года, лучше ему не дѣлалось; даже подергиванія, первыя двѣ недѣли почти прекратившіяся, вернулись вскорѣ съ прежней силой. Самое тягостное для него было оскудѣніе воображенія и неспособность приняться за литературныя работы: въ теченіе всѣхъ этихъ 5 недѣль, приходя къ нему каждое утро, я видѣлъ у него на письменномъ столѣ большой листъ бѣлой бумаги съ написаннымъ заголовкомъ разсказа и съ 4—5 строчками набросаннаго начала, но дальше этого онъ продолжать не могъ, и это полное безсиліе непокидавшаго его доселѣ творческаго дара приводило его въ глубокое уныніе. Все это, и продолженіе хореическихъ припадковъ, и такая внезапная невозможность заниматься прирожденнымъ ему дѣломъ и замѣтное ослабленіе памяти (онъ—человѣкъ въ

высшей степени аккуратный—то, уходя изъ дома за покупками, оставлялъ у себя на столѣ кошелекъ съ деньгами, то забывалъ сдѣлать себѣ своевременно запасъ папиросъ, то въ разговорѣ перепутывалъ и забывалъ самые недавніе факты своей и общественной жизни и т. п.) — все это указывало, что въ мозгу его творится что-то неладное, готовое разразиться дурными послѣдствіями. Онъ самъ сознавалъ все это и видѣлъ притомъ всю безуспѣшность моихъ стараній облегчить его состояніе, и къ концу своего мѣсячнаго пребыванія въ Висбаденѣ сталъ такъ скучать нашей пансіонской жизнью и порываться домой въ Петербургъ, что удержать его дольше было невозможно. Пустить его одного въ дорогу въ его положеніи было рискованно, да и самъ онъ ни за что бы не рѣшился ѣхать безъ провожатаго; пріискать же попутчика ему въ Петербургъ не удалось, а потому оставалось одно — выписать его семью, кончившую къ тому времени свои морскія купанья и проживавшую въ Парижѣ, чтобы отправить всѣхъ вмѣстѣ въ Россію. Такъ и было поступлено: жена его, сокративъ свое пребываніе въ Парижѣ, немедленно пріѣхала въ Висбаденъ; и, проживъ съ семьей еще дня три въ пансіонѣ, Салтыковъ отправился въ Петербургъ.

IV.

Провожая его на желѣзную дорогу, я въ душѣ считалъ его совсѣмъ погибшимъ и менѣе всего надѣялся на то, чтобы когда—нибудь могла возобновиться его литературная дѣятельность. Въ этомъ взглядѣ укрѣпили меня еще больше первыя письма, полученныя отъ него по пріѣздѣ домой; очевидно, ему становилось все хуже и хуже, пока не пришло отъ него всего нѣсколько стро-

чекъ безъ всякой даты, поразившихъ меня своимъ лаконическимъ отчаяніемъ: „Извините, — пишетъ онъ, — что давно не писалъ. И теперь насилу пишу и немного. Руки не пишутъ, глаза не глядятъ. Близко къ концу. Прощайте, вѣроятно, на-вѣки. Глубокій поклонъ отъ меня уважаемой С. П.“ (моей женѣ). Вскорѣ письмо это объяснилось дошедшимъ до меня извѣстіемъ, что Салтыковъ сильно расхворался, слегъ въ постель и снова боролся со смертью. Пролежалъ онъ отъ двухъ до трехъ недѣль съ температурой, переходившей за 40°, и часто теряя сознаніе, но вышелъ побѣдителемъ и изъ этой борьбы и, противъ ожиданій лѣчившихъ врачей, скоро былъ снова на ногахъ. Не имѣя точныхъ данныхъ, я не рѣшаюсь пускаться въ предположенія, что̀ это съ нимъ было, но врядъ ли можно сомнѣваться, что это заболѣваніе находилось въ тѣсной связи со всѣмъ предшествовавшимъ ухудшеніемъ его здоровья весной и лѣтомъ. Всталъ онъ очень изнуренный этою перенесенной острой формой болѣзни, не чувствуя ни малѣйшаго облегченія отъ своихъ прежнихъ страданій и не избавившись отъ мозговой апатіи; возвращеніе физическихъ силъ шло медленно.

Тѣмъ же постояннымъ стономъ полны и его письма изъ Финляндіи съ „Красной мызы“, куда онъ переѣхалъ съ семьей на лѣто и поселился въ такомъ сосѣдствѣ профессора Боткина, что они могли видаться ежедневно. Казалось бы, одного этого было достаточно, чтобы Салтыковъ, будучи увѣренъ постоянно въ умѣломъ медицинскомъ совѣтѣ и въ самомъ сердечномъ участіи къ себѣ, на какое такъ способна была благодушная натура Боткина, успокоился немного нравственно и помирился съ тѣми изъянами въ существованіи, которые причиняла ему болѣзнь и отчасти и 60-лѣтній возрастъ. Но не тутъ-то было: и во всемъ моемъ собраніи писемъ едва ли не самыя мрачныя тѣ, которыя написаны лѣтомъ 1886 года; въ нихъ даже не одинъ разъ высказывается

мысль о самоубійствѣ. Онъ не удовлетворялся такою половинчатою жизнью больного, нетерпѣливо желалъ полнаго выздоровленія и никакъ не хотѣлъ вѣрить, что медицина не въ состояніи доставить его. Это вѣчное недовольство и вѣчное преслѣдованіе своими жалобами нерѣдко портило и его отношенія съ Боткинымъ. А между тѣмъ ему несомнѣнно дѣлалось нѣсколько лучше; подергиванія стали гораздо слабѣе и рѣже, что выражалось и на его почеркѣ, къ которому вернулся снова его твердый и четкій характеръ, а главное вскорѣ проснулся дремавшій въ немъ болѣе года позывъ къ литературному труду, и онъ началъ писать. Первое извѣщеніе о приступѣ его къ писательству встрѣчается въ его письмѣ отъ 14-го августа, въ которомъ, послѣ обычныхъ подробностей о своемъ безнадежномъ состояніи, онъ какъ бы вскользь упоминаетъ: „тѣмъ не менѣе я работаю и въ теченіе послѣдняго мѣсяца написалъ до $2^1/_2$ печатныхъ листовъ“, и тотчасъ же прибавляетъ: „должно быть, это передъ смертью“. Въ письмѣ же черезъ мѣсяцъ, отъ 10-го сентября, онъ сообщаетъ о своихъ занятіяхъ уже съ большею обстоятельностью: „посылаю вамъ вмѣстѣ съ симъ новую 2-ю главу „Мелочей жизни“. 7-го числа вышли еще мои двѣ новыя сказки, но не посылаю ихъ, потому что не имѣю оттисковъ. Мнѣ хотѣлось бы знать ваше откровенное мнѣніе о моемъ новомъ вступленіи на литературное поприще, тѣмъ болѣе, что вы, вѣроятно, уже прочли въ *Вѣстникѣ Европы* мое 8-е „Пестрое письмо“. Боюсь, не слишкомъ ли чувствуется упадокъ и не черезчуръ ли болѣзненно. У меня еще готово, но не напечатано: двѣ сказки, три главы „Мелочей“ и одно „Пестрое письмо“. Все это я написалъ въ теченіе какихъ-нибудь 5 недѣль, но при этомъ чувствовалъ себя такъ мучительно, какъ будто во мнѣ совершался страшный, болѣзненный процессъ. Буквально задыхался пиша, какъ задыхаюсь и теперь, пиша это письмо“.

Фактъ такой громадной производительности просто изумителенъ. Для меня, какъ врача, уже прежде потерявшаго надежду на возобновленіе его литературной дѣятельности и потомъ слѣдившаго по письмамъ за новыми тяжкими ухудшеніями въ болѣзни, этотъ фактъ только и можетъ объясняться счастливыми особенностями большого таланта и исключительной натуры, къ которымъ шаблонъ, употребляемый для обыкновенныхъ смертныхъ, оказывается непримѣнимымъ. Думается, что такія же соображенія должны удерживать насъ и отъ легкомысленныхъ сужденій о необыкновенной впечатлительности Салтыкова въ болѣзняхъ и о тѣхъ тяжелыхъ неровностяхъ его характера, которыя такъ непріятно кидались въ глаза всѣмъ, приходившимъ съ нимъ въ соприкосновеніе, и заставляли дѣлать невѣрное заключеніе объ этомъ человѣкѣ, въ сущности весьма мягкомъ и добросердечномъ.

Возобновившаяся дѣятельность продолжалась и всю зиму 1886—1887 г., и онъ не переставалъ въ каждомъ письмѣ жаловаться на свои страданія и на „оброшенность" со стороны знакомыхъ и даже со стороны врачей (послѣдніе посѣщали его рѣже въ виду нѣкотораго улучшенія болѣзни); однако работа замѣтно отвлекала его отъ постояннаго анализа болѣзненныхъ ощущеній, и письма его за эту зиму содержательнѣе, даютъ больше указаній на проектируемыя имъ работы и указываютъ на большій интересъ къ окружающему міру. Такъ, отъ 30-го октября 1886 г. онъ пишетъ: «Посылаю при семъ два моихъ этюда. Будетъ еще два, которые своевременно вамъ доставлю. Этюды эти составляютъ часть „Мелочей жизни", которыя я перенесъ въ *Вѣстникъ Европы*, и 5 главъ (изъ нихъ двѣ вамъ уже извѣстны) будутъ помѣщены въ ноябрьской книжкѣ. На декабрьскую и на январьскую мною уже заготовлено продолженіе. Въ цѣломъ составится довольно большая книжка (предполагаю всю работу кончить къ апрѣлю), не лишенная смы-

сла. Только въ послѣдней заключительной главѣ раскроется истинный смыслъ работы. Вообще я къ журнальной работѣ отношусь теперь нѣсколько иначе. Къ ней (и въ особенности къ газетной) всего менѣе примѣнима поговорка scripta manent, и тотъ, кто не читалъ меня въ книжкѣ, очень мало меня знаетъ...“

Такое относительное улучшеніе въ здоровьи, а именно пробужденіе писательской дѣятельности, произошло при употребленіи внутрь фосфора, который врачи, по моему предложенію, попробовали давать ему съ весны 1886 г. Салтыковъ сильно увѣровалъ въ великую цѣлебность этого средства, и вскорѣ потребовалось не мало уговоровъ, чтобы удержать его отъ злоупотребленія имъ, особенно когда, послѣ усиленной и напряженной работы зимой, по переѣздѣ на дачу снова появляются припадки мозговаго утомленія, невозможность долѣе заниматься и письма его принимаютъ снова самую мрачную окраску. Для примѣра, вотъ первое его письмо съ дачи (станція Серебрянка, по Варшавской желѣзной дорогѣ) отъ 31-го мая: „Вы совершенно правы, находя, что этюды „читателя“ вялы; я и самъ это знаю. Я понималъ это ужъ и тогда, когда ихъ писалъ почти насильно, въ предчувствіи періода безсилія мысли, какое утруждало меня въ Висбаденѣ. Теперь этотъ періодъ наступилъ; и хотя д-ръ Соколовъ рекомендовалъ мнѣ не заниматься умственной работой до іюля, но это и безъ его рекомендаціи сдѣлалось бы само собой. Боюсь только, какъ бы окончательно безсиліе мысли не овладѣло мной. На счетъ нашей переписки, дѣйствительно, существуетъ недоразумѣніе. Вѣроятно, я не умѣю объяснить дѣло, какъ слѣдуетъ. Вообще, я желалъ бы ингда высказать очень многое—и не могу. Всякая серьезная работа, въ родѣ анализа, производитъ во мнѣ весьма мучительные припадки: одышку, раздраженіе и пр. Вотъ и теперь: едва написалъ страницу, какъ уже почувствовалъ необходимость отдохнуть. Сердце зато-

сковало, голова ослабѣла, не держится на плечахъ. Донимаетъ дремота. Мнѣ кажется, всего яснѣе можно формулировать то, что мнѣ теперь нужнѣе всего—это двумя словами: участіе и состраданіе. Я не могу пожаловаться на недостатокъ друзей, потому что мой письменный столъ наполненъ массою адресовъ, писемъ и телеграммъ, доказывающихъ, что друзья у меня есть и что слово мое звучало недаромъ. Но гдѣ эти друзья, и что значатъ заочныя заявленія больному человѣку (понимаю, что говорю неясно, но, дѣлать нечего, яснѣе выразиться не могу)? Не сѣтую также на знакомыхъ, но вѣдь у нихъ свое дѣло и они могутъ мнѣ удѣлить нѣсколько короткихъ минутъ въ недѣлю... Что я умираю — это несомнѣнно. Но ужасно то, что умираніе происходитъ съ такою мучительною медленностью. Напрасно говорятъ мнѣ доктора, что мнѣ лучше,—я въ этомъ случаѣ считаю себя болѣе компетентнымъ судьей. Когда я былъ въ Висбаденѣ, мнѣ было очень худо, но я могъ гулять, ходилъ пѣшкомъ въ курзалъ, ѣздилъ на конкѣ и т. д. Въ прошломъ году, лѣтомъ, въ Финляндіи, хотя и съ трудомъ, но могъ ходить по саду, ѣздить. Нынѣшнее лѣто, покуда, съ мѣста тронуться не могу. Правда, что и лѣто отвратительное, но и въ перспективѣ ничего хорошаго не предвижу. Вкусъ къ жизни потерянъ; голова слабѣетъ съ каждымъ днемъ. Судя по этимъ объективнымъ признакамъ, будущаго лѣта я, конечно, не дождусь: но не это худо, а то, что болѣзнь и сопряженная съ нею оброшенность измучатъ меня...“

Въ такихъ стенаніяхъ изливался онъ и въ слѣдующихъ письмахъ и особенно мучило его безсиліе работать; напрасно пробовалъ онъ снова возбудить, какъ кнутомъ, свое воображеніе пріемами фосфора, но на этотъ разъ и фосфоръ отказывался далѣе ему служить. Пытаясь его успокоить разными палліативами, я въ одномъ изъ моихъ отвѣтовъ высказалъ мысль, отчего бы ему не обратиться къ составленію автобіографіи, какъ

къ труду болѣе фактическому и требующему менѣе мозговой затраты и напряженія,—и вотъ что онъ отвѣчалъ по этому поводу отъ 24-го іюня: „Вы указываете мнѣ на автобіографическій трудъ, но онъ и прежде меня уже заманивалъ. У меня ужъ есть начатая работа, и я съ тѣмъ и уѣзжалъ на дачу, чтобы ее продолжать лѣтомъ, какъ меня охватило полное безсиліе. Но вы, кажется, ошибаетесь, находя эту работу легкою. По моему мнѣнію, изъ всѣхъ родовъ беллетристики это самый трудный. Во-первыхъ, автобіографическій матеріалъ очень скуденъ и неинтересенъ, такъ что необходимо большое участіе воображенія, чтобы сообщить ему цѣнность. Во-вторыхъ, въ большинствѣ случаевъ, не знаешь, какъ отнестись къ нему. Правду писать неловко, а отступать отъ нея безнаказанно, въ литературномъ смыслѣ, нельзя: сейчасъ почувствуется фальшь. Но я не оставлю этой мысли и приступлю къ ней, какъ только возможно будетъ. Но врядъ ли эта возможность скоро настанетъ. Уже по почерку этого письма вы видите, что я близокъ къ каракулямъ, а писать, при такихъ условіяхъ, даже малыми дозами трудно...“ Однако, какъ видно, возможность эта явилась скоро, потому что, два мѣсяца спустя, онъ уже сообщаетъ: „въ послѣднее время меня обуялъ демонъ писанія и я кое-что накропалъ изъ стараго матеріала; но это меня ужасно изгрызло...“

Но и болѣзнь все не давала ему спуску и въ октябрѣ прибавила новыя мученія со стороны почекъ: очень часто стали появляться весьма болѣзненныя почечныя колики съ выведеніемъ песка, большею частью по ночамъ, лишая его сна, изнуряя еще болѣе слабый организмъ и дѣлая его въ конецъ неспособнымъ на дневную работу. Но, выспавшись, онъ вставалъ въ свой обычный часъ съ постели, садился за письменный столъ, но писать не могъ, потому что его одолѣвала дремота и онъ боролся съ ней до вечера. Колики эти продолжались всю зиму и только въ январѣ 1888 г. онѣ переме-

жились на нѣсколько недѣль, которыми онъ тотчасъ же и воспользовался, чтобы приготовить статьи для слѣдующихъ нумеровъ *Вѣстника Европы.* Читателямъ, встрѣчавшимъ въ каждой книжкѣ журнала статьи за подписью Щедрина, не могло прійдти и въ голову, какими урывками, съ какой лихорадочною поспѣшностью и среди какихъ страданій писались эти страницы, такъ поражавшія глубокимъ драматизмомъ и логическою послѣдовательностью. Самъ онъ болѣе чѣмъ когда-либо оставался недоволенъ своими послѣдними произведеніями и безпрестанно обращался къ близкимъ знакомымъ съ просьбой высказать откровенно свое мнѣніе о нихъ, а когда въ отвѣтъ на это получалъ только похвалы или встрѣчалъ въ журнальной критикѣ лестные отзывы, то принималъ тѣ и другіе съ недовѣріемъ, говоря, что это не хотятъ огорчить хвораго человѣка.

Дотянувъ кое-какъ эту зиму, онъ въ первыхъ числахъ іюня переѣхалъ на дачу (станція Преображенская, по Варшавской желѣзной дорогѣ), и продолжалъ тамъ начатыя работы, какъ видно изъ письма отъ 14-го іюля: „Въ послѣднее время я довольно много писалъ, такъ что въ сентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ вы рискуете встрѣтиться со мной въ *Вѣстникѣ Европы.* Соколовъ, правда, убѣждалъ меня не работать, покуда я пью контраксевиль, но какая же возможность удержаться, когда позываетъ къ работѣ? Кромѣ того работа необходима мнѣ и въ матеріальномъ отношеніи, потому что требованія семьи возрастаютъ все больше и больше и я рискую сдѣлаться несостоятельнымъ. Мнѣ кажется, что я до послѣдняго издыханія осужденъ работать, и хорошо, что я уже смолоду привыкъ къ труду. А то была бы бѣда“. Привыкши на все смотрѣть мрачно, онъ и тутъ впадалъ въ невольное преувеличеніе, стараясь увѣрять и себя и другихъ, что съ его литературнымъ заработкомъ для него связывается чуть не вопросъ о насущномъ хлѣбѣ для семьи, чего на самомъ дѣлѣ, какъ из-

вѣстно, далеко не было.—Скоро однако и это въ послѣдній разъ ярко вспыхнувшее въ немъ пламя творческой способности должно было потухнуть, отчасти вслѣдствіе мозгового утомленія, а отчасти вслѣдствіе и физической невозможности писать, такъ какъ подергиванья въ тѣлѣ возобновились въ такой силѣ, что онъ по цѣлымъ недѣлямъ не могъ держать пера въ рукахъ и принужденъ былъ прекратить „Пошехонскую старину" раньше, чѣмъ это предполагалось имъ вначалѣ. „Я,—пишетъ онъ, кое-какъ покончилъ съ „Пошехонской стариной", т.-е. попросту скомкалъ. Въ мартовской книжкѣ появится конецъ, за который никто меня не похвалитъ. Но я до такой степени усталъ и измученъ, что надо было, во что бы то ни стало, отдѣлаться".

Письма его ко мнѣ за эту послѣднюю зиму его жизни, не менѣе частыя, чѣмъ въ предыдущіе годы, полны исключительно описаніемъ страданій, но такъ какъ они ничего новаго къ прежде сказанному не прибавляютъ, то я и не вижу надобности приводить изъ нихъ выдержки. Въ нихъ есть новаго только то, что къ его всегдашнимъ физическимъ мукамъ присоединяется теперь тяжелое сознаніе своей чрезмѣрной раздражительности, сознаніе, что онъ не въ силахъ справляться съ безпрерывными вспышками усиливающейся нервозности, и того, какимъ гнетомъ она должна ложиться на его отношенія къ семьѣ, какъ дурно влiять на воспитаніе дѣтей и т. п.: при его любви къ дѣтямъ, сознаніе мучительное и горькое,—и очевидно, подъ вліяніемъ его, въ головѣ Салтыкова начинаютъ безпрестанно возникать планы, какъ бы уединиться куда-нибудь подальше, ни во что не вмѣшиваться. Такъ, отъ 10-го октября 1888 г. онъ сообщаетъ, что просилъ одного изъ лучшихъ своихъ друзей, В. И. Лихачева, переселить его въ Царское Село, и жалуется, что тотъ не исполняетъ его желанія („онъ вѣроятно находитъ, что это капризъ больного человѣка; обиднѣе всего, что я не только самъ мучусь, но и семью

мучу; и всѣ думаютъ, что я послѣдняго не понимаю)“. Черезъ мѣсяцъ онъ снова жалуется на друзей, что они не помогутъ ему устроить болѣе спокойную обстановку и говоритъ: „Наконецъ, я придумалъ такую комбинацію: такъ какъ я не въ силахъ управлять собой, то просить объ учрежденіи опеки. Оказывается, что я долженъ быть для этого освидѣтельствованъ и признанъ сумасшедшимъ. Самъ я, напримѣръ, не могу сказать: придите ко мнѣ на помощь,—я лишенъ возможности управлять собой!—Нужно, чтобы это сказали третьи лица“... А еще два мѣсяца спустя, онъ уже носится съ новою мыслью переѣхать во Францію, въ городъ Туръ, гдѣ жила тогда сестра его жены, вышедшая замужъ за француза, но при этомъ и самъ сомнѣвается въ пригодности этого переселенія, прибавляя: „Переѣзжать придется, вѣроятно, навсегда, потому что Туръ не купель Силоамская и не возстановитъ меня настолько, чтобы я могъ мечтать о прежней дѣятельности. Если перемѣна климата и поможетъ, то лишь подъ условіемъ, чтобы въ этомъ новомъ климатѣ и жить“.

Но въ то время, какъ въ его головѣ эти планы лихорадочно смѣняли одинъ другого, обнаруживая, до чего ему становилось невыносимо жить въ настоящихъ условіяхъ и какъ онъ ищетъ выхода изъ нихъ, смерть стояла уже за его плечами. Въ этомъ же самомъ письмѣ отъ 13-го января, гдѣ говорится о Турѣ, онъ передаетъ о болѣзни И. А. Гончарова въ такихъ выраженіяхъ: „Дня три тому назадъ опасно заболѣлъ Гончаровъ. Прежде сказали бы, что съ нимъ случился параличъ, а теперь говорятъ: закупорка. Все совершенствуется». Онъ и не подозрѣвалъ, что та же закупорка, въ которую онъ пускалъ свою сатирическую стрѣлу, скоро подкараулитъ и его самого. И мнѣ, получившему отъ него слѣдующее письмо отъ 21-го февраля, ничто не указывало, что конецъ его такъ близокъ: письмо это все было занято подробностями о рѣшеніи его приступить къ полному изда-

нію своихъ сочиненій, и новое предпріятіе такъ волновало его опасеніями неудачи, что онъ какъ бы забываетъ о своей болѣзни и мало о ней распространяется. А между тѣмъ весьма возможно, что именно подъ вліяніемъ этого волненія вскорѣ онъ тяжко захворалъ, о чемъ мнѣ сообщили наши общіе съ нимъ знакомые, а такъ какъ жизнь его считалась уже много лѣтъ висѣвшей на волоскѣ, то на этотъ разъ спасенія, казалось, не было. Однако черезъ четыре недѣли ему стало понемногу дѣлаться лучше, а еще черезъ нѣсколько времени я получилъ отъ него написанную карандашомъ коротенькую записку отъ 22-го апрѣля слѣдующаго содержанія: „Хотя Боткинъ и утверждаетъ, что я избѣжалъ опасности, но я честью васъ завѣряю, что испытываю жестокія страданія. Цѣлый день задыхаюсь, сплю и потѣю. Ослабѣлъ до того, что не только ходить, но стоять не могу. Кажется, довольно? Прощайте; С. П—нѣ жму руку. На дняхъ получите 1-й томъ моихъ „Сочиненій“.— Не успѣлъ я порадоваться такому признаку улучшенія, какъ назавтра узналъ изъ телеграфической депеши о смерти Салтыкова отъ мозгового удара 28-го апрѣля.

Вскрытіе тѣла, произведенное вслѣдствіе выраженнаго покойнымъ письменнаго распоряженія, показало, что ближайшей причиной смерти была закупорка артерій въ мозгу (въ корковомъ слоѣ извилины, лежащей тотчасъ сзади и сверху отъ задней извилины лѣваго островка—insulas Reclii) и два послѣдовавшіе за нею фокуса размягченія въ корковомъ слоѣ. Затѣмъ изъ протокола вскрытія усматривается, что найдено было общее перерожденіе артерій (между прочимъ особенно значительно на основаніи мозга), хроническое сростительное воспаленіе сердечной сумки, недостаточность клапановъ аорты и двустворчатаго съ рѣзкимъ перерожденіемъ сердечной мышцы, хроническія воспаленія почекъ, печени и т. п. Словомъ, организмъ покойнаго былъ весь изгрызенъ многолѣтнею болѣзнью и въ немъ почти не

оставалось ни единаго органа, который могъ бы правильно отправлять свою физіологическую дѣятельность. Можно удивляться только, какъ въ такомъ искалѣченномъ видѣ онъ могъ удержать свою жизнеспособность такое продолжительное время. Еще болѣе поразительно то, какъ въ немъ чуть не до самыхъ послѣднихъ моментовъ жизни сохранялась необыкновенная живучесть таланта и та его яркость, которая привлекала къ нему такую массу читателей и поклонниковъ. Напомнимъ, что изъ 9 томовъ полнаго собранія его сочиненій почти половина написана имъ послѣ 1875 года, т. е. того года, когда непоправимая болѣзнь стала подтачивать его силы.

Москва
10-го октября
1894 г.

Изъ моихъ воспоминаній о Сергѣѣ Петровичѣ Боткинѣ*).

Въ лицѣ С. П. Боткина сошелъ въ могилу одинъ изъ талантливѣйшихъ представителей науки въ Россіи, оставившій навсегда по себѣ память въ исторіи русской медицины, не столько благодаря печатнымъ трудамъ своимъ, завѣщаннымъ имъ потомству, ибо литературная производительность его была сравнительно невелика, сколько благодаря тому громадному и неизгладимому вліянію, которое онъ имѣлъ на тысячи своихъ учениковъ, сформировавшихся подъ его руководствомъ за почти 30-тилѣтнее время его профессорской дѣятельности. Можно безъ преувеличенія сказать, что онъ произвелъ истинный переворотъ въ исторіи нашей медицинской науки, внеся въ ея преподаваніе тотъ животворный естественно-историческій методъ, который перевелъ медицину изъ разряда эмпирическихъ дисциплинъ въ рядъ строго-раціональныхъ наукъ и тѣмъ открылъ передъ ней свѣтлую перспективу безконечнаго совер-

---

*) Печатаемыя здѣсь „Воспоминанія" начаты были Н. А. Бѣлоголовымъ въ 1890 г., вскорѣ послѣ смерти его знаменитаго друга, С. П. Боткина. Въ 1891 г. Ф. Ф. Павленковъ обратился къ Н. А. съ просьбою составить біографическій очеркъ для извѣстной біографической библіотеки его. Занявшись этою работою, въ которую вошла и небольшая часть изъ „Воспоминаній", Н. А. временно долженъ былъ ихъ оставить. Впослѣдствіи онъ вернулся къ нимъ, но далеко не успѣлъ кончить, остановившись на заграничной поѣздкѣ съ ученою цѣлью С. П. Боткина 1858 г.

Гр. Д.

шенствованія. И такого выдающагося значенія онъ не пріобрѣлъ бы, если бы былъ только простымъ талантливымъ посредникомъ между западно-европейской наукой и русскимъ врачебнымъ сословіемъ, — такихъ способныхъ и дѣятельныхъ посредниковъ бывало и есть у насъ немало, а онъ достигъ его тѣмъ, что самъ стоялъ въ первой шеренгѣ строителей этой новой, универсальной медицины и сѣялъ сѣмена ея со всею убѣжденностью иниціатора, съ горячею страстностью талантливой натуры, при присущихъ ему широкомъ умѣ, необыкновенной наблюдательности и весьма обширныхъ познаніяхъ. Поэтому-то имя его пользовалось извѣстностью не только въ Россіи, но пріобрѣло себѣ большой почетъ и за предѣлами ея. Преждевременная смерть его вызвала общее горе въ Россіи, и онъ долго останется незамѣнимымъ для нашего врачебнаго сословія, потому что руководители съ такимъ цѣльнымъ сочетаніемъ всѣхъ нужныхъ для учителя дарованій крайне рѣдки и лучами своего генія освѣщаютъ человѣчество на большія пространства времени. Составить подробную характеристику такихъ выдающихся людей—дѣло трудное и можетъ быть лишь плодомъ совокупныхъ трудовъ многихъ работниковъ; будемъ надѣяться, что современемъ Россія дождется такой цѣльной разработки всей личностп Боткина, а покуда на насъ, современникахъ, лежитъ долгъ подготовить матеріалъ для такого будущаго труда. Пишущій эти строки особенно признаетъ для себя обязательность такого долга, потому что его связывала съ покойнымъ слишкомъ 40-калѣтняя и самая искренняя дружба, но при этомъ я считаю нужнымъ предупредить моихъ читателей и почитателей Боткина, чтобы они не ждали отъ меня подробной его біографіи; я могу представить для такой біографіи только сырой матеріалъ въ формѣ личныхъ воспоминаній, потому что, живя постоянно на чужбинѣ, я совсѣмъ удаленъ отъ всякихъ мертвыхъ и живыхъ источниковъ, изъ которыхъ могъ бы почерпать разныя свѣдѣнія и под-

робности, относящіяся до жизни Боткина, мало мнѣ извѣстныя или вовсе незнакомыя, а также пополнять тѣ пробѣлы, которые являются неизбѣжнымъ слѣдствіемъ моей старѣющейся памяти.

ГЛАВА I.

Свѣдѣнія о семьѣ Боткина. — Мое знакомство съ нимъ. — Пансіонъ Эннеса и школьныя воспоминанія.

Сергѣй Петровичъ Боткинъ происходилъ изъ чистокровной русской семьи, безъ малѣйшей иноземной примѣси, а потому очень любопытенъ какъ лишнее и наглядное доказательство даровитости славянской расы, которая можетъ, при благопріятныхъ для ея развитія условіяхъ, представить изъ своей среды такой блестящій примѣръ передового дѣятеля въ научной сферѣ. Отецъ его, Петръ Кононовичъ, былъ крестьянинъ Псковской губерніи, переселившійся въ Москву, но крестьянинъ изъ далеко не заурядныхъ, потому что онъ не только составилъ себѣ самъ независимое состояніе, а и съумѣлъ сдѣлаться однимъ изъ главныхъ представителей и организаторовъ чайной оптовой торговли въ Китаѣ. Еще больше свидѣтельствуетъ, что Боткинъ-отецъ былъ человѣкъ большого ума, то обстоятельство, что все происшедшее отъ него поколѣніе, не считая Сергѣя, отличалось болѣе или менѣе недюжинными способностями, а поколѣніе это, какъ увидимъ сейчасъ, было очень многочисленное. Петръ Кононовичъ былъ женатъ два раза и имѣлъ отъ этихъ двухъ браковъ 9 сыновей и 5 дочерей. Старшій изъ братьевъ, извѣстный въ литературѣ, Василій Петровичъ, замѣчателенъ самъ по себѣ какъ удивительный примѣръ самородной даровитости, и трудно

объяснить себѣ, подъ вліяніемъ какихъ причинъ этотъ сынъ московскаго чайнаго торговца, не прошедшій ту или другую высшую школу ученья, съумѣлъ такъ образовать и развить себя, что въ 3о-хъ годахъ онъ является въ томъ тѣсномъ, малочисленномъ кружкѣ передовыхъ русскихъ мыслителей и литераторовъ, въ которомъ впервые въ Россіи зародилось дѣятельное сознаніе въ необходимости сближенія съ западно-европейской цивилизаціей и потребность основательнаго изученія западной философіи и литературы. И прежде это стремленіе замѣчалось у насъ, но у оторванныхъ отъ общества, отдѣльныхъ личностей, теперь же оно воплотилось въ цѣломъ кружкѣ лицъ, и какихъ лицъ: Бѣлинскаго, Грановскаго, Герцена, Станкевича, Огарева, Анненкова! — а имя Василья Боткина приводится всегда въ обществѣ этихъ именъ; извѣстно далѣе, что онъ самообразованіемъ достигъ того, что считался въ этой блестящей плеядѣ однимъ изъ лучшихъ истолкователей философіи Гегеля, увлекавшей эти молодые, искавшие свѣта умы; кромѣ того онъ отличался многосторонностью своего развитія и славился тонкимъ эстетическимъ вкусомъ въ литературѣ и глубокимъ пониманіемъ живописи и классической музыки, страсть къ которымъ сохранилась въ немъ до самой смерти. Менѣе извѣстенъ второй братъ—Николай, хотя и онъ былъ человѣкъ очень способный, но скорѣе въ стилѣ широкихъ русскихъ натуръ, большой весельчакъ, славившійся остроуміемъ, много путешествовавшій и во время своего пребыванія въ Римѣ близко сдружившійся съ Гоголемъ. Кончилъ онъ жизнь трагически: живя послѣдніе годы почти постоянно въ Парижѣ, онъ перенесъ апоплексическій ударъ, послѣ котораго надолго осталось угнетенное состояніе духа, а потому, чтобы разсѣяться, врачи посовѣтовали ему покинуть на время Парижъ и совершить путешествіе; онъ поѣхалъ въ Палестину и Египетъ, привелъ благополучно планъ этой поѣздки въ исполненіе, а на обратномъ пути заѣхалъ въ Пештъ и

въ первую же ночь по пріѣздѣ выбросился изъ окна отеля и расшибся на смерть.

Хорошую память оставилъ послѣ себя недавно умершій братъ Дмитрій; это былъ большой любитель живописи, и собранная имъ картинная галлерея знаменитыхъ европейскихъ художниковъ нашего времени составляетъ гордость и украшеніе Москвы. — Нельзя также не упомянуть о двухъ остающихся на-лицо братьяхъ, которымъ суждено было пережить всѣхъ другихъ, о Петрѣ и Михайлѣ; первый—человѣкъ большого практическаго ума,—весь отдался торговой дѣятельности отца и развилъ ее до такой степени, что фирма „Петра Боткина сыновья" пользуется въ настоящее время самой солидной и обширной извѣстностью въ чайной торговлѣ. Второй же, Михаилъ—извѣстный художникъ и академикъ академіи художествъ, но еще болѣе извѣстный знатокъ и собиратель итальянскихъ древностей, и его прекрасный музей въ Петербургѣ, собранный имъ съ большой затратой личнаго труда и съ рѣдкимъ знаніемъ и умѣніемъ, составляетъ въ Россіи замѣчательное явленіе въ своемъ родѣ и можетъ справедливо поспорить съ лучшими частными коллекціями Европы.

И остальные умершіе братья—Иванъ, Павелъ и Владиміръ, если и не оставили по себѣ памяти чѣмъ нибудь особеннымъ, то все-же это были люди очень неглупые и выдѣлявшіеся незаурядностью своего образованія въ среднемъ русскомъ обществѣ, а потому вся семья Боткиныхъ являлась въ Москвѣ яркимъ оазисомъ, въ которомъ всякій интеллигентный пріѣзжій находилъ умную бесѣду и живой откликъ на всѣ вопросы современности, не только русской, но и европейской. Кромѣ того всѣ многочисленные члены этой семьи поражали своей рѣдкою сплоченностью; ихъ соединяла между собою самая искренняя дружба и самое тѣсное единодушіе, несмотря на то, что сферы дѣятельности ихъ были весьма разнообразны; и это само по себѣ дѣлало также посѣщеніе

боткинскаго дома на Маросейкѣ очень привлекательнымъ. При существующихъ у насъ раздорахъ и розни, пріятно и тепло на душѣ было присутствовать на фамильныхъ обѣдахъ этой семьи, когда нерѣдко за столъ садилось болѣе 30 человѣкъ и все своихъ чадъ и домочадцевъ, и нельзя было не увлечься той заразительной и добродушной веселостью, какая царила на этихъ обѣдахъ; шуткамъ и остротамъ не было конца; братья трунили и подсмѣивались другъ надъ другомъ, но все это дѣлалось въ такихъ симпатичныхъ и благодушныхъ формахъ, что ничье самолюбіе не уязвлялось, и всѣ эти нападки другъ на друга только еще яснѣе выставляли нѣжныя отношенія братьевъ. Друзья каждаго изъ братьевъ съ самымъ теплымъ радушіемъ принимались всѣми остальными, и вскорѣ дѣлались своими людьми въ этомъ почтенномъ домѣ. Поэтому многимъ памятенъ былъ и самый домъ на Маросейкѣ, въ переулкѣ, тогда носившемъ названіе Козьмодемьянскаго, а нынѣ Петроверигскій; домъ этотъ принадлежалъ отцу Боткиныхъ, а послѣ его смерти перешелъ въ собственность Петра Петровича и былъ такой помѣстительный, что, несмотря на многочисленность семьи, въ немъ сдавалась въ нижнемъ этажѣ небольшая квартира, въ которой въ 50-хъ годахъ жилъ проф. Грановскій, а когда онъ умеръ, проф. Мюльгаузенъ, — и обѣ эти профессорскія четы находились въ самыхъ дружескихъ, интимныхъ сношеніяхъ съ Боткиными. Къ дому прилегалъ обширный садъ, а окнами въ него выходилъ небольшой флигель, описаніе котораго можно найти въ воспоминаніяхъ Фета и гдѣ жилъ прежде Василій Петровичъ, а во время своего студенчества помѣщался Сергѣй.

Здѣсь-то, въ этой обстановкѣ, протекли дѣтство и юность Сергѣя; родился онъ 5-го сентября 1832 г. отъ второго брака отца съ Анной Ивановной Постниковой. Отецъ, въ періодѣ дѣтства своихъ младшихъ дѣтей, былъ въ преклонныхъ лѣтахъ, къ тому же постепенное

расширеніе торговыхъ дѣлъ поглощало все его вниманіе, а потому всѣ заботы о воспитаніи ихъ перешли на обязанность брата Василья, а въ рукахъ этого послѣдняго, какъ человѣка, высоко ставившаго образованіе, оно неизбѣжно должно было стать болѣе глубокимъ и разностороннимъ, чѣмъ того требовали тогдашній уровень московскаго купечества. Такъ, мы видимъ, что одинъ изъ братьевъ, Павелъ, еще раньше Сергѣя поступилъ въ московскій университетъ и кончилъ курсъ на юридическомъ факультетѣ. Что же касается Сергѣя, то о раннемъ его воспитаніи намъ мало извѣстно; мы знаемъ лишь, что однимъ изъ домашнихъ учителей его былъ Аркадій Францевичъ Мерчинскій, тогда студентъ московскаго университета, а теперь, въ 1891 году, доживающій свой вѣкъ въ окрестностяхъ Дрездена 70-лѣтній старецъ; это былъ хорошій, умный педагогъ и отличный математикъ, съ которымъ С. П. Боткинъ до самой смерти сохранилъ дружескія связи. Уже въ этихъ раннихъ годахъ Сергѣй обнаружилъ широкія способности,—и Василью Петровичу, послѣ немалой борьбы, удалось уговорить отца отдать его въ лучшій тогда въ Москвѣ частный пансіонъ Эннеса, куда онъ и поступилъ въ августѣ 1847 г.

Случилось такъ, что лѣтомъ того же года и меня привезли изъ Иркутска въ Москву и, когда, послѣ лѣтнихъ вакацій, начались классы, помѣстили также въ этотъ пансіонъ, такъ что мы вступили въ него въ одинъ и тотъ же день, съ той разницей, что я былъ принятъ въ 4-й классъ (въ пансіонѣ было всего 6 классовъ, причемъ нумерація начиналась съ 6-го, какъ низшаго) а Боткинъ, хотя и былъ двумя годами старше меня, классомъ ниже—потому только, что плохо зналъ французскій языкъ, на которомъ въ 4-мъ классѣ излагались нѣкоторые учебные предметы, какъ, напримѣръ, древняя исторія и естественная исторія. При самомъ поступленіи, Боткинъ и я, еще вовсе не зная другъ друга, заявили содержателю пансіона, что каждый изъ насъ намѣре-

вается впослѣдствіи поступить въ университетъ, а потому нуждается въ занятіяхъ латинскимъ языкомъ, и Эннесъ распорядился, чтобы мы немедленно начали брать приватные уроки этого языка и догоняли поскорѣе классное преподаваніе его, а такъ какъ мы оба начинали съ латинскихъ азовъ, то для удобства соединили насъ вмѣстѣ,—и мы, тотчасъ же по нашемъ вступленіи, стали вдвоемъ брать частные уроки по вечерамъ, и это на первыхъ же порахъ сблизило насъ и сдружило другъ съ другомъ. Боткинъ того времени сохранился въ моей памяти, какъ плотный, здоровый мальчикъ, съ шелковистыми и свѣтлыми какъ ленъ волосами, угреватый и очень подслѣповатый; зрѣніе его было такъ слабо, что онъ читалъ и писалъ, держа книгу или бумагу у самаго носа, на разстояніи 2—3 дюймовъ отъ глазъ, и очень рано долженъ былъ прибѣгнуть къ очкамъ; въ 60-хъ годахъ, когда наука открыла неправильную кривизну роговой оболочки глаза, какъ одну изъ причинъ плохаго зрѣнія, оказалось, что Боткинъ страдалъ именно этой аномаліей. Оба мы такъ ретиво принялись за наши латинскіе уроки, что въ какіе-нибудь два мѣсяца догнали классъ, а Боткинъ притомъ показалъ и въ другихъ предметахъ такія блестящія способности, что Эннесъ къ Рождеству 1847 г. перевелъ его въ 4-й классъ и съ тѣхъ поръ я съ нимъ не разставался вплоть до окончанія университетскаго курса.

Пансіонъ Эннеса помѣщался въ Успенскомъ переулкѣ, недалеко отъ Маросейки, въ домѣ Золотарева, и занималъ большой двухъэтажный домъ съ большимъ дворомъ и прилегающимъ къ нему также большимъ садомъ. Число воспитанниковъ въ немъ въ наше время колебалось между 110—130 человѣкъ, изъ нихъ главный контингентъ составляли дѣти купцовъ и преимущественно иностранцевъ, имѣвшихъ въ Москвѣ или фабрики или же богатые магазины на лучшихъ улицахъ города; насъ, полныхъ пансіонеровъ, было человѣкъ

50; остальные же состояли полупансіонерами, т. е. приходили къ урокамъ въ 8 часовъ утра и возвращались домой въ 7 часовъ вечера; Боткинъ принадлежалъ къ этому послѣднему разряду. Пансіонъ пользовался въ Москвѣ отличной репутаціей и дѣйствительно оправдывалъ его прекрасной постановкой преподаванія, чего достигалъ Эннесъ, умѣло вербуя талантливыхъ учителей среди молодыхъ кандидатовъ, окончившихъ курсъ московскаго университета. Благодаря этому обстоятельству, рѣдкій годъ изъ его воспитанниковъ не поступало нѣсколько въ университетъ, а изъ бывшихъ въ мое время многіе, кромѣ Боткина, сдѣлались впослѣдствіи профессорами, такъ: Беккеревъ, Колли, Шестовъ (бывшій лейбъ-медикъ покойнаго наслѣдника престола Николая Александровича) и др.; московскій профессоръ Герье тамъ же получилъ свое среднее образованіе, только позднѣе описываемаго времени. Самъ же Эннесъ не внушалъ въ воспитанникахъ къ себѣ уваженія своими познаніями, преподавая въ среднихъ классахъ самымъ рутиннымъ способомъ древнюю исторію на французскомъ языкѣ. Родомъ онъ былъ эльзасецъ и взялъ пансіонъ уже организованнымъ и прославленнымъ отъ своего предшественника Чермака. Во время нашего ученія ему было за 40 лѣтъ; онъ отличался большою суровостью съ учениками и даже съ лучшими не допускалъ никогда ни ласковой шутки, ни добродушнаго разговора; поэтому всѣ его боялись и не любили; притомъ и наружность его была не изъ симпатичныхъ: некрасивый, убѣгающій назадъ и постоянно строго наморщенный лобъ, густыя брови, изъ-подъ которыхъ всегда жестко и непривѣтливо смотрѣли сердитые зеленые глаза. Ученики звали его чирьемъ и съ большимъ состраданіемъ относились къ его рыженькой, худенькой женѣ, вѣчно молчаливой и казавшейся забитой; нашему дѣтскому воображенію представлялось, какъ тяжело должно было ей жить съ такимъ тираномъ. Дисциплина въ пансіонѣ

соблюдалась при посредствѣ самого Эннеса и 5 надзирателей; крупныхъ шалостей между нами не бывало, за обычныя же дѣтскому возрасту нарушенія субординаціи и за плохое приготовленіе уроковъ, виновные подвергались оставленію безъ чая, безъ послѣдняго блюда за обѣдомъ, запрещенію играть съ товарищами во время рекреаціи и, наконецъ, удержанію ученика въ пансіонѣ на праздники; ни карцера, ни розогъ, бывшихъ тогда въ большомъ ходу въ среднеучебныхъ заведеніяхъ, у Эннеса не полагалось.

Я не стану подробно слѣдить за пансіонскимъ ученьемъ Боткина, тѣмъ болѣе, что на него, какъ проводившаго въ школѣ только часы уроковъ, а остальные—дома, въ воспитательномъ отношеніи продолжала въ хорошемъ направленіи воздѣйствовать и счастливая домашняя обстановка; но не могу не упомянуть о тѣхъ учителяхъ, которые пользовались особымъ уваженіемъ со стороны учениковъ и имѣли на большинство изъ насъ, а въ томъ числѣ и на Боткина, хорошее и не временное, а прочное вліяніе. Учителемъ русскаго языка мы застали нѣкоего Ал. И. Иванова, талантливаго преподавателя, который привлекалъ къ себѣ умѣньемъ даже грамматическіе уроки дѣлать интересными и рѣдкою мягкостью въ обращеніи; къ сожалѣнію, онъ пилъ запоемъ, часто не приходилъ на уроки и умеръ въ первый же годъ нашего поступленія въ пансіонъ. Его всѣ очень любили, и наше дѣтское горе выразилось между прочимъ тѣмъ, что мы встрѣтили весьма недоброжелательно преподавателя, занявшаго его мѣсто, а этотъ новый учитель былъ Александръ Николаевичъ Афанасьевъ, извѣстный впослѣдствіи собиратель древнерусскихъ преданій и народныхъ сказокъ, глубокій знатокъ русской литературы, оставившій послѣ себя почетное имя разработкою русской библіографіи. Онъ къ намъ попалъ учительствовать прямо съ университетской скамьи, былъ чрезвычайно робокъ и конфузливъ и совсѣмъ не умѣлъ обра-

щаться съ учениками; послѣдніе тотчасъ же подмѣтили его конфузливость и съ свойственной своему возрасту жестокостью мучили и тиранили его на урокахъ и часто доводили его до того, что онъ, чуть не со слезами на глазахъ, умолялъ ихъ быть посмирнѣе и посерьезнѣе въ классѣ. Даже впослѣдствіи, когда мы были въ старшихъ классахъ и оцѣнили его какъ прекраснаго преподавателя, мы были не безгрѣшны въ этомъ отношеніи и позволяли себѣ съ Афанасьевымъ многое, на что не рискнули бы съ другими учителями, зная, что онъ при своей голубиной кротости никогда не рѣшится наказать никого. Особенно изощрялись мы въ русскихъ сочиненіяхъ, которыя Афанасьевъ задавалъ намъ часто, предоставляя выборъ предмета собственному нашему усмотрѣнію; тутъ ужъ мы давали полный просторъ своей фантазіи и старались перещеголять другъ друга въ вымыслѣ и остроуміи; нѣкоторые подавали даже ему сочиненія, иллюстрируя ихъ рисунками на поляхъ тетради. Помню слѣдующій случай именно съ Боткинымъ: однажды, когда мы были въ 3-мъ классѣ, пріѣхалъ правительственный инспекторъ для надзора за частными школами, избиравшійся всегда изъ университетскихъ профессоровъ: въ данномъ случаѣ это былъ извѣстный ботаникъ Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ, очень почтенный и добрый старичекъ; въ нашъ классъ попалъ онъ на латинскій урокъ и, прослушавъ наши отвѣты, обратился къ Боткину, какъ сидѣвшему къ нему ближе прочихъ, съ вопросомъ, что было на предъидущемъ урокѣ, и узнавъ, что русскій языкъ и именно разборъ поданныхъ сочиненій, попросилъ Боткина показать свою тетрадь, а Боткинъ только-что получилъ высшій балъ за сочиненіе „Изслѣдованіе о происхожденіи водки, называемой Ерофеичемъ“; инспекторъ взялъ тетрадь, долго и внимательно читалъ твореніе Боткина и, возвращая ему обратно, замѣтилъ ему шопотомъ: «изложеніе у васъ прекрасное, только жаль, очень жаль, что вы выбрали себѣ такой неподходящій

сюжетъ». Безспорно все-же, что Афанасьевъ былъ однимъ изъ лучшихъ нашихъ учителей, занимался съ нами съ увлеченіемъ и съумѣлъ во многихъ изъ насъ посѣять любовь и интересъ въ русской словесности, исторію которой онъ преподавалъ намъ въ старшемъ классѣ. Кромѣ того мы учили у него русскую исторію по запискамъ, составленнымъ имъ для насъ.

Другой талантливый нашъ учитель былъ математикъ Ю. К. Давидовъ, старшій братъ знаменитаго віолончелиста, сдѣлавшійся потомъ профессоромъ математики въ московскомъ университетѣ; тогда онъ самъ только что кончилъ университетскій курсъ, былъ молодой человѣкъ, скромный и деликатный въ обращеніи съ учениками, умѣвшій вселить въ нихъ уваженіе и къ себѣ и къ преподаваемой наукѣ своими глубокими познаніями и замѣчательной ясностью изложенія; жаль только, что мы попали въ его руки лишь тогда, когда находились въ старшемъ классѣ. Но самымъ большимъ нашимъ фаворитомъ была 3-я звѣзда пансіона—преподаватель всеобщей исторіи Иванъ Кондратьевичъ Бабстъ, тоже молодой кандидатъ университета, а впослѣдствіи извѣстный профессоръ политической экономіи, сначала въ казанскомъ, а потомъ въ московскомъ университетѣ; онъ былъ однимъ изъ способнѣйшихъ учениковъ Грановскаго, владѣлъ отлично даромъ слова и вообще внѣшнимъ блескомъ своихъ уроковъ затмѣвалъ Афанасьева и Давидова и дѣйствовалъ особенно обаятельно на полудѣтскія и не вполнѣ сложившіяся головы учениковъ, хотя уже и тогда можно было подмѣтить, что онъ лѣнивѣе своихъ двухъ товарищей, ибо часто манкировалъ своими уроками, любилъ болтать съ нами обо всемъ и входить въ интересы разныхъ нашихъ школьныхъ событій; чуть ли не за эти его недостатки и нѣкоторую распущенность мы любили его еще больше, чѣмъ за его истинныя и несомнѣнныя достоинства, какъ преподавателя. Если же къ этимъ 3-мъ первокласснымъ учителямъ прибавить еще Фелькеля и

Клина, учителей латинскаго и греческаго языковъ, и Шора, учителя французскаго языка, которые всѣ трое состояли одновременно и лекторами въ университетѣ и, стало быть, были опытные и дипломированные лингвисты, то всякому станетъ ясно, что пансіонъ Эннеса заслуженно пользовался своей репутаціей отличнаго образовательнаго учрежденія и мы ему обязаны очень многимъ. Съ такими преподавателями ученіе давалось намъ безъ особеннаго труда и ни о какомъ переутомленіи не могло быть рѣчи. Боткинъ учился прекрасно и считался однимъ изъ лучшихъ учениковъ въ классѣ; особенную склонность онъ обнаруживалъ къ математикѣ, и Давидовъ, замѣтивъ его способности, съ любовью развивалъ ихъ и поддерживалъ въ немъ намѣреніе отдаться всецѣло математическимъ наукамъ; я же былъ слабъ у Давидова, но за то преуспѣвалъ въ языкахъ и особенно у Афанасьева. Боткинъ импонировалъ товарищамъ не однимъ своимъ умственнымъ превосходствомъ, онъ ихъ подкупалъ рѣдкимъ добродушіемъ, беззлобіемъ, своимъ остроуміемъ и всегда ровнымъ характеромъ; за всѣ эти качества я привязался къ нему со всей горячностью моего юнаго сердца и чрезвычайно гордился его дружбою. Кромѣ того, онъ обладалъ и замѣчательной физической силой, что въ нашемъ тогдашнемъ возрастѣ занимало немаловажное значеніе въ томъ уваженіи, которымъ онъ отъ всѣхъ пользовался. Въ памяти у меня остался одинъ случай, особенно прославившій Боткина въ этомъ отношеніи: когда мы находились уже во 2-мъ классѣ, 3-й классъ ополчился на одного изъ своихъ товарищей Ф. (не называю его по имени, потому что онъ здравствуетъ, пользуясь въ Петербургѣ почетнымъ положеніемъ, и огласка одного изъ эпизодовъ его дѣтской жизни могла бы быть ему непріятной), мальчика очень прилежнаго и способнаго, за то, что онъ ни за что не хотѣлъ принять участіе въ какой то школьной махинаціи противъ одного изъ учителей; его стали преслѣдовать на каждому шагу,

и мальчику просто не стало житья въ классѣ, а въ то же время и выйдти изъ пансіона было невозможно, такъ какъ его родители не имѣли никакихъ средствъ и онъ воспитывался Эннесомъ чуть ли не даромъ. Узнавъ объ этомъ, Боткинъ взбунтовалъ всѣхъ своихъ одноклассниковъ и убѣдилъ ихъ вступиться за бѣднаго Ф.; сначала посланы были отъ насъ парламентеры уговорить 3-й классъ помириться съ Ф., а когда они вернулись выгнанные и оскорбленные тѣмъ, что насъ просятъ не вмѣшиваться не въ свое дѣло, тогда рѣшено было образумить 3-й классъ силой; произошло генеральное побоище, на которомъ побѣда осталась за нами, исключительно благодаря силѣ Боткина.

Въ бытность нашу во 2-мъ классѣ Боткинъ сталъ меня уговаривать не кончать полнаго пансіонскаго курса, а сдѣлать, какъ онъ, т. е. прямо изъ этого класса поступить въ московскій университетъ; сначала я было возражалъ, что къ этому сроку мнѣ не будетъ еще 16-ти лѣтъ, а потому университетъ можетъ меня не допустить къ вступительнымъ экзаменамъ, но соблазнъ поскорѣе попасть въ студенты и нежеланіе разстаться съ моимъ лучшимъ другомъ были такъ велики, что я безъ большихъ колебаній согласился пойдти на рискъ и заявилъ о томъ Эннесу. Послѣдній подолгу и не разъ пробовалъ меня отклонить отъ этого намѣренія и, видя безуспѣшность своихъ уговариваній, написалъ въ Иркутскъ къ моему отцу, что находитъ меня слишкомъ юнымъ для университета и совѣтуетъ еще годъ выдержать въ пансіонѣ, но отецъ подъ вліяніемъ моихъ убѣдительныхъ и пылкихъ писемъ согласился не препятствовать моему намѣренію и предоставилъ мнѣ дѣйствовать по моему усмотрѣнію. Такимъ образомъ моя участь рѣшилась. Кромѣ Боткина и меня въ этомъ 1850 году собирались изъ пансіона поступить еще два воспитанника изъ окончившихъ полный пансіонскій курсъ: Шоръ и Кнерцеръ. Въ печати уже не разъ сообщалось, что

Дорогому другу Николаю Андреевичу
Бѣлоголовому отъ стараго друга Сергѣя Б.
24/X 87

фотографировала Е. А. Боткина

С. П. Боткинъ.

Тип. К. Ө. Александрова.

Боткинъ готовился быть математикомъ, а сдѣлался врачемъ по неволѣ, единственно въ силу постановленія императора Николая, желавшаго ограничить число лицъ съ высшимъ образованіемъ въ Россіи; съ этою цѣлью разрѣшенъ былъ свободный доступъ только на медицинскій факультетъ (будто страна наша нуждалась въ однихъ лишь медикахъ!), на остальные же факультеты— принимать лишь лучшихъ воспитанниковъ казенныхъ гимназій. На примѣръ Боткина, между прочимъ, указываютъ какъ на доказательство, въ какой степени слабо развито у поступающихъ въ университетъ сознательное отношеніе къ выбору спеціальности, и въ то же время какъ на опроверженіе, что для медицинской профессіи требуется особенное призваніе; я могу еще рельефнѣе подчеркнуть этотъ примѣръ, добавивъ, что изъ насъ 4-хъ, поступившихъ отъ Эннеса въ университетъ, одинъ лишь Шоръ шелъ по доброй волѣ на медицинскій факультетъ, Кнерцеръ же, какъ и Боткинъ, стремился къ изученію высшей математики, а я мечталъ для себя объ юридическомъ факультетѣ, и только монаршая воля объединила насъ всѣхъ на медицинѣ; конечный же результатъ этого насилія надъ нашими склонностями вышелъ самый неожиданный. Боткинъ, Кнерцеръ и я привязались къ медицинѣ и остались вѣрными ей до конца нашего поприща, тогда какъ Шоръ, этотъ единственный среди насъ врачъ по призванію, очень способный и во всѣхъ отношеніяхъ прекрасный юноша, кончившій медицинскій курсъ съ отличіемъ, вскорѣ разочаровался въ своей профессіи и бросилъ медицину; впослѣдствіи онъ былъ акцизнымъ чиновникомъ, а умеръ членомъ петербургской таможни, оставивъ при этомъ послѣ себя самую безупречную память, какъ необыкновенно честный и неутомимый работникъ.

По окончаніи учебнаго пансіонскаго года, т. е. въ маѣ, мы тотчасъ же сообща вчетверомъ стали готовиться по университетской программѣ къ вступитель-

нымъ экзаменамъ и, съ разрѣшенія Эннеса, сходились для того въ помѣщеніи пансіона, гдѣ отведена была съ этой цѣлью комната. Работать намъ приходилось много, потому что пансіонскій курсъ не былъ согласованъ съ университетской программой и оставлялъ въ нашихъ знаніяхъ крупные пробѣлы. Особенно смущала Боткина и меня физика, изученіе которой начиналось только во 2-мъ классѣ пансіона и едва доводилось до одной четверти требуемаго. Шоръ и Кнерцеръ, хотя и прошедшіе полный курсъ физики, оказались сами недостаточно сильными, чтобы руководить нами въ дальнѣйшемъ знакомствѣ съ этой наукой, а потому, по нашей просьбѣ, Давидовъ рекомендовалъ намъ медицинскаго студента 5-го курса Рубинштейна, старшаго брата знаменитыхъ Антона и Николая Рубинштейновъ, который очень старательно занялся нами и въ короткое время подготовилъ насъ довольно удовлетворительно; Боткинъ все усвоивалъ необыкновенно быстро, меня же и тутъ выручала отличная память. Рубинштейнъ нанималъ себѣ на лѣто дачную комнатку гдѣ то за Бутырской заставой, ходить къ нему составляло для насъ цѣлое путешествіе черезъ всю Москву, и я съ наслажденіемъ вспоминаю объ этихъ длинныхъ походахъ въ нашей вѣчно весело настроенной компаніи; часто, утомленные длиннымъ путемъ по знойнымъ улицамъ и проголодавшись, мы дорогой покупали у разносчика печеныя яйца и ситный хлѣбъ и, сдѣлавши привалъ на лавочкѣ у воротъ какого-нибудь дома, съ великимъ аппетитомъ тутъ же на улицѣ уничтожали свой незатѣйливый завтракъ.

Въ послѣднихъ числахъ іюля мы всей нашей компаніей отправились въ правленіе университета подавать прошеніе о допущеніи насъ къ экзаменамъ; всѣ шли весело, только у меня скребло на сердцѣ: а вдругъ мнѣ откажутъ по недостиженію законнаго возраста и разлучатъ съ друзьями?.. Дѣйствительно, прошенія моихъ товарищей были приняты, мнѣ же пришлось вступить въ

переговоры съ однимъ правленскимъ чиновникомъ, который за 3-хъ рублевую бумажку взялся быть моимъ благодѣтельнымъ геніемъ и написать въ моемъ прошеніи, что мнѣ исполнилось 16-ть лѣтъ, успокоивая меня тѣмъ, что никому не придетъ въ голову провѣрять мои года по приложенному метрическому свидѣтельству; это была первая взятка, данная мною въ жизни,—и она безъ дальнихъ помѣхъ открыла мнѣ двери университета.

На экзаменахъ долго останавливаться не буду; они прошли для насъ очень хорошо; Боткинъ особенно отличился на математическомъ испытаніи, а меня расхвалилъ проф. Буслаевъ, экзаменовавшій изъ русской словесности, и сказалъ, обратившись къ ассистентамъ-профессорамъ: „Вотъ жаль, что не поступаетъ на филологическій факультетъ".—Маленькая запинка случилась съ Боткинымъ только на экзаменѣ изъ географіи, — предметѣ, приводившемъ всѣхъ насъ четверыхъ въ немалый конфузъ. Въ пансіонѣ преподавалъ географію на нѣмецкомъ языкѣ очень вялый учитель, и мы на его урокахъ занимались всегда чѣмъ нибудь постороннимъ, а потому при выходѣ изъ пансіона были развѣ немного болѣе свѣдущи чѣмъ Митрофанъ Простаковъ. Идти съ такими знаніями на университетскій экзаменъ было жутковато и рисковано, если бы насъ не подбодряло то обстоятельство, что экзаменаторомъ назначенъ былъ проф. Кудрявцевъ, котораго Боткинъ, близко зная его лично, аттестовалъ намъ какъ человѣка въ высшей степени добраго; притомъ же мы одновременно у него должны были сдавать экзаменъ изъ всеобщей исторіи и надѣялись, что намъ удастся подкупить его въ свою пользу прекрасной подготовкой нашей изъ послѣдняго предмета. Однако наканунѣ экзамена Боткинъ раздобылся у опытныхъ людей какимъ то весьма краткимъ географическимъ учебникомъ Гейма и мы порѣшили посвятить всю ночь его изученію. Я уже тогда переѣхалъ изъ пансіона и жилъ на Мясницкой въ подвальномъ этажѣ. Въ 9 часу

вечера товарищи сошлись у меня и горячо принялись долбить тощую книжонку, но Боткина разобрала такая тоска при заучиванiи сухой номенклатуры, что мы не покончили еще съ Европой, какъ онъ ужъ завалился на мою кровать и захрапѣлъ, и сколько разъ мы ни принимались его расталкивать, проспалъ невиннѣйшимъ сномъ вплоть до утра. На экзаменѣ ему достался билетъ о Греческомъ королевствѣ и онъ сразу брякнулъ такую несообразность, что Кудрявцевъ махнулъ отчаянно рукой, сказавши: „ну, хорошо, хорошо, довольно, садитесь".

Но въ общемъ, повторяю, экзамены наши были сданы удовлетворительно и черезъ нѣсколько дней мы съ восторгомъ узнали, что приняты въ число студентовъ московскаго университета.

ГЛАВА II.

Университетъ; инспекцiя; профессора; эпизодъ въ нашей жизни, вызванный Крымской войной.

Университеты переживали въ концѣ царствованiя императора Николая I, какъ извѣстно, тяжелые годы; мы же какъ разъ попали въ этотъ печальный перiодъ ихъ исторiи, а именно, поступили въ августѣ 1850 г. и кончили въ апрѣлѣ 1855 г., то есть съ небольшимъ мѣсяцъ спустя послѣ смерти императора Николая, когда перемѣна царствованiя еще не успѣла обнаружиться въ стѣнахъ университета болѣе мягкимъ отношенiемъ къ разсадникамъ высшаго образованiя въ Россiи. Сугубая внѣшняя формалистика господствовала во всѣхъ мелочахъ и мы почувствовали ее на первыхъ же шагахъ. Лишь только мы облеклись въ студенческую форму:

мундиръ, шпагу и крайне неудобную треуголку, инспекторъ собралъ всѣхъ, поступившихъ на 1-й курсъ, въ большую актовую залу, прочелъ наставленіе объ обязательныхъ для студентовъ правилахъ благонравія, распушивъ многихъ за противозаконную длину волосъ, подробнѣе всего остановился на томъ, какъ мы должны отдавать честь на улицахъ своему начальству и военнымъ генераламъ, а именно, какъ не доходя до нихъ на 3 шага, становиться во фрунтъ и прикладывать руку къ шляпѣ и въ заключеніе заставилъ насъ каждаго, вызывая по списку, пройти мимо него и отдать ему честь; тотъ, кто продѣлывалъ это неправильно, безъ достаточной граціи и военной ловкости, долженъ былъ возвращаться назадъ и до тѣхъ поръ повторять свое церемоніальное прохожденіе мимо инспектора, пока не заслуживалъ его полнаго одобренія. Это была, можно сказать, первая наша лекція въ университетѣ. Попечителемъ университета все время при насъ былъ генералъ З. И. Назимовъ, а помощникомъ его В. Н. Муравьевъ, съ которыми мы мало соприкасались и знали ихъ больше по циркулировавшимъ между студентами анекдотическимъ, иногда очень остроумнымъ разсказамъ, свидѣтельствовавшимъ о ихъ строгости, своеобразныхъ взглядахъ на науку и вообще о непригодности ихъ для занимаемаго поста. Инспекторомъ студентовъ мы застали Ивана Абрамовича Шпейера, бывшаго морскаго офицера, и все время пребыванія нашего въ университетѣ оставались подъ его суровой и безпощадной командой; онъ смѣнилъ столь памятнаго въ лѣтописяхъ московскаго университета Нахимова, оригинальнаго, но крайне добраго, чудака, о теплыхъ отношеніяхъ котораго къ студентамъ долго оставалось много традицій среди молодежи и особенно среди казенныхъ студентовъ. Шпейеръ былъ назначенъ съ тѣмъ, чтобы подтянуть студентовъ,—и дѣйствительно, этотъ невысокій, шарообразный толстякъ съ обстриженными подъ гребенку черными волосами, въ золотыхъ

очкахъ, изъ подъ которыхъ всегда свирѣпо метали молніи маленькіе черные глаза, былъ истиннымъ пугаломъ для студентовъ; послѣдніе боялись попадаться къ нему на глаза, потому что онъ придирался къ самому незначительному упущенію въ костюмѣ, къ небритой бородѣ, къ чуть чуть отросшимъ волосамъ, сейчасъ же поднималъ свой пискливый голосъ до безобразнаго крику,—и заключеніе въ карцеръ было обычнымъ финаломъ такой встрѣчи. Между прочимъ, Боткинъ въ первый же мѣсяцъ испыталъ на себѣ тяжесть дисциплины Шпейера и, столкнувшись съ нимъ во дворѣ стараго университета, долженъ былъ цѣлые сутки отсидѣть въ карцерѣ за незастегнутые крючки у вицмундирнаго воротника.

Вспоминая теперь эту шпейеровскую дисциплину, а она тогда господствовала во всѣхъ нашихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, перестаешь удивляться тому, какъ безличенъ русскій образованный человѣкъ, до чего неустойчивъ въ своихъ взглядахъ и поступкахъ и какъ мало выработано въ немъ чувство своего собственнаго достоинства. Откуда же было взяться въ немъ сознанію этого чувства, когда со студентами въ томъ возрастѣ, когда за большинствомъ изъ нихъ или, по крайней мѣрѣ, за половиной законы признаютъ совершеннолѣтіе и гражданскую правоспособность, обращались какъ съ малолѣтками? Когда инспекторъ могъ любаго изъ этихъ взрослыхъ людей, хотя бы самаго даровитаго и наиболѣе занимающагося, распечь за малѣйшій пустякъ, за разстегнутую пуговицу, и распечь такимъ безобразнымъ образомъ, какимъ дѣлалъ это Шпейеръ, топая ногами, крича и ругаясь, — и это публично, въ присутствіи товарищей! И молодой человѣкъ долженъ былъ выслушивать это поруганіе надъ своей личностью почтительно, руки по швамъ, выражая на своемъ лицѣ смиреніе и покорность: горе ему было, если бы въ это время онъ вздумалъ улыбнуться, или

открыть ротъ въ свою защиту, тогда это дѣйствовало на Шпейера, какъ масло на огонь, и гнѣвъ его доходилъ до высшаго бѣшенства. Но еще большее горе ждало того, кто бы не совладѣлъ съ собой и оскорбился бы на мелочность и придирчивость инспектора, на незаслуженную рѣзкость его выраженій, тогда тотчасъ же раздавалось со стороны инспектора: „вонъ изъ университета!“ И вотъ за разстегнутую пуговицу юноша, въ которомъ вспыхнуло чувство его достоинства и онъ не съумѣлъ подавить его въ себѣ, рисковалъ быть исключеннымъ изъ храма науки, куда онъ попалъ послѣ многолѣтнихъ трудовъ, напряженныхъ умственныхъ занятій и очень часто большихъ матеріальныхъ лишеній,— и жизнь его оказывалась испорченной навсегда. Это „вонъ изъ университета“, на которое не было никакой апелляціи, кромѣ развѣ полнѣйшаго примиренія передъ тѣмъ же инспекторомъ, искупленія своей ничтожной вины путемъ унизительныхъ просьбъ о прощеніи, висѣло дамокловымъ мечемъ надъ головой студентовъ нашего времени, принижало ихъ нравственно и ужъ никакъ не способствовало выработкѣ изъ нихъ стойкихъ и надежныхъ дѣятелей въ послѣдующей общественной жизни. Счастливыя исключенія, безъ сомнѣнія, бывали и тутъ, но исключенія правила не дѣлаютъ, мы же говоримъ о томъ громадномъ большинствѣ, какое формировали для русской жизни московскій университетъ начала 50-хъ годовъ, а съ нимъ вмѣстѣ и прочіе университеты.

Всѣ проступки студентовъ тогдашняго времени ограничивались несоблюденіемъ формы, и самымъ тяжкимъ преступленіемъ считалось выйти на улицу безъ шпаги и особенно не въ треуголкѣ, а въ студенческой фуражкѣ, ношеніе которой строжайше было запрещено въ городской чертѣ. Студенты-медики, составлявшіе болѣе двухъ третей всего числа студентовъ, или прилежно занимались въ аудиторіяхъ своей наукой, или же тратили свой юношескій пылъ на безобразныя попойки, бывшія тогда

въ несравненно большемъ распространеніи между ними, чѣмъ нынче; особенно славились своими кутежами казенные студенты, которые, живя вмѣстѣ въ казенныхъ нумерахъ въ зданіи самаго университета, составляли болѣе компактную массу и подпадали легче стихійному увлеченію; послѣдствіемъ этихъ вспышекъ нерѣдко случались скандальныя исторіи и столкновенія или съ университетской инспекціей, или съ полиціею и всегда карались болѣе или менѣе строго. Политическихъ же броженій среди молодежи не было никакихъ за все время пребыванія нашего въ университетѣ, да и въ окружавшемъ насъ обществѣ все казалось такъ сонно и мертвенно, что никакія вольнодумныя мысли не проникали въ университетъ со стороны. Напомнимъ, что въ литературѣ только что начали печататься „Записки охотника" Тургенева, разсказы Григоровича, Дружинина, Гончарова и другихъ писателей начинавшагося блестящаго періода русской словесности, что въ Москвѣ, 40 лѣтъ назадъ, не было даже ежедневной газеты и только три раза въ недѣлю выходили *Московскія Вѣдомости*. Общенія съ Западомъ тоже не существовало; только для единичныхъ студентовъ, знакомыхъ хорошо съ французскимъ языкомъ, открыты были отчасти сокровища французской литературы и въ ихъ руки попадали иногда контрабандой и подъ величайшимъ рискомъ сочиненія, относившіяся критически къ тогдашнему положенію Россіи, какъ, напримѣръ, мемуары маркиза Кюстина, „La Russie et les Russes" Николая Тургенева и еще два-три сочиненія такого направленія; среди немногихъ любителей обращалось и переписывалось ими нѣсколько запретныхъ стихотвореній Пушкина, Рылѣева, Полежаева, письмо Чаадаева и т. п.; вся эта скудная по количеству потайная литература умѣщалась въ тощей тетради, будила въ молодежи мысли о далекой и мало досягаемой для нихъ сферѣ понятій объ иномъ, болѣе совершенномъ порядкѣ вещей, но едва ли въ самыхъ чуткихъ

натурахъ свободолюбіе шло дальше какихъ то смутныхъ, неопредѣленныхъ желаній и скорѣе инстинктивныхъ потребностей лучшаго.

Боткинъ былъ истинное дитя воспитывавшей его эпохи и могъ служить замѣчательнымъ примѣромъ полнѣйшаго индифферентизма ко всему, что не касалось его личнаго и семейнаго существованія и не имѣло прямаго отношенія къ его медицинскимъ занятіямъ, и это было тѣмъ поразительнѣе, что онъ во время студенчества жилъ и постоянно обращался въ самомъ передовомъ обществѣ, въ кругу брата Василья, Грановскаго, Кудрявцева и др., рано сблизился съ большинствомъ тогдашнихъ литераторовъ; но это нисколько не возбуждало въ немъ желанія узнать поближе тѣ политическіе и общественные вопросы, которые чуть не исключительно занимали и горячо волновали этотъ небольшой и тѣсно замкнутый кружокъ. Его блестящія мыслительныя способности, такъ ярко и богато высказывавшіяся въ обобщеніяхъ и гипотезахъ, создаваемыхъ имъ въ области медицины, до того были поглощены всецѣло любимою имъ наукой, что, казалось, атрофировали совершенно въ немъ какъ способность вникать въ остальныя стороны окружавшаго его міра, такъ и желаніе поближе узнать ихъ. Только гораздо позднѣе, примѣрно около 40-лѣтняго возраста, въ немъ стала замѣчаться нѣкоторая перемѣна въ этомъ отношеніи и проявилось стремленіе поинтересоваться и политикой, и литературой; случалось иногда, въ часы досуга, онъ самъ просилъ: „а ну, прочтите-ка, нѣтъ ли чего въ газетахъ“, или соглашался прослушать чтеніе какого-нибудь новаго замѣчательнаго произведенія въ русской литературѣ и слушалъ съ большимъ участіемъ и удовольствіемъ; но самого его я никогда не видалъ съ политической газетой въ рукахъ, тогда какъ за чтеніемъ медицинскихъ книгъ и газетъ онъ готовъ былъ проводить чуть не цѣлыя ночи и не щадилъ для нихъ своего слабаго зрѣнія. Даже въ Мен-

тонѣ за мѣсяцъ и менѣе до своей смерти онъ выходилъ не иначе, какъ имѣя въ карманѣ медицинскую газету или брошюру, и какъ только оставался одинъ, сейчасъ вытаскивалъ ее и погружался въ чтенiе. Правда, въ это время ему уже аккуратно и подробно прочитывалось женой или сыномъ всякiй день и русская политическая газета и, при избыткѣ свободнаго времени, что - нибудь по части беллетристики; такъ, въ эти послѣднiя недѣли жизни онъ впервые познакомился съ романами Достоевскаго и выразилъ свое мнѣнiе по поводу ихъ въ такой формѣ: „просто зачитываюсь Достоевскимъ; что̀ за огромный талантъ наблюдателя; вотъ бы его провести черезъ хорошую медицинскую школу, а то жаль, много болтаетъ лишняго и совсѣмъ не умѣетъ писать".

Въ университетѣ Боткинъ тотчасъ же выдвинулся впередъ своими необыкновенными способностями и рѣдкимъ трудолюбiемъ; онъ аккуратно являлся на лекцiи и такъ какъ печатныхъ руководствъ и учебниковъ тогда почти вовсе не было, а приходилось готовиться къ экзаменамъ по лекцiямъ, записаннымъ за профессорами, то его всегда можно было видѣть вблизи каѳедры, гдѣ онъ, опять таки несмотря на свое плохое зрѣнiе, записывалъ всегда самъ и притомъ такъ внимательно и быстро, что его тетради считались образцовыми и другiе прилежные студенты по нимъ восполняли впослѣдствiи неизбѣжные пробѣлы и недосмотры въ своихъ записяхъ. Я же на первомъ курсѣ сильно отбился отъ Боткина и своихъ пансiонскихъ товарищей; покончивъ съ интернатомъ Эннеса, гдѣ я жилъ въ школьной дисциплинѣ, я почувствовалъ себя совершеннымъ хозяиномъ и полновластнымъ распорядителемъ своихъ дѣйствiй, свелъ тѣсную дружбу съ 2—3 изъ своихъ первокурсниковъ, не особенно приверженныхъ къ медицинѣ, но за то такихъ же, какъ и я, горячихъ почитателей литературы, и, не стѣсняемый обязательнымъ посѣщенiемъ университета, проводилъ часы лекцiй съ своими новыми друзьями въ трактирѣ

за чтеніемъ литературныхъ журналовъ. Студенческимъ трактиромъ былъ тогда стоявшій въ двухъ шагахъ отъ зданія университета трактиръ Грабостова, на вывѣскѣ котораго подъ золотыми буквами „Великобританія“ красовался и вольный переводъ на французскій языкъ „La Velikobritanie“; сюда сходились мы ежедневно и за парой чая или 10-копѣечнымъ пирогомъ, выкуривая безчисленное количество трубокъ жуковскаго табаку, читали вслухъ, не обращая вниманія на стоявшій кругомъ насъ гомонъ трактирной жизни, вновь вышедшія книжки *Современника* и *Отечественныхъ Записокъ*, толковали и спорили о прочитанномъ.

Предпочтеніе мое произведеній тогдашней беллетристики (Тургенева, Гончарова, Диккенса и др.) медицинѣ привело къ тому, что̀ и слѣдовало ожидать: въ то время какъ Боткинъ со своей прилежной компаніей давно уже готовились къ экзамену анатоміи (самаго главнаго и труднаго курсоваго предмета), носили въ карманахъ кости черепа и въ часы рекреацій повторяли исподволь все пройденное, мы все откладывали, продолжали трактирничать и засѣли вплотную за работу только, когда наступилъ апрѣль и дальше мѣшкать было невозможно; потому Боткинъ, Шоръ и Кнерцеръ блистательно перешли на второй курсъ, а я хотя и не провалился на экзаменахъ, но еле-еле переползъ. Это меня образумило, далѣе я сталъ заниматься медициной очень прилежно и снова болѣе сблизился съ Боткинымъ, хотя сближеніе это ограничивалось ежедневными встрѣчами на лекціяхъ: другъ къ другу мы не ходили и жили каждый особо въ своемъ мірѣ. Только уже въ бытность нашу на 4-мъ курсѣ Боткинъ надумалъ устраивать у себя по субботамъ вечеринки, на которыя сходились человѣкъ 6—8 студентовъ и то изъ нихъ наполовину старшаго, 5-го курса; такъ непремѣнными посѣтителями этихъ вечеровъ были Беккерсъ (впослѣдствіи профессоръ хирургіи въ петербургской медицинской академіи), Шеф-

феръ (впослѣдствіи кіевскій профессоръ фармакологіи) и Погонкинъ, очень даровитый юноша, вскорѣ послѣ окончанія курса заразившійся при вскрытіи трупа и безвременно погибшій. Съ нашего курса, сколько помнится, вначалѣ бывали только Шоръ, Кнерцеръ и я. На вечеринки эти мы собирались во флигелѣ Боткинскаго дома къ 9 часамъ вечера, усаживались вокругъ стола, сначала пили чинно чай, передавали другъ другу новости за недѣлю, критиковали профессоровъ и пр., но, сколько помню, никогда не задѣвали вопросовъ, выходящихъ за предѣлы тѣснаго университетскаго быта, а также не помню, чтобы поднимались изъ-за чего нибудь горячіе споры. Послѣ чаю начиналось тутъ же на столѣ приготовленіе въ кастрюлѣ очень вкуснаго глинтвейна, изъ краснаго вина съ разными пряностями, наливались стаканы, и Беккерсъ, имѣвшій недурной голосъ и знавшій много пѣсней Беранже и нѣмецкихъ студенческихъ, затягивалъ одну иаъ нихъ, а мы составляли хоръ; пѣли и русскія пѣсни; нашими любимыми были: „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ", „Ивушка" и т. п. Обыкновенно Боткинъ брался за свою віолончель и начиналъ намъ подыгрывать; музыка составляла для него чуть ли не единственное отвлеченіе отъ медицины; онъ началъ брать уроки на віолончели въ началѣ своего студенчества и продолжалъ ихъ очень долго впослѣдствіи, уже будучи давно профессоромъ, съ рѣдкимъ усердіемъ и любовью. Распѣвали мы такимъ образомъ съ большимъ одушевленіемъ, въ перемежку болтая и остроумничая, большею частью до часу ночи и затѣмъ расходились по домамъ, никогда не пьяные, а лишь въ небольшомъ веселомъ возбужденіи отъ выпитыхъ 2—3 стакановъ горячаго напитка. Съ современной точки зрѣнія, такія еженедѣльныя собранія молодыхъ студентовъ должны показаться слишкомъ чинными и однообразными, но мы ихъ очень любили и удовлетворялись вполнѣ своими вокальными упражненіями. Новыя времена—новыя пѣсни.

Я не буду слѣдить шагъ за шагомъ за нашимъ пребываніемъ въ московскомъ университетѣ; мы благополучно переходили изъ курса и безъ особенныхъ приключеній дошли до 4-го курса, когда начавшаяся Крымская война произвела не малую пертурбацію и среди насъ и заставила раньше срока подумать о своей будущности. Объ эпизодѣ, вызвавшемъ это нарушеніе въ правильномъ ходѣ нашихъ занятій, я разскажу подробнѣе, такъ какъ онъ сильно врѣзался въ моей памяти, довольно характеренъ самъ по себѣ и можетъ пригодиться для будущихъ біографовъ Боткина.

Дѣло происходило въ январѣ 1854 года. Мы были, помнится, на лекціи дѣтскихъ болѣзней, какъ въ аудиторію явился субъ-инспекторъ и объявилъ, что прибывшіе въ клинику ректоръ Альфонскій и деканъ медицинскаго факультета Анке просятъ студентовъ сейчасъ же подняться въ операціонный залъ для объясненія по особенно важному дѣлу. Мы бросились въ залъ, живо заинтригованные необычайностью такого посѣщенія начальства и теряясь въ догадкахъ, въ чемъ можетъ заключаться это особенно важное дѣло. Какъ только мы были въ сборѣ, ректоръ обратился къ намъ съ короткой рѣчью, что начавшаяся война показала большой недостатокъ въ врачахъ и недостатокъ этотъ вызвалъ Высочайшее повелѣніе, по которому студенты 5-го курса всѣхъ медицинскихъ факультетовъ и петербургской медицинской академіи должны быть выпущены немедленно врачами, но такъ какъ и этимъ ускореннымъ выпускомъ пяти-курсниковъ потребность военно-медицинскаго вѣдомства въ медицинскомъ персоналѣ вполнѣ не удовлетворяется, то вчера получено изъ Петербурга предписаніе—предложить студентамъ 4-го курса держать немедленно выпускные экзамены и получить званіе врачей теперь же, не слушая вовсе предметовъ послѣдняго курса, а потому они съ деканомъ и явились къ намъ, чтобы сегодня же передать намъ желаніе правительства.

Рѣчь ректора поразила насъ своею неожиданностью, но заговорившій затѣмъ деканъ поставилъ дѣло еще болѣе рѣшительнымъ образомъ. Онъ сказалъ, что сейчасъ же опроситъ насъ каждаго поименно, согласенъ ли онъ держать выпускной экзаменъ черезъ 4—6 недѣль и такимъ образомъ воспользоваться даруемыми намъ льготами, но при этомъ долженъ насъ предупредить, что опросъ этотъ будетъ лишь простая формальность и что для насъ другаго выхода нѣтъ, какъ согласиться на предложеніе правительства, ибо для насъ 5-го курса все равно, по случаю военнаго времени, не будетъ; сообщивъ намъ, что 4-й курсъ петербургской медицинской академіи уже предупредилъ насъ, единогласно согласившись теперь уже держать выпускной экзаменъ, и закончилъ свое обращеніе къ намъ приблизительно слѣдующими словами: „а потому, какъ вашъ старый наставникъ и старшій товарищъ, совѣтую вамъ не затягивать дѣло лишней проволочкой и соглашаться немедленно; помните притомъ, война не можетъ продлиться долго, а по окончаніи ея, всякому желающему изъ васъ прослушать впослѣдствіи предметы 5-го курса правительство предоставитъ полную къ тому возможность. Казеннокоштныхъ студентовъ и не полагается спрашивать о ихъ согласіи, такъ какъ для нихъ немедленный выходъ въ военные врачи обязателенъ, а потому начинаю прямо съ своекоштныхъ“,—и онъ развернулъ списокъ. Если бы предложеніе это было хотя отчасти извѣстно нами заранѣе, мы успѣли бы обдумать его и посовѣтоваться другъ съ другомъ или съ болѣе опытными людьми, какъ намъ поступить; теперь же оно застало насъ совершенно врасплохъ, соображать было некогда, надо было сейчасъ же давать отвѣтъ и рѣшать свою судьбу подъ вліяніемъ мимолетнаго впечатлѣнія. Деканъ началъ вызывать по алфавиту своекоштныхъ: Боткинъ стоялъ по списку 4-мъ или 5-мъ, а я, помнится, 9-мъ; всѣ спрошенные до Боткина тотчасъ же согласились; когда дошла очередь до

него, я съ замираніемъ сердца весь обратился въ слухъ, ожидая, что онъ отвѣтитъ, и не вѣрилъ себѣ, услыхавъ его односложный отвѣтъ „согласенъ"; черезъ нѣсколько секундъ деканъ вызвалъ меня, но въ эти секунды въ моей головѣ съ быстротой молніи промелькнулъ цѣлый рой разнообразныхъ соображеній и я рѣшилъ отказаться. „Нѣтъ, не согласенъ!" — отвѣтилъ я твердо. — „Какъ нѣтъ?—воскликнулъ горячо деканъ;—„вы слышите, всѣ кругомъ васъ соглашаются и вы своимъ отказомъ портите единодушный порывъ вашихъ товарищей и только задерживаете насъ! Какія у васъ причины отказываться?»—Я отвѣчалъ, что я, какъ сибирякъ, нахожусь въ исключительныхъ условіяхъ, что, по окончаніи курса, необходимо долженъ вернуться въ Сибирь, гдѣ у меня престарѣлые родители, которыхъ я не видалъ съ тѣхъ поръ, какъ меня еще мальчикомъ увезли въ ученіе въ Москву. И какъ ни уговаривалъ меня деканъ, я упорно стоялъ на отказѣ и тогда, видя безплодность своихъ убѣжденій, онъ наконецъ сказалъ: „ну, я все-таки отказа вашего не принимаю, а отмѣчу въ спискѣ противъ вашего имени, что вамъ дается время подумать, и увѣренъ, что, одумавшись хорошенько, вы явитесь завтра ко мнѣ съ согласіемъ, чтобы не отставать отъ товарищей". — Дальнѣйшій опросъ пошелъ уже нѣсколько иначе, и большинство студентовъ стало коротко заявлять, что они сегодня согласиться не могутъ, а просятъ время на обдуманье, такъ что въ результатѣ переклички набралось около 50 человѣкъ, отказавшихся дать немедленное согласіе.

Лишь только начальство по отобраніи нашихъ отвѣтовъ удалилось, курсъ нашъ загудѣлъ какъ пчелиный рой; каждый съ ближайшими своими друзьями началъ обсуждать только-что сдѣланныя предложенія съ точки зрѣнія личныхъ своихъ интересовъ, всѣхъ всполошилъ внезапный переворотъ въ нашей судьбѣ; были и такіе, которые шумно выражали свою радость; это были тѣ

бѣдные товарищи, которыхъ пребываніе въ университетѣ, составляло постоянную борьбу съ нищетой и голодомъ и въ преждевременномъ полученіи лѣкарскаго диплома они усматривали теперь зарю лучшаго и болѣе сытаго существованія. Я тотчасъ же бросился къ Боткину и замѣтилъ, что онъ, обыкновенно спокойный и веселый, былъ на этотъ разъ встревоженъ и озабоченъ, не менѣе чѣмъ я.

— Почему ты такъ быстро рѣшился? — вѣдь это вздоръ, что 5-го курса не будетъ; куда же дѣнутъ насъ, желающихъ получить полное медицинское образованіе? Да и какіе же мы врачи безъ 5-го курса? и пр. и пр.— закидывалъ я его вопросами.

— А я, братъ, тебѣ удивляюсь, что ты уперся, какъ баранъ,—отвѣчалъ Боткинъ,—ну, что же за бѣда, что мы кончимъ годомъ раньше, за то мы на войнѣ сразу будемъ имѣть такую огромную практическую дѣятельность, какой намъ никакой 5-й курсъ не можетъ дать.

— Ну, а какъ же ты сдѣлаешь съ тѣми крайне необходимыми предметами, которые предстоятъ намъ на 5-мъ курсѣ, какъ патологическая анатомія, оперативное акушерство, глазная клиника, судебная медицина?

— Да это я и безъ тебя знаю, что необходимо и придется восполнять эти пробѣлы потомъ по окончаніи войны. Конечно, и мнѣ самому очень досадно, что не кончу курсъ, какъ слѣдуетъ, да дѣлать нечего; нельзя же, чтобы все дѣлалось по нашему желанію. А сказать тебѣ, почему я такъ быстро согласился! Еще на дняхъ у насъ зашелъ разговоръ съ Грановскимъ о недостаткѣ врачей въ нашихъ войскахъ, и онъ мнѣ сказалъ, что если бы онъ былъ на моемъ мѣстѣ, т. е. студентомъ 4-го курса, то сейчасъ же бросилъ бы университетъ и ушелъ бы фельдшеромъ въ дѣйствующую армію. — „Время ли теперь учиться,—говорилъ онъ;—вы только представьте себѣ, что тысячи раненыхъ солдатъ лежатъ теперь на поляхъ сраженій, стонутъ и мучатся и гиб-

нутъ отъ недостатка ухода; и сколькимъ бы изъ нихъ вы могли помочь; вѣдь вы имъ можете принести гораздо больше пользы, чѣмъ хорошій фельдшеръ, а тамъ и фельдшеровъ даже не хватаетъ". Эти слова Грановскаго вспомнились мнѣ какъ разъ въ эту минуту, какъ меня вызвалъ деканъ, я и согласился. И по моему, глупо, что ты такъ упираешься; обдумай сегодня самъ все хорошенько и иди завтра къ декану съ своимъ согласіемъ. Вѣдь, какъ мы съ тобой отлично можемъ устроиться въ какой-нибудь полкъ вмѣстѣ; первое время намъ было бы трудно, но за то мы станемъ поддерживать другъ-друга и помогать одинъ другому.

Этотъ разговоръ съ Боткинымъ совсѣмъ спуталъ меня и особенно запали мнѣ въ душу слова Грановскаго, въ которомъ мы, даже студенты-медики, не имѣвшіе съ нимъ никакихъ прямыхъ отношеній, привыкли видѣть образецъ высокой нравственной чистоты и пріучились дорожить его мнѣніемъ, какъ мнѣніемъ самаго дорогаго наставника молодежи по честности и благородству его убѣжденій. Да и самого меня, тогда пылкаго 19-ти-лѣтняго юношу, сильно тянуло въ водоворотъ войны, въ которой для меня связывались и помощь больнымъ и раненымъ, и удовлетвореніе патріотическому чувству, и масса разнообразныхъ, незнакомыхъ доселѣ впечатлѣній; съ другой же стороны—не хотѣлось сдѣлать опрометчиваго поступка, чтобы не причинить огорченія моимъ отцу и матери, которыхъ я горячо любилъ и которые, разставшись со мной 7 лѣтъ назадъ, ждали съ великимъ нетерпѣніемъ окончанія моихъ занятій въ университетѣ и возвращенія въ Сибирь; уговорить же ихъ на отсрочку нашего свиданія и выпросить ихъ согласіе на мою поѣздку на поле военныхъ дѣйствій, объяснивъ всю вынужденность этого шага экстраординарными обстоятельствами времени, я не имѣлъ никакой возможности, потому что въ ту эпоху телеграфовъ у насъ еще не существовало, а на письмо изъ Москвы

въ Иркутскъ я могъ получить отвѣтъ никакъ не ранѣе 2-хъ мѣсяцевъ. Въ борьбѣ съ этими разнородными ощущеніями и колебаніями я не зналъ, на что рѣшиться и съ кѣмъ посовѣтоваться; вдругъ меня осѣнила мысль обратиться за совѣтомъ къ самому ректору — А. А. Альфонскому. Ректоръ былъ женатъ на Мухановой, родной сестрѣ декабриста П. А. Муханова, который зналъ меня ребенкомъ въ Иркутскѣ и, когда я поступилъ въ университетъ, прислалъ мнѣ, по просьбѣ моего отца, рекомендательное письмо къ своей сестрѣ; съ такой рекомендаціей я былъ принятъ ласково въ семьѣ Альфонскаго, но, несмотря на настойчивыя приглашенія, посѣщалъ ее рѣдко, раза два въ годъ въ высокоторжественные дни. Теперь же я надумалъ воспользоваться этимъ знакомствомъ и, будучи увѣренъ, что ректоръ будетъ, безъ сомнѣнія, за мой немедленный выходъ изъ университета, какъ лицо оффиціальное, только что передавшее въ это утро предложеніе правительства, я хотѣлъ попросить его, чтобы онъ принялъ на себя отвѣтственность за мой скороспѣлый выходъ и написалъ въ Иркутскъ, что я иначе поступить не могъ. Каково же было мое удивленіе, когда ректоръ, выслушавъ мое объясненіе, сказалъ:

„Не только не возьмусь писать вашимъ родителямъ, а совершенно напротивъ, какъ человѣкъ, замѣняющій вамъ здѣсь отца, могу вамъ дать единственный и самый разумный совѣтъ—ни подъ какимъ видомъ не прерывать вашего медицинскаго воспитанія, не кончивъ полнаго курса. Иначе изъ васъ выйдетъ врачъ недоучка и вы потомъ всю жизнь будете чувствовать эту незаконченность своего образованія и горько жалѣть о ней. Другое дѣло—казенные студенты и тѣ бѣдняки, которыхъ нужда заставляетъ поскорѣе приступить къ практической дѣятельности; ихъ осуждать нельзя, потому что для нихъ иного выхода нѣтъ; съ вашей же стороны, какъ человѣка, имѣющаго средства, это былъ бы посту-

покъ неизвинительный; вѣдь васъ никто и ничто не гонитъ?“ „Какъ не гонятъ?“ — возразилъ я, — „да вѣдь сегодня же при васъ господинъ деканъ говорилъ намъ, что 5-й курсъ будетъ закрытъ, и хотимъ ли мы или не хотимъ, а продолжать намъ довоспитываться будетъ отнята всякая возможность?“

„Ну это, положимъ, сказано было въ видѣ метафоры—съ усмѣшкой отвѣчалъ Альфонскій,—деканъ долженъ былъ вамъ такъ говорить, но я,—какъ ректоръ, могу вамъ въ частномъ разговорѣ поручиться, что если бы васъ было пятеро, изъявившихъ желаніе слушать 5-й курсъ, то и тогда бы мы не могли его закрыть; васъ же вотъ набирается чуть ли не полсотни!“

Поблагодаривъ почтеннаго ректора за совѣтъ, я ушелъ отъ него, хотя разочарованный въ своихъ воинственныхъ планахъ, но за то вышедшій изъ своихъ колебаній и совсѣмъ успокоенный за свое ближайшее будущее; тоскливо сжималось сердце только при мысли о скорой разлукѣ съ Боткинымъ, но и эта тоска вскорѣ разрѣшилась самымъ благополучнымъ образомъ. На завтра утромъ Боткинъ, придя на лекцію, отвелъ меня въ сторону и шепнулъ: „радуйся, вотъ тебѣ новость; только, пожалуйста, не говори пока никому: я беру свое слово назадъ и на войну не ѣду“.—Какъ? что? почему ты перерѣшилъ? разсказывай скорѣе!—Чуть не закричалъ я, въ избыткѣ радости тряся его за плечи. „Тише, тише! вчера какъ только я вернулся домой и передалъ братьямъ, что черезъ какихъ-нибудь 6 недѣль выхожу изъ университета, всѣ на меня страшно напали и стали бранить, что я поступаю необдуманно; а вечеромъ я повидался съ Пикулинымъ (зять Боткина, женатый на его младшей сестрѣ и очень талантливый адъюнктъ профессоръ по гошпитальной клиникѣ въ университетѣ) и онъ окончательно разубѣдилъ меня и уговорилъ отказаться. Сегодня же послѣ лекцій я иду къ декану и объявляю ему мой отказъ; напередъ знаю,

что Анке на меня разсердится и нападетъ, но я твердо рѣшилъ не поддаваться ни на просьбы его, ни на угрозы и отстоять себя!“ — Тогда, чтобы еще болѣе укрѣпить Боткина въ его намѣреніи, я передалъ ему результатъ вчерашняго моего свиданія съ ректоромъ.

Боткинское дѣло, конечно, уладилось и его примѣру послѣдовало еще нѣсколько человѣкъ, такъ что число всѣхъ, отказавшихся воспользоваться правами немедленнаго выхода изъ университета, составило около 55 человѣкъ. Начальство на насъ косилось и обвиняло въ недостаткѣ патріотизма, часть профессоровъ оправдывала нашъ поступокъ, другая относилась индифферентно и только порывистый и увлекающійся проф. Иноземцевъ горячо нападалъ на насъ при всякой встрѣчѣ и прозвалъ „дельетантами медицины“. Непріязнь къ намъ декана выразилась вскорѣ весьма осязательнымъ образомъ: переходные экзамены происходили въ университетѣ всегда въ маѣ и, по давнему обычаю, распредѣленіе ихъ на этотъ мѣсяцъ предоставлялось самимъ студентамъ, но этотъ разъ, когда нашъ депутатъ явился въ правленіе для предъявленія составленнаго росписанія, тамъ ему объявили, что деканъ уже самъ озаботился этимъ дѣломъ и что мы должны сдать свои экзамены не въ теченіе мая мѣсяца, а на протяженіи одной Ѳоминой недѣли, бывшей въ томъ году около 20-го апрѣля. Новость эта разразилась надъ нами только въ пятницу, а для многихъ и въ субботу Страстной недѣли, когда оставалось на приготовленіе всѣхъ предметовъ небольше 9—10 дней. Какъ ни обидно и ни затруднительно намъ было такое утѣсненіе и даже при первомъ извѣстіи казалось просто невозможнымъ такъ быстро и въ такой укороченный срокъ приготовиться по всѣмъ предметамъ курса, однако дѣлать было нечего и жаловаться некому, такъ какъ деканъ былъ полновластнымъ хозяиномъ на факультетѣ; попечитель Назимовъ тоже, конечно, былъ не на нашей сторонѣ. Совершенно беззащитные противъ

такого произвольнаго и ничѣмъ не оправдываемаго распоряженія, мы должны были ему подчиниться и провели послѣднюю недѣлю въ тяжелыхъ и непрерывныхъ занятіяхъ, долбя свои записки профессорскихъ лекцій и учебники, не досыпая ночей, не показывая носу на улицу, куда манило и весеннее солнце и веселый гулъ праздника и предстали на экзамены почти всѣ похудѣвшіе и осунувшіеся. Экзамены сошли съ рукъ не только благополучно, но, можно сказать, блистательно, такъ что имъ никогда не приходилось экзаменовать столь хорошо приготовленныхъ студентовъ. Сваливъ эту гору съ плечъ, мы почувствовали себя свободными на цѣлые 4 мѣсяца, такъ какъ, окончивъ экзамены къ 1-му мая, мы имѣли лишній мѣсяцъ противъ обычныхъ 3 мѣсяцевъ университетскихъ каникулъ. Имѣя въ распоряженіи столько времени, я рѣшился воспользоваться имъ, чтобы съѣздить въ Иркутскъ, повидаться съ своими стариками и проститься съ ними на новую разлуку въ случаѣ, если война не кончится и заставитъ меня отказаться отъ возвращенія въ Сибирь по окончаніи курса. Я такъ и сдѣлалъ и, выѣхавъ 4-го мая изъ Москвы, попалъ въ Иркутскъ только 11-го іюня, такъ какъ въ то время не существовало ни Нижегородской желѣзной дороги, ни правильнаго пассажирскаго пароходства на Волгѣ и Камѣ; прожилъ дома 6 недѣль, а 25-го августа вернулся обратно въ Москву. Лекціи на 5-мъ курсѣ еще не начинались, между прочимъ, и потому, что въ это лѣто 1854 года вспыхнула въ Москвѣ холера и въ такой сильной степени, что городскія власти нашли нужнымъ открыть временную холерную больницу (на Мясницкой въ домѣ Нилуса), а университетское начальство откомандировало въ нее въ помощь врачамъ студентовъ старшаго курса, въ томъ числѣ и Боткина. Эпидемія эта такъ быстро прекратилась, что задержала у насъ открытіе лекцій лишь на нѣсколько дней. Объ этой 5-годичной нашей университетской жизни сохранились и у Боткина и у

меня самыя лучшія и теплыя воспоминанія, и только боязнь увлечься лирическими изліяніями благодарной памяти теперь отживающаго сердца и отдалиться черезъчуръ отъ моей основной задачи заставляетъ меня по возможности ограничить свою экспансивность. Занятія 5-го курса происходили и, кажется, теперь происходятъ, главнымъ образомъ въ Екатерининской больницѣ; скученный на небольшомъ пространствѣ ея палатъ и длиннаго корридора и совсѣмъ разъобщенный отъ студентовъ другихъ курсовъ, нашъ сильно порѣдѣвшій курсъ самой силой обстоятельствъ и обстановки невольно слился въ тѣсную семью; мы не только перезнакомились другъ съ другомъ, но и сдружились съ тѣми изъ товарищей, которыхъ на прежнихъ курсахъ едва знали по фамиліи,—и сколько среди этихъ новыхъ друзей открылось для насъ славныхъ представителей того преемственнаго типа, какимъ всегда отличалось и отличается наше студенческое юношество; сколько юношей даровитыхъ, увлеченныхъ наукой, чистыхъ сердцемъ и съ самыми гуманными и благородными убѣжденіями! Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, огромное большинство изъ этихъ товарищей перемерло; многихъ суровая русская дѣйствительность передѣлала по своему и проглотила безслѣдно, какъ глотаетъ прожорливый китъ на свой завтракъ огромное количество всякой рыбешки, не разбирая деликатную и тонкую отъ самой грубой, но я думаю всякій изъ остающихся въ живыхъ вспомнитъ и теперь, на закатѣ своей жизни, съ теплымъ чувствомъ тѣ дружескія и искреннія отношенія, которыя установились между большинствомъ изъ насъ въ этотъ послѣдній годъ нашего пребыванія въ университетѣ.

Боткинъ былъ однимъ изъ самыхъ симпатичныхъ и милыхъ членовъ этого товарищескаго кружка; его всѣ любили за его необыкновенное добродушіе, всегда ровный, веселый характеръ и незлобивое, никого не задиравшее остроуміе и въ то же время очень уважали за

основательность его медицинскихъ знаній, за горячее стремленіе къ ясному усвоенію всего, что намъ преподавалось и за неослабную любовь къ наукѣ; на всѣхъ самыхъ способныхъ и прилежныхъ студентовъ находили хоть изрѣдка полосы какого то умственнаго утомленія, выражавшагося болѣе вялымъ отношеніемъ къ своимъ занятіямъ, временнымъ равнодушіемъ къ наукѣ и разочарованіемъ въ своемъ призваніи къ будущей медицинской дѣятельности; въ занятіяхъ же Боткина такихъ полосъ духовнаго упадка никогда не было замѣтно. При этомъ и товарищъ онъ былъ прекрасный и никогда не отказывался участвовать на тѣхъ рѣдкихъ пирушкахъ, которыя иногда устраивалъ нашъ кружокъ, а на его собственныхъ субботахъ, на которыхъ теперь появился лишній десятокъ новыхъ друзей однокурсниковъ, господствовала самая непринужденная и шумная веселость, благодаря заразительному и безъискусственному добродушію гостепріимнаго хозяина.

ГЛАВА III.

Уровень медицинскаго преподаванія въ московскомъ университетѣ въ первой половинѣ 50-хъ годовъ. Профессора: Глѣбовъ, Иноземцевъ и др. Окончаніе курса.

Прежде чѣмъ покончить съ разсказомъ объ университетскомъ образованіи Боткина, слѣдуетъ упомянуть объ уровнѣ тогдашняго медицинскаго преподаванія въ московскомъ университетѣ и приблизительно выяснить, на сколько оно способствовало выработкѣ въ Боткинѣ его солидныхъ познаній, безграничной любви къ наукѣ и тѣхъ пытливыхъ сторонъ его обширнаго ума, которыя сдѣлали впослѣдствіи изъ него первокласснаго ученаго

и незамѣнимаго учителя. Тяжелое время застоя, непріязнь правительства къ разсадникамъ высшаго образованія и насильственное разобщеніе ихъ съ всемірной наукой,— всѣ эти условія, какими отличалась описываемая эпоха, не могли благопріятствовать надлежащему у насъ росту и процвѣтанію науки и пораждали и въ московскомъ университетѣ много темныхъ и печальныхъ сторонъ, которыя выражались несоотвѣтствіемъ большинства профессоровъ своему высокому назначенію, ихъ невѣжественною отсталостью въ преподаваніи своего предмета и неизбѣжною вслѣдствіе того узкостью ихъ взглядовъ, придававшихъ живой наукѣ видъ такой мертвой и законченной схоластики, что, казалось, все доступное человѣческому уму уже достигнуто и завершено, и что свѣжимъ силамъ дальше идти некуда и работать не надъ чѣмъ. Такимъ преподаваніемъ подрывалось самое существенное назначеніе университета— вселять въ молодыхъ слушателяхъ и развивать въ нихъ уваженіе и довѣріе къ наукѣ какъ главному прогрессирующему элементу жизни. Этого типа профессоровъ было не мало; они относились къ излагаемому ими предмету сухо и безъ всякой любви, болѣе или менѣе аккуратно являлись въ университетъ и читали лекціи по своимъ запискамъ, составленнымъ тому назадъ 15—25 лѣтъ, не подсвѣжая ихъ большею частью нисколько позднѣйшими учеными работами и открытіями, а такъ какъ практическихъ занятій для студентовъ въ то время, кромѣ анатомическихъ упражненій на трупахъ и больничныхъ визитацій, никакихъ не полагалось, то не было ни мѣста, ни повода къ болѣе тѣсному сближенію и обмѣну мыслей между преподавателями и слушателями, и послѣдніе были почти исключительно пріурочены къ изученію этихъ сухихъ профессорскихъ тетрадокъ. Въ подробностяхъ на этихъ отрицательныхъ сторонахъ тогдашняго медицинскаго преподаванія я останавливаться не буду и для доказательства считаю достаточнымъ ограничиться указаніемъ на два примѣра.

Терапевтической клиникой 4-го курса завѣдывалъ въ это время профессоръ Оверъ, пользовавшійся огромной практикой въ Москвѣ и до того поглощенный ею, что пріѣзжалъ въ клинику, много сказать, разъ или два въ мѣсяцъ, всегда неожиданно, по дорогѣ между двумя визитами; являясь какъ метеоръ, онъ проходилъ въ свой кабинетъ, требовалъ къ себѣ адъюнкта, на котораго взвалилъ всецѣло занятія съ 4-мъ курсомъ, и черезъ 10 минутъ снова скрывался. Студенты только догадывались, по городской репутаціи профессора, что это человѣкъ очень талантливый и съ большими знаніями, потому что знаніями своими онъ съ ними не дѣлился, если не считать тѣхъ 5—6 лекцій надъ больными, которыя онъ прочелъ на своемъ изящномъ латинскомъ языкѣ въ теченіе 8-мѣсячнаго семестра и которыя были слишкомъ случайны и отрывисты, чтобы принести слушателямъ хоть небольшую пользу. Держалъ онъ себя такимъ олимпійцемъ, что съ адъюнктомъ былъ рѣзокъ, говорилъ ему „ты“, а изъ студентовъ не зналъ ни одного по имени и никогда ни къ одному не обращался съ преподавательскимъ вопросомъ. Если прибавить къ этому, что адъюнктъ его былъ весьма дюжинная личность и стоялъ самъ на такой точкѣ медицинскаго развитія, что воспитывалъ въ учащихся большое недовѣріе къ постукиванію и выслушиванію, то будетъ ясно, что изъ этой клиники, гдѣ студентамъ полагалось сдѣлать первое знакомство съ больными и съ методами ихъ изслѣдованія, они почерпали немного.

Совершенно въ иномъ родѣ, чѣмъ описанный клиницистъ, былъ профессоръ другой, не менѣе важной и первостепенной науки, а именно патологической анатоміи; проф. Полунинъ былъ въ высшей степени аккуратенъ въ отправленіи своихъ обязанностей, не пропускалъ ни одной лекціи, былъ требователенъ къ занятіямъ студентовъ, но въ немъ самомъ, въ его сухой и холодной натурѣ, не теплилось того священнаго огня, который осо-

бенно цѣненъ въ преподавателѣ и, сообщаясь любознательнымъ слушателямъ, согрѣваетъ ихъ и привлекаетъ къ наукѣ. Онъ былъ ученикомъ знаменитаго анатомо-патолога Рокитанскаго и вернулся на московскую каѳедру прямо изъ Вѣны въ самомъ концѣ 40-хъ годовъ, когда въ патологической анатоміи господствовала такъ называемая гуморальная теорія этого вѣнскаго ученаго, приписывавшая происхожденіе болѣзней ненормальному преобладанію въ крови или фибрина, или бѣлка, — фибринозной или альбуминозной кразамы. Нашъ профессоръ прекрасно усвоилъ это ученіе и продолжалъ строго держаться его и въ наше время, когда въ области патологической анатоміи ясно обозначился совершенный переворотъ, теорія Рокитанскаго была расшатана, и мѣсто ея заступила целлюлярная патологія, сводившая сущность болѣзней къ измѣненіямъ въ твердыхъ, микроскопическихъ элементахъ организма; онъ продолжалъ держаться его и тогда, когда самъ Рокитанскій, убѣжденный блестящими доводами Виргофа, съ благороднымъ безпристрастіемъ призналъ себя побѣжденнымъ и отказался отъ своей искусно построенной, но мало обоснованной теоріи. И когда одинъ изъ слушателей, до котораго стороной дошло извѣстіе о новой животворной эпохѣ въ области патологической анатоміи въ Германіи, попробовалъ вызвать объясненіе у профессора, то послѣдній далъ слѣдующій отвѣтъ рѣшительнымъ тономъ, не допускавшимъ продолженія разговора: — „Да, это вѣрно, что Рокитанскій отрекся отъ ученія о кразахъ, этого лучшаго творенія своей ученой дѣятельности; это только показываетъ, что геніальный ученый выжилъ изъ ума“. И много лѣтъ спустя послѣ окончанія нами курса онъ, plus royaliste que le roi, продолжалъ развивать съ каѳедры сданное въ архивъ ученіе какъ послѣднее слово науки.

Мы привели для образца два тогдашніе типа профессоровъ—одного несомнѣнно даровитаго, но крайне не-

брежнаго въ своихъ преподавательскихъ обязанностяхъ, другаго—большого труженика, зато неспособнаго слѣдить за наукой, какъ того требовало его положенiе; но было бы несправедливо утверждать, чтобы подъ эти двѣ характеристики подходили всѣ профессора даннаго перiода. Напротивъ, и въ это невыгодное для процвѣтанiя знанiй время московскiй университетъ недаромъ пользовался репутацiею лучшаго университета въ Россiи, и если медицинскiй факультетъ не могъ, за исключенiемъ Иноземцева, указать на такихъ первоклассныхъ талантовъ, какiе были на другихъ факультетахъ (Грановскiй, Кудрявцевъ, Соловьевъ, Леонтьевъ, Бодянскiй, Рулье и др.), но и въ его средѣ было нѣсколько профессоровъ, лекцiи которыхъ могли развивать въ слушателяхъ уваженiе къ наукѣ, прiохотить ихъ къ занятiямъ и, безъ сомнѣнiя, не остались безъ влiянiя на Боткина. Поэтому считаю необходимымъ остановиться на нихъ.

Физiологiю читалъ И. Т. Глѣбовъ, бывшiй впослѣдствiи вице-президентомъ петербургской медицинской академiи, и знавшiе его въ послѣднемъ званiи съ трудомъ могутъ себѣ представить, что этотъ уклончивый и скромный администраторъ былъ не только прекраснымъ и талантливымъ профессоромъ, но и слылъ грозой московскихъ студентовъ медиковъ за свою безпощадную взыскательность на экзаменахъ и, не смотря на эту строгость, пользовался среди нихъ большимъ уваженiемъ. Онъ добросовѣстно слѣдилъ за развитiемъ своей науки на Западѣ, и если въ его изложенiи и были, можетъ быть, кой-какiе пробѣлы, они щедро выкупались его живой и увлекательной дикцiей и тѣмъ огромнымъ интересомъ, какой присущъ самой физiологiи, какъ наукѣ; оттого аудиторiя его всегда была биткомъ набита внимательными и симпатизирующими лектору слушателями. Очень хромала у него демонстративная часть, практическихъ занятiй у него почти вовсе не было, если не считать нѣсколькихъ лекцiй съ вивесекцiями, носившихъ на

себѣ характеръ случайныхъ, отрывочныхъ пріемовъ, безъ всякой методичности и послѣдовательности. Объ этихъ вивесекціяхъ у меня остались въ памяти только шумныя и скорѣе комическія сцены, когда профессоръ, разрушивъ десятку голубей часть мозга посредствомъ прокола булавкой, передавалъ ихъ для наблюденія послѣдствій очереднымъ студентамъ, а тѣ, вооруженные длинными палками и солдатскими швабрами, съ гиканьемъ стараются выгнать ошеломленныхъ голубей, забившихся на высокіе шкапы, шедшіе вдоль стѣнъ аудиторіи.

Большою любовью пользовался также у студентовъ профессоръ Н. Э. Лясковскій, читавшій фармацію и фармакогнозію; хотя предметы эти не имѣютъ первостепеннаго значенія въ ряду медицинскихъ наукъ, но онъ обладалъ солидными знаніями и горячо заботился о насажденіи ихъ и въ своихъ слушателяхъ, а такъ какъ при этомъ отличался необыкновенною мягкостью характера и рѣдкою доступностью, то студенты часто обращались къ нему съ разъясненіями разныхъ недоразумѣній, посѣянныхъ въ нихъ неудовлетворительнымъ преподаваніемъ химіи и онъ всегда охотно и съ большимъ терпѣніемъ удовлетворялъ ихъ просьбы. Видя наше невѣжество и безпомощность, онъ однажды предложилъ желающимъ заняться практически химіею и для этого приходить въ свободные часы и въ праздники въ лабораторію, гдѣ онъ дастъ намъ реактивы, познакомитъ съ элементарнымъ анализомъ, и затѣмъ откроетъ возможность къ самостоятельнымъ работамъ даже въ области органической химіи. Потребность эта нами такъ сильно сознавалась, что тотчасъ же выискалось на первый разъ человѣкъ 20 охотниковъ и мы ревностно набросились на эти упражненія въ подвалѣ лабораторіи, но эта попытка длилась не больше недѣли и затѣмъ насъ вѣжливо выпроводили изъ лабораторіи; говорили потомъ, что профессоръ химіи разсердился на Лясков-

скаго за то, что послѣднiй вторгнулся въ его область и между ними вышли непрiятности.

Справедливость требуетъ въ числѣ полезныхъ профессоровъ назвать еще безукоризненнаго профессора акушерства и тогда еще молодого человѣка В. И. Коха, весьма свѣжо и ясно излагавшаго свою спецiальность,— и уже пожилаго, но дѣльнаго Н. С. Топорова, читавшаго частную патологiю и терапiю по своимъ запискамъ, въ которыхъ онъ строго придерживался учебника извѣстнаго въ то время парижскаго профессора Шомель, добавляя его много и собственными практическими наблюденiями, почерпнутыми изъ своей обширной практики. Впрочемъ мы, какъ студенты, мало дорожили лекцiями Топорова, и если я упомянулъ о немъ теперь, то это потому, что впослѣдствiи неоднократно Боткинъ мнѣ говаривалъ, что онъ, практикуя, потомъ не разъ убѣждался, сколько мѣткой, хотя и вовсе научно необработанной наблюдательности разсѣяно было въ лекцiяхъ Топорова. „Это былъ не ученый профессоръ,— прибавлялъ онъ, а тотъ очень смѣтливый русскiй мужичекъ, который до многаго доходитъ своимъ сильнымъ здравымъ смысломъ".

Самымъ же даровитымъ и наиболѣе популярнымъ профессоромъ былъ, безспорно, Ф. И. Иноземцевъ и вполнѣ заслуженно пользовался этою популярностью. Несмотря на то, что ему тогда было уже за 50 лѣтъ и здоровье его было значительно надорвано, онъ очень строго относился къ своимъ обязанностямъ и, имѣя въ Москвѣ огромную частную практику, никогда изъ-за нея не пропускалъ своихъ клиническихъ лекцiй и вносилъ въ нихъ столько пылкаго и молодаго увлеченiя и любви къ наукѣ, что невольно сообщалъ ихъ и своимъ слушателямъ. Все въ немъ, начиная съ его наружности (онъ былъ сильный брюнетъ съ черными, выразительными глазами) и кончая его сангвиническою страстностью и юной подвижностью, дѣлало, казалось, изъ него скорѣе пред-

ставителя какой-нибудь южной расы, чѣмъ сѣверянина. Горячность его иногда доходила до того, что, вспыливъ у постели больнаго на недогадливаго студента-куратора, онъ топалъ ногами, кричалъ на него, осыпая эпитетами „ротозѣя", „вороны", или фразами вродѣ: „вы смотрите въ книгу, а видите фигу" и т. п. Но никто не думалъ на него обижаться за эти вспышки, потому что студенты знали добродушіе профессора и знали, что онѣ происходили въ немъ, вслѣдствіе необыкновенной живости его темперамента, безъ всякаго намѣренія оскорбить ихъ, и что, напротивъ, Иноземцевъ любитъ молодежь горячо, съ чисто родительской нѣжностью и каждому изъ обращавшихся къ нему всегда готовъ помочь искреннимъ и любовнымъ совѣтомъ. Онъ много помогалъ только что кончившимъ курсъ врачамъ тѣмъ, что охотно давалъ имъ позволеніе посѣщать свои домашніе пріемы, доставлялъ имъ частную практику, такъ что вокругъ него группировался цѣлый штабъ врачей, извѣстный въ Москвѣ подъ названіемъ „иноземцевскихъ молодцовъ".—Своеобразной оригинальностью отличались его взгляды на свойство болѣзней и лѣченіе ихъ; онъ утверждалъ, что съ 40-хъ годовъ нашего столѣтія измѣнился характеръ болѣзней (genius morborum); до того онъ былъ воспалительный и требовалъ для борьбы съ нимъ постоянныхъ кровопусканій и прохлаждающаго метода, но затѣмъ, по личнымъ наблюденіямъ профессора, этотъ характеръ сталъ постепенно измѣняться и замѣнился преобладаніемъ явленій раздраженія узловатой системы симпатическаго нерва, выражавшимся большею частью катарромъ желудка; сообразно съ этимъ коренным образомъ измѣнились и показанія въ лѣченіи и вмѣсто кровопусканій, селитры, соленыхъ слабительныхъ и т. п., стали употребляться иныя лѣкарства для устраненія такого преобладающаго нервнаго раздраженія. Этими дѣйствительными средствами Иноземцевъ признавалъ преимущественно два: микстуру изъ наша-

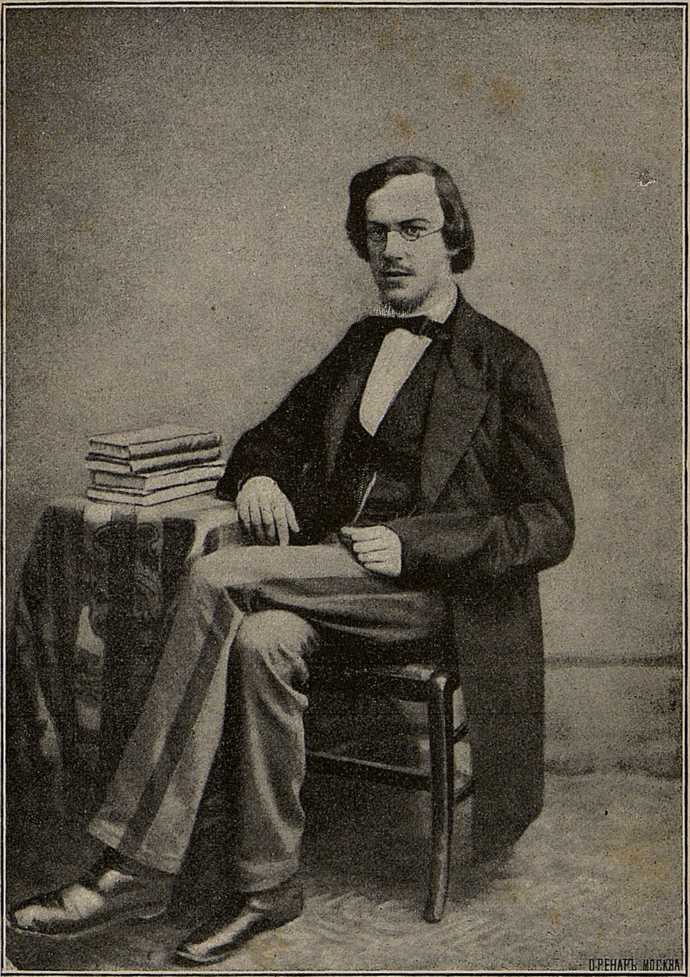
тыря, локрицы и рвотнаго камня—и капли изъ миндерфова спирта (уксуснокислый аммоній) съ лавровишневой водой; первую микстуру онъ особенно считалъ цѣлебной, и рѣдкій хирургическій больной могъ избѣжать ея; даже поступавшіе въ клиники съ травматическими повреждeніями и подлежавшіе немедленной операціи должны были дня 2—3 предварительно принимать ее, чтобы, какъ говаривалъ Иноземцевъ, предотвратить въ послѣоперaціонномъ періодѣ могущее явиться осложненіе со стороны раздраженія узловатой нервной системы. Микстура эта имѣла такое широкое примѣненіе въ клиникѣ, что заготовлялась тутъ же чуть не ведрами, и каждая клиническая сидѣлка хорошо знала „саламанику“ (Sal ammoniacum). Не только теперь, почти полвѣка спустя, такой взглядъ на характеръ болѣзней представляется черезъчуръ страннымъ и эксцентричнымъ, но и въ то время теорія Иноземцева производила впечатлѣніе совсѣмъ произвольной и искусственной даже на студентовъ; они надъ ней подтрунивали между собой и только удивлялись эквилибристической ловкости профессора, когда онъ, при разборѣ всякаго новаго больнаго, неизбѣжно взбирался на своего конька и весьма логическими пріемами старался подвести и этого больнаго подъ свою излюбленную схему болѣзни.

И какъ ни казались странными и неубѣдительными взгляды Иноземцева, какъ ни односторонне его лѣченіе, слушатели всегда валили толпой на его лекціи и считали себя многимъ ему обязанными; ихъ привлекало къ нему его талантливое изложеніе, живое отношеніе къ наукѣ, стремленіе къ точному разбору клиническихъ больныхъ, вырабатывавшее въ слушателяхъ необходимую наблюдательность и, наконецъ, искреннее и гуманное отношеніе къ больнымъ. Говоря объ односторонности клиническаго лѣченія Иноземцева, слѣдуетъ указать на его крупныя заслуги и въ терапіи, указывающія на его тонкую наблюдательность и разумную пропаганду

новыхъ методовъ; такъ, ему много обязаны своей извѣстностью и распространеніемъ водолѣченіе и молочное лѣченіе, и если въ отношеніи перваго онъ являлся только горячимъ и умнымъ послѣдователемъ Присница, то въ лѣченіи молокомъ онъ былъ, если не ошибаюсь, самымъ первымъ и совсѣмъ самостоятельнымъ начинателемъ. Кромѣ своихъ клиническихъ лекцій, онъ читалъ 4-му курсу еще оперативную хирургію, и здѣсь мы находили въ немъ того же талантливаго и чрезвычайно полезнаго преподавателя, тѣмъ болѣе, что самая сущность предмета заставляла его быть болѣе объективнымъ и не увлекала его въ гипотетическія разсужденія.

Я уже выше говорилъ, что студенты особенно уважали и цѣнили Иноземцева и въ доказательство этой привязанности позволю себѣ привести одинъ случай, бывшій во время нашего пребыванія въ университетѣ.

Мы были на 5-мъ курсѣ, когда московскій университетъ торжественно праздновалъ свой 100-лѣтній юбилей. Праздники эти продолжались 3 дня, причемъ въ послѣдній изъ нихъ, 14-го января, университетъ угощалъ обѣдомъ въ своихъ стѣнахъ всѣхъ учившихся въ то время студентовъ. За столомъ, за которымъ помѣщался нашъ курсъ, во время обѣда пущено было предложеніе сдѣлать складчину и на собранныя деньги закончить этотъ день курсовой пирушкой; предложеніе было встрѣчено съ большимъ сочувствіемъ, немедленно собраны деньги, выбраны распорядители и рѣшено было собраться около 9 часовъ вечера въ квартирѣ товарищей, занимавшихъ двѣ достаточно помѣстительныя комнаты. Сошлось насъ вечеромъ человѣкъ около 30, было шумно и весело, и этому одушевленію, само собой разумѣется, немало способствовало вино; во 2-мъ часу ночи, когда бутылки всѣ были опорожнены, въ комнатахъ намъ стало тѣсно и душно, а расходиться по домамъ разгулявшейся компаніи еще не хотѣлось; кто-то предложилъ, чтобы достойно завершить этотъ памятный



Н. А. Бѣлоголовый (1859 г.).

Тип К. Ө. Александрова

день отправиться къ Иноземцеву, какъ самому любимому и симпатичному профессору, и подъ его окнами пропѣть хоромъ „Gaudeamus igitur“. Многіе за позднимъ временемъ и за дальностью разстоянія отказались идти, но насъ, пожелавшихъ принять участіе въ экспедиціи, и Боткинъ въ томъ числѣ, набралось человѣкъ 12, и мы безстрашно двинулись въ путь съ Покровскаго бульвара на Спиридоновку, гдѣ жилъ Иноземцевъ. Январьская морозная ночь и долгій переходъ по снѣжнымъ сугробамъ отрезвили большинство изъ насъ и мы добрели благополучно, установились передъ невысокимъ одноэтажнымъ домикомъ профессора и именно подъ тѣмъ окномъ, за которымъ, по увѣренію предполагавшихъ знать помѣщеніе, находилась его спальня,— и хоръ грянулъ. Кончена была первая строфа, кончена и вторая, а въ незакрытомъ ставнями окнѣ не появлялось ни свѣту, ни вообще какого нибудь поощрительнаго указанія, что наше пѣніе было услышано; мы затянули 3-ю строфу, но оборвались на половинѣ ея, услышавъ внезапно трескъ и звонъ разбитаго стекла. Дѣло тотчасъ же объяснилось; никто изъ насъ и не замѣтилъ въ темнотѣ ночи, какъ одинъ изъ товарищей, наиболѣе пьяный, въ досадѣ, что наше пѣніе не вызываетъ желаннаго эффекта, отдѣлился отъ толпы и, подскочивъ къ окну, сталъ такъ сильно барабанить по немъ, что разбилъ стекло. Такой не входившій въ наши планы, исходъ экспедиціи до того насъ озадачилъ, что мнѣ и теперь смѣшно вспомнить, съ какой быстротой набѣдокурившихъ школьниковъ мы разбѣжались въ разныя стороны; помню, я очутился въ какихъ то прудахъ и, не столкнись случайно съ однимъ изъ нашихъ же бѣглецовъ, вѣрно бы до утра проблуждалъ въ этой совершенно незнакомой мнѣ мѣстности. Собравшись на слѣдующій день въ больницу на лекціи, мы находились въ глубокомъ отчаяніи оттого, что наша въ основаніи очень симпатичная цѣль ночнаго похода привела къ

такому печальному и неожиданному концу; для самого же Иноземцева такъ и осталось навѣки тайной, что разбитое въ эту ночь въ его домѣ окно учинено не злоумышленной, а самой благожелательной рукой и, напротивъ, должно было служить выраженіемъ той искренней привязанности, какую къ нему питала молодежь въ наше, далеко не демонстративное время.

Наконецъ, учащіеся встрѣчали счастливый для себя составъ преподавателей въ клиникѣ внутреннихъ болѣзней 5-го курса, т. е. въ Екатерининской больницѣ. Завѣдывалъ этой клиникой профессоръ І. В. Варвинскій, хотя не особенно даровитый, но образованный и свѣдущій практикъ; онъ переведенъ былъ въ Москву изъ дерптскаго университета и носилъ на себѣ еще печать свѣжести и дѣловитости нѣмецкой школы того времени, хорошо владѣлъ методами изслѣдованія, отдавалъ должное значеніе патологической анатоміи и старательно слѣдилъ за клинической иноземной литературой, такъ что студенты, послѣ малонаучной и непитательной терапевтической клиники 4-го курса попадали на лекціи Варвинскаго какъ въ обѣтованную землю, гдѣ дѣло велось весьма добропорядочно и гдѣ ихъ голодъ въ клиническихъ познаніяхъ получалъ достаточное удовлетвореніе. Но еще болѣе полезнымъ для нихъ былъ адъюнктъ Варвинскаго—П. Л. Пикулинъ; это былъ совсѣмъ молодой человѣкъ, съ очень привлекательнымъ, скорѣе дѣвическимъ лицомъ, съ большими мягкими глазами и удивительно нѣжнымъ румянцемъ на щекахъ. Онъ незадолго до того воротился изъ заграничной поѣздки для усовершенствованія своего образованія и при своей талантливости, хорошемъ запасѣ знаній и умѣньѣ владѣть способами изслѣдованія, могъ считаться образцовымъ преподавателемъ и діагностомъ. Къ несчастію, тяжелая и неизлѣчимая болѣзнь скоро прервала его ученую дѣятельность, отъ которой университетъ въ правѣ былъ ожидать многаго; въ описываемое же время онъ былъ

цвѣтущаго здоровья и самъ горячо искалъ работы и примѣненія своихъ знаній. Кромѣ того Пикулинъ былъ женатъ на сестрѣ Боткина, былъ очень друженъ съ нимъ и, зная черезъ него, до чего студенты вступали въ последній годъ своего университетскаго образованія плохо обученными въ элементарномъ изслѣдованіи больныхъ, самъ предложилъ имъ заниматься съ ними по вечерамъ,—и вотъ эти вечернія занятія оказались особенно драгоцѣнными и назидательными для насъ, потому что впервые познакомили съ истинной діагностикой, которая хотя и преподавалась по программѣ на 3-мъ курсѣ, но въ такой архаической формѣ, что мы смотрѣли на постукиваніе и выслушиваніе какъ на шарлатанство. Только теперь, подъ руководствомъ этого горячо занявшагося съ нами наставника, началъ раскрываться передъ нами темный до того міръ изслѣдованія болѣзней легкихъ и сердца; мы обзавелись стетоскопами, стали неутомимо выслушивать и наколачивать до мозолей свои пальцы (тогда плесиметры и молотки не были еще въ такомъ ходу, какъ теперь), провѣряли другъ друга и закидывали молодаго профессора вопросами, а онъ съ неослабнымъ усердіемъ и неутомимостью старался удовлетворить нашу любознательность и разъяснить все доступное. Эти занятія съ Пикулинымъ значительно подвинули впередъ наше медицинское образованіе и только лѣнивый не извлекалъ изъ нихъ пользы, но особенно ярко освѣтили онѣ блестящія стороны Боткина и выставили его превосходство; талантливыхъ юношей на курсѣ было немало; большинство занималось съ замѣчательнымъ стараніемъ, но всѣ признавали въ немъ первоклассную звѣзду курса, высоко цѣнили его рѣдкую даровитость и ужъ тогда предсказывали его выдающуюся будущность. Онъ такъ легко схватывалъ объясненія Пикулина, такъ быстро усваивалъ всѣ тонкіе оттѣнки постукиванія и выслушиванія, что вскорѣ сдѣлался первымъ мастеромъ этого искусства, и товарищи прибѣгали всякій разъ къ

нему, какъ къ авторитету и третейскому судьѣ, для разрѣшенія недоразумѣній въ такихъ запутанныхъ случаяхъ, когда надъ постелью больнаго между ними возникали сомнѣнія и споры. Другой характерный чертой Боткина была та, что онъ такія обращенія къ его помощи товарищей принималъ не только безъ всякаго самолюбиваго чувства и высокомѣрія, а напротивъ, съ величайшей охотой и удовольствіемъ, потому что его пытливый умъ постоянно требовалъ работы и искалъ самъ такихъ хитрыхъ и запутанныхъ патологическихъ случаевъ, надъ которыми бы онъ могъ потрудиться, разсмотрѣть ихъ со всѣхъ сторонъ и рѣшать, какъ математическія задачи, путемъ логики и установленныхъ медицинскихъ законовъ; и до тѣхъ поръ онъ не успокаивался, пока ему не удавалось рѣшить предложенный на его судъ спорный вопросъ. Вотъ это то неуклонное стремленіе Боткина, при его талантливости и сосредоточенности въ занятіяхъ, все понять и все объяснить не только себѣ, но и сдѣлать яснымъ другимъ—и заставляло смотрѣть на 20-лѣтняго Боткина какъ на молодаго орленка, будто инстинктивно пробующаго свои отростающія крылья и по взмаху его тогдашняго полета догадываться, какъ высоко онъ будетъ парить впослѣдствіи.

Въ больничныхъ занятіяхъ быстро промчался для насъ 5-й университетскій годъ. А между тѣмъ на Крымскомъ полуостровѣ продолжала разыгрываться кровопролитная война, стянувшаяся почти исключительно около укрѣпленій Севастополя; общественное возбужденіе въ Москвѣ было хотя и замѣтно, но оно не могло проявляться во всей своей силѣ, потому что свѣдѣнія съ театра войны, сообщаемыя въ ежедневныхъ газетахъ, которыхъ на всю имперію было не больше 4-хъ, были очень скудны и едва едва могли удовлетворить только самую микроскопическую долю общественнаго участія въ событіяхъ. Глухое сознаніе, что дѣла въ Крыму идутъ не совсѣмъ ладно, давало себя чув-

ствовать среди студентовъ тѣмъ, что инспекція обращалась къ нимъ съ нерѣдкими убѣжденіями — бросать занятія и поступать въ ряды арміи; говорилось особенно о недостаткѣ, ощущаемомъ въ артиллерійскихъ офицерахъ; въ зиму съ 1854—1855 года введено было обязательное обученіе студентовъ маршировкѣ въ манежѣ, расположенномъ противъ университета; на университетскихъ каѳедрахъ появились два откомандированные штабъ-офицера,—на одного изъ нихъ возложено чтеніе фортификаціи, а на другаго—военнаго устава.

Насъ, медиковъ, избавили отъ маршировки, но зато продолжали уговаривать кончать поскорѣе университетскія занятія. За два дня до Рождества 5-му курсу снова было приказано собраться въ зданіи стараго университета, куда на этотъ разъ явился попечитель—генералъ Назимовъ и пробовалъ уговаривать насъ немедленно держать выпускной экзаменъ и записываться въ военно-медицинское вѣдомство, но послѣдовать его совѣту охотниковъ не нашлось, потому что каждый изъ студентовъ на опытѣ сознавалъ незамѣнимую пользу, какую ему давалъ для довершенія образованія послѣдній семестръ въ университетѣ. Отстоять свое дообразованіе мы отстояли, однако несовсѣмъ, такъ какъ негодующее на насъ начальство вскорѣ намъ объявило, что выпускные экзамены для насъ назначаются двумя мѣсяцами ранѣе, т. е. переводятся съ мая мѣсяца на мартъ. Тутъ ужъ спорить и прекословить было нельзя и мы лихорадочно принялись за подготовку къ выпуску.

Московскій университетъ извѣстенъ былъ своей неумолимой строгостью къ тѣмъ изъ оканчивающихъ курсъ, которые изъявляли намѣреніе держать прямо экзаменъ на доктора; такіе желающіе находились въ каждомъ выпускѣ, хотя въ огромномъ большинствѣ они дѣлались жертвами безпощаднаго ригоризма экзаменаторовъ, а если какому-нибудь счастливцу и удавалось пройти благополучно сквозь весь длинный строй испытаній, то

онъ неизбѣжно проваливался на экзаменѣ изъ физіологіи у проф. Глѣбова. Тутъ уже ничто не могло помочь, ни даже счастье, потому что самому бозукоризненному искателю докторской степени профессоръ повторялъ въ заключеніе неизмѣнно одну и ту же фразу почти дословно въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „вы приготовились прекрасно, отвѣчали превосходно, а все-таки я васъ пропустить не могу и вотъ почему: все различіе между докторомъ и лѣкаремъ, такъ какъ наука все одна и та же, заключается только въ количествѣ и объемѣ познаній, т. е. первый гораздо начитаннѣе и свѣдущѣе втораго, а я, и по личному опыту, и по наблюденію надъ товарищами, знаю, что какъ бы способенъ и прилеженъ ни былъ студентъ, а ему только что въ пору управиться съ изученіемъ обязательныхъ лекцій и учебниковъ и рѣшительно не хватаетъ времени расширять свои познанія чтеніемъ болѣе спеціализирующихъ предметъ научныхъ сочиненій“. — Безспорно, точка зрѣнія Глѣбова на докторскій экзаменъ не лишена и по настоящее время логичности и справедливости; ею затрогивается давно назрѣвшій въ Россіи, но еще далекій отъ разрѣшенія вопросъ, насколько цѣлесообразно и разумно удерживать у насъ до сихъ поръ двѣ медицинскія степени: доктора и лѣкаря, тогда какъ во всей остальной Европѣ опытомъ давно признано безполезнымъ такое разграниченіе и установлена одна ученая степень—докторская. Коль скоро у насъ признана необходимость сохранить пока и докторскую и лѣкарскую степени, то должна существовать и извѣстная граница и градація въ знаніяхъ, но крайній ригоризмъ проф. Глѣбова и другихъ профессоровъ переступилъ эту границу и на практикѣ получалась вотъ какая величайшая несправедливость: въ то время какъ московскій университетъ, а за нимъ кіевскій, харьковскій и казанскій—отказывали въ докторскомъ дипломѣ лучшимъ и способнѣйшимъ студентамъ, дерптскій университетъ пекъ

докторовъ какъ блины и наводнялъ ими всю имперію и въ его годичныхъ отчетахъ нашего времени встрѣчались такія цифры, что изъ 40 кончившихъ курсъ 26 выпущены докторами медицины, а лишь 14 лѣкарями; а такъ какъ законодательство требовало докторскаго диплома для замѣщенія старшихъ должностей въ военномъ и гражданскомъ вѣдомствахъ, то естественнымъ послѣдствіемъ являлось, что не только высшія должности, но и мѣста старшихъ госпитальныхъ врачей, инспекторовъ врачебныхъ управъ и т. п. были заняты въ большинствѣ случаевъ бывшими дерптскими студентами; воспитанники же русскихъ университетовъ вездѣ были обречены на роли субалтерновъ. Всякій, кому хоть сколько-нибудь извѣстна матеріальная нужда тогдашнихъ провинціальныхъ врачей, пойметъ, какъ ихъ угнетало и даже деморализировало такое приниженное положеніе и почти абсолютная невозможность выбиться изъ него, потому что нужна была незаурядная энергія и рѣдкая счастливая случайность, чтобы добраться до университетскаго города впослѣдствіи и, выдержавъ докторскій экзаменъ, открыть себѣ дипломомъ дорогу къ лучшему будущему.

Я позволилъ себѣ это отступленіе, потому что оно кидаетъ нѣкоторый свѣтъ на тогдашнее положеніе врачей, которое по своей ненормальности и несправедливости послужило главной, мнѣ кажется, причиной, антагонизма и даже острой вражды въ медицинскомъ лагерѣ между русскими и нѣмцами; этотъ печальный антагонизмъ привелъ впослѣдствіи къ продолжительной борьбѣ, въ которой Боткинъ принималъ дѣятельное и, по своему видному положенію, первенствующее участіе, за что вынесъ немало упрековъ и обвиненій отъ противной стороны въ узкой партійности и несправедливости. Въ этой, незаконченной покуда тяжбѣ, когда противники еще не высказались окончательно, было бы преждевременно выступать въ качествѣ безпристрастнаго судьи и произ-

носить приговоръ, кто правъ, кто виноватъ. Скажу только одно, что Боткинъ, отдавшій всего себя на служеніе чистой наукѣ и чуждый всякихъ политическихъ и общественныхъ распрей, лучше всякаго другаго понималъ вредъ отъ существующей розни между врачами разныхъ національностей для интересовъ науки и желалъ бы оградить ее отъ вторженія человѣческихъ страстей; если же и онъ нерѣдко вынужденъ былъ выступать въ воинствующей и партизанской роли, то это лучше всего доказываетъ полную невозможность даже для такого идеалиста ученаго, какимъ былъ онъ, уйти и замкнуться въ тѣсномъ своемъ храмѣ, когда вѣчно волнующаяся жизнь шумитъ кругомъ него и просачивается сквозь его щели. Во всякомъ случаѣ въ дѣлѣ развитія національнаго самосознанія Боткинъ несомнѣнно оказалъ незабвенныя услуги русскому врачебному сословію, не только прямо—поднятіемъ его медицинскаго образованія, но и косвенно—настойчивыми усиліями поставить врачей русскаго происхожденія на приличную высоту въ служебной и практической жизни.—Но возвращаюсь къ своему разсказу.

На курсѣ у насъ было, какъ я уже говорилъ, много способныхъ и занимавшихся весьма усидчиво студентовъ, а потому набралось изъ нихъ 5 или 6 человѣкъ, рѣшившихся идти на штурмъ обставленной столь неодолимыми препятствіями докторской степени и подавшихъ прошеніе о допущеніи ихъ къ докторскому экзамену. Боткинъ былъ въ числѣ этихъ храбрецовъ; я же, несмотря на его уговариванья и на совѣтъ декана, не согласился подвергать себя безполезной пыткѣ безъ надежды на успѣхъ; весьма кстати для оправданія моей неувѣренности въ своихъ силахъ явился у меня и основательный предлогъ въ видѣ внезапнаго кровохарканья, открывшагося послѣ новаго года; правда, оно было небольшое, но могло легко затянуться при тѣхъ непомѣрныхъ занятіяхъ, какія предстояли въ случаѣ моего вызова.

Выпускные экзамены кончились на Страстной недѣлѣ и мы, вскорѣ снявъ студенческую форму, обратились въ лѣкарей. Докторантовъ же постигла всѣхъ, если не ошибаюсь, обычная судьба, т. е. они тоже превратились въ лѣкарей, за исключеніемъ Боткина: онъ благополучно прошелъ черезъ всѣ преграды,—и только пр. Глѣбовъ, вѣрный своему взгляду, не пропустилъ его сразу, а сказалъ ему явиться для переэкзаменовки послѣ вакацій, посовѣтовавъ употребить лѣто на большее знакомство съ физіологической литературой. Такой исходъ докторскихъ экзаменовъ считался тогда равносильнымъ удачѣ, поэтому Боткинъ нисколько имъ не былъ смущенъ, и только въ то время, какъ мы весело и въ товарищескомъ кругу отдыхали отъ перенесенныхъ трудовъ и уже начали хлопотать о мѣстахъ, онъ уединился на лѣто на дачу въ село Архангельское, въ 20 верстахъ отъ Москвы, и засѣлъ за приготовленіе къ переэкзаменовкѣ.

Вскорѣ всѣ мы разбрелись въ разныя стороны по обширному пространству Россіи. Для меня обстоятельства сложились такъ, что, несмотря на пылкое желаніе попасть въ Севастополь, я въ іюлѣ уѣхалъ въ Иркутскъ и прожилъ тамъ безвыѣздно три года. Съ Боткинымъ за это время я обмѣнялся не болѣе какъ двумя письмами, и тѣхъ у меня не сохранилось, а имѣлъ о немъ только отрывистыя свѣдѣнія отъ товарищей, жившихъ въ Москвѣ и изрѣдка видавшихъ его. Въ концѣ августа 1855 года онъ успѣшно покончилъ съ своей переэкзаменовкой у проф. Глѣбова и вскорѣ послѣ того, поступивъ въ число врачей вторичной экспедиціи въ Крымъ, которую снарядила великая княгиня Елена Павловна подъ руководствомъ пр. Пирогова, уѣхалъ изъ Москвы въ Симферополь, куда, послѣ паденія Севастополя, направлены были главные транспорты больныхъ и раненыхъ, и проработалъ тамъ до декабря того же года. Эта поѣздка оставила мало въ немъ хорошихъ воспо-

минаній; больше всего врѣзался въ его памяти тяжелый и немедленный переѣздъ съ безпрестанными задержками въ Симферополь въ осеннюю распутицу и притомъ по мѣстности, истощенной огромнымъ передвиженіемъ войсковыхъ массъ, и потомъ тамъ на мѣстѣ царившая неурядица, неизбѣжная при чрезмѣрномъ и поспѣшномъ сосредоточеніи громаднаго числа больныхъ и раненыхъ въ главномъ пунктѣ. Не придавалъ онъ также значенія въ своемъ медицинскомъ развитіи этой кратковременной дѣятельности, при которой постоянно лихорадочная и торопливая работа не давала возможности его аналитическому уму спокойно разобраться во всемъ видѣнномъ и продѣланномъ; къ тому же занятія хирургіей не могли привлечь его къ себѣ по причинѣ глазнаго его порока, ибо для хирургіи требуется еще болѣе тонкое зрѣніе, чѣмъ для внутреннихъ болѣзней, и онъ вспоминалъ, напримѣръ, объ отчаяніи, охватывавшемъ его, когда послѣ ампутаціи онъ никакъ не могъ разыскать кровоточившіе мелкіе сосуды, подлежавшіе перевязкѣ.

Вернувшись въ Москву, онъ тотчасъ же сталъ обдумывать, что дальше съ собой дѣлать? Существенные пробѣлы въ своихъ медицинскихъ познаніяхъ, вынесенныхъ изъ университета, онъ сознавалъ самымъ отчетливымъ образомъ, а потому рѣшилъ прежде всего заняться своимъ дообразованіемъ и, не откладывая, отправиться для того въ заграничные университеты. Его стремленіе на Западъ для расширенія своихъ знаній совпало съ той мудрой и здоровой эпохой нашего самосознанія, когда и правительство, и общество, убѣжденныя наглядно неудачной войной въ пагубномъ вліяніи невѣжества и обособленности, признали отсталость Россіи отъ остальной Европы за главный свой недостатокъ и поспѣшили его исправить. Въ числѣ первыхъ мѣръ новаго царствованія было — облегчить формальность полученія заграничныхъ паспортовъ и уничтожить ту высокую плату, какая взималась за нихъ до того и

которая дѣлала поѣздку къ источникамъ просвѣщенія доступной только людямъ богатымъ, а для цѣлей усовершенствованія въ наукахъ, только весьма рѣдкимъ счастливцамъ, посылавшимся правительствомъ на казенный счетъ. Боткинъ былъ однимъ изъ первыхъ, воспользовавшихся этими облегченіями; матеріальныя средства его между тѣмъ также опредѣлились: его отецъ умеръ, завѣщавъ большую часть капитала сыновьямъ, не вышедшимъ изъ купеческаго сословія, а остальнымъ, и въ томъ числѣ Сергѣю, по 20,000 р. каждому, — и слѣдуетъ отдать должную справедливость этой почтенной семьѣ, что такое неравномѣрное распредѣленіе наслѣдства нисколько не нарушило искренности дружескихъ отношеній между братьями; обдѣленные понимали, что для поддержанія коммерческаго дѣла отцовской фирмы необходимо сосредоточеніе капитала въ рукахъ ея продолжателей, а богатые братья дѣлали съ своей стороны возможное, чтобы сгладить свое денежное преимущество, приходя разными деликатными способами на помощь обдѣленнымъ и, благодаря этой нравственной порядочности обѣихъ сторонъ, братья продолжали жить между собой въ той же дружбѣ, какъ и прежде.

Въ началѣ 1856 г. Боткинъ выѣхалъ въ Германію и прямо направился въ вюрцбургскій университетъ, куда привлекалъ его профессоръ Виргофъ, великій творецъ новой медицинской школы, и тамъ подъ руководствомъ этого геніальнаго ученаго онъ далъ окончательную шлифовку своимъ блестящимъ дарованіямъ.

ГЛАВА IV.

Вюрцбургъ. — Берлинъ. — Берлинскій патологическій институтъ. — Вирговъ. — Траубе. — Наше совмѣстное житье съ Боткинымъ. — Его отъѣздъ въ Вѣну.

Проѣхавъ прямо въ Вюрцбургъ, Боткинъ съ великимъ увлеченіемъ набросился на работу. Послѣ патологической анатоміи московскаго университета, ея устарѣвшаго преподаванія, на лекціяхъ Виргова передъ нимъ открылся совершенно новый міръ знаній, то неизвѣстное ему дотолѣ животворное направленіе въ медицинѣ, котораго онъ вскорѣ сдѣлался однимъ изъ ревностныхъ и видныхъ поборниковъ. Для непосвященныхъ скажемъ коротко, что Вирговъ считается справедливо творцомъ ученія о клѣточкѣ въ животномъ организмѣ, легшемъ въ основаніе современной намъ науки; причемъ онъ не только создалъ его, но и сложилъ въ стройное цѣлое. Главнымъ орудіемъ въ дѣлѣ его открытій явился микроскопъ, — инструментъ, не находившій въ преподаваніи медицины въ Москвѣ еще никакого употребленія, такъ что студенты наши того времени, если и видали иногда его, то издали, на почтительномъ отдаленіи и считали его за какое то таинственное, кабалистическое орудіе. Боткину такимъ образомъ пришлось начинать новую науку съ азовъ, съ знакомства съ микроскопомъ, съ элементарнаго изученія какъ нормальной, такъ и патологической гистологіи. Онъ, какъ нельзя лучше, понялъ громадное значеніе новаго направленія и всю цѣну личнаго руководительства Виргова, такъ что когда послѣдній осенью того же 1856 года получилъ приглашеніе на каѳедру въ Берлинъ, то и Боткинъ тотчасъ же перебрался за нимъ въ прусскую столицу.

Это появленіе Виргова въ Берлинѣ, вторичное, такъ какъ онъ и ранѣе былъ тамъ университетскимъ про-

фессоромъ, но въ 1849 году удаленъ правительствомъ за либеральный образъ мыслей,—придало берлинскому медицинскому факультету тѣ блескъ и славу, которые до сихъ поръ дѣлаютъ изъ этого города что то въ родѣ Мекки для врачей всѣхъ національностей. Въ центрѣ обширнаго сада, гдѣ помѣщаются клиники Charité, вскорѣ возникло, по мысли Виргова, зданіе патологическаго института со всѣми необходимыми для занятій приспособленіями, и Боткинъ сталъ въ немъ почти безвыходно проводить цѣлые дни, дѣля свои занятія между микроскопомъ и лабораторіей, которой тогда завѣдывалъ Гоппе-Зейдеръ, въ настоящее время весьма извѣстный профессоръ страсбургскаго университета.

Кромѣ того онъ аккуратно посѣщалъ расположенную въ томъ же больничномъ саду клинику проф. Траубе, ибо эта клиника отличалась не столько богатствомъ матеріала, сколько всестороннимъ и строго научнымъ изученіемъ его, что̀ было особенно дорого для Боткина. И дѣйствительно, въ ряду славныхъ клиницистовъ нашего вѣка Траубе принадлежитъ одно изъ первыхъ мѣстъ; этотъ невзрачный съ виду и очень скромный маленькаго роста человѣкъ, съ типичными чертами еврейской физіономіи, обладалъ, какъ клиницистъ, первоклассными и драгоцѣнными способностями, имѣвшими именно много общаго съ тѣми, какія были присущи и натурѣ Боткина. Кромѣ одинаково основательной подготовки въ физіологіи и мастерскаго владѣнія методами изслѣдованія, онъ тоже поражалъ необыкновенною наблюдательностью и пытливостью ума, помогавшими во всякомъ самомъ шаблонномъ клиническомъ больномъ уловить индивидуальныя особенности и разборъ его сдѣлать интереснымъ и поучительнымъ не только для студентовъ, но и для врачей, — даже для послѣднихъ, какъ лучшихъ цѣнителей всѣхъ тонкостей діагностики, еще въ большей степени, чѣмъ для первыхъ. И у Траубе, какъ у Боткина, мысль работала не-

утомимо и постоянно въ одномъ и томъ же направленіи, не отвлекаясь ничѣмъ, выходящимъ изъ сферы любимой специальности, поэтому голова у обоихъ была полна множествомъ возникавшихъ въ ней и не разработанныхъ еще вопросовъ и гипотезъ, и, высказывая ихъ мелькомъ передъ слушателями, они открывали послѣднимъ неизвѣданные еще горизонты науки и бросали новый свѣтъ на многое. Почти съ каждой лекціи отъ нихъ обоихъ можно было вынести что-нибудь свѣжее, новое, чего не вычитаешь ни въ какой книгѣ: мысль или наблюденія, не сдѣлавшіяся пока общимъ достояніемъ науки, а только назрѣвавшія въ мозговой лабораторіи профессора. Я уже выше сказалъ, что самъ Боткинъ, какъ слушатель, высоко цѣнилъ эти достоинства въ Траубе, и, послѣ его лекцій, его уже не могъ удовлетворить ни одинъ изъ тогдашнихъ знаменитыхъ клиницистовъ, — ни Оппольцеръ, ни Шкода, ни Труссо,—не говоря уже о старикѣ Шенлейнѣ, который въ бытность Боткина въ Берлинѣ завѣдывалъ тамъ же госпитальной клиникой, но уже представлялъ изъ себя полную руину, весьма почтенную по прежнимъ заслугамъ, только безплодно занимавшую живое мѣсто. Съ Траубе же у Боткина вплоть до смерти перваго поддерживались самыя дружескія отношенія, и Боткинъ, во всякій свой проѣздъ черезъ Берлинъ, непремѣнно навѣщалъ своего собрата, обѣдалъ у него и былъ знакомъ семьями.

Но, заговоривъ о профессіональномъ сходствѣ этихъ двухъ даровитыхъ наставниковъ, т. е. Траубе и Боткина, необходимо отмѣтить и огромное различіе, бывшее между ними, и которое заставляетъ насъ отдать несравненно большее преимущество безцѣннымъ качествамъ Боткина. Траубе былъ очень черствый человѣкъ, съ своими клиническими больными всегда непривѣтливъ, безстрастенъ, смотрѣлъ на нихъ какъ на объектовъ, подлежавшихъ изслѣдованію, какъ на неодушевленныхъ куколъ, требовавшихъ починки. Особенно непріятно и

даже отталкивающимъ образомъ дѣйствовалъ на слушателей тотъ способъ, какимъ онъ обставилъ доступъ въ свою клинику; за право посѣщенія ея въ теченіе семестра всякій слушатель долженъ былъ внести лично профессору два фридрихсдора (около 15 рублей) гонорара и получалъ взамѣнъ его билетъ, который надо было каждый разъ предъявлять при входѣ въ его больничныя палаты сторожу, строго охранявшему этотъ входъ; исключенія не дѣлалось ни для кого, такъ что врачи, попадавшіе въ Берлинъ проѣздомъ и на нѣсколько недѣль, лишены были возможности попасть въ клинику Траубе и воспользоваться первоклассными достоинствами ея руководителя. Эта нравственная сторона у Боткина была совершенно иная, и въ этомъ отношеніи онъ стоялъ неизмѣримо высоко надъ Траубе, какъ болѣе идеальный наставникъ молодыхъ поколѣній врачей; многія тысячи его паціентовъ и тысячи слушателей нашего клинициста могутъ засвидѣтельствовать его всегда мягкое и необыкновенно сердечное обращеніе съ больными, его безсребріе, его беззавѣтное, чуждое всякихъ личныхъ разсчетовъ, служеніе не только самой наукѣ, но и каждому страждущему человѣку; эти гуманныя его качества придавали его дѣятельности такой яркій цвѣтъ, что мы, упоминая о нихъ теперь лишь мимоходомъ, навѣрное вернемся къ нимъ впослѣдствіи.

Кромѣ клиники Траубе, Боткинъ посѣщалъ еще лекціи извѣстныхъ въ то время—невролога Ромберга и сифилидолога Береншпрунга, но преимущественно отдавалъ свое время патологическому институту, занимаясь у Виргова на его гистологическомъ и демонстративномъ курсахъ, присутствуя при его вскрытіяхъ и работая въ химической лабораторіи. Результатомъ этихъ занятій было появленіе нѣсколькихъ самостоятельныхъ его трудовъ въ печати, исключительно въ ежемѣсячномъ „Вирговскомъ архивѣ“; первое же сообщеніе его на русскомъ языкѣ относилось, если не оши-

баюсь, къ 1858 г., въ начавшей издаваться тогда московской медицинской газетѣ подъ редакціею д-ра Смирнова и знакомило съ описаніемъ Солейлевскаго поляризаціоннаго аппарата для опредѣленія бѣлка и сахара.

Объ этой своей берлинской рабочей порѣ Боткинъ всю жизнь хранилъ самыя теплыя благодарныя воспоминанія. Тамошняя его жизнь стала еще полнѣе и менѣе одинока, когда въ 1857 году въ Берлинъ пріѣхали для занятій И. М. Сѣченовъ, офталмологъ Юнге и покойный хирургъ Беккерсъ; они тотчасъ же составили дружескій кружокъ, связанный общностію духовной жизни и интересовъ, и стали неразлучно проводить время, свободное отъ медицинскихъ занятій; трогательная и нѣжная дружба Боткина съ Сѣченовымъ продолжалась до самой его смерти. Пользуясь продолжительностью вакацій въ берлинскомъ университетѣ, Боткинъ проводилъ ихъ обыкновенно въ Москвѣ въ родной семьѣ и въ одинъ изъ этихъ пріѣздовъ, кажется, въ 1857 году онъ внезапно и тяжко захворалъ такими загадочными и бурными припадками, что болѣзнь его тогда была принята за острое воспаленіе брюшины, и только впослѣдствіи, когда припадки стали повторяться часто и въ болѣе смягченной формѣ, онъ убѣдился, что то была колика желчныхъ камней, — болѣзнь, съ которой онъ не разставался до смерти и которую онъ до поразительной тонкости изучилъ въ самомъ себѣ, особенно въ тѣхъ ея замаскированныхъ и отраженныхъ проявленіяхъ, въ какихъ она нерѣдко можетъ ускользнуть при изслѣдованіи даже у очень опытныхъ врачей.

Въ августѣ 1858 года, когда Боткинъ по обыкновенію отдыхалъ въ Москвѣ, я тамъ совершенно неожиданно столкнулся съ нимъ. Случилось это такъ: я прожилъ 3 года безвыѣздно въ Иркутскѣ, исправляя тамъ должности то городоваго, то окружнаго и даже ветеринарнаго врача,—и подъ конецъ этого пребыванія двое изъ моихъ товарищей, Шоръ и Свирскій, первый—практиковавшій

въ Смоленской губерніи, а второй—въ Ярославской губерніи, въ письмахъ стали сманивать меня предложеніемъ — ѣхать съ ними вмѣстѣ за границу для занятія въ тамошнихъ университетахъ на годъ или на два, смотря по тому, насколько хватитъ нашихъ внесенныхъ на этотъ предметъ въ складчину денегъ. На письмахъ мы обговорили всѣ подробности и все выходило такъ обольстительно и прекрасно, что я съ радостью вступилъ въ этомъ тріумвиратъ и въ началѣ іюля выѣхалъ изъ Иркутска, условившись съѣхаться съ моими компаніонами въ Москвѣ. Разочарованія мои начались съ Нижняго, гдѣ меня на почтѣ ожидало письмо отъ Шора съ извѣстіемъ, что онъ по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ отказывается отъ участія въ поѣздкѣ, такъ какъ ѣдетъ за границу съ знакомой семьей въ качествѣ врача. Но въ Москвѣ встрѣтило меня еще большее горе; я на завтра же по пріѣздѣ пустился розыскивать Свирскаго и нашелъ его умирающимъ въ злой чахоткѣ, а черезъ нѣсколько дней проводилъ тѣло бѣднаго друга на кладбище. Такое печальное начало моего путешествія сильно меня поразило, и я было началъ колебаться, не лучше ли повернуть мнѣ назадъ въ родную даль, чѣмъ пускаться одному въ невѣдомыя иноземныя страны, объ условіяхъ жизни въ которыхъ я, живя въ глубинѣ Сибири, не имѣлъ ни малѣйшаго понятія; и я не знаю, чѣмъ бы кончились эти колебанія, если бы одинъ изъ встрѣченныхъ мной на похоронахъ Свирскаго однокурсниковъ не сказалъ мнѣ, что на дняхъ столкнулся на улицѣ съ пріѣхавшимъ изъ Берлина Боткинымъ. Трудно выразить, какъ я обрадовался этому извѣстію и, чтобы провѣрить его, тотчасъ отправился въ боткинскій домъ, гдѣ и нашелъ, дѣйствительно, С. П., цвѣтущаго здоровьемъ и по прежнему оживленнаго и веселаго. Онъ съ такою любовью, съ такимъ увлеченіемъ сталъ говорить о Вирговѣ, о клиникахъ, такъ ярко описалъ богатыя и для всѣхъ открытыя сокровища берлин-

скаго университета, что мы тутъ же порѣшили въ началѣ зимняго семестра съѣхаться въ Берлинѣ и что онъ тамъ берется быть моимъ руководителемъ на первыхъ порахъ.

Разныя обстоятельства задержали меня въ Петербургѣ дольше, чѣмъ я предполагалъ и помѣшали воспользоваться лучшимъ и кратчайшимъ сообщеніемъ съ Германіею, т. е. пароходнымъ, на Штетинъ, и я долженъ былъ пуститься въ почтовой каретѣ черезъ Ригу, Таурогенъ, Тильзитъ на Кенигсбергъ: отсюда тогда начиналась желѣзная дорога въ Берлинъ, куда я и попалъ около 20-го ноября, т. е. три недѣли послѣ начала семестра, когда Боткинъ меня и ждать пересталъ. Онъ тѣмъ болѣе мнѣ обрадовался, что всѣ старые товарищи разъѣхались,—Сѣченовъ уѣхалъ въ Вѣну, Юнге — въ Гейдельбергъ, Беккерсъ — въ Парижъ,—и предложилъ мнѣ переѣхать къ нему и жить вмѣстѣ до конца декабря, послѣ чего онъ собирался переселиться въ Вѣну по приведеніи къ концу всѣхъ работъ, начатыхъ имъ въ Берлинѣ; для меня предложеніе это явилось сущимъ кладомъ, и я изъ отеля тотчасъ же перебрался въ квартиру Боткина, занимаемую имъ въ Луизенштрассе и выходившую окнами на садъ больницы Charité. Квартирка была небольшая, но удобная, какъ близостью отъ главныхъ пунктовъ всѣхъ медицинскихъ занятій, такъ и своею уютностью: она состояла изъ 2-хъ комнатъ, одна изъ нихъ служила намъ спальней, а другая — салономъ. На завтра же Боткинъ свелъ меня въ патологическій институтъ, представилъ Виргову и его ближайшимъ помощникамъ—Гоппе и Реклинггаузену, тогда только что кончившему курсъ, а теперь извѣстному профессору страссбургскаго университета, а также и профессору Траубе, и по любезности, съ какой они меня приняли, можно легко было судить о близости и уваженіи, какими пользовался среди нихъ Боткинъ. По указанію же Боткина я не медля абонировался на болѣе необходимые

курсы и съ перваго же дня погрузился въ работу. Жизнь наша потекла тѣмъ размѣреннымъ и правильнымъ темпомъ, столь свойственнымъ трудовой жизни нѣмецкихъ университетовъ и которая вначалѣ кажется черезъ чуръ рутинною и однообразною намъ, русскимъ, мало пріученнымъ къ методичности и порядку. Вставали мы рано, чуть начинало свѣтать позднее декабрьское утро, быстро одѣвались, на ходу проглатывали горячую горьковатую жидкость, долженствовавшую изображать изъ себя кофе, и на всѣхъ парахъ летѣли въ больницу, обѣдали иногда вмѣстѣ, иногда порознь въ ресторанѣ ближайшаго въ больницѣ отеля Тенфера, нѣсколько десятилѣтій служившаго главнымъ пристанищемъ пріѣзжихъ иностранныхъ врачей, опять шли въ институтъ или на лекціи — и только къ 7-ми или 8-ми часамъ вечера сходились, наконецъ, вмѣстѣ дома. Тутъ на сцену являлась тотчасъ же наша массивная хозяйка старуха фрау Крейеръ съ чаемъ и холоднымъ мясомъ; мы чайничали, отдавались съ наслажденіемъ часа два болтовнѣ и затѣмъ садились за книги или письма до тѣхъ поръ, пока башенный бой часовъ не возвѣщалъ намъ полуночи и что пора ложиться спать. Случалось нерѣдко, что Боткинъ, увлекшись какой-нибудь интересной медицинской книгой, нарушалъ это правило и засиживался далеко позже,—и за то на завтра приходилось чуть не насильно стаскивать его съ постели, потому что поспать онъ очень любилъ; поэтому онъ особенно цѣнилъ воскресенья, такъ какъ могъ тогда дать полную волю своему сну и встать въ 10 часовъ. Къ тому же, въ субботу и лекціи и всякія занятія заканчивались раньше, часамъ къ 3-мъ или 4-мъ, и мы этотъ вечеръ, а также и воскресный, посвящали разнымъ берлинскимъ развлеченіямъ—театрамъ, концертамъ, заглядывали и на шпитцбалы, но особенно обязательнымъ считалось отпраздновать эти свободные дни посѣщеніемъ концертовъ знаменитой тогда Либиховской капеллы. Боткинъ оставался

по прежнему большимъ любителемъ музыки, а оркестръ Либиха составлялъ тогда одну изъ драгоцѣннѣйшихъ достопримѣчательностей Берлина: превосходно сыгравшійся подъ управленіемъ искуснаго дирижера, онъ съ поразительною тонкостью исполнялъ лучшія классическія творенія нѣмецкой музыки, давая общедоступные концерты по 5-и зильбергрошей за входъ, т.-е. по 15 коп., въ разныхъ локаляхъ (такъ называлось нѣчто среднее между трактиромъ и пивной) города, гдѣ за отдѣльными столиками помѣщались берлинцы съ ихъ семьями, кто за кружкой пива, кто—за чашкой кофе, мужья—нещадно дымя дешевыми сигарами, а жены, занимаясь вязаньемъ чулокъ въ то время, какъ увлекательные звуки музыки Бетговена, Моцарта, Гайдна, Глюка и др. неслись съ эстрады, съ которой тощій и совсѣмъ сѣдой Либихъ, какъ великій магъ, электризовалъ эту простую толпу бюргеровъ и ремесленниковъ, до того жадно ловившую всѣ оттѣнки чудной музыки, что въ огромной залѣ царствовало самое благоговѣйное молчаніе. Увлеченіе Боткина этими концертами передалось и мнѣ, и я впослѣдствіи никогда не упускалъ случая, когда являлась возможность „сбѣгать къ Либиху“.

Быстро прошли эти 5 недѣль нашего сожительства съ Боткинымъ, и едва я успѣлъ осмотрѣться и освоиться въ Берлинѣ, какъ онъ сталъ собираться въ Вѣну, находя, что исчерпалъ все, что ему могъ дать Вирговъ и патологическій институтъ и желая познакомиться съ спеціальными особенностями другихъ большихъ европейскихъ университетовъ. Онъ закончилъ всѣ начатыя имъ химическія и микроскопическія работы надъ кровью, надъ вліяніемъ на кровяные шарики различныхъ агентовъ, надъ кровообращеніемъ въ брыжжейкѣ лягушки и еще нѣсколько другихъ.

Намъ впервые пришлось жить такъ неразлучно, и за эти 5 недѣль мы сошлись еще тѣснѣе и дружнѣе, чѣмъ за всѣ предыдущіе годы знакомства, хотя, каза-

лось бы, и въ натурахъ нашихъ, и во вкусахъ, и въ самыхъ взглядахъ на предстоявшую намъ общественную дѣятельность было мало общаго. Онъ сталъ чистымъ жрецомъ науки еще больше, чѣмъ прежде и совсѣмъ замкнулся въ ея предѣлахъ; его обширный аналитическій умъ совершенно удовлетворялся безграничнымъ полемъ изслѣдованія, какое раскрывалось передъ нимъ по мѣрѣ того, какъ его знанія дѣлались точнѣе, глубже и шире, и это поглощеніе всего его существа наукой было въ немъ совсѣмъ безкорыстно, безъ всякой примѣси какихъ-нибудь честолюбивыхъ разсчетовъ и эгоистическихъ цѣлей; въ данное время онъ весь жилъ текущими своими занятіями, расширялъ и накапливалъ знанія, ни мало не загадывая о томъ, гдѣ и какъ она будетъ примѣнять ихъ, и никогда не рисуя себѣ своего будущаго. Я же оставался тѣмъ же безалабернымъ юношей, какъ и въ пору студенчества и, занимаясь старательно медициной, въ то же время отвлекался отъ нея въ сторону и литературой, и политическими и общественными вопросами; даже въ медицинскихъ занятіяхъ я разбрасывался по всѣмъ практическимъ спеціальностямъ, которыя богато развернулъ передо мной Берлинъ, такъ какъ строилъ всю свою будущую практическую дѣятельность въ родной Сибири, гдѣ, по свойству тогдашней провинціальной практики, непозволительно было отдавать себя какой-нибудь одной спеціальности, а надо было быть въ одномъ лицѣ и хирургомъ, и внутреннимъ врачемъ, и окулистомъ и т. д. Но и этимъ я не ограничивался и чуть открывалась возможность, я на всѣхъ рысяхъ бѣжалъ изъ больницы въ университетъ, чтобы прослушать лекцію какой-нибудь знаменитости въ совершенно чуждой мнѣ области знаній, наприм., тогда 80-ти-лѣтняго географа Риттера, метереолога Дове и имъ подобныхъ. Боткинъ журилъ меня за эту энциклопедичность и разбросанность въ занятіяхъ, а я въ свою очередь глумился надъ его приверженностью къ теоріямъ, хотя въ

глубинѣ души искренно уважалъ его за кропотливую и основательную провѣрку знаній, какъ за качества, отсутствіе которыхъ я чувствовалъ въ себѣ на каждомъ шагу. И не смотря на эту противоположность нашихъ характеровъ и склонностей мы жили душа въ душу, не имѣя другъ отъ друга ничего заповѣднаго; между прочимъ, въ это время Боткинъ задумалъ жениться, и, пославъ незадолго до выѣзда изъ Берлина предложеніе въ Москву, находился въ ожиданіи отвѣта въ сильномъ волненіи; въ такомъ невырѣшенномъ положеніи передъ самымъ Рождествомъ онъ уѣхалъ въ Вѣну.

Послѣ этой разлуки между нами поддерживалась постоянная переписка; письма Боткина, за весьма малыми исключеніями, сохранились у меня въ цѣлости, и, хотя они скорѣе интимнаго характера и лишены общаго выдающагося значенія, я позволю себѣ передать многія изъ нихъ, полагая, что личность Боткина въ собственномъ непосредственномъ разсказѣ о своей текущей жизни яснѣе обрисуется и больше выиграетъ въ глазахъ читателей.

Вскорѣ послѣ отъѣзда я получилъ отъ него слѣдующее письмо:

Вѣна, 2-го января, 1859 г.

Поздравляю тебя съ новымъ годомъ; все, что можетъ пожелать тебѣ хорошій другъ,—всего того желаю тебѣ: не хандрить по Сибири, привыкнуть поскорѣе къ одинокой жизни и помириться съ нею хоть на нѣкоторое время; да помогутъ тебѣ въ этихъ подвигахъ — целлюлярная патологія и открытія въ области химіи.

Благодарю тебя за пересылку моихъ писемъ; ты можешь себѣ представить, съ какимъ томительнымъ нетерпѣніемъ поджидалъ я извѣстій изъ Москвы, и только послѣдняя почта принесла мнѣ желанную вѣсточку, которую я получилъ наканунѣ новаго года, и весь вчерашній день ходилъ, какъ пьяный. Поздравить меня ты можешь, но до сихъ поръ я еще ничего не могу ска-

зать, когда и гдѣ будетъ свадьба? Надѣюсь съ слѣдующей почтой получить болѣе обстоятельныя извѣстія, которыя, конечно, сообщу тотчасъ же тебѣ какъ человѣку, принимающему живое участіе въ моихъ благихъ намѣреніяхъ. Всѣ праздники прошли для меня незамѣтно, потому что лекціи продолжались за исключеніемъ первыхъ двухъ дней. До сихъ поръ я вполнѣ удовлетворенъ только лекціями Лудвига[1]), превосходящими всякое ожиданіе ясностью и полнотою изложенія; лучшаго физіолога мнѣ еще не приходилось слышать; личность Людвига—самая милѣйшая, простота и любезность въ обращеніи поразительны. Оппольцеръ[2]) безъ сомнѣнія отличный практикъ, но такъ часто грѣшитъ противъ науки, что все-таки нельзя назвать его хорошимъ клиницистомъ въ полномъ смыслѣ этого слова. Соврать противъ химіи, противъ патологической анатоміи, даже противъ физіологіи ему случается нерѣдко, но при всемъ этомъ онъ прекрасный наблюдатель, смѣтливый діагностъ, — вообще типъ хорошаго практическаго врача. Впрочемъ посмотрю, что будетъ дальше. Гебра[3]) хорошъ страшнымъ количествомъ матеріала, какой онъ представляетъ слушателямъ, но лекціи Беренспрунча въ тысячу разъ научнѣе и дѣльнѣе,—и я радъ, что прослушалъ берлинскаго дерматолога, заклятаго врага вѣнскаго. Кромѣ этихъ лекцій много работалъ я дома съ кровяными шариками и, кажется, скоро окончу эту работу. До сихъ поръ изъ своего предмѣстья Alservorstadt я выходилъ не болѣе двухъ или трехъ разъ въ городъ, который, по моему, въ подметки не годится Берлину. Вѣна мнѣ положительно не нравится, а жители ея еще меньше; интеллектуальная физіономія сѣвернаго человѣка исчезаетъ здѣсь и замѣняется рабскою, вкрадчивою; люди здѣсь такіе рабы, что противно на нихъ глядѣть, лѣзутъ

---

1) Профессоръ физіологіи.

2) Клиницистъ.

3) Проф. накожной клиники.

цѣловать руки и едва не позволяютъ бить себя по щекамъ dem gnädigen Herrn. Квартира моя хоть и дорогонька, но отличная; не пишу тебѣ адреса, потому что забылъ названіе улицы; пиши пока къ Сѣченову. Поклонись Гоппе, Магавли,[1]) и всему Берлину, о которомъ я частенько вспоминаю.

Не забывай твоего пріятеля и въ свободную минутку черкни любящему тебя Сергѣю Боткину.

Изъ двухъ, имѣющихся у меня подъ руками послѣдующихъ писемъ Боткина изъ Вѣны, я ограничусь приведеніемъ отрывковъ: изъ нихъ—первый, отъ 2-го февраля, веселое и радостное, возбужденное по случаю скораго пріѣзда невѣсты; онъ пишетъ: „свадьба въ Вѣнѣ будетъ очень скоро, т.-е. до поста, слѣдовательно, въ 20-хъ числахъ здѣшняго февраля; невѣста выѣзжаетъ изъ Москвы 2-го февраля нов. ст.; кажется, пріѣдетъ кто нибудь изъ моихъ братьевъ. Можешь себѣ вообразить, въ какихъ счастливѣйшихъ мечтаніяхъ обрѣтается въ настоящія минуты твой пріятель. Все мечтаю и пріискиваю случай полежать на диванѣ съ сигаркой, да подумать о предстоящей блаженной перемѣнѣ. Впрочемъ не думай, душа моя, чтобы такъ проводилъ я до сихъ поръ все это время. На меня напалъ такой духъ дѣятельности, что я едва съ нимъ справлялся. Работалъ съ 8-ми ч. утра до 12-ти ч. постоянно, никуда не выходилъ, кромѣ какъ по медицинскимъ надобностямъ. Подъ нервнымъ возбужденіемъ ожиданія писемъ, работы мои шли какъ по маслу, и почти каждая недѣля давала мнѣ результаты, изъ которыхъ сообщаю тебѣ одинъ чрезвычайно важный; о немъ ты *по секрету* скажешь только Гоппе, прося его удержать при себѣ: мочевина растворяетъ человѣческіе и собачьи красные кровяные шарики, не производя, слѣдовательно, на нихъ того дѣйствія, какъ на лягушачьи. Фактъ чрезвычайно важенъ для физіоло-

---

[1]) Извѣстный петербургскій окулистъ, который тогда занимался въ Берлинѣ.

гіи и патологіи; я его буду изслѣдовать дальше, дѣлая опыты съ инъекціями мочевины въ вены. Лудвигъ приглашаетъ меня къ себѣ работать, чѣмъ, вѣроятно, я и воспользуюсь современемъ. Передай Гоппе, что лѣтомъ буду къ нимъ въ Берлинъ, чему отъ души радуюсь, потому что Вѣной *совершенно* недоволенъ, а остаюсь въ ней только для очищенія патологичной совѣсти. Здѣсь многому не выучишься. Порядочному человѣку въ Вѣнѣ больше 3-хъ мѣсяцевъ быть грѣхъ, что имѣй въ виду и пользуйся Берлиномъ. — Смѣю ли надѣяться, что ты будешь у меня на свадьбѣ или нѣтъ? Подумай и напиши скорѣе, тогда я тебя увѣдомлю о днѣ. Если пріѣдешь, то поцѣлую тебѣ обѣ ручки, если же нѣтъ, то поплюю на нихъ“.

Пріѣздъ невѣсты почему-то отсрочился, о чемъ онъ извѣстилъ меня въ письмѣ отъ 5-го марта, написанномъ далеко не въ прежнемъ радостномъ тонѣ. „Свадьба моя отложилась до послѣдняго числа апрѣля,—писалъ онъ,— невѣста выѣзжаетъ только въ половинѣ марта изъ Россіи. Это извѣстіе получилъ по телеграфу тогда, когда уже начиналъ считать оставшіеся часы до счастливѣйшаго дня моей жизни. Оно меня такъ озадачило, что я почти до сихъ поръ не приду въ себя. Вскорѣ послѣ телеграфа я захворалъ снова своими болями въ сторонѣ печени и цѣлую недѣлю не могъ выходить изъ комнаты и до сихъ поръ нахожусь въ самомъ отвратительномъ состояніи духа. Одна бѣда никогда не приходитъ; телеграфъ, болѣзнь, а тутъ еще письмо, посланное мною къ невѣстѣ, пропало на почтѣ. Что прикажешь послѣ этого дѣлать, какъ не ходить, повѣся голову; не работается, не пишется,—чортъ знаетъ, что такое. Получилъ письмо отъ Гоппе, на которое буду ему отвѣчать, когда пройдетъ скверное настроеніе, теперь только поклонись ему и скажи, что мочевина была *химически чиста*, а почему они не замѣчали этого прежде, объясню послѣ, когда буду человѣкомъ“...

И точно, свадебная исторія замедлилась. Я, по окончаніи берлинскихъ лекцій, тотчасъ же около 20-го марта, перебрался въ Прагу, 6 недѣль занимался тамъ на приватныхъ курсахъ и пригналъ такъ, что 1-го мая утромъ выѣхалъ въ Вѣну къ началу лѣтняго семестра. Первымъ моимъ дѣломъ было разыскать Боткина, что было не трудно; но, вступивши въ его квартиру, я сразу попалъ въ такое царство хаоса и суеты, что первыя мгновенія не могъ понять, что такое происходитъ тутъ, пока не объяснилось, что я угодилъ въ самый день свадьбы, которая назначена черезъ нѣсколько часовъ. Въ небольшомъ боткинскомъ салонѣ собрались всѣ пріѣхавшіе съ разныхъ сторонъ для участія въ торжествѣ; тутъ была и мать невѣсты изъ Москвы, и сестра ея съ мужемъ изъ Гамбурга, и братъ жениха — художникъ, и его кузенъ, и еще не помню кто; всѣ эти гости съ трудомъ размѣстились въ комнатѣ, потому что большая часть мебели была завалена дамскими нарядами, картонками изъ магазиновъ и пр.; на диванѣ бережно раскинулось эфирное подвѣнечное платье; медицинскія книги и другіе аттрибуты ученой профессіи отодвинуты были въ задній уголъ, откуда они, и особенно среди нихъ микроскопъ, поднявъ свою металлическую блестящую голову, словно удивленно посматривали на вторженіе въ ихъ предѣлы такихъ легкомысленныхъ предметовъ.

Послѣ перваго взрыва радостной встрѣчи и объясненій, Боткинъ тотчасъ же вывелъ изъ другой комнаты свою невѣсту, познакомилъ меня съ ней, и нѣсколькихъ короткихъ минутъ разговора съ этой прелестной дѣвушкой достаточно было, чтобы она меня совсѣмъ обворожила своимъ дружескимъ и естественнымъ обращеніемъ,—и въ память того, что она въ теченіе многихъ лѣтъ была достойной подругой и идеальной женой Боткина, было бы непростительно съ моей стороны не отвести ей нѣсколько строкъ.

Отецъ Настасьи Александровны Боткиной былъ скромный, небогатый московскій чиновникъ А. И. Крыловъ, мать же—нѣмка. Сама же она, имѣя въ годъ замужества 25 лѣтъ, представлялась высокой, красивой дѣвушкой съ прекрасными черными глазами, но что ее дѣлало еще далеко лучше всякой красавицы — это тонкое изящество и удивительная тактичность, разлитыя во всемъ ея существѣ и бывшія слѣдствіемъ той солидной школы благовоспитанности, черезъ которую она прошла. А воспитана она была замѣчательно многосторонне и основательно: она была отличная музыкантша и тонко понимала музыку, имѣла выработанный вкусъ и къ произведеніямъ живописи и къ произведеніямъ русской, французской и нѣмецкой литературъ и всѣми этими языками владѣла въ совершенствѣ. Въ довершеніе всего, она была очень умна, остроумна, жива и чутка ко всему хорошему и доброму; поэтому внесла въ существованіе Боткина тотъ мягкій, женственный элементъ, который при трудовой жизни дѣлаетъ семейный очагъ особенно привлекательнымъ; недаромъ всѣ друзья мужа высоко цѣнили ее и въ своей привязанности мало раздѣляли эту рѣдкую пару. И матерью она была самою образцовою въ томъ отношеніи, что, страстно любя своихъ дѣтей, умѣла сохранить необходимое педагогическое самообладаніе, внимательно и умно слѣдила за ихъ воспитаніемъ, во-время искореняла зарождавшіеся въ нихъ недостатки. Къ сожалѣнію и, вѣроятно, отъ частыхъ родовъ, здоровье ея стало слабѣть послѣдніе годы, и медленный и прогрессивный недугъ продолжалъ замѣтно на глазахъ мужа и близкихъ точить ея силы, омрачать ея духъ тяжелыми предчувствіями близкой смерти, пока не свелъ эту богато-одаренную женщину преждевременно въ могилу.

Но я сдѣлалъ слишкомъ далекій и притомъ слишкомъ грустный забѣгъ впередъ, тогда какъ въ описываемый мною день въ Вѣнѣ все кругомъ находилось въ самомъ

счастливомъ жизнерадостномъ настроенiи и никакое облако не смущало общаго веселья. Боткинъ успѣлъ оцѣнить рѣдкiя качества своей будущей жены, былъ влюбленъ въ нее безъ памяти и зная, что всѣ препятствiя теперь устранены и черезъ нѣсколько часовъ онъ будетъ съ ней соединенъ на вѣки, бѣсновался и шалилъ какъ школьникъ. Меня засыпали похвалами за то, что я поспѣлъ во-время, хотя это вышло какъ то случайно, и вскорѣ прогнали, чтобы дать время вычиститься и вырядиться къ вѣнчанью.

После вѣнчанья, совершеннаго льговскимъ протоiереемъ Раевскимъ, всѣ мы изъ церкви отправились на обѣдъ въ гостиницу Erzherzog Carl, гдѣ насъ набралось около 15 человѣкъ.

Всѣ послѣдующiе дни послѣ свадьбы прошли весело и шумно, назначались разные пикники по окрестностямъ, ходили гурьбой въ оперу, потомъ начались проводы прiѣзжавшихъ гостей, и наконецъ черезъ $2^1/_2$ недѣли и новобрачные покинули Вѣну, гдѣ я остался для занятiй. Поѣхали Боткины на пароходѣ черезъ Линцъ, Регенсбургъ во Франкфуртъ, откуда свернули въ Эмсъ, Швальбахъ, Висбаденъ, Баденъ-Баденъ, гдѣ мужъ хотѣлъ познакомиться на мѣстѣ съ устройствомъ минеральныхъ водъ. Вначалѣ они мнѣ писали часто, но когда въ концѣ iюля, по окончанiи лѣтняго семестра я покинулъ Вѣну и тоже отправился странствовать, притомъ большею частью пѣшкомъ, по Тиролю, Швейцарiи и верхней Италiи, переписка стала невозможной, потому что и они и я часто мѣняли мѣста своего пребыванiя, и я совсѣмъ потерялъ молодую чету изъ виду. Съ начала сентября я попалъ въ Парижъ и началъ обзоръ тамошнихъ больницъ, положивъ остаться въ этомъ городѣ до 1-го ноября, и уѣхать на зиму снова въ Берлинъ на зимнiй семестръ. Срокъ мой уже приходилъ къ концу, когда, а именно въ самыхъ послѣднихъ числахъ октября, пришло письмо отъ Боткина изъ Лондона, въ

которомъ, коротко сообщая о томъ, что свое путешествіе они закончили островомъ Вайтомъ ради морскихъ купаній, писали что на-дняхъ они собираются въ Парижъ на зиму, а нѣсколько дней спустя я получилъ записку, увѣдомлявшую, что они прибыли въ Парижъ и помѣстились въ rue Fleurus противъ Люксемб. сада.

Можно было бы сказать, что я нашелъ ихъ въ совершенно томъ же періодѣ медоваго счастья, если бы не то обстоятельство, что жена Боткина была уже въ интересномъ положеніи и переносила его не особенно легко, а ея частыя прихварыванія порой нарушали и безоблачное счастье Боткина. Ради ожидаемыхъ къ 1-му февраля родовъ, они рѣшили зимовать и провести весну въ Парижѣ, слушать знаменитаго физіолога Клода Бернара и ходить въ больницы [1]).

До сихъ поръ Боткинъ занимался безъ всякихъ помысловъ о будущемъ и, увлекаемый самой безкорыстной любовью къ наукѣ, расширялъ свои знанія, ни мало не заботясь о томъ, гдѣ и какъ онъ будетъ примѣнять ихъ; но теперь съ одной стороны онъ самъ начиналъ сознавать, что учился довольно и что пора приниматься за практическое приложеніе этихъ знаній, а съ другой стороны женитьба и вскорѣ рожденіе ребенка вынуждали подумывать о будущемъ, тѣмъ болѣе, что небольшой капиталъ, завѣщанный ему отцомъ, начиналъ истощаться. Но тутъ весьма кстати подоспѣло приглашеніе на профессуру изъ Петербурга. Съ вошествіемъ на престолъ императора Александра II обновленіе русской жизни, коснувшееся всѣхъ сторонъ ея, коснулось и высшихъ школъ, а въ томъ числѣ и петербургской медико-хирургической академіи. Въ 1857 г. президентомъ ея на мѣсто Пеликана назначенъ былъ проф. П. А. Дубовицкій; онъ горячо принялся за внутреннія преобразованія, пригласивъ къ

[1]) Здѣсь кончается рукопись Бѣлоголоваго и дальнѣйшее изложеніе идетъ, съ небольшимъ добавленіемъ по печатному тексту „Біографической библіотеки“ Павленкова. *Г. Д.*

себѣ въ помощники въ званіи вице-президента московскаго физіолога Глѣбова, о которомъ говорилось выше, и сообща съ нимъ рѣшилъ для подъема преподаванія подсвѣжить составъ профессоровъ молодыми силами, представившими доказательства своей научной подготовленности и талантливости. Такимъ образомъ въ исходѣ 1859 г. было послано приглашеніе занять кафедры въ академіи находившимся заграницей Якубовичу, Боткину, Сѣченову, Беккерсу и Юнге, имена которыхъ сдѣлались извѣстными, благодаря ихъ трудамъ, помѣщеннымъ въ иностранныхъ медицинскихъ изданіяхъ. Изъ нихъ тогда Якубовичу было подъ 50 лѣтъ, и онъ былъ воспитанникъ харьковскаго университета, тогда какъ остальные четверо только 3—4 года какъ кончили курсъ въ московскомъ университетѣ и они тѣмъ охотнѣе приняли это приглашеніе, что, будучи связаны близкой дружбой, видѣли возможность при одновременномъ вступленіи ихъ въ академію бороться съ обветшалой рутиной и старыми порядками совокупными, а не единоличными силами. Боткинъ, принявъ приглашеніе, выговорилъ для себя условіе пріѣхать въ Петербургъ не ранѣе осени 1860 г., чтобы имѣть время познакомиться съ парижскою школою и клиниками и привести къ концу начатыя работы. Всю эту зиму и часть лѣта онъ провелъ весьма дѣятельно въ Парижѣ, посѣщая лекціи Клода Бернара, клиники Бартеза, Труссо, Бушю и др.; тамъ же онъ написалъ свою докторскую диссертацію о всасываніи жира въ кишкахъ и отправилъ ее на разсмотрѣніе въ академію, окончилъ свою большую работу о крови и помѣстилъ ее въ Вирговскомъ Архивѣ, вмѣстѣ съ другой работой объ эндосмозѣ бѣлка, — наблюденіе, которое онъ производилъ надъ куриными бѣлками, лишенными скорлупы при помощи соляной кислоты; кромѣ того онъ работалъ надъ другими вопросами.

Къ сентябрю 1860 г. Боткинъ прибылъ въ Петербургъ и послѣ защиты диссертаціи немедленно былъ назначенъ

исправляющимъ должность адъюнкта при академической клиникѣ 4-го курса, которой завѣдывалъ проф. Шипулинскій, человѣкъ не безъ дарованій и не безъ познаній, но больной и уже настолько отсталый въ своемъ дѣлѣ, что ему трудно было вести клинику въ уровень съ современными требованіями науки и бороться съ своимъ свѣжимъ и высокоталантливымъ помощникомъ. Студенты вскорѣ оцѣнили достоинства и преимущества Боткина и стали охотнѣе ходить къ нему на лекціи, чѣмъ къ Шипулинскому; не прошло и мѣсяца послѣ выступленія Боткина въ клиникѣ, какъ отношенія между нимъ и его патрономъ испортились до невозможности, такъ что послѣ нѣсколькихъ діагностическихъ турнировъ надъ постелью больныхъ, въ которыхъ побѣда осталась за молодымъ ученымъ, Шипулинскій менѣе чѣмъ черезъ годъ подалъ въ отставку.

Среди профессоровъ тогдашней академіи существовало двѣ враждебныя одна другой партіи: нѣмецкая и русская, находившаяся пока въ зародышѣ. Первая предложила въ конференціи передать клинику Шипулинскаго кому-нибудь изъ старшихъ наличныхъ профессоровъ, Экку, или Бессеру, оставивъ Боткина въ званіи адъюнкта; но тогда Боткинъ, которому Дубовицкій при поступленіи въ академію обѣщалъ, что онъ тотчасъ же получитъ мѣсто ординарнаго профессора, какъ только откроется вакантная клиника, заявилъ рѣшительно, что выйдетъ тотчасъ же въ отставку, если не будетъ сдѣланъ самостоятельнымъ хозяиномъ въ освободившейся клиникѣ. Неизвѣстно, чѣмъ кончились бы эти препирательства,—весьма возможно, что академія лишилась бы Боткина, если бы не явилась въ конференцію депутація отъ студентовъ съ просьбой отдать ему предпочтеніе передъ другими конкурентами и не склонила бы тѣмъ чашку вѣсовъ въ его сторону: онъ былъ выбранъ ординарнымъ профессоромъ.

...ьная библиотека имени А. И. Герцена въ Ниццѣ

ГЛАВА V.

Дѣятельность Боткина какъ клинициста. — Устройство лабораторіи и пріема для приходящихъ больныхъ въ клиникѣ.—Отношеніе къ слушателямъ. — Лекціи. — Лѣтнія занятія. — Эпизодъ въ Трувилѣ.

Съ этого времени плодотворная дѣятельность Боткина могла развиваться безъ всякихъ помѣхъ. Она была слишкомъ сложна, чтобы очертить ее краткими штрихами, и слишкомъ спеціальна, чтобы сдѣлать ее вполнѣ удобопонятной для не врачей,—и если мы пытаемся теперь этого достигнуть, то чувствуемъ при этомъ сами, на сколько такая попытка превосходитъ наши слабыя силы.

Сдѣлавшись полновластнымъ хозяиномъ клиники, Боткинъ посвятилъ ей свои лучшія силы съ такимъ рвеніемъ и съ такою безкорыстною любовью, какія весьма рѣдки въ современныхъ клиницистахъ, всегда отвлекаемыхъ отъ преподавательскаго дѣла частною практикою, и какіе (что особенно безпримѣрно) сохранялись въ немъ на одинаковой высотѣ, нисколько не ослабѣвая съ годами, до самой смерти. Эта любовь къ клиникѣ составляла въ его жизни самое главное, господствующее чувство,—и всѣ другіе житейскіе интересы, не только общественные, не только частной практики, но даже я рѣшаюсь сказать, какъ это ни покажется невѣроятнымъ, а многимъ даже чудовищнымъ, интересы личнаго здоровья и благополучія, матеріальной будущности нѣжно любимой имъ семьи—все это уходило у него на второй планъ, лишь только случайно затрогивался вопросъ о возможности прекращенія для него клинической дѣятельности. Между прочимъ вспоминается мнѣ, какъ въ концѣ 1887 г., за два года до его смерти, я, изслѣдовавъ его впервые въ Парижѣ, посовѣтовалъ оставить на годъ

занятія и провести зиму въ Ниццѣ; онъ даже поблѣднѣлъ, замахалъ рѣшительно руками и, задыхаясь отъ волненія, вскричалъ: ну, какъ ты можешь подать мнѣ такой совѣтъ? да развѣ ты не понимаешь, что клиника все для меня и что безъ нея я жить не могу? я тогда совсѣмъ пропащій человѣкъ и т. д.,—и въ его горячихъ, взволнованныхъ словахъ слышалась такая искренность и непоколебимая убѣжденность фанатика, что оспаривать его не было никакой возможности.

Въ клиникѣ сосредоточилась вся его страсть къ наукѣ и именно самая благородная сторона знаній — примѣненіе ихъ къ жизни; отъ клиники онъ получалъ двойное удовлетвореніе. Во 1-хъ въ ней онъ продолжалъ учиться самъ, провѣряя все, что ему давали, какъ книгу, такъ и тѣ соображенія и задачи, которыя зарождались, вырабатывались и въ несмѣтномъ количествѣ накоплялись въ его постоянно работавшемъ мозгу; въ свою очередь и клиника, какъ непосредственное наблюденіе больныхъ, безпрестанно наталкивала его на новые вопросы и выводы, служившіе цѣлямъ его самообразованія. Во 2-хъ, въ клиникѣ онъ любилъ и чуть ли не больше всего свое преподавательское дѣло; въ чтеніи лекцій онъ видѣлъ не простое исполненіе своего долга,—для него онѣ составляли живую, неодолимую потребность его натуры дѣлиться собственными обширными знаніями и прививать къ молодымъ формирующимся умамъ ту же вѣру въ медицину какъ точную науку, какая одушевляла его самого.

При такой то безграничной любви къ дѣлу, при необыкновенныхъ способностяхъ, трудолюбіи и громадныхъ познаніяхъ, Боткинъ, овладѣвъ клиникой, постарался поставить ее на такую высоту, на какой до него не стояла ни одна клиника у насъ, да едва ли и въ Западной Европѣ. Раньше, говоря о его берлинскихъ занятіяхъ, мы приравнивали его къ знаменитому клиницисту Траубе и находили между ними много сходнаго; и точно, среди

европейскихъ клиницистовъ, только Траубе одинъ могъ соперничать своими клиническими дарованіями съ Боткинымъ, хотя и онъ во многихъ отношеніяхъ уступалъ по нашему мнѣнію русскому ученому. Траубе былъ сравнительно большій эклектикъ и сосредоточивался на нѣсколькихъ излюбленныхъ имъ вопросахъ, глубокой разработкѣ которыхъ онъ посвятилъ свои замѣчательныя способности и наблюдательность, тогда какъ Боткинъ охватывалъ своею любознательностью все, входящее въ рамки клинической медицины, и почти нѣтъ ни одного отдѣла болѣзней, въ изученіе котораго онъ не внесъ бы собственныхъ, самостоятельныхъ наблюденій. Особенно же, какъ преподаватель, Боткинъ былъ гораздо цѣльнѣе и симпатичнѣе, чѣмъ Траубе; въ то время, какъ послѣдній изъ простого денежнаго разсчета старался какъ можно болѣе ограничить доступъ слушателей въ свою клинику и держалъ у входа въ нее сторожа, на обязанности котораго лежало не пропускать никого безъ билета, купленнаго оплатою гонорара, Боткинъ наоборотъ былъ самый доступный преподаватель; онъ какъ трибунъ любилъ говорить передъ набитой слушателями аудиторіей и какъ сѣятель истины радовался, что чѣмъ больше окружающая его толпа, тѣмъ и жатва для цѣлей преподаванія будетъ обильнѣе. Наконецъ, въ Траубе было много сухости и черствости, непріятно поражавшихъ въ его отношеніяхъ къ клиническимъ больнымъ; онъ смотрѣлъ на нихъ какъ на объектъ изслѣдованія, какъ на неодушевленныя куклы, предназначенныя служить задачамъ преподаванія, а потому въ обращеніи его къ нимъ съ вопросами и при изслѣдованіи ихъ всегда были замѣтны грубость и всякое отсутствіе сочувствія къ положенію больного,—и эта рѣзкая манера учителя невольно усвоивалась его учениками. Въ противоположность этому Боткинъ былъ воплощенная человѣчность и доброта: онъ такъ мягко и участливо обходился съ больными, съ такой искренней сострадательностью прони-

кался страданіями ихъ, что однѣми этими врожденными своими качествами пріобрѣталъ неограниченное довѣріе больныхъ, причемъ такая естественная гуманность, чуждая всякой сантиментальности, оказывала прекрасное воспитательное дѣйствіе на слушателей, неизбѣжно привыкавшихъ даже во внѣшнихъ пріемахъ подражать обаятельной личности учителя, и дѣлала его клинику, при всѣхъ прочихъ ея медицинскихъ достоинствахъ, самой образцовой школой для будущихъ врачей.

Что же касается собственно до лекцій, то большею частью къ каждой изъ нихъ онъ готовился весьма старательно, перечитывалъ для нея массу сырого матеріала и зрѣло обдумывалъ ея планъ. Такая добросовѣстная подготовка дѣлала то, что его лекціи, не блистая особеннымъ краснорѣчіемъ и бьющими на впечатлительность молодежи фразами, являлись дѣловитой, умной импровизаціей, въ которой все было разсчитано на то, чтобы слушатели какъ нельзя яснѣе и отчетливѣе поняли и основательнѣе усвоили излагаемую профессоромъ тему. Если же мы прибавимъ, что чтенія эти всегда сопровождались демонстраціями на больныхъ, производимыми съ самою совершенною техникою и съ безукоризненною тщательностью, то станетъ понятнымъ, какъ лекціи Боткина сильно дѣйствовали на слушателей, при отсутствіи всякихъ внѣшнихъ эффектовъ, именно своею сущностью, убѣдительной ясностью и обстоятельностью. Многіе изъ массы его учениковъ могли бы передать, какъ эта трезвость мысли профессора вмѣстѣ съ его искреннимъ воодушевленіемъ своимъ дѣломъ впервые заронили въ нихъ сѣмя безкорыстной любви къ наукѣ, скрасившей впослѣдствіи всю ихъ жизнь, но наша родная инерція дѣлаетъ то, что мы покуда мало встрѣчаемъ въ печати такихъ разсказовъ, между тѣмъ они лучше всего помогли бы уяснить всю силу живого слова Боткина, его вліянія на молодежь и показать значеніе его какъ преподавателя. А что ученики достойно цѣнили высокія

качества учителя, наглядно доказывается тѣмъ взрывомъ глубокаго горя, какое вызвало извѣстіе о его смерти въ самыхъ глухихъ и отдаленныхъ углахъ Россіи, выразившимся въ цѣломъ рядѣ печальныхъ манифестацій; по нимъ хотя отчасти можно судить, какими рѣдкими феноменами являются въ нашей жизни такіе идеальные наставники, и какъ чувствуютъ это тѣ, кому судьба доставитъ счастливую возможность въ пору своего развитія находиться подъ ихъ руководствомъ и заимствовать хоть часть того свѣта, который они внесли съ собою въ жизнь человѣчества.

Нельзя не пожалѣть также, что и въ медицинской литературѣ сохранилось относительно весьма немного его лекцій, взявъ въ соображеніе почти 30-лѣтнюю преподавательскую дѣятельность Боткина.

„Только въ 1881 году Боткинъ началъ издавать *Еженедѣльную Клиническую газету*, гдѣ помѣщались преимущественно сообщенія изъ многочисленныхъ работъ, производившихся съ этого года въ клиникѣ его слушателями; но главное украшеніе изданія составляли нѣкоторыя изъ собственныхъ лекцій Боткина, которыя записывались въ клиникѣ ассистентами и впослѣдствіи были изданы отдѣльными выпусками. Такихъ выпусковъ было три, причемъ послѣдній явился уже послѣ его смерти, подъ редакціей д-ровъ Бородулина, Сиротинина и Янковскаго“.

Эти лекціи наглядными образомъ свидѣтельствуютъ, что онъ до конца своей жизни оставался самымъ свѣжимъ и талантливымъ клиницистомъ своего времени, и что та же ясность аналитическаго ума, то же мастерство наблюденія и группировки явленій и чрезвычайно добросовѣстное знакомство съ самыми животрепещущими научными вопросами, какія отличали его вначалѣ его клинической дѣятельности, не только сохранились въ немъ до конца, а скорѣе еще много выиграли въ тѣхъ свойствахъ, которыя пріобрѣтаются въ зрѣломъ возрастѣ

жизненнымъ опытомъ въ видѣ массы пережитыхъ фактовъ и большимъ отрезвленіемъ мысли. Перечитывая эти лекціи, попавшія въ печать, еще болѣе убѣждаешься, какъ ясно и широко велось имъ образованіе молодежи, и въ то же время какъ много содержалось въ нихъ по учительнаго и для зрѣлыхъ врачей, и для другихъ клиницистовъ, и для самой науки, — и нельзя не пожалѣть, что мысль записывать и печатать эти лекціи родилась только въ послѣдніе годы Боткинской жизни, тогда какъ всѣ его прежнія лекціи за предыдущее 20-лѣтіе профессорства такъ и погибли для медицинскаго міра; правда, онѣ служили службу своего прямого назначенія, т.-е. образовали и просвѣтили множество молодыхъ врачей, но не попали въ тотъ складъ человѣческихъ знаній, какимъ служитъ печать, которая одна способна сохранять для науки и потомства результатъ мозговой работы выдающихся мыслителей и ученыхъ. О такомъ сохраненіи лекцій Боткина должны были бы озаботиться окружавшія его лица, потому что самъ Боткинъ былъ необычайно скроменъ и, всю жизнь всецѣло занятый своими ближайшими обязанностями, вовсе не думалъ о томъ, чтобы знакомить внѣ-академическій медицинскій міръ съ своими самостоятельно выработанными взглядами, вполнѣ удовлетворяясь тѣмъ, что дѣлился ими съ своей аудиторіей. Точно также ему совсѣмъ чуждо было то славолюбіе, какимъ страдаютъ современные ученые и которое ихъ такъ нерѣдко доводитъ до мелочныхъ препирательствъ изъ-за права на первенство по поводу какого-нибудь новаго открытія или наблюденія: множество фактовъ, впервые подмѣченныхъ Боткинымъ, вошло въ европейскую науку впослѣдствіи или отъ имени какого-нибудь заграничнаго ученаго, или какъ выводъ изъ позднѣйшихъ наблюденій многихъ только потому, что все свое самостоятельное и новое, мысли или наблюденія, Боткинъ не спѣшилъ отдавать въ печать, а несъ въ свою клинику и передавалъ слушателямъ, хотя послѣдніе по не-

достаточности своего медицинскаго развитія, сплошь и рядомъ не могли и не умѣли еще достаточно оцѣнить важность и значеніе сообщаемаго имъ. Къ счастью, въ его аудиторіи всегда было не мало подготовленныхъ цѣнителей въ лицѣ ассистентовъ и въ толпѣ молодыхъ врачей, продолжавшихъ и по окончаніи курса ревностно посѣщать лекціи Боткина; эту-то послѣднюю категорію слушателей сказанная сторона лекцій его, т.-е. изложеніе самостоятельныхъ продуктовъ его мысли, тѣмъ болѣе интересовала и привлекала, что она еще не стала достояніемъ ученой печати.

Спеціально входить въ подробности того богатаго вклада, какой внесла наблюдательность и устная ученая дѣятельность Боткина въ область клинической медицины, мы здѣсь не можемъ, такъ какъ для этого пришлось бы вдаться въ частности, неумѣстныя въ біографіи, предназначенной преимущественно для публики; это задача другого, болѣе спеціальнаго труда. Скажемъ только что въ этомъ будущемъ трудѣ придется перечислить чуть не всю номенклатуру внутреннихъ болѣзней, потому что при разборѣ каждаго больного онъ давалъ много такого, что не было заимствовано изъ постороннихъ источниковъ, а принадлежало его собственному мышленію и неутомимой вдумчивости во всякое болѣзненное явленіе; такъ, особенно много расширилъ онъ и освѣтилъ патологію желчной колики, болѣзней сердца, подвижной почки, селезенки, тифа, хроническихъ страданій мозгового вещества, желудочно-кишечнаго катарра и т. д. Благодаря той же тщательности наблюденія и изслѣдованія больныхъ, Боткину удалось возстановить въ ряду болѣзней возвратную горячку, которая нѣсколько десятилѣтій прежде являлась въ Европѣ и была описана, а затѣмъ считалась въ числѣ исчезнувшихъ и упоминаемыхъ лишь въ исторіи медицины эпидемій, хотя едва ли мы ошибемся, утверждая, что она изрѣдка продолжала появляться, но по сходству смѣшивалась съ тифомъ.

Кромѣ этихъ выдающихся преимуществъ лекцій Боткина, обязанныхъ его личной талантливости, въ его клиникѣ, вслѣдствіе всесторонняго изслѣдованія, всякая болѣзнь наглядно для студентовъ утрачивала свое шаблонно-книжное опредѣленіе и индивидуализировалась, т.-е. въ ней подмѣчались всѣ уклоненія, какими видоизмѣнялась она въ каждомъ конкретномъ случаѣ по причинѣ особенностей пораженнаго ею организма; вмѣстѣ съ тѣмъ само собою получалось широкое примѣненіе правила, что надо лѣчить больного, а не болѣзнь. Такимъ образомъ рамки науки раздвигались до безконечности, и всякій вдумчивый студентъ по переходѣ черезъ клинику пріобрѣталъ убѣжденіе, если онъ не пріобрѣлъ его раньше, что въ служеніи наукѣ вообще и медицинѣ въ частности даже среднему, но трудолюбивому уму открыто обширное поле для послѣдующихъ изслѣдованій, для той плодотворной работы, которая медленно, но неуклонно ведетъ къ познанію истины, т.-е. къ осуществленію самыхъ благородныхъ и безкорыстныхъ идеаловъ человѣчества. Пусть читатель вспомнитъ ту мертвую законченность катехизисныхъ, по выраженію Боткина, истинъ, какую студентъ Боткинъ вынесъ при своемъ образованіи изъ русской медицинской школы, тогда онъ лучше всего пойметъ и колоссальный переворотъ, совершившійся въ медицинѣ съ введеніемъ въ нее экспериментальнаго метода наблюденія, и заслуги Боткина для Россіи, какъ главнаго, наиболѣе талантливаго и ревностнаго распорядителя этого метода въ нашемъ отечествѣ.

Взявъ клинику на свои руки и, желая поставить ее такъ, чтобы она могла совершенно отвѣчать современнымъ требованіямъ изученія клинической медицины, Боткинъ немедленно устроилъ при ней лабораторію для того, чтобы дать самое широкое примѣненіе клиническому опыту, какъ въ видахъ болѣе совершеннаго образованія молодежи, такъ и для разработки множе-

ства еще не изслѣдованныхъ наукою вопросовъ, безпрестанно возникавшихъ въ немъ самомъ при преподаваніи. Это было нововведеніе, какое до Боткина, помнится, не имѣла ни одна европейская клиника. Въ этой лабораторіи вначалѣ ему все приходилось дѣлать самому, покуда не удалось выработать дѣльныхъ помощниковъ и передать имъ подготовительную часть, такъ сказать, черную работу; первое время онъ не только всякому желавшему заниматься выбиралъ тему, подробно знакомилъ съ нею, указывая и на печатные источники, съ которыми необходимо предварительно познакомиться; не только постоянно слѣдилъ и руководилъ, но долженъ былъ знакомить съ техникой изслѣдованія, съ элементарными пріемами обращенія съ реактивами, животными и т. п. Вторымъ его дѣломъ было учрежденіе при клиникѣ амбулаторіи, — пріема приходящихъ больныхъ два раза въ недѣлю, достигшаго вскорѣ огромныхъ размѣровъ и послужившаго новой, дополнительной школой для практическаго образованія будущихъ врачей, а для Боткина источникомъ новыхъ наблюденій. Только что покончивъ съ лекціей и съ обходомъ палатныхъ больныхъ, онъ переходилъ въ амбулаторію, гдѣ его ассистенты и желающіе изъ студентовъ изслѣдовали больныхъ и въ сомнительныхъ случаяхъ обращались къ нему за разъясненіемъ или провѣркой, причемъ онъ часто долженъ былъ прочитывать чуть не цѣлыя лекціи по поводу этихъ случайныхъ, но поучительныхъ въ какомъ-нибудь отношеніи, больныхъ.

Понятно, что, при такой неутомимой дѣятельности, профессора, наступила для клиники новая жизнь; молодые, способные ученики сгрупировались около него и, увлекаемые его личнымъ примѣромъ, отдавались горячо работѣ. Въ первыя же 10 лѣтъ изъ его клиники вышла цѣлая фаланга молодыхъ профессоровъ, занявшая мѣста клиницистовъ въ провинціальныхъ университетахъ, такъ: Виноградовъ—въ Казани, Покровскій—въ Кіевѣ, Лаш-

кевичъ—въ Харьковѣ, Поповъ—въ Варшавѣ, не говоря уже о томъ, что въ самой академіи большая часть клиникъ перешла въ руки его бывшихъ ассистентовъ; таковыми были Манассеинъ, Чудновскій, Полотебновъ, Прусакъ, Успенскій, Кошлаковъ и др. Всѣ они составили такъ называемую Боткинскую школу и, усвоивъ методъ Боткинскаго тщательнаго, разносторонняго изслѣдованія больныхъ, а также пріучившись къ лабораторнымъ изслѣдованіямъ, съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ самостоятельно развивали выводы экспериментальной медицины дальше и продолжали начатое Боткинымъ дѣло—поддерживать медицинское образованіе въ Россіи въ уровень съ положеніемъ европейской науки,—и нельзя не согласиться, что въ этомъ отношеніи были достигнуты русскими врачами въ короткое время громадные успѣхи.

Здѣсь умѣстно будетъ вспомнить еще одну почетную заслугу Боткина въ исторіи русской медицины. Раньше, въ первой главѣ мы упомянули вскользь о печальномъ антагонизмѣ между врачами русской національности и нѣмецкой, вслѣдствіе большей и меньшей доступности докторскихъ дипломовъ,—антагонизмѣ, постепенно обострявшемся и приведшемъ, наконецъ, къ горячей и продолжительной борьбѣ, въ которой Боткинъ принималъ дѣятельное и, по своему видному положенію, первенствующее участіе; за это онъ нажилъ себѣ не мало враговъ въ противномъ лагерѣ, причемъ не мало вынесъ упрековъ въ узкой партійности и фаворитизмѣ. По нашему мнѣнію, тутъ слѣдуетъ винить не Боткина, а то привиллегированное положеніе, которое было создано для нѣмцевъ предшествовавшими порядками и которыми они воспользовались черезъ чуръ въ ущербъ своихъ русскихъ собратій. Если же онъ всецѣло преданный служенію наукѣ, а потому лучше всякаго другого понимавшій вредъ для ея интересовъ отъ существующей розни между врачами разныхъ приходовъ, не могъ оградить ни этой науки отъ вторженія человѣческихъ страстей, ни себя

отъ боевой роли, то это лучше всего доказываетъ, что несправедливость была слишкомъ вопіюща и вынудила его на вмѣшательство. Заслуга Боткина въ томъ и заключается, что онъ положилъ конецъ забитому положенію врача русскаго происхожденія; поднявъ его образованіе до возможной степени совершенства, онъ въ то же время заботился открыть ему соотвѣтствующее его знаніямъ поле дѣятельности и могъ утѣшиться еще при жизни, что успѣлъ достичь этого. Вотъ почему, встрѣчая въ числѣ его учениковъ исключительно русскія имена, мы видимъ при этомъ, что ученики эти не были затерты, какъ то было съ ихъ предшественниками, а пользуются теперь независимымъ положеніемъ, — и всѣ единогласно признаютъ, что какъ матеріальнымъ улучшеніемъ судьбы, такъ и нравственнымъ подъемомъ своего самосознанія, они обязаны въ значительной мѣрѣ Боткину, и какъ преподавателю и какъ энергическому защитнику ихъ интересовъ.

Если студенты считали за особенное счастье быть слушателями Боткина и гордились своимъ учителемъ, то еще болѣе нихъ былъ счастливъ онъ самъ, когда ему удавалось подмѣтить среди нихъ способнаго юношу, въ котораго онъ стремился полнѣе перелить свои научные завѣты и въ которомъ надѣялся оставить себѣ достойнаго, любящаго свое дѣло преемника. Такихъ молодыхъ людей онъ немедленно приближалъ къ себѣ, помогалъ имъ словомъ и дѣломъ и возбуждалъ къ дѣятельности, увлекая собственнымъ примѣромъ. Несмотря на неизбѣжныя и нерѣдкія разочарованія, онъ не измѣнилъ этой живой потребности близкаго общенія съ наиболѣе талантливыми и трудолюбивыми учениками до послѣдняго времени, отличалъ ихъ при постоянной смѣнѣ своихъ ассистентовъ, открывалъ имъ доступъ въ свой домъ и ко многимъ привязывался съ чисто родительской нѣжностью. Для характеристики такихъ трогательныхъ отношеній приведемъ отрывокъ изъ некролога, напеча-

таннаго имъ по поводу смерти одного изъ учениковъ и ассистентовъ — Н. А. Бубнова (умеръ 18-го декабря 1884 г.), гдѣ между прочимъ Боткинъ говоритъ: «Провожая тѣло нашего товарища, моего ученика и молодаго друга, скорбя глубоко со всѣми знавшими покойнаго, я невольно припоминаю жизнь его за послѣдніе 9 лѣтъ, которыя прошли передъ моими глазами, и въ этихъ то воспоминаніяхъ я нашелъ возможность если не примиренія съ тяжелой утратой, то, по крайней мѣрѣ, нѣкотораго утѣшенія, дающаго силы покориться печальной судьбѣ нашего молодаго товарища. Не долго жилъ онъ на свѣтѣ, но много сдѣлалъ и оставилъ по себѣ тотъ нерукотворный памятникъ, въ которомъ олицетворилось сочетаніе наилучшихъ свойствъ человѣческой природы: любовь къ ближнему, чувство долга, жажда знанія. Благодаря этимъ отличительнымъ свойствамъ природы покойнаго Н. А., являлась та энергія и сила, которая поражала всѣхъ знавшихъ покойнаго. Онъ носилъ въ себѣ тотъ священный огонь, который давалъ ему возможность преодолѣвать всѣ встрѣчавшіяся на пути трудности и испытанія въ жизни; не изъ разсчета на блистательную карьеру трудился онъ какъ студентъ, какъ молодой врачъ, оставленный при институтѣ академіи, какъ хирургъ—волонтеръ частнаго санитарнаго отряда въ Сербіи, какъ врачъ „Краснаго Креста“ въ нашей послѣдней турецкой компаніи, наконецъ, какъ ассистентъ клиники. Въ теченіе всѣхъ этихъ трудовыхъ 9 лѣтъ, страстная, безкорыстная любовь къ ближнему, чувство долга и жажда знанія, были главными стимулами его жизни и, въ силу сложившихся обстоятельствъ, онъ могъ себѣ давать не разъ высочайшее счастье въ жизни— удовлетвореніе существеннымъ потребностямъ своей души“. Поговоривъ потомъ о дѣятельности Бубнова, Боткинъ заканчиваетъ словами: „Но не объ ассистентѣ клиники скорблю я, а погибшемъ честномъ дѣятелѣ. Осталось въ утѣшеніе одно: что онъ былъ, и да будетъ память

его служить примѣромъ для будущихъ дѣятелей на благо нашей родины“.

Если такъ смотрѣлъ Боткинъ, когда ему самому уже перешло за 50 лѣтъ, на любовь къ ближнимъ, на долгъ и на жажду знаній, какъ на величайшее счастье въ жизни и такъ любовно привязывался къ тѣмъ изъ молодыхъ своихъ учениковъ, въ которыхъ подмѣчалъ стремленіе къ тѣмъ же идеаламъ, то можно себѣ представить, съ какимъ рвеніемъ и энергіею принялся онъ за дѣло, когда, будучи въ разцвѣтѣ лѣтъ и силъ, сдѣлался самостоятельнымъ преподавателемъ клиники, получивъ при этомъ широкій просторъ для распространенія своихъ научныхъ познаній и гуманныхъ взглядовъ. Неутомимость его была поразительна; въ первые годы, пока его не стали отрывать отъ клиники другія занятія, онъ отправлялся въ нее въ 10 часовъ утра и оставался тамъ вплоть до вечера въ постоянной работѣ, то за лекціей, то за пріемомъ приходящихъ больныхъ, то за занятіями въ лабораторіи, гдѣ руководилъ за-разъ многими начатыми изслѣдованіями; домой онъ возвращался прямо къ 6-ти часовому обѣду, безъ малѣйшихъ признаковъ утомленія, напротивъ, всегда живой, веселый и видимо удовлетворенный результатами своего трудового дѣла,— а, пообѣдавъ, поболтавъ съ семьей, поигравъ съ часъ и болѣе на віолончели, садился за медицинскія книги, за приготовленія къ завтрашней лекціи и просиживалъ за чтеніемъ до 3—4-хъ часовъ ночи.

Его могучая, здоровая натура удивительно легко справлялась съ такимъ непрерывнымъ умственнымъ напряженіемъ и не испытывала никакой потребности въ отдыхѣ. Наступила лѣтняя вакація между семестрами 1861 и 1862 годовъ, первый обязательный отдыхъ для Боткина, когда клиника съ лабораторіей закрылись на лѣто и онъ съ семьей перебрался на дачу въ Ораніенбаумъ, но что онъ и тутъ не отдавался праздности лучшимъ доказательствомъ можетъ служить сохранив-

шееся у меня его письмо изъ Ораніенбаума, которое я привожу почти цѣликомъ, такъ какъ въ немъ онъ прекрасно передаетъ самъ то увлеченіе, какое овладѣвало имъ во время ученыхъ работъ.

„Только что прочелъ твое письмо и въ доказательство того, какъ оно меня сконфузило заслуженнымъ образомъ, тотчасъ же сажусь отвѣчать. Ей-Богу, гадко самому вспомнить мою подлую лѣнь, которая обуяла меня въ корреспонденціи. Одно меня можетъ нѣсколько оправдать,—это то, что все это время я работалъ очень исправно. Не говоря о томъ, что я гибель прочиталъ, я еще сдѣлалъ цѣлую работу, и ради нея ты не ругай меня. Я взялся за лягушекъ и, сидя за ними, открылъ новый кураре въ лицѣ сѣрно-кислаго атропина; надо было продѣлать съ нимъ всѣ опыты, какіе были сдѣланы съ кураре. Новизна пріемовъ работы (по этому отдѣлу я еще не работалъ), удачные результаты и поучительность самой работы до такой степени меня увлекали, что я просиживалъ за лягушками съ утра до ночи, просиживалъ бы и больше, если бы жена не выгоняла меня изъ кабинета, выведенная наконецъ изъ терпѣнія долгими припадками моего, какъ она говоритъ, помѣшательства. Теперь я эту работу настолько кончилъ, что отправилъ предварительное сообщеніе въ здѣшній новый нѣмецкій журналъ. Работѣ этой я чрезвычайно благодаренъ, она многому меня выучила. Окончивши ее, я увидалъ, что августъ на дворѣ, вспомнилъ, что для лекцій студентамъ мало было сдѣлано, по крайней мѣрѣ изъ того, что было назначено, и съ лихорадочною дрожью схватился за чтеніе. До какой степени меня обхватываетъ какая-нибудь работа, ты не можешь себѣ вообразить; я рѣшительно умираю тогда для жизни; куда ни иду, что ни дѣлаю,—передъ глазами все торчитъ лягушка съ перерѣзаннымъ нервомъ или перевязанной артеріей. Все время, что былъ подъ чарами сѣрно-кислаго атропина, я даже не игралъ на віолончели, которая теперь стоитъ

заброшенной въ уголкѣ. И такъ, не сердись на меня, помирись съ тѣмъ припадкомъ, который, разыгравшись у меня, иногда заставляетъ забывать о пріятеляхъ, и смотри на это, какъ на припадокъ сумасшествія".

Проработавъ подобнымъ образомъ все лѣто и затѣмъ слѣдующій академическій семестръ, онъ на вакаціи 1862 г. отправился за-границу. Здоровье жены требовало лѣченія въ Эмсѣ, а ему самому хотѣлось пожить снова въ Берлинѣ, куда его влекли живыя воспоминанія о недавней его рабочей жизни въ немъ, а главное, опять таки желаніе не прогулять безъ пользы лѣто и вновь заняться въ патологическомъ институтѣ, — онъ остался тамъ около $1^1/_2$ мѣсяцевъ, аккуратно посѣщая лекціи Виргова и клиники.

„Пребываніемъ въ Берлинѣ я чрезвычайно доволенъ", писалъ онъ, „освѣжился въ научномъ отношеніи такъ, что готовъ былъ остаться тамъ и засѣсть за работу. Даже Фрерихсъ, олицетворенная слабость, какъ клиницистъ, былъ для меня очень полезенъ своими ошибками, которыя служили мнѣ поученіемъ. Въ Берлинѣ я съ ужасомъ увидалъ тяжелое положеніе ученаго въ Россіи, до какой степени мы стоимъ тамъ изолировано; всякій, запершись у себя, предоставленъ единственно своимъ силамъ. Эта поѣздка убѣдила меня въ необхолимости, если не ежегодно, то по крайней мѣрѣ черезъ два года выѣзжать за-границу, а то завянешь и сдѣлаешься никуда не годнымъ".

Закончилъ эту свою поѣздку Боткинъ морскими купаньями въ Трувиллѣ, гдѣ съ нимъ приключилось слѣдующее непріятное обстоятельство, очень его взволновавшее и которое мы приводимъ, какъ образчикъ тѣхъ совершенно неожиданныхъ тревогъ, какія вноситъ безпокойная русская жизнь въ существованіе даже такихъ ученыхъ, какъ Боткинъ, сосредоточенно и исключительно преданный наукѣ,—а подобныя тревоги, сваливавшіяся съ неба въ его мирную жизнь, ему пришлось пере-

живать не разъ. Это лѣто была всемірная выставка въ Лондонѣ, для обозрѣнія которой туда пріѣзжало не мало русскихъ, причемъ нѣкоторые изъ нихъ навѣстили проживавшаго въ этомъ городѣ извѣстнаго эмигранта Герцена. Вдругъ въ одномъ изъ номеровъ издаваемой имъ газеты „Колоколъ“ появилось извѣщеніе, что кое-кто изъ его посѣтителей узнанъ, а потому Герценъ, сообщая объ этомъ, переписываетъ и фамиліи ихъ, числомъ около 15, предупреждая, что они, при возвращеніи въ Россію, должны быть особенно осторожны, такъ какъ на границѣ ихъ могутъ встрѣтить непріятности. Среди напечатанныхъ фамилій стояло и имя С. П. Боткина.

Кто-то передалъ Боткину непріятную новость, которая повергла его въ сильное разстройство, тѣмъ болѣе, что, будучи совершенно незнакомъ съ политическими вопросами того времени, онъ имѣлъ довольно смутное понятіе о Герценѣ и о той агитаціи, которая имъ велась. Первой мыслью его было выписать двухъ своихъ малютокъ, оставленныхъ въ Москвѣ на попеченіи бабушки и не возвращаться назадъ въ Россію, но онъ вскорѣ одумался и послѣдовалъ убѣжденіямъ близкихъ людей, что не можетъ же онъ испортить всю свою будущность, въ виду опасенія подвергнуться серьезному преслѣдованію изъ-за какого-то явнаго недоразумѣнія и ложнаго обвиненія, такъ какъ онъ не только не посѣщалъ Герцена, но вовсе и не ѣздилъ на Лондонскую выставку. На границѣ при возвращеніи Боткина и жену дѣйствительно подвергли самому строгому обыску, но, послѣ личныхъ объясненій съ шефомъ жандармовъ, дѣло это дальнѣйшихъ послѣдствій не имѣло.

ГЛАВА VI.

Дѣятельность Боткина, какъ практическаго врача, его домашніе пріемы больныхъ и консультативная практика.—Тифъ.—Досуги Боткина и нѣкоторыя черты его характера.—Учено-литературные труды.

Послѣ возвращенія Боткина въ Петербургъ осенью 1862 г., къ его клиническимъ занятіямъ прибавилась новая обширная дѣятельность, если не столь привлекательная для него, какъ клиника, тѣмъ не менѣе неизбѣжно связанная съ его долгомъ и спеціальностью. Первые года полтора или два онъ вовсе не имѣлъ частной практики и имя его оставалось совсѣмъ неизвѣстнымъ петербургской публикѣ; но по мѣрѣ того, какъ слава его, какъ тонкаго діагноста, упрочивалась въ академіи, она стала распространяться и по городу, и по немногу больные стали разыскивать его скромную квартиру у Спаса Преображенья, въ домѣ Лисицына. Особенно громкій эффектъ произвела въ семестрѣ 1862—1863 гг. его клиническая діагностика весьма рѣдко встрѣчаемой и чрезвычайно трудной для опредѣленія болѣзни—закупорки воротной вены, блистательно оправдавшаяся вскрытіемъ умершаго больнаго; послѣ этого приливъ паціентовъ къ нему на домъ сталъ до того рости, что въ томъ же 1863 г. въ его небольшой гостиной набивалось до 50 человѣкъ и онъ, употребляя на пріемъ около 4 часовъ, вскорѣ былъ не въ состояніи осмотрѣть всѣхъ, чаявшихъ его совѣта.

Необыкновенно быстрая популярность Боткина, какъ практическаго врача, слишкомъ извѣстна современному поколѣнію, чтобы намъ на ней долго останавливаться, и понятна всякому, кому приходилось прибѣгать къ нему; каждый новый паціентъ дѣлался безусловнымъ поклонникомъ его и увеличивалъ собою безчисленные ряды

лицъ, довѣрявшихъ ему свое лѣченіе, а такъ какъ эта лавина продолжала рости въ теченіе 30 лѣтъ, то можно себѣ представить, какихъ размѣровъ достигала она впослѣдствіи. Не только добросовѣстная точность и напряженная внимательность, съ какими онъ изслѣдовалъ каждаго, но и его привѣтливая внѣшность, сквозь которую ярко просвѣчивалась необыкновенная человѣчность, искреннее участіе къ страждущему и еще болѣе искреннее желаніе помочь ему — дѣлали изъ него идеальнаго врача, производившаго на всѣхъ, обращавшихся къ нему, зачаровывающее впечатлѣніе и убѣжденность, что если возможно исцѣленіе отъ серьезнаго недуга, то только при содѣйствіи Боткина. И дѣйствительно, съ помощью своихъ знаній, самаго добросовѣстнаго изслѣдованія, сообразительности, а впослѣдствіи и обширной опытности, пріобрѣтенной съ годами, Боткинъ являлся истиннымъ стратегомъ въ борьбѣ съ болѣзнью въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ; но тогда какъ военные стратеги и полководцы заносятъ подвигами и выигранными сраженіями свое имя на страницы исторіи, подвиги Боткина, какъ практическаго врача-гуманиста и искуснѣйшаго борца за ввѣряемую ему жизнь, гораздо менѣе громогласны и, безъ шансовъ перейти въ потомство, способствовали лишь его прижизненной славѣ и глубоко запечатлѣвались горячею благодарностью въ сердцахъ спасенныхъ имъ личностей, ихъ родныхъ, и только на время ихъ жизни. О суммѣ же такихъ отдѣльныхъ спасеній въ практикѣ Боткина лучше всего свидѣтельствуетъ его необычайная популярность, какъ лучшаго врача, среди больныхъ, стремившихся за его совѣтомъ со всѣхъ концовъ Россіи. Не только популяренъ былъ онъ самъ, но большое довѣріе пріобрѣтало все, что было имъ рекомендовано, и больные въ провинціи, никогда лично къ нему не обращавшіеся, нерѣдко принимали лѣкарство по его рецептамъ, выписаннымъ для ихъ знакомыхъ; такъ сдѣлались весьма распространенными и

извѣстными Боткинскія капли, Боткинскій порошокъ, его пилюли, его мазь и пр., одно время было даже въ большомъ ходу квасъ изъ сухарей, когда-то имъ рекомендованный и извѣстный подъ именемъ „Боткинскаго“.

Одновременно съ пріемами Боткина на дому, стала развиваться и его частная практика внѣ дома, почти исключительно консультативная, и быстро достигла тоже огромныхъ размѣровъ, ибо, и какъ консультантъ, онъ былъ неоцѣнимъ своими познаніями и добросовѣстностью. Никогда онъ не полагался на передачу болѣзненныхъ явленій лѣчащимъ врачемъ и на поставленную раньше діагностику, а непремѣнно изслѣдовалъ самъ съ своей обычной старательной манерой, — вслѣдствіе чего его консультаціи были чрезвычайно поучительны для лѣчащаго врача, открывая иногда упущенныя явленія или помогая разобраться въ запутанныхъ случаяхъ, и въ то же время полезны для больныхъ, выводя ихъ раціональнымъ лѣченіемъ на путь къ сохраненію жизни, если это было возможно. Даже въ самыхъ безнадежныхъ случаяхъ онъ своею гуманностью и задушевнымъ участіемъ умѣлъ скрасить послѣдніе дни умирающаго, вселяя въ него надежду если не на выздоровленіе, то на продолжительное существованіе въ видѣ хроническаго больнаго,—и паціентъ, чуть не агонизирующій, хватался за эту соломенку, надѣялся и проникался горячею благодарностью къ Боткину. Наконецъ, Боткинъ не будучи денежнымъ человѣкомъ, тѣмъ не менѣе однако съ одинаковымъ вниманіемъ относился и къ высокопоставленному лицу, и къ богачу, и къ больничному паціенту, и къ приходившему къ нему лѣтомъ на дачѣ сосѣду — мужику. Среди его ежедневныхъ городскихъ консультацій рѣдкій день изъ 5—6 визитовъ онъ не имѣлъ одну или двѣ даровыхъ, откуда ясно, что онъ работалъ за деньги только потому, что онѣ ему были необходимы для поддержанія и воспитанія многочисленной семьи. Поэтому то онъ умеръ не богачемъ, какимъ легко могъ бы сдѣлаться при своемъ

колоссальномъ трудѣ и огромной практической дѣятельности, а оставивъ женѣ и дочерямъ состояніе, едва обезпечивающее скромное существованіе. Конечно, удовлетворить всѣхъ, какъ врачъ, онъ былъ не въ состояніи, и ему чаще, чѣмъ кому-нибудь другому, приходилось отказывать въ посѣщеніи труднаго больнаго; поэтому можно было иногда встрѣтить людей, обвинявшихъ его въ недоступности, въ сухости сердца и т. п.,—но такихъ людей было сравнительно немного, и подобныя обвиненія падаютъ сами собой: они становятся даже просто непонятными для всякаго, кто близко зналъ, какъ неутомимъ и самоотверженъ былъ Боткинъ въ исполненіи своего долга, какъ усиленно и много работалъ онъ ежедневно, и кто понимаетъ, что есть предѣлъ труду человѣка.

Притомъ Боткинъ считалъ клиническое преподаваніе своей первой обязанностью и главнымъ примѣненіемъ своихъ знаній на службѣ родинѣ и обществу; частная же помощь больнымъ всегда у него стояла на второмъ планѣ. Мало того, какъ говорено было раньше, занятія въ клиникѣ были его самымъ излюбленнымъ дѣломъ потому еще, что отъ нихъ онъ получалъ наиболѣе полное самоудовлетвореніе, чего далеко нельзя сказать о частной практикѣ и въ особенности о домашнихъ пріемахъ. Въ клиникѣ его главной задачей, какъ преподавателя, было разобрать самымъ подробнымъ и разносторроннимъ образомъ больнаго, употребляя на каждаго изъ нихъ одну, двѣ, а случалось, и пять лекцій, и стараясь какъ можно рельефнѣе выставить на видъ всякое, даже самое мелочное уклоненіе даннаго организма отъ его здороваго состоянія,—сгруппировать всѣ эти уклоненія вмѣстѣ и, на основаніи выработанныхъ наукою болѣе или менѣе непреложныхъ законовъ, сдѣлать наиболѣе точное распознаваніе; словомъ, самое существенное здѣсь это распознаваніе болѣзни; конечно, Боткинъ отводилъ въ преподаваніи большое мѣсто и лѣченію

больнаго, но лѣченіе представляетъ въ медицинѣ отдѣлъ наиболѣе произвольный, подверженный частымъ измѣненіямъ и, не смотря на многовѣковыя усилія врачей поставить его на болѣе раціональную почву, лишено до сихъ поръ тѣхъ непререкаемыхъ, строго научныхъ устоевъ, на какихъ построено распознаваніе. Въ домашнемъ же пріемѣ это соотношеніе между діагностикой болѣзни и лѣченіемъ ея, ихъ взаимная роль чувствительно измѣняется; безспорно, діагностика необходима и въ домашнемъ пріемѣ; но на первый планъ здѣсь выступаетъ лѣченіе, больной прежде всего проситъ рецепта, проситъ лѣкарства, долженствующаго возстановить его здоровье, зачастую утраченное невозвратно. Къ тому же въ домашнемъ пріемѣ невозможно отдавать каждому больному столько же времени, сколько въ цѣляхъ преподаванія употребляется на осмотръ клиническаго больнаго т.-е. по меньшей мѣрѣ около часу, и если бы Боткину вздумалось также основательно принимать своихъ частныхъ амбулантовъ, онъ успѣвалъ бы осмотрѣть только развѣ десятую часть пришедшихъ, и тогда между неудовлетворенными неизбѣжно возникали бы неудовольствія, претензіи, бунты. Вслѣдствіе этого являлась необходимость спѣшить самому, торопить больныхъ—и все это вмѣстѣ дѣлало, что домашніе пріемы, по мѣрѣ ихъ разростанія, все болѣе утомляли Боткина, не давая взамѣнъ того нравственнаго удовлетворенія, какое получалось имъ отъ клиники.

Уже въ письмахъ его отъ 1863 г. слышится нота этого утомленія: „Три недѣли, какъ начались лекціи“, пишетъ онъ отъ 4 октября; „изъ всей моей дѣятельности—это единственное, что меня занимаетъ и живитъ, остальное тянешь какъ лямку, прописывая массу почти ни къ чему не ведущихъ лѣкарствъ. Это не фраза и даетъ тебѣ понять, почему практическая дѣятельность въ моей поликлиникѣ такъ тяготитъ меня. Имѣя громаднѣйшій матеріалъ хрониковъ, я начинаю вырабатывать грустное убѣ-

жденіе о безсиліи нашихъ терапевтическихъ средствъ. Рѣдкая поликлиника пройдетъ мимо безъ горькой мысли, за что я взялъ съ большей половины народа деньги, да заставилъ ее потратиться на одно изъ нашихъ аптечныхъ средствъ, которое, давши облегченіе на 24 часа, ничего существенно не измѣнитъ. Прости меня за хандру, но нынче у меня былъ домашній пріемъ, и я еще подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ этого безплоднаго труда".

Въ другомъ позднѣйшемъ отъ того же года письмѣ онъ снова возвращается къ этому утомленію и говоритъ: „часто мнѣ приходитъ въ голову мысль, очень печальная, изъ за чего же бьешься, какъ колокольчикъ? когда же наконецъ придетъ такое время, что не нужно будетъ постоянно плакаться о томъ, что день сдѣланъ не изъ 40 часовъ? вѣдь если бы еще я страдалъ деньголюбіемъ, честолюбіемъ, славолюбіемъ, — клянусь честью, что плюю на все, что можетъ успокоивать припадки этихъ человѣческихъ болѣзней, а между тѣмъ, волей-неволей, я, какъ локомотивъ какой-нибудь, въѣхалъ на такіе рельсы, съ которыхъ нельзя соскочить".

При всѣхъ этихъ непрерывныхъ клиническихъ и врачебныхъ занятіяхъ, Боткинъ удѣлялъ еще время для литературныхъ работъ и, кромѣ небольшихъ статей, напечатанныхъ въ „Медицинскомъ Вѣстникѣ" Чистовича, весь 1863 г. составлялъ рефераты по отдѣлу внутреннихъ болѣзней для „Военно-медицинскаго Журнала", поступившаго тогда подъ редакцію извѣстнаго медицинскаго писателя С. П. Ловцова. Теперь рефераты эти естественно позабыты, но въ свое время они оказали врачамъ не малую пользу, — и если бы кто вздумалъ перелистовать ихъ въ настоящее время, то удивился бы, сколько добросовѣстнаго труда надо было положить на составленіе ихъ и какое множество медицинскихъ книгъ и журналовъ приходилось перечитать для того. Писалъ ихъ Боткинъ изъ любви къ дѣлу, съ единственною цѣлью—познакомить обстоятельно русскихъ врачей съ

текущей иноземной медицинской литературой, и зимой писалъ онъ ихъ большею частью послѣ тяжелаго трудоваго дня, лишая себя такимъ образомъ даже необходимаго ночного отдыха.

Что же мудренаго, что его „локомотиву“ при такой дневной и ночной службѣ пришлось-таки соскочить на полномъ ходу съ рельсовъ и осудить себя на довольно продолжительное бездѣйствіе? Крайне утомленный работой и постояннымъ умственнымъ напряженіемъ, Боткинъ легко поддался больничной заразѣ и въ самомъ началѣ 1864 г. захворалъ тяжелымъ сыпнымъ тифомъ съ рѣзкимъ пораженіемъ мозговой системы. Крѣпкій организмъ одолѣлъ болѣзнь, но возстановленіе силъ шло очень медленно, и въ мартѣ того года онъ писалъ: „не смотря на то, что вотъ уже 1½ мѣсяца, какъ поправляюсь, но далеко не чувствую себя способнымъ къ серьезному труду, а потомъ ѣду въ Италію встрѣчать весну и, если поправлюсь, къ лѣтнему семестру въ Германію. Велико наслажденіе вырваться изъ того омута дѣятельности, въ которомъ я былъ передъ своей болѣзнью; врядъ ли мнѣ случится еще разъ въ жизни утомляться до такой степени, какъ я былъ измученъ въ этотъ семестръ“.

Онъ отправился съ семьей прямо въ Римъ, и тамъ, на полномъ отдыхѣ и подъ благодатнымъ южнымъ небомъ, быстро исчезли слѣды перенесенной болѣзни. Отдохнувши, онъ посѣтилъ Неаполь, съѣздилъ въ Сицилію, а въ половинѣ мая былъ уже въ Вѣнѣ, гдѣ снова слушалъ физіологовъ и клиницистовъ; но Вѣна по прежнему его удовлетворяла мало, его неудержимо тянуло на старое пепелище — въ Берлинъ къ великому учителю Виргову; перебравшись туда, онъ остался до конца лѣтняго семестра, уѣзжая рано утромъ съ своей дачи въ Шарлоттенбургѣ, возвращаясь только къ позднему обѣду и проводя цѣлый день въ патологическомъ институтѣ, гдѣ „пожиралъ“, какъ выражается въ письмѣ,

лекціи Виргова, слѣдилъ за его вскрытіями труповъ, занимался микроскопомъ и началъ въ лабораторіи собственную работу, которую однако не успѣлъ довести до конца изъ-за какихъ-то неудачъ при производствѣ вивесекцій. Въ заключеніе покупавшись въ Біаррицѣ, онъ, послѣ полугодового отсутствія, вернулся въ Петербургъ, гдѣ за это время, при дѣятельномъ усердіи завистливыхъ соперниковъ и враговъ, которыхъ у него вслѣдствіе успѣховъ развелось не мало, уже успѣла сложиться цѣлая легенда о томъ, что у Боткина послѣ тифа сдѣлалось пораженіе мозга и онъ сошелъ съ ума. Но лишь только онъ началъ лекціи съ свѣжими силами, возстановленными отдыхомъ, какъ рядъ блестящихъ діагностикъ наглядно опровергъ всѣ эти вымыслы, и онъ тотчасъ занялъ свое первенствующее мѣсто въ глазахъ студентовъ и общества. Между прочимъ какъ разъ къ началу этого учебнаго года относится сдѣланное имъ открытіе въ столицѣ эпидеміи возвратной горячки, о значеніи котораго сказано выше.

Мы не станемъ слѣдить погодно, шагъ за шагомъ, за дѣятельностью Боткина, а будемъ останавливаться на болѣе крупныхъ ея фактахъ; упомянемъ мимоходомъ о тѣхъ немногихъ и скромныхъ развлеченіяхъ, которыми онъ нѣсколько разнообразилъ свою, полную самоотверженнаго труда, жизнь.—Отнынѣ т.-е. съ 1865 г., слава его, какъ практическаго врача и консультанта, продолжали рости и привлекать къ нему все больше и больше паціентовъ. Въ дни пріемовъ, — а они въ эти года были пять разъ въ недѣлю,—возвращаясь въ 7 часу къ обѣду, онъ едва могъ протискаться черезъ густую толпу, наполнявшую и переднюю и лѣстницу, которая вела въ 3-й этажъ его новой и помѣстительной квартиры у Пяти Угловъ. Наскоро пообѣдавъ и выкуривъ сигару, онъ тотчасъ же начиналъ пріемъ и не кончалъ его ранѣе 11 часовъ, не успѣвая осмотрѣть значительной части ожидавшей въ пріемной публики. Лучшимъ отдыхомъ для

него послѣ такого тяжелаго утомленія была игра на віолончели, и къ этой игрѣ онъ питалъ не только страсть, но и смотрѣлъ на нее какъ на самое дѣйствительное средство для возстановленія своей мозговой энергіи, утомленной работою цѣлаго дня; „это моя освѣжающая ванна“, говаривалъ онъ. Три раза въ недѣлю въ 12 часу ночи приходилъ къ нему учитель-віолончелистъ, долгое время имъ былъ профессоръ консерваторіи Зейффертъ, въ полночь они засаживались за пюпитры и играли болѣе часу; остальные дни онъ игралъ подъ аккомпаниментъ жены на фортепьяно, а въ воскресенье тотъ же Зейффертъ приводилъ обыкновенно съ собою двухъ товарищей солистовъ и по вечерамъ шло исполненіе квартетовъ классическихъ композиторовъ, длившееся по 3—4 часа. Боткинъ былъ неутомимый музыкантъ, хотя никогда не могъ выработаться въ порядочнаго солиста; этому, главное, мѣшало его слабое зрѣніе, по причинѣ его онъ не иначе могъ разбирать ноты, какъ близко пригибаясь къ пюпитру, а потому часто сбивался; тѣмъ не менѣе и въ музыку онъ вносилъ отличительныя черты своей натуры, увлеченіе и настойчивость, продолжалъ брать свои уроки чуть ли не до 50-лѣтняго возраста. И лѣтомъ, отправляясь въ заграничную поѣздку куда-нибудь на воды, онъ не разставался, какъ съ цѣлымъ чемоданомъ, набитымъ книгами, такъ и съ віолончелью, даже забиралъ иногда ихъ съ собою двѣ, что однажды подало поводъ къ комическому недоразумѣнію въ Франценсбадѣ, гдѣ водяные врачи хотѣли устроить ему почетную встрѣчу, пріѣхали для того на станцію желѣзной дороги, не зная его въ лицо, и увидавъ въ его багажѣ двѣ віолончели, приняли за странствующаго музыканта, прибывшаго дать концертъ на водахъ. Любя горячо музыку и будучи изъ-за непрерывныхъ занятій совершенно лишенъ возможности посѣщать публичные концерты и театры, онъ находилъ неописуемое удовольствіе въ своей игрѣ, причемъ былъ чувствите-

ленъ къ одобренію ея даже гораздо больше, какъ это нерѣдко встрѣчается въ странностяхъ человѣческой души, чѣмъ къ похваламъ его медицинскихъ талантовъ.

Другимъ развлеченіемъ, замѣнявшимъ для Боткина общественныя удовольствія, составляли субботы, которыя онъ открылъ у себя съ перваго же года своего пріѣзда въ Петербургъ и поддерживалъ вплоть до послѣдняго времени. Это былъ его журфиксъ, когда сбирались къ нему его друзья и знакомые въ 9 часовъ вечера и въ бесѣдахъ за длиннымъ столомъ просиживали до поздней ночи. На этихъ субботахъ, въ теченіе 30-лѣтняго ихъ существованія, успѣлъ перебывать чуть не весь Петербургъ ученый, литературный и артистическій, но преимущественно, само собой разумѣется, медицинскій; онѣ имѣли свою исторію, свой періодъ разцвѣта и упадка и въ нихъ, какъ въ небольшомъ зеркалѣ, отражались всѣ нравственныя настроенія и колебанія измѣнчивой русской жизни: такъ, начавшись съ 1860 г. небольшимъ и тѣснымъ кружкомъ молодыхъ единомыслящихъ товарищей-профессоровъ, онѣ разрослись въ теченіи этого десятилѣтія и первой половины послѣдующаго въ многолюдные, оживленные, шумные рауты, — и это была ихъ лучшая пора. Въ виду разнокалиберности собиравшагося общества, на нихъ рѣдко поднимались медицинскіе вопросы, также какъ и политическіе, потому что хозяинъ совсѣмъ не интересовался послѣдними, но, несмотря на подобное ограниченіе программы для собесѣдованій, вечера эти коротались чрезвычайно весело и доставляли Боткину такое наслажденіе, что онъ старался удержать гостей до 4 часовъ ночи. Самъ онъ, составляя центральную фигуру собранія, былъ весьма гостепріимный и милый хозяинъ, съ сердечнымъ радушіемъ заботившійся только о томъ, чтобы никого не стѣснить и всѣмъ доставить то удовольствіе, которое получалъ самъ отъ этого сборища болѣе или менѣе близкихъ ему лицъ; его непринужденная веселость сообщалась всѣмъ, и для завсегдатаевъ этихъ субботъ

дѣлало посѣщеніе ихъ незамѣнимымъ источникомъ развлеченія. Не только молодежь, но даже такой анахоретъ, какъ престарѣлый анатомъ Груберъ, смотрѣлъ на эти субботы какъ на лучшій отдыхъ для себя, послѣ недѣльной работы надъ трупами и никогда не пропускалъ завѣтнаго дня; здѣсь его суровыя черты преображались, вѣчно нахмуренныя брови разглаживались, и пріятно было смотрѣть, какъ постепенно съ него слетала эта обычная его облицовка, особенно, когда онъ начиналъ какъ то неумѣло и какъ то по дѣтски хихикать, слушая въ передачѣ И. М. Сѣченова, постояннаго его переводчика, какую нибудь остроту или смѣшную исторію, только что разсказанную кѣмъ нибудь изъ присутствовавшихъ на русскомъ языкѣ, который Груберъ плохо понималъ.—Позднѣе, въ 80 годахъ, субботы Боткина стали солиднѣе и, по правдѣ сказать, скучнѣе: и времена измѣнились, и постоянные корифеи прежнихъ субботъ (Пеликанъ, Якубовичъ, Ловцовъ, Европеусъ и др.) одинъ за другимъ сходили въ могилу, а оставшіеся въ живыхъ старились, постепенно утрачивали прежнюю экспансивность и уже не могли составить такого тѣснаго круга, какъ прежде, встрѣчая на мѣстахъ старыхъ друзей совершенно новое поколѣніе. Только Боткинъ, сѣдѣя и старѣясь, оставался все тѣмъ же привѣтливымъ хозяиномъ, хотя и его безграничное добродушіе стало все чаще и чаще подвергаться испытанію: нѣтъ-нѣтъ да и явится на субботній вечеръ какой нибудь назойливый паціентъ, увлечетъ хозяина отъ гостей въ другую комнату и сорветъ съ него обстоятельную консультацію, ни мало не задумываясь надъ тѣмъ, что лишаетъ Боткина тѣхъ немногихъ часовъ отдыха, на которое онъ имѣлъ неоспоримое право.

Общественная дѣятельность Боткина была столь разнообразна и богата содержаніемъ, что за перечисленіемъ ея фактической стороны у насъ останется слишкомъ мало мѣста для подробнаго описанія его личныхъ

характерныхъ чертъ; разбросанныя указанія на нихъ читатель встрѣтитъ и выше и ниже въ нашемъ очеркѣ; здѣсь же, пользуясь сдѣланнымъ отступленіемъ по поводу его досуговъ, прибавимъ нѣсколько штриховъ, дополняющихъ знакомство съ его нравственною личностью. Какъ всѣ люди сильные, онъ былъ нрава мягкаго и уживчиваго и, весь поглощенный дѣломъ, не обращалъ вниманія на житейскія мелочи, избѣгалъ ссоръ и не любилъ праздныхъ споровъ. Всѣ эти мирныя качества его особливо ярко выступали въ домашней, семейной обстановкѣ; тутъ онъ былъ весь на распашку съ его нѣжно любящимъ сердцемъ, съ его неизсякаемымъ добродушіемъ и незлобивымъ юморомъ и, окруженный своими 12 дѣтьми, въ возрастѣ отъ 30 лѣтъ до одногодовалаго ребенка (отъ перваго брака онъ имѣлъ 5 сыновей и одну дочь, а отъ второго—6 дочерей), представлялся истиннымъ, библейскимъ патріархомъ; дѣти его обожали, не смотря на то, что онъ умѣлъ поддерживать въ семьѣ большую дисциплину и слѣпое повиновеніе къ себѣ. Мы раньше сказали, что Боткинъ не былъ корыстолюбивъ; мало того, онъ, какъ малый ребенокъ, не зналъ цѣны деньгамъ; зарабатывая очень много своимъ трудомъ и получивъ три солидныя наслѣдства отъ братьевъ, онъ проживалъ почти все, тратя большія суммы на содержаніе семьи, на образцовое воспитаніе дѣтей, на свою обширную библіотеку; жилъ просто, безъ излишествъ, но хорошо, домъ его всегда былъ открытъ для близкихъ знакомыхъ, которыхъ у него было очень не мало. Извѣстно, что также былъ открытъ и его кошелекъ для всякихъ благотвореній и едва ли кто нибудь изъ обращавшихся за помощью уходилъ отъ него съ отказомъ; по крайней мѣрѣ, такова была репутація Боткина, потому что его лѣвая рука никогда не знала, что творитъ правая; самъ онъ никогда даже близкимъ своимъ не обмолвливался о своихъ тратахъ подобнаго рода.

Любопытную особенность въ немъ составляло его

отношеніе къ политической, общественной и къ идейной жизни окружавшаго міра; долгое время къ вопросамъ этого порядка онъ питалъ полное равнодушіе и нисколько не интересовался знать, что происходитъ за предѣлами науки, словно сосредоточенное занятіе послѣднею лишило его совсѣмъ способности вдумываться во все остальное; только позднѣе, перейдя за 40-лѣтній возрастъ, онъ сталъ привыкать, чтобы, въ минуты отдыха, жена или одинъ изъ сыновей читали ему крупныя новости изъ газетъ, и такимъ образомъ нѣсколько сталъ оріентироваться въ политикѣ; самого же его съ политической газетой въ рукахъ я ни разу въ жизни не видалъ, а между тѣмъ, даже за нѣсколько недѣль до смерти, онъ не могъ выйдти на прогулку безъ медицинской газеты или брошюры въ карманѣ и когда оставался одинъ, доставалъ ихъ и, усѣвшись гдѣ нибудь на лавочкѣ, погружался въ чтеніе. Точно также только въ послѣдніе 10—15 лѣтъ жизни онъ началъ знакомиться съ произведеніями современныхъ русскихъ писателей и почерпалъ изъ этого знакомства большое удовольствіе, особенно восторгался онъ Салтыковымъ, а въ послѣднія свои предсмертныя недѣли въ Ментонѣ съ живымъ интересомъ слушалъ чтеніе романовъ Достоевскаго, находя, что «это замѣчательно тонкій наблюдатель, но совсѣмъ не мастеръ писать». Служба въ званіи гласнаго думы особенно быстро и практически ввела въ его кругозоръ общественныя дѣла и не только приковала его вниманіе къ этой сторонѣ жизни, не находившей до сихъ поръ мѣста въ его мыслительномъ обиходѣ, но и увлекла принять въ ней самое живое и весьма плодотворное, какъ увидимъ ниже, участіе. Вообще же слѣдуетъ сказать, что, не смотря на всю запущенность своего политическаго и общественнаго развитія, Боткинъ былъ сторонникомъ прогрессивныхъ идей, если не вслѣдствіе сознательной обдуманности, то вслѣдствіе своего глубокаго образованія и своихъ инстинктовъ, какъ истин-

наго представителя науки; такимъ онъ являлся и въ конференціи академіи, и во всѣхъ комиссіяхъ, гдѣ ему случалось участвовать; такъ, онъ былъ между прочимъ горячимъ защитникомъ высшаго и медицинскаго образованія женщинъ, доказывалъ это на дѣлѣ, и первая женщина-врачъ, получившая докторскія права въ Россіи, г-жа Кашеварова-Руднева, по окончаніи курса въ академіи, немедленно же была принята имъ въ качествѣ ассистента въ клинику.

Прежде чѣмъ вернуться къ разсказу о дальнѣйшей жизни Боткина, необходимо указать еще на его печатные труды, такъ какъ главные изъ нихъ относятся къ тому періоду, на которомъ мы теперь пріостановились. Что литературное наслѣдіе, оставленное имъ, далеко не обширно и не соотвѣтствуетъ громкому его значенію, достаточно оправдывается тѣмъ подавляющимъ количествомъ главныхъ его занятій, по званію преподавателя и по обязанностямъ врача, которыя онъ несъ постоянно на себѣ; не его вина, что день состоитъ не изъ 40 часовъ, какъ жаловался онъ самъ, и для того, чтобы написать то, что было издано, онъ съ величайшей натяжкой долженъ былъ выкраивать себѣ время изъ тѣхъ часовъ, которые отдаются обыкновенно ночному и вакаціонному отдыху. Такимъ образомъ были написаны имъ и напечатаны 3 выпуска «Курса клиники внутреннихъ болѣзней», изъ нихъ первый явился въ 1867 г., второй—въ 1868 г. и наконецъ третій—въ 1875 г., и на томъ изданіе прекратилось. Въ первомъ выпускѣ Боткинъ разсматриваетъ болѣзни сердца, во второмъ — лихорадочное состояніе и сыпной тифъ, а третій заключаетъ въ себѣ двѣ статьи: а) о сократительности селезенки и объ отношеніи къ заразнымъ болѣзнямъ селезенки, печени, почекъ и сердца, и b) о рефлекторныхъ явленіяхъ въ сосудахъ кожи и о рефлекторномъ потѣ. Первые два выпуска переведены на французскій и нѣмецкій языки, а послѣдній—только на нѣмецкій и,

не смотря на богатство медицинскихъ литературъ этихъ странъ, встрѣтили въ нихъ весьма сочувственный пріемъ, а потому, понятно, что у насъ, при скудости самостоятельныхъ медицинскихъ сочиненій, они были выдающимся событіемъ; прекрасная разработка патологіи и лѣченія описываемыхъ болѣзней, стремленіе автора дать всякому болѣзненному явленію строго научное объясненіе, его тонкая наблюдательность, наконецъ, превосходный по ясности языкъ составляютъ отличительныя достоинства этихъ выпусковъ и показываютъ, какъ могъ бы Боткинъ обогатить нашу литературу, если бы имѣлъ хоть немного болѣе свободнаго времени.

Помимо этихъ произведеній и участія небольшими статьями въ разныхъ медицинскихъ газетахъ, помимо его прекрасной академической рѣчи «Общія основы клинической медицины», написанной для акта въ академіи въ 1866 г., и др., небольшихъ трудовъ, упомянемъ еще объ основаніи имъ «Эпидемическаго листка»; все около того же времени, а именно въ 1866 г., въ виду приближенія къ Петербургу холеры, Боткинъ задумалъ учредить эпидеміологическое общество, предложивъ председательство въ немъ Е. В. Пеликану, какъ лучшему тогдашнему русскому эпидеміологу; общество было основано не только съ теоретическою цѣлью изученія эпидеміи, но и съ практическими задачами организаціи врачебной и денежной помощи пострадавшимъ; оно издавало около 2-хъ лѣтъ подъ редакціей Ловцова «Эпидеміологическій листокъ», въ которомъ Боткинъ принималъ дѣятельное участіе небольшими сообщеніями, но и общества и листокъ просуществовали недолго, вслѣдствіе равнодушія къ нимъ врачей, понятнаго въ тѣ времена, когда вопросы эпидеміологіи были еще мало разработаны и интересовали только весьма немногихъ.—Наконецъ, въ концѣ 60-хъ годовъ Боткинъ предпринялъ изданіе сборника подъ названіемъ „Архивъ клиники внутреннихъ болѣзней проф. Боткина», въ которомъ рѣшилъ помѣ-

щать всѣ лучшія и наиболѣе интересныя работы, произведенныя его учениками въ клинической лабораторіи. Сборникъ этотъ выходилъ по мѣрѣ накопленія матеріала, и всего было выпущено 11 болѣе или менѣе объемистыхъ томовъ, изъ нихъ первый томъ появился въ 1869 г., а послѣдній—въ 1887 г. Въ сборникѣ этомъ заключается много замѣчательныхъ данныхъ по экспериментальной разработкѣ самыхъ разнообразныхъ клиническихъ вопросовъ и, хотя въ немъ нѣтъ ни одной статьи, принадлежащей непосредственно самому Боткину, но и онъ свидѣтельствуетъ также о его неутомимой дѣятельности, потому что всѣ, почти безъ исключенія, помѣщенные въ немъ труды, принадлежатъ его личному почину, совершены подъ его руководствомъ и прошли черезъ его окончательную редакцію.

ГЛАВА VII.

Придворная служба.—Поѣздка на театръ военныхъ дѣйствій. — Ветлянская эпидемія.—Юбилей.—Дѣятельность въ качествѣ гласнаго думы.—Предсѣдательство въ комиссіи оздоровленія Россіи.— Занятія въ Петербургскихъ богадѣльняхъ.

Вслѣдствіе безпрерывной работы и отсутствія всякаго физическаго ухода за собой, крѣпкое здоровье Боткина, опять стало расшатываться; сильный припадокъ желчной колики, случившійся зимой 1867 года, заставилъ его обратить на себя болѣе серьезное вниманіе,—съ тѣхъ поръ онъ 5 лѣтъ сподрядъ посѣщаетъ Карлсбадъ и, при помощи этихъ водъ и болѣе строгой діэты, снова приводитъ себя въ порядокъ.

Зимой на 1872 г. его дѣятельность еще значительно осложнилась приглашеніемъ принять на себя лѣченіе

императрицы Маріи Александровны и назначеніемъ его лейбъ медикомъ. Эти новыя обязанности весной того же года заставили его покинуть на время Петербургъ и сопровождать царственную паціентку въ Ливадію; эта поѣздка дала ему случай впервые и основательно познакомиться съ южнымъ берегомъ Крыма, и его природныя красоты и климатическія условія привели его въ восторгъ. „Но“, писалъ онъ «живописность Крыма, прелестный его климатъ стоятъ въ неимовѣрномъ контрастѣ съ отсутствіемъ всего похожаго на комфортъ для злополучнаго путешественника. Какъ больничная станція, онъ, по моему мнѣнію, имѣетъ большую будущность, лишь бы появились тѣ необходимыя удобства, безъ которыхъ сюда невозможно посылать больныхъ съ кошелькомъ средняго размѣра. Пока же онъ доступенъ или очень богатымъ или людямъ, не отравленнымъ европейскимъ комфортомъ, но со временемъ займетъ мѣсто значительно выше Монтре, хотя никогда не перегонитъ Ментоны“.

Званіе лейбъ-медика время отъ времени прерывало его клиническія занятія; такъ, позднѣе онъ долженъ былъ провести съ императрицей двѣ зимы на побережьи Средиземнаго моря, а именно съ 1874 на 1875 г. въ С. Ремо и зиму на 1880 г.—въ Каннѣ; паціенты толпою осаждали его и тамъ; конечно, по большей части то были русскіе, но обращались и иностранцы и въ числѣ послѣднихъ находилась, между прочимъ, жена принца Амедея, брата теперешняго короля Италіи. Въ С. Ремо же ранней весной 1875 г. его постигло первое и глубокое горе въ его личной жизни: тамъ скончалась его жена, первый и лучшій его другъ; она была всегда слабаго и деликатнаго здоровья, безпрерывно хворала, наконецъ, можетъ быть, вслѣдствіе частыхъ родовъ у нея развилось острое малокровіе, которое и свело ее въ могилу. Горе Боткина было сильное, подавляющее, но громадный трудъ и время скоро заживили эту рану и,

менѣе чѣмъ черезъ полтора года послѣ смерти первой жены, онъ вторично женился на вдовѣ Е. А. Мордвиновой, урожденной княжнѣ Оболенской.

Вспыхнувшая въ 1877 году русско-турецкая война снова увлекла его изъ Петербурга, и онъ въ маѣ поѣхалъ, по званію лейбъ-медика, въ свитѣ императора на театръ военныхъ дѣйствій и провелъ на немъ безвыѣздно около 7 мѣсяцевъ, передвигаясь съ Императорскою квартирою съ мѣста на мѣсто, изъ Плоэшты—въ Зимницу, Павлово, Бѣла, Горный Студень, Парадимъ. Вездѣ онъ постоянно ходилъ по военнымъ госпиталямъ и лазаретамъ, помогалъ совѣтами и снова пережилъ ощущенія душевной муки и часто безсильнаго желанія облегчить тяжелое положеніе больныхъ и раненыхъ, сугубо страдавшихъ отъ неурядицы военнаго времени и отъ неудовлетворительной организаціи военносанитарной части, т. е. пережилъ все то, что ему пришлось еще юношею испытать въ Крымскую войну въ Симферополѣ. Конечно, разница въ постановкѣ военно-медицинскаго дѣла въ періодѣ между этими двумя войнами произошла весьма замѣтная: лазаретовъ было открыто несравненно больше и снабжены они были всѣмъ необходимымъ болѣе доброкачественно и изобильно, эвакуація совершалась правильнѣе и цѣлесообразнѣе, помощь Краснаго Креста и частной благотворительности, (изъ нихъ первой вовсе не существовало въ 1850-хъ годахъ), теперь приняла широкіе размѣры,—медицинскій и санитарный персоналъ много выигралъ и въ отношеніи образованія и даже въ отношеніи самоотверженія, но за всѣмъ тѣмъ оставалось еще желать многаго,—и сердце Боткина, отзывчивое всегда на людскія страданія, мучилось вдвойнѣ, и какъ врача и какъ гражданина, когда ему приходилось видѣть безпомощность больныхъ и раненыхъ воиновъ и сталкиваться съ неумѣлостью, съ поверхностнымъ и равнодушнымъ отношеніемъ администраціи къ положенію страдальцевъ, и что хуже всего, съ различными ея зло-

употребленіями. Ему приходилось то и дѣло во многомъ разочаровываться: «вообрази, я—по натурѣ блондинъ, а теперь начинаю дѣлаться брюнетомъ", такъ образно выражается онъ въ одномъ изъ писемъ, разсказывая о своихъ впечатлѣніяхъ военнаго времени. Намъ случилось прочесть многія изъ его писемъ съ войны къ женѣ, изложенныхъ въ формѣ дневника и написанныхъ просто, безъ всякой обработки и безъ малѣйшей претензіи на оглашеніе, какъ пишутся письма къ близкому человѣку,— и мы были поражены ихъ безъискусственною прелестью и талантливою наблюдательностью, сообщающими имъ даже не малое литературное достоинство, не говоря уже о томъ, что онѣ лучше всякихъ стороннихъ прикрасъ обрисовываютъ нравственныя качества Боткина, какъ человѣка. Вдова покойнаго, Е. А. Боткина, съ величайшею готовностью давала намъ право воспользоваться этимъ матеріаломъ; къ сожалѣнію размѣры нашего очерка и боязнь не въ мѣру растянуть военный эпизодъ въ мирной жизни Боткина не позволяютъ намъ сдѣлать этого и мы приведемъ здѣсь только одинъ небольшой отрывокъ изъ этого дневника, высказывая при этомъ наше горячее желаніе увидать его поскорѣе весь цѣликомъ въ печати, какъ въ виду его біографическаго интереса такъ и интереса историческаго.

„Горный Дубнякъ, 19 августа 1877 г. Вчера такъ былъ измученъ, что не могъ дописать того, что хотѣлъ. Вчера пришлось три раза побывать въ госпиталѣ; утромъ отправился какъ обыкновенно посмотрѣть больныхъ, послѣ завтрака объявили, что пришелъ транспортъ раненыхъ въ 169 человѣкъ. Тотчасъ же поѣхалъ, чтобы увидѣть во очію больныхъ еще на телѣгахъ, немытыхъ, замученныхъ отъ переѣзда 40 верстъ на арбахъ по сквернымъ дорогамъ. Тяжелое впечатлѣніе, которое съ непривычки даже и нашего брата врача—забираетъ. Съ переломами бедръ, съ сквозными ранами груди переносятъ перевязку очень тяжело; одинъ съ сквозной

раной груди тотчасъ же по пріѣздѣ началъ кончаться, другой, вѣроятно тифозный, тоже почти умиралъ. Да, это тяжелый видъ; у меня не разъ навертывались слезы, слушая эти стоны и смотря на этихъ людей, изнемогающихъ отъ ранъ, отъ солнца, отъ тряски, отъ усталости. Часа черезъ два, когда всѣхъ уложатъ по постелямъ, перемѣнятъ бѣлье, умоютъ, напоятъ,—конечно, картина въ тѣхъ отдѣленіяхъ, гдѣ раненые полегче, мѣняется: завязываются бесѣды, люди здороваются, веселы, охотно разсказываютъ подробности битвы, въ которой были ранены. Всѣ прибывшіе были отъ 14 числа изъ дѣла Воронцова; такого подбора тяжело раненыхъ еще не встрѣчалось: у многихъ встрѣчалось по двѣ и даже по три раны, почти всѣ раны огнестрѣльныя, или пулями, или картечью. Восемь было привезено ампутированныхъ, девятаго ампутировали сегодня утромъ. Я смотрѣлъ, какъ подвозили телѣги къ палаткамъ и какъ вынимали этихъ несчастныхъ; все это дѣлалось въ высшей степени добросовѣстно и скоро, и транспортъ почти въ 200 человѣкъ больныхъ былъ уже весь размѣщенъ почти въ одинъ часъ времени; чуть не каждаго раненаго нужно было поднимать четыремъ санитарамъ. Какъ своехарактерно рисуются при этомъ раненые солдатики; лежитъ, напримѣръ, въ телѣгѣ солдатикъ съ раной въ ногу, подходятъ его вытаскивать,—съ какимъ вниманіемъ слѣдитъ онъ за своимъ бѣднымъ скарбомъ, который вытаскивается изъ его телѣги, узелокъ, другой, ранецъ; „вотъ, вотъ, забыли“, кричитъ онъ и тянется въ уголъ телѣги за манеркой; когда все его имущество вынесено, онъ спокойно передаетъ и самого себя на руки санитаровъ: „осторожнѣе, земляки, осторожнѣе, вотъ такъ, ногу-то повыше; ой, ой, зачѣмъ опустилъ“ и т. д. Зайдешь черезъ полъ-часа въ палатку, всѣ размѣстились, кто моется, кто пьетъ, а кто стонетъ еще отъ боли въ ранѣ; черезъ часъ уже немного пободрѣе, и водочки выпили, а кто и чаю напился. Между прочимъ солдатскимъ

скарбомъ вчера у одного больнаго я услышалъ въ мѣшкѣ живую курицу, которую онъ дотащилъ до лазарета. Не могу тебѣ передать, до какой степени симпатичны мнѣ наши раненые; сколько твердости, покорности, сколько кротости, терпѣнья видно въ этихъ герояхъ, и какъ тепло и дружно относятся они другъ къ другу, какъ утѣшаются они въ своемъ несчастіи тѣмъ, что вытѣснили, или прогнали „его". Сегодня подъ хлороформомъ молодой солдатикъ все бредилъ непріятелемъ: „это нашъ", это нашъ", кричалъ онъ, „сюда, сюда" и проч.; наконецъ, при болѣе сильной наркотизаціи, онъ запѣлъ пѣсню (вѣроятно былъ запѣвалой) во все горло и пѣлъ, пока не заснулъ вполнѣ. Больные привозятся съ ружьями, и нерѣдко тифозный безъ сознанія при вытаскиваніи изъ телѣги первымъ вопросомъ дѣлаетъ: „гдѣ мое ружье?" Госпиталь расположенъ вдоль рѣчки въ кибиткахъ, въ каждой изъ нихъ помѣщается по восьми человѣкъ, одна кибитка отъ другой по крайней мѣрѣ въ 12 шагахъ. Можешь себѣ представить, сколько пришлось вчера исходить, переходя во время пріема транспорта изъ одной кибитки въ другую, возвращаясь опять въ первыя и т. д.".

Вернувшись въ концѣ ноября въ Петербургъ, гдѣ объ его отсутствіи горевали и въ клиникѣ и среди больныхъ, Боткинъ съ наслажденіемъ набросился на свои привычныя занятія и проработалъ такъ усердно, что лѣтомъ для возстановленія силъ долженъ былъ съѣздить опять на морскія купанья въ Трувилль. Въ этомъ же году онъ былъ избранъ предсѣдателемъ старѣйшаго нашего медицинскаго общества, „общества русскихъ врачей въ С.-Петербургѣ", и несъ эту обязанность вплоть до самой смерти.

Въ послѣдующую затѣмъ зиму, въ концѣ 1878 года, посѣтила приволжскій край Левантійская чума, къ великому благополучію Россіи, ограничившаяся небольшимъ пространствомъ и по мѣсту наибольшей своей интенсивности вошедшая въ исторію медицины подъ названі-

емъ „Ветлянской чумы“. Для полноты настоящаго очерка необходимо упомянуть о ней, потому что эпидемія эта вызвала въ Боткинѣ тотъ весьма непріятный инцидентъ, который чрезвычайно тяжело отразился на немъ нравственно и физически и связалъ его имя съ темнымъ именемъ Наума Прокофьева. Сущность даннаго инцидента въ томъ, что Боткинъ въ началѣ 1879 года подмѣтилъ на многихъ своихъ городскихъ и клиническихъ больныхъ необычно частое опуханіе лимфатическихъ железъ всего тѣла и, поставивъ его въ связь съ Ветлянской эпидеміей, полагалъ, что такая патологическая особенность служитъ признакомъ дальнѣйшаго распространенія чумы и возможнаго заноса ея въ Петербургъ. Вскорѣ послѣ того ему представился въ клинической амбулаторіи больной—дворникъ Наумъ Прокофьевъ,— у котораго быстрое опуханіе железъ всего тѣла было выражено особенно сильно, и Боткинъ, подробно разобравъ случай въ присутствіи студентовъ, призналъ его настолько сомнительнымъ, что счелъ необходимымъ подвергнуть больнаго самому всестороннему наблюденію и строжайшему отдѣленію отъ остальныхъ больныхъ. Діагнозъ чумы поставленъ былъ публично, и безпристрастіе біографа заставляетъ насъ признать, что въ этомъ случаѣ Боткинъ поступилъ черезъ чуръ поспѣшно и опрометчиво, не взвѣсивъ послѣдствій оглашенія факта такой потрясающей общественной важности, а только руководясь его научнымъ интересомъ. Весьма натурально, что извѣстіе о томъ въ тотъ же день съ быстротою молніи разнеслось по столицѣ и произвело страшную панику; имя Боткина было слишкомъ авторитетно, чтобы сомнѣваться въ истинѣ діагностики, и огромное большинство приняло ее, какъ оффиціальное признаніе появленія ужасной гостьи въ Петербургѣ. Но когда прошло нѣсколько дней и состояніе Наума Прокофьева, вмѣсто ожидаемаго ухудшенія, стало постепенно улучшаться, тревога въ городѣ улеглась, зато

печать съ яростью обрушилась на Боткина, и его славное и ничѣмъ до сихъ поръ не запятнанное имя, которымъ такъ справедливо гордилась Россія и русская наука, сразу сдѣлалось мишенью ежедневныхъ нападеній и самыхъ обидныхъ оскорбленій, доходившихъ до нелѣпости; его обвиняли и въ отсутствіи патріотизма, и въ какомъ-то заговорѣ съ англичанами, а Катковъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ утверждалъ, что Боткинъ напустилъ тревогу исключительно ради спекуляціи, чтобы уронить на биржѣ курсъ рубля и сыграть на его пониженіе. Нѣсколько недѣль продолжалась эта жестокая травля,—и какъ ни велико было самообладаніе Боткина, какъ ни старался онъ бодриться и замкнуться въ сознаніи честно и убѣжденно исполненнаго долга, повторяя себѣ и близкимъ извѣстное изреченіе Галилея: „e pur si muove“, она произвела на него глубокое, неизгладимое впечатлѣніе; онъ лишился сна, аппетита, все его нравственное существо было потрясено, потому что тутъ впервые его дѣтски довѣрчивое и благодушное отношеніе къ людямъ встрѣтилось съ людской жестокостью и несправедливостью въ той ихъ грубой и стихійной формѣ, которая мгновенно забываетъ всѣ прежнія заслуги человѣка и безъ всякой пощады предаетъ казни вчерашняго кумира. Самъ Боткинъ до конца жизни, по всѣмъ видимостямъ, сохранилъ убѣжденіе, что всѣ тогдашнія нападенія были несправедливы, что діагностика его была вѣрна, т. е. что Наумъ Прокофьевъ и всѣ остальные больные, у которыхъ наблюдались аналогичныя явленія, носили на себѣ несомнѣнные признаки предвѣстниковъ чумной эпидеміи, и если болѣзнь не развилась на нихъ въ полную и ясную картину, то только потому, что очагъ эпидеміи на Волгѣ быстро потухъ, благодаря, частью—энергическимъ мѣрамъ правительства, частью—тому, что въ воздухѣ произошли неуловимыя атмосферныя измѣненія, неблагопріятныя для доразвитія и распространенія эпидеміи, и она замерла

въ Петербургѣ въ этомъ періодѣ предвѣстниковъ. Правъ онъ былъ или неправъ? рѣшить могутъ только позднѣйшія наблюденія, если встрѣтится крайне нежелательная возможность произвести ихъ снова при подобныхъ же условіяхъ.

Но если этотъ эпизодъ оставилъ неизгладимыя послѣдствія на здоровьи Боткина, какъ есть основаніе предполагать, то едва ли нравственное впечатлѣніе отъ него могло остаться долго въ немъ, потому что общество не только скоро забыло исторію Наума Прокофьева и продолжало увеличивать запросъ на своего незамѣнимаго консультанта и врача, но оно скоро доказало ему самымъ яркимъ и очевиднымъ образомъ, какъ высоко и горячо цѣнитъ его заслуги и достоинства. Въ 1882 г. почитатели его и ученики задумали устроитъ празднованіе 25-ти лѣтней его дѣятельности, и какъ ни старался онъ по скромности отклонить отъ себя всякія внѣшнія манифестаціи, оно произошло 27-го апрѣля и отличалось необыкновенной импозантностью вслѣдствіе стеченія на него, при совершенномъ отсутствіи оффиціальнаго участія, такой многочисленной публики, какая едва ли когда нибудь до того собиралась на нашихъ юбилейныхъ торжествахъ. Происходило оно въ зданіи Городской Думы, въ число гласныхъ которой Боткинъ не задолго передъ тѣмъ былъ выбранъ; здѣсь тянулась такая длинная вереница поздравленій отъ различныхъ учрежденій, обществъ и лицъ, что, пріѣхавши въ Думу въ 11 часовъ утра, юбиляръ долженъ былъ до 3½ часовъ выслушивать обращенные къ нему адресы и рѣчи съ самой лестной оцѣнкой его заслугъ и трудовъ; онъ былъ чрезвычайно взволнованъ и сильно сконфуженъ, тѣмъ болѣе, что, находя, по своей природѣ, главное наслажденіе своей жизни въ трудѣ и не будучи въ состояніи обходиться безъ него, считалъ всѣ эти похвалы въ дѣйствительности незаслуженными и преувеличенными. Въ тотъ же вечеръ состоялся юбилейный обѣдъ по подпискѣ, на

которомъ участвовало около 400 человѣкъ и между ними, кромѣ врачей, находились всѣ видные представители столичной образованной среды. На обѣдѣ получено было множество депешъ изъ разныхъ концовъ Россіи, показавшихъ, какой сочувственный отголосокъ встрѣтилъ и въ провинціи почетъ, возданный знаменитому юбиляру; всѣ университеты и большинство ученыхъ обществъ, въ которыхъ онъ не состоялъ еще почетнымъ членомъ, выслало къ этому дню ему дипломы на это званіе. Здѣсь кстати отмѣтить, что при концѣ своей жизни Боткинъ состоялъ членомъ 33-хъ учрежденій и ученыхъ обществъ и въ томъ числѣ 9 иностранныхъ.

Съ 1881 г. къ многосложнымъ и постояннымъ занятіямъ Боткина прибавилось новое дѣло, на пользу котораго онъ удѣлилъ значительную долю послѣдняго 8 лѣтняго періода своей жизни съ свойственными ему добросовѣстностью и безкорыстіемъ, то была его служба въ званіи гласнаго Петербургской Думы, связанная съ разработкой множества разнообразныхъ вопросовъ по больничной и врачебной организаціи столичнаго управленія. Эта Дѣятельность Боткина была такъ богата для города благотворными результатами, что Дума, по предложенію городскаго головы В. И. Лихачева, нашла достойнымъ увѣковѣчить память его послѣ смерти постановкой его портретовъ, какъ въ залѣ Думы, такъ и въ 8 городскихъ больницахъ и кромѣ того одной изъ этихъ больницъ, именно городской барачной, присвоить названіе „Боткинской городской барачной больницы". Чтобы познакомить съ этой стороной дѣятельности Боткина, мы считаемъ за лучшее привести довольно длинную выдержку изъ доклада городскаго головы, по поводу этихъ предложеній, отъ 29-го января 1890 года, потому что голосъ такого компетентнаго судьи, подкрѣпленный утвержденіемъ выборнаго представительства столицы, ближе всякаго другаго способенъ обнять и оцѣнить заслуги Боткина на пользу городскаго дѣла. Напомнивъ

объ обстоятельствахъ, вызвавшихъ постройку въ 1880 г. барачной больницы и о состоявшемся въ томъ же году рѣшеніи правительства о скорѣйшей передачѣ больницъ въ вѣдѣніе города, г. Лихачевъ продолжаетъ:

„До 1881 года въ средѣ гласныхъ Петербургской городской Думы не было врачей. Для врача городскія, общественныя дѣла, имѣвшія до того времени исключительно хозяйственный характеръ, представляли мало спеціальнаго интереса. Но какъ только передача въ вѣдѣніе города больничнаго и санитарнаго дѣла становилась близкимъ къ осуществленію фактомъ, то можно было ожидать, что и врачи не будутъ уклоняться отъ избранія въ гласные Думы. Однако, всѣ интересующіеся городскими дѣлами обыватели столицы сознавали, что въ данномъ случаѣ было желательно, чтобы въ составѣ гласныхъ находился врачъ, пользующійся вѣскимъ авторитетомъ. Вслѣдствіе этого, многіе изъ гласныхъ Думы, и въ особенности изъ членовъ городской Комиссіи общественнаго здравія выражали желаніе видѣть въ составѣ городскаго управленія такое высоко авторитетное въ медицинскомъ мірѣ лицо, какъ С. П. Боткинъ, который стоялъ въ это время въ спискѣ городскихъ избирателей на 4-хъ лѣтіе 1881—1885 гг. О такомъ желаніи ему было заявлено“.

«Относясь серьезно къ обязанностямъ представителя городскаго населенія, С. П. Боткинъ не сразу рѣшился принять на себя званіе гласнаго и, въ отвѣтъ на предложеніе поставить его имя въ списокъ кандидатовъ въ гласные городской Думы, выразилъ опасеніе, что прямыя его занятія будутъ мѣшать ему исполнять новыя обязанности. Вотъ что писалъ онъ бывшему предсѣдателю Комиссіи общественнаго здравія (В. И. Лихачеву) 21 марта 1881 года: „Долго колебался я прежде, чѣмъ рѣшился дать согласіе и не отказываться отъ выбора въ гласные. Взять на себя еще новую обязанность, при той массѣ занятій, которыя у меня на рукахъ,—право

не легко, тѣмъ болѣе, что не чувствуешь въ себѣ достаточно силъ, чтобы добросовѣстно выполнить еще новое дѣло. Съ другой же стороны, совѣстно и уклониться отъ должности, въ которой, можетъ быть, принесешь какую нибудь пользу». При этомъ Боткинъ счелъ необходимымъ выразить надежду, что къ нему отнесутся снисходительно и дадутъ возможность принимать участіе въ общественныхъ дѣлахъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда его содѣйствіе дѣйствительно можетъ быть полезно».

«Въ 1881 году С. П. Боткинъ былъ избранъ въ первый разъ въ гласные Думы и затѣмъ членомъ и замѣстителемъ предсѣдателя Комиссіи общественнаго здравія.—Вступивъ въ составъ городскаго управленія. С. П. Боткинъ уже не могъ не принимать горячаго участія въ окончательномъ устройствѣ и обзаведеніи городской барачной больницы и, по постановленію Думы 15 января 1882 года, сдѣлался ея попечителемъ по врачебной части. Барачная больница съ того времени сдѣлалась любимымъ дѣтищемъ С. П. Боткина; въ нее онъ вложилъ свою душу; при своихъ посѣщеніяхъ больницы, нерѣдко лично осматривая и изслѣдуя тяжко больныхъ, С. П., одно появленіе котораго успокоивало и ободряло страждущихъ, собственнымъ примѣромъ училъ, какъ долженъ относиться врачъ къ больному человѣку, для того чтобы пріобрѣтать его довѣріе и облегчать его страданія. Для барачной больницы С. П. не жалѣлъ ни своего дорогого времени, ни своего драгоцѣннаго труда и даже разъѣздныя деньги, полагавшіяся ему отъ города, какъ попечителю, затрачивалъ цѣликомъ на улучшеніе тѣхъ сторонъ научной обстановки больницы, которыя для людей, непосвященныхъ въ науку, могли казаться излишней роскошью; таковы, напримѣръ, лабораторія и кабинеты, не разъ впослѣдствіи доказавшіе свою несомнѣнную пользу при изслѣдованіи различныхъ заразныхъ началъ, при изслѣдованіяхъ воды и проч. Клиническіе ме-

тоды изслѣдованія и лѣченіе больного сдѣлались возможными и удобопримѣнимыми на практикѣ даже въ городской больницѣ, — результаты лѣченія стали получаться совсѣмъ иные. Барачная больница практически рѣшала ту задачу, которую теоретически разрѣшила и намѣтила городская Комиссія общественнаго здравія въ своемъ докладѣ о передачѣ больницъ городу».

Далѣе г. Лихачевъ разсказываетъ, какъ избранный въ 1886 г. почетнымъ попечителемъ всѣхъ городскихъ больницъ и богадѣленъ, Боткинъ не замедлилъ осмотрѣть больницы и, опредѣливъ все, что въ постановкѣ ихъ было неудовлетворительнаго, указалъ на многое, что необходимо было немедленно улучшить и реорганизовать и вслѣдствіе этихъ указаній «въ рукахъ городскаго общественнаго управленія принятыя больницы въ весьма короткое время замѣтно улучшились и результаты лѣченія стали получаться болѣе успѣшные, хотя при попечительномъ совѣтѣ, въ среднемъ выводѣ, затраты на каждаго пользованнаго больного мало чѣмъ разнились отъ теперешнихъ. Достиженію такого состоянія больницъ и притомъ въ короткое время весьма много содѣйствовало участіе С. П. Боткина въ городскомъ общественномъ управленіи. Всѣ городскіе дѣятели въ его присутствіи чувствовали увѣренность, что больнично-санитарное дѣло ведется въ должномъ направленіи и этой увѣренности не могли поколебать никакіе, откуда бы они ни исходили, нападки на это дѣло».

„Санитарное дѣло, уже по своему существу, не могло быть чуждымъ С. П. Боткину, какъ современному клиницисту, и онъ всегда охотно принималъ участіе въ обсужденіи санитарныхъ вопросовъ, соприкасавшихся съ врачебною помощью заболѣвающимъ. Когда въ концѣ 1881 года врачебная община, наблюдавшая за школьно-санитарнымъ въ городскихъ училищахъ надзоромъ, рѣшительно отказалась продолжать вести это дѣло въ 1882 году за сумму ассигнованную на этотъ предметъ

Думою, то городская училищная Комиссія вынуждена была немедленно организовать свой особый школьно-санитарный надзоръ. Приглашены были для того 5 женщинъ-врачей, такъ какъ средства были слишкомъ скудны и изъ врачей-мужчинъ, желающихъ взяться за это дѣло, не находилось. На медикаменты было ассигновано Думою 500 руб. — сумма крайне ничтожная — на каждую школу причиталось всего по нѣсколько рублей. Въ это время уже разгоралась эпидемія скарлатины и дифтерита, въ особенности среди дѣтскаго населенія Петербурга. Необходимо было снабдить школьныхъ врачей аппаратами для изслѣдованія горла и для примѣненія лѣкарственныхъ веществъ, снабдивъ ихъ въ тоже время ручными небольшими аптеками. Каталогъ медикаментамъ могъ быть составленъ только самый ограниченный, способный вызывать улыбку у врачей-практиковъ, привыкшихъ выписывать лѣкарства заразъ на нѣсколько рублей для одного больного. Обсуждать подобный каталогъ медикаментовъ С. П. Боткинъ не только не отказывался, но даже принялъ самое живое участіе въ преніяхъ, терпѣливо выслушивалъ возраженія, какъ бы онѣ ни были неосновательны, только изрѣдка дѣлалъ мѣткія указанія, въ чемъ должно заключаться истинное призваніе врачей, въ особенности школьныхъ. И послѣ того, принявъ на себя званіе предсѣдателя субъ-комиссіи по школьно-санитарному надзору, онъ охотно посѣщалъ ея засѣданія, и, несомнѣнно, ему обязано это благое дѣло постановкою на правильныхъ, разумныхъ основаніяхъ“.

Далѣе въ своемъ докладѣ г. Лихачевъ разсказываетъ о борьбѣ съ эпидеміями дифтерита и скарлатины, посѣтившими Петербургъ весной 1882 года; потребовалась со стороны Думы широкая организація врачебной помощи низшимъ слоямъ населенія и Комиссія общественнаго здравія выработала планъ такой помощи, установивъ повизитную плату врачамъ за посѣщеніе больного на

дому въ 30 коп., а въ ночное время—60 коп. „Размѣръ такой малой повизитной платы противорѣчилъ корпоративному духу и традиціямъ врачей - практиковъ и, конечно, не находилъ въ нихъ сочувствія. Тѣмъ не менѣе Боткинъ согласился съ основательностью доводовъ Комиссіи и присоединилъ свой голосъ за проектъ, подвергаясь за это несправедливымъ нареканіямъ. Ради блага нуждающагося населенія онъ рѣшился навлечь на себя временное неудовольствіе врачей-практиковъ, надѣясь, что думскіе врачи оправдаютъ возложенныя на нихъ ожиданія, что и оказалось на дѣлѣ въ весьма скоромъ времени. Борьба съ эпидеміей дифтерита и скарлатины, при совмѣстныхъ усиліяхъ столичной администраціи и городского общественнаго управленія, при содѣйствіи практикующихъ въ Петербургѣ врачей, увѣнчалась полнымъ успѣхомъ, а благодаря раціональному распредѣленію врачебныхъ силъ и средствъ, подъ руководствомъ С. П. Боткина, потребовала со стороны города небольшой денежной затраты“.

«Во все время своего почти 9-ти лѣтняго пребыванія въ составѣ городского общественнаго управленія, С. П. Боткинъ, не переставалъ принимать самое горячее участіе во всѣхъ вопросахъ, касающихся оздоровленія столицы путемъ санитарныхъ мѣропріятій и улучшенія больничнаго дѣла, вникалъ въ подробности вырабатывавшихся проектовъ новыхъ больницъ, слѣдилъ за болѣе цѣлесообразнымъ распредѣленіемъ больныхъ, въ особенности хрониковъ, по лѣчебнымъ заведеніямъ, совѣтуя при первой къ тому возможности выдѣлить хрониковъ и неизлѣчимыхъ въ особую больницу, для чего онъ признавалъ наиболѣе подходящимъ главный корпусъ петропавловской больницы.

Такимъ образомъ изъ приведенныхъ выдержекъ мы видимъ, что это осложненіе дѣятельности Боткина обязанностями гласнаго только подтвердило, какой неистощимый запасъ умственной рабочей энергіи хранился въ немъ,

и, несмотря на то, что вскорѣ около этого времени физическое его здоровье начало разстроиваться, онъ не только не уменьшалъ своего труда, а скорѣе увеличивалъ въ разнообразіи его состава, такъ какъ въ количествѣ этого сдѣлать было невозможно за невозможностью расширить рамки трудоваго дня. Будучи занятъ, какъ клиницистъ, какъ лучшій столичный врачъ, какъ лейбъ-медикъ, какъ городской гласный въ области вопросовъ его спеціальности, онъ въ тоже время безпрестанно участвовалъ въ разныхъ Комиссіяхъ, редижировалъ медицинскую газету и проч.,—и вездѣ, во всякомъ дѣлѣ продолжалъ проявлять то же не слабѣющее увлеченіе, ту же безукоризненную добросовѣстность, тотъ же свѣжій организаторскій талантъ, какіе поражали въ немъ при началѣ его поприща. Какъ видимъ изъ доклада г. Лихачева, всѣ эти качества ярко выразились и въ его думскихъ больничныхъ занятіяхъ. Городскія больницы тотчасъ же стали близкимъ роднымъ предметомъ его заботъ, особенно, когда вскорѣ во главѣ ихъ въ званіи старшихъ врачей выступили Соколовъ, Алышевскій, Нечаевъ, Сиротининъ, Васильевъ и другіе бывшіе ученки, глубоко преданные ему и его школѣ, совершенно солидарные съ нимъ во взглядахъ на больничное дѣло и знавшіе истинную цѣну его мудрыхъ совѣтовъ и замѣчаній; они и теперь при всякомъ экстренномъ затрудненіи, медицинскомъ или административномъ, шли къ нему и всегда встрѣчали въ немъ неизмѣнную готовность помочь и словомъ и дѣломъ. Самою же любимою его изъ этихъ больницъ сдѣлалась барачная, такъ какъ онъ больше всего участвовалъ въ ея устройствѣ и въ ней, какъ въ самой юной по возрасту, осуществлялся ближе всего его идеалъ больницы; въ ней находились всѣ нужныя приспособленія для изслѣдованія, самый персоналъ врачей ему былъ знакомѣе, потому что навербовывался изъ молодыхъ и недавнихъ его учениковъ, въ любви къ дѣлу которыхъ онъ не сомнѣ-

вался, такъ что на этой больницѣ лежала свѣжая, не затронутая временемъ и рутиной, печать его клиники и школы. Сюда онъ пріѣзжалъ акуратно разъ въ недѣлю не для бѣглаго обхода, а оставался отъ 3-хъ до 4-хъ часовъ, входя во всѣ подробности, особенно врачебныя, до того, что, какъ въ клиникѣ, зналъ всѣхъ интересныхъ больныхъ, слѣдилъ за ходомъ ихъ болѣзни и участвовалъ своими совѣтами въ лѣченіи. И какъ посѣщенія клиники, такъ и этой больницы, онъ дѣлалъ не во исполненіе только своего формальнаго долга, а по чувству привязанности и живаго интереса къ хорошо организованному больничному дѣлу,—вотъ почему не разъ, при отъѣздѣ изъ барачной больницы, онъ говаривалъ, что эти продолжительныя посѣщенія нисколько не утомляютъ его, а напротивъ доставляютъ ему величайшее наслажденіе.

Въ 1886 году Боткинъ былъ призванъ къ новой задачѣ, грандіозной по замыслу, но увы! оказавшейся совершенно невыполнимой при настоящемъ положеніи вещей,—къ предсѣдательствованію въ Комиссіи, учрежденной при Медицинскомъ Совѣтѣ, по вопросу объ улучшеніи санитарныхъ условій и уменьшеніи смертности въ Россіи. Учрежденіе этой Комиссіи обязано своимъ происхожденіемъ представленію Министру внутреннихъ дѣлъ заключеній, принятыхъ въ обществѣ русскихъ врачей въ Петербургѣ, подъ предсѣдательствомъ Боткина и по докладу доктора Экка, о чрезмѣрной смертности въ Россіи. Изъ данныхъ за послѣдніе годы, сгруппированныхъ д-мъ Эккомъ, явствовало, что смертность у насъ значительно превосходитъ смертность въ другихъ европейскихъ странахъ и, составляя 35 смертей на 1000 человѣкъ въ годъ, уноситъ изъ каждой тысячи населенія на 10 человѣкъ больше, чѣмъ въ Германіи, на 15 больше чѣмъ во Франціи, на 16 больше чѣмъ въ Англіи и, наконецъ, чуть не на 20 человѣкъ больше чѣмъ въ Норвегіи. На основаніи этихъ точныхъ данныхъ срав-

нительной статистики, и представлены министру заключительные выводы Общества русскихъ врачей обращавшіе вниманіе центральной власти на то, что смертность у насъ есть насильственная, а не естественная, и что борьба съ нею составляетъ нашу первую государственную потребность, для поднятія благосостоянія населенія повышеніемъ его рабочей способности. Учрежденіе Комиссіи, съ такимъ первостепеннымъ и гумманнымъ дѣятелемъ во главѣ, какъ Боткинъ, возбудило въ врачахъ и во всемъ русскомъ образованномъ людѣ радостныя ожиданія на улучшеніе санитарнаго состоянія въ Россіи и съ перваго же засѣданія показало, что она взглянула широко на постановленную ея рѣшенію задачу, ставя первою необходимостью коренное преобразованіе существующихъ административныхъ инстанцій, завѣдующихъ санитарными вопросами и предлагая замѣнить ихъ учрежденіемъ главнаго управленія по дѣламъ здравія. «Безъ реорганизаціи администраціи врачебно-санитарныхъ учрежденій» выразился одинъ изъ членовъ Комиссіи—покойный профессоръ Доброславинъ, «не только невозможно что нибудь сдѣлать для улучшенія санитарнаго положенія населенія, но невозможно и разсуждать о томъ за полнымъ отсутствіемъ данныхъ, на коихъ таковыя разсужденія могли бы опираться». Но такъ какъ подобная реорганизація не входила по крайней мѣрѣ въ ближайшія намѣренія правительства, то засѣданія Комиссіи утратили въ дальнѣйшемъ своемъ ходѣ всякую твердую, реальную почву подъ собою и свелись на обсужденіе частныхъ, второстепенныхъ мѣръ, слишкомъ мало оправдывавшихъ ея громкое назначеніе. Ей такъ таки и не удалось выйдти изъ своего подготовительнато періода и, протянувъ три года чахлое существованіе, на оживленіе котораго Боткинъ потратилъ не мало драгоцѣннаго времени, не будучи въ состояніи добиться сколько нибудь практическихъ результатовъ, она умерла вслѣдствіе отсутствія всякихъ условій для ея жизнеспо-

собности. Надо было знать, какъ горячо взялся Боткинъ за предположенную задачу, чтобы понять его горечь и разочарованіе при ея неудачѣ. Нѣкоторую пользу лично для себя онъ, пожалуй, извлекъ изъ этого труда, познакомившись короче при разработкѣ собраннаго матеріала съ врачебною дѣятельностью земствъ; это знакомство расширило его взгляды на значеніе общественной самодѣятельности, фактически доказавъ ему, что даже въ спеціальномъ дѣлѣ улучшенія санитарныхъ условій, т. е. тамъ, гдѣ ввѣренная его руководству Комиссія потерпѣла такое полное крушеніе, многія земства, съ своими ограниченными матеріальными интеллектуальными средствами, стѣсненныя въ правахъ иниціативы, начинаютъ достигать медленнаго, но замѣтно постепеннаго успѣха, благодаря настойчивой и сознательной работѣ на благо общее и достигаютъ этого, прежде всего съ помощью организаціи болѣе раціональнаго народнаго образованія, такъ какъ подъемъ культуры дѣлаетъ народъ болѣе доступнымъ для врачебной помощи и болѣе воспріимчивымъ къ распространенію среди него здравыхъ санитарныхъ и гигіеническихъ понятій и мѣръ

Отдаваясь изученію такъ мало знакомыхъ ему прежде вопросовъ общественной медицины, городской и сельской, Боткинъ дѣлалъ это никакъ не въ ущербъ клиническому преподаванію, которому продолжалъ служить съ прежнею юношескою страстью. Съ прежнимъ неостывающимъ прилежаніемъ слѣдилъ онъ за колоссальнымъ развитіемъ европейской науки, подхватывалъ на лету всякую новую плодотворную мысль или новое открытіе, подвергалъ ихъ своему критическому анализу и, убѣдившись въ жизненности и значеніи, старался развивать дальше и сдѣлать достояніемъ слушателей. Извѣстно, какое огромное практическое значеніе за послѣдніе годы пріобрѣло, благодаря открытіямъ Пастера и Коха и трудамъ ихъ послѣдователей, ученіе о микробахъ, измѣнившее понятіе о сущности многихъ болѣзней,—и по-

сѣдѣвшій уже, но вѣчно неутомимый наблюдатель и работникъ, Боткинъ, пользуясь лѣтнимъ отдыхомъ на дачѣ, проводитъ цѣлые часы надъ микроскопомъ и, напрягая свое слабое зрѣніе, старательно изучаетъ этихъ вновь открытыхъ враговъ человѣчества. «Теперь я засѣлъ», пишетъ онъ въ письмѣ отъ 4 августа 1885 г. изъ Финляндіи, «за литературныя студіи микробнаго міра, который дѣйствуетъ на меня угнетающимъ образомъ, микробы начинаютъ одолѣвать стараго человѣка въ буквальномъ смыслѣ слова; на старости лѣтъ приходится ставить свои мозги на новые рельсы. Безъ сомнѣнія, мы переживаемъ въ медицинѣ тотъ періодъ увлеченія, какому подлежитъ всякое новое направленіе, имѣющее большую степень значенія; намъ пришлось начать изученіе медицины съ абсолютныхъ истинъ Рокитанскаго, потомъ мы промѣняли ихъ на клѣточную теорію Вирхова, а теперь надо совершенно серьезно считаться и съ микробами, изъ-за которыхъ начинаютъ забывать не только клинику, но и патологическую анатомію тканей, забываютъ значеніе реакціи организмовъ на микробовъ». Не смотря на такой нѣсколько скептическій тонъ и въ отношеніи къ своимъ силамъ и къ микробамъ, старый человѣкъ и на этотъ разъ не далъ себя одолѣть послѣднимъ и, отлично изучивъ и усвоивъ себѣ новое ученіе, отвелъ ему подобающее и весьма выдающееся мѣсто въ своемъ преподаваніи.

Наконецъ, впечатлительная и не старѣющаяся ясность этого пытливаго ума прекрасно проявилась, еще за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти Боткина, въ разработкѣ поднятаго имъ вопроса о естественной и о преждевременной, вслѣдствіе болѣзней, т. е. о физiологической и патологической старости. Самое возбужденіе этой интересной и оригинальной темы такъ фактически дорисовываетъ иниціаторскую способность Боткина къ постановкѣ новыхъ наблюденій и умѣнье подойти къ возможно практическимъ выводамъ изъ нихъ,

что мы позволимъ заимствовать разсказъ о томъ изъ труда доктора Кадьяна «Населеніе С.-Петербургскихъ градскихъ богадѣленъ“, вышедшаго въ 1890 г. и посвященнаго памяти Боткина. Въ февралѣ 1889 г. среди призрѣваемыхъ городскихъ богадѣленъ обнаружено было три случая сыпнаго тифа; Боткинъ, какъ почетный попечитель, заѣхалъ въ богадѣльни, чтобы выяснить себѣ причину появленія эпидеміи, и при этомъ обратилъ вниманіе на недостаточность числа врачей, полагаемыхъ при учрежденіи, ихъ тамъ всего было двое; немедленно же объ этомъ онъ увѣдомилъ городскаго голову, указывая на необходимость увеличить медицинскій персоналъ и предлагая начать съ того, чтобы пригласить 10 опытныхъ врачей для предварительнаго осмотра всѣхъ призрѣваемыхъ и выдѣленія изъ нихъ больныхъ въ особую группу. Больничная комиссія нашла ходатайство Боткина заслуживающимъ полнаго уваженія и просила его самого принять на себя трудъ общаго наблюденія и руководства занятіями 10 командируемыхъ врачей, предоставивъ выборъ ихъ его усмотрѣнію. Боткинъ отобралъ благонадежныхъ молодыхъ врачей, пригласилъ ихъ къ себѣ и, познакомивъ съ предстоящимъ имъ дѣломъ, особенно развилъ передъ ними мысль, что не слѣдуетъ ограничиваться простымъ осмотромъ больнаго и дряхлаго населенія богадѣленъ, а надо обстоятельно изслѣдовать всѣхъ призрѣваемыхъ въ виду научнаго интереса, представляемаго изслѣдованіемъ большаго количества лицъ въ состояніи глубокой старости,—и тутъ же была составлена самая подробная программа изслѣдованія, обнимавшая собою не только патологическія уклоненія, но и тѣ физіологическія, какія старческій возрастъ приноситъ организму.

Здѣсь мы предоставимъ говорить доктору Кадьяну, которому поручено было разработать собранный такимъ образомъ матеріалъ; его слова намъ дороги, какъ слова очевидца этой послѣдней, предсмертной работы Боткина,

ибо показываютъ намъ, до какой степени и тутъ, когда злая болѣзнь уже точила его силы, онъ вполнѣ сохранялъ свою способность горячо отдаваться всякой новой научной цѣли, если посредствомъ ея надѣялся достигнуть положительныхъ результатовъ для науки и человѣчества, и какъ умѣлъ въ то же время своимъ искреннимъ и серьезнымъ отношенiемъ къ предпринятому дѣлу воодушевить всѣхъ своихъ сотрудниковъ; такъ напримѣръ, его увлеченiе дѣломъ въ данномъ случаѣ сообщилось не только участвовавшимъ врачамъ, до даже расшевелило и тѣхъ старцевъ, которые доживали свой вѣкъ въ богадѣльняхъ. „Дошедшiе до богадѣльни слухи о предполагавшемся осмотрѣ», говоритъ д-ръ Кадьянъ въ предисловiи къ изданному труду, «возбудили нѣкоторое безпокойство среди стариковъ и особенно старухъ; имъ представилось, что будутъ производить надъ ними страшные опыты: вѣсить, мѣрить, раздѣвать чуть не до нага, изслѣдовать всѣ органы и пр. Администрацiя богадѣльни, имѣя въ виду такое враждебное отношенiе призрѣваемыхъ къ изслѣдованiю, и сама стала относиться къ нему съ опасенiемъ. Но какъ только появился въ богадѣльнѣ С. П. Боткинъ, когда призрѣваемые познакомились съ молодыми врачами, присланными для ихъ изслѣдованiя, то всѣ страхи, всякiя предубѣжденiя исчезли сразу. Вполнѣ гуманное обращенiе командированныхъ врачей съ стариками и съ старухами, готовность ихъ потолковать о болѣзни и дать медицинскiй совѣтъ, привлекли къ нимъ симпатiи населенiя богадѣльни. Во все время, пока происходило изслѣдованiе, не было ни одного непрiятнаго столкновенiя между врачами и призрѣваемыми, все шло тихо и спокойно. Отказовъ отъ осмотра не было совсѣмъ, кромѣ одного случая —старухи 79 лѣтъ, но въ виду 2.600 осмотровъ, объ одномъ не стоитъ и говорить». Далѣе-дръ Кадьянъ разсказываетъ, какъ общiй интересъ, возбужденный этой работой, охватилъ не только высшiй персоналъ бога-

дѣльни, надзирателей и надзирательницъ, но даже между богадѣльщиками нашлись такіе, которые взялись охотно помогать врачамъ, взвѣшивать товарищей и вообще оказывать посильныя услуги и, благодаря такому дружному содѣйствію, вся эта сложная работа была закончена въ мѣсяцъ съ небольшимъ. «Принимая порученіе», продолжаетъ д-ръ Кадьянъ, «возложенное на меня городской комиссіей, разобрать матеріалъ, полученный отъ изслѣдованія, я разсчитывалъ, что моимъ руководителемъ будетъ Сергѣй Петровичъ Боткинъ, что онъ дастъ моему труду направленіе наиболѣе плодотворное и подъ вліяніемъ его указаній получатся выводы болѣе или менѣе важные, во всякомъ случаѣ интересные, что онъ, такъ сказать, одухотворитъ всю работу, дастъ жизнь и значеніе статистическимъ цифрамъ. Моя надежда на это еще болѣе усилилась, когда я увидалъ на дѣлѣ, съ какимъ интересомъ С. П. Боткинъ относился къ изслѣдованію стариковъ и старухъ; онъ часто пріѣзжалъ въ богадѣльню, внимательно слѣдилъ за работой молодыхъ врачей, разрѣшалъ ихъ недоразумѣнія, дѣлалъ имъ различныя указанія, обращалъ ихъ вниманіе на спорные вопросы въ отношеніи старости, на тѣ явленія, которыя заслуживаютъ изученія и представляютъ особенную важность и интересъ. С. П. зачастую по цѣлымъ часамъ развивалъ передъ ними свои взгляды на старческія измѣненія, совершающіяся въ организмѣ; излагалъ свои соображенія о старости, все ученіе о которой ему представлялось незаконченнымъ, неразработаннымъ, явленія старости далеко не изученными. Контора богадѣльни обращалась въ аудиторію, и проф. Боткинъ прочитывалъ цѣлыя лекціи, такія же ясныя, вразумительныя и прекрасныя, какъ и тѣ, которыми мы заслушивались, еще будучи студентами. Жаль, что онѣ не записаны».

Приведенная выдержка не только лишній разъ подтверждаетъ неутомимую дѣятельность Боткина и то страстное и въ то же время настойчивое, а не скоро

охлаждающееся, отношеніе къ предпринятому дѣлу, какое онъ вносилъ во множество работъ, задуманныхъ имъ втеченіе 30-лѣтняго профессорскаго поприща,—она притомъ фактически доказываетъ намъ его великое значеніе какъ ученаго и объясняетъ, почему его преждевременная смерть составляетъ такую тяжелую и незамѣнимую потерю для науки. Такъ, въ данномъ случаѣ, мало того, что починъ труда принадлежитъ цѣликомъ Боткину, что онъ самъ организуетъ его и дѣятельно содѣйствуетъ его исполненію подробными указаніями — опубликованые результаты служатъ яснымъ свидѣтельствомъ, что затѣянная и исполненная работа потеряла, по причинѣ его смерти, въ значительной степени тотъ научный смыслъ, который получила бы, если бы была окончена при его жизни. Мѣ можемъ только догадываться, что предпринимая это изслѣдованіе, Боткинъ намѣтилъ себѣ уже нѣкоторыя изъ сторонъ его, которыя имѣлъ въ виду разработать и выяснить при помощи его; такъ, съ этой цѣлью онъ обратилъ особенно вниманіе на изученіе у богадѣльщиковъ старческой одышки и подвижности сердца въ старческомъ возрастѣ, поручивъ спеціально изслѣдовать ихъ двумъ изъ соучастниковъ—докторамъ Кудревецкому и Волкову. Но одухотворитель работы умеръ, а съ нимъ погибла и разработка этихъ вопросовъ; въ результатѣ изслѣдованія получился почтенный трудъ, богатый цифровымъ и старательно подобраннымъ матеріаломъ, но матеріалу этому долго суждено оставаться въ сыромъ видѣ, потому что для его окончательной обработки и извлеченія изъ него необходимыхъ выводовъ нуженъ былъ самъ Боткинъ съ его наблюдательностью, съ его широкимъ обобщающимъ умомъ, съ огромными знаніями, а сочетаніе всѣхъ такихъ свойствъ въ одномъ лицѣ является у насъ покуда весьма рѣдкимъ исключеніемъ. Такъ эта предсмертная работа Боткина и остается недопѣтой лебединой пѣснью нашего ученаго.

VIII.

Первые признаки болѣзни.—Потеря малютки сына.—Поѣздка въ Біаррицъ.—Пребываніе въ Парижѣ.—Поѣздка на Принцевы острова.—Ухудшеніе болѣзни.—Пребываніе на югѣ Франціи—Смерть.

Такимъ образомъ, когда Боткинъ находился въ апогеѣ своей дѣятельности, когда умственная и нравственная его энергія сохранялись на степени молодыхъ силъ, и Россія могла ожидать отъ него еще много неоцѣнимыхъ ученыхъ, преподавательскихъ и общественныхъ услугъ, физическое его здоровье стало замѣтно разстроиваться и внушать опасенія его семьѣ и друзьямъ. Какъ ни былъ крѣпокъ его организмъ отъ рожденія, однако, вслѣдствіе какихъ-то причинъ и, вѣроятнѣе всего, постоянной, чрезмѣрной мозговой работы, мало подвижнаго и черезъ-чуръ сидячаго образа жизни, а также пренебреженной діэтетики въ годы первой молодости, образцовымъ его признать было нельзя, такъ какъ онъ подвергался нерѣдкимъ заболѣваніямъ. Раньше было говорено о желчной коликѣ, которая со времени пребыванія въ Берлинѣ, преслѣдовала его всю жизнь, то въ формѣ острыхъ болевыхъ припадковъ съ болѣе или менѣе продолжительными перерывами, то въ формѣ тяжелаго желудочнаго пищеваренія; это обстоятельство, подъ страхомъ повторенія жестокихъ болей, заставляло его быть осмотрительнѣе и строже соблюдать нужныя гигіеническія правила; такъ, въ употребленіи пищи и вина онъ не выходилъ изъ рамокъ умѣренности; наклонности же къ общему ожирѣнію, какъ послѣдствію сидячей жизни, старался противодѣйствовать, во время лѣтняго отдыха, большими прогулками пѣшкомъ или верхомъ, а зимой давно поставилъ себѣ за правило отпускать съ послѣдней консультаціи экипажъ и возвращаться домой къ обѣду пѣшкомъ,—и его каждый день

можно было встрѣтить въ седьмомъ часу вечера, быстро идущимъ по улицѣ своей раскачивающейся походкой, съ заложенными за спину руками съ тростью, всегда съ задумчивой опущенной головой и разсѣянно отвѣчающимъ на поклоны многочисленныхъ знакомыхъ. Этими мѣрами и частыми поѣздками въ Карлсбадъ и на морскія купанья его здоровье поддерживалось весьма удовлетворительно,—и только исторія съ Ветлянской чумой впервые вывела его нервную систему изъ того замѣчательнаго равновѣсія, въ какомъ она всегда находилась и къ которому съ тѣхъ поръ болѣе не возвращалась,—и весьма возможно, что д-ръ Н. И. Соколовъ правъ, относя къ этому времени начало сердечнаго разстройства Боткина.

Въ 1882 г., въ разгаръ зимнихъ занятій, впервые сдѣлался у него сильный припадокъ грудной жабы въ формѣ мучительнаго стѣсненія въ груди и удушья, продолжавшихся трое сутокъ, котрые онъ провелъ неподвижно въ креслѣ. Случись такой припадокъ съ кѣмъ нибудь изъ его паціентовъ, Боткинъ придалъ бы ему навѣрное очень важное значеніе, посовѣтовалъ бы прекратить чрезмѣрныя занятія, поѣхать въ теплый климатъ и т. п.; мы уже не говоримъ о томъ, что врачамъ самимъ обыкновенно свойственно, по роду ихъ знаній и занятій, преувеличивать значеніе собственныхъ болѣзненныхъ припадковъ и обращать на нихъ не въ мѣру должное вниманіе. Но Боткинъ, чуждый всякаго субъективизма и поглощенный заботами о здоровьи другихъ, отнесся и тутъ совсѣмъ своеобразно къ болѣзненной перемѣнѣ въ своемъ организмѣ,—и этимъ какъ бы оправдалъ на себѣ то опредѣленіе геніальности, какое далъ ей Шопенгауеръ, а именно, что это есть способность, при служеніи идеѣ своими познаніями, совершенно упускать изъ виду собственный интересъ и собственныя цѣли. Какъ только ему стало легче и явилась возможность двигаться, онъ тотчасъ поѣхалъ въ клинику, съ визи-

тами по больнымъ, приписавъ собственный припадокъ временному нервному разстройству сердца подъ вліяніемъ присутствія камешковъ въ желчномъ пузырѣ и думая легко поправить свое нездоровье на свободѣ во время лѣтняго отдыха. Какъ разъ съ этого года онъ сталъ уѣзжать на лѣто въ Финляндію на купленную имъ мызу въ 3—4 часахъ ѣзды отъ Петербурга,—и такое удаленіе его отъ столицы и отъ больныхъ давало ему значительно больше досуга, который онъ сталъ употреблять на длинныя прогулки, разныя мускульныя работы, занимаясь, напримѣръ, и обыкновенно вмѣстѣ съ семьей, то уборкой сѣна, то поливкой обширнаго сада и т. п. Ему, какъ домовитому семьянину, эта идилическая жизнь въ тѣсномъ кругу семьи, въ противоположность его городской суетѣ, теперь такъ пришлась по вкусу, что онъ прожилъ нѣсколько каникулъ сподрядъ въ этомъ финляндскомъ имѣніи и, за нравственнымъ удовлетвореніемъ такимъ отдыхомъ, находилъ, что здоровье его значительно поправилось, хотя припадки грудной жабы продолжали повторяться, но рѣдко и въ болѣе легкой степени.

Въ одно изъ этихъ пребываній въ Финляндіи, именно въ началѣ іюля 1886 г., его посѣтила семейная бѣда: умеръ его 5 лѣтній сынъ, котораго онъ боготворилъ, и умеръ такъ быстро, что отецъ не былъ приготовленъ къ такой внезапной потерѣ, а потому горе его не имѣло границъ. Чтобы показать глубину родительской нѣжности къ умершему малюткѣ, приведемъ небольшой отрывокъ изъ письма Боткина, писаннаго вскорѣ послѣ постигшаго его несчастія. Разсказавъ о нѣкоторыхъ загадочныхъ мозговыхъ явленіяхъ, подмѣченныхъ еще за годъ до смерти не по лѣтамъ развитаго ребенка, онъ продолжаетъ: «мы съ женой чуяли бѣду; не высказывая другъ другу своихъ опасеній, мы только все болѣе и болѣе привязывались къ этому гостю между нами. Постоянное чувство страха за его жизнь было такъ сильно,

что я не могъ встрѣтить ни одного гроба ребенка, чтобы не вспомнить о Лялѣ; въ прогулкахъ, при видѣ ямы или колодца, первою моею мыслью было, гдѣ Ляля, какъ бы онъ не попалъ въ колодецъ и т. п. Всю зиму онъ провелъ въ нашей спальнѣ, и при первомъ его движенiи ночью, то я, то мать—были около него,—и сколько любви, сколько сердца давалъ онъ намъ за это вниманiе! сколько нѣжныхъ, милыхъ словъ умѣлъ онъ сказать мнѣ и мамѣ, сколько теплоты умѣлъ выразить въ теченiе своей короткой жизни! И отъ всего этого остались одни только воспоминанiя!»—Подъ влiянiемъ этого нравственнаго потрясенiя, у Боткина тотчасъ же возобновились припадки сердечной жабы, сначала въ легкой степени, но вскорѣ разразились сильнѣйшимъ приступомъ, продолжавшимся пять дней, послѣ котораго онъ долго не могъ вернуться къ прежнимъ силамъ. Когда же, поправившись, онъ во второй половинѣ сентября переселился въ Петербургъ, знакомые, невидавшiе его съ весны, были поражены происшедшей въ немъ перемѣной: онъ сильно посѣдѣлъ и постарѣлъ, и душевное, глубоко затаенное горе, не смотря на самообладанiе и желанiе казаться покойнымъ, безпрестанно выдавало себя то дрогнувшимъ въ разговорѣ голосомъ, то временнымъ выраженiемъ тяжелой тоски на лицѣ; въ семьѣ также стали замѣчать нѣкоторую раздражительность не свойственную его обыкновенно ровному, миролюбивому характеру.—Къ лекцiямъ онъ приступилъ со страхомъ, что у него не хватитъ силъ на дорогое ему дѣло, и первыя двѣ недѣли ему пришлось вести ихъ съ большими усилiями и напряженiемъ, впервые сидя, а не стоя, какъ бывало прежде, но мало по малу онъ втянулся и не только довелъ семестръ благополучно и не пропустилъ ни одной лекцiи до конца, но не убавилъ при этомъ нисколько и своихъ другихъ внѣклиническихъ занятiй. Какъ ни трудно было Боткину признать себя больнымъ, какъ ни старался онъ объяснить свои при-

падки присутствіемъ желчныхъ камней, все поджидая, что ущемившійся камень вотъ-вотъ проскочитъ и его прежнее, прекрасное самочувствіе снова сразу возстановится, однако въ 1887 г. онъ, наконецъ, рѣшился измѣнить своей 7 лѣтней безвыѣздной жизни въ Россіи и отправиться на морскія купанья въ Біаррицъ, хотя и тогда уже не было недостатка въ предупрежденіяхъ со стороны близкихъ врачей, что купанья эти едва ли ему могутъ принести пользу, что, напротивъ, съ ними надо быть осторожнымъ, особенно послѣ того, какъ не задолго до выѣзда изъ Россіи у него открылось легочное кровотеченіе, правда, небольшое. И дѣйствительно, первая же попытка выкупаться въ морѣ вызвала такое сильное удушье, что продолжать далѣе купанья было невозможно—и онъ надумалъ замѣнить ихъ холодными душами, благопріятный эффектъ которыхъ на первое время ему показался чудотворнымъ. О его тогдашнемъ настроеніи лучше всего свидѣтельствуетъ слѣдующее мѣсто его письма изъ Біаррица отъ 20 октября 1887 г.: «я еще не отъ одного средства не видалъ на себѣ ни разу такого блистательнаго дѣйствія, какъ отъ душей; не могу передать того ощущенія счастья, когда я почувствовалъ себя освобождающимся отъ какихъ то пудовъ, которые давили меня и душили немилосердно; теперь я хожу совершенно свободно и даже послѣ сытнаго обѣда могу подниматься въ гору; сонъ, кашель, аппетитъ—все стало лучше. Я потому и не писалъ тебѣ такъ долго, что не могъ сообщить ничего утѣшительнаго. Проѣхать черезъ всю Европу съ надеждой найдти облегченіе въ купаньяхъ—и такъ оборваться сразу, чувствовать надъ собой постоянный гнетъ отъ невозможности двигаться свободно, чувствовать и осязать начинающееся разрушеніе своего тѣла,—все это ложилось до такой степени тяжело на мое нравственное настроеніе, что дѣлиться этимъ съ друзьями не хотѣлось. Теперь я снова сталъ человѣкомъ, и мнѣ настолько лучше, что съ удовольствіемъ подумываю о будущей зимѣ въ Петербургѣ».

Таково уже было свойство этой рабочей натуры; чуть только перемежались его мучительные припадки и ему дышалось свободнѣе, мыслительныя его способности начинали работать усиленно, какъ бы стараясь вознаградить себя за упущенное время, въ головѣ зарождались новые вопросы и планы новыхъ работъ, которыхъ рѣшеніе ему хотѣлось двинуть немедленно, провѣрить и разработать въ клиникѣ,—и онъ страстно стремился поскорѣе домой къ своему дѣлу. Такъ и теперь; едва его самочувствіе стало лучше, онъ покинулъ Біаррицъ, около 15 ноября переѣхалъ въ Парижъ и безповоротно рѣшилъ вернуться въ Петербургъ, вопреки увѣщаніямъ и совѣтамъ друзей, видѣвшихъ, что облегченіе это было временное, не прочное и скорѣе субъективное, такъ какъ дѣятельность сердца продолжала оставаться весьма неправильной и припадки удушья на ходьбѣ возобновлялись безпрестанно. Но Боткинъ не хотѣлъ знать себя больнымъ, старался по возможности скрыть свои припадки отъ самыхъ близкихъ людей, чтобы избѣгнуть ихъ тревожныхъ совѣтовъ,—и силой своей огромной воли достигнулъ того, что, не смотря на совсѣмъ пошатнувшееся здоровье, провелъ около 3 недѣль въ Парижѣ въ такой хлопотливой дѣятельности, которая могла бы измучить и свалить съ ногъ самаго здороваго человѣка. Съ ранняго утра онъ принимался за осмотръ многочисленныхъ парижскихъ больницъ, посѣщалъ лекціи и перезнакомился со всѣми клиницистами внутреннихъ болѣзней, со стороны которыхъ встрѣтилъ самый почетный пріемъ; такъ, между прочимъ, проф. Шарко объявилъ студентамъ на лекціи, на которую самъ привезъ Боткина, объ его присутствіи въ такихъ лестныхъ выраженіяхъ, что аудиторія огласилась сочувственными рукоплесканіями. Большинство профессоровъ устроивало въ честь его банкеты, отъ которыхъ невозможно было отказаться, и рѣдкій день онъ могъ отдохнуть и спокойно пообѣдать въ кругу своей семьи и близкихъ.

Чтобы дать приблизительное понятіе объ этихъ церемоніальныхъ банкетахъ, пользуемся коротенькимъ описаніемъ одного изъ нихъ, сдѣланнымъ Боткинымъ въ письмѣ изъ Парижа: «обѣдъ у проф. Germain Sée, хотя и былъ порядочно скученъ, но тѣмъ не менѣе весьма интересенъ. За парадным столомъ сидѣло 24 человѣка приглашенныхъ, посрединѣ его стояла корзина цвѣтовъ, украшенная русскими и французскими флагами; меня посадили около хозяйки дома, хозяинъ сидѣлъ съ Жюль Ферри; врачей почти не было, а были два члена академіи наукъ, астрономъ и математикъ, редакторы газетъ Débats и Liberté, адмиралъ-генералъ, какой-то чиновникъ президента Греви; за обѣдомъ общаго разговора не было, а больше пробавлялись бесѣдами съ сосѣдями. Въ концѣ обѣда былъ сказанъ любезный тостъ за мое здоровье, къ счастію, безъ политическихъ намековъ,—и только послѣ стола ко мнѣ подошелъ Ж. Ферри съ политическимъ разговоромъ, въ которомъ онъ старался познакомить меня съ своими взглядами на высшую политику. Разговора этого не передаю, ты самъ можешь его очень хорошо представить, зная Ферри лучше меня». Видя Боткина въ этой лихорадочной суетѣ парижскаго дня, подѣленнаго съ утра до вечера между внимательнымъ изученіемъ клиникъ и болѣе или менѣе утомительными обѣдами съ ихъ изысканными блюдами и тонкими винами, слушая, съ какимъ увлеченіемъ и живостью, по возвращеніи лишь поздно вечеромъ домой, передавалъ онъ въ подробности всѣ малѣйшія свои впечатлѣнія, никому бы въ голову не пришло, что это—человѣкъ, на котораго неизлѣчимый недугъ наложилъ свою руку и обрекъ на неизбѣжную смерть.

И не только онъ прекрасно, по крайней мѣрѣ по субъективному ощущенію, вынесъ Парижъ, но, вернувшись въ Петербургъ, провелъ всю зиму въ безпрерывныхъ занятіяхъ, ни на волосъ не уменьшивъ ихъ, хотя д-ръ Н. И. Соколовъ слѣдующей весной при изслѣдо-

ваніи нашелъ, что болѣзнь сдѣлала большой шагъ впередъ. Все лѣто 1888 г. прошло для него далеко менѣе удовлетворительно, чѣмъ зима; притомъ тяжко захворала одна изъ его дѣвочекъ, а мы уже знаемъ, какой онъ былъ нѣжный и страстный отецъ, и понятно, что продолжительная тревога за жизнь ребенка не могла не дѣйствовать неблагопріятно на больное сердце, да къ тому же эта болѣзнь заставляла постепенно откладывать предположенный выѣздъ за границу. Наконецъ, когда дѣвочка вышла изъ опасности, наступилъ сентябрь, ѣхать въ Біаррицъ было поздно,—и онъ надумалъ пуститься въ Константинополь, на Принцевы острова, покупаться въ Мраморномъ морѣ и, если ему не станетъ лучше, проѣхать въ Египетъ. Но на этотъ разъ купанье вышло гораздо удачнѣе, удушье дѣлалось гораздо рѣже и стало менѣе мучительно, онъ почувствовалъ себя бодрѣе и получилъ возможность скоро двигаться, а это укрѣпило его въ убѣжденіи, что сердце его здорово и припадки удушья происходятъ только отъ ненормальной возбудимости сердечныхъ нервовъ. Съ улучшеніемъ къ нему тотчасъ вернулась вся его дѣятельная энергія, и онъ, воспользовавшись перерывомъ въ купаньяхъ вслѣдствіе дурной погоды, перебрался съ Принцевыхъ острововъ въ Константинополь на недѣлю и принялся за изученіе военно-медицинской школы и за осмотръ больницъ съ тѣмъ же вниманіемъ и съ тою же любознательностью, какъ, годомъ раньше, то было въ Парижѣ.

Послѣдняя зима его, по возвращеніи домой, прошла со стороны внѣшней его дѣятельности вполнѣ безукоризненно, безъ малѣйшаго послабленія ея въ пользу болѣзни: кромѣ занятій по клиникѣ, по частной практикѣ, кромѣ наблюденія за барачной и другими городскими больницами, кромѣ новой научной работы въ богадѣльнѣ, упомянутой выше, Боткинъ былъ въ числѣ организаторовъ 3 съѣзда врачей, являясь не только на дневныя, но и на вечернія его собранія. Клинику свою

онъ велъ со всегдашнимъ своимъ рвеніемъ и увлеченіемъ: «мой учебный сезонъ я провелъ хорошо и окончивъ его, даже не чувствовалъ усталости; бывало, поѣдешь въ клинику, прочтешь лекцію и освѣжишься иногда на цѣлый день», говоритъ онъ въ письмѣ отъ 6 апрѣля 1889 г. изъ Петербурга. Страсть къ преподаванію до того подавляла въ немъ тѣлесную немощь, что онъ самъ какъ бы старался не замѣчать, какъ припадки стали захватывать его и во время лекцій, а между тѣмъ зоркій и заботливый глазъ его старшаго сына—доктора, дрожавшаго за жизнь отца и, въ званіи ассистента, постоянно присутствовавшаго на его лекціяхъ, неоднократно подмѣчалъ, какъ въ пылу увлеченія преподаваніемъ, у отца дѣлался припадокъ грудной жабы, какъ онъ блѣднѣлъ, голосъ становился глуше и прерывистѣе отъ спазматическаго дыханія, рука безпрестанно вытирала выступавшій на лбу крупными каплями потъ, но мощная сила воли быстро покоряла эту слабость сердца, и голосъ лектора снова, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжалъ громко, твердо и увѣренно развивать свою мысль передъ слушателями, которые и не предполагали, какія мучительныя мгновенія только что пережилъ ихъ профессоръ. По окончаніи же учебнаго семестра, когда лекціи, этотъ главный возбудитель его нравственной энергіи, прекратили свое оживляющее вліяніе, и Боткинъ получилъ досугъ болѣе внимательно отнестись къ своей болѣзни, онъ не могъ не замѣтить ея ухудшенія и, все продолжая не допускать органическаго разстройства сердца, а доискиваться причинъ припадковъ внѣ его, приписалъ усиленіе грудной жабы, кромѣ отраженія со стороны желчнаго пузыря, еще отравленію никотиномъ и прекратилъ курить.

Выѣхалъ онъ въ это лѣто нѣсколько раньше за границу и отправился сначала въ городокъ Тунъ въ Швейцаріи; здѣсь онъ хотѣлъ было въ видѣ лѣченія попробовать методическое восхожденіе по горамъ, но такъ какъ

наступалъ уже конецъ августа, а съ нимъ установилась свѣжая и сырая погода въ Бернскомъ кантонѣ, то онъ на первыхъ порахъ почувствовалъ себя такъ не хорошо, что оставилъ этотъ планъ, и тутъ не рѣдко стали на него находить минуты сомнѣнія въ полномъ своемъ выздоровленіи. Особенно тяжела была для него мысль, что ему придется отказаться отъ клиническаго преподаванія, однако и съ ней онъ сталъ примиряться и убаюкивать себя надеждой, что взамѣнъ клиники онъ откроетъ курсы для врачей въ одной изъ городскихъ больницъ. Невыразимо тяжело и больно было видѣть, какъ этотъ мощный и по наружному виду здоровый человѣкъ, въ полномъ обладаніи своихъ необыкновенныхъ умственныхъ способностей, съ его неутомимой жаждой дѣятельности, постоянно погруженный въ обдумываніе разныхъ плановъ для будущихъ работъ, имѣвшихъ въ виду всегда или научныя, или общественныя и никогда не личныя цѣли, вдругъ вынужденъ былъ вспомнить о своемъ недугѣ и сознавать, что недугъ этотъ сковалъ его, какъ цѣпи, и обрекаетъ на неподвижность и на бездѣйствіе. Всѣ помыслы его устремлены на то, какъ бы поскорѣе вернуться въ Петербургъ къ любимымъ занятіямъ и въ тоже время онъ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе убѣждается, что при такомъ состояніи ему вернуться немыслимо, что предварительно надо нѣсколько поправиться,—и вотъ онъ лихорадочно начинаетъ метаться по Европѣ, стараясь отыскать такое климатическое мѣсто и такія условія, которыя дали бы поскорѣе эту возможность возврата домой, избавивъ хоть немного отъ угнетающаго его удушья. Черезъ Парижъ, гдѣ онъ находилъ еще въ себѣ достаточно силъ, чтобы бѣгло осмотрѣть всемірную выставку и прійдти въ восхищеніе отъ грандіознаго изящества Эйфелевой башни и зданія машинъ, онъ ѣдетъ въ Аркашонъ и, по мѣрѣ того, какъ ему становится все хуже и хуже, перемѣняетъ его на Біаррицъ, потомъ — на

Ницщу и наконецъ, послѣ 10 дневнаго пребыванія въ послѣдней, переѣзжаетъ въ Ментону. Между тѣмъ болѣзненные припадки продолжали быстро усиливаться и стали одолѣвать его до того, что въ Ниццѣ, напримѣръ, онъ всѣ ночи проводилъ въ креслѣ, не будучи въ состояніи заснуть въ кровати.

По переѣздѣ въ Ментону, Боткинъ подвергнулъ себя молочному лѣченію, и, подъ вліяніемъ его, ему сдѣлалось замѣтно лучше: онъ снова сталъ спать въ кровати, могъ гулять по набережной моря и доходить до публичнаго сада, гдѣ, усѣвшись на скамейку, слушалъ музыку и наблюдалъ гуляющую публику. До 18 ноября онъ продолжалъ принимать у себя осаждавшихъ его больныхъ, но съ этого дня замѣтилъ, что осмотры эти сильно утомляютъ его и прекратилъ ихъ. Молочное лѣченіе черезъ 10 дней такъ ему опротивѣло, что онъ не хотѣлъ его продолжать и хотя не отрицалъ полученнаго отъ него облегченія, но относился къ нему съ недовѣріемъ, боясь вызвать настойчивымъ употребленіемъ молока припадки желчной колики. Онъ такъ упорно стоялъ на своемъ взглядѣ на собственную болѣзнь, что никакими увѣщаніями нельзя было уговорить его испытать лѣченіе, направленное непосредственно на укрѣпленіе сердечной дѣятельности: всѣ такія уговариванія его только раздражали, и врачамъ, наблюдавшимъ за нимъ и ясно видѣвшимъ, что болѣзнь зашла такъ далеко, когда на сердечную терапію расчитывать было поздно, ничего не оставалось, какъ предоставить ему самому распоряжаться своимъ лѣченіемъ. Однажды, подъ вліяніемъ этихъ увѣщаній, ему захотѣлось самому выслушать свое сердце; пришлось ему дать стетоскопъ, изобрѣтенный для самовыслушиванія, и онъ, прислушавшись не долго, но съ большимъ вниманіемъ, отдалъ поспѣшно инструментъ обратно со словами: „да, шумокъ довольно рѣзкій!“ и съ тѣхъ поръ больше не повторялъ такого самоизслѣдованія. Несомнѣнно, что по временамъ

онъ самъ сознавалъ возможность самостоятельной болѣзни сердца, но гналъ эту мысль поскорѣе прочь, какъ неразрывно связанную если не со смертью, то съ такимъ положеніемъ инвалида, съ какимъ онъ не могъ примириться ни въ силу дѣятельнаго состоянія своего мозга, ни въ силу своей страстной привычки къ труду, ибо подобное положеніе было для него хуже смерти. Настаивая на лѣченіи желчныхъ камней, онъ однажды прямо выразился: «вѣдь это моя единственная зацѣпка; если у меня самостоятельная болѣзнь сердца, то вѣдь я пропалъ; если же оно функціональное, отраженное отъ желчнаго пузыря, то я могу еще выкарабкаться».

По прекращеніи молочной діэты, удушья, особенно по ночамъ, снова стали такъ мучительны, что 27 ноября Боткинъ сдѣлалъ первое подкожное впрыскиваніе морфія, произведшее на него самое пріятное впечатлѣніе долгимъ перерывомъ удушья и такимъ освѣжающимъ сномъ, что, проснувшись на завтра, онъ чувствовалъ себя необыкновенно бодрымъ, не хотѣлъ вѣрить серьезности своей болѣзни и снова заговорилъ объ академіи и о лекціяхъ; но въ тотъ же день, за общимъ семейнымъ обѣдомъ, во время кашля у него открылось довольно обильное кровохарканье, какъ слѣдствіе свѣжей закупорки легочныхъ сосудовъ по причинѣ ослабленія сердечной дѣятельности. Съ этого времени Боткинъ слегъ окончательно въ постель и только первые дни выходилъ на полчаса въ гостиную, покуда дѣлалась уборка спальни, а впослѣдствіи перебирался на короткое время въ кресло въ той же комнатѣ и полулежалъ, обложившись подушками. Начиная предвидѣть возможность смерти, онъ вызвалъ изъ Петербурга брата—художника, всѣхъ взрослыхъ сыновей и замужнюю дочь съ зятемъ—докторомъ Бородулинымъ и былъ чрезвычайно обрадованъ свиданіемъ съ дорогими ему существами; надежда однако же не покидала больнаго, и, въ виду настойчиваго его желанія, былъ приглашенъ изъ

Бирмингэма извѣстный англійскій хирургъ Лаусонъ Тэтъ (Lawson Tait) прославившійся спеціально цѣлой серіей блестящихъ и удачныхъ удаленій желчныхъ камней оперативнымъ путемъ. Лаусонъ Тэтъ пріѣхалъ въ Ментону 15 декабря и, изслѣдуя, довольно ясно прощупалъ камень, ущемленный въ одномъ изъ желчныхъ протоковъ, но произвести операцію рѣшительно отказался по причинѣ большой вялости сердечной мышцы. Для Боткина отказъ этотъ былъ равнозначущъ смертельному приговору, хотя не вызвалъ въ немъ никакихъ проявленій отчаянія или угнетенія; съ этого дня онъ какъ-бы махнулъ рукой на все и съ замѣчательнымъ спокойствіемъ отдался роковому теченію болѣзни, былъ по прежнему нѣженъ и кротокъ со всѣми окружающими и, въ минуты свободныя отъ страданій, находилъ еще истинное наслажденіе, лежа у открытаго окна, любоваться южнымъ безоблачнымъ небомъ и чудными красками Средиземнаго моря. Теперь окружающимъ уже не составляло никакого труда уговорить его посовѣтоваться съ знаменитымъ германскимъ профессоромъ Куссмаулемъ, который немедленно по приглашенію пріѣхалъ изъ Гейдельберга 19 декабря; но ухудшеніе шло такъ быстро, что даже задержать смертельный исходъ не представлялось никакой возможности, и онъ наступилъ 24 декабря 1889 г. въ $12^1/_2$ часа дня послѣ безпокойной ночи, сопровождавшейся бредомъ, попытками соскакивать съ постели и т. п. Съ 7 часовъ утра началась агонія,—и смерть унесла съ земли своего непримиримаго врага, вся жизнь котораго, какъ мы видимъ и изъ этого краткаго и далеко не полнаго описанія ея, была исключительно посвящена борьбѣ съ болѣзнями человѣчества, и унесла въ такомъ періодѣ этой жизни и въ такомъ полномъ развитіи его умственныхъ и нравственныхъ силъ и дарованій, что онъ могъ бы еще много лѣтъ служить живымъ образцомъ русскаго генія и плодотворно работать на благо родины, наукъ и больныхъ.

Мы находимъ слишкомъ спеціальнымъ вдаваться здѣсь въ подробный результатъ вскрытія тѣла умершаго; желающіе ознакомиться подробнѣе найдутъ полный отчетъ о немъ въ статьѣ Н. И. Соколова «Исторія болѣзни С. П. Боткина», помѣщенной въ №№ 1-мъ и 2-мъ «Больничной газеты Боткина» за 1891 годъ; скажемъ только коротко, что при вскрытіи найдено, какъ это и было распознано при жизни, весьма значительное жировое перерожденіе сердечной мышцы, развившееся вслѣдствіе давнихъ известковыхъ отложеній въ вѣнечныя артеріи и весьма съуживавшихъ ихъ просвѣтъ, отчего приносимой по нимъ крови поступало недостаточно для нормальнаго питанія сердца; ткань печени почти не представляла болѣзненныхъ измѣненій, въ желчномъ пузырѣ найдено множество свободно лежавшихъ въ немъ мелкихъ желчныхъ камней, такъ что присутствіе ихъ не имѣло существеннаго, первенствующаго значенія въ конечныхъ фазисахъ болѣзни, убившей Боткина, и удаленіе ихъ оперативнымъ путемъ не могло ни продлить его жизни, ни, тѣмъ болѣе, излѣчить его.

Что Боткинъ дѣлалъ неправильное представленіе о собственной болѣзни, конечно, не можетъ говорить противъ его достоинства какъ превосходнаго и безукоризненнаго діагноста, а истекаетъ изъ тѣхъ свойствъ человѣческой натуры, по которымъ никто не можетъ быть судьей въ своемъ собственномъ дѣлѣ и въ силу которыхъ ни одинъ врачъ при серьезномъ заболѣваніи никогда не можетъ лѣчить самого себя. Остается отвѣтить еще на одинъ возможный представиться вопросъ: могла ли бы жизнь Боткина быть спасена, если бы онъ подвергъ себя своевременно цѣлесообразному лѣченію? но это вопросъ праздный, потому что отвѣтъ на него не можетъ быть данъ точный, а только болѣе или менѣе гадательный, такъ какъ въ предсказаніи и въ лѣченіи больныхъ абсолютныхъ истинъ нѣтъ. Возможно, что если бы при первыхъ проявленіяхъ сердечнаго разстрой-

ства, т. е. примѣрно въ 1882 г., Боткинъ подчинился бы тому режиму, какой онъ непремѣнно предписалъ бы всякому больному, обратившемуся къ нему за помощью при подобныхъ болѣзненныхъ припадкахъ, его жизнь могла быть продлена, на это такой режимъ, котораго, ни по характеру всей предшествовавшей дѣятельности, ни по своей натурѣ и особенно по дѣятельному состоянію своего мозга, Боткинъ рѣшительно не въ состояніи былъ бы вынести; для этого прежде всего потребовалась бы полная перемѣна образа жизни, уклоненіе отъ всякихъ волнующихъ занятій, обреченіе себя на бездѣйствіе,—и Боткинъ былъ бы не Боткинъ, если бы онъ согласился на такія требованія *).

---

*) Добавимъ къ приведенному очерку, что стараніемъ Н. А. Бѣлоголоваго воздвигнутъ Боткину достойный его памятникъ. Въ 1860 г. по случаю десятилѣтія профессорской дѣятельности Боткина было рѣшено среди его почитателей собрать, путемъ ежегодныхъ взносовъ, капиталъ на открытіе школы его имени. Хлопоты по этому дѣлу взялъ на себя Бѣлоголовый. Сначала дѣло шло довольно успѣшно, но впослѣдствіи участники стали вносить неаккуратно свои доли. Но благодаря терпѣнію и настойчивости Бѣлоголоваго, ему удалось до отъѣзда за-границу собрать капиталъ около 20.000 руб.—Послѣ смерти Боткина капиталъ былъ нѣсколько пополненъ и внесенъ въ С.-Петербургскую Городскую Думу, которая соорудила на эти деньги образцовое зданіе для городскаго училища.

Г. Д.

Болѣзнь Николая Алексѣевича Некрасова.

Я познакомился съ Николаемъ Алексѣевичемъ Некрасовымъ зимой 1872—1873 года, когда онъ пришелъ ко мнѣ посовѣтоваться о своемъ здоровьи; входя, какъ теперь помню, онъ обратился ко мнѣ со словами: „Вы меня примите, отецъ, подъ свою команду, почините". Починка въ это время оказалась не существенная; онъ чувствовалъ какую-то неловкость въ горлѣ, гдѣ, при изслѣдованіи, я нашелъ на задней стѣнкѣ глотки за лѣвой дугой затвердѣлую слизистую железку съ довольно живой краснотой въ окружности (Pharyngitis granulosa). Приэтомъ, я сдѣлалъ полный осмотръ тѣла и нашелъ, что организмъ для 52 лѣтъ сохранился изрядно; въ легкихъ—въ правой подключичной впадинѣ былъ небольшой выдыхъ, который, видимо, зависѣлъ отъ стараго давно бывшаго процесса и не имѣлъ никакого значенія. Животъ представлялся нѣсколько вздутымъ, печень доходила до края реберъ и лѣвая доля, при поколачиваніи, чувствительной. Николай Алексѣевичъ ужъ и тогда жаловался на неправильность кишечныхъ отправленій, вѣтры и наклонность къ запорамъ; все это дѣлалось съ нимъ зимой и зависѣло исключительно отъ сидячей жизни, потому что лѣтомъ, въ періодъ ружейной охоты, которой онъ всегда отдавался со страстью, кишечныя отправленія приходили въ полный порядокъ. Въ прошломъ у Николая Алексѣевича никакихъ болѣзней, кромѣ конституціональнаго специфическаго разстройства не было, но на послѣднемъ слѣдуетъ остановиться. Въ 1853 году Николай Алексѣевичъ имѣлъ

затвердѣлую язву (ulcus), отъ которой лѣчился весьма небрежно и вовсе не принималъ меркурія; черезъ годъ, у него появилось пораженіе гортани съ полной потерей голоса и кашлемъ, и рѣзкое похуданіе; врачъ, къ которому обратился Николай Алексѣевичъ, принялъ это за самостоятельное страданіе гортани и началъ лѣчить соотвѣтственно; больному все дѣлалось хуже и хуже, и въ маѣ 1855 года, онъ былъ высланъ въ Москву для питья искусственнаго Эмса. Но и курсъ Эмса дѣла не поправилъ и Николай Алексѣевичъ все болѣе и болѣе худѣлъ и слабѣлъ и, видимо, упалъ духомъ; на это указываютъ его стихотворенія, относящіяся къ этому періоду жизни, напримѣръ, „Замолкни муза мести и печали“ и т. п. Изъ Москвы онъ вернулся въ Петербургъ въ гораздо худшемъ видѣ, чѣмъ уѣхалъ, и, почти потерявъ надежду на поправленіе, обратился за совѣтомъ къ извѣстному тогда практику-профессору Шипулинскому, который сразу опредѣлилъ специфичность страданія и началъ меркуріальное лѣченіе. Результатъ не замедлилъ оправдать діагностику врача, и Николай Алексѣевичъ сталъ быстро поправляться, а по окончаніи лѣченія отправился за-границу, гдѣ прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ и, между прочимъ, совѣтовался съ Оппольцеромъ, Рикоромъ, которые оба нашли, что излѣченіе было полное. И дѣйствительно, съ тѣхъ поръ не появлялось никакого припадка возврата бывшей болѣзни и я, при своемъ осмотрѣ, не нашелъ ничего подозрительнаго; только какъ памятникъ прежней болѣзни, оставался значительно обезображеннымъ и не симметричнымъ зѣвъ и именно лѣвая задняя дуга была оттянута вверхъ, да голосъ Николая Алексѣевича былъ нѣсколько хриплый и ненормально беззвучный; затылочныхъ и шейныхъ железъ не было, паховыя же можно было прощупать, но и то съ трудомъ. Я прописалъ Николаю Алексѣевичу небольшіе пріемы ревеня съ содой внутрь и сталъ два раза въ недѣлю смазывать заднюю стѣнку глотки со-

единеніемъ іода, карболовой кислоты и глицерина; послѣ 4—5 помазываній, пораженіе глотки изчезло какъ субъективно, такъ и объективно; пищевареніе также значительно стало правильнѣе, но печень все представлялась нѣсколько увеличенной. Кромѣ того, къ веснѣ, Николай Алексѣевичъ сталъ жаловаться на вялость, апатію, нерасположеніе къ занятіямъ; всѣ эти жалобы достаточно объяснялись тѣмъ безалабернымъ образомъ жизни, который онъ велъ зимой: ночи онъ всѣ просиживалъ или въ клубѣ, или за письменнымъ столомъ, днемъ вставалъ поздно, пѣшкомъ совсѣмъ не ходилъ, въ пищѣ также, несмотря на всѣ настоянія, часто случались погрѣшности. Въ виду всего этого, я посовѣтовалъ Николаю Алексѣевичу поѣхать на лѣто заграницу, а именно сказалъ 4 недѣли прожить въ Киссингенѣ и пить Ракоцци, а потомъ, послѣ 2-хъ-недѣльнаго отдыха 3 недѣли купаться въ морѣ въ Діеппѣ. Онъ такъ и сдѣлалъ, и эта поѣздка настолько ему помогла, что онъ не только всю послѣдующую зиму (1873—1874) чувствовалъ себя вполнѣ удовлетворительно, но и на лѣто 1874 года не встрѣтилось необходимости предпринимать какихъ бы то ни было врачебныхъ мѣръ. Но съ половины слѣдующей (1874—1875) зимы снова начались явленія вялой дѣятельности кишечнаго канала и на этотъ разъ приняли нѣсколько иной характеръ, давшій основаніе заключить, что задержка происходила или въ нижней части ободочной кишки, или въ прямой кишкѣ: Николай Алексѣевичъ всякое утро, просыпаясь, чувствовалъ позывъ на низъ, который вызывалъ небольшое испражненіе, вскорѣ за которымъ слѣдовало обыкновенно такое же второе испражненіе и, наконецъ, послѣ—кофе третье; такъ-что въ какіе нибудь 1½ часа было 3 испражненія, послѣ которыхъ всякій напоръ на прямую кишку прекращался и до слѣдующаго утра позывовъ не было; при этомъ самыя испражненія были форменны, правда, малы и узки, нормально окрашены,

не вызывали никакихъ болей и не имѣли примѣси слизи и крови. Общее состояніе было хорошо, всѣ внутренніе органы нормальны; самая печень не представляла такого застойнаго увеличенія, какъ три года назадъ; только животъ былъ нѣсколько вздутъ, но при изслѣдованіи, совершенно безболѣзненъ. Весной осмотрѣлъ, вмѣстѣ со мной, Николая Алексѣевича профессоръ Боткинъ и, сообща, было порѣшено, что лѣтомъ онъ будетъ пить 4 недѣли Маріенбадъ-Крейцбрунненъ въ своемъ имѣніи Чудово. Но едва я вернулся, въ сентябрѣ, въ Петербургъ, Николай Алексѣевичъ пришелъ ко мнѣ съ жалобами, что дурно провелъ лѣто, тогда какъ обыкновенно это время года, будучи постоянно на охотѣ, въ движеніи, на воздухѣ, привыкъ чувствовать себя прекрасно; Маріенбадъ дѣйствовалъ неудовлетворительно и не установилъ правильности испражненій, которыя совершались какъ и въ предъидущую зиму, утромъ въ 2—3 раза. Все это настроивало его на ипохондрическій ладъ и онъ жаловался на какое то угнетеніе, вялость; между тѣмъ, никакихъ уклоненій на внутреннихъ органахъ вообще, ни въ частности мѣстныхъ признаковъ полнокровія прямой кишки замѣтно не было. Я установилъ болѣе діэтетическое содержаніе, посовѣтовалъ массированіе живота и пить по утрамъ стаканъ зельцерской воды, прибавляя къ нему чайную ложку соды съ сѣрнокислымъ натромъ. Одно, на чемъ я никакъ не могъ настоять, это водяные клистиры, которые были у мѣста въ данномъ случаѣ, но Николай Алексѣевичъ къ нимъ чувствовалъ такое отвращеніе, что наотрѣзъ отказался ихъ испытать. Вся эта зима проходила для Николая Алексѣевича тяжелѣе предъидущихъ еще и потому, что одинъ изъ его главныхъ соредакторовъ по „Отечественнымъ Запискамъ“, М. Е. Салтыковъ, будучи тяжело боленъ, долженъ былъ зимніе мѣсяцы провести въ южномъ климатѣ за границей, и, вслѣдствіе этого, труды Николая Алексѣевича по редакціи значи-

тельно увеличились. Раза четыре въ зиму онъ посылалъ за мной, жалуясь постоянно на какое-то неопредѣленное недомоганье, вялость, зябкость, неудовлетворительный сонъ; онъ называлъ это лихорадкой и приписывалъ простудѣ, тогда какъ при изслѣдованіи ничего лихорадочнаго не оказывалось и дѣло кончалось тѣмъ, что я уговаривалъ его выѣхать; пищевареніе носило все тотъ же безпорядочный характеръ и къ веснѣ изрѣдка стали проскальзывать дни, въ которые совсѣмъ не было испражненій. Нервозное и ипохондрическое настроеніе видимо увеличивалось, а въ половинѣ апрѣля Николай Алексѣевичъ въ первый разъ пожаловался на невралгическую боль въ лѣвой ягодицѣ, почти на половинѣ линіи, проведенной между 2-мъ крестцовымъ позвонкомъ и большимъ бугромъ бедренной кости. Боль эта была тупого, ноющаго характера, являлась сначала не всякій день и на непродолжительное время, занимала очень ограниченное, почти точечное пространство и при давленіи не усиливалась. Такъ какъ наружныя втиранія нисколько не успокоивали больнаго, и связь этой боли съ ненормальнымъ отправленіемъ прямой кишки была очевидна, хотя изслѣдованіе самой кишки не привело меня ни къ какому осязательному результату, то я вскорѣ и перешелъ къ наркотическимъ свѣчкамъ (изъ экстракта белладоны, индѣйской конопли—и наконецъ опіятнымъ), которыя вначалѣ нѣсколько прерывали боль. Въ маѣ я уѣхалъ въ деревню на двѣ недѣли и, когда возвратился въ Петербургъ на два дня передъ своей поѣздкой за границу, то Николай Алексѣевичъ тотчасъ же пришелъ ко мнѣ съ сугубыми жалобами на свою невралгическую боль; она стала и чаще, и продолжительнѣе, и острѣе, особенно по ночамъ, такъ что иногда заставляла его вскакивать съ постели, при чемъ, вскочивши, онъ становился на правую ногу, а лѣвую пригибалъ къ туловищу въ тазо-бедренномъ суставѣ подъ прямымъ угломъ и такъ оставался неподвижно нѣ-

сколько секундъ, что ему доставляло облегченіе. Этотъ маневръ стоянья на одной ногѣ онъ употреблялъ и днемъ, когда являлась боль; ходьба же сама по себѣ боли не вызывала. Кромѣ того запоры за это время стали дѣлаться еще упорнѣе и проходило часто 2 - 3 дня безъ испражненій, несмотря на усиленные пріемы ревеня. Все это побудило меня еще тщательно изслѣдовать пальцемъ прямую кишку, но кромѣ значительнаго расширенія діаметра ея за наружной запирающей мышцей, я ничего не нашелъ; въ проходѣ находилась небольшая спавшаяся геморроидальная шишка давняго происхожденія; самый сфинктръ не былъ спазматически сокращенъ, а потому изслѣдованіе у больного не вызвало особенной чувствительности. Тѣмъ не менѣе я тутъ же повторилъ Николаю Алексѣевичу свой настоятельный совѣтъ, заявленный мной и раньше, пригласить хирурга, чтобы произвести полное изслѣдованіе кишки эластическимъ бужомъ, такъ какъ во мнѣ все болѣе и болѣе укрѣплялось зловѣщее убѣжденіе, что какое-то органическое разстройство, вѣроятно, новообразованіе начинаетъ развиваться въ S образномъ перегибѣ (flexura sigmoidea) или въ его окружности. Это убѣжденіе я высказалъ тогда же многимъ изъ близкихъ знакомыхъ Николая Алексѣевича. Затѣмъ Николай Алексѣевичъ сообщилъ мнѣ свой планъ—на лѣто переѣхать въ Гатчино, лѣтнее пребываніе проф. Боткина, чтобы тамъ стать подъ непосредственное его наблюденіе; вполнѣ одобривъ это намѣреніе, я разстался съ Николаемъ Алексѣевичемъ, скорбно предчувствуя, что осенью встрѣчу его въ далеко худшемъ видѣ, чѣмъ теперь. Лѣтомъ доходили до меня рѣдкіе слухи, что Николаю Алексѣевичу все не лучше и что онъ въ августѣ вмѣстѣ съ Боткинымъ переѣхалъ въ Крымъ. Въ началѣ октября, когда я уже былъ въ Петербургѣ, вѣсти о здоровьи Николая Алексѣевича стали до того тревожны, что я, по просьбѣ друзей его, послалъ проф. Боткину

телеграмму въ Крымъ съ запросомъ о ходѣ болѣзни. Отвѣтъ пришелъ довольно успокоительный, что, подъ вліяніемъ недавно начатыхъ меркуріальныхъ втираній, боли стали слабѣе и питаніе нѣсколько улучшается. Къ половинѣ октября, политическое положеніе въ Европѣ приняло угрожающій характеръ; Россія послала Турціи свой ультиматумъ въ защиту Сербіи, въ воздухѣ запахло войной и при такихъ условіяхъ оставаться въ Крыму сдѣлалось и неудобно, и не безопасно; Николай Алексѣевичъ, по совѣту проф. Боткина, долженъ былъ выѣхать и 30 октября вернулся въ Петербургъ и въ тотъ же вечеръ прислалъ за мной. Я ожидалъ, по слухамъ, найти его въ худшемъ положеніи; въ лицѣ онъ мало измѣнился и похудѣлъ, худоба же тѣла въ значительной степени скрывалась костюмомъ. Притомъ въ этотъ вечеръ вообще Николай Алексѣевичъ казался возбужденнымъ и даже какъ-то благодушно веселымъ, что достаточно объяснялось ощущеніемъ благополучнаго окончанія утомительныхъ мытарствъ по гостинницамъ и желѣзнымъ дорогамъ и удовольствіемъ чувствовать себя въ своей домашней комфортабельной обстановкѣ. Жалобамъ, правда, не было конца и, по крайней мѣрѣ, съ часъ изливалъ онъ передо мной эпопею своихъ страданій, такъ что я за позднимъ часомъ и за усталостью его послѣ дороги отложилъ изслѣдованіе до слѣдующаго дня. Но самый разсказъ о ходѣ болѣзни за лѣто и осень мнѣ показывалъ, какъ она прогрессивно развивалась, и Николай Алексѣевичъ не могъ не видѣть этого прогрессивнаго ухудшенія и видимо сознавалъ, что дѣло его плохо. Со времени нашего послѣдняго свиданія, невралгическая боль постепенно усиливалась и передвинулась въ самый крестецъ, больше лѣвую его половину; иногда эта боль затихала и тогда на смѣну ей являлись не менѣе мучительныя отраженныя боли въ ягодицахъ и въ нижнихъ оконечностяхъ, чаще и сильнѣе въ лѣвой, но нерѣдко и въ правой; эти отражен-

ныя боли ощущались не на протяженіи всей ноги, а исключительно въ голеностойномъ суставѣ. Самая продолжительность болей гораздо усилилась: бывали дни, когда свободныхъ отъ нихъ промежутковъ набиралось часа два въ сутки; сила ихъ достигала такой степени, что больной буквально не находилъ мѣста, такъ что нерѣдко, измученный жестокостью и продолжительностью болей и нѣсколькими проведенными подрядъ безсонными ночами, онъ впадалъ въ полное отчаяніе и думалъ о самоубійствѣ. Кромѣ этихъ болей, больного съ половины лѣта начали мучить весьма болѣзненные и частые позывы на низъ, причемъ выводились или испражненія въ видѣ маленькаго кусочка, или разведенныя, а съ конца іюля часто съ примѣсью слизи, окрашенной кровью, иногда же чистая бѣлая слизь. Это выведеніе, всегда ничтожное по количеству, было крайне мучительно для больного; иногда ночами, во время прекращенія боли, онъ крѣпко засыпалъ и вдругъ просыпался отъ жестокой боли и позыва и бросался на судно. Одновременно съ появленіемъ этихъ позывовъ стало легко прощупываться въ лѣвой подвздошной ямѣ скопленіе твердыхъ каловыхъ массъ въ видѣ жесткой опухоли, которая, по мѣрѣ накопленія, видимо принимала болѣе твердую консистенцію и все сильнѣе и сильнѣе растягивала нижнюю часть спускающейся ободочной кишки. Тѣсная зависимость болей въ крестцѣ и конечностяхъ отъ позывовъ обнаруживалась въ тѣ рѣдкіе періоды запоровъ, когда, послѣ случайныхъ очень обильныхъ испражненій, позывы вдругъ совершенно прекращались и больной 6—8 дней не чувствовалъ никакого побужденія на низъ; тогда наступало для него блаженное состояніе, онъ высыпался ночи и отдыхалъ физически и нравственно, считая это за признакъ оборота къ лучшему; къ сожалѣнію, такихъ блаженныхъ періодовъ больной насчитывалъ не болѣе 3 или 4 за все это время. Силы Николая Алексѣевича были еще настолько изряд-

ны, что на переѣздѣ въ экипажѣ изъ Ялты въ Симферополь онъ часто выходилъ изъ коляски и по $1/4$ часа шелъ пѣшкомъ; что же касается до творческой силы поэта, то она продолжала работать, не подчиняясь страданіямъ тѣла—доказательствомъ чему служитъ большая поэма въ 1800 стиховъ, написанная въ Ялтѣ и посвященная проф. Боткину. При объективномъ изслѣдованіи, сдѣланномъ мною на завтра послѣ пріѣзда, я нашелъ новаго для себя только весьма рѣзкое похуданіе въ тѣлѣ, да упомянутую жесткую опухоль въ лѣвой подвздошной ямѣ, тянувшуюся по направленію кишки отъ верхней передней линіи подвздошной кости до лобкового бугра, неболѣзненную на ощупь, но вызывавшую при глубокомъ надавливаніи глухое, непріятное ощущеніе въ тазу; паховыя железы были также незначительны, какъ и прежде. Весь животъ былъ незначительно вздутъ, безболѣзненъ, давалъ высокій тимпаническій тонъ вездѣ, за исключеніемъ лѣвой подвздошной ямы, гдѣ былъ тупо тимпаничный; при прощупываніи живота, легко вызывались видимыя глазомъ перистальтическія движенія въ отдѣльныхъ участкахъ толстыхъ кишекъ. Языкъ былъ совершенно чистъ, аппетитъ весьма порядочный, больной охотно ѣлъ мясо, не было ни отрыжекъ, ни тошноты; въ самомъ животѣ Николай Алексѣевичъ болей никогда не чувствовалъ. Мое настоятельное желаніе изслѣдовать тотчасъ же прямую кишку, больной отклонилъ, прося подождать, потому что за время переѣзда изъ Крыма у него прекратились позывы, а потому и боли стали рѣже, и Николай Алексѣевичъ боялся нарушить свое относительное благосостояніе; да и я очень не настаивалъ, предполагая наткнуться на большія массы въ прямой кишкѣ, которыя могли помѣшать сдѣлать точное заключеніе. Характерны были еще явленія со стороны мочеиспусканія; позывы на низъ всегда сопровождались одновременнымъ позывомъ и отдѣленіемъ мочи; въ тѣ же періоды, когда по-

зывы на низъ прекращались, какъ въ первое время послѣ пріѣзда больнаго въ Петербургъ, являлась замѣтная задержка мочеиспусканія; иногда ему долго, несмотря на желаніе и очевидное наполненіе пузыря не удавалось помочиться. Лѣченіе за лѣто заключалось въ постоянномъ употребленіи ревеня съ углекислой магнезіей, по 5 гранъ того и другого, три раза въ день по порошку; попытка лѣченія виноградомъ въ Крыму не удалась, виноградъ пучилъ не разрѣшая. Кромѣ того, все лѣто и осень больной раза два въ день вставлялъ свѣчки, прописанныя профессоромъ Боткинымъ изъ $^1/_2$ грана окиси цинка и $^1/_4$ грана воднаго экстракта опія, которыя нѣсколько успокоивали боль и давали отъ $1^1/_2$ до 2-хъ часовъ покойнаго сна, но и то не всегда. Меркуріальное лѣченіе профессоръ Боткинъ началъ было тоже свѣчками изъ малыхъ дозъ меркуріальной мази съ опіемъ, но они вызывали такое раздраженіе въ кишкѣ, что вскорѣ должны были быть прекращены,—и тогда приступлено было къ меркуріальнымъ втираніямъ. Въ виду того, что это лѣченіе начато было не задолго до отъѣзда изъ Крыма, всего было сдѣлано 17 втираній и при этомъ никакихъ признаковъ насыщенія не произошло, десны были въ отличномъ состояніи, и я рѣшилъ ихъ продолжать въ ожиданіи скораго пріѣзда профессора Боткина, чтобы условиться съ нимъ относительно дальнѣйшаго плана лѣченія и чтобы добиться какого нибудь результата, тѣмъ болѣе, что меркуріальное лѣченіе вполнѣ было показано присутствіемъ сифилиса въ анамнестикѣ больнаго. Водяныхъ большихъ клистировъ Николай Алексѣевичъ боялся, потому что ихъ лѣтомъ пытались сдѣлать нѣсколько разъ, но всегда неудачно; вода тотчасъ же выливалась назадъ, очевидно, не проникая въ ободочную кишку и увлекая за собой только тотъ калъ, который спустился уже въ прямую кишку, такъ что облегченія это выведеніе не доставляло, а между тѣмъ сильно раздражало больнаго; такъ какъ, изъ словъ

больнаго, я узналъ, что клистиры всегда ставились въ боковомъ лежачемъ положенiи, то я уговорилъ Николая Алексѣевича, при первомъ удобномъ случаѣ, произвести эту операцiю въ положенiи на четверенькахъ. Случай къ тому вскорѣ представился; послѣ 12 дневнаго запора, вызваннаго переѣздомъ, скопленiе твердыхъ массъ въ подвздошной ямѣ замѣтно увеличилось, опухоль стала жестче, шире, и массы стали прощупываться и въ верхней и средней частяхъ нисходящей ободочной, а потому дальнѣйшая задержка дѣлалась рискованой, въ виду разрыва, и профессоръ Боткинъ сдѣлалъ самъ большой клистиръ въ position à la vache, результатъ котораго былъ весьма удовлетворительный, воды вошло много и больной разъ въ 15 вывелъ огромное количество массъ и былъ очень доволенъ; соотвѣтственно этому опорожненiю, опухоль въ подвздошной ямѣ громадно уменьшилась, но все таки можно было прощупать нѣсколько отдѣльныхъ кусковъ въ формѣ грецкихъ орѣховъ. На завтра же, послѣ этого опорожненiя, я сдѣлалъ изслѣдованiе прямой кишки и также въ position à la vache и нашелъ слѣдующее: палецъ, встрѣтивъ малое противодѣйствiе со стороны запирающей мышцы, входилъ въ весьма расширенную кишку и, проходя далѣе, встрѣчалъ какъ бы опущенное въ кишку кольцо слизистой оболочки; въ серединѣ этого кольца (на высотѣ 6—7 центиметровъ отъ задняго прохода) начиналось съуженное мѣсто, въ которое едва проникала верхушка верхняго сустава указательнаго пальца; у самаго входа въ съуженное мѣсто, палецъ встрѣтилъ три бородавки, величиной съ небольшой лѣсной орѣхъ, жестковатыя, мало чувствительныя и на широкомъ основанiи. Изслѣдованiе весьма раздражило больнаго, а потому я поспѣшилъ его окончанiемъ, хотя къ выводу вполнѣ для себя ясному и не пришелъ; самое вѣроятное казалось для меня тогда присутствiе у больнаго внѣдренiя (invaginatio) верхней части прямой кишки въ среднюю, такъ какъ палецъ

могъ обойти встрѣчаемое передъ съуженіемъ кольцо вокругъ, совершенно какъ бы влагалищную порцію матки, но за то, съ другой стороны, присутствіе 3-хъ бородавчатыхъ опухолей говорило за новообразованіе; а потому, желая точнѣе дифференцировать форму страданія, я просилъ Николая Алексѣевича допустить еще разъ изслѣдованіе черезъ хирурга—и онъ согласился безпрекословно, только, подъ впечатлѣніемъ недавняго раздраженія, пожелалъ отложить это изслѣдованіе на недѣлю. А между тѣмъ снова установился запоръ въ теченіе недѣли и вторичная попытка опорожнить больнаго большимъ клистиромъ не удалась; вода, промывая только прямую кишку, не проникала за съуженіе и выливалась обратно, вызывая такое раздраженіе, что, послѣ 3-го такого клистира, Николай Алексѣевичъ на отрѣзъ отказался подвергаться имъ. Къ этому времени меркуріальныхъ втираній, перемежаемыхъ два раза въ недѣлю общими ваннами, было сдѣлано 40 и появившееся слюнотеченіе заставило прекратить ихъ, тѣмъ болѣе, что они не обнаружили никакихъ признаковъ, сколько нибудь поощрявшихъ къ дальнѣйшему продолженію ихъ. Чтобы до нѣкоторой степени усилить мышечный тонъ кишекъ и противодѣйствовать задержанію каловыхъ массъ выше съуженія, я рѣшился прибѣгнуть къ фарэдизаціи брюшныхъ покрововъ, и съ конца ноября началъ фарэдизировать ежедневно по 10 минутъ и въ началѣ эффектъ былъ очень хорошій; послѣ первыхъ же сеансовъ стали выводиться обильныя массы и это выведеніе, хотя и сопровождаемое жестокими болями, подѣйствовало очень живительно на нравственное состояніе больнаго и снова подняло въ немъ угасавшія надежды. Въ началѣ декабря, была устроена консультація съ профессоромъ Склифассовскимъ, на которой, кромѣ меня, находился еще докторъ Головинъ, наблюдавшій также больнаго во время его пребыванія въ Крыму. Профессоръ Склифассовскій изслѣдовалъ боль-

наго въ position à la vache, при благопріятныхъ условіяхъ въ томъ отношеніи, что прямая кишка была свободна отъ каловыхъ массъ и что изслѣдованіе не было прервано появленіемъ болей; поэтому я тутъ же предложилъ профессору Склифассовскому, воспользовавшись этими благопріятными условіями, произвести одновременно и изслѣдованіе зеркаломъ, но онъ отвѣчалъ, что изслѣдованіе пальцемъ настолько доказательно, что мучить больнаго зеркаломъ считаетъ излишнимъ. Результатъ же своего изслѣдованія онъ передалъ намъ такъ: въ окружности верхней части прямой кишки находится опухоль, величиной съ яблоко, которая окружаетъ всю периферію кишки и, вѣроятно, причиняетъ ея приращеніе къ крестцовой кости, отчего эта часть кишки неподвижна; соотвѣтственно мѣсту этой опухоли находится весьма значительное съуженіе кишки, входъ въ которое нѣсколько маскируется висящей въ складкахъ слизистою оболочкою, такъ что, чтобы войти внутрь съуженія, онъ долженъ былъ верхушкой пальца откинуть эту складку; съуженіе же кишки весьма значительно, такъ что верхушка пальца едва въ него проникаетъ, при чемъ получаетъ ощущеніе бархатистости, указывающее на то, что слизистая оболочка внутри съуженія лишена верхняго слоя. Для большей наглядности, профессоръ Склифассовскій нарисовалъ намъ на бумагѣ опухоль въ формѣ яблока, какъ она обхватываетъ кишку. Въ лѣченіи онъ совѣтовалъ держаться тѣхъ же палліативныхъ мѣръ (наркотическихъ, выводящихъ клистировъ, между прочимъ, масляныхъ) и имѣть въ виду операцію искусственнаго задняго прохода, когда непроходимость кишки будетъ абсолютная. Въ передачѣ своего мнѣнія больному, профессоръ Склифассовскій старался его какъ можно болѣе успокоить, но или въ его словахъ, или въ тонѣ проскользнуло что то такое, что видимо сдѣлало на Николая Алексѣевича тяжелое впечатлѣніе и онъ снова захандрилъ послѣ его отъѣзда Къ этому присоединя-

лась еще новая нравственная тревога: поэма, написанная въ Крыму, встрѣтила препятствія къ напечатанію; это былъ для него неожиданный ударъ и я помню, какъ онъ встрѣтилъ меня однажды словами: „Вотъ оно, наше ремесло литератора! когда я началъ свою литературную дѣятельность и написалъ первую свою вещь, то тотчасъ же встрѣтился съ ножницами; прошло съ тѣхъ поръ 37 лѣтъ и вотъ я, умирая, пишу свое послѣднее произведеніе и опять таки сталкиваюсь съ тѣми же ножницами!“ Какъ ни старались успокоить его друзья, онъ очень горячился и нѣсколько разъ принимался за передѣлки поэмы, пользуясь короткими промежутками между страшными болями, и записывая стихи на отдѣльныхъ листахъ бумаги. Тяжелое впечатлѣніе производила исхудалая фигура Николая Алексѣевича во время болей, прикрытая всегда одной только длинной, спускавшейся до колѣнъ, рубашкой—тогда онъ буквально не находилъ мѣста, или вскакивалъ и ходилъ съ палкой по комнатамъ, или становился на четвереньки на постели, или ложился, но и лежа, не могъ оставаться покойно 10 минутъ, а находился въ постоянномъ движеніи, поднимая то ту, то другую ногу вверхъ; слѣдуетъ замѣтить, что тотчасъ же по пріѣздѣ изъ Крыма Николай Алексѣевичъ почувствовалъ рѣшительную невозможность садиться, потому что сидячее положеніе вызывало тотчасъ же позывъ на низъ и боль. Свѣчка изъ цинка и опія успокоивала больнаго частью на часъ времени, но у него было такое отвращеніе отъ наркотическихъ средствъ, и боязнь за нарушеніе ими свѣжести головы, что его никакъ нельзя было убѣдить вставлять ихъ чаще двухъ разъ въ день, или же увеличить дозу въ каждой свѣчкѣ, а между тѣмъ, при частомъ изверженіи, часто случалось, что вставленныя свѣчки выходили назадъ не совсѣмъ всосавшись; поэтому мы въ декабрѣ замѣнили ихъ иньекціями въ прямую кишку изъ маленькой спринцовки съ 3-ми каплями опійной настойки, производя ихъ также

два раза въ сутки. При почти ежедневной электризаціи въ декабрѣ испражненія совершались такимъ образомъ: дней 5—7 выводилось раза по 3 или 4 въ ничтожномъ количествѣ кало, иногда же слизь, чуть чуть окрашенная кровью и тогда можно было наблюдать, какъ постепенно массы накоплялись и уплотнѣвали въ нисходящей ободочной кишкѣ и какъ затѣмъ накопленіе начинало обрисовываться въ поперечной ободочной, причемъ контуръ послѣдней, подъ тяжестью массъ, давалъ искривленіе въ средней своей части къ низу, то есть къ пупку, и ясно принималъ такъ называемую М—образную форму: вообще крайнее исхуданіе больного давало возможность не только легко слѣдить за накопленіемъ массъ, но наблюдать передвиженіе ихъ въ толстыхъ кишкахъ подъ вліяніемъ тока во время сеанса. Послѣ 5—7 дней такой задержки, начиналось крайне обильное изверженіе въ 15—25 пріемовъ, сопровождаемое такими жестокими болями, что больной въ это время не ѣлъ, не спалъ, и рѣшительно не могъ ничѣмъ заняться; отхожденіе вѣтровъ, вообще довольно частое, сопровождалось при проходѣ черезъ съуженіе болями такими же сильными, какъ и прохожденіе кала. Неоднократно произведенное микроскопическое изслѣдованіе выводимой слизи не дало ничего характернаго. Съ состояніемъ духа Николая Алексѣевича и сознаніемъ полной безнадежности своего положенія лучше всего знакомятъ тѣ стихотворенія, которыя онъ написалъ въ декабрѣ для январской книжки „Отечественныхъ Записокъ и которыя явились потомъ подъ заглавіемъ „Послѣднія пѣсни“. Такъ наступилъ 1877 годъ, начало котораго не ознаменовалось ничѣмъ особеннымъ, только усиленной частотой позывовъ и, вслѣдствіе этого, большей продолжительностью и интенсивностью болей, что заставило насъ дойти постепенно до удвоенной порціи опійныхъ спринцованій; больной шелъ не охотно на эту прибавку, боясь, какъ я уже сказалъ выше, вреднаго вліянія опія на свои умственныя способности, и поэтому

мы часто умышленно скрывали отъ него количество вспрыснутыхъ капель. Выведеніе крови стало чаще и иногда она стала являться нетолько въ жидкомъ видѣ, но и въ видѣ свертковъ. Позывы около 10-го января стали до того часты, что больной почти постоянно лежалъ, потому что даже попытка встать вызывала позывъ и ничтожное, но весьма болѣзненное выдѣленіе. Наступило время, когда дней десять совсѣмъ не было каловыхъ испражненій, животъ сдѣлался вздутымъ, аппетитъ меньше, появилось слюнотеченіе, небольшая тошнота и рѣдкая, но глубокая и продолжительная отрыжка. 18-го января за мной прислали вечеромъ, потому что больной очень страдалъ; двѣ столовыя ложки кастороваго масла, принятыя до меня скорѣе en désespoir de cause, естественно не оказывали ни малѣйшаго дѣйствія, и я увидѣлъ настоятельную необходимость предпринять что-нибудь болѣе рѣшительное, чтобъ предотвратить могущій произойти механическій ileus. Поэтому я уговорилъ больного дать мнѣ попытаться пройти черезъ съуженное мѣсто эластическимъ наконечникомъ ирригатора, чтобы провести воду выше съуженія для размягченія массъ и выведенія ихъ наружу. Поставя больного на четвереньки, я тщетно старался попасть верхушкой въ съуженіе; пущенная вода, наполняла только, какъ и прежде, часть ниже съуженія и выливалась обратно. При этой попыткѣ я опредѣлилъ введеннымъ пальцемъ, что число наростовъ въ входѣ въ съуженіе увеличилось, но величина ихъ все не превосходила небольшого лѣсного орѣха. Боясь безплодно измучить больного, я прекратилъ свою попытку, далъ довольно большой пріемъ сложнаго ревеннаго экстракта на ночь и сказалъ больному пригласить на завтра же проф. Богдановскаго, котораго я уже раньше предупредилъ, чтобы онъ не откладывалъ своего визита, когда за нимъ пришлетъ Николай Алексѣевичъ. Я съѣхался на завтра же съ проф. Богдановскимъ, и онъ, обстоятельно излѣдовавши пальцемъ кишку и на-

шедши, что верхушка перваго членика указательнаго пальца можетъ пройти въ стриктуру, пришелъ къ тому же заключенію, что необходимо попытать провести воду черезъ съуженое мѣсто и лучше всего посредствомъ тонкаго желудочнаго зонда, на что и назначилъ слѣдуюшій день. На завтра попытка эта вполнѣ удалась; проф. Богдановскій, контролируя и помогая указательнымъ пальцемъ правой руки, ввелъ лѣвой рукой тонкій эластическій желудочный зондъ въ съуженіе и провелъ дюйма два внутри его; все это сопровождалось весьма мучительными болями для больного, и особенно присутствіе праваго указательнаго пальца въ прямой кишкѣ, который онъ безпрестанно просилъ вывести вонъ. Пущенная изъ ирригатора тепловатая вода пробиралась весьма медленно, но тѣмъ не менѣе удалось провести около пяти стакановъ ея, прежде чѣмъ больной почувствовалъ позывъ, а по вынутіи зонда, выпустилъ часть жидкости, густо насыщенную каломъ, обратно. Вся процедура вставленія зонда и впусканія воды взяла полтора часа времени, причемъ больной все это время долженъ былъ оставаться въ кровати на четвереренькахъ и, къ удивленію моему, очень мало этимъ утомился, приэтомъ относительно свободное проведеніе зонда весьма успокоительно подѣйствовало на Николая Алексѣевича, потому что онъ начиналъ уже бояться, что проходимость кишки была совершенно прекращена. Въ теченіе 6 дней подрядъ мы продолжали вливать воду черезъ зондъ съ одинаково успѣшнымъ результатомъ и въ общемъ итогѣ массъ было выведено за это время огромное количество, что доставило больному небывалое облегченіе; промыванія дѣлались ежедневно частью потому, что опорожненія при нихъ совершались по разу или по два въ день и въ большомъ количествѣ, а не разбивались, какъ прежде, на 10—15 разъ и соотвѣтственно этому, рѣже вызывались и боли, и частью же потому, что у насъ была маленькая надежда, въ которой, впрочемъ, скоро

пришлось разочароваться, расширить съуженіе путемъ постепеннаго механическаго растяженія. Больной первое время подчинялся промывкамъ, несмотря на муки при проведеніи зонда, безпрекословно, потому что чувствовалъ, какъ онѣ его облегчали; и едва ли я преувеличу, сказавши, что этотъ мѣсяцъ, съ 20-го января и приблизительно до 20-го февраля, былъ относительно самымъ покойнымъ за все времи болѣзни Николая Алексѣевича до операціи искусственнаго прохода. Пользуясь этимъ облегченіемъ, мы сдѣлали еще попытку повліять внутренними средствами на патологическій процессъ въ кишкѣ; выписанъ былъ іодистый каллій въ растворѣ (по 5 гранъ 2 раза въ день), но послѣ $1^1/_2$ недѣль появилось раздраженіе въ зѣвѣ, носу, тяжесть головы и больной не согласился принимать далѣе. По счастью, это значительное физическое облегчепіе страданія совпало съ тѣмъ высокимъ подъемомъ духа, который произошелъ въ Николаѣ Алексѣевичѣ за это время. Появившіяся въ январьской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» его «Послѣднія пѣсни», говорившія о его страданіяхъ, вѣроятности близкой смерти и проводившія, между прочимъ, мысль о томъ, что онъ умираетъ чуждымъ народу, вызвали огромное сочувствіе къ его страданіямъ и горячій протестъ противъ послѣдней мысли какъ въ журналистикѣ, такъ и въ публикѣ. Всѣ органы печати, наперерывъ одинъ передъ другимъ, высказывали свои соболѣзнованія къ его страданіямъ и говорили объ огромномъ значеніи его литературной дѣятельности; но къ подобной печатной оцѣнкѣ своего таланта, какъ бы ни была она лестна для него, онъ все-таки болѣе или менѣе привыкъ; гораздо болѣе поразилъ его своею неожиданностью взрывъ общественнаго сочувствія къ нему, выразившійся непосредственно: ежедневно сталъ получать онъ массу писемъ и телеграммъ, то единичныхъ, то коллективныхъ изъ разныхъ мѣстъ и часто глухихъ закоулковъ Россіи, изъ которыхъ онъ могъ заключить,

какъ высоко цѣнитъ его родина и какими огромными симпатіями повсемѣстно пользуется въ ней его талантъ. При всей скрытности своего характера и необыкновенномъ умѣньи владѣть собой, онъ не могъ не выражать ясно, какъ всѣ эти манифестаціи его трогали и возвышали въ собственныхъ глазахъ. Разъ какъ-то, показывая мнѣ двѣ телеграммы, полученныя имъ въ это утро изъ Ирбита, онъ сказалъ: «Часто намъ приходилось въ журналистикѣ говорить, что мы не знаемъ совсѣмъ нашего подписчика, и какого онъ мнѣнія о нашей дѣятельности, а вотъ онъ теперь для меня и открывается!» Возбужденный этими манифестаціями, онъ сдѣлался гораздо разговорчивѣе, охотно сталъ вспоминать и разсказывать различные эпизоды своей жизни (не исключая и тѣхъ темныхъ, которые пятнами лежали на его жизни, и которые теперь онъ старался видимо обѣлить), свои отношенія къ различнымъ нашимъ знаменитостямъ; подъ вліяніемъ наплыва этихъ воспоминаній онъ остановился на мысли составить свою біографію и лихорадочно приступилъ къ этому такимъ образомъ: частью онъ диктовалъ самъ, пользуясь всякимъ свободнымъ отъ боли часомъ, то брату Константину Алексѣевичу, то сестрѣ Аннѣ Алексѣевнѣ, иногда даже ночью будилъ ихъ и заставлялъ писать подъ свою диктовку; частью же передавалъ устно тотъ или другой эпизодъ своей жизни кому-нибудь изъ друзей и просилъ его литературно обработать его и написать. Въ то же самое время онъ редактировалъ и выпустилъ въ свѣтъ отдѣльное изданіе своихъ послѣднихъ пѣсенъ; наконецъ, онъ тогда же сочинилъ (впрочемъ начало было имъ написано нѣсколько лѣтъ раньше) свою поэму „Мать“ и стихотвореніе „Баюшки Баю“, появившееся въ мартовской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“, изъ котораго публика, какъ изъ бюллетеня, могла усмотрѣть, что здоровье поэта все плохо и что опасность близкой смерти его не устранена. Оно такъ и было на самомъ дѣлѣ. Значи-

тельное облегченіе, доставленное первыми большими промывками и продолжавшееся около мѣсяца, постепенно стало исчезать, тѣмъ болѣе, что мучительная процедура ихъ дѣлалась все тяжелѣе для Николая Алексѣевича и онъ сталъ чувствовать къ нимъ большое отвращеніе; всякій разъ требовались съ нашей стороны большія усилія, чтобы уговорить на производство ихъ, и то намъ приходилось дѣлать ихъ иногда разъ въ недѣлю, иногда и того рѣже, но никогда мы не могли добиться, чтобы промыть два дня къ ряду; всѣ же однократныя промывки выводили все меньше испражненій, и не облегчали больного. Для насъ, врачей, становилось очевиднымъ, что наступаетъ время самаго крайняго средства, чтобы продлить жизнь больного, т.-е. операціи искуственнаго задняго прохода; глухой намекъ, сдѣланный на нее больному, крайне раздражилъ его и онъ наотрѣзъ объявилъ, что предпочитаетъ умереть, чѣмъ подвергаться еще мученіямъ этой операціи; мнѣ насилу удалось его успокоить и затѣмъ пришлось прекратить всѣ дальнѣйшія попытки возвратиться къ этому вопросу. Оставивъ Николая Алексѣевича въ покоѣ, я обратился къ сестрѣ его, Аннѣ Алексѣевнѣ Буткевичъ, страстно любившей брата, и какъ къ лицу наиболѣе энергичному между близкими, и предупредилъ о неизбѣжности операціи, прибавивъ, что операція не вылѣчитъ больного, а только на нѣкоторое время продлитъ жизнь его и устранитъ вѣроятность мучительнѣйшаго исхода, слѣдующаго за абсолютной непроходимостью кишки — исхода, который неотразимъ безъ помощи операціи. Сестра поняла неизбѣжность операціи и тотчасъ же, по чьему-то совѣту, написала одному знакомому врачу въ Вѣнѣ просьбу вступить въ переговоры съ извѣстнымъ вѣнскимъ хирургомъ профессоромъ Билльротомъ, не согласится ли онъ пріѣхать въ Петербургъ для производства операціи. Когда она мнѣ сообщила свой планъ о приглашеніи Билльрота, я призналъ его неосуществимымъ,

говоря, что Билльротъ не пріѣдетъ, будучи очень занятъ въ Вѣнѣ, и въ подтвержденіе указалъ на то, что вѣнскій же профессоръ Бамбергеръ, по слухамъ, приглашался въ декабрѣ въ Кишиневъ на консультацію къ Великому Князю Николаю Николаевичу и отказался пріѣхать за неимѣніемъ времени. Вскорѣ послѣ этого г-жа Буткевичъ передала мнѣ отвѣтъ ея корреспондента изъ Вѣны, что Билльротъ уѣхалъ въ Италію, и потому переговоры съ нимъ не состоялись. А между тѣмъ, состояніе Николая Алексѣевича все ухудшалось; еще 3-го марта онъ, въ присутствіи Пыпина, Богдановскаго и меня, продекламировалъ намъ, лежа въ постели, свое только-что написанное стихотвореніе: „Баюшки баю", и съ тѣхъ поръ, болѣе полугода не принимался за стихотворную работу. Боли въ это время усилились до того, что больной, наконецъ, вынужденъ былъ постепенно увеличивать количество опія въ спринцованіяхъ и къ половинѣ марта дошелъ до 9 капель 3 раза въ день, но и это количество давало самое кратковременное успокоеніе, а между тѣмъ возбуждало и энервировало его страшно. Раздражительность его достигла крайнихъ предѣловъ, и онъ, приписывая ее исключительно опію, рѣшился силой своей энергіи снова убавить количество и дошелъ до 15—16 капель въ сутки, хотя боли были такъ велики, что онъ часто кричалъ, или же по часамъ тянулъ громко какую-то однообразную ноту, напоминавшую бурлацкую ноту на Волгѣ. Наконецъ, и та рѣдкая промывка кишекъ, которая намъ доставалась съ такимъ трудомъ, а больному съ такими мученіями, часто стала совсѣмъ не удаваться, потому что зондъ ущемлялся при самомъ входѣ въ съуженное мѣсто и при первомъ же напорѣ воды конецъ его перегибался и съ силой выкидывался назадъ, такъ что выше съуженія воды или вовсе не попадало, или попадало такъ мало, что результаты выведенія были ничтожные. Богдановскій сдѣлалъ послѣднюю попытку пройти эластическимъ бужомъ для мочеиспускательнаго

канала съ оливкой на концѣ и выбралъ для этого 14 или 15 номеръ, по мѣркѣ Шаррьера, но и этотъ бужъ не помогъ провести воду дальше съуженія, а, изогнувшись, вышелъ обратно. Стало очевидно, что далѣе лѣченіе бужами не могло идти, они буквально упирались въ стѣну. Положеніе дѣлалось безвыходнымъ, и Николай Алексѣевичъ хорошо понималъ это, хотя ничего не говорилъ. Я помню, что 2-го апрѣля, въ вечеръ послѣдней безуспѣшной попытки пропустить воду при посредствѣ тонкаго бужа, я разсказывалъ подробно объ этой неудачѣ одному изъ ближайшихъ друзей больного, А. М. У—му, и на вопросъ послѣдняго: „Что же будетъ дальше?“ отвѣчалъ: «Николай Алексѣевичъ самъ ясно видитъ, что кишку перетянуло совсѣмъ и выхода нѣтъ, и что остается или пустить себѣ пулю въ лобъ или рѣшиться на операцію, и я увѣренъ, что онъ надняхъ заговоритъ самъ объ операціи“. Предсказаніе это не замедлило оправдаться: на завтра же, когда я пріѣхалъ, Николай Алексѣевичъ тотчасъ же самъ повелъ рѣчь о необходимости, хотя бы операціей освободиться отъ испражненій: «Ну, дѣлайте дыру, что ли? вѣдь не могу-жъ я дольше такъ оставаться?» Я тутъ же, по просьбѣ больного, написалъ записку профессору Боткину, чтобы и онъ пріѣхалъ сказать свое послѣднее слово—и мы на слѣдующій день съѣхались вмѣстѣ (Боткинъ, Богдановскій и я)—и профессоръ Боткинъ уговаривалъ больного сдѣлать операцію черезъ день, т. е. въ среду, 6-го апрѣля, чтобы и онъ могъ присутствовать при ней, потому что въ четвергъ долженъ былъ выѣхать изъ Петербурга въ Кишиневъ съ Государемъ. Николай Алексѣевичъ видимо колебался дать рѣшительный отвѣтъ, тѣмъ не менѣе, мы уѣхали, постановивши быть операціи въ среду, но на завтра же утромъ больной объявилъ, что онъ проситъ отложить операцію еще на день. Въ тотъ же вечеръ г-жа Буткевичъ получила письмо изъ Вѣны отъ Бильрота, соглашавшагося пріѣхать въ Петербургъ для

производства операціи, съ обязательствомъ пробыть три послѣдующіе за ней дня. Такъ какъ Николай Алексѣевичъ находилъ условія Билльрота для себя не обременительными (15,000 прусскихъ марокъ) и видимо, подъ вліяніемъ сестры, былъ за вызовъ его, то профессору Богдановскому и мнѣ ничего не оставалось, какъ согласиться на это рѣшеніе; поэтому на завтра же была составлена отвѣтная телеграмма Билльроту, чтобы онъ немедленно же выѣзжалъ, и что требуемая операція не есть вырѣзаніе прямой кишки, какъ онъ писалъ въ своемъ письмѣ, а colotomia, т. е. операція искусственнаго задняго прохода. Всѣ эти дни до операціи, состояніе больного было сносное: онъ ѣлъ съ аппетитомъ, хотя немного изъ боязни черезчуръ переполнить кишки; позывы отъ 7—10 разъ въ день, причемъ выходила или бѣлая прозрачная слизь, или болѣе или менѣе окрашенная кровью и часто съ гнилостнымъ запахомъ; боли въ крестцѣ и конечностяхъ также были относительно умѣренныя; животъ значительно вздутый и отъ наполненія газами каловыя массы прощупывались не ясно, хотя по день операціи прошло 20 сутокъ, какъ больной не имѣлъ каловыхъ испражненій; значительное слюнотеченіе, небольшая тошнота и глубокая отрыжка безъ вкуса; наканунѣ операціи появились въ полости рта нѣсколько бѣлыхъ бляшекъ плѣсени (soor). Въ понедѣльникъ вечеромъ, проф. Билльротъ пріѣхалъ въ Петербургъ и въ тотъ же вечеръ я, бывши у него, подробно передалъ исторію болѣзни, а на завтра утромъ, 12-го апрѣля, привезъ его въ 8 часовъ къ больному; онъ сдѣлалъ быстро, чтобы не мучить больнаго, изслѣдованіе пальцемъ прямой кишки и, переговоривши съ пр. Богдановскимъ о нѣкоторыхъ необходимыхъ приготовленіяхъ къ операціи, условился произвести ее въ 1 часъ того же дня. Въ назначенное время, мы всѣ собрались, явились ассистенты и было немедленно приступлено къ хлороформированію больного, а по захлороформированіи онъ

былъ перенесенъ въ другую комнату, гдѣ и была произведена операція искусственнаго задняго прохода въ задней поверхности нисходящей ободочной кишки. Подробное производство операціи было изложено кѣмъ то изъ присутствовавшихъ хирурговъ въ № Врачебныхъ Вѣдомостей [1]). Скажу только коротко для не читавшихъ этого описанія, что разрѣзъ, начавшись на подмышковой линіи, приблизительно на срединѣ между послѣднимъ ребромъ и передней верхней остью подвздошной кости, шелъ вертикально къ позвоночнику и не доходилъ до него примѣрно на 3 поперечные пальца. Покровы и мышцы были вскрыты разомъ, а не послойно; отъисканіе кишки было затруднительно, такъ что пр. Билльротъ, по ошибкѣ, сдѣлалъ небольшой разрѣзъ въ брюшинѣ, на которую наложилъ тотчасъ же 3 шва; только при нажатіи рукой однимъ изъ ассистентовъ на лѣвую подвздошную яму, кишка опредѣлилась яснѣе, была вскрыта и пришита къ наружному отверстію раны. Я замѣтилъ, что операція по часамъ продолжалась 25 минутъ; захлороформированіе было полное; больной ничего не чувствовалъ и пришелъ въ сознаніе только тогда, когда все было кончено. На наружную рану было положено 3 кровавыхъ шва, а между ними нѣсколько полосокъ липкаго пластыря. Замѣчательно, что тотчасъ послѣ операціи не вышло каловыхъ массъ, до того кишки, вслѣдствіе своей растянутости, утратили сократительность. Билльротъ и Богдановскій согласились съѣз-

[1]) Вообще, я считаю здѣсь нужнымъ сдѣлать нѣкоторую оговорку. Какъ не хирургъ, я не рѣшаюсь подробно распространяться ни о производствѣ операціи, ни о послѣдующемъ ходѣ операціонной раны, рискуя пропустить что нибудь существенное. Я со дня операціи считалъ свою миссію совершенно оконченной и думалъ сдать Н. А. на руки хирурговъ, и остался при немъ только по настоятельной просьбѣ больного не покидать его. Къ этому присоединилось еще то обстоятельство, что начавшаяся война вызвала почти всѣхъ хирурговъ на театръ военныхъ дѣйствій.

жаться на перевязки 3 раза въ день: утромъ, среди дня и вечеромъ; я же увидалъ больнаго только на завтра, среди дня, и нашелъ его покойнымъ, почти безъ лихорадки (38,2, а въ день операціи вечеромъ было 37,5), съ жалобой на легкое жженіе на мѣстѣ раны и на ночь, безъ сна проведенную. Вообще же онъ принялъ меня дружелюбно, какъ всегда, но какъ-то сосредоточенно, говорилъ шепотомъ и отвѣчалъ односложно на вопросы, однако же, выразилъ свое полное удовлетвореніе, что все такъ благополучно кончилось. Одно его продолжало смущать, что несмотря на то, что при всякой перевязкѣ Билльротъ впускалъ черезъ новое отверстіе въ кишку большое количество воды, вода эта невызывала обильныхъ изверженій, какихъ бы надо было ожидать послѣ слишкомъ 20 дневной задержки, а возвращалась только окрашенной назадъ. На завтра, т. е. на 3-ій день операціи, состояніе было то же, самочувствіе хорошо; температура вечеромъ 2-го дня—39,2, но къ утру 3-го дня уже упала до 37,2, среди дня 37,6 а къ вечеру этого дня 37,4 и уже болѣе лихорадочныхъ движеній не давала; больной все-таки не спалъ ночь, хотя мѣстно никакихъ болей не было; изъ прямой кишки выливалось черезъ каждые $^1/_2$ 1 часа около чайной ложки слизи или бѣлой прозрачной, или съ каловой окраской, но теперь это выхожденіе совершалось почти безъ всякой потуги и боли, чѣмъ существенно отличалось съ дооперацiоннымъ періодомъ; вечеромъ въ этотъ день, въ 1-й разъ пр. Билльроту, когда онъ, впустивши около 3-хъ стакановъ воды въ кишки черезъ искусственное отверстіе началъ растирать животъ намасленной ладонью удалось вызвать обильное густое изверженіе черезъ новый проходъ что очень обрадовало больного; при выходѣ этихъ массъ у него сдѣлалась длинная глубокая отрыжка. Эту ночь Н. А. провелъ хорошо, при помощи свѣчки изъ $^1/_8$ грана морфія, но когда проснулся, то снова началась отрыжка и даже разъ вырвало зеленоватой слизистой жидкостью;

промывка кишекъ дала опять обильное выведеніе, во время котораго снова повторилась рвота; но послѣ нѣсколькихъ проглоченныхъ кусочковъ льду прекратилась и съ тѣхъ поръ болѣе не возобновлялась. Въ это утро пр. Билльротъ простился съ больнымъ и уѣхалъ въ Вѣну, успокоивши сестру, что пораненіе брюшины не можетъ имѣть послѣдствій, такъ какъ уже прошло 3 дня со времени операціи безъ всякой реакціи отъ пораненія.—Здѣсь начинается крайне однообразный періодъ въ нашемъ наблюденіи. Больной такъ былъ изнуренъ уже до операціи, что, казалось, малѣйшее осложненіе могло испортить все дѣло и, признаюсь, я съ немалымъ трепетомъ, всякое утро подходилъ къ его постели, боясь встрѣтиться съ какимъ нибудь новымъ неблагопріятнымъ явленіемъ. Но дни шли за днями и дѣло хоть туго и медленно, но подвигалось впередъ къ относительно лучшему состоянію. Заживленіе большого наружнаго разрѣза произошло частью черезъ первичное натяженіе, но въ углу его, обращенномъ къ позвоночнику, около 2-хъ мѣсяцевъ тянулось небольшое нагноеніе, такъ что при перевязкахъ всегда выдавливалось нѣсколько капель гною и нѣсколько же капель выходило и у отверстія въ кишку, вѣроятно, вслѣдствіе нагноенія въ окружности одного изъ швовъ; но это нагноеніе такъ было ничтожно, что не вызывало ни лихорадки, ни болей. Швы большого наружнаго разрѣза, а также и тѣ, которыми слизистая оболочка кишки была пришита къ покровамъ, отдѣлились въ первые 10 дней послѣ операціи; изъ 3-хъ же швовъ, наложенныхъ на брюшину, одинъ отдѣлился около 15-го мая, а остальные два только въ октябрѣ, Кромѣ наблюденія за раной и возможно лучшимъ питаніемъ больнаго, всѣ заботы теперь исключительно направлены были на поддержаніе правильности отправленій кишечнаго канала посредствомъ промывокъ. Дѣлались онѣ ежедневно и такимъ образомъ: больнаго клали на правый бокъ и въ операціонное отверстіе въ направ-

леніи къ поперечной ободочной кишкѣ вводился осторожно, не форсируя, конусообразный эластическій, длиной около 10 центиметровъ наконечникъ ирригатора, вмѣщавшаго въ себѣ около 3½ стакановъ тепловатой воды; когда весь наконечникъ былъ введенъ въ кишку, медленно и съ перерывами впускалась вода. Выведеніе испражненій послѣ впущенія воды совершалось обыкновенно въ нѣсколько разъ и часто ему предшествовали довольно сильныя схватки въ животѣ, глубокія отрыжки и небольшія срыгиванія слизи; проходъ же каловыхъ массъ черезъ операціонное отверстіе, которое при растяженіи пропускало куски до 1½ центиметровъ въ діаметрѣ, былъ совсѣмъ безболѣзненъ. Большая часть впущенной воды выходила черезъ искусственное отверстіе, значительно же меньшая часть спускалась въ отрѣзокъ кишки между этимъ отверстіемъ и S образнымъ перегибомъ и увлекала съ собой въ этотъ отрѣзокъ часть каловыхъ массъ, накопленіе которыхъ въ лѣвой подвздошной ямѣ легко опредѣлялось простымъ осязаніемъ и снова вызывало у больного болѣзненныя потуги, хотя далеко не столь сильныя, какъ до операціи, и по временамъ даже боли въ крестцѣ.

Это побудило вскорѣ, не ограничиваясь промывкой вверхъ по направленію къ тонкимъ кишкамъ, промывать и, такъ сказать, упраздненную часть кишечнаго канала; результатъ оказался на столько удачнымъ, что мы признали необходимымъ ежедневную промывку раздѣлить на два акта: вначалѣ большая половина вмѣстимости ирригатора впускалась по направленію кверху, и, по выходѣ испражненій, меньшая половина книзу; приэтомъ можно было убѣдиться, что непроходимость въ перегибѣ (flescura) кишки сдѣлалась почти полной: такъ, въ 1-й мѣсяцъ этихъ промывокъ нижней части, какъ только въ нее попадало около стакана воды, часть ея тотчасъ же изливалась съ болѣзненной потугой черезъ заднiй проходъ съ слизью и окрашенная каломъ, а

другая часть возвращалась через операціонное отверстіе съ кусками кала; съ теченіемъ же времени если впускалось и больше воды, то она не изливалась черезъ прямую кишку, а растянувъ видимо для глаза нижнюю часть ободочника, вызывала въ немъ антиперистальтическое движеніе и выходила почти вся черезъ операціонное отверстіе; въ этой нижней части кишки—катарральное состояніе было значительное, потому что часто съ водой вымывалось много слизи и самые куски, шедшіе изъ нея, были часто обволочены слизью и иногда обезцвѣчены. При изверженіяхъ какъ сверху, такъ и снизу, искусственное отверстіе оставалось покойно и только въ тѣхъ случаяхъ, когда являлся позывъ и изверженіе слизи черезъ задній проходъ—больной жаловался на сильный напоръ на искусственное отверстіе и въ него начинала выпячиваться слизистая оболочка въ видѣ небольшаго красноватаго вала; это ничтожное выпаденіе тотчасъ же исчезало, какъ только прекращался позывъ и слизь выливалась черезъ задній проходъ. Появленіе выпаденія исключительно при ректальныхъ потугахъ объясняется достаточно тѣмъ, что, проводя даже жидкость черезъ съуженное мѣсто, больной долженъ былъ жестоко жилиться и напрягать свой брюшной прессъ и грудобрюшную преграду; во время ихъ онъ сучилъ ногами и большею частью кричалъ. Кромѣ того, во время ректальныхъ потугъ у него всегда одновременно являлся непреодолимый позывъ къ мочеиспусканію. Слѣдуетъ замѣтить, что такія сильныя потуги дѣлались только при промывкѣ; въ остальное же время выхожденіе изъ задняго прохода слизи не причиняло почти ни малѣйшей боли. Нѣсколько разъ бывало и произвольное опорожненіе черезъ операціонную рану; больной узнавалъ это только по появленію каловаго запаха около себя. Вообще же дѣло шло на столько порядочно, что около 20-го мая Николай Алексѣевичъ сталъ вставать и ходить по комнатѣ; ѣлъ очень порядочно, спалъ замѣтно лучше преж-

няго.—23-го мая я уѣхалъ на двѣ недѣли изъ Петербурга, а по возвращеніи нашелъ больнаго въ нѣсколько худшемъ видѣ и это ухудшеніе не могъ себѣ объяснить ничѣмъ другимъ, какъ пренебрежными промывками и кой-какими нарушеніями діэты: вздутіе живота, отрыжка, изжоги, небольшое лихорадочное состояніе; при снятіи повязки операціонное отверстіе давало гнилой запахъ и слизистая оболочка его была покрыта слизью; при изслѣдованіи подъ микроскопомъ, не только эта слизь, и выдѣляемое черезъ прямую кишку, но и самая моча была богата грибками и палочными бактеріями. Черезъ 3 дня, я долженъ былъ уѣхать для собственнаго лѣченія за-границу, а потому передалъ больного доктору Сердечному, условившись съ нимъ испытать первое время, для уничтоженія развившагося слизистаго броженія, карболовую кислоту внутрь въ маленькихъ пріемахъ, а также прибавлять нѣсколько капель ея раствора къ водѣ, употребляемой для промывокъ. Кромѣ того, я крѣпко настаивалъ на скорѣйшей перевозкѣ больного на дачу, такъ какъ приближались жары и жить въ душныхъ городскихъ комнатахъ было бы тяжело, да и лишило бы важнаго условія для возможнаго возстановленія силъ—хорошаго воздуха; самъ Николай Алексѣевичъ очень хорошо понималъ пользу переѣзда на дачу, но очень боялся испортить результатъ операціи экипажною тряскою, такъ что проектировалось даже перенесеніе его въ носилкахъ; слѣдуетъ замѣтить, что съ конца мая больной почувствовалъ себя въ состояніи около часу сидѣть въ креслахъ, тогда какъ съ ноября сидячее положеніе для него было рѣшительно невыносимо. За границей я получалъ еженедѣльно извѣстія о ходѣ болѣзни отъ студента Демьянкова, ходившаго за больнымъ и пользовавшагося его особеннымъ расположеніемъ. Пищевареніе вскорѣ при ежедневныхъ промывкахъ пришло въ старый порядокъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ исчезло лихорадочное состояніе и изжога, улучшился аппетитъ,

и силы. Сознавая это больной однажды, во 2-й половинѣ іюня, внезапно рѣшился выѣхать и, слегка одѣвшись, сѣлъ съ сестрой и студентомъ въ экипажъ и прокатился по улицамъ, а вскорѣ затѣмъ выѣхалъ вторично, но уже подальше; не видя отъ этихъ выѣздовъ ни малѣйшаго ухудшенія, онъ наконецъ, перебрался 1-го іюля на дачу Строгонова на Черной рѣчкѣ. Въ общемъ же за лѣто никакихъ существенныхъ перемѣнъ не произошло; врачу было трудно ладить съ нимъ, какъ съ человѣкомъ нервнымъ, и особенно въ отношеніи пищи: часто онъ накидывался на вещи трудноваримыя и жирныя и тогда тотчасъ же ему дѣлалось хуже, являлось вздутіе живота, весьма мучительныя отрыжки, позывъ и выдѣленіе слизи черезъ задній проходъ увеличивалось. Въ іюлѣ, раза два выдѣлились черезъ задній проходъ довольно порядочные кусочки кала, такъ что можно было предположить начало распада новообразованія. Часто увеличивалась примѣсь крови въ ректальныхъ изверженіяхъ, а иногда кровь выдѣлялась даже порядочными свертками. Съ августа, больной ли, наученный опытомъ, сталъ нѣсколько воздержнѣе относительно тяжелой пищи, или мѣстныя явленія сложились нѣсколько благопріятнѣе, но страданія его чуточку затихли и тогда онъ сталъ немного читать и изрѣдка кое-что писать, а въ концѣ августа переѣхалъ съ дачи въ городъ. Также однообразно и довольно сносно прошелъ сентябрь и когда я его увидалъ, въ концѣ этого мѣсяца, то передо мной лежалъ тотъ же Некрасовъ, только исхудавшій до невозможности и съ болѣе заострившимися чертами лица. Состояніе духа было мрачное, сосредоточенное, говорилъ онъ мало и видимо уже плохо вѣрилъ утѣшеніямъ въ полное поправленіе, говоря, что онъ обратился въ животное и чувствуетъ, что въ такомъ состояніи можетъ прожить еще долго,—но какой прокъ въ такой жизни? И дѣйствительно, жизнь эта была ужасна по своему животному однообразію; всѣ помыслы почти исключительно напра-

влены были на животныя отправленія организма—ѣду и правильное опорожненіе; большую часть дня больной лежалъ часто съ закрытыми глазами, изрѣдка бросая какое нибудь односложное слово, и то большею частью, если его о чемъ нибудь спросятъ; правда, теперь онъ ежедневно читалъ газеты, но почти никогда не говорилъ о прочитанномъ, хотя за ходомъ военныхъ дѣйствій очевидно слѣдилъ. Изверженія слизи теперь были рѣже, иногда даже часа черезъ два и болѣе, и часто совсѣмъ безъ боли, и поэтому сонъ сталъ продолжительнѣе и покойнѣе. Вслѣдствіе ужасной худобы, безпрестанно мучило больного чувство отлежанія, мурашки въ тѣлѣ, которое только нѣсколько успокоивалось послѣ растиранія шерстяной перчаткой. При наружномъ изслѣдованіи не видно было ничего новаго; животъ, часто вздутый до промывки, послѣ выведенія массъ опадалъ и тогда, при прощупываніи, лѣвая подвздошная яма казалась немного напряженной; давленіе на нее безболѣзненно; паховыя и бедренныя железы, по прежнему, невелики; на изслѣдованіе прямой кишки нечего было и посягать при раздражительности больного.

Объ этихъ послѣднихъ двухъ съ половиною мѣсяцахъ, что я наблюдалъ больного, не приходится много распространяться, потому что, съ медицинской точки зрѣнія, они ничего не представляли интереснаго. Лѣченіе все сведено было къ крайне ограниченнымъ палліативнымъ мѣрамъ; дѣлались тѣ же промывки, большею частью, ежедневныя, иногда же черезъ день, смотря по состоянію кишечника; временами достаточно опорожнялъ ревень съ магнезіей и можно было порадовать больного льготнымъ днемъ, т. е. избавить его отъ мучительной процедуры клистира. Весь октябрь онъ охотно пилъ молоко и дошелъ до двухъ бутылокъ въ сутки, но потомъ оно ему надоѣло и онъ ограничивался двумя стаканами, пилъ крѣпкій бульонъ, токайское вино (до вина вообще онъ былъ не охотникъ и пилъ какъ

лѣкарство) и ѣлъ мясо. Въ октябрѣ же отстали два послѣдніе шва съ брюшины. Нѣсколько разъ на дню онъ вставалъ съ постели и прохаживался по комнатамъ, обыкновенно держась за руку ходившей тогда за нимъ сидѣлки; одинъ онъ ходить боялся съ тѣхъ поръ, какъ лѣтомъ чуть не упалъ; всякій день, кромѣ того, проводилъ нѣсколько часовъ сидя въ креслѣ. Изъ знакомыхъ онъ пускалъ къ себѣ немногихъ и не надолго. Въ ноябрѣ, Николай Алексѣевичъ сталъ сильно возставать противъ частыхъ промывокъ; онѣ стали утомлять его еще болѣе, потому что впущенная вода задерживалась часа по три въ кишкахъ и онъ все это время долженъ былъ оставаться, лежа въ постели, пока его не прослабитъ. Въ ноябрѣ же, онъ сталъ чаще и чаще жаловаться сначала на мѣстные поты, которые иногда замѣчалъ на груди и на головѣ, обыкновенно при пробужденіи, а потомъ — на рѣдкіе и непродолжительные ознобы; я же замѣчалъ, что пульсъ по временамъ дѣлался чаще и получалъ несвойственную ему полноту, моча также стала замѣтно насыщенной. При всемъ этомъ нервозность его до того была велика, что не было возможности уговорить на правильное измѣреніе температуры; раза два или три, послѣ настойчивыхъ приставаній, онъ ставилъ наконецъ термометръ, но, при его худобѣ, термометръ плохо ущемлялся, а прижать со стороны онъ никакъ не позволялъ, поэтому и эти измѣренія оказывались чисто фиктивными, хотя и такимъ образомъ температура разъ получилась 38.1. Все это очевидно, указывало на происходившій въ пораженномъ мѣстѣ распадъ и начало гнойнаго зараженія и заставляло все болѣе и болѣе ожидать скорой развязки, хотя самочувствіе больного оставалось весьма удовлетворительнымъ въ сравненіи съ прежними до операціонными болями; правда, съ появленіемъ лихорадочнаго состоянія его стали чаще и чаще безпокоить старыя отраженныя боли въ конечностяхъ, однакожъ, онъ часто

дремалъ днемъ, а ночью спалъ иногда по 3—4 часа безъ перерыва; голова была настолько свѣжа, что, почти не бравшись съ конца февраля за карандашъ, въ ноябрѣ и въ началѣ декабря онъ написалъ нѣсколько мелкихъ стихотвореній и одно изъ нихъ („Мнѣ снилось, на утесѣ стоя“) помогаетъ намъ заглянуть въ душу поэта и открыть, что и въ это время надежда на поправленіе не покидала его и что стихотворенія, написанныя имъ въ началѣ 1877 года, дышали большимъ отчаяніемъ и безнадежностью, чѣмъ эти въ дѣйствительности оказавшіяся «послѣдними пѣснями». Въ концѣ ноября стало замѣчаться небольшое выпаденіе слизистой оболочки въ операціонное отверстіе, величиною съ грецкій орѣхъ; больной его не ощущалъ и оно происходило, вѣроятно, отъ задержанія и уплотненія массъ у селезеночной кривизны, потому что при болѣе аккуратной промывкѣ совсѣмъ исчезало. Въ декабрѣ замѣтно уменьшился аппетитъ и, хотя, несмотря на это, больной ѣлъ все-таки изрядно, но силы поубавились; онъ меньше ходилъ по комнатѣ, еще рѣзче осунулся въ лицѣ и самый цвѣтъ лица сдѣлался зеленовато-блѣднымъ; явился небольшой отекъ въ обѣихъ ступняхъ. Нѣсколько разъ жаловался онъ въ это время на боль въ лѣвой ягодицѣ, которая казалась чуть замѣтно припухшей, но съ сохраненіемъ нормальнаго цвѣта покрововъ, поверхностное давленіе боли не усиливало. 13-го декабря послѣ промывки былъ довольно сильный ознобъ и часа два послѣ него—обильный общій потъ. 14-го декабря я нашелъ его лежащимъ въ кровати въ обычной позѣ, на правомъ боку съ подложенной подъ щеку правой рукой; послѣ осмотра, рѣшено было въ этотъ день промывки не дѣлать, такъ какъ животъ былъ достаточно опорожненъ наканунѣ; языкъ, всегда чистый и влажный, былъ нѣсколько суше, кожа на ощупь горячая, пульсъ 100 и полный; больной, какъ всегда, жаловался только на слабость и тоску во всемъ тѣлѣ, но преимущественно въ рукахъ. По окончаніи

осмотра, я сѣлъ подлѣ кровати и сказалъ ему, больше для того, чтобы испытать свѣжесть его головы: «А вѣдь сегодня 14-е декабря».—«Да, отвѣчалъ онъ:—я нынче какъ проснулся, такъ и вспомнилъ объ этомъ». Поговоривши еще немного, я уѣхалъ. Вечеромъ того же дня, въ девятомъ часу, за мной послали спѣшно; пріѣхавши, я его нашелъ въ какомъ-то несвойственно ему возбужденномъ состояніи; онъ меня встрѣтилъ словами, произнесенными съ досадой: «Зачѣмъ это васъ тревожили?» Но рѣчь была до того не чиста, что изъ его объясненій я рѣшительно не могъ понять, въ чемъ дѣло; изъ разспросовъ же приближенныхъ обнаружилось, что въ семь часовъ онъ всталъ съ кровати и перешелъ въ другую комнату, гдѣ сѣлъ въ кресло и попросилъ чаю, но едва онъ выпилъ стаканъ, какъ почувствовалъ потрясающій ознобъ и попросилъ сейчасъ же уложить его въ постель; ознобъ продолжался около $\frac{1}{4}$ часа; въ это время его нѣсколько разъ вырвало и разъ прослабило очень жидко черезъ искусственное отверстіе и послѣ этого окружающіе замѣтили, что онъ сталъ говорить не только неясно, но безъ логической связи. Лежалъ онъ на спинѣ, лѣвая нога была согнута въ колѣнѣ, а правая вытянута, лишена движенія, рефлексы на ней сохранены; правая же рука лежала на груди и была также парализована; пульсъ—110, полный; рвало понемногу и при мнѣ небольшимъ количествомъ слизи, смѣшанной со слюной. Предполагая, что произошла марантическая закупорка мозговой вены, я ограничился назначеніемъ отвлекающихъ, и для прекращенія рвоты, далъ замороженное шампанское. Ночь прошла безпокойно, больной безпрестанно просилъ пить: рвота все дѣлалась рѣже и къ тремъ часамъ совсѣмъ прекратилась, послѣ чего онъ спокойно проспалъ около $1\frac{1}{2}$ часовъ; ночью его прослабило еще три раза, но не жидко, черезъ искусственное отверстіе; въ седьмомъ часу, когда онъ попробовалъ встать, чтобъ помочиться, то окружающіе

замѣтили, что правая половина парализовалась еще болѣе. Въ девятомъ часу утра, я нашелъ его въ менѣе возбужденномъ состояніи: пульсъ—96, менѣе полный, температура тѣла не повышена, легкая испарина; ясный полу-параличъ лѣваго личнаго нерва и полный параличъ правой половины тѣла; животъ почти не вздутъ, каловыхъ массъ почти не прощупывается, за то мочевой пузырь сильно растянутъ, но онъ тотчасъ же опорожнился при простомъ нажатіи рукою. Николай Алексѣевичъ хотѣлъ во что бы то ни стало встать и походить, по обыкновенію, по комнатѣ; отговорить его было невозможно, и, поднявшись съ великимъ трудомъ съ постели, его обвели два раза по комнатѣ, причемъ, правая нога тащилась сзади и передвигалась при поворотахъ посторонними руками, но онъ этого не замѣчалъ, а только твердилъ что то недовольнымъ тономъ, и изъ всего его бормотанья нѣсколько яснѣе слышались безпрестанно повторяемыя слова: „ну что это? ну что это?» Я разъ спросилъ его, что онъ хочетъ сказать, и онъ довольно ясно произнесъ: „они мнѣ всю спину изломали", очевидно разумѣя лицъ, водившихъ его по комнатѣ. Наконецъ, его уложили въ постель, съ которой ему болѣе уже не пришлось вставать. Въ теченіи дня онъ замѣтно сталъ свѣжѣе, рѣчь гораздо яснѣе, нога обнаруживала большую подвижность и онъ сталъ произвольно сгибать ее въ колѣнѣ, но за то рука оставалась совершенно неподвижной. Ничего не ѣлъ, но очень благодарилъ за мороженое, которое я ему предложилъ и которое онъ требовалъ безпрестанно.

16-е декабря. Больного навѣстилъ и осмотрѣлъ профессоръ Боткинъ; чтобы выслушать заднія доли легкаго, его съ трудомъ можно было посадить въ постели. Кожа покрыта испариной; больной безпрестанно просилъ пить; отъ пріема лѣкарства отказывался. Изъ прямой кишки вылилось заразъ безъ всякой боли около стакана буроватой слизи очень дурного запаха, на который самъ больной обратилъ вниманіе. Къ вечеру появилась

тѣстообразная припухлость на задней поверхности бедра, безъ измѣненія цвѣта кожи. Икота.

17-е д. Сознаніе ясное; встрѣтилъ меня словами: «все не околѣваю», жаловался на икоту и говорилъ, что это явленіе предсмертное. Опухоль на бедрѣ также начинаетъ его сильно безпокоить; она увеличивается и переходитъ на переднюю поверхность. Все какъ бы дремлетъ, зарываясь затылкомъ въ подушку; попроситъ воды, выпьетъ или скажетъ слово и сейчасъ же захрапитъ, по временамъ дыханье какъ бы прекращается и послѣ паузы слѣдуетъ глубокое вдыханье (Шеинъ-Штоковской феноменъ). Пульсъ—100, полный.

18-е д. Ночью вырвало, потому что часто и много пилъ, то зельцерскую воду, то лимонадъ, обыкновенно назначая самъ и раздражаясь, если ему давали не то, что онъ просилъ. Едва уговорили принять утромъ нѣсколько ложекъ бульону. Проситъ почти безпрестанно растирать обѣ ноги ниже колѣна. Опухоль бедра—также какъ наканунѣ; явился небольшой отекъ въ запястьи парализованной руки. Сонливость нѣсколько меньше, пульсъ—106, сильная испарина.

19-е д. Ночью засыпалъ по часу, въ промежуткахъ требуя пить; немного бредилъ и между прочимъ сказалъ: „зачѣмъ они заговорили мнѣ только одну половину головы?». Утромъ вторично вдругъ вылилось изъ прямой кишки почти такое же количество буроватой вонючей жидкости, послѣ чего опять пошла бѣловатая слизь съ малымъ запахомъ. Опухоль на бедрѣ, какъ будто менѣе чувствительна, но распространилась до колѣна. Прочія явленія тѣже.

20-е д. Сонливость и икота прекратились, жажда меньше; отказывается отъ пищи, говоря, что боится рвоты, однако, выпилъ немного бульону. Жалуется на боль и жженіе въ обѣихъ ступняхъ и преимущественно въ лѣвой и безпрерывно проситъ поливать ихъ съ губки холодной водой, ссылаясь на то, что Плетневъ ему всегда совѣтовалъ лѣчиться холодной водой; поливаніе видимо

его успокоиваетъ, но какъ только его прекращаютъ, онъ начинаетъ волноваться и жаловаться, что ему не хотятъ помочь.

21-е д. Тѣ же жалобы на жженіе въ ступняхъ; прочія явленія тѣже.

22-е д. На опухоли лѣвой ягодицы замѣчается при надавливаніи небольшой подкожный трескъ, переходящій къ задней поверхности и на верхнюю часть бедра около большаго бугра (trochantor major); очевидно, вслѣдствіе разрушенія стѣнки кишки, кишечные газы распространились по клѣтчаткѣ.

23-е д. Животъ болѣе вздутъ, хотя безболѣзненъ, какъ прежде; особенно растянутой представляется слѣпая кишка; разъ вырвало. Такъ какъ выведеній сверху не было около недѣли, то рѣшено промыть верхнюю часть кишекъ; сначала вода возвращалась только окрашенной, а потомъ вышло много сформованнаго кала. Во время промывки больной лежалъ покойно и ничего не говорилъ. Начинается пролежень на правой половинѣ крестца.

24-е д. Больной видимо слабѣе, но провелъ сутки покойнѣе, поѣлъ немного бульону, рвоты не было. Отекъ правой руки увеличивается; опухоль бедра не измѣнилась; больше всего жалуется на мѣсто пролежня.

25-е д. Гораздо слабѣе, говоритъ очень мало и менѣе ясно; въ первый разъ пожаловался на боль въ головѣ, именно во лбу и кромѣ того на боль въ горлѣ и глотаетъ съ гримасой, хотя при изслѣдованіи въ зѣвѣ ничего незамѣтно.

26-е д. Слабость увеличивается; трудно понимать, что хочетъ сказать больной, однако же, явственно пожаловался на боль головы; глотаніе трудно, пульсъ—100, но довольно полный. Около 5 часовъ дня, больной поочередно подозвалъ къ себѣ жену, сестру и сидѣлку и каждой сказалъ одно и тоже слово, какъ бы «прощайте». Съ этого времени, онъ уже болѣе ничего не говорилъ, и, когда я пріѣхалъ, въ 10-мъ часу вечера, онъ, видимо, ни-

чего не сознавалъ, но когда я попробовалъ дать ему съ ложки воды съ виномъ, тотчасъ проглотилъ, поморщившись.

27-е д. Вся ночь прошла такъ, какъ я его оставилъ, но на утро я нашелъ пульсъ около 100 и менѣе полнымъ, ритмъ дыханій правильный, съ числомъ 36 въ минуту. Выраженіе лица покойно, ни одинъ мускулъ на немъ не шевелилсл, глаза полуоткрыты и устремлены на одну точку; все тѣло лежало совершенно неподвижно на спинѣ и, подошедши къ кровати, можно было подумать, что жизнь покинула тѣло, еслибы не движенія грудной клѣтки, да лѣвая рука находилась въ безпрерывномъ движеніи; онъ то подносилъ ее къ головѣ, то клалъ на грудь. Я заѣзжалъ еще во 2 и въ 5 часу — перемѣны не было; но въ 8 часовъ вечера я нашелъ, что дыханіе сдѣлалось шумнѣе и рѣже, пульсъ сталъ исчезать, конечности нѣсколько холоднѣе, а около $8^1/_2$ ч. начались послѣднія минуты: дыханье становилось все рѣже и рѣже, ротъ то открывался, то закрывался, явилось 2 раза судорожное сокращеніе челюстей, затѣмъ небольшой короткій хрипъ и все было кончено.

Вскрытіе тѣла было произведено проф. Груберомъ, 28 декабря въ 10 часовъ вечера, но, къ сожалѣнію, было обставлено большими неудобствами и должно было ограничиться исключительно брюшной полостью. Въ полости брюшины отсутствіе всякой жидкости; около операціонной раны не замѣчается ни срощеній, ни какихъ либо признаковъ бывшаго воспаленія брюшины; большое вздутіе слѣпой и ободочной кишекъ выше операціонной раны; ниже же кишка представлялась атрофированной и не превышала діаметра тонкихъ кишекъ; въ ней было небольшое количество кала. Не много выше promontorium, нисходящая ободочная кишка переходила съ лѣвой стороны живота на правую, гдѣ, сдѣлавши новый поворотъ справа на лѣво, спускалась въ малый тазъ и представляла срощеніе съ задней стѣнкой мочеваго пузыря, но еще бо̀льшее срощеніе кишки было сзади съ крестцовой

костью, начиная отъ 2-го позвонка книзу; это заднее сроще́ніе было такъ крѣпко, что могло быть отдѣлено только съ помощью ножа. Между S-образнымъ перегибомъ и мочевымъ пузыремъ, кромѣ того, найдена опустившаяся петля нижняго конца тонкой кишки (ileum), сросшаяся какъ съ перегибомъ, такъ и съ пузыремъ. Ниже отсепарованнаго ножомъ сращенія у 2-го позвонка рука довольно свободно проходила въ клѣтчатку, сильно пропитанную частью излившеюся изъ кишки жидкостью, частью весьма ѣдкимъ гноемъ, который проложилъ себѣ путь черезъ лѣвое большое сѣдалищное отверстіе (incisura ischiadica major) въ область ягодичныхъ мышцъ (musli glutaei) и спустился на бедро; обращенная къ гною поверхность крестцовой кости была поражена поверхностно костоѣдой. Черезъ это выпотѣніе проходили оба мочеточника и особенно лѣвый былъ очень растянутъ выше прижатія. Въ средней трети прямой кишки (regio ano-prostatica) находилось новообразованіе въ видѣ бугристой массы; бугры были величиной съ лѣсной орѣхъ и на протяженіи дюйма кольцеобразно съуживали просвѣтъ кишки; находившаяся выше часть прямой кишки значительно расширена и задняя стѣнка ея разрушена. Эта верхняя часть прямой кишки была отклонена нѣсколько влѣво и надъ ней, какъ клапанъ, совершенно закрывавшій проходимость, находился S образный перегибъ, шедшій въ этомъ мѣстѣ, какъ сказано выше, справа налѣво. Бугры новообразованія были довольно мягкой консистенціи; при разрѣзѣ выступалъ изъ нихъ молочновидный сокъ; подъ микроскопомъ преобладали большія веретенообразныя клѣтки съ 1 или 2 зернами, изрѣдка встрѣчались большія овальныя клѣтки; кромѣ того много распаду и очень мало волокнистой основы. Пр. Груберъ призналъ новообразованіе за эпителіальный или цилиндрическій ракъ. Брыжечныя железы были не поражены, печень и селезенка также не представляли ничего особеннаго.

Кое-что о болѣзни И. С. Тургенева.

Вся читающая и образованная Россія поражена была печальнымъ извѣстіемъ о смерти Тургенева; тѣмъ не менѣе, нельзя сказать, чтобы событіе это было совсѣмъ неожиданно, хотя послѣднія газетныя извѣстія скорѣе говорили объ улучшеніи здоровья знаменитаго писателя, чѣмъ о близости смертельнаго исхода. Вся обстановка, въ которой медленно угасалъ и, наконецъ, угасъ Тургеневъ, дѣлала то, что въ многочисленный кругъ друзей и почитателей покойнаго, живо интересовавшихся ходомъ его болѣзни, проникали крайне скупые и подчасъ противурѣчивые слухи; газеты то сообщали, что ему дѣлается лучше, то вскорѣ затѣмъ выпускали извѣстія объ ухудшеніи, то писалось о вскрывшемся нарывѣ, то объ аневризмѣ, то о какомъ то странномъ кардіальномъ бредѣ; затѣмъ, проходили чуть не цѣлые мѣсяцы, въ теченіе которыхъ всякія извѣстія прекращались, и тяжелое недоумѣніе публики смѣнялось воскресавшею надеждою: pas de nouvelles—bonnes nouvelles. Всѣ эти недоумѣнія, вся скудость извѣстій легко объясняются тѣмъ, что великій русскій писатель умиралъ вдали отъ родины, въ окрестностяхъ Парижа, окруженный попеченіями дружеской, но чуждой Россіи и интересамъ русской публики, семьи, на рукахъ французскихъ врачей, которые хотя и относились къ больному вполнѣ добросовѣстно, но между этою почтенною семьею и врачами, съ одной стороны, и русскою публикою, съ другой, не могло уста-

новиться той живой связи и той передачи точныхъ подробностей о ходѣ болѣзни и различныхъ ея перипетіяхъ, которыя были бы возможны, еслибы Тургеневъ умиралъ въ Петербургѣ или гдѣ нибудь на родинѣ. Случай мнѣ позволилъ видѣть покойнаго разъ десять въ Парижѣ и Буживалѣ за послѣдніе полтора года, нѣсколько разъ его изслѣдовать въ различные періоды болѣзни, и хотя я его не лѣчилъ и правильно не наблюдалъ, но все же я считаю себя обязаннымъ подѣлиться съ русскою публикою и тѣмъ немногимъ, что знаю. Какъ врачъ, я постараюсь набросать только медицинскую сторону дѣла.

Живя зиму 1881—82 года въ Парижѣ и часто слыша отъ русскихъ о тяжкой болѣзни Тургенева, я вызвался самъ посѣтить его — и навѣстилъ его въ концѣ марта на квартирѣ въ улицѣ Дуэ. Я нашелъ его въ постели въ небольшой спальнѣ третьяго этажа и тутъ же осмотрѣлъ его въ первый разъ. Тогда онъ жаловался на сильныя боли въ лѣвой ключицѣ, усиливавшіяся при всякомъ движеніи, и особенно при ходьбѣ. Лѣчившій его молодой врачъ—Сегонъ, къ которому онъ относился съ большимъ довѣріемъ и котораго называлъ будущею звѣздою хирургіи, привозилъ на консультацію профессора Шарко, и послѣдній призналъ болѣзнь за грудную жабу, посовѣтовалъ давать внутрь полибромюры, а снаружи—прижигать больную область Пакеленовскимъ снарядомъ. Отъ начала лѣченія прошло около двухъ недѣль, а боль оставалась по прежнему сильная, и только лежа въ постели, И. С. почти совсѣмъ отъ нея избавлялся, но за то постоянное лежаніе портило замѣтно пищевареніе и съ тѣмъ вмѣстѣ значительно уменьшало аппетитъ. Боль чувствовалась въ самой ключицѣ, ближе къ плечу, и при усиленіи распространялась немного въ руку и въ нижнюю часть шеи; при надавливаніи и движеніяхъ руки она не усиливалась. При изслѣдованіи внутреннихъ органовъ, я нашелъ увеличенный продоль-

ный діаметръ сердца (тупость отъ верхушки 3-го ребра, толчекъ, нѣсколько усиленный, между 5 и 6-мъ ребрами, на полъ-сантиметра лѣвѣе сосковой линіи), рѣзкій шумъ съ 1-мъ тономъ въ аортѣ и такой же шумъ въ головной и подключичной артеріяхъ, печень, пальца на два выходившую изъ подъ края реберъ, умѣренно плотную и мало чувствительную; пульсъ 64, жесткій вслѣдствіе перерожденія артеріальныхъ стѣнокъ, питаніе удовлетворительное. И. С. страдалъ уже болѣе 20 лѣтъ припадками упорной подагры, которые являлись раза по два въ годъ и продолжались по нѣскольку недѣль; и во время моего визита, онъ былъ въ періодѣ своихъ обычныхъ болей въ большомъ пальцѣ лѣвой ноги и въ лѣвомъ колѣнномъ суставѣ, замѣтно немного припухшихъ. Фридрейхъ, еще въ началѣ 60-хъ годовъ, нашелъ у него болѣзнь сердца и прописалъ соотвѣтствующее содержаніе, а года черезъ два изслѣдовавшій его—старикъ Булльо опредѣлилъ артритическія отложенія въ аортѣ. Самъ же И. С. сказалъ мнѣ, что онъ уже 20 лѣтъ сталъ замѣчать у себя какія-то странныя ощущенія въ сердцѣ, «по временамъ сердце играло—«выражался онъ, но, напротивъ, еще до появленія ключичныхъ болей всякія субъективныя ощущенія въ немъ прекратились и оно сдѣлалось замѣчательно покойнымъ,—и дѣйствительно, сокращенія сердца были совсѣмъ правильны и пульсовая волна артерій — равна, безъ перебоевъ. Въ результатѣ моего изслѣдованія получилось—ясное перерожденіе артерій, отложеній въ стѣнкахъ аорты и на полулунныхъ ея клапанахъ, гипертрофія лѣваго желудочка; но по скольку мучительная боль зависѣла отъ сказанныхъ измѣненій въ сосудистомъ аппаратѣ, была ли это грудная жаба? я немного сомнѣвался въ томъ, въ виду улучшенія субъективныхъ ощущеній со стороны сердца и правильности сокращеній сердечной мышцы,—и, съ своей стороны, посовѣтовалъ электризовать больное мѣсто, или попробовать металлотерапію.

Когда я во второй разъ, черезъ недѣлю, заѣхалъ къ И. С., то нашелъ его по прежнему въ кровати и съ тѣми же жалобами, и только въ первый день, когда онъ надѣлъ металлическую пластинку (кажется, мѣдную) на ключицу, по его словамъ, онъ блаженствовалъ, боль магически исчезла, но въ послѣдующіе дни она снова вернулась и все пошло опять по старому. Онъ, видимо, хандрилъ и скучалъ своею неподвижностью, отсутствіемъ внѣшняго воздуха, и мечталъ о переѣздѣ въ Буживаль, въ свое любимое лѣтнее пребываніе,—и въ началѣ мая ему удалось наконецъ, переѣхать. Здѣсь обстановка его жизни была комфортабельнѣе парижской, комнаты больше и выше, домъ стоялъ среди чуднаго большаго парка; но боль съ переѣздомъ нисколько не уменьшилась, а напротивъ; навѣстивъ И. С. тамъ, я вынесъ впечатлѣніе тѣмъ болѣе грустное, что онъ сталъ прибѣгать къ частнымъ подкожнымъ вспрыскиваніямъ морфія и легко могъ пристраститься къ нимъ до злоупотребленія, онъ даже нѣсколько осунулся и похудѣлъ. Оставлять такъ дѣло далѣе было нельзя, и я посовѣтовалъ ему попросить къ себѣ хоть разъ проф. Жакку, какъ одного изъ лучшихъ парижскихъ врачей, и отобрать его мнѣніе; И. С. съ очевидной радостью ухватился за мое предложеніе и попросилъ меня устроить консультацію Жакку съ лѣчившимъ его въ Буживалѣ, мѣстнымъ врачемъ, докторомъ Маньеномъ. Я тотчасъ же повидался и переговорилъ съ Жакку, но такъ какъ для совѣщанія надо было привезти И. С. въ Парижъ, а для этого дождаться, когда состояніе больнаго позволитъ совершить этотъ переѣздъ, то дѣло затянулось, и консультація состоялась только въ началѣ іюля, когда я уѣхалъ въ Швейцарію, куда И. С. письмомъ увѣдомилъ о результатѣ ея. Жакку изслѣдовалъ его очень старательно и, также признавъ болѣзнь, какъ и Шарко, за грудную жабу, посовѣтовалъ мѣстное электризованіе и строгое молочное лѣченіе. Электричество мало облегчало больнаго, а

потому вскорѣ было оставлено, но за то, не знаю, молочное ли лѣченіе, или лѣтняя пора, только И. С. стало замѣтно лучше, боли гораздо рѣже и слабѣе, такъ что онъ получилъ возможность двигаться и нѣсколько разъ сдѣлалъ довольно длинныя прогулки въ экипажѣ; а когда я, проѣздомъ черезъ Парижъ, заѣхалъ въ сентябрѣ къ нему въ Буживаль, то нашелъ его и бодрѣе, и веселѣе; хотя боли и возвращались довольно часто, но не лишали его возможности спускаться въ садъ и не отрывали отъ литературной работы. Онъ выпивалъ въ сутки 3 бутылки молока и переносилъ его отлично, почти не чувствуя потребности въ другаго рода пищѣ. Въ состояніи сердца и сосудовъ при изслѣдованіи я не нашелъ никакой перемѣны.

Зимой, живя на югѣ Франціи, я обмѣнялся съ И. С. нѣсколькими письмами, и хотя онъ продолжалъ жаловаться на боли и нездоровье, но благополучно перебрался на зиму въ Парижъ и изрѣдка выѣзжалъ. Потомъ наступила пауза въ письмахъ и только въ началѣ марта, почти одновременно, какъ о томъ было напечатано въ русскихъ газетахъ, получено мною было коротенькое письмо, написанное постороннею рукою и только подписанное И. С., въ которомъ онъ извѣщалъ меня о вырѣзаніи у него д-мъ Сегонъ невромы (о существованіи ея онъ прежде не говорилъ мнѣ ни слова) и что операція удалась блестящимъ образомъ. Затѣмъ я больше не получалъ ни одного письма, а взамѣнъ того стали въ газетахъ появляться все болѣе и болѣе тревожныя извѣстія о состояніи И. С., притомъ извѣстія крайне сбивчивыя, по которымъ очень трудно было сдѣлать какое нибудь ясное представленіе; видно было одно, что первенствующее значеніе въ страданіяхъ больного врачи стали болѣе рѣшительно приписывать аневризму.

Въ половинѣ мая былъ опять въ Парижѣ и въ день пріѣзда повидался со многими изъ знакомыхъ, но не могъ добиться отъ нихъ никакихъ ясныхъ свѣдѣній — и это

было вполнѣ понятно: И. С. уже былъ перевезенъ въ Буживаль, а такъ какъ въ это время онъ страдалъ жестоко и почти безъ перерыва, то не принималъ рѣшительно никого изъ постороннихъ, и узнать что нибудь точно о его состоянiи — было очень трудно. Не теряя времени, я тотчасъ же написалъ И. С. записку, извѣщая его о своемъ прiѣздѣ и спрашивая, могу ли, не обезпокоивши его, прiѣхать въ Буживаль и когда? Въ тотъ же день я получилъ почтовую карту, на которой И. С. собственноручно писалъ, что онъ очень радъ меня видѣть и ждетъ съ нетерпѣнiемъ; почеркъ былъ четкiй, хотя нѣсколько дрожащiй. Я немедленно отправился въ Буживаль съ тяжелымъ сердцемъ, потому что заранѣе зналъ, что предстоящее свиданiе будетъ одно изъ тѣхъ мучительныхъ свиданiй, которыя выпадаютъ не рѣдко на долю врача въ его профессiональной жизни: предстояло увидѣть жестокiя страданiя, сознавать невозможность отъ нихъ избавить и даже, можетъ быть, облегчить ихъ,—и, въ тоже время, стараться успокоить больнаго и поднять въ немъ потухавшую искру надежды на исцѣленiе, при этомъ соблюсти должный тактъ и не впасть въ неумѣренно-успокоительный тонъ, дутость и фальшь котораго не могла укрыться отъ такого тонкаго наблюдателя, какимъ былъ Тургеневъ. Обо мнѣ доложили и тотчасъ же попросили въ спальню; И. С. лежалъ на широкой кровати, одѣтый въ домашнюю визитку, и, видимо, передъ тѣмъ читалъ; кругомъ его валялось на кровати въ безпорядкѣ нѣсколько номеровъ газетъ и развернутая книжка «Вѣстника Европы“. Лицо его немного похудѣло, а обычный желтоватый колоритъ кожи сталъ гораздо гуще и переходилъ въ синевато-темный, что особенно рѣзко кидалось въ глаза при снѣжной бѣлизнѣ волосъ и бороды больнаго; глаза замѣтно ввалились; около нихъ легли темные круги, придававшiе лицу страдальческое выраженiе. Лежалъ онъ на спинѣ и, не повернувъ головы при моемъ входѣ, протянулъ руку и

тотчасъ же заговорилъ такимъ разслабленнымъ голосомъ: «плохо мнѣ, совсѣмъ плохо; нѣтъ, такъ дольше жить невозможно; дайте мнѣ что-нибудь, чтобы поскорѣе умереть и больше не страдать такъ; сегодня мнѣ еще лучше и я отдыхаю, но въ моментъ болей я готовъ все съ собой сдѣлать; вѣрите-ли, я такъ тогда кричу, что слышно въ большомъ домѣ» (домъ, въ которомъ жила семья Віардо).

Затѣмъ онъ началъ разсказывать подробно и съ необыкновенной ясностью и послѣдовательностью все, что произошло съ нимъ съ того времени, какъ мы разстались: какъ онъ чувствовалъ себя хорошо въ началѣ зимы, какъ онъ рѣшилъ вырѣзать среди зимы свою давнюю небольшую невромy на нижней стѣнкѣ живота; къ этому его побудило то, что опухоль, бывшая прежде совсѣмъ безболѣзненною, вдругъ послѣ ушиба стала побаливать и замѣтно увеличилась въ объемѣ. Операцію сдѣлалъ Сегонъ очень удачно, но послѣ нея И. С. долженъ былъ до заживленія раны лежать въ кровати, и тутъ понемногу снова стали возвращаться прежнія невральгическія боли, но только на этотъ разъ не въ ключицѣ, а въ срединѣ спиннаго хребта и вокругъ всего пояса; боли стали быстро учащаться и усиливаться, уступая только на время морфійнымъ спринцованіямъ, и постепенно дошли до того, что „я тутъ даже ничего не помню, — говорилъ И. С. — и мнѣ кажется, что недѣль шесть голова моя была въ какомъ-то тяжеломъ туманѣ, до тѣхъ поръ, пока меня не перевезли сюда; здѣсь мнѣ немного полегче, но и теперь въ пароксизмы боли я страдаю невыносимо, меня схватываетъ и держитъ въ какихъ-то гигантскихъ тискахъ, отъ которыхъ я только облегчаюсь спринцовкою". Послѣ разсказа я осмотрѣлъ И. С., но бѣгло, чтобы его не очень мучить, и былъ пораженъ сильнымъ похуданіемъ тѣла; отъ прежняго мощнаго атлета оставались кожа, да кости; въ состояніи сердца и сосудовъ я не нашелъ никакой существенной

перемѣны, только пульсъ былъ сравнительно чаще (76 разъ въ минуту) и не столь полонъ; животъ болѣе вздутый, языкъ очень обложенъ, больной жаловался на сильное отвращеніе отъ пищи, частую тяжесть подъ ложкою и трудное пищевареніе; ѣлъ онъ крайне мало и снова пытался свести себя на молочное лѣченіе. При осмотрѣ 8-го и 9-го спинныхъ позвонковъ, откуда исходили теперь всѣ боли, я ничего особеннаго не замѣтилъ; надавливаніе на нихъ было непріятно больному, но не болѣзненно; при изслѣдованіи мнѣ еще кинулась въ глаза пониженная чувствительность кожи живота и нижнихъ конечностей. И. С. уже не былъ въ состояніи вставать съ постели и одѣваться безъ посторонней помощи, поворачивался съ боку на бокъ съ большимъ трудомъ, а сидѣть, не прислонясь, вовсе не могъ.

Послѣ этого бѣглаго экзамена, я, какъ могъ, старался успокоить И. С. и, не рѣшая ничего, предложилъ ему свести меня съ докторомъ Маньеномъ, чтобы намъ потолковать сообща; на томъ и порѣшили, — и я уже хотѣлъ проститься, видя, что И. С. порядкомъ-таки утомился моимъ визитомъ; но онъ меня остановилъ словами: «Постойте, я вамъ не разсказалъ главнаго, а вамъ, какъ врачу, это непремѣнно нужно знать; вы не знаете настоящей причины моей болѣзни, а я теперь убѣжденъ въ ней: вѣдь я отравленъ». И послѣ этого сталъ разсказывать длинную, весьма фантастическую и нелѣпую до крайности исторію отравленія, передавать которую здѣсь я считаю безполезнымъ. Рѣзкій переходъ отъ вполнѣ логической и разумной бесѣды къ этому сумбурному повѣствованію былъ крайне поразителенъ и я пытался тутъ же доказать всю неестественность его разсказа, но онъ стоялъ на своемъ и постоянно на мои возраженія твердилъ: «Повѣрьте, это такъ, я ужъ знаю». Но тутъ вскорѣ начался обычный приступъ боли, И. С. сталъ сильно метаться, стонать и просилъ сдѣлать ему поскорѣе спринцованіе морфія, — и я вышелъ, попро-

щавшись. Былъ чудный майскій день, но я шелъ, спускаясь по парку съ горы къ станціи желѣзной дороги, не обращая вниманія на весеннюю прелесть сада и, лежавшій передъ глазами, удивительный пейзажъ и стараясь разобраться въ лабиринтѣ болѣзненныхъ явленій, собранныхъ мною, какъ путемъ разспросовъ больнаго, такъ и моимъ изслѣдованіемъ. Мнѣ казалась сомнительною и діагностика профессора Бруарделя, признававшаго у И. С. аневризму дуги аорты, и нѣсколько натянутымъ предположеніе профессора Потэна, что въ данномъ случаѣ болѣзнь заключается въ воспаленіи нервовъ, въ связи съ перерожденіемъ кровеносныхъ сосудовъ; одно представлялось съ безотрадною очевидностью, что И. С. погибъ и что медицинѣ тутъ не остается дѣлать ничего иного, какъ облегчать по возможности страданія больнаго и поддерживать его нравственно.

Черезъ нѣсколько дней состоялось въ Буживалѣ мое свиданіе съ докторомъ Маньеномъ; это былъ скромный подгородный врачъ, связанный давнишнимъ знакомствомъ съ семействомъ Віардо и много лѣтъ знавшій И. С.; онъ вполнѣ понималъ безвыходность положенія больнаго, но былъ совершенно сбитъ съ толку разнообразными діагностиками парижскихъ знаменитостей: Шарко, Жакку, Бруарделя и Потэна. На мой вопросъ о свойствѣ вырѣзанной опухоли онъ отвѣчалъ, что ничего достовѣрно указать не можетъ, а только слышалъ отъ семьи Віардо, что микроскопическое изслѣдованіе опухоли обнаружило, будто бы, элементы, свидѣтельствующіе о ея недоброкачественности. При совмѣстномъ, затѣмъ, изслѣдованіи И. С. я тщательно осмотрѣлъ оперированное мѣсто: на два пальца надъ лобковою костью почти по срединной линіи находился жесткій циркулярный рубецъ, величиною въ рублевую монету, синевато краснаго цвѣта; онъ приросъ къ подлежащей клѣтчаткѣ, которая и вокругъ рубца представлялась замѣтно уплотнѣлой; давленіе на рубецъ очень чувствительно для больнаго, не-

смотря на то, что послѣ операціи прошло около 4-хъ мѣсяцевъ; паховыя железы не болѣзненны, но съ обѣихъ сторонъ замѣтно увеличены и нѣсколько тверды; остальныя железы, повидимому, не были измѣнены. Кромѣ того, д-ръ Маньенъ обратилъ мое вниманіе на небольшое притупленіе подъ правою лопаткою и полутрескучіе хрипы въ этомъ мѣстѣ. Послѣ осмотра, который мы старались, опять-таки, по возможности, укоротить, такъ какъ онъ чрезвычайно утомлялъ больнаго, я высказалъ свое предположеніе доктору о вѣроятности въ данномъ случаѣ мелкихъ раковыхъ [1]) или саркоматозныхъ узловъ въ спинномъ хребтѣ и, вѣроятнѣе всего, на мозговыхъ оболочкахъ. Для лѣченія, понятно, нельзя было предложить ничего радикальнаго, а потому пришлось ограничиться подтвержденіемъ того припадочнаго лѣченія, которому уже слѣдовалъ Маньенъ: питательная пища, поддержаніе силъ, наблюденіе за неправильностью пищеваренія и умѣренное употребленіе подкожныхъ спринцованій, чтобы не черезчуръ морфинизировать больнаго; на послѣднее было обращено вниманіе и прежде, такъ что суточное количество морфія въ спринцованіяхъ не превышало 2 центиграммовъ, т.-е. $\frac{1}{3}$ грана. Послѣ консультаціи, И. С., между прочимъ, меня спросилъ, не нужно ли ему перемѣнить климатъ? Я отвѣтилъ отрицательно, потому что прямой пользы въ этомъ я не видалъ, а между тѣмъ, перевозка была сопряжена съ большими мученіями; пребываніе его въ Буживалѣ было обставлено такимъ рѣдкимъ домашнимъ комфортомъ, какой не легко было устроить на новомъ мѣстѣ и, наконецъ, уходъ за собой семьи Віардо И. С. самъ признавалъ идеальнымъ и не могъ имъ достаточно нахвалиться. Однако же, я спросилъ его, куда бы онъ самъ желалъ переѣхать? «Въ Баденъ», отвѣтилъ онъ. — Но

[1]) Послѣдующее вскрытіе подтвердило догадку Бѣлоголоваго.
Г. Д.

кто же тамъ устроитъ за вами такой уходъ и обстановку, какими вы пользуетесь здѣсь? «Тамъ у меня старый другъ Анненковъ, но, правда, онъ на лѣто собирается съѣздить въ кіевскую губернію», добавилъ онъ — и на этомъ вопросъ о переѣздѣ былъ покончень.

Еще два или три раза успѣлъ я, до моего отъѣзда изъ Парижа, съѣздить въ Буживаль, входя всякій разъ съ стѣсненнымъ сердцемъ въ спальню И. С.; безпощадный недугъ дѣлалъ свое дѣло и съ убійственною медленностью точилъ силы больнаго, давая рѣдкія послабленія въ боляхъ, съ виду какъ бы оставаясь въ statu quo; но это было только съ виду, на дѣлѣ же развязка приближалась и когда я пріѣхалъ проститься, то замѣтилъ, что поданная мнѣ больнымъ рука была лихорадочно горяча, пульсъ ускореннѣе обыкновеннаго, а на мой вопросъ И. С. отвѣтилъ, что послѣднія ночи онъ сталъ замѣтно потѣть. Наши часовыя бесѣды (отъ одного поѣзда желѣзной дороги до другаго) исключительно касались состоянія его здоровья; не разъ онъ еще обращался къ фантастическому разсказу о своемъ отравленіи; за исключеніемъ же этой тэмы его рѣчь всегда была послѣдовательна и разумна. Однажды я свернулъ разговоръ на текущія событія и тотчасъ же убѣдился, что онъ не перестаетъ слѣдить за ними какъ по французскимъ, такъ и по русскимъ газетамъ. При послѣднемъ нашемъ прощаніи (это было 9-го іюня новаго стиля) я старался убѣдить И. С. въ своей увѣренности найти его въ концѣ сентября, когда я думалъ снова вернуться въ Парижъ, значительно окрѣпшимъ, какъ-то было въ предшествовавшую осень,—и вмѣстѣ поѣхать зимовать на югъ Франціи. Не знаю, вѣрилъ-ли онъ моимъ словамъ, мнѣ-же самому казалось, что это свиданіе наше было послѣднимъ и что осенью я уже не застану его въ живыхъ.—Лѣтомъ, всѣ мои свѣдѣнія ограничивались тѣми отрывочными извѣстіями о ходѣ болѣзни, которыя

сообщались въ нашихъ газетахъ, а въ началѣ сентября я прочиталъ извѣстіе о его кончинѣ. Видѣвши его тяжкія страданія и зная безсиліе медицины облегчить ихъ, я могъ только сказать себѣ: и слава Богу, потому что только одна смерть могла быть въ данномъ случаѣ желанною избавительницею отъ сверхъестественной пытки, которую выносилъ нашъ великій писатель въ теченіе цѣлыхъ полуторыхъ лѣтъ. Говорятъ, что при вскрытіи нашли ракъ позвоночника, и нельзя не подосадовать, что эта весьма рѣдкая форма болѣзни не была клинически прослѣжена съ должными подробностями и что самое вскрытіе, по причинѣ перевозки тѣла, не могло быть сдѣлано съ тою обстоятельностью, какая была бы желательна. Задолго появившееся до смерти нѣкоторое уклоненіе въ психикѣ И. С., вѣроятно, нашло бы объясненіе при вскрытіи черепнаго мозга.

Въ заключеніе, не могу не высказать своего личнаго и, можетъ быть, мало идущаго сюда соображенія. Смерть всегда и вездѣ печальная необходимость, но она является неизмѣримо безотраднѣе, когда такой первостепенный дѣятель и талантъ, какъ Тургеневъ, умираетъ вдали отъ своей родины. Мы вполнѣ вѣримъ, что семья Віардо была самой близкой и дорогой семьей для Тургенева, что съ ней связывали его сердечныя и родственныя узы,—и что съ этой стороны уходъ за нимъ былъ самый теплый и безукоризненный, но при медленномъ угасаніи личности, пользующейся огромною популярностью и симпатіями общества, есть еще одно важное обстоятельство, которое, кромѣ ближайшаго ухода и попеченій дорогой семьи, смягчаетъ борьбу жизни съ смертью, а въ моменты перерыва отъ страданій удесятеряетъ нравственныя силы страдальца и побуждаетъ его съ чувствомъ самоудовлетворенія и вполнѣ законной гордости оборачиваться на пройденный имъ житейскій путь. Хворай такъ Тургеневъ въ Россіи,—и каждый день врывалась бы, не смотря на всякіе затворы, въ

его спальню и доносилась бы къ его кровати постоянная волна теплаго общественнаго участія и той страстной до необузданности симпатіи, къ которой склонна особенно молодежь; на примѣрѣ Некрасова я видѣлъ лично, какъ эти теплые лучи общественной любви могутъ благотворно оживлять на закатѣ дней изнуреннаго болѣзнью общественнаго дѣятеля. Ничего подобнаго не испытывалъ Тургеневъ,—и, не смотря на отличный уходъ и прекрасную обстановку, меня при всякомъ посѣщеніи всегда тяжело поражала изолированность Тургенева отъ всего русскаго и роднаго! Правда, приходили и сюда русскія газеты, въ которыхъ нерѣдко выражалось общественное участіе къ дорогому больному, но все это было отрывочно, недостаточно, и сплошь и рядомъ, за невозможностью имѣть точныя свѣдѣнія, пересыпалось невѣрными извѣстіями, которыя только раздражали Тургенева. Винить во всемъ этомъ никого не приходится, но нельзя, повторяемъ, не пожалѣть, что Тургеневу пришлось умереть на чужбинѣ и что только послѣ смерти обнаружилось, какъ глубоко чтитъ и цѣнитъ родина его заслуги.

Висбаденъ,
14-го (2-го) сентября.
1883.

Гигіена и демографія

на международномъ конгрессѣ въ Женевѣ, 4—9 сентября 1882 г.

I.

Общій характеръ конгресса. — Причины отсутствія нѣмецкихъ ученыхъ.— Отсутствіе представителей Россіи.— Общія собранія конгресса. —Чтеніе Пастёра о смягченіи животнаго яда; сущность открытія Пастера; возраженіе Коха. — Сообщеніе Корради о заразительности чахотки; наблюденія Лёде. — Сообщеніе Фаррентраппа о школьныхъ колоніяхъ. — Докладъ Ломбара о вліяніи высотъ. — Сообщеніе Поля Бера. — Докладъ Галтенгофа о слѣпотѣ.—Сочиненія на конкурсъ.—Закрытіе конгресса.

Женевскій гигіеническій конгрессъ, счетомъ 4-й, со времени учрежденія подобныхъ конгрессовъ[1]), едвали, по справедливости, можетъ быть названъ международнымъ, потому что европейскія національности были представлены на немъ далеко не равномѣрно. Въ то время, какъ Франція выслала въ Женеву своихъ первыхъ и лучшихъ представителей по гигіенѣ, эпидеміологіи и технической гигіенѣ,—германскіе спеціалисты, видимо и на-

---

1) 1-й былъ въ 1876 г. въ Брюсселѣ, 2-й въ 1878 г. въ Парижѣ и 3-й въ 1880 г. въ Туринѣ.

мѣренно, уклонились отъ участія въ немъ, и это отсутствіе нѣмецкихъ представителей науки лишало съѣздъ въ значительной степени того разносторонняго международнаго характера и значенія, который мы въ правѣ были отъ него ожидать. Если въ числѣ членовъ конгресса и можно было встрѣтить немногія имена крупныхъ представителей нѣмецкой науки, какъ напр., Гирша, Коха и Эйленбурга изъ Берлина и д-ра Фаррентраппа изъ Франкфурта, то они, за исключеніемъ послѣдняго, присутствовали въ качествѣ нѣмыхъ зрителей и держались въ сторонѣ отъ всякихъ дебатовъ. Къ этому вынуждены они были не самомнѣніемъ, не личнымъ отношеніемъ свысока къ остальнымъ членамъ съѣзда и къ спорнымъ вопросамъ, а единственно тѣмъ характеромъ отношеній, который сразу установился на засѣданіяхъ. Такъ, хотя конгрессъ допускаетъ по своимъ статутамъ для рефератовъ и преній три языка (французскій, нѣмецкій и англійскій), но едва показывался на трибунѣ нѣмецкій ораторъ и начиналъ говорить на своемъ языкѣ, зала быстро пустѣла, причемъ уходившими поднимался такой страшный шумъ, что и желавшая слушать публика не могла уловить словъ оратора. Нѣмцы, чувствуя свою численную слабость и личную антипатію къ себѣ, оставляли поле сраженія за французами, а главные представители германской науки совсѣмъ не пріѣхали въ Женеву, вѣроятно, предвидя заранѣе предстоявшія имъ непріятности и чувствительные уколы національному самолюбію. Эта примѣсь политическихъ раздоровъ и страстей не давала установиться разностороннему, во-истину международному обсужденію научныхъ вопросовъ и лишала людей науки должнаго самообладанія, необходимаго для вполнѣ зрѣлаго и разумнаго анализа спорныхъ пунктовъ. Фактъ этотъ представляетъ въ цѣломъ явленіе крайне прискорбное, потому что политическія страсти и національное раздраженіе вносятся именно въ ту нейтральную область общечеловѣческой жизни и развитія,

которая имъ должна быть совершенно чужда—и что же, наконецъ, другое, какъ не трезвая наука, должно являться прежде всего примиряющимъ и объединяющимъ звеномъ между цивилизованными націями?

Другое, не менѣе прискорбное впечатлѣніе, вынесенное нами съ съѣзда, касается непосредственно насъ, русскихъ: на конгрессѣ можно было встрѣтить не только гигіенистовъ и врачей всѣхъ большихъ европейскихъ странъ, не только были представители отъ правительствъ и ученыхъ обществъ сѣверной и южной Америки, Мексики и Бразиліи, но даже Румынія, Сербія и юная Болгарія, только начинающая слагаться въ государственныя формы, каждая имѣла своего делегата, присланнаго для выраженія сочувствія и для ознакомленія съ результатами гигіеническаго съѣзда. Только Россія, одна Россія не была представлена оффиціально и ни одинъ изъ русскихъ профессоровъ гигіены не счелъ нужнымъ принять участіе въ разработкѣ тѣхъ вопросовъ первостепенной важности, которые были поставлены конгрессомъ. Правда, 4—5 русскихъ, случайно очутившихся въ Женевѣ и на берегахъ Женевскаго озера, слѣдили за засѣданіями, да д-ръ Сикорскій, получившій особое приглашеніе отъ организаціоннаго бюро, не отказался пріѣхать прямо изъ Петербурга; но этимъ и ограничивалось все участіе Россіи въ международномъ конгрессѣ. А между тѣмъ изъ настоящаго сообщенія, сухого и сжатаго, читатели могутъ видѣть, какимъ живымъ интересомъ были полны засѣданія конгресса и по скольку предложенные на его обсужденіе вопросы касались самыхъ животрепещущихъ и насущныхъ сторонъ гигіены. Но давая этотъ отчетъ, мы просимъ впередъ извиненія за его неполноту, потому что не было никакой возможности слѣдить за многочисленными засѣданіями отдѣленій, имѣвшихъ мѣсто одновременно; подробные же протоколы, которые могли бы намъ помочь для пополненія допущенныхъ пробѣловъ, явятся въ печати не ранѣе 3—4 мѣсяцевъ.

Съѣздъ продолжался съ понедѣльника (4-го сентября н. ст.) по субботу (9-е сентября) включительно, при этомъ понедѣльникъ посвященъ былъ торжественному пріему членовъ и делегатовъ въ университетѣ и оффиціальнымъ рѣчамъ, а четвергъ—прогулкѣ членовъ по Женевскому озеру, занявшей весь день, такъ что собственно засѣданія конгресса происходили во вторникъ, среду, пятницу и субботу. Занятія были распредѣлены такимъ образомъ: въ 9 ч. утра начинались засѣданія частныхъ отдѣленій и продолжались до 12 ч., въ 2 часа слѣдовало общее засѣданіе конгресса до 4½ ч.; отъ 5—6 часовъ происходило пояснительное чтеніе кѣмъ-нибудь изъ членовъ по той или другой группѣ предметовъ на открытой въ то же время международной гигіенической выставкѣ. Всѣхъ частныхъ отдѣленій было 5: 1) по гигіенѣ общей, международной и административной; 2) по гигіенѣ общественной, военной и госпитальной; 3) по приложенію къ гигіенѣ физики, химіи, архитектуры и инженернаго искусства; 4) по гигіенѣ дѣтской, частной и ветеринарной и 5) по демографіи и санитарной статистикѣ (отдѣлъ, не существовавшій на прежнихъ конгрессахъ).

Общія засѣданія происходили въ главной залѣ университета, которая съ 2-хъ часовъ наполнялась публикой, особенно многочисленной на 1-мъ и 3-мъ засѣданіяхъ, когда должны были говорить знаменитые французскіе ученые—Пастёръ и Поль Беръ. Предсѣдательствовалъ на всѣхъ общихъ засѣданіяхъ женевскій врачъ Ломбаръ, 78-лѣтній старичекъ, живой, веселый, юркій, котораго одинъ изъ иностранныхъ представителей удачно назвалъ олицетворенной гигіеной. Первое засѣданіе посвящено было чтенію Пастёромъ своей статьи „о смягченіи животнаго яда“. Тэма эта, разработкѣ которой Пастёръ отдалъ исключительно послѣдніе три года своей ученой дѣятельности, вызываетъ живѣйшій интересъ во всей Европѣ, вслѣдствіе огромной практической ея важ-

ности въ примѣненіи къ скотоводству — и, если только опытъ вполнѣ оправдаетъ предположенія Пастёра, то имя его будетъ поставлено на ряду съ величайшими благодѣтелями человѣчества. Сущность открытія Пастёра заключается въ слѣдующемъ: причина ужасной эпидеміи животныхъ, сибирской язвы, истребляющей огромное количество скота ежегодно, лежитъ въ особомъ микроскопическомъ паразитѣ, обращающемся въ крови зараженнаго животнаго и легко переходящаго не только на другихъ особей животныхъ, но и на человѣка; паразитъ этотъ открывается легко посредствомъ микроскопа. Кровь зараженнаго животнаго, привитая совершенно здоровому животному, вызываетъ у послѣдняго явленія сибирской язвы и причиняетъ скорую смерть. Пастёру, путемъ длиннаго ряда опытовъ надъ этимъ паразитомъ, удалось найти, что, подвергая его вліянію разныхъ степеней температуры, можно привести въ состояніе, въ которомъ онъ будетъ играть такую же предохранительную роль, какую имѣетъ прививаніе оспеннаго яда, какъ предохраняющее средство отъ оспы. Паразитъ сибирской язвы, подвергнутый вліянію температуры въ 43° Ц. въ бульонной жидкости и потомъ сохраняемый при свободномъ доступѣ атмосфернаго воздуха, утрачиваетъ по стольку свою ядовитую силу, что, будучи привитъ здоровому животному, онъ вызоветъ у него только явленія слабаго скоротечнаго отравленія и тѣмъ самымъ уничтожитъ въ животномъ воспріимчивость къ смертельной заразѣ, т.-е. предохранитъ его въ случаѣ появленія эпидеміи; подвергнутый болѣе высокой температурѣ, паразитъ теряетъ способность размножаться спорами, умираетъ, и прививка его не вызываетъ у животнаго никакихъ явленій, но за то и не спасаетъ отъ эпидемическаго зараженія. Обработанный паразитъ обладаетъ своею продолжительною силою только подъ непремѣннымъ условіемъ сохраненія его при свободномъ доступѣ воздуха, причемъ съ каждымъ днемъ онъ утра-

чиваетъ степень своей заразительности и, наконецъ, тоже умираетъ; обработанный же, но сохраняемый въ запаянныхъ стеклянныхъ трубочкахъ, паразитъ сохраняетъ свою ядовитость и прививка его причиняетъ смерть животнаго, такъ что вліяніе воздуха на обработанный паразитъ есть непремѣнное условіе пастёровскаго способа смягченія животнаго яда и приданія ему предохранительной силы. Провѣрка способа Пастёра производилась въ большихъ масштабахъ, преимущественно на овцахъ и частью на быкахъ, во Франціи, Венгріи, Пруссіи и Италіи. Для этого выбиралось опредѣленное число животныхъ, половинѣ которыхъ прививался смягченный пастеровскимъ способомъ ядъ, другая же половина оставлялась для контроля безъ прививки, и потомъ черезъ нѣкоторое время обѣимъ половинамъ дѣлалась прививка нормальнаго не обработаннаго яда, и результаты въ большинствѣ случаевъ оправдали наблюденія Пастёра, т.-е. животныя съ привитымъ обработаннымъ ядомъ оставались или совершенно здоровыми, или, если и захварывали сибирской язвою, то въ легкой формѣ и большею частью скоро поправлялись, тогда какъ контрольная половина, послѣ прививки, получала тяжелую сибирскую язву и почти вся безъ исключенія погибала. Однако, результаты, какъ лабораторныхъ изслѣдованій Пастёра, такъ и этихъ практическихъ опытовъ были, какъ видно, не вполнѣ чисты и доказательны, ибо важность самаго открытія была подвергнута критикѣ и сомнѣнію со стороны такого крупнаго авторитета, какъ берлинскій проф. Кохъ (пріобрѣвшій недавно огромную извѣстность своимъ открытіемъ паразита чахотки) и учениковъ его школы. Возраженію этимъ оппонентамъ и была посвящена часть статьи Пастёра. Далѣе онъ сообщилъ, что въ декабрѣ 1880 года ему удалось найти и подтвердить дальнѣйшими опытами впослѣдствіи, что слюна умершихъ отъ водобоязни людей, привитая кроликамъ, причиняетъ послѣднимъ смерть, причемъ въ крови павшихъ живот-

ныхъ встрѣчается особый специальный паразитъ, также доступный культурѣ, какъ и паразитъ сибирской язвы, но только при нѣсколько видоизмѣненныхъ пріемахъ (такъ, лучшая среда для культуры послѣдняго паразита есть телячій бульонъ) и который въ дальнѣйшей своей обработкѣ предохраняетъ кроликовъ отъ смерти при прививкѣ необработаннаго паразита водобоязни. Наконецъ, въ 1881—1882 годахъ Пастёръ нашелъ, что носовая слизь тифозныхъ лошадей, привитая кроликамъ, причиняетъ послѣднимъ смертельный тифъ, вызывая притомъ появленіе у нихъ въ крови особаго паразита, подлежащаго также дальнѣйшей культурѣ, которая въ конечномъ результатѣ даетъ смягченіе яда, т.-е. обработанный ядъ перестаетъ при прививкѣ заражать кроликовъ тифомъ, а напротивъ, получаетъ способность предохранять ихъ отъ заразы. Важность этихъ послѣднихъ открытій, въ виду ихъ недавняго, а потому недостаточнаго изученія, можетъ быть опредѣлена только въ будущемъ. Сопоставляя результаты своихъ опытовъ надъ четырьмя разными паразитами или микробами: 1) холеры курицъ (паразитъ, прежде всѣхъ другихъ открытый Пастёромъ); 2) сибирской язвы; 3) водобоязни и 4) тифа лошадей,—Пастёръ утверждаетъ, что общій методъ для смягченія животныхъ ядовъ найденъ и что приложеніе его должно только видоизмѣняться, сообразно съ физіологическими свойствами каждаго специальнаго паразита въ частности.

По окончаніи прочитанной Пастёромъ рѣчи, потребовалъ слова проф. Кохъ и объяснилъ на нѣмецкомъ языкѣ, что онъ считаетъ неудобнымъ поднимать диспутъ съ Пастеромъ на конгрессѣ, потому что послѣдній не говоритъ по-нѣмецки, а онъ Кохъ не владѣетъ французскимъ языкомъ и потому предпочитаетъ отвѣчать въ печати; въ заключеніе, Кохъ прибавилъ, что, пріѣхавши на конгрессъ, ожидалъ услышать отъ Пастёра что нибудь новое; но, выслушавъ только что прочтенную статью,

вполнѣ въ томъ разочаровался и притомъ не можетъ не замѣтить, что считаетъ самый предметъ работъ Пастёра не имѣющимъ прямого отношенія къ гигіенѣ. Кохъ, видимо, былъ взволнованъ и свою коротенькую рѣчь произнесъ очень запальчиво, а заключительными словами вызвалъ явное неодобреніе и протесты со стороны, какъ членовъ конгресса, такъ и публики. Очевидно, такое заключеніе могли подсказать только сильное раздраженіе и необдуманность, ибо, съ одной стороны, всякій хорошо понималъ всю важность разрабатываемаго Пастёромъ вопроса для гигіены, а, съ другой, можно оспаривать существованіе паразитовъ водобоязни и лошадинаго тифа, но нельзя утверждать, чтобы это открытіе было не ново, такъ какъ оно нигдѣ еще не было сообщено съ такими подробностями, какія далъ Пастёръ на конгрессѣ.

Послѣ того проф. Павійскаго университета Сормани разсказалъ объ результатахъ произведенныхъ прививокъ сибирской язвы, по способу Пастёра въ Италіи, въ общемъ итогѣ весьма удовлетворительныхъ, хотя и бывали единичные случаи, гдѣ овцы съ привитымъ обработаннымъ ядомъ тѣмъ не менѣе пали, когда имъ была привита сибирская язва. На это Пастёръ возразилъ, что, во-первыхъ, не выяснено, пали ли эти животныя отъ сибирской язвы, а не отъ гнилостнаго зараженія крови (септицэміи), и, во-вторыхъ, что всѣ павшія овцы принадлежатъ къ породѣ мериносовъ, а эта порода, какъ болѣе нѣжная, требуетъ нѣсколько видоизмѣненной обработки предохранительнаго яда. Въ заключеніе, Пастёръ, принявъ предложеніе Коха перенести споръ въ печать, сказалъ, что онъ и самъ не считаетъ свое открытіе окончательно разработаннымъ и констатируетъ только факты возможности предохраненія отъ сибирской язвы, основывая ихъ не исключительно на своихъ лабораторныхъ изслѣдованіяхъ, а уже на крупныхъ цифровыхъ данныхъ, полученныхъ при опытахъ въ большихъ размѣрахъ и въ разныхъ государствахъ. Замѣтимъ

вскользь, что на этомъ же засѣданіи какой-то генуэзскій врачъ Баллестрери выступилъ оппонентомъ паразитарной теоріи болѣзней вообще и истолкованія опытовъ Пастёра въ частности, но несерьезность его доводовъ и шутовская манера говорить сдѣлали его появленіе на трибунѣ—просто комическимъ дивертиссементомъ, временно нарушившимъ солидное настроеніе собранія.

Второе общее засѣданіе конгресса занято было вопросомъ *о заразительности чахотки* съ точки зрѣнія исторіи и общественной гигіены. Чтобы упростить его обсужденіе, докладчикъ проф. Корради изъ Павіи составилъ тринадцать тезисовъ, которые и прочиталъ послѣдовательно одинъ за другимъ, предлагая конгрессу высказаться по поводу каждаго. Сущность доклада заключалась въ слѣдующемъ: заразительность чахотки признавалась въ древности какъ публикой, такъ и врачами, и этотъ взглядъ господствовалъ до начала нынѣшняго столѣтія, первая половина котораго, выдвинувъ впередъ анатомо-патологическія изслѣдованія, оставила при этомъ въ тѣни вопросы этіологическіе и привела къ отрицанію заразительности этой болѣзни. Только въ послѣдніе годы экспериментальная патологія снова занялась даннымъ вопросомъ и, прививкою туберкулёзныхъ продуктовъ, дала опору ученію о заразительности чахотки. Въ настоящее же время стараются доказать (проф. Кохъ), что сущность чахотки заключается въ особомъ паразитѣ (bacillus), легко передаваемомъ отъ одной особи къ другой. Задача клиническаго наблюденія—рѣшить этотъ вопросъ, поставленный столь точно опытомъ, и связать новое ученіе о заразительности съ предрасположеніемъ и наслѣдственностью. Въ ожиданіи этого рѣшенія, гигіена обязана относиться къ чахоткѣ какъ къ болѣзни, способной передаваться отъ одного лица другому при извѣстныхъ условіяхъ, и потому должно предложить мѣры для противодѣйствія передачи ея посредствомъ сожительства, посредствомъ употребленія въ пищу мяса и

молока чахоточныхъ животныхъ, посредствомъ прививки оспы. Въ заключеніе, Корради совѣтовалъ устройство особыхъ чахоточныхъ госпиталей, или, по крайней мѣрѣ, отдѣльныхъ павильоновъ для чахоточныхъ. — Занявшій потомъ трибуну, директоръ медицинской школы въ Руанѣ Лёде представилъ выводъ изъ наблюденій надъ 125 чахоточными семьями; наблюденія эти касались нѣсколькихъ поколѣній одной и той же семьи и обнимали болѣе полустолѣтія, благодаря тому обстоятельству, что отецъ оратора былъ также врачемъ въ Руанѣ и тоже велъ правильную и точную статистику въ своей практикѣ. Выводы эти говорятъ въ пользу заразительности чахотки и кромѣ того констатируютъ, что передача чахотки совершается чаще отъ мужа — женѣ, чѣмъ отъ жены — мужу. — Парижскій проф. Валленъ энергически возставалъ противъ полнаго изолированія чахоточныхъ больныхъ въ отдѣльные госпитали и павильоны, такъ какъ заразительность чахотки, хотя и вѣроятная, далеко не вполнѣ доказана, а потому не оправдываетъ строгаго отдѣленія пораженныхъ ею; дѣло гигіены—прежде всего заботиться объ отдѣленіи больныхъ несомнѣнно заразительныхъ, какими представляются сыпные, дифтеритическіе и т. п., и только, когда она достигнетъ въ этомъ отношеніи полнаго успѣха, можно поднимать вопросъ и объ устройствѣ спеціальныхъ больницъ и павильоновъ для чахоточныхъ. Нѣсколько послѣдующихъ ораторовъ (Любельскій изъ Варшавы, Смитъ изъ Лондона, Ландовскій изъ Алжира, Феликсъ изъ Бухареста и др.) допускаютъ отдѣленіе чахоточныхъ, но съ большою осторожностью, потому что такое отдѣленіе можетъ слишкомъ вредно вліять на больныхъ нравственно, признавая ихъ завѣдомо неизлѣчимыми, и лишать преждевременно дѣятельной жизни, тогда какъ можно привести много примѣровъ, когда чахоточные, нося въ себѣ уже несомнѣнные признаки болѣзни, ознаменовывали себя важными заслугами на пользу общества. Кромѣ того

обсуждалось мнѣніе о запрещеніи врачами браковъ между чахоточными, и это запрещеніе признано необходимымъ только въ случаяхъ несомнѣнно развитой болѣзни.

Второй докладъ этого засѣданія принадлежалъ маститому франкфуртскому гигіенисту Фаррентраппу и имѣлъ предметомъ *устройство школьныхъ колоній во время лѣтнихъ вакацій*. Колоніи эти, несмотря на свое недавнее существованіе (около 7 лѣтъ), быстро привились въ Швейцаріи, Италіи и особенно Германіи и продолжаютъ размножаться съ каждымъ годомъ, благодаря очевидно успѣшнымъ результатамъ. Подъ именемъ школьныхъ колоній разумѣется посылка недостаточныхъ дѣтей школьнаго возраста, задержанныхъ въ физическомъ развитіи, на время ихъ вакаціи, т.-е. на двѣ -четыре недѣли, въ здоровую сельскую мѣстность, лучше всего, если есть по близости, въ горы или на берегъ моря. Колоніи эти составляются изъ группъ въ 10—15 дѣтей подъ руководствомъ учителя или учительницы и устроиваются въ просторной, хорошо вентилированной квартирѣ; дѣти пользуются достаточной питательной пищей (хорошимъ молокомъ) и наивозможно большимъ движеніемъ на вольномъ воздухѣ, каждодневно купаются, или же всѣ утромъ, при вставаніи, обтираются мокрымъ полотенцемъ или губкою. Несмотря на кратковременность такой жизни, наблюденія надъ пятью швейцарскими и 12 нѣмецкими колоніями, за пять лѣтъ, показали, что дѣти не только дѣлаются живѣе и свѣжѣе, не только выигрываютъ отъ 1—3 фун. въ вѣсѣ и отъ 1—2 сантиметровъ въ ростѣ, но, по отзывамъ наставниковъ, пребываніе въ колоніи отзывается благопріятно и на ихъ нравственныхъ качествахъ. Въ колоніи слѣдуетъ отбирать дѣтей небогатыхъ и только болѣзненныхъ; больные же или такіе выздоравливающіе, которые требуютъ особаго за собой ухода, наблюденія врача, перемѣнъ лѣченія и лѣкарствъ, не подходятъ подъ категорію отсылаемыхъ въ колонію. Къ

этому докладу одинъ итальянскій врачъ добавилъ наблюденія надъ итальянскими колоніями, давшими еще болѣе блестящіе результаты относительно физическаго укрѣпленія дѣтей, прибавки въ вѣсѣ и т. д., можетъ быть вслѣдствіе того, что Италія, благодаря своей топографіи, располагаетъ для устройства дѣтскихъ колоній повсемѣстной близостью моря; пребываніе же на морскомъ берегу особенно благодѣтельно вліяетъ на дѣтскій организмъ.

Третье общее засѣданіе было занято докладомъ предсѣдателя конгресса Ломбара о *гигіеническомъ, физіологическомъ и терапевтическомъ вліяніи высотъ.* Докладъ этотъ былъ сведенъ къ слѣдующимъ положеніямъ. 1) недостатокъ кислорода вслѣдствіе разрѣженія воздуха на высотахъ можетъ причинить задушеніе (асфиксію), если организмъ не восполнитъ этотъ недостатокъ вдыханіемъ кислорода; 2) горная болѣзнь (головокруженіе, головная и мышечныя боли, общая слабость и проч.) зависитъ главнымъ образомъ отъ уменьшенія кислорода въ атмосферѣ; это уменьшеніе тѣмъ чувствительнѣе, что организмъ при усиленной и напряженной мышечной работѣ во время подъема на горы, потребляетъ большее количество кислорода и, слѣдовательно, требуетъ его для себя больше, чѣмъ въ состояніи покоя; 3) дыханіе и кровообращеніе ускоряются по мѣрѣ подъема на горы; выдыханіе же угольной кислоты увеличивается только до извѣстной высоты, приблизительно между 1,500—2,000 метровъ; выше же того уменьшается въ прямомъ отношеніи къ высотѣ; 4) на высотѣ, большей чѣмъ 2,000 метровъ, несмотря на ускореніе дыханія и кровообращенія, недостатокъ кислорода вызываетъ конституціональное малокровіе, которому д—ръ Журданне далъ названіе аноксэміи; на высотахъ усиливаются пищевареніе, мышечная дѣятельность и пониженіе температуры и тѣмъ ускоряется выдыханіе угольной кислоты; 6) пребываніе на высотахъ не только учащаетъ вдыханія, но и дѣлаетъ

ихъ болѣе глубокими, отчего увеличиваются и емкость грудная и самые размѣры грудной клѣтки; 7) временное или постоянное пребываніе на среднихъ высотахъ, не превосходящихъ 2,000 метровъ, обнаруживаетъ укрѣпляющее вліяніе на всѣ отправленія; 8) большія (въ Америкѣ) и среднія (въ Европѣ) высоты имѣютъ предупреждающее и цѣлебное вліяніе на легочную чахотку. Эти положенія Ломбаръ подробно развивалъ, ссылаясь на опыты Поля Бера, наблюденія Журданне, Марсе и другихъ, на успѣхи горнаго лѣченія за послѣднее время и на блестящіе результаты, полученные въ Давосѣ, С.-Морицѣ (въ Швейцаріи), въ Скалистыхъ горахъ Америки и т. д.

Поль Беръ, появленіе котораго на трибунѣ вызвало сочувственныя рукоплесканія, началъ съ того, что онъ вполнѣ присоединяется къ мнѣнію Ломбара и по существу ничего не имѣетъ прибавить къ положеніямъ, предложеннымъ послѣднимъ. Потомъ онъ перешелъ къ описанію своихъ опытовъ надъ самимъ собою и надъ своими учениками подъ вліяніемъ разрѣженнаго воздуха въ герметически запертой комнатѣ, изъ которой воздухъ выкачивался насосомъ; здѣсь, кромѣ поименованныхъ припадковъ, причиняемыхъ разрѣженіемъ атмосферы, онъ указалъ еще на крайнее мозговое ослабленіе, невозможность думать и соображать и на полную слѣпоту, которыя онъ наблюдалъ надъ собой, какъ слѣдствія недостаточнаго окисленія крови, и на ту необыкновенную быстроту, съ какою возвращаются и зрѣніе, и мыслительныя способности при первыхъ же вдыханіяхъ чистаго кислорода. Всѣмъ болѣе или менѣе памятна трагическая судьба воздухоплавателей Сивеля, Кроче-Спинелли и Тиссандье, которая ихъ постигла около половины 1870 годовъ; эти отважные ученые уже разъ поднимались на высоту 7,500 метровъ и, снабженные Полемъ Беромъ 30-ю фунтами кислорода, они при первомъ ощущеніи на себѣ вліянія разрѣженной атмо-

сферы, быстро возстановили свои силы вдыханіемъ кислорода и благополучно спустились на землю. Это ихъ поощрило къ дальнѣйшимъ опытамъ, и въ слѣдующемъ же году они поднялись еще выше, до вышины въ 8,400 метровъ, но это путешествіе кончилось страшной катастрофой: отъ быстраго ли подъема шара, или же отъ недостатка взятаго съ собою кислорода, Сивель и Спинелли задохлись въ разрѣженной атмосферѣ, и опустившійся на землю шаръ доставилъ ихъ трупы и полуживого Тиссандье, который не могъ разсказать никакихъ подробностей о происшедшемъ и помнилъ только одно, какъ онъ, вдругъ почувствовавъ, что пересталъ видѣть окружавшіе предметы, сообразилъ, что эта слѣпота зависитъ отъ разрѣженія окружающаго воздуха, хотѣлъ было поднять правую руку къ трубкѣ отъ висѣвшаго надъ головой резервуара кислорода, но не былъ въ состояніи этого сдѣлать, ибо рука была парализована, затѣмъ больше онъ ничего не помнилъ. Далѣе Поль Беръ говорилъ о приспособленіи человѣка и домашнихъ животныхъ къ высотамъ; такъ, въ горахъ южной Америки замѣчено, что мулы, приведенные изъ долинъ, первое время теряютъ свою силу и страдаютъ горнымъ малокровіемъ, но въ послѣдствіи силы ихъ вполнѣ возвращаются, и они могутъ работать не меньше, чѣмъ въ низменныхъ мѣстностяхъ. Какъ у людей, такъ и у животныхъ, размѣры грудной клѣтки отъ жизни на высотахъ увеличиваются, а изслѣдованная Полемъ Беромъ кровь животныхъ, убитыхъ въ американскихъ горныхъ вершинахъ, давала нормальный процентъ кислорода въ гемоглобинѣ. Все это указываетъ на легкую приспособляемость человѣка къ разрѣженному воздуху, и, на этомъ основаніи, Поль Беръ не раздѣляетъ мрачнаго предсказанія геологовъ, которые говорятъ, что усиленіе внутренняго земного огня повлечетъ за собою разогрѣваніе земной коры и вслѣдствіе того такое разрѣженіе воздуха на ея поверхности,

что жизнь человѣка и животныхъ должна быстро прекратиться; по мнѣнію же Поля Бера, живые организмы будутъ еще въ состояніи долго приспособляться и жить въ разрѣженной атмосферѣ, такъ какъ разрѣженіе будетъ происходить медленно и прогрессивно. Этимъ и закончилъ свою блестящую рѣчь Поль Беръ; публика, утомленная отъ напряженія вниманія, вяло прослушала два послѣдующія сообщенія докторовъ — Марсе изъ Лондона и Мейера - Гюни изъ Цюриха, касавшіяся обсуждаемаго вопроса, и которыя между прочимъ указывали на необходимость при назначеніи горнаго воздуха съ врачебною цѣлью не ограничиваться одною высотою отъ 1000 до 2000 метровъ, а также брать во вниманіе сухость атмосферы и постоянство температуры въ избираемой мѣстности.

Четвертое и послѣднее общее засѣданіе конгресса открылось докладомъ женевскаго окулиста Галтенгофа о *слѣпотѣ*, изучавшаго причины ея на 311,000 слѣпыхъ въ Европѣ. Причины эти, главнѣйшимъ образомъ, сводятся на плохое лѣченіе близорукости, пренебреженное нагноеніе вѣкъ и на послѣдствія такихъ сыпныхъ формъ, какъ корь, скарлатина, оспа и др.; можно принять, что на 100 слѣпыхъ — 75 потеряли зрѣніе вслѣдствіе недостаточнаго попеченія о глазахъ. Этотъ выводъ самъ по себѣ настолько внушителенъ, чтобы обязать конгрессъ посвятить вопросу о слѣпотѣ особенное вниманіе, что и выразилось въ открытіи конкурса по этому предмету. Д—ръ Ротъ изъ Лондона изложилъ планъ этого конкурса, составленнаго однимъ англійскимъ обществомъ и имѣющаго особенно въ виду изученіе практическихъ мѣръ для предупрежденія слѣпоты; за этотъ трудъ присуждается премія въ 2,000 франковъ, которая и будетъ выдана на слѣдующемъ конгрессѣ на основаніи заключенія коммиссіи, составленной изъ 11 глазныхъ врачей разныхъ государствъ. Затѣмъ слѣдовало заключеніе д-ра Фовеля изъ Парижа *о конкурсѣ*, назначенномъ

на предыдущемъ конгрессѣ, *на сочиненіе о гигіенѣ деревень*; премія въ 2,500 франковъ присуждена коммиссіею единогласно бордосскому профессору Лэйе (Layet), представившему сочиненіе «гигіена и болѣзни сельскаго населенія». Потомъ прослушанъ былъ докладъ о международной гигіенической выставкѣ, имѣвшей мѣсто во время конгресса въ Женевѣ, и приняты для обсужденія на будущемъ конгрессѣ: 1) предложеніе одного изъ отдѣленій, «чтобы всѣ правительства устранили законодательныя препятствія для добровольнаго сожиганія покойниковъ», и 2) предложеніе другого отдѣленія, «чтобы всѣ поддѣлки жизненныхъ припасовъ были предметомъ строжайшаго административнаго преслѣдованія». Мѣстомъ будущаго гигіеническаго конгресса выбрана, по предложенію д-ра фонъ Овербеека-Мейера, Голландія и именно городъ Гаага. Въ заключеніе конгрессъ вотировалъ признательность за пріемъ городу Женевѣ, мѣстнымъ властямъ, президенту Ломбару, главному секретарю конгресса профессору гигіены Дюнану, и, послѣ нѣсколькихъ прощальныхъ словъ президента, конгрессъ былъ закрытъ.

Читальня-библ... имени А. И. Герц... въ Нижн...

II.

Засѣданія отдѣленій конгресса. — Предметы засѣданій перваго отдѣленія: о вліяніи пилигримства въ Мекку на распространеніе холеры; объ этіологіи и предупрежденіи тифа; объ алкоголизмѣ; о воскресномъ отдыхѣ съ гигіенической точки зрѣнія.

Прежде чѣмъ обратиться къ отчету о частныхъ засѣданіяхъ по отдѣленіямъ, изъ которыхъ только нѣкоторыя намъ удалось прослѣдить довольно аккуратно, мы перечислимъ всѣ вопросы, предложенные на обсужденіе отдѣленій конгресса, и изъ этого перечня читатель

можетъ видѣть, какъ разнообразны и въ то же время существенны были предметы, занимавшіе съѣздъ. Въ первомъ отдѣленіи должны были обсуждаться: 1) вліяніе пилигримства въ Мекку на распространеніе холеры въ Европѣ, 2) причины тифа и предупредительныя противъ него мѣры, 3) алкоголизмъ, 4) воскресный отдыхъ съ гигіенической точки зрѣнія, 5) мукорины, 6) желтая горячка въ международной гигіенѣ, 7) международныя предупредительныя мѣры противъ болѣзней вообще, 8) предупрежденіе пеллагры, 9) принципы санитарной администраціи въ Англіи, 10) санитарная администрація въ различныхъ государствахъ. Во второмъ отдѣленіи были поставлены вопросы: 1) дезинфекція комнатъ больныхъ, пораженныхъ заразными болѣзнями, 2) дезинфекція лицъ, 3) сжиганіе покойниковъ, 4) выборъ мѣста для кладбищъ, 5) врачебная статистика смертности въ войскахъ, 6) вліяніе дурной обуви и средства къ ихъ предупрежденію, 7) приморскія лѣчебницы для дѣтей, пораженныхъ золотухою и англійскою болѣзнью, 8) госпитальные бараки, 9) зараженіе въ госпиталяхъ, 10) предупрежденіе дифтерита, 11) школы для санитаровъ. Въ третьемъ отдѣленіи: 1) удаленіе нечистотъ пневматическимъ способомъ и канализаціею, 2) лучшіе способы отопленія и вентиляціи жилищъ рабочихъ, 3) гигіеническія мѣры въ частныхъ жилищахъ, 4) отравленія продуктами, вводимыми ежедневно и въ малыхъ количествахъ, 5) свинцовое отравленіе, 6) вода, употребляемая для питья и вліяніе на нее фильтровъ, 7) гніеніе животныхъ веществъ и развивающіеся при томъ продукты, 8) выгоды и неудобства проницаемости стѣнъ въ домахъ; 9) метеорологическія изслѣдованія и гигіена. Въ четвертомъ отдѣленіи: 1) вліяніе школьныхъ программъ на здоровье дѣтей, 2) необходимость во всѣхъ странахъ назначенія школьныхъ врачей и обязанности послѣднихъ, 3) лѣченіе накожныхъ паразитныхъ болѣзней въ школахъ, 4) причины, затрудняющія воспитаніе дѣтей,

5) нѣсколько наблюденій по школьной гигіенѣ, 6) уклоненіе въ формѣ тѣла во время школьнаго періода, 7) международныя предупредительныя мѣры противъ водобоязни, 8) причины сапа, 9) коровье молоко, какъ суррогатъ женскаго молока. Наконецъ, пятое отдѣленіе было всецѣло посвящено демографіи, въ первый разъ присоединенной къ гигіеническому конгрессу.

Вотъ, съ какимъ объемистымъ багажемъ съѣхались гигіенисты всѣхъ странъ въ Женеву, и, конечно, не было никакой возможности справиться съ такой программой въ теченіе четырехъ, посвященныхъ ея обсужденію утръ, а потому и неудивительно, что до многихъ изъ вопросовъ совсѣмъ не дошла очередь, а иные были только слегка затронуты и не успѣли подвергнуться должному обстоятельному обсужденію.

Первый докладъ, который намъ пришлось выслушать въ первомъ отдѣленіи, принадлежалъ члену парижской медицинской академіи д-ру Пру (Proust) «о вліяніи пилигримства въ Мекку на распространеніе холеры въ Европѣ». Докладчикъ доказывалъ, что холера не зарождается въ Геджадѣ, но что, несомнѣнно, Мекка представляетъ изъ себя центръ для усиленія и разсѣянія эпидеміи. Опасность занесенія ея въ Европу особенно увеличилась съ тѣхъ поръ, какъ парусныя суда были замѣнены пароходами. Мѣры противъ этого занесенія морскимъ путемъ, предложенныя константинопольскою конференціею и утвержденныя вѣнскою, прежде всего принимаются до отплытія пилигримовъ, причемъ осматривается всякій отходящій пароходъ, нѣтъ ли на немъ переполненія пассажирами, и нѣтъ ли между ними больныхъ холерою; достаточенъ ли на пароходѣ запасъ воды и жизненныхъ припасовъ и снабженъ ли всякій пилигримъ достаточнымъ количествомъ денегъ, чтобы прокормиться въ пути. Если, несмотря на эти предосторожности, всетаки на пароходѣ во время плаванія разовьется холера, то необходима въ Красномъ морѣ хорошо организованная

система надзора и карантина, чтобы предохранить главнѣйшимъ образомъ отъ эпидеміи Египетъ, ибо, съ появленіемъ ея въ послѣднемъ, вся Европа подвергается огромному риску занесенія холеры, по причинѣ постоянныхъ сношеній Египта съ портами Средиземнаго моря. Особенно мѣры эти должны строго примѣняться къ плохо содержимымъ пароходамъ, доставляющимъ пилигримовъ изъ Джедды въ Суецъ. Строгое соблюденіе этихъ мѣръ блестящимъ образомъ оправдалось въ 1872, 1877 и 1881 гг. и спасло Европу отъ холеры, свирѣпствовавшей тогда между пилигримами; такъ, въ 1881 г. въ августѣ холера появилась въ Аденѣ, а въ сентябрѣ развилась въ Меккѣ, будучи ввезена пилигримами того самаго парохода, который занесъ эпидемію въ Аденъ; тогда александрійскій международный совѣтъ настоялъ, чтобы египетское правительство устроило для судовъ, возвращающихся изъ Мекки, карантинъ въ Эль-Уеджѣ на Красномъ морѣ, въ 350 миляхъ отъ Суэца; въ этотъ пунктъ суда привезли холеру, но, будучи задержаны карантиномъ, не распространили ее дальше, и эпидемія быстро прекратилась. Поэтому Европа должна отстоять постоянный карантинъ въ Эль-Уеджѣ и поддержать въ полной силѣ значеніе международной санитарной комиссіи въ Александріи, вліяніе которой можетъ быть парализовано, особенно теперь, текущими военными событіями въ Египтѣ. Докладъ этотъ хорошо защищалъ извѣстный французскій гигіенистъ д-ръ Фовель, указывая на неотложность карантинныхъ мѣръ въ настоящее время, когда въ индѣйскихъ войскахъ, доставленныхъ въ Египетъ изъ Бомбея, по газетнымъ извѣстіямъ, показывалась уже холера, которая грозитъ такимъ образомъ своимъ появленіемъ и въ Европѣ, если только Англія не будетъ подвергать этихъ войскъ карантину въ Аденѣ. Парижскій санитарный совѣтъ своевременно обратилъ вниманіе англійскаго правительства на эти обстоятельства, но мало надѣется на успѣхъ своего заявленія, со-

знавая съ какими неудобствами связано содержанiе въ карантинѣ войскъ, необходимыхъ на театрѣ военныхъ дѣйствiй. Послѣ сообщенiя д-ра Овилло о бывшей холерѣ въ испанскихъ колонiяхъ и болгарскаго врача Браделя — о занесенiи холеры въ Варну вещами, оставшимися послѣ умершихъ отъ холеры пилигримовъ на пути изъ Мекки, румынскiй проф. Феликсъ предложилъ конгрессу хлопотать о придачѣ международной санитарной коммиссiи въ Константинополѣ характера постояннаго учрежденiя, а д-ръ Цатари изъ Пешта говорилъ о необходимости международной гигiенической конвенцiи, резюмируя сущность ея въ слѣдующихъ пунктахъ: 1) всѣ государства должны взаимно гарантировать другъ другу однообразными законами хорошее качество вывозимыхъ припасовъ и напитковъ, 2) торговые договоры никогда не должны заключать въ себѣ мѣры, противорѣчащiя общественной гигiенѣ, 3) вопросъ общественнаго питанiя долженъ быть признанъ международнымъ, а потому всякiя ограниченiя въ перевозкѣ припасовъ допускаются исключительно только въ видахъ гигiеническихъ, 4) необходимо установить также общiе законы противъ примѣсей и подделки припасовъ, и 5) наука никогда не должна служить ширмами для торговыхъ и политическихъ интересовъ. Послѣ этого заявленiя, рисующаго идеалы международной гигiены, но мало соотвѣтствующаго современному духу политическихъ раздоровъ и экономическихъ разсчетовъ отдѣльныхъ нацiй, отдѣленiе обратилось къ слушанiю доклада лилльскаго проф. Арну «объ этiологiи и предупрежденiи тифа», доклада несомнѣнно почтеннаго по своей солидной обработкѣ современнаго ученiя о тифѣ, но до того подробнаго, что если бы онъ не былъ прерванъ предсѣдателемъ на половинѣ, то поглотилъ бы всѣ 4 засѣданiя перваго отдѣленiя. Это былъ скорѣе большой трактатъ, очень дѣльный и очень осторожный въ выводахъ, а потому и не вызывавшiй на споры. Авторъ признаетъ за

тифомъ характеръ специфической болѣзни и считаетъ раціональнымъ отнести его къ болѣзнямъ паразитарнымъ, хотя это вполнѣ, по его убѣжденію, не доказано; и затѣмъ онъ подробно разобралъ тѣ естественныя среды, которыя признаются, какъ сохраняющія и передающія тифозную заразу, т.-е. почву, воду, воздухъ, человѣка и предметы его обихода и, наконецъ, пищу (молоко, мясо). Здѣсь, въ половинѣ второго засѣданія, докладъ былъ прерванъ предсѣдателемъ, а потому со второй половиной доклада (о воспріимчивости къ заразѣ и о предупрежденіи тифа) можно только будетъ познакомиться при появленіи всего сочиненія въ печати и, судя по всему нами слышанному, сочиненіе это составитъ почтенный вкладъ въ литературу о тифахъ.— Послѣ того д-ръ Серенвилль говорилъ о связи тифозныхъ эпидемій въ Лозаннѣ и Уши съ предпринятыми въ названныхъ мѣстахъ постройками и обнаженіями для того почвы, и для нагляднаго доказательства представилъ графическія таблицы, а д-ръ Сопка представилъ такія же таблицы наблюденій за 10 лѣтъ изъ Мюнхена, доказывающихъ зависимость развитія тифозныхъ эпидемій въ этомъ городѣ отъ уровня подпочвенной воды, причемъ прибавилъ, что съ 1876 г., благодаря дѣятельнымъ санитарнымъ мѣрамъ, эпидеміи тифовъ въ Мюнхенѣ стали значительно рѣже и слабѣе. Въ заключеніе, д-ръ Пру говорилъ о трудности изученія причинъ эпидемическихъ болѣзней вообще и тифа въ частности, и сослался на слѣдующую любопытную выдержку изъ сочиненія одного англійскаго врача: въ Лондонѣ два лѣта сряду (1858 и 1859 гг.) были необычайно жаркія, Темза совершенно обмелѣла, какъ никогда не бывало съ основанія Лондона, и обнажила всѣ животные остатки и выбросы, которые лежали на ея днѣ и которые подъ жгучими лучами солнца стали быстро разлагаться и наполнили воздухъ до того сильною вонью, что жители избѣгали подходить къ рѣкѣ и движеніе

по мостамъ значительно сократилось; парламентъ, не будучи въ состоянiи прекратить свою сессiю по причинѣ возстанiя въ Индiи, спасался во время продолжительныхъ засѣданiй отъ невыносимаго запаха гнiющихъ веществъ тѣмъ, что къ каждому окну былъ подвѣшенъ мѣшокъ съ хлористою известью. И при этихъ, повидимому, самыхъ антигигiеническихъ условiяхъ — санитарное состоянiе городского населенiя было вполнѣ удовлетворительно и особеннаго развитiя эпидемiй замѣчено не было. Д-ръ Пру для болѣе точнаго изученiя этiологiи тифа предложилъ международную программу вопросовъ, которой должны держаться всѣ врачи при появленiи эпидемiи въ районѣ ихъ дѣятельности. Этимъ и закончилось обсужденiе о тифахъ и отдѣленiе перешло къ неменѣе интересному вопросу объ *алкоголизмѣ*.

Д-ръ Руле изъ Невшателя выступилъ докладчикомъ объ алкоголизмѣ, распространенiе котораго въ Европѣ принимаетъ все болѣе и болѣе угрожающiе размѣры, причиняетъ большiй ущербъ въ народонаселенiи, чѣмъ всевозможныя эпидемiи и даже войны, а потому вынуждаетъ врачей и гигiенистовъ поставить борьбу съ этимъ зломъ на первый планъ своей дѣятельности, тѣмъ болѣе, что зло это носитъ характеръ не только индивидуальный, но и соцiальный. Острое и хроническое отравленiе (бѣлая горячка — delirium tremens — и хроническiй алкоголизмъ) причиняются въ огромномъ большинствѣ даже относильно умѣреннымъ употребленiемъ спиртныхъ напитковъ, получаемыхъ перегонкою и заключающихъ въ себѣ амильный алкоголь и тяжелые алкоголи моноатомической группы, куда принадлежатъ всѣ многоразличные виды водокъ; употребленiе же спиртныхъ напитковъ, получаемыхъ броженiемъ и содержащихъ въ себѣ этильный алкоголь (виноградное вино и пиво), вызываетъ болѣзненные припадки рѣже и требуетъ для появленiя ихъ относительно бо̀льшаго злоупотребленiя. Желательно, чтобы точная и однообразная статистика

выяснила: 1) потребляемое въ каждой странѣ ежегодное количество спиртныхъ напитковъ, получаемыхъ какъ броженіемъ, такъ перегонкою, 2) качество этихъ различныхъ напитковъ относительно пропорціи, въ которой они содержатъ этильный алкоголь и болѣе тяжелые алкоголи моноатомической группы, 3) годичную статистику смертныхъ случаевъ, которые могутъ быть приписаны алкоголизму и зависящимъ отъ него различнымъ специальнымъ болѣзнямъ (печени, почекъ и проч.), 4) годичную статистику умственныхъ разстройствъ, причиненныхъ алкоголизмомъ, 5) годичную статистику преступленій, совершенныхъ подъ вліяніемъ остраго или хроническаго алкоголизма, 6) годичную статистику случаевъ изъятія отъ военной повинности вслѣдствіе алкоголизма, дѣйствовавшаго на подлежавшее къ поступленію лицо или прямо, или косвенно, посредствомъ наслѣдственности. — Общество обязано бороться энергически противъ пьянства какъ силами государственными, такъ и силами общественными и индивидуальными. Средства, къ которымъ можетъ для того прибѣгать государство, суть главнымъ образомъ слѣдующія: 1) налоги на производство и продажу спиртныхъ напитковъ, получаемыхъ перегонкою, тѣмъ болѣе высокія, чѣмъ болѣе эти напитки содержатъ въ себѣ тяжелые и нечистые алкоголи; 2) большее обложеніе патентовъ для тѣхъ розничныхъ продажъ, въ которыхъ вмѣстѣ съ бродильными напитками будутъ продаваться и напитки, получаемые перегонкою; 3) строгое наблюденіе за качествомъ продаваемыхъ спиртныхъ напитковъ и строгія карательныя мѣры для продавцевъ за поддѣлку и примѣси; 4) строгія законодательныя мѣры относительно заведеній для потребленія публикою спиртныхъ напитковъ; 5) штрафованіе пьяныхъ, замѣчаемыхъ на улицахъ и въ общественныхъ мѣстахъ. Общественная и индивидуальная борьба съ пьянствомъ должна преимущественно выразиться въ слѣдующихъ направленіяхъ:

1) въ учрежденіи обществъ трезвости, 2) въ учрежденіи обществъ для сбереженія и вспомоществованія, 3) въ устройствѣ здоровыхъ и дешевыхъ жилищъ, коопераций для покупки припасовъ, общественныхъ булочныхъ и мясныхъ, и народныхъ экономическихъ кухонь и столовыхъ, 4) въ поощреніи производства здоровыхъ, дешевыхъ и доброкачественныхъ напитковъ, 5) въ обнародованіи общедоступныхъ брошюръ и сочиненій о вредномъ вліяніи пьянства и о преимуществахъ воздержанія, 6) въ устройствѣ заведеній, которыя могли бы замѣнить кабаки и доставить рабочимъ классамъ болѣе нравственныя развлеченія. Вообще же борьба противъ пьянства только тогда можетъ увѣнчаться серьезнымъ успѣхомъ, когда удастся совсѣмъ уничтожить торговлю всякимъ тяжелымъ алкоголемъ, за исключеніемъ алкоголя этильнаго, а для этого необходимо прежде всего обладать такимъ химическимъ реактивомъ, который давалъ бы намъ возможность точно и быстро опредѣлять во всякомъ спиртномъ напиткѣ количество содержащагося въ немъ алкоголя не этильнаго; къ сожалѣнію, всѣ предложенные до сихъ поръ съ этою цѣлью химическіе реактивы далеко не достигаютъ своей цѣли; поэтому въ заключеніе докладчикъ сдѣлалъ предложеніе, чтобы государства и общества помогали всѣми способами открытію такого реактива, а также содѣйствовали всякимъ изысканіямъ для улучшенія выдѣлки алкоголей. — По окончаніи этого доклада, швейцарскій д-ръ Шалланъ говорилъ о необыкновенно быстромъ распространеніи алкоголизма въ районѣ его врачебной дѣятельности, въ Ваадтскомъ кантонѣ: кантонъ этотъ преимущественно занимается культурою винограда, и ежегодная выдѣлка въ немъ виноградного вина достигаетъ цѣнности въ 25 милліоновъ франковъ; лѣтъ 10—15 назадъ, туземцы кантона пили почти исключительно виноградное вино, и случаи алкоголизма между ними были очень рѣдки, но въ послѣдніе года, когда

филоксера значительно удорожила вино, а водка напротивъ, вслѣдствіе усовершенствованій техническаго производства подешевѣла (въ названной мѣстности можно имѣть литръ водки за 30 сантимовъ, т.-е. приблизительно $7\frac{1}{2}$ коп. за бутылку), пьянство и алкогольное отравленіе стали усиливаться необычайно быстро; тоже замѣчается и во всей Швейцаріи, и, въ подтвержденіе этого, ораторъ представилъ статистическія данныя изъ многихъ швейцарскихъ домовъ для умалишенныхъ и пріютовъ для неспособныхъ; такъ, въ одномъ базельскомъ пріютѣ процентъ психическихъ больныхъ, у которыхъ алкоголизмъ служилъ главною производящею причиною болѣзни, достигаетъ 46 на 100 между мужчинами, а въ Ваадтскомъ кантонѣ — число этого рода больныхъ составляетъ 33 на 100. Бороться съ кабатчиками дѣлается трудно между прочимъ оттого, что ихъ прямая выгода заставляетъ ихъ больше продавать водки, чѣмъ винограднаго вина, ибо въ дробной продажѣ на послѣднемъ они наживаютъ не болѣе 8—10%, тогда какъ водка даетъ имъ до 30% барыша. Шалланъ поддерживалъ вполнѣ заключенія Руле и кромѣ того совѣтовалъ до извѣстныхъ предѣловъ пропагандировать употребленіе пива, какъ напитка менѣе вреднаго, и устройство маленькихъ мѣстныхъ лабораторій для открытія доступныхъ анализу вредныхъ примѣсей къ алкоголю, ссылаясь при этомъ на успѣшное дѣйствіе лозанской лабораторіи. Парижскій д-ръ Альглавъ, въ весьма остроумной рѣчи, старался доказать несостоятельность предложенныхъ предыдущими ораторами мѣръ при массѣ заинтересованныхъ въ пьянствѣ лицъ, разнообразіи поддѣлокъ и абсолютной невозможности услѣдить за ними въ дробной продажѣ; онъ признаетъ единственно практическою въ настоящее время мѣрою для борьбы съ пьянствомъ — это, чтобы государство приняло на себя обязанность приготовленія спиртныхъ напитковъ, получаемыхъ перегонкою, какъ это

дѣлаютъ нѣкоторыя правительства относительно табачнаго производства (Францiя, Австрiя). Такимъ образомъ, гарантировалась бы и самая доброкачественность продукта, и правительство высокою разцѣнкою водки, при продажи ея кабатчикамъ, могло бы покрывать значительную часть государственныхъ расходовъ, примѣръ чему мы видимъ въ Россiи, гдѣ доходами съ водки покрывается третья часть государственнаго бюджета. Въ этомъ смыслѣ ораторъ представилъ проектъ французскому правительству. По поводу предложенiя Альглава, д-ръ Ландовскiй изъ Алжира возразилъ, что, не отрицая существеннаго значенiя его проекта, считаетъ ссылку на Россiю въ томъ отношенiи бездоказательной, что въ этой странѣ государственная водочная монополiя введена исключительно въ видахъ фискальныхъ, а потому не только не привела къ уменьшенiю пьянства, а скорѣе усилила его и деморализировала народъ, который видитъ въ государственной монополiи государственную санкцiю на пьянство, и въ то же время мало улучшила и качество производимаго спирта, ибо деморализировала и чиновниковъ, контролирующихъ производство. Лучшее доказательство неправильности ссылки на Россiю д-ръ Ландовскiй видитъ въ томъ, что и при этой системѣ это государство поставлено теперь въ необходимость изыскивать новыя средства для ограниченiя народнаго пьянства. Изъ числа многихъ ораторовъ, говорившихъ еще по этому вопросу, упомянемъ о рѣчи бразильскаго делегата барона Терезiопулиса, который превозносилъ Бразилiю, гдѣ употребленiе перегнанныхъ спиртныхъ напитковъ почти не существуетъ, и даже многочисленные эмигранты, прибывающiе изъ Европы и зараженные страстью къ водкѣ, мало-по-малу отвыкаютъ отъ этой пагубной привычки и въ послѣдующемъ поколѣнiи даютъ населенiю уже вполнѣ трезвыхъ людей; все это ораторъ приписывалъ крайне распространенному въ Бразилiи упо-

требленію прекраснаго, безъ всякихъ примѣсей кофе и, какъ мѣру противъ европейскаго пьянства, предлагалъ уничтоженіе ввозныхъ пошлинъ на кофе. Не лишено интереса было еще сообщеніе женевца Роша о довольно успѣшномъ распространеніи въ Швейцаріи обществъ трезвости, пропагандируемыхъ спеціальнымъ обществомъ, учрежденнымъ въ 1877 г. и извѣстнымъ подъ названіемъ „общества синяго креста". Кромѣ того, по существу проекта Альглава было еще одно вѣское возраженіе, что государству, фабрикующему самый доброкачественный алкоголь, все-таки будетъ не возможно отвратить отъ него поддѣлки и примѣси въ дробной продажѣ, при отсутствіи точнаго химическаго реактива.

Дебаты объ алкоголизмѣ далеко были не исчерпаны и, когда оставалось еще 17 человѣкъ записанныхъ ораторовъ, предсѣдатель объявилъ, что вынужденъ за недостаткомъ времени прекратить пренія по этому предмету, ибо въ свободномъ распоряженіи отдѣленія оставалось менѣе часа, который онъ и предложилъ посвятить обсужденію доклада базельскаго проф. Геглера о *воскресномъ отдыхѣ съ гигіенической точки зрѣнія*. Докладъ, очевидно, былъ составленъ весьма старательно, но докладчикъ долженъ былъ опустить, за близостью конца засѣданій, массу подобранныхъ имъ въ подтвержденіе своего заключенія доказательствъ и ограничиться только самымъ заключеніемъ, которое состояло въ слѣдующихъ положеніяхъ: 1) Организація человѣка требуетъ для отдыха отъ труда физическаго и умственнаго одного полнаго дня въ недѣлю, безъ чего въ организмѣ могутъ произойти болѣзненныя разстройства: ослабленіе силъ, прогрессивное и неизлѣчимое истощеніе, неспособность къ труду и преждевременная смерть. Чѣмъ трудъ утомительнѣе и однообразнѣе, и совершается въ условіяхъ, менѣе благопріятныхъ для здоровья, тѣмъ отдыхъ необ-

ходимѣе; трудъ безъ перерыва служитъ причиною уменьшенія безопасности при передвиженіяхъ (несчастія на желѣзныхъ дорогахъ находятся въ тѣсной связи съ утомленіемъ желѣзно-дорожнаго персонала), наклонности къ злоупотребленію спиртными напитками и разрушенія семейной жизни. 2) Съ точки зрѣнія гигіенической, недостаточно, чтобы рабочій прекращалъ свой трудъ въ любой день недѣли; необходимо, чтобы день отдыха былъ общій для всѣхъ, чтобы во всей окружающей обстановкѣ царствовала общая тишина и спокойствіе, необходимо, чтобы день отдыха дѣйствительно возстановлялъ потраченныя силы, и чтобы тѣло и умъ питались совсѣмъ иными занятіями, чѣмъ въ рабочіе дни; день этотъ слѣдуетъ проводить на чистомъ воздухѣ (за городомъ), въ самыхъ чистыхъ платьяхъ и въ чистыхъ комнатахъ; слѣдуетъ избѣгать отдыха нездороваго, недѣятельнаго и апатичнаго, избѣгать употребленія спиртныхъ напитковъ и траты силъ на увеселенія, раздражающія и нездоровыя. 3) На основаніи этихъ соображеній, женевскій конгрессъ предлагаетъ настоятельно правительствамъ и администраціямъ, управленіямъ желѣзныхъ дорогъ, почтъ и другихъ общественныхъ службъ, промышленнымъ и торговымъ обществамъ, хозяевамъ — доставлять всѣмъ зависящимъ отъ нихъ лицамъ одинъ свободный день въ недѣлю и содѣйствовать къ достиженію гигіеническихъ цѣлей этого отдыха, согласно выраженнымъ основаніямъ. Въ подтвержденіе необходимости суточнаго отдыха, ораторъ особенно опирался, какъ на физіологическое доказательство, на опыты Петенкофера и Фойта, которые показали, что рабочій въ теченіе дневной работы потребляетъ въ крови такое количество кислорода, которое не можетъ быть вознаграждено однимъ ночнымъ отдыхомъ. Докладчику возражалъ парижскій гигіенистъ д-ръ Напіа (Nappias), развивая мысль, что нравы сильнѣе законовъ, и что невозможно навязывать обязательный день

отдыха цѣлому населенію; ораторъ скорѣе стоитъ за отдыхъ въ неправильныхъ промежуткахъ, а — главное, за ограниченіе дневного труда, что уже и достигается постепенно во Франціи, гдѣ дневной трудъ рабочаго не превышаетъ 10-ти часовъ. Послѣ спѣшныхъ возраженій еще нѣсколькихъ лицъ, отдѣленіе не пришло къ рѣшительному заключенію, и пренія были закончены, а съ тѣмъ вмѣстѣ закончились и засѣданія перваго отдѣленія, не обсудивъ и половины предложенныхъ вопросовъ.

Клиническій профессоръ Полунинъ[1]).

Московскій университетъ, блистательно закончивъ первое столѣтіе своего существованія, на рубежѣ втораго какъ-то круто повернулъ съ проложеннаго имъ пути и началъ поражать публику такими странными пріемами въ средѣ своего совѣта, что обратилъ на себя, далеко не въ лестную сторону, общее вниманіе. Мы не беремся перечислить всѣ исторіи, повторявшіяся въ стѣнахъ совѣта, особенно за 2—3 послѣдніе года, и доходившія до публики большею частью въ отрывистыхъ газетныхъ сообщеніяхъ и перебранкахъ, наполненныхъ непонятнымъ раздраженіемъ и злобой. Видно было, что между профессорами идетъ глухая борьба; видно было, что въ борьбѣ, вопреки естественному закону, перевѣсъ клонится не на сторону молодой партіи, предполагающей за собою движеніе впередъ къ нравственному и умственному обновленію университета, а на партію стариковъ, чуждыхъ и современному развитію науки и реформативнымъ стремленіямъ Россіи, и относившихся къ самому университету, какъ относится всякій старикъ къ своему тепло насиженному углу, гдѣ онъ привыкъ сидѣть 25—35 лѣтъ; наука далеко ушла впередъ, а онъ все сидитъ и какъ огня боится всякой вентиляціи и каждая струя свѣжаго воздуха кажется ему посягательствомъ на его су-

---

1) Изъ Архива *Судебной Медицины*. 1869, декабрь.

ществованіе. Для посторонняго зрителя всѣ подробности этой борьбы скрыты внутри совѣта и можно видѣть только результаты ея: удаленіе съ каѳедръ лучшихъ, свѣжихъ силъ и отсутствіе прилива новыхъ, талантливыхъ ученыхъ.

До сихъ поръ всѣ исторіи, происходившія въ нѣдрахъ совѣта Московскаго университета, проходили какъ-то мимо медицинскаго факультета и въ нихъ высказывалось только косвенное его участіе; но вотъ пришла, наконецъ, и его очередь: на дняхъ газеты напечатали свѣжее событіе, происшедшее на 4 курсѣ медицинскаго факультета и свидѣтельствующее, до какихъ геркулесовыхъ столбовъ могъ дойти произволъ совѣта и какая сильная круговая порука установилась между профессорами. Самую исторію мы разсказывать не будемъ; читатели «Архива» знаютъ ее по подробному описанію въ № 312 С.-Петербургскихъ Вѣдомостей. Насъ, какъ врачей, прежде всего поражаетъ поводъ, вызвавшій эту исторію: профессоръ клиники Захарьинъ уѣхалъ за границу на годъ и совѣтъ поручилъ вести клинику во время его отсутствія профессору патологической анатоміи Полунину. Отъ одного этого назначенія вѣетъ тѣмъ стародавнимъ временемъ, когда профессора не стѣснялись спеціальностями и по произволу мѣняли свои каѳедры, когда клиническая профессура поручалась старѣйшему изъ профессоровъ въ награду за долгую службу, какъ синекура, потому что служила къ увеличенію его практики; назначеніе Полунина показываетъ, что эти времена халатныхъ отношеній къ наукѣ въ Москвѣ еще не миновались, потому что браться анатому-патологу за чтеніе клиническихъ лекцій—абсурдъ и явный признакъ неуваженія къ наукѣ; это — то же, что пирожнику взяться точать сапоги; ну и началъ точать г. Полунинъ! Профессора Полунина мы знаемъ съ давнихъ поръ: это — человѣкъ пожилой, не даровитый, сухой схоластикъ въ наукѣ и съ большою самоувѣренностью въ характерѣ; лѣтъ 15—20 назадъ

онъ былъ очень трудолюбивъ и составлялъ полезность въ университетѣ на каѳедрѣ патологической анатоміи, но съ годами видимо отсталъ и вполнѣ дѣльнымъ представителемъ своей науки не былъ. Оно и естественно: въ Москву онъ пріѣхалъ изъ-за границы на каѳедру въ 1846 или 1847 году, когда была въ полномъ цвѣту теперь уже давно отжившая свой вѣкъ вѣнская школа, и съ тѣхъ поръ, сколько намъ извѣстно, не ѣздилъ за границу подсвѣжать свои знанія; реформацію, произведенную Вирховымъ и его талантливою школой, онъ долго не могъ усвоить, да и теперь не усвоилъ, хотя и принялъ ее, но не по убѣжденію, а какъ бы на вѣру, вынужденный временемъ и силой обстоятельствъ. Какимъ же образомъ такому профессору, котораго почти 25-ти-лѣтняя дѣятельность прошла исключительно въ обращеніи съ трупами, можно было поручать живое клиническое дѣло, а еще болѣе, какъ ему самому было не отказаться отъ такого порученія, добросовѣстно выполнить которое онъ не имѣлъ достаточныхъ средствъ? Нравственнаго насилія здѣсь быть не могло, потому что онъ — деканъ факультета и одинъ изъ самыхъ вліятельныхъ его членовъ, слѣдовательно никто не могъ его принудить взять на себя обязанность, не входящую въ область его дѣятельности. Точно также не можетъ быть возраженія, что въ Московскомъ университетѣ никого не было другаго подъ руками, кромѣ Полунина, кто бы могъ достойно замѣнить Захарьина. Что же сталось со всей этой молодежью, которую университетъ посылалъ за границу съ цѣлью обогащенія свѣдѣніями именно по части клинической медицины? Куда дѣлись гг. Чериновъ, Матчерской, Красильниковъ и, вѣроятно, многіе другіе, которыхъ имена намъ неизвѣстны? Каждый изъ нихъ и свѣжѣе и моложе и несравненно ближе стоитъ къ клиническому дѣлу, чѣмъ Полунинъ. А между тѣмъ клиника 4 курса составляетъ одно изъ капитальнѣйшихъ звеньевъ въ преподаваніи медицины; назначеніе ея по

преимуществу пропедевтическое: показать студенту не много больныхъ, но хорошо, обстоятельно показать — non multa, sed multum, познакомить его ближе съ приложеніемъ современныхъ методовъ изслѣдованія при постели больнаго и научить наблюдать, какъ видоизмѣняется уже усвоенная студентомъ въ теоретическомъ курсѣ формула болѣзни на предложенномъ ему практическомъ случаѣ. Поэтому-то совершенно основательно привыкли требовать отъ клинициста больше талантливости и такта, больше навыка и разносторонней практики, чѣмъ отъ теоретическаго преподавателя. Могъ ли Полунинъ удовлетворить этимъ требованіямъ? Для насъ, съ издавна знающихъ рессурсы Полунина, въ немъ нѣтъ этихъ условій, нужныхъ для клинициста; для лицъ же, которымъ онъ неизвѣстенъ, это дѣлается очевиднымъ изъ самаго метода, которому онъ сталъ слѣдовать при веденіи клиники и который изложенъ въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ; такъ, онъ облекаетъ свое веденіе клиники въ какія-то своеобразныя формы и почему-то находитъ нужнымъ, вопреки принятымъ правиламъ, держать студентовъ подальше отъ больныхъ: изслѣдуетъ вновь поступающихъ больныхъ въ отсутствіе студентовъ, запрещаетъ послѣднимъ присутствовать при обходѣ клиники ординаторами и даже право вести скорбные листы передаетъ ординаторамъ; веденіе скорбныхъ листовъ студентами не есть какой нибудь неосмысленный рутинный пріемъ и не даромъ онъ принятъ во всѣхъ существующихъ клиникахъ Европы; онъ способствуетъ сближенію студента-куратора съ больнымъ, даетъ возможность студенту ближе слѣдить за наблюдаемой формой болѣзни и пріучаетъ его къ формулированію своего наблюденія, а профессору даетъ наглядный способъ для опредѣленія степени наблюдательности и знаній студента. Понятно, какъ всѣ такія нововведенія Полунина должны были смутить и озадачить всякаго, желающаго заниматься, студента и какъ мало

поучительнаго онъ могъ почерпать изъ такого оригинальнаго способа преподаванія. Недовольство студентовъ еще болѣе дѣлается понятнымъ, если ко всему этому прибавить такіе промахи діагностики, каковъ разсказанный въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ, гдѣ Полунинъ распозналъ на одномъ больномъ болѣзнь сердца и почекъ, а при вскрытіи эти органы оказались нормальными, и вмѣсто болѣзни почекъ и сердца найдено существенное пораженіе печени; конечно, ошибки могутъ быть со всякимъ и провѣрить, — насколько груба была ошибка въ данномъ случаѣ — невозможно, при отсутствіи подробной исторіи болѣзни; но, съ другой стороны, зная малый навыкъ Полунина къ клиническому дѣлу, не въ правѣ ли мы ожидать, что такая ошибка, случившаяся съ профессоромъ въ первый мѣсяцъ его дебютовъ, какъ клинициста, легко можетъ повториться нѣсколько разъ въ теченіе семестра. Вспомнимъ далѣе самый свѣжій фактъ, какъ для насъ лично крайне сомнительная ошибка профессора Киттера вызвала шумный и горячій протестъ со стороны публики и даже судебное преслѣдованіе. Въ виду этого недавняго и еще не порѣшеннаго факта насъ поражаютъ еще болѣе самоувѣренность и непоколебимое мужество московскаго профессора; если бы общество съ одинаковою строгостью относилось къ его ошибкамъ, какъ къ ошибкѣ проф. Киттера, то московскій клиницистъ не сходилъ бы тогда съ скамьи подсудимыхъ круглый семестръ и, конечно, преподаваніе отъ этого ни мало не пострадало бы. Между тѣмъ совѣтъ университета иначе взглянулъ на все дѣло и около 20 студентовъ, неудовлетворенныхъ преподаваніемъ Полунина и отказавшихся посѣщать его лекціи, уволены и исключены изъ университета. За что же? Молодые люди пришли искать знаній въ университетъ и, когда имъ вмѣсто хлѣба науки даютъ пережевывать камень и они объявляютъ, что камень есть камень, а не хлѣбъ, ихъ безъ дальнихъ разсужденій изгоняютъ вонъ изъ университета

и преграждаютъ совсѣмъ доступъ къ наукѣ. Такой приговоръ не говоритъ въ пользу просвѣщенности и гуманности членовъ университетскаго совѣта и никоимъ образомъ не можетъ служить аргументомъ въ пользу клиническихъ способностей Полунина; это скорѣе аргументъ злоупотребленія, предоставленнаго властью, не совмѣстный съ достоинствомъ университета, и особенно странно видѣть такую несправедливую расправу именно въ стѣнахъ университета теперь, когда судебная реформа вводится повсюдно въ Россіи и когда для самаго запятнаннаго изъ преступниковъ создается «судъ правый и милостивый». Намъ скажутъ, что строгость наказанія была вызвана необходимостью предохранить студентовъ отъ дальнѣйшихъ увлеченій и нарушеній дисциплины. Но зачѣмъ же было давать поводъ къ этимъ нарушеніямъ? Кто, какъ не сами профессора, вызвали эти увлеченія своимъ безцеремоннымъ, неуважительнымъ обращеніемъ съ наукой?

Пусть спросятъ совѣты другихъ университетовъ, совмѣстимо ли въ настоящее время преподаваніе клинической медицины съ преподаваніемъ патологической анатоміи въ одномъ лицѣ, когда всесторонняя разработка науки заставляетъ все болѣе и болѣе и самую клиническую медицину раздробляться на части и выдѣлять изъ себя различныя доцентуры, какъ, напр., сифилиса, нервныхъ, ушныхъ, гортанныхъ и др. болѣзней.

Наконецъ, мы считаемъ даже излишнимъ распространяться о томъ, насколько умѣстно университету сразу сокращать курсъ на цѣлую треть слушателей, выключать 20 почти совсѣмъ готовыхъ врачей въ то время, какъ Россія крайне нуждается въ врачахъ и земство тщетно силится обезпечить бѣдствующему народу хоть сколько нибудь медицинскую помощь.

Мы просимъ старожиловъ профессоровъ Московскаго университета медицинскаго факультета объяснить этотъ загадочный фактъ: почему аудиторіи его въ 50-хъ годахъ

кишѣли слушателями и ежегодно на факультетъ поступали отъ 200 до 300 человѣкъ и отчего въ 60-хъ годахъ число поступающихъ постепенно уменьшается и общая сумма студентовъ-медиковъ упала на половину прежней общей суммы? Обыкновенно объясняютъ это оскудѣніе медицинскаго факультета тѣмъ, что молодежь бросилась теперь на юридическій факультетъ, обѣщающій въ будущемъ большее обезпеченіе и лучшую карьеру. Но почему же тогда это объясненіе, примѣнимое въ Москвѣ, не примѣнимо въ Петербургѣ къ медико-хирургической академіи, гдѣ въ 60-хъ годахъ число студентовъ по сравненію съ 50-ми годами удвоилось? Слѣдовательно, оскудѣніе медицинскаго факультета не можетъ быть объяснено исключительно поднятіемъ юридической карьеры; тутъ должны быть и другія причины, и самая главная, по нашему мнѣнію, это — уровень преподаванія: чѣмъ лучше, талантливѣе составъ профессоровъ, чѣмъ полнѣе и современнѣе излагается наука, тѣмъ больше и число слушателей, и наоборотъ: товаръ залежалый, потерявшій свою свѣжесть, всегда подвергается меньшему запросу.

P. S. Наша статья была давно уже написана и сдана въ редакцію «Архива», когда въ № 255 Московск. Вѣдомостей появилось объясненіе проф. Полунина, объясненіе нѣсколько позднее, потому что судъ надъ студентами не только состоялся, но и давно приведенъ въ исполненіе. Однако же, въ виду даннаго г. Полунинымъ объясненія, мы считаемъ нужнымъ сдѣлать нѣкоторыя поправки въ нашей замѣткѣ. Если гг. Матчерской и Чериновъ не брали на себя клиническаго преподаванія, то стало быть о нихъ не можетъ быть и рѣчи, а съ другой стороны это показываетъ, что они гораздо серьезнѣе относятся къ клиническому дѣлу и менѣе самоувѣренны, чѣмъ г. Полунинъ. Все, что ни приводитъ г. Полунинъ въ пользу своихъ правъ на клиническое преподаваніе, — по нашему мнѣнію, не доказательно: его за-

нятія въ 1840-хъ годахъ клиническою медициною за границей и вслѣдъ за тѣмъ 2-хъ-лѣтнее служеніе въ должности адъюнкта терапевтической клиники никакъ не могутъ служить доказательствомъ, что онъ въ настоящее время обладаетъ достаточными для клинициста свѣдѣніями. Въ теченіе послѣднихъ 15 лѣтъ клиническая медицина такъ двинулась впередъ, какъ прежде не двигалась она въ 50—100 лѣтъ; почти нѣтъ ни одной болѣзни, клиническій взглядъ на которую болѣе или менѣе не измѣнился бы; установились цѣлыя формы болѣзней прежде неизвѣстныхъ, какъ напр. артеріосклерозъ, лейкэмія, болѣзнь амилоидная, Базедова, Аддисона; клиническое ученіе о сифилисѣ, бугорчаткѣ и частью нервныхъ болѣзняхъ совершенно преобразилось; благодаря изобрѣтенію новыхъ инструментовъ, лѣченіе тоже стало на новую дорогу и дало новое благодарное поле для врачей въ формѣ мѣстнаго лѣченія; вся электротерапія есть продуктъ работъ послѣднихъ 10—15 лѣтъ. Есть ли какая нибудь возможность клиницисту стараго времени совладать съ этимъ наплывомъ новыхъ взглядовъ, методовъ изслѣдованія и лѣченія, когда такая громадная знаменитость, какъ клиницистъ Шкода, теперь считается устарѣлымъ и его клиника посѣщается не больше, какъ 10—15, и то обязательными, слушателями? Точно также, на этомъ основаніи, можно признавать нѣкоторыя достоинства ученыхъ трудовъ г. Полунина по клинической медицинѣ для 1840-хъ годовъ, но ссылаться на ихъ какое-нибудь значеніе для настоящаго времени никакъ нельзя. Что касается невѣрно будто-бы изложеннаго въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ метода преподаванія г. Полунина, то это мы оставляемъ на совѣсти самого г. Полунина и корреспондента вѣдомостей; опубликованная теперь г. Полунинымъ программа его преподаванія—не дурна, но кто же не знаетъ, что между программой и исполненіемъ ея на дѣлѣ мо-

жетъ лежать цѣлая бездна[1]). Заканчиваетъ свое объясненіе г. Полунинъ фразой, полной христіанской кротости и благодушія: «Богу извѣстно, что побудило студентовъ произвести безпорядокъ. Богъ да будетъ въ этомъ дѣлѣ и судьей!» По нашему мнѣнія, такая фраза по меньшей мѣрѣ неприлична и отзывается употребленіемъ имени Бога всуе, потому что г. Полунинъ очень хорошо знаетъ, что судъ университета уже исключилъ 17 студентовъ.

Въ заключеніе не можемъ не обратить вниманія на напечатанный на дняхъ въ газетахъ приговоръ другаго университетскаго суда по студенческой же исторіи, но въ Дерптѣ, гдѣ студенты, будучи недовольны проф. Валькеромъ, произвели уличные безпорядки, били стекла и пр.; судъ приговорилъ 2-хъ студентовъ къ удаленію изъ университета на начало втораго полугодія 1870 г. и 36 студентовъ къ заключенію въ карцеръ на время отъ 8 дней до 3-хъ недѣль. Не разбирая поводовъ этихъ двухъ одновременныхъ студенческихъ безпорядковъ, всякій видитъ, что даже, такъ сказать, въ количественномъ отношеніи безпорядки, произведенные дерптскими студентами были рѣзче, шумнѣе, носили уличный характеръ, а между тѣмъ наказаніе дерптскихъ студентовъ нуль сравнительно съ наказаніемъ московскихъ: посадить на 2—3 недѣли въ карцеръ ничего не значитъ, а исключить на 2—3 года изъ университета сплошь и рядомъ значитъ— сильно повредить будущности молодаго человѣка.

---

[1]) Относительно исторіи болѣзни г. Полунинъ говоритъ: „я настоялъ на томъ, чтобы, кромѣ исторіи болѣзни, которую пишутъ студенты-кураторы, писали исторіи болѣзней и ординаторы“. Мы рѣшительно отказываемся понимать, зачѣмъ ему понадобилась эта двойная бухгалтерія; онъ же самъ не поясняетъ, почему онъ настаивалъ на этомъ нововведеніи.

Поѣздка на Уралъ въ 1866 году.

I.

Пообѣдавши у Дюзо, гдѣ останавливался его высочество, (герцогъ Николай Максимиліановичъ Лейхтенбергскій) мы тотчасъ же сѣли въ коляски и помчались къ Калужскимъ воротамъ на станцію Нижегородской желѣзной дороги. Это было 15-го мая, воскресенье. Мы буквально мчались по праздничнымъ улицамъ Москвы, боясь опоздать къ поѣзду, и попали за $^1/_4$ часа до отхода. На станціи встрѣтилъ насъ полковникъ Кентъ, директоръ Нижегородской желѣзной дороги, и показалъ намъ приготовленный для насъ вагонъ, весьма изящный и помѣстительный, состоявшій изъ комнатки для герцога, общей залы, гдѣ помѣстились мы четверо, комнаты для слуги и ватеръ-клозета. Передъ послѣднимъ звонкомъ мы распростились съ кн. Горчаковымъ и забрались въ вагонъ; свистокъ свистнулъ и пошли писать села и деревни Московской губерніи. Кентъ пришелъ къ намъ въ вагонъ и началъ разсказывать о своей линіи, о цвѣтущемъ ея положеніи, съ каждымъ годомъ все улучшающемся; такъ, въ нынѣшнемъ году она обѣщаетъ дать на 70.000 р. больше прошлаго года, что составитъ валовой доходъ на версту 6.500 руб., тогда какъ въ прошломъ году онъ былъ 5000 р. Это увеличеніе до-

хода зависитъ отъ того, что пониженъ провозный тарифъ на нѣкоторые предметы, которые доставляются водой; Кентъ жалѣлъ, что высокъ тарифъ хлѣба на Николаевской желѣзной дорогѣ, отчего весь хлѣбъ отправляется водяною коммуникаціей. Рельсы для дороги выписываются англійскіе; но управленіе дѣлало пробу заводить и русскіе и осталось этою пробой очень довольно,—русскіе рельсы служатъ 4 года (англійскіе же—три); затѣмъ, когда русскіе рельсы придутъ въ негодность, ихъ можно продать по 90 коп. за пудъ, а англійскіе—за 30 коп., потому что желѣзо первыхъ лучшаго качества; русскіе же рельсы при покупкѣ дороже англійскихъ (1 р. 35 к. пудъ), но при высокомъ заграничномъ курсѣ и эта разница уравновѣшивается. Словомъ, въ настоящее время прямой бы расчетъ покупать рельсы въ Россіи, но та бѣда, что ихъ не дѣлаютъ, т.-е. дѣлаютъ только въ Тагильскихъ заводахъ, но производимые послѣдними 400,000 пудовъ далеко не удовлетворяютъ всего запроса.

Во время этого переѣзда я постарался побольше вглядѣться въ своихъ товарищей, съ которыми судьба назначила мнѣ не разлучаться въ теченіе полутора мѣсяца, и въ результатѣ я остался очень доволенъ. Самъ герцогъ—молодой человѣкъ 23-хъ лѣтъ, высокій, стройный, весьма красивой наружности; держитъ себя чрезвычайно просто, безъ аффектаціи, говоритъ немного, но дѣльно; во время переѣзда до Нижняго онъ много пѣлъ изъ Belle Hélène, шутилъ, вспоминалъ французскіе каламбуры, между которыми не дуренъ слѣдующій: quelle différence ya-t-il entre Malboroug et le potage aux poix?

— Malboroug s' en va-t-en guerre, et le potage aux poix s'en va-t-en pot.

Второе лицо нашей экспедиціи—генералъ Ребиндеръ, человѣкъ 44-хъ лѣтъ, съ физіономіей херувима, только лысаго, что не мѣшаетъ ему казаться моложавымъ. Не глупъ и очень начитанъ; долгое пребываніе въ Англіи

сдѣлало изъ него страшнаго англомана, и надо отдать ему справедливость, онъ изучилъ не одну внѣшность страны, но сумѣлъ добраться и до внутренняго ея смысла; оттого разсказы его объ Англіи, особенно при его мастерствѣ говорить, весьма интересны. Другая рѣзкая черта характера Ребиндера—это вѣчная увлекаемость; онъ способенъ восторгаться всякою мелочью и, съ другой стороны, упасть духомъ передъ малѣйшимъ препятствіемъ; не любитъ спорить и не умѣетъ выносить противорѣчій. Академикъ Зининъ—безспорно самое рельефное лицо въ нашей свитѣ, личность весьма даровитая, съ колоссальными познаніями и памятью, передъ которыми меркнутъ небольшіе недостатки, наложенные на него частью годами (50 лѣтъ) и болѣзнью, частью общимъ складомъ русской жизни. Живой какъ ртуть, нервный какъ самая нервная женщина, рьяный до споровъ, въ которыхъ громитъ противника блестящею рѣчью и громаднымъ знаніемъ,—это, повторяю, былъ бриллиантъ въ нашей свитѣ. Его ярая ненависть къ нѣмцамъ и филиппики противъ куренія табаку—вотъ два конька, которыхъ безпрестанно мы осѣдлывали, чтобы сражаться съ нимъ во время путешествія. Академикъ Кокшаровъ—минералогъ par excellence и совершеннѣйшая противоположность Зинину: толстѣйшее, разжирѣвшее и добродушнѣйшее созданіе ничѣмъ невозмутимой кротости, падкій до хорошаго обѣда и хорошенькаго личика, страстно любящій свой предметъ (камешки, какъ выражался Зининъ) и полный невѣжда относительно всего, что внѣ его спеціальности; въ заключеніе, какъ трудно отъ Зинина услышать о комъ-нибудь хорошій отзывъ, такъ, наоборотъ, можно держать пари, что Кокшаровъ никогда въ жизнь свою ни о комъ не отозвался дурно. Остается сказать для точности о лакействующей части свиты: Степановъ, лакей герцога, личность тоже любопытная и почтенная уже по одному тому, что герцогу онъ преданъ какъ собака; малый весьма образованный, отлично

говоритъ по-французски, нѣмецки, англійски и польски, слушалъ Гегеля, сильно занимается политикой и большой поклонникъ Каткова. Казаковъ и Пелешенко—два лакея для ухода за нами: первый—лѣнивый, жирный, бабій угодникъ и грубоватый относительно насъ, второй же—весьма расторопный и милый малый. Наконецъ, поваръ французъ Форе—дрянь порядочная.

Въ первый вечеръ нашей поѣздки мы разошлись часу въ 12-мъ ночи и улеглись спать; Зининъ уже предупреждалъ меня заранѣе, что Кокшаровъ имѣетъ обыкновеніе храпѣть ужаснѣйшимъ образомъ, и дѣйствительно, не успѣлъ я заснуть, какъ раздался храпъ Кокшарова съ высвистами во всю носовую завертку; но мнѣ это нисколько не помѣшало заснуть самымъ покойнымъ сномъ. Зининъ же, видимо, не могъ выносить этого храпа и раза два подскакивалъ ночью къ Кокшарову и будилъ безжалостно его, на что послѣдній не высказывалъ ни малѣйшаго упрека, перемѣнялъ, по совѣту Зинина, положеніе и снова начиналъ храпѣть по старому. Часамъ къ 7-ми мы всѣ проснулись, при чемъ я узналъ отъ Зинина, что и я храплю по ночамъ, но приличнымъ образомъ, на Кокшарова же сыпались градомъ упреки. Подъ исходъ 8-го мы пріѣхали въ Нижній. Здѣсь на станціи, убранной цвѣтами, встрѣтилъ насъ губернаторъ Одинцовъ, маленькій, толстенькій человѣчекъ, съ краснымъ носомъ, сильно подтверждавшимъ ходящіе о немъ слухи, что онъ съ хорошимъ человѣкомъ выпить далеко не прочь. Здѣсь приготовленъ былъ для насъ чай и я тутъ въ первый разъ выказалъ мое умѣнье въ дѣлѣ разливанья, такъ что эта обязанность осталась за мной на все время путешествія. Часовъ въ 10-ть мы сѣли въ приготовленныя коляски и переѣхали прямо на пароходъ «Вотякъ», приготовленный для герцога обществомъ «Кавказъ и Меркурій». Пароходъ простоялъ до 1 часу у пристани и все это время Одинцовъ бесѣдовалъ съ нами на палубѣ, и надо сказать, что разговоръ его обнару-

жилъ въ немъ человѣка неглупаго и порядочно ознакомленнаго съ экономическимъ бытомъ своей губерніи. Наконецъ мы тронулись внизъ по матушкѣ по Волгѣ; день былъ превосходный и мы почти не сходили съ палубы; къ нашему же благополучію и пассажировъ почти никого не было, такъ что Зининъ и я заняли всю каюту 1-го класса, а остальные члены расположились въ отдѣльныхъ каютахъ. Въ этотъ первый день Зининъ рѣшительно ослѣпилъ меня своими разнообразными познаніями; не было предмета, о которомъ заходила рѣчь, гдѣ бы онъ не былъ дома: химія, минералогія, ботаника, геологія, астрономія, физіологія и пр.,—со всѣмъ этимъ онъ былъ знакомъ весьма, казалось, фундаментально; при этомъ живость характера, страстность и блескъ рѣчи, наконецъ изумительная память (онъ, напр., какъ 12-ти лѣтній гимназистъ стараго времени, въ состояніи былъ, не запнувшись, перечислить всѣ города какой-нибудь губерніи, цитировалъ цѣлыя страницы Хераскова, Шиллера на нѣмецкомъ и въ переводѣ Жуковскаго и пр.) произвели на меня глубокое впечатлѣніе; я положительно не встрѣчалъ до сихъ поръ въ такой мѣрѣ даровитаго человѣка, и если впослѣдствіи я разочаровался въ нѣкоторыхъ сторонахъ его характера, то все-таки уваженіе мое къ этой личности сохраню глубокое. Время наше мы проводили или на палубѣ или въ рубкѣ, гдѣ завтракали и обѣдали; къ первому обѣду были приглашены сопровождавшій насъ управляющій обществомъ, морской офицеръ (фамилію я забылъ) и капитанъ парохода Брылкинъ, очень хорошій господинъ. Послѣ обѣда мы всѣ собрались въ рубкѣ, чтобы слушать лекцію Кокшарова о кристаллизаціи, и—увы!—какъ ни хорошо знаетъ свое дѣло Кокшаровъ, какъ ни силился растолковать его намъ, но наши, т.-е. Ребиндера и мои, познанія въ высшей геометріи оказались такъ ничтожны, что мы ничего не уразумѣли въ дѣленіи кристалловъ на системы. Вечеръ часовъ до 12-ти прошелъ

на палубѣ съ Зининымъ въ геологической бесѣдѣ. Такимъ образомъ шло наше плаваніе и дальше; мѣшая дѣло съ бездѣльемъ, мы рѣшительно не видѣли, какъ летѣло время; кромѣ лекцій о кристаллографіи, герцогъ читалъ съ Зининымъ физіологію Германа.

II.

Въ Казани мы простояли часа два у берега и этимъ временемъ воспользовались, чтобы побродить по сушѣ; о проѣздѣ герцога никто не зналъ, такъ что онъ свободно могъ гулять между народомъ и я съ нимъ просидѣлъ на мостикѣ съ часъ времени въ бесѣдѣ. Назавтра мы проснулись уже въ Камѣ, которая въ этомъ году разлилась чрезвычайно, такъ что, затопивъ всѣ острова и поемные луга, представляла громадный плесъ. Часовъ въ пять вечера мы подошли къ Елабугѣ, но по случаю половодья пристань была верстахъ въ пяти отъ города; пароходъ присталъ у чрезвычайно крутой горы и мы отправились всѣ карабкаться, чтобы посмотрѣть вблизи радужные рухляки пермской формаціи; по причинѣ крутизны Кокшаровъ и Зининъ спасовали, а герцогъ и я добрались до верхушки и, сопровождаемые толпой нѣсколькихъ бурлаковъ, сошедшихъ съ нашего же парохода, отправились смотрѣть груду камней съ легендарнымъ названіемъ «Чортово городище» и герцогъ набросалъ его въ свой альбомъ. На обратномъ пути мы чуть не кубаремъ скатились съ горы къ рѣкѣ и попали къ утесу, который преграждалъ намъ совершенно путь къ пароходу, и намъ приходилось было карабкаться снова въ гору; но къ счастію, на наши крики со стоявшаго подлѣ судна подали лодку, на которой мы и подкатили къ пароходу, гдѣ остальная наша компанія

ждала насъ съ немалою тревогой. До сихъ поръ плыли мы все дальше, наслаждаясь прелестною погодой и сближаясь все больше и больше между собой; но назавтра нашъ миръ и отсутствіе декорума нарушились. Уже часовъ въ 10-ть мы встрѣтили какой-то пароходъ, пассажиры котораго, поровнявшись съ нами, сняли шапки и закричали „ура“, а когда мы въ двѣнадцать часовъ подошли къ Сарапулу, то увидѣли на набережной громадныя толпы народа; герцога это, видимо, смутило и онъ сначала не хотѣлъ было выходить изъ каюты, но Ребиндеръ уговорилъ его выйти. Когда онъ сошелъ на землю, ему тотчасъ же представились высшія власти и купцы, поднесли хлѣбъ и онъ въ сопровожденіи Ребиндера и всего населенія городскаго двинулся въ соборъ; а мы съ Зининымъ, побродивши немножко по грязнымъ улицамъ этого жалкаго городка, вернулись на пароходъ. Вскорѣ вернулся и герцогъ и разсказалъ намъ, какъ послѣ молебна въ соборѣ народъ вздумалъ было кричать «ура», но онъ остановилъ это излишнее рвеніе; а я взамѣнъ этого сообщилъ, что мы, гуляя, видѣли острогъ — въ видѣ полуразрушеннаго зданія, въ рамахъ котораго всѣ стекла были перебиты. Мы еще съ часъ простояли у пристани: все это время герцогъ сидѣлъ въ своей каютѣ, я съ Зининымъ изъ рубки наблюдали прелестныхъ сарапулокъ, а Ребиндеръ выслушивалъ жалобы мировыхъ посредниковъ о томъ, что крестьяне не соглашаются на узаконенный надѣлъ и не вѣрятъ, что это есть настоящая воля; разные отставные солдаты и грамотеи поддерживаютъ ихъ въ этомъ убѣжденіи; между прочимъ одинъ изъ нихъ увѣрялъ крестьянъ, что онъ ходилъ въ Питеръ, видѣлъ царя, пилъ съ нимъ чай и послѣдній самолично сказалъ, что это воля не настоящая. Нѣкоторые изъ крестьянъ подали здѣсь герцогу прошенія.

Съ Сарапула мы уже вездѣ стали встрѣчать на пристаняхъ толпы народа, такъ что герцогъ лишенъ былъ

удовольствія побѣгать по берегу. Подъѣзжая къ станціи Усть-Рѣчкѣ, мы узнали отъ капитана, что Камскій чугуннолитейный заводъ по случаю разлива затопленъ и что при этомъ унесено водой до 1½ тысячи саженъ дровъ; это первое вступленіе герцога въ область горнозаводскаго дѣла подѣйствовало на него чрезвычайно дурно, тѣмъ болѣе, что этотъ заводъ выстроенъ всего только два года. Когда онъ сталъ распрашивать, какимъ образомъ могли выбрать для устройства завода такое низкое мѣсто, которое затопляется водой, то получилъ въ отвѣтъ, что крестьяне окрестной деревни предупреждали, что это мѣсто часто весной затапливается, но имъ не повѣрили, думая, что они лгутъ въ тѣхъ видахъ, чтобъ у нихъ не отняли покосовъ, расположенныхъ въ этой мѣстности. По поводу этого событія у насъ былъ длинный разговоръ о тѣхъ неудачахъ, которыя преслѣдуютъ на Руси всякія начинанія, и всѣ были согласны, что главная причина и корень всего зла на Руси—невѣжество. Въ 11-ть часовъ вечера мы подошли къ Усть-Рѣчкѣ, гдѣ герцогу представился начальникъ Камско-Воткинскихъ заводовъ—полковникъ Арсеньевъ; несмотря на поздній часъ, луна позаботилась, чтобы намъ показать жалкій видъ завода, нижніе этажи зданій котораго были всѣ подъ водой. Слѣдующій день былъ послѣднимъ днемъ нашего плаванія по Камѣ и мы съ грустью помышляли объ этомъ,—такъ уютно сжились мы на пароходѣ нашей маленькой компаніей, и этотъ день мы провели весь въ разговорахъ; весьма любопытна была между прочимъ наша бесѣда въ присутствіи всей компаніи съ Зининымъ о событіи 4-го августа и затѣмъ спорили о значеніи и дѣятельности Чернышева. Часа въ три мы пришли въ Оханскъ, гдѣ снова весь городъ былъ на пристани. Въ этотъ же день мы узнали, что въ Перми герцога ждетъ большая встрѣча: отведена квартира, приготовлена иллюминація и что общество хочетъ выѣхать встрѣчать на пароходѣ, а такъ какъ герцогъ оста-

навливаться въ Перми не хотѣлъ, то изъ Оханска дали знать объ этомъ телеграммой, а равно и о томъ, что герцогъ уклоняется отъ выѣзда общества во встрѣчу ему, тѣмъ болѣе, что мы должны были притти въ городъ ночью. Рано утромъ, часовъ въ 6-ть, насъ разбудилъ стукъ, и принесшій намъ умываться Пелешенко сообщилъ, что вся набережная усѣяна народомъ и что стукъ происходитъ отъ обивки коврами сходни и пристани; герцогъ еще спалъ; мы четверо напились чаю и я съ Зининымъ взяли извозчика и съѣздили въ аптеку за лѣкарствами.

День былъ сѣренькій и нависшія тучи грозили дождемъ; по возвращеніи мы нашли уже на пристани массу мундирныхъ чиновниковъ, съ вице-губернаторомъ Лысогорскимъ во главѣ; пермскій же губернаторъ Струве былъ въ это время вызванъ для объясненій въ Питеръ. Купленные тарантасы для него, по 200 р. каждый, оказались тѣсны, а потому мы ихъ обмѣнили на тарантасы вольной почты; великолѣпный дормезъ герцога (за который заплачено Неллису 1600 р.) уже красовался на набережной. И въ то время, какъ общество представлялось герцогу и подносило хлѣбъ-соль, я занялся укладкой въ свой тарантасъ; потомъ мы позавтракали и часовъ въ 9-ть усѣлись въ экипажи и поѣхали: герцогъ съ Ребиндеромъ—въ соборъ, а мы остальные—прямо за заставу, гдѣ остановились и стали ожидать дормезъ; въ это время полилъ препорядочный дождь. Наконецъ дормезъ подъѣхалъ и мы тронулись въ путь въ слѣдующемъ порядкѣ: впереди дормезъ, въ которомъ сидѣли герцогъ и Ребиндеръ и сзади Степановъ и Пелешенко на козлахъ; во второмъ экипажѣ ѣхалъ я съ Зининымъ и на козлахъ—Козаковъ; поѣздъ замыкалъ Кокшаровъ съ Форе; впереди ѣхалъ исправникъ; кромѣ того, для вящшаго торжества около коляски герцога скакали два казака, на смѣну которыхъ черезъ каждыя 3—4 версты являлись новые. Мнѣ на долю достался самый интерес-

ный спутникъ—Зининъ, но въ то же время самый непокладистый; всякая малѣйшая мелочь его раздражала, тарантасъ онъ предалъ проклятію съ первыхъ же верстъ, какъ самый неудобный экипажъ; лежать онъ не могъ и постоянно вертѣлся на мѣстѣ, отдуваясь съ особеннымъ звукомъ и особенно тогда, какъ я закуривалъ папиросу, что я и старался дѣлать какъ можно рѣже, щадя его нервы. Но все это выкупалось его разговорчивостью, которая незамѣтно сокращала путь. На первой станціи, гдѣ насъ встрѣтила вся деревня, мы выходили во время запряжки, и вторую станцію ко мнѣ пересѣлъ Ребиндеръ, а Зининъ поѣхалъ съ герцогомъ; подъ каждый экипажъ было заложено по 6 лошадей, за всѣ платилось и притомъ на водку переднему ямщику давался цѣлковый, а двумъ—задатокъ по 50 коп.; прогоны раздѣлывалъ Степановъ. Между тѣмъ погода совсѣмъ разгулялась, такъ что, когда мы пріѣхали на 3 станцію—Крыласовскую, солнце свѣтило уже ярко и мы воспользовались этимъ и временемъ, которое нужно было Форе для приготовленія обѣда, и отправились осмотрѣть вблизи весьма интересное обнаженіе известняковъ въ окрестныхъ горахъ; къ услугамъ нашимъ явилась какая-то допотопная долгуша, на которую мы и усѣлись; Ребиндеръ остался на станціи. Проѣхавши версты двѣ до горы, мы слѣзли, полюбовались на бѣлоснѣжный известнякъ, лежащій тутъ втуне, и вскарабкались на гору, что по разбухшей отъ дождя глинѣ было не совсѣмъ легко и особенно для толстяка Кокшарова, такъ что два дюжихъ крестьянина взяли его подъ руки и втащили. На горѣ мы просидѣли съ ½ часа и потолковали съ волостнымъ старшиною, одѣтымъ въ его обшитый позументомъ кафтанъ, и съ 2 мужичками, поднявшимися съ нами, при чемъ Зининъ прочелъ имъ наставленіе о необходимости удабривать землю золой. Вернувшись обратно, мы пообѣдали 4 блюдами и роспили 2 бутылки шампанскаго въ честь именинника Ребиндера и его жены; шампанское

было куплено нами (мной, Зининымъ и Кокшаровымъ), герцогъ захотѣлъ участвовать въ нашей складчинѣ тоже и внесъ 2 рубля. Съ Крыласовской станціи меня герцогъ попросилъ сѣсть сзади въ дормезъ, а самъ сѣлъ съ Кокшаровымъ и мы ѣхали, все время бесѣдуя, втроемъ; день разгулялся, выглянуло солнце, такъ что удобно было любоваться окрестными видами, которые особенно хороши при подъѣздѣ къ Кунгуру.

Кунгуръ встрѣтилъ насъ серебристымъ звономъ знаменитыхъ многочисленныхъ колоколовъ; весь городъ высыпалъ на улицы, такъ что экипажъ нашъ съ трудомъ пробирался къ отведенной для насъ квартирѣ въ домѣ Губкина; крики «ура» не смолкали. Въ квартирѣ герцога встрѣтило общество съ хлѣбомъ-солью; въ домѣ же за отсутствіемъ хозяина—его зять, мѣстный почтмейстеръ; мы выпили по стакану чая, поболтали съ 4-хъ лѣтнею дочкой хозяина и, пробывши съ $1/4$ часа, поѣхали дальше. Проѣзжая мимо собора, мы увидѣли около него толпу народа съ попомъ, вышедшимъ съ крестомъ на паперть, но герцогъ скомандовалъ не останавливаться и экипажъ быстро промчался мимо передъ носомъ изумленныхъ поповъ. И такимъ образомъ мы ѣхали все дальше и дальше, повсюду встрѣчаемые всѣмъ населеніемъ, подношеніемъ хлѣба-соли и еще болѣе частымъ подношеніемъ просьбъ на головѣ; у Ребиндера уже начинала составляться препорядочная коллекція этихъ просьбъ. Ночь мы проѣхали благополучно безъ всякихъ приключеній, только Зининъ, не могши заснуть по своей нервозности, безпрестанно тревожилъ и меня. А между тѣмъ снова пошелъ дождь, дорога сильно испортилась и мы двигались впередъ очень медленно, задерживаемые притомъ безпрерывными перепряжками (черезъ каждыя 10—12 верстъ); въ заключеніе сломалась ось у задняго экипажа и это насъ задержало на два часа лишнихъ на одной изъ станцій; эти два часа мы убили тѣмъ, что проголодавшись сѣли на траву завтракать чѣмъ Богъ

послалъ, главное—яйцами всмятку; разодѣтыя крестьянки наперерывъ одна передъ другой упрашивали герцога, чтобы онъ съѣлъ одно яичко у нея; потомъ немножко погерборизировали, при чемъ Зининъ показалъ свои обширныя познанія въ ботаникѣ. Наконецъ, экипажъ былъ исправленъ и мы поѣхали дальше; переѣхали черезъ Чусовую; въ Билимбамскомъ заводѣ встрѣтили герцога мировой посредникъ и управляющій заводомъ и были приглашены къ чаю; отсюда начались новаго рода оваціи: насъ вездѣ стали сопровождать штукъ 30—40 верховыхъ, скача во весь карьеръ по обѣимъ сторонамъ дормеза. Мой Зининъ расколотился страшно дорогой и потому герцогъ пригласилъ его къ себѣ въ дормезъ, а ко мнѣ сѣлъ Ребиндеръ; такимъ образомъ мы переѣхали границу Европы, остановились у памятника, который былъ освѣщенъ зажженными ворохами хвороста; здѣсь представился герцогу главный лѣсничій Екатеринбургскаго округа, полковникъ Раумеръ, и предложилъ на приготовленной заранѣе доскѣ внутри рѣшетки вырѣзать свое имя, что герцогъ и сдѣлалъ. Послѣ этого я задремалъ и уже передъ самымъ въѣздомъ въ Екатеринбургъ Ребиндеръ разбудилъ меня. Несмотря на поздній часъ ночи (было около 2-хъ часовъ), городъ блисталъ огнями иллюминаціи; огромная масса народа встрѣтила насъ у въѣзда и мы помчались по улицамъ, сопровождаемые криками, экипажами, верховыми и огромною массой бѣгущаго сзади народа, и вскорѣ подъѣхали къ ярко освѣщенному дому Баландина, который былъ приготовленъ для герцога. Герцогъ съ Ребиндеромъ помѣстились вверху, а намъ тремъ остальнымъ отведено было большое помѣщеніе внизу, и мы тотчасъ же отправились на-боковую. Назавтра, напившись всѣ вмѣстѣ чаю, мы вышли гулять въ находящійся при домѣ хорошенькій садъ и хотѣли до 11 часовъ, т.-е. до начала пріема, прочитать въ маршрутѣ описаніе того, что подлежало осмотрѣнію въ Екатеринбургѣ; но едва герцогъ показался въ саду,

какъ тотчасъ на всѣхъ сосѣднихъ крышахъ высыпалъ народъ; мы, однакоже, умудрились найти такое мѣстечко, гдѣ вѣтви деревьевъ закрывали насъ отъ любопытныхъ глазъ; но едва только мы усѣлись и герцогъ сталъ читать вслухъ, какъ нѣсколько расфранченныхъ дамъ пробрались мимо часовыхъ въ садъ и стали, прячась за деревьями, высматривать насъ. Зининъ отправился къ нимъ и сказалъ: «сдѣлайте одолженіе, оставьте насъ теперь, пока мы дома, въ покоѣ; вѣдь, это, наконецъ, и неприлично забираться такъ въ чужой садъ; ну, что бы вы сказали, если бы я вдругъ ни съ того, ни съ сего забрался къ вамъ въ спальню?» Спичъ этотъ имѣлъ успѣхъ; кринолины ретировались изъ сада и мы могли начать чтеніе. Къ 11-ти часамъ начался съѣздъ и такъ какъ мнѣ и Зинину позволено было не присутствовать на выходѣ, то мы и отправились побѣгать по городу и кой-чего купить, между прочимъ черносливу, безъ котораго Зининъ жить не можетъ. Въ 12-ть мы были дома, позавтракали, герцогъ, Ребиндеръ и Кокшаровъ поѣхали въ соборъ, откуда два первые должны были проѣхать съ визитомъ къ главному начальнику Уральскихъ заводовъ Іосса; мы же съ Зининымъ въ другой коляскѣ поѣхали въ соборъ, когда молебенъ былъ конченъ, и, взявши Кокшарова, отправились съ визитомъ сначала къ бергъ-инспектору Строльману, котораго не нашли дома, а оттуда къ Іосса, гдѣ познакомились съ нимъ, его горбатою женой и рослою дочкой лѣтъ 17-ти.

Пріѣхавши домой, мы отправились всею гурьбой къ Стебакову, продавцу минераловъ; отсюда же начинается весьма неблаговидная ловля Кокшаровымъ минераловъ для коллекціи герцога: онъ рѣшительно вымогалъ у каждаго горнаго офицерика, у котораго находилъ хоть что-нибудь замѣчательное, дѣйствуя при этомъ именемъ герцога такимъ образомъ: «если вы хотите сдѣлать удовольствіе герцогу, то должны уступить ему ваши минералы», и т. д. И, благодаря этому пріему, коллекція

быстро росла и росла, безъ всякой денежной затраты. Стебаковъ къ пріѣзду герцога приготовилъ очень хорошенькій подборъ минераловъ и уступилъ ихъ за полцѣны, будучи польщенъ тѣмъ, что герцогъ выбралъ его членомъ-корреспондентомъ минералогическаго общества. У Стебакова есть своя небольшая гранильная фабрика, но надо удивляться тому безвкусію и рутинности, съ которыми производятся всѣ подѣлки изъ превосходнаго матеріала, подаваемаго Ураломъ; все дѣлается по адамовскимъ образцамъ, все тѣ же печати въ видѣ бутылочекъ, конскихъ головъ, сапоговъ и пр. Зининъ совершенно основательно убѣждалъ Стебакова выписать порядочнаго художника для оживленія этого дѣла. Понакупившись порядочно, мы вернулись домой и сѣли обѣдать; къ обѣду былъ приглашенъ Іосса; первое впечатлѣніе, сдѣланное на насъ всѣхъ этимъ господиномъ, было весьма неблагопріятное: съ явнымъ оттѣнкомъ еврейскаго типа, онъ поражалъ своею вялостью, ненаходчивостью и отсутствіемъ такта; впослѣдствіи, гораздо позже, мы убѣдились, что онъ обладаетъ хорошими техническими познаніями. За обѣдомъ только и шелъ разговоръ, что о дурномъ состояніи горныхъ заводовъ и о бѣдственномъ положеніи горнозаводскихъ рабочихъ, которые буквально мрутъ съ голода; причина этому та, что освобожденіе отъ прикрѣпленія къ заводамъ совпало какъ разъ съ большими неурожаями; хлѣбъ, который прежде стоилъ на Уралѣ 40 к. за пудъ, поднялся вдругъ до 1 р. 10 к., и заводское вѣдомство, которое при старыхъ порядкахъ, содержало все населеніе, теперь оставило ихъ на произволъ судьбы; особенно бѣдственно положеніе престарѣлыхъ, увѣчныхъ и семей умершихъ рабочихъ, которые прежде получали паекъ отъ казны или шли въ богадѣльни, теперь богадѣльни закрываются, паекъ прекращается и эти несчастные, безъ всякой возможности заботиться о своемъ пропитаніи, обречены прямо на голодную смерть. Послѣ обѣда герцогу при-

шла фантазія прогуляться и онъ предложилъ мнѣ; но такъ какъ наружный фасадъ былъ постоянно окруженъ толпою любопытныхъ, то съ этой стороны мы находились въ полной блокадѣ и нечего было и думать выйти безъ того, чтобы эти толпы не двинулись за нами вслѣдъ; мы навели справки и узнали, что есть изъ огорода выходъ въ глухой переулокъ и тамъ можно выйти такъ, что насъ никто не увидитъ; Зининъ примкнулъ къ нашей компаніи. Мы выбрались благополучно, благополучно задами города вышли въ поле и, прошедши версты три, развалились на травѣ; но вскорѣ стало ясно, что нашъ выходъ замѣченъ; сначала по окраинамъ города стали образовываться небольшія кучки народа, потомъ цѣлый легіонъ мальчишекъ сталъ приближаться къ намъ. Инкогнито было нарушено и мы должны были итти домой; по мѣрѣ нашего приближенія къ городу, несмотря на увѣщеванія, съ которыми обращался самъ герцогъ къ публикѣ, прося ее разойтись, толпа росла, и когда мы пришли домой, то насъ уже сопровождала добрая толпа народа.

Вечеромъ герцогъ съ Ребиндеромъ и Зининымъ отправились въ театръ, а я остался дома, чтобы писать письма; по возвращеніи ихъ часу въ 11-мъ мы напились чаю, а часовъ въ 12-ть разошлись спать; народъ, несмотря на то, что мы сами потушили огни въ залѣ и гостиной, попрежнему стоялъ толпами и глазѣлъ въ темныя окна дома. Кокшарова этотъ день мы почти не видѣли, потому что у него въ Екатеринбургѣ мать, сестры и много родныхъ и знакомыхъ. Назавтра и къ намъ внизъ полѣзли разные господа, вызывая то Зинина, то Кокшарова; нѣкоторые вызвали и меня; вышелъ, и ко мнѣ разлетѣлась съ поздравленіями о благополучномъ пріѣздѣ на нѣмецкомъ діалектѣ какая-то плюгавенькая личность,—это былъ аптекарь госпиталя; насилу я отъ него отвязался; потомъ явился знакомиться директоръ банка, называя себя моимъ однофамильцемъ; а когда я спро-

силъ его фамилію, то онъ назвался Миллеромъ и очень былъ удивленъ, узнавъ, что я не Миллеръ, а Бѣлоголовый. Потомъ Кокшаровъ привелъ знакомиться со мной своего зятя, лѣкаря Миславскаго, перваго практиканта екатеринбургскаго; этотъ господинъ мнѣ очень понравился. Наконецъ мы въ сопровожденіи Іосса (Александръ Андреевичъ) отправились осматривать монетный дворъ и механическое заведеніе. Это первое знакомство съ казеннымъ горнымъ дѣломъ произвело на герцога самое удручающее впечатлѣніе, и дѣйствительно трудно вообразить себѣ тотъ видъ разрушенія, который лежалъ на этихъ заведеніяхъ; вездѣ развалины и вездѣ грубая подмазка на свѣжую руку, чтобы затушевать ихъ; въ довершеніе всего начальникъ монетнаго двора Деви должно быть для куражу выпилъ и потому даже не могъ путно разсказать самаго производства; мѣдь для выплавки монетъ частью идетъ съ казенныхъ Богословскихъ заводовъ, частью покупается изъ Тагильскихъ заводовъ, цѣною по 10 рублей за пудъ. Механическое заведеніе содержится нѣсколько чище, и начальникъ его былъ по крайней мѣрѣ приличенъ. Кстати объ этомъ начальникѣ (фамилію забылъ) разсказали намъ романъ во вкусѣ «Подводный камень»: этотъ господинъ былъ женатъ 8 лѣтъ и ничего не могъ съ ней сдѣлать; въ прошломъ году въ жену влюбился одинъ изъ способнѣйшихъ горныхъ офицеровъ Воронцовъ, началъ ухаживать за нею и такъ какъ барыня не хотѣла измѣнить супружескому долгу, то Воронцовъ рѣшился застрѣлиться, но отдѣлался ничтожной раной. Это обстоятельство открыло мужу глаза и онъ самъ соединилъ два любящихъ сердца, поднявши дѣло о разводѣ; теперь Воронцовъ состоитъ въ качествѣ жениха барыни, которая продолжаетъ жить у своего мужа и выѣзжаетъ въ общество всегда въ сопровожденіи прежняго и будущаго мужа, которые между собой находятся въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ; мало того старый мужъ даетъ женѣ отъ себя приданое.

Изъ механическаго заведенія мы прошли на гранильную фабрику, совершенно развалившееся зданіе, точильныя машины въ самомъ жалчайшемъ видѣ, съ кусками кирпича, подвѣшаннаго для тяжести; работается очень мало и теперь все занято работами для Парижской выставки, но матеріалъ для работъ поразительнаго великолѣпія, особенно хороша громадная ваза изъ орлеца.

Жалкое состояніе гранильной фабрики горное начальство старается оправдать тѣмъ, что она наканунѣ своего закрытія; назначеніе ея было работать исключительно подарки для царской фамиліи и въ послѣднее время на содержаніе ея отпускалось 16,000 р. въ годъ. По мнѣнію герцога это производство можно развить превосходно, отдавши его въ хорошія частныя руки, которыя могли бы открыть за границей склады Уральскихъ издѣлій, гдѣ на нихъ запросъ огромный. Послѣ того мы прошли въ пробирную палатку, гдѣ лаборантъ Ивановъ (очень милый господинъ) показалъ сначала шлиховое золото, поддѣлки подъ золото (вызолоченное олово), а потомъ при насъ стали плавить золото въ вагранкѣ въ графитовомъ тиглѣ; жара въ печи была невыносимая, такъ что двое рабочихъ около печки постоянно были въ маскахъ. Въ половинѣ четвертаго мы пріѣхали домой, гдѣ герцога ждалъ фотографъ и снялъ съ него портретъ; Кокшаровъ тоже снялся, но мы остальные отказались; въ 5—поѣхали на обѣдъ къ Іоссѣ; обѣдало человѣкъ 25, дамъ не было, даже самой хозяйки; все были горные мундиры, во фракахъ были только двое—я и заводчикъ Всеволожскій; вслѣдствіе этого мы тотчасъ же почувствовали взаимное влеченіе другъ къ другу, за обѣдомъ усѣлись другъ подлѣ друга и пробесѣдовали. Всеволожскій—молодой коренастый и весьма красивый человѣкъ, наслѣдникъ громадныхъ домовъ; онъ служилъ на Кавказѣ и бывалъ въ Персіи, и вотъ про нее—то онъ мнѣ и разсказывалъ. Послѣ обѣда я познакомился еще съ купцомъ Нуровымъ, бывшимъ городскимъ

головой, какъ видно, цвѣтъ Екатеринбурга, денежный аристократъ; я его, между прочимъ, спросилъ: что, много здѣсь играютъ въ карты?—и онъ мнѣ отвѣтилъ слѣдующимъ каламбуромъ: играютъ сильно, да и какже иначе? вѣдь намъ самъ Богъ велѣлъ; вѣдь Екатеринбургъ такъ и называется: уѣздный *и горный* городъ. Вернувшись домой, мы занялись разсматриваніемъ наловленныхъ Кокшаровымъ въ утро минераловъ, изъ которыхъ многіе были очень рѣдки; затѣмъ, часовъ въ 8 герцогъ, Ребиндеръ, и я отправились въ театръ, который былъ декорированъ и освѣщенъ a giorno; всѣ ложи были наполнены екатеринбургскими красавицами. Театръ былъ такъ малъ, что герцогъ съострилъ, что здѣсь въ бинокль смотрятъ въ упоръ и того и гляди задѣнутъ по носу. Давали «Заколдованнаго принца», и пьеса, благодаря игрѣ моего стараго знакомаго Разсказова, сошла очень хорошо, такъ что герцогъ остался доволенъ. По окончаніи этой пьесы мы уѣхали домой; завтра утромъ въ 8 часовъ мы должны были выѣхать въ Тагиль, а потому тотчасъ послѣ чаю разошлись спать—и дѣйствительно въ 8 часовъ утра мы уже мчались прямо на сѣверъ.

III.

Переѣздъ отъ Екатеринбурга въ Тагиль—150 верстъ—идетъ угрюмой, умѣренно гористой мѣстностью покрытой большею частью хвойнымъ лѣсомъ съ выдающимися около дороги обнаженіями змѣевика, посмотрѣть который герцогъ то и дѣло выходилъ изъ экипажа; видовъ(?) животныхъ вовсе нѣтъ; и здѣсь насъ повсюду встрѣчало расфранченное народонаселеніе и подносило хлѣбъ-соль и просьбы; исправнику было передано, чтобы онъ предупредилъ поповъ не встрѣчать герцога съ

крестомъ. Пообѣдали мы въ Шайтурихѣ обѣдомъ Форе; это послѣдняя станція передъ Невьянскимъ заводомъ полковника Демидова, гдѣ намъ приготовленъ былъ обѣдъ отъ Общества, но который герцогъ не хотѣлъ принять, потому что слышалъ заранѣе, что за этимъ обѣдомъ скрываются разныя заискивающія цѣли по поводу одного процесса; вообще въ насъ объ Невьянскѣ сложилось самое дурное понятіе по слухамъ, что Невьянскіе жители первые пьяницы и мошенники въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. Поэтому мы въ Невьянскѣ пробыли только съ $^1/_4$ часа, пока перепрягали лошадей; въ это время герцогу представились всѣ власти въ залѣ какого-то дома, въ то время какъ прекрасный полъ аристократіи заводской стѣснился въ дверяхъ гостиной и лорнировалъ герцога. На послѣдней станціи къ Тагилу—Анатольевской—герцогъ былъ встрѣченъ главнымъ управляющимъ Демидовскими заводами — Добровольскимъ, съ которымъ онъ и Ребиндеръ были прежде знакомы по Петербургу, и Ив. Ив. Вольстетомъ, моимъ старымъ знакомымъ по пароходу въ 1865 г. Ѣхали мы тутъ необычайно быстро и, не доѣзжая 10 верстъ до Тагиля, были встрѣчены всѣми тагильскими властями и пересѣли изъ экипажей на маленькій пароходъ, который насъ долженъ былъ по пруду доставить въ заводъ. На пароходѣ кромѣ насъ ѣхали Добровольскій, Вольстетъ, лѣсничій Бекманъ, химикъ Скиндеръ, Холмогоровъ, Нита, Алексѣевъ, Булинъ,—всѣ лица, о которыхъ мнѣ придется говорить впослѣдствіи. На пароходѣ насъ угощали чаемъ. Часовъ въ 9 мы пристали къ заводу при звонѣ колоколовъ и огромномъ стеченіи народа. Герцогъ тотчасъ же сѣлъ въ экипажъ, чтобы ѣхать въ соборъ; вся масса народа двинулась за нимъ, а мы остались на площади, рѣшительно не зная, куда идти. Зининъ началъ горячиться и кричать; наконецъ, кто-то вызвался насъ проводить до отведенной квартиры; она оказалась близехонько, но къ удивленію мы въ ней на-

шли только двѣ кровати, тогда какъ намъ нужно было три; но вскорѣ прибѣжалъ какой-то господинъ съ увѣдомленіемъ, что для меня квартира отведена въ главномъ домѣ съ герцогомъ, но я не хотѣлъ уже идти и попросилъ поставить мнѣ кровать въ комнатѣ съ Зининымъ. Только-что мы устроились и привели въ порядокъ наши костюмы, какъ явились экипажи, чтобы вести насъ въ главный домъ къ чаю. Мы были представлены Добровольскому; это человѣкъ лѣтъ 50, мощнаго сложенія, былъ профессоромъ государственнаго права въ корпусахъ, дослужился до дѣйствительнаго и вышелъ въ отставку; года три какъ онъ поступилъ для управленія всѣми дѣлами Демидова, живетъ въ Питерѣ, даже не каждый годъ ѣздитъ въ заводы и получаетъ жалованья 25 т. р. въ годъ.

Для прямаго же управленія заводомъ существуетъ коллегіальное учрежденіе—тріумвиратъ изъ главнаго техника и управляющаго Вольстета и двухъ собственно лицъ хозяйственныхъ—Нита и Холмогорова. Демидовъ имѣетъ доходу отъ 700—800 т. р., изъ нихъ по 300 т. онъ ежегодно выплачиваетъ Анатолію Демидову по самую смерть послѣдняго и 70,000 р. матери тоже ежегодно; самъ П. Демидовъ—молодой человѣкъ, лѣтъ 26, кутила и мотъ, постоянно живетъ за границей, года 4 тому назадъ онъ посѣтилъ заводъ, пробылъ въ Тагилѣ дней 7, и чуть не умеръ отъ скуки. Денегъ на себя онъ изводитъ пропасть, но въ то-же время много отпускается имъ какъ на самое производство, такъ и на учрежденіе учебныхъ и благотворительныхъ заведеній; вслѣдствіе этого Тагиль на всемъ Уралѣ стоитъ какимъ-то благодатнымъ оазисомъ, какъ по благосостоянію жителей, такъ и по техникѣ производства. Всѣ служащіе получаютъ отличное жалованье и народъ подобранъ хорошій. Въ заводѣ есть отлично поставленная реальная гимназія, превосходный госпиталь, существуютъ кассы для рабочихъ и въ самомъ Тагилѣ они уже имѣютъ

10,000 р. капиталу; много также выдается пенсій престарѣлымъ и увѣчнымъ (если не ошибаюсь до 40 т. въ годъ). Служащіе тоже сдаютъ свои деньги за проценты въ контору и имѣютъ хорошіе капиталы, скопленные жалованьемъ, такъ Вольстетъ—20 т., Холмогоровъ 60 т. р.

Демидовскіе заводы лежатъ въ районѣ какихъ нибудь 100 верстъ въ окружности, и путь слѣдующій: Тагиль, Черноисточинской, Лайской, Верхне и Нижне-Салдинскій, Виссимо-Шайтанской и мѣдный, кромѣ того въ этомъ-же районѣ находятся платиновые и золотые промысла. Платиновая добыча, совершенно упавшая въ послѣдніе года послѣ уничтоженія монеты, теперь снова развивается, вслѣдствіе запроса изъ-за границы: такъ въ прошломъ году отправлено было въ Англію до 60 пудовъ (по 3500 р. пудъ), и въ нынѣшнемъ законтрактованнаго Франціею—100 пуд.; идетъ оно тамъ на подѣлку химическихъ снарядовъ и разныхъ галатерейностей. Желѣзо вырабатывается до милліона пудовъ и всевозможныхъ родовъ, по числу пудовъ—самое большое выдѣлывается рельсоваго, а именно до 400,000 пуд. затѣмъ слѣдуетъ сортовое, круглое, глиновое и пр. Мѣдные пріиски, которые чрезвычайно много дали богатства, теперь вырабатываются. Золота намывается до 30 пудовъ и все старательскими, частью арендаторскими работами. Лѣсу въ районѣ завода до 500,000 десятинъ, лѣсное хозяйство организовано довольно порядочно и стоитъ управленію 32,000 р. въ годъ; но, несмотря на то, истребленіе лѣсовъ—вещь обыденная, такъ, какъ разъ во время нашего пріѣзда былъ сильный лѣсной пожаръ, съ которымъ едва справились.—Самый Тагильскій заводъ имѣетъ видъ большого города, имѣетъ 28,000 жителей, много каменныхъ домовъ и лежитъ весьма живописно, раскинувшись кругомъ большаго пруда; съ двухъ сторонъ возвышаются горы—Лысая, потому что совершенно безлѣсная,—и Высокая—это кормилица Тагиля, потому что въ ней залегаетъ превосходная руда магнитнаго желѣз-

няка; склонъ ея, обращенный къ заводу, покрытъ высокимъ хвойнымъ лѣсомъ.—Герцогъ помѣстился въ большомъ деревянномъ домѣ съ большой террасой въ садъ; убранство дома ничего не оставляло желать: все убрано тропическими растеніями, стѣны увѣшаны фамильными портретами Демидовыхъ. Чай и вскорѣ затѣмъ поданный ужинъ были сервированы превосходно; недаромъ Кокшаровъ, страшный гастрономъ, уже за нѣсколько дней до Тагиля предвкушалъ тагильскіе обѣды и облизывался. Послѣ ужина, часовъ въ 12, насъ отвезли на квартиру, и мы улеглись спать, а на завтра, напившись чаю, мы отправились всей гурьбой осматривать заводъ и проходили часовъ до 2-хъ; всѣ мы страшно устали, потому что часа $4^1/_2$ были въ постоянномъ движеніи и притомъ въ невыносимо жаркой температурѣ. Какъ кричное, такъ пудлинговое производства устроены превосходно; вообще, все до мелочи въ заводѣ можетъ быть названо образцовымъ. Самый большой паровой молотъ въ заводѣ $2^1/_2$ тонны (235 пудъ). Меня, какъ не спеціалиста, особенно поражали рабочіе, особенно около молота: что за сила и ловкость! Есть кузнецы, которые подъ простыми молотками нагрѣваютъ желѣзо до красноты. Но наиболѣе интересовавшее герцога въ Тагилѣ было бесимерованіе; это способъ недавно открытый Бесимеромъ превращать желѣзо прямо въ сталь при помощи сжиганія руды съ примѣсью марганцоваго желѣза и свободнаго доступа воздуха; сталь выходитъ превосходная, и вообще это открытіе есть громадный шагъ въ горнозаводскомъ дѣлѣ и герцогъ имъ интересовался чрезвычайно живо. Пока въ Тагилѣ производятся опыты, но уже приступлено къ устройству валоваго производства и съ будущаго года оно будетъ пущено въ ходъ.

Вернувшись домой, мы позавтракали; разъ на всегда я долженъ сказать, что всѣ эти завтраки и обѣды въ Тагилѣ были верхъ гастрономіи, и я смѣло могу сказать, что въ $1^1/_2$ недѣли прожитыя тамъ, я столько съѣлъ

трюфелей, сколько не съѣлъ во всю мою жизнь, и все это поливалось самыми изысканными винами и шампанскимъ. Между тѣмъ герцогу была поднесена превосходная коллекція бротантитовъ и малахитовъ, и онъ радовался какъ ребенокъ. Послѣ завтрака мы сѣли въ экипажи и поѣхали смотрѣть самый рудникъ, находящійся верстахъ въ 2-хъ отъ завода; руда залегаетъ въ горѣ, и когда мы взошли въ бесѣдку, возвышающуюся надъ всею мѣстностью, то зрѣлище представилось картинное: все большое холмистое пространство, которое обхватывалъ глазъ, представлялось взрытымъ и изрѣзаннымъ; всюду прорѣзаны дороги, на которыхъ въ различныхъ направленіяхъ двигались таратайки, нагруженныя рудой; передъ нами возвышалась стѣной обнаженная гора, отливавшая желѣзнымъ блескомъ, вслѣдствіе громадныхъ залежей магнитнаго желѣзняка. Все видимое нами пространство принадлежало 4 заводамъ: Тагильскому, Невьянскому, Суксунскому и Алопаевскому; въ Тагильскомъ участкѣ дѣятельность была несравненно живѣе; то тутъ, то тамъ появлялся дымокъ и затѣмъ слѣдовалъ взрывъ; при плотности сцѣпленія руды всѣ работы производятся не иначе, какъ взрывами; затѣмъ руда обжигается въ такъ называемыхъ пожогахъ—это огромныя ямы, гдѣ идутъ въ перемежку слой дровъ и слой руды, повторяясь такимъ образомъ нѣсколько разъ, и наконецъ все это забрасывается землей; дрова поджигаются и, медленно сгорая, обыкновенно въ теченіе 6 недѣль, обжигаютъ руду въ одну плотную массу, которая дробится и отвозится въ заводъ. Потомъ, при насъ было произведено нѣсколько взрывовъ, чтобы показать какъ они производятся, а именно: особеннымъ буравомъ высверливается ходъ въ скалѣ и въ ходъ этотъ вкладывается патронъ съ порохомъ и фитилемъ, который поджигается; при нѣкоторыхъ взрывахъ камни высоко летятъ вверхъ и по сторонамъ и нерѣдко бываютъ несчастные случаи. Герцогъ немного кокетничалъ своей храб-

ростью и становился близко, и намъ стоило немалаго труда, чтобы оттаскивать его подальше. Одинъ разъ, когда мы спасались скорымъ шагомъ отъ одного изъ ожидаемыхъ взрывовъ, Зининъ оступился и у него произошло нѣчто въ родѣ надрыва сухожилья m. gastromanii. Вернувшись домой, я сходилъ поклониться къ моей старой знакомой М-е Вольстетъ; много было аховъ и оховъ отъ этой неожиданной встрѣчи. Потомъ мы снова всей гурьбой отправились на бесимерованіе; для меня, какъ не спеціалиста, значеніе опыта не имѣло большаго интереса, но я не могъ не любоваться великолѣпнѣйшимъ фейерверкомъ. Къ обѣду, въ 6 часовъ, были приглашены нѣсколько человѣкъ изъ служащихъ въ Тагилѣ и въ томъ числѣ мой старый знакомый по Берлину за семестръ 1858—59 г. докторъ Рудановскій, который послѣ обѣда сводилъ меня къ какой-то чахоточной больной.

На завтра утро всѣ мы провели на заводѣ, а послѣ завтрака отправились въ мѣдные рудники, которые находятся верстахъ въ 2-хъ отъ завода, компанія наша увеличилась пріѣзжими изъ Екатеринбурга. Іоссой и Всеволожскимъ. Сегодня намъ показаны были печи для плавленія руды и громадная бадья, которая спускается въ глубину рудника и вынимаетъ оттуда руду. Затѣмъ, мы перешли въ контору, гдѣ были показаны различные образцы руды, между прочимъ чрезвычайно оригинальныя формы малахита: тутъ-же намъ предложили, переодѣться для спуска въ рудники; по мѣрѣ приближенія времени число охотниковъ, вслѣдствіе разсказовъ о трудности пути, уменьшалось, такъ что подъ конецъ рѣшили идти только герцогъ, я, Іосса и Всеволожскій; для каждаго изъ насъ приготовлены были картузъ, кушакъ, сапоги и рукавицы; мы одѣлись, взяли въ руки по стеариновой свѣчкѣ и пошли. Рѣшено было дальше 38 саженъ не спускаться; самыя—же нижнія шахты идутъ уже на 82 сажени, но идти такъ низко сопряжено съ немалымъ рискомъ. Шествіе открывалъ завѣдывающій

мѣднымъ рудникомъ, за нимъ шелъ Лейхтенбергскій и затѣмъ мы остальные; спускъ устроенъ по совершенно вертикально стоящимъ лѣстницамъ съ круглыми тонкими ступеньками, за которыя и нужно держаться одной рукой, держа въ другой свѣчку; каждая лѣстница не больше двухъ саженъ; спустившись съ одной, вы дѣлаете шага два и начинаете спускаться по другой, такъ что лѣстницы всѣ находятся одна подъ другой и приходится спускаться по прямому направленію внутрь земли; на небольшихъ площадкахъ, отдѣляющихъ лѣстницу отъ лѣстницы, висѣли фонари со свѣчами освѣщавшими путь; сначала спускаться по коротенькимъ лѣстницамъ, намъ казалось очень легко, особенно послѣ тѣхъ преувеличенныхъ разсказовъ о трудности, которыя мы слышали; но мало по малу всѣ стали порядочно уставать и рады были очень, когда, послѣ спусковъ, должны были пойти по корридорамъ шахты; корридоры эти довольно сухи, широки (аршина въ три) и такъ высоки, что мнѣ и Лейхтенбергскому почти не приходилось нагибаться; вентиляція устроена весьма порядочно, но все таки чувствовалось, что груди мало воздуха для дыханія, свѣчки безпрерывно потухали; стѣнки шахты представляются полосатыми отъ рыжеватыхъ прожилокъ мѣди въ породѣ; работы производятся кайлами и также мѣстами производятся взрывы; при насъ на недалекомъ разстояніи было произведено нѣсколько такихъ взрывовъ и несмотря на близость, они раздались какъ то странно глухо въ этомъ спертомъ воздухѣ; особенно послѣ этихъ взрывовъ, когда къ воздуху прибавлялся еще недыхательный сѣрный газъ, дышать было рѣшительно невыносимо; насъ обливало потомъ, но до температуры, гдѣ начинается внутри земное пониженіе температуры, мы такъ и не спустились. Рабочихъ въ шахтахъ намъ попадалось не мало; всѣ они выглядѣли блѣдными и вялыми съ шумнымъ дыханіемъ эмфизематика. Герцогъ взялъ кайлу и поработалъ мѣ-

стахъ въ двухъ; отбитые имъ куски мы поразобрали на память.

Наконецъ, мы пошли обратно изъ нашего подземнаго странствованія и подъемъ оказался труднѣе спуска, такъ что подъ конецъ, послѣ каждой лѣстницы мы должны были останавливаться и переводить дыханіе; уставали также руки и ноги отъ безпрерывнаго движенія — и я съ большимъ наслажденіемъ потянулъ въ себя воздухъ. когда мы выбрались на вольный свѣтъ; руки и ноги дрожали. Мы снова переодѣлись въ конторѣ и, пока немного остыли, намъ были показаны прекрасные планы шахты, по которой мы ходили; затѣмъ расписались въ книгѣ и такъ какъ карета за герцогомъ еще не пріѣхала, а ѣхать въ открытомъ экипажѣ при холодномъ вѣтрѣ послѣ той паровой ванны, которую мы только что взяли, было не совсѣмъ удобно, то мы и рѣшили отправиться пѣшкомъ. За нами двинулись человѣкъ 15, но герцогъ и я пошли такимъ скорымъ шагомъ, что рѣшительно никто не могъ за нами слѣдовать и мало по малу одинъ за однимъ отстали всѣ; идти всего было версты четыре, и я бы рѣшительно заблудился въ заводскихъ улицахъ, если бы былъ одинъ; но герцогъ, какъ истый охотникъ, имѣлъ отличную память на мѣста и мы прошли или, вѣрнѣе, промчались, ниразу не сбившись съ пути. Дома мы тотчасъ же прошли въ одну изъ залъ при конторѣ, чтобы осмотрѣть коллекціи минераловъ, собранныхъ для реальной гимназіи; нечего и говорить, что она была болѣе чѣмъ удовлетворительна и едва ли на Руси найдется другая гимназія, которая бы обладала такимъ полнымъ кабинетомъ. Посреди этой залы лежитъ знаменитая громадная глыба малахита въ 135 пудовъ, добытая нѣсколько лѣтъ тому назадъ, экземпляръ великолѣпный; но къ сожалѣнію воздухъ дѣйствуетъ на него разрушительно, производя трещины. Говорятъ, что Демидовъ предлагалъ эту глыбу императору для устройства трона. Вообще добыча малахита

въ Тагилѣ въ послѣднее время истощается, а также истощается и добыча мѣди, которая чрезвычайно обогатила Демидовыхъ, больше чѣмъ какіе-либо изъ другихъ добываемыхъ металловъ; теперь содержаніе мѣди къ породѣ идетъ $2^1/_2$, и то еще хорошій расчетъ работать.

Послѣ обѣда, поболтавши часика два, мы пошли съ Зининымъ въ баню и помылись тамъ съ наслажденіемъ— и потомъ вечеръ просидѣли вдвоемъ въ своей квартирѣ въ самыхъ оживленныхъ спорахъ о молодомъ поколѣніи — и надо отдать справедливость Зинину, что онъ во многомъ согласился со мной относительно права студентовъ относиться критически къ авторитетамъ профессоровъ. А между тѣмъ нога Зинина все разбаливалась, и онъ начиналъ сильно ковылять; разныя мази и притиранья мои не помогли, и назавтра рѣшено, если лучше не будетъ, то поставить піявки. На завтра же предположено было ѣхать осматривать Нижне-салдинскій заводъ, но погода такъ испортилась, повалилъ такой mixtum compositum изъ дождя и снѣгу, что поѣздку эту должны были отложить и утро этого дня мы уже никуда не выходили. Герцогъ съ Зининымъ и Кокшаровымъ занялись описаніемъ видѣннаго, Ребиндеръ — разборомъ просьбъ, а я засѣлъ за Revue des deux mondes. Послѣ завтрака вся компанія отправилась осматривать мѣдный заводъ, а мы съ Зининымъ остались дома, онъ въ качествѣ больнаго, а я въ качествѣ врача. Къ обѣду всѣ собрались снова, за обѣдомъ вышелъ горячій споръ между мной и Зининымъ по поводу нашей Академіи наукъ, пользу которой Зининъ отстаивалъ, какъ сочленъ -ея; послѣ обѣда долго мы сидѣли кружкомъ и бесѣдовали о разныхъ разностяхъ, о спиритизмѣ и Юмѣ, столоверченіи, причемъ Добровольскій разсказалъ весьма вѣроятный анекдотъ объ одномъ скептикѣ, обращенномъ въ спиритизмъ: это былъ офицеръ, который ни за что не хотѣлъ вѣрить въ спиритизмъ, и однажды въ одномъ обществѣ. послѣ долгихъ споровъ, его спросили: повѣ-

ритъ ли онъ, если его заставятъ силой чужой воли противъ его собственнаго желанія нагнуться и коснуться лбомъ спинки стула? Послѣ утвердительнаго отвѣта спросившій его господинъ поставилъ его посреди комнаты, приказавши держаться за спинку стула и въ теченіе 10 минутъ смотрѣть, не сводя глазъ, на стрѣлку стѣнныхъ часовъ, висѣвшихъ противъ него и при этомъ низачто не оглядываться. Офицеръ первыя 5 минутъ стоялъ совершенно спокойно и, хотя его никто не трогалъ сзади, вдругъ началъ понемногу нагибаться до тѣхъ поръ, пока не коснулся лбомъ спинки стула. Когда его спросили послѣ того, какъ онъ былъ принужденъ нагнуться, то онъ отвѣчалъ, что послѣ 3—4 минутъ спокойнаго стоянья онъ началъ чувствовать какое-то отупѣніе въ головѣ и въ то же время какъ будто кто-то налегъ ему на плечи и сталъ нагибать его голову сзади и притомъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше онъ старался этому воспротивиться—и, наконецъ, онъ не могъ устоять и нагнулся.

Недуренъ также былъ разсказъ о находчивости одного пермскаго исправника, который никакъ не могъ урезонить мужичковъ принять какія-то правительственныя распоряженія; всѣ доводы были имъ истощены, мужички галдѣли и продолжали стоять на своемъ; тогда исправникъ крикнулъ зычнымъ голосомъ: «а, ну когда такъ... отвязывай живо колокольцы отъ дуги!» Мужички тотчасъ же растерялись и, не зная что бы это могло значить, тотчасъ же стали просить — не отвязывать колокольцевъ и согласились на все. — Потомъ примкнулъ къ нашему разговору герцогъ и разговоръ повернулъ на новую колею; заговорили о гимнастикѣ и о силѣ и герцогъ съ Всеволожскимъ начали показывать разныя штуки; герцогъ, нужно замѣтить, много занимался гимнастикой и довелъ себя въ этомъ отношеніи до замѣчательнаго искусства; вообще, поразительно, что сдѣлало изъ этого юноши правильно веденное физическое вос-

питаніе: онъ обладаетъ замѣчательной ловкостью и силой, первый въ Питерѣ верховой ѣздокъ и конькобѣжецъ, отличный стрѣлокъ и т. п.

Вечеромъ я поѣхалъ къ Рудановскому и просидѣлъ тамъ часа два въ его семьѣ; онъ показывалъ мнѣ свои замороженные препараты мозга. Получаетъ онъ отъ завода жалованья 3000 р. въ годъ и пользуется огромной квартирой: отдѣльный большой домъ съ садомъ и оранжереями; но прежде чѣмъ попасть на это мѣсто, онъ вынесъ не мало испытаній, какъ разсказала жена, въ бытность врачемъ при казенныхъ заводахъ, гдѣ получалъ жалованья 300 р. въ годъ и ни гроша отъ частной практики, потому что въ заводахъ существуетъ обычай никогда не платить врачу; такъ что разъ только Рудановскому въ теченіе его 6-лѣтней заводской практики одинъ паціентъ принесъ деньги и то умолялъ его никому объ этомъ не говорить, а то дескать меня заклюютъ. Отъ Рудановскаго проѣхалъ прямо домой и поставилъ Зинину на голень піявки, потому что боль все дѣлалась сильнѣе и сильнѣе, и развилась значительно опухоль. Мы до такой степени напитались минералогическими разговорами, что я ночью все говорилъ со сна, по словамъ Зинина, о какихъ-то минералахъ.

Въ этотъ день (воскресенье) мы поѣхали въ 8 час. утра въ Нижнесалдинскій заводъ въ 5 легонькихъ тарантасикахъ; мнѣ пришлось ѣхать съ Всеволожскимъ. Погода была дождливая и холодная, такъ что доха Всеволожскаго была очень кстати. Проливной дождь заставилъ насъ закрыться, и этотъ продолжительный путь (47 верстъ) прошелъ для меня незамѣтно, потому что Всеволожскій безъ умолку разсказывалъ мнѣ разныя разности, повѣсти Alfred'а Poé, случаи изъ своей кавказской жизни, въ заключеніе прелестный анекдотъ объ diligence въ Bordeaux. Ѣхали мы очень скоро по малогористой мѣстности, проѣхали Верхнесалдинскій заводъ, принадлежащій также Демидову; у въѣзда въ Нижнюю

Салду мы полюбовались прехорошенькой кедровой рощицей. Погода разгулялась и мы встрѣчены были всѣмъ населенiемъ завода у церкви, гдѣ поднесена была хлѣбъ-соль и отслуженъ былъ молебенъ. Оттуда мы, при криках «Николаю Максимилiановичу ура»! проѣхали въ домъ управляющаго заводомъ, позавтракали и пошли осматривать заводъ, который весьма любопытенъ, потому что это единственный заводъ у насъ, который приготовляетъ рельсы въ Россiи, и притомъ интересна самая техника производства. На желѣзной двухколескѣ подвозится крица и кладется въ длинные катальные станки, гдѣ послѣ нѣсколькихъ прокатокъ изъ толстаго цилиндрическаго куска превратится въ узкую ленту длиной саженъ въ 7; рабочiе, стоящiе у прокатокъ, всѣ на подборъ могутъ служить образцами силы и ловкости, громадная раскаленная крица, какъ перышко, летитъ у нихъ изъ рукъ въ руки, грозя ежеминутно раздавить и обуглить котораго-нибудь изъ нихъ; послѣ прокатокъ раскаленная крица, уже принявшая видъ рельса, кладется на большую желѣзную плоскость, гдѣ рабочiе начинаютъ выпрямлять ее деревянными молотами; послѣ того она смотрится подъ фотоскопомъ, катится для опредѣленiя мѣста, гдѣ она должна быть отрѣзана и потомъ отвозится подъ паровыя ножницы, которыя отрѣзаютъ края; потомъ опредѣляется вѣсъ рельса, повѣряется, имѣетъ—ли онъ узаконенные размѣры, и потомъ особеннымъ механизмомъ блоковъ передается въ то отдѣленiе, гдѣ испытываютъ его прочность; прочность испытывается подвѣшиванiемъ на средину его тяжести; при насъ подвѣшена на рельсъ была узкоколейная тяжесть, а именно 1850 пудовъ, рельсъ погнулся, но не треснулъ; слѣдовательно выдержалъ пробу; если-же онъ треснетъ, то бракуется и идетъ снова въ прокатку: послѣ того рельсы задѣлываются въ особые пакеты, помнится, по 20 рельсовъ въ пакетъ. При прiемѣ на желѣзныя дороги рельсы снова подвергаютъ этой пробѣ, но уже на

мѣстѣ; при этомъ изъ пакета берется для пробы одинъ рельсъ, и если онъ выдержитъ пробу, то пакетъ принимается весь безъ дальнихъ околичностей; если-же первый рельсъ треснетъ при пробѣ, то изъ этого-же пакета берутся еще 5 рельсовъ, и если изъ нихъ хоть одинъ не выдержитъ пробы, тогда забраковывается весь пакетъ. Но вообще производство рельсовъ въ Сальдѣ такъ совершенно и проба на заводѣ до отправки такъ строга, что Николаевскій желѣзной дорогѣ рѣдко приходится браковать на мѣстѣ. Сдѣлана была проба дѣлать головку рельса изъ Бесимеровскаго металла и приготовленные такимъ образомъ рельсы уже сданы Николаевской дорогѣ, но, къ сожалѣнію, заводу не извѣстно, каковы эти рельсы оказались въ дѣлѣ.

Осмотрѣвши досконально этотъ чрезвычайно интересный и хорошо поставленный заводъ, мы вернулись въ домъ управляющаго и такъ какъ дождя не было, то пошли въ садъ, гдѣ у управляющаго живутъ два молодые медвѣженка; яма для нихъ устроена не хуже, чѣмъ въ любомъ изъ зоологическихъ садовъ западной Европы; медвѣди насъ заняли на цѣлый часъ: ихъ кормили пряниками и заставляли дѣлать разныя штуки; кромѣ того въ саду большая клѣтка съ двумя лисицами. За обѣдомъ я бесѣдовалъ съ мировымъ посредникомъ Эйлеромъ и управляющимъ заводомъ. Въ Сальдѣ до 5000 жителей: живутъ довольно богато; съ прошлаго года между рабочими устроена касса, которой они сами завѣдуютъ и имѣютъ уже въ ней до 2000 р.; съ 1852 г. заводъ освѣщается, газомъ, приготовляемымъ изъ костей. Эйлеръ— человѣкъ весьма порядочный и, какъ видно, стѣной стоитъ за крестьянъ, вслѣдствіе чего между нимъ и управленіемъ—постоянный антагонизмъ. Кромѣ того за обѣдомъ было разсказано нѣсколько несчастныхъ случаевъ бывшихъ на заводѣ,—между прочимъ, какъ одинъ рабочій попалъ по неосторожности въ прокатный станокъ (былъ удернутъ за руку) и черезъ нѣсколько секундъ онъ

представлялъ уже не что иное, какъ длинную ленту. Въ Сальдѣ есть гошпиталь и медики.

Любопытенъ также разсказъ Добровольскаго о томъ, какъ трудно русскимъ рельсамъ бороться съ англійскими по причинѣ неокладныхъ налоговъ на первые; такъ Тагиль выплачиваетъ Департаменту желѣзныхъ дорогъ 20% всей стоимости за пріемъ! Въ 30 верстахъ отъ Нижней Сальды лежитъ извѣстный Алопаевскій заводъ. Часа въ 4 мы поѣхали назадъ въ Тагиль и часу въ 9-мъ были дома.

IV.

На завтра часовъ въ 9 мы выѣхали въ Кушву, оставивъ Зинина одного скучать въ Тагилѣ. Отъ Тагиля до Кушвы около 50 верстъ и всю дорогу насъ провожалъ дождь; я сидѣлъ съ Ребиндеромъ, герцогъ съ Іоссой, а Кокшаровъ одинъ. На Лайскомъ заводѣ гдѣ перепрягали лошадей, герцогу поднесли на подносѣ кедровыя шишки, которыя иногда изобильно родятся въ дачахъ завода и составляютъ немалую доходную статью для жителей, такъ, въ прошломъ году ихъ было продано на 12.000 р.; щелкать орѣхи ни герцогъ, ни Ребиндеръ были не мастера и все завидовали моему искусству. Около часу мы пріѣхали въ Кушвинскій заводъ; это заводъ казенный чугуннолитейный; отливаются преимущественно чугунные снаряды. Мы остановились въ домѣ начальника Гороблагодатскихъ заводовъ—Грамматчикова, хотя и маленькаго, но, должно быть, весьма хитраго человѣчка; изъ оконъ намъ тотчасъ-же показали гордость Кушвы—знаменитую гору Благодать.

Закусивши довольно порядочно и перепробовавши немало наливки (особенно хороши были морошка и

княженика), мы сѣли въ приготовленные экипажи и сначала поѣхали въ церковь, гдѣ отстояли молебенъ и затѣмъ пошли на заводъ, который послѣ роскошной обстановки грустно взглянулъ на насъ своими старыми закоптѣлыми стѣнами; посмотрѣли на отливку чугуна и затѣмъ снарядовъ (Гровзандовскія ядра), мы пошли смотрѣть на пробу этихъ коническихъ ядеръ. Проба заключается въ томъ, что большая чугунная баба поднимается на высоту до 50 саженъ и оттуда особеннымъ механизмомъ отцѣпляется отъ крюка и летитъ внизъ на стоящее на каменной плитѣ орудіе; нѣсколько разъ баба поднималась вверхъ и летѣла внизъ, но ядра все выдерживали, слѣдовательно проба удавалась, хотя, признаться, вся эта проба представлялась до крайности примитивной. Оттуда насъ завезли въ какой-то домъ, гдѣ находилась коллекція дендрологическая и различныхъ сортовъ почвъ, угля а также всевозможныхъ выдѣлываемыхъ снарядовъ, но все это было весьма мескинно; затѣмъ, я не знаю даже упоминать-ли о той жалкой конурѣ, которая была показана намъ, какъ лабораторія завода.

Вернувшись домой, мы часовъ въ 5 сѣли обѣдать, а тотчасъ послѣ обѣда герцогъ мнѣ предложилъ ѣхать съ нимъ на охоту за вальдшнепами. Ребиндеръ далъ мнѣ свое ружье, и мы, вооружившись, поѣхали въ сопровожденіи Грамматчикова и лѣсничаго — полковника Иванова. На 7-й верстѣ отъ завода мы сошли съ экипажей и вошли въ лѣсъ, а такъ какъ мои городскіе сапоги плохо выносили сырость травы, то я остался у опушки, тогда какъ герцогъ пошелъ дальше, я же усѣлся преспокойно на пень, подобралъ подъ себя ноги и закурилъ сигару; вечеръ былъ свѣжій и сырой, но тяга была изрядная—и мимо меня протянуло штукъ 5 вальдшнеповъ, но мнѣ жаль было вынимать свои оледенѣвшія руки изъ кармановъ. Часовъ въ 10 начало темнѣть и долетавшіе до меня звуки выстрѣловъ стали рѣже и

рѣже; наконецъ, герцогъ пришелъ ко мнѣ съ 2 вальдшнепами и 3 дупелями, и мы поѣхали домой. Дорогой Грамматчиковъ, говоря вообще о суровости здѣшняго климата, между прочимъ, разсказалъ, что года три тому назадъ въ іюлѣ мѣсяцѣ замерзли въ лѣсу два мужичка. Въ правдивости этого разсказа мы не могли усомниться, потому что это разсказывалось намъ 30 мая, и въ это время кругомъ насъ лежалъ по дорогѣ снѣгъ. Вернувшись домой, мы еще поболтали часа два за чаемъ, причемъ Ребиндеръ разсказывалъ разныя интересныя вещи при дворѣ и безумную роскошь его. На слѣдующій день мы поѣхали утромъ въ Нижне-Туринскій заводъ, лежащій въ 12 верстахъ отъ Кушвы, гдѣ при насъ отливали чугунную пушку; затѣмъ, мы осмотрѣли сверлильню, устроенную довольно сносно, и позавтракали отлично у начальника завода; у послѣдняго, кромѣ того, была порядочная коллекція минераловъ, въ которой Кокшаровъ произвелъ сильное опустошеніе. Послѣ завтрака насъ повезли присутствовать при стрѣльбѣ изъ чугунной пушки; орудіе это было 24-хъ фунтовое и выдержало уже болѣе 500 выстрѣловъ, но начальство артиллерійское приказало стрѣлять изъ нея до тѣхъ поръ, пока ея не разорветъ, для того чтобы знать, сколько можетъ выдержать такая пушка. Мѣстность, гдѣ производилась эта проба, была довольно живописная; орудіе стояло на берегу красивенькой рѣчки; на противоположномъ берегу возвышалась гора, въ которую и направлялись выстрѣлы, и въ горѣ отъ нихъ образовались уже значительныя углубленія.

При насъ пушки были заряжены (зарядъ пороха кладется въ 7 фунтовъ), и мы вошли въ довольно далеко стоящій блиндажъ; выстрѣловъ было сдѣлано 5 и старая пушка вынесла ихъ совершенно благополучно. Отсюда мы, желая воспользоваться разгулявшейся погодой, поѣхали на гору Благодать; не смотря на устроенную для герцога дорогу, подъемъ оказался такъ крутъ, что

мы предпочли и выдти изъ экипажей и взойти пѣшкомъ. За нами валила цѣлая толпа мальчишекъ, которыхъ кто-то научилъ кричать герцогу «ура», и ребятишки, чтобы не сбиться и дружнѣе кричать, сначала выкрикивали хоромъ разъ, два, три и потомъ уже ура. Скудная сѣверная природа одѣла Благодать по возможности своимъ хвойнымъ лѣсомъ и неразнообразною зеленью; на вершинѣ горы устроена небольшая часовенька и стоитъ немудрый памятникъ тому Вогулу, который открылъ русскимъ богатства благодати, за что и былъ убитъ своими единоплеменниками, какъ говоритъ надпись памятника. Видъ съ Благодати на отдаленье обширный: въ ясную погоду можно видѣть снѣговую вершину Качканара. Пока я занимался обозрѣніемъ видовъ, завѣдующій работами на Благодати Лисенко показалъ герцогу планы. Съ Благодати мы вернулись домой, гдѣ нашли начальника Богословскихъ заводовъ Романовскаго.

По первоначальному нашему маршруту предполагалась поѣздка въ Верхотурье и Богословскій заводъ, но отвратительная погода, холодъ и снѣгъ, приведшій въ негодность дороги, заставили отказаться отъ этой поѣздки, а потому Романовскій и былъ вызванъ въ Кушву для представленія герцогу какъ самого себя, такъ главное своей коллекціи минераловъ. Онъ считается большимъ знатокомъ и аматеромъ, и, дѣйствительно, тотъ небольшой ящичекъ, который онъ захватилъ съ собой,—такіе morceaux choisis, что герцогъ и Кокшаровъ только ахали; но перлъ всей коллекціи былъ знаменитый эвклазъ, который въ заключеніе былъ вынутъ Романовскимъ изъ кармана въ богатомъ étui. Эвклазовъ въ Россіи найдется всего штукъ 5—6 и Романовскаго эвклазъ считается самымъ большимъ; найденъ онъ въ Санарскихъ золотыхъ розсыпяхъ, и Романовскій разсказалъ цѣлую эпопею, какъ онъ ухаживалъ за нимъ и добылъ, наконецъ, за 300 р. сер. Долго любовались герцогъ и Кокшаровъ этимъ прозрачнымъ съ голубоватымъ отливомъ камеш-

комъ, и, наконецъ, Кокшаровъ повелъ аттаку, чтобы Романовскій продалъ его герцогу за 500 р.; но этотъ объявилъ, что такъ какъ эвклазъ составляетъ украшеніе всей коллекціи, а всю свою коллекцію онъ цѣнитъ въ 6000 р. сер., то и предложилъ купить всю коллекцію за эту цѣну. Торгъ къ вящему горю Кокшарова не состоялся и эвклазъ юркнулъ снова въ широкій карманъ Романовскаго. За обѣдомъ, Романовскій передавалъ коекакія подробности о Богословскихъ заводахъ, мѣдные рудники которыхъ чрезвычайно богаты. Климатъ тамъ еще суровѣе, чѣмъ въ Кушвѣ, такъ что капуста и картофель родятся съ трудомъ. Вогулы, которые прежде кочевали около самыхъ заводовъ, тѣснимые русскими, все уходятъ дальше и дальше, такъ что когда нынче хотѣли герцогу показать это племя, то самое ближайшее кочевье нашли въ 150 верстахъ отъ завода. Герцогъ былъ буквально засыпанъ въ Кушвѣ просьбами о вспомоществованіи, потому что здѣсь особенно бѣдствовали рабочіе по случаю неурожайныхъ годовъ; хлѣбъ сталъ 1 р. 15 к. пудъ—цѣна въ этихъ мѣстахъ неслыханная—и немножко было странно, когда при этомъ бѣдствіи края рабочіе Нижнетуринскаго завода подносили герцогу хлѣбъ на серебряномъ блюдѣ, выписанномъ отъ Сазикова. Вечеромъ мы снова съ герцогомъ поѣхали на охоту; насъ сопровождали этотъ разъ лѣсничій Ивановъ и аптекарь Линденъ. По возвращеніи заводъ мы нашли иллюминованнымъ и гдѣ-то на прудѣ сожженъ былъ фейерверкъ; но я такъ усталъ, что отказался поѣхать смотрѣть съ герцогомъ фейерверкъ и предпочелъ завалиться спать. На завтра мы поѣхали въ 9 часовъ сначала въ заводскую школу, которой заводъ далеко не можетъ похвалиться,—учениковъ всего въ 2 классахъ не болѣе 20; чтобы дать понятіе о томъ, какое толковое образованіе дается этимъ дѣтямъ рабочихъ, достаточно сказать, что они рисуютъ павлиновъ и пишутъ сочиненія о Пиѳагорѣ, какъ я увидѣлъ изъ ихъ школь-

ныхъ тетрадей. Изъ школы мы проѣхали въ гошпиталь, полуразрушенное зданіе, которое къ пріѣзду герцога по возможности было подкрашено и подбѣлено; лѣкарь въ Кушвѣ — Соколовъ, повидимому, малый солидный. Затѣмъ, насъ повезли смотрѣть работы у подножія Благодати; при насъ здѣсь снова дѣлали нѣсколько взрывовъ: разрѣзовъ для работъ заложено, если не ошибаюсь, девять. Затѣмъ, мы позавтракали и часа въ два выѣхали изъ Кушвы въ Тагиль; перепряжка была въ Лайскомъ заводѣ Демидова, гдѣ управляющій угощалъ насъ чаемъ. Въ Тагиль мы пріѣхали къ самому обѣду, но я успѣлъ сбѣгать повидать Зинина, которому было уже гораздо лучше; послѣ обѣда я съ герцогомъ долго гулялъ по саду, потомъ я предложилъ ему зайти къ женѣ Вольстета, куда мы и нагрянули совершенно неожиданно; произошла порядочная сумятица и, послѣ минутъ 10 ожиданья, хозяйка, наконецъ, вышла съ своей гостьей M-me Бекманнъ; мы проболтали съ полчаса, въ заключеніе M-me Вольстетъ угостила насъ музыкой, сыгравши весьма недурно на гармонифлютѣ нѣсколько вещицъ. Вернувшись домой, мы напились чаю и разошлись по домамъ, гдѣ я еще долго бесѣдовалъ съ Зининымъ.—Слѣдующій день—2 іюня—былъ днемъ отдыха, т. е. мы цѣлый день никуда не ходили, а просидѣли за разговорами въ квартирѣ герцога—и въ подобные бездѣльные дни Ребиндеръ былъ рѣшительно неоцѣненнымъ господиномъ; онъ насъ засыпалъ разными анекдотами и разсказами объ Англіи, о своей жизни въ Шотландіи, о тамошнихъ охотахъ.

Кромѣ того, мы писали письма, читали газеты, герцогъ билъ галокъ въ саду изъ револьвера; вечеромъ мы поѣхали охотиться на дупелей; заводскій пароходикъ отвезъ насъ верстъ за 8 и такъ какъ вечеръ былъ прекрасный, то эта partie de plaisir удалась вполнѣ, тѣмъ болѣе, что и охота была довольно удачна: даже я убилъ изъ-подъ собаки Булина одного дупеля. На завтра гер-

цогъ осматривалъ реальную гимназію и потомъ гошпиталь; въ первой я не былъ, потому что съ утра забрался къ Рудановскому; гошпиталь—отличное 2-хъ этажное зданіе на 100 человѣкъ больныхъ, которые расположены весьма просторно; снабженъ всѣми какъ инструментами, такъ и книгами роскошно; весьма порядочная аптека. Рудановскій получаетъ 3000 р. жалованья, имѣетъ огромную квартиру съ садомъ, оранжереями и всевозможными удобствами—и, кромѣ того, черезъ каждые четыре года ѣздитъ за границу.—Изъ гошпиталя мы переѣхали въ заводскую лабораторію, которая поразила своимъ громаднымъ помѣщеніемъ съ одной стороны и пустотой съ другой; до крайности несимпатичный химикъ Скиндаръ какъ ни силился похвастать своей полезной заводу дѣятельностью, но ничего не выходило. Потомъ мы вернулись по домамъ, но часа за два до обѣда герцогъ послалъ звать меня пройтись погулять; я тотчасъ же пріѣхалъ въ домъ и мы отправились по страшной грязи, вышли изъ завода и полѣзли на магнитную гору; подъемъ былъ очень не легокъ, потому что мѣстами лежалъ выпавшій снѣгъ, мѣстами же стаялъ и ноги вязли въ жидкой глинѣ; забравшись наверхъ, мы были вознаграждены отличнымъ видомъ, подъ нами съ одной стороны лежалъ заводъ, съ другой дикій скатъ горы, изрѣзанный глубоко зіяющими старыми разрѣзами. Вернувшись домой, мы только что успѣли переодѣться къ обѣду. Къ обѣду въ этотъ день были приглашены всѣ чины Тагиля, которыхъ послѣ обѣда герцогъ одарилъ почти всѣхъ своими фотографическими карточками. На завтра я получилъ было утромъ приглашеніе отъ М-е Вольстетъ ѣхать гулять въ какую-то Тагильскую Швейцарію, но отказался; въ этотъ послѣдній день мы прежде всего отправились къ механику Инглизу, который, кромѣ своей прямой спеціальности, занимается еще фотографіей; это англичанинъ громадныхъ размѣровъ по росту и толщинѣ, плохо говорящій по русски, такъ

что, усаживая оригиналъ, онъ ему обыкновенно говоритъ: рожа такъ, рука такъ; у него мы хотѣли всѣ сняться; но такъ какъ исторія эта затянулась долго, то снялись только герцогъ и Ребиндеръ. Отъ фотографа мы проѣхали осмотрѣть коллекцію Тагильскихъ произведеній, собранную для Парижской выставки, а оттуда на Лысую гору, возвышающуюся съ другой стороны Тагиля; на этой горѣ устроена пожарная каланча. Послѣ завтрака еще разъ съѣздили на желѣзный рудникъ, а послѣ обѣда,—на охоту за вальдшнепами. Охота была не очень удачна—и я все время пролежалъ на коврѣ подъ деревомъ съ Ните и Романовскимъ.

V.

Вернувшись, мы тотчасъ всѣ отправились по домамъ, чтобы укладываться, потому что на завтра въ 9 ч. назначенъ былъ выѣздъ въ Екатеринбургъ. Въ 8 ч. мы собрались всѣ въ большой домъ, а также и всѣ чины завода, которые на пароходѣ насъ проводили верстъ за 10 отъ завода; тутъ была разбита палатка и ждалъ прекрасный завтракъ, за которымъ было не мало выпито; герцогъ сказалъ заводскимъ нѣсколько прощальныхъ словъ, затѣмъ мы попрощались и засѣли въ экипажи: Зининъ, какъ больной, — въ коляску съ герцогомъ, а я—съ Ребиндеромъ.

Дорога была отвратительная; лошади едва тащили по страшной грязи и потому мы перепрягались черезъ каждыя 10 верстъ; Невьянскъ снова высыпалъ насъ встрѣчать, но теперь герцогъ даже не вышелъ изъ экипажа. Въ Шайдурихѣ мы обѣдали какъ въ первый проѣздъ съ тою только разницей, что обѣдъ былъ весьма натянутъ и вотъ почему: когда мы

подъѣзжали къ станціонному дому, то, поровнявшись съ церковью, мы увидали сѣдого какъ лунь попа съ крестомъ на паперти; герцогъ по обыкновенію прокатилъ мимо, хотя Ребиндеръ кричалъ остановиться. Какъ только мы вошли всѣ въ станціонный домъ, Ребиндеръ тотчасъ началъ кричать на герцога, что онъ дѣлаетъ глупо, не останавливаясь у церквей, что этимъ онъ оказываетъ въ глазахъ народа неуваженіе; и когда герцогъ возразилъ, что если бы мы останавливались у каждой церкви, то Богъ знаетъ, сколько бы потеряли времени и что поэтому онъ останавливаться впередъ не будетъ. Ребиндеръ окончательно взбѣсился и началъ кричать, что онъ его заставитъ остановиться, что герцогъ не знаетъ, какія сильныя уполномочія даны надъ нимъ ему, Ребиндеру, Государемъ и Марьей Николаевной. Безтактность Ребиндера заключалась въ томъ, что всю эту горячность выказалъ при насъ и я съ Зининымъ сидѣли, потупивши глаза въ тарелки, и между тѣмъ нѣсколько сотенъ народу смотрѣли на насъ въ окна; наконецъ, обѣдъ кончился къ общему удовольствію и мы поѣхали дальше. Меня весьма тронуло доброе сердце герцога, когда онъ на слѣдующей станціи подошелъ къ нашему экипажу и кротко спросилъ Ребиндера, не очень ли его трясетъ—и такимъ образомъ миръ снова водворился въ нашей компаніи. Въ часъ ночи мы пріѣхали въ Екатеринбургъ, напились чаю и съ наслажденіемъ завалились спать.

Съ ранняго утра улица снова кипѣла народомъ, глазѣвшимъ намъ въ окна. Часовъ въ 11 мы поѣхали въ Верхне-Исетскій желѣзный заводъ Яковлевыхъ; заводъ этотъ верстахъ въ двухъ отъ города и связанъ съ послѣднимъ небольшимъ бульваромъ. Яковлева передала заводъ этотъ своему затю Стенбоку, который обыкновенно и живетъ въ Екатеринбургѣ, но въ это время уѣзжаетъ въ Питеръ, а потому насъ встрѣтилъ главный управляющій—какой-то бывшій профессоръ

горнаго института. Заводъ особенно славится своимъ листовымъ желѣзомъ и, дѣйствительно, тонина листовъ равняется почти бумажной, такъ что, между прочимъ, показанъ былъ сдѣланный изъ нихъ картузъ, который и былъ поднесенъ герцогу. Кромѣ того, на этомъ-же заводѣ плавится мѣдь съ Яковлевскихъ рудниковъ. Въ заключеніе управляющій показалъ свой великолѣпный токарный станокъ, который былъ имъ заказанъ въ Англіи и стоилъ до 1700 р. Еще любопытна графическая таблица уровня воды въ прудѣ при различныхъ количествахъ падающаго дождя. Потомъ намъ показанъ былъ гошпиталь, въ которомъ врачемъ зять Кокшарова и первый практикъ Екатеринбурга—Миславскій; его въ то время въ заводѣ не было, и по гошпиталю я ходилъ съ его сыномъ — мальчуганомъ лѣтъ 12 и уже очень посвященнымъ въ тайны медицины; гошпиталь самъ по себѣ не мудрый, палаты низенькія, душныя, но за то поражаетъ отличной коллекціей препаратовъ, пожертвованныхъ самимъ Стенбокомъ, который нѣкогда занимался физіологіей. Отсюда мы проѣхали въ лабораторію, гдѣ лаборантомъ состоитъ братъ жены Іосса—Ивановъ, весьма милый господинъ; въ лабораторіи весьма недурная коллекція всѣхъ горно-каменныхъ породъ Урала.

Вернувшись домой, такъ какъ день былъ теплый, то я уговорилъ герцога идти купаться въ купальню на прудѣ и мы выкупались превосходно. Затѣмъ стали собираться на обѣдъ къ Іосса; передъ самымъ обѣдомъ пріѣхалъ представиться къ герцогу директоръ горнаго департамента Рашеттъ, а такъ какъ съ этого времени Рашеттъ дѣлается нашимъ постояннымъ спутникомъ, то слѣдуетъ сказать о немъ нѣсколько словъ. Это былъ человѣкъ далеко не умный, постоянно воркововавшій, какъ старая баба, и постоянно доказывавшій, что если у насъ горное дѣло стоитъ плохо, то потому, что правительство не хочетъ поддержать его и стѣсняетъ

средствами; но что онъ, Рошеттъ, чрезвычайно много сдѣлалъ для этого дѣла—устройствомъ новыхъ заводовъ и пр. И этотъ господинъ, жалующійся на скупость правительства, между тѣмъ каждый годъ ѣздитъ лѣтомъ на Уралъ, и за два—три мѣсяца поѣздки получаетъ до 11,000 р. разъѣздныхъ; толку—то отъ его инспектированія правительство не получаетъ, вѣроятно, ни на копѣйку. Герцогъ принялъ его чрезвычайно холодно по причинѣ дурнаго состоянія заводовъ, и этотъ холодный пріемъ видимо его смутилъ и онъ началъ лебезить. Обѣдъ у Іосса этотъ разъ былъ небольшой: кромѣ насъ и Рашетта была только семья Іосса и лаборантъ Ивановъ; послѣ обѣда мы вскорѣ уѣхали домой; вечеромъ я съ Зининымъ долго гуляли пѣшкомъ по городу, между тѣмъ какъ публика колесила кругомъ насъ и въ экипажахъ и глядѣла на насъ во всѣ глаза.

На завтра назначена была поѣздка на Березовскій золотой пріискъ, и мы часовъ въ 10 поѣхали въ нѣсколькихъ легкихъ экипажахъ, я—по обыкновенію, съ Зининымъ; день былъ прекрасный и переѣздъ до пріиска всего верстъ 14; по дорогѣ пришлось проѣзжать черезъ одно хохлацкое поселеніе, гдѣ мы заходили въ церковь. Подъѣзжая къ пріиску, мы стали встрѣчать перебудораженную и изрытую землю—и старые отвалы въ видѣ поросшихъ кургановъ. Въ Березовскомъ рудникѣ мы подъѣхали сначала къ церкви, а оттуда въ домъ начальника пріиска—Иванова, опять таки брата М-е Іосса; здѣсь сначала были показаны различныя карты разрѣзовъ и работъ пріиска, который вообще сильно вырабатывается въ послѣдніе года, такъ что даетъ среднее содержаніе около 30 долей; работы прежде велись и шахтами и открытыми разрѣзами, но первыя теперь совершенно оставлены; золото на этомъ пріискѣ встрѣчалось въ любой породѣ гранита, который встрѣчается только здѣсь, а потому и названъ березитомъ. Потомъ мы поѣхали на промывку; машина промывательная стараго фасона,

небольшая, такъ что въ день промывается около 6000 пудовъ и приводится въ движеніе локомобилемъ; при насъ была сдѣлана снимка золота и снято какихъ-то жалкихъ 8 золотниковъ. Для меня это была старая знакомая исторія, но герцогъ, видѣвшій въ первый разъ промывку, интересовался ею очень. Затѣмъ мы были на разрѣзѣ, гдѣ герцогъ взялъ кайлу и нагребъ цѣлую тачку золотоноснаго пласту, который и былъ промытъ и далъ нѣсколько долей. Затѣмъ мы отправились въ шахты, которыя такъ устроены отлично, что вовсе не имѣютъ вида заброшеннаго предпріятія, а какъ будто нарочно устроены къ пріѣзду герцога; спускались мы саженъ на 15 внизъ со свѣчами. Оттуда проѣхали въ управительскій домъ, гдѣ устроенъ былъ гомерическій завтракъ.

Для Кокшарова, какъ самый пріискъ, такъ и зала были полны воспоминаній; его отецъ былъ нѣкогда начальникомъ пріиска, такъ что первыя дѣтскія воспоминанія нашего Ник. Ив. были связаны съ этимъ домомъ. Послѣ завтрака мы снова поѣхали верстъ за 7 въ сторону на Пышминскій пріискъ; съ нами въ тарантасъ сѣлъ Ив. Ѳедор. полковникъ Штейнманнъ, начальникъ Уральскаго округа, человѣкъ весьма не глупый. Мы частью ѣхали изрытыми мѣстами около Березовки, гдѣ тамъ и сямъ работаютъ старатели. Въ одномъ изъ многочисленныхъ отваловъ въ нынѣшнемъ маѣ какой-то старичекъ нашелъ самородокъ въ 7 фунтовъ и по предъявленіи его получилъ около 1800 р.; непонятная штука, какимъ образомъ въ этой убогой розсыпи и притомъ въ отвалѣ могъ забрести такой самородокъ. Старателямъ теперь казна платитъ, кажется, по 2 р. 25 к. за золотникъ. На Пышминскомъ пріискѣ—разрѣзъ ведется правильно, народу—сотни 3, а потому онъ представлялъ зрѣлище довольно оживленное; машины новыя и лучшей конструкціи, чѣмъ на Березовскомъ. На обратномъ пути мы заѣхали въ богадѣльню Березовскаго пріиска, гдѣ нашлись

двѣ старухи, которыя помнили Кокшарова еще ребенкомъ, затѣмъ въ домъ управляющаго, который насъ угощалъ различными квасами и, наконецъ, поѣхали назадъ въ Екатеринбургъ. Вечеромъ я ѣздилъ къ Кокшарову посмотрѣть его родную мать, старушку лѣтъ 75, урожденную княжну Эристову; она была больна и сынъ хотѣлъ, чтобы я посмотрѣлъ ее. На слѣдующій день мы поѣхали на изумрудныя копи, которыя находятся верстахъ въ 65 отъ города и въ страшной глуши, такъ что послѣднія 20 верстъ обыкновенно дѣлаются верхомъ, но къ пріѣзду герцога была устроена телѣжная дорога.

Копи эти до 1863 года составляли казенную собственность; съ этого-же времени отданы были въ аренду ярославскому купцу Турунову на 3 года за 3000 руб.; еще передъ отъѣздомъ изъ Екатеринбурга намъ разсказывали, что копи эти дали отличный дивидендъ Турунову, но онъ, боясь, чтобы казна по истеченіи 3-хъ лѣтняго срока не возвысила арендной платы, распустилъ слухъ, что онъ на этомъ пріискѣ понесъ большіе убытки и къ пріѣзду герцога нарочно затопилъ разрѣзъ и вывелъ всѣхъ рабочихъ; говорили, что въ этой комедіи особенно старательно помогалъ ему полковникъ Миклашевскій. Дорога наша шла сначала наканунѣ продѣланнымъ путемъ, черезъ Березовскій рудникъ, потомъ Пышминскій заводъ; отъѣхавши отъ послѣдняго верстъ 15, мы остановились у домика лѣсничаго, гдѣ приготовленъ былъ обѣдъ лѣсничимъ Раумеромъ. Передъ обѣдомъ насъ повели показать хозяйство моледенькаго лѣсничаго и особенно красиво выглядѣвшій издали садикъ; но до какой степени все это было устроено на показъ, можетъ служить доказательствомъ то, что деревья въ этомъ садикѣ не были посажены съ корнемъ, а просто срублены и воткнуты въ землю; это открытіе сдѣлалъ Зининъ, который, слѣдуя своему обычному принципу, всякую штуку надо „понюхать, полизать и пощупать“ вздумалъ потрогать одну изъ молоденькихъ красивыхъ пихтъ и очень

былъ удивленъ, выдернувши совсѣмъ ее изъ земли и безъ корня. За обѣдъ насъ сѣло, кромѣ насъ пятерыхъ и Рашетта, Штейнманнъ, Раумеръ, Ивановъ, исправникъ земскій Герасимовъ, молодой лѣсничій и еще какой-то блѣдный офицерикъ. Обѣдъ былъ роскошный, и все это было нами ѣдено за чужой счетъ! Послѣ обѣда намъ пришлось ѣхать остальныя 20 верстъ страшной глушью, безпрерывными гатями перекинутыми черезъ дорогу. И поругался-же мой Зининъ на этомъ переѣздѣ! только богатая флора и уменьшила нѣсколько его раздражительность: angelica, archangelica cypripedium macranta, spiraea ulmaria и др. блистая свѣжими пурпурными красками.

Грустно было видѣть варварское обращеніе съ лѣсомъ: колоссальныя сосны лежали какъ трупы на всѣхъ этихъ переѣздахъ, свидѣтельствуя о томъ, что амфитріонъ нашъ лѣсничій, сопровождавшій насъ верхомъ на бѣлой лошади, можетъ угощать, но дѣло свое справляетъ плохо. Наконецъ, переѣхавши по мосту небольшую, но шумливую горную рѣчку, мы пріѣхали на копь часовъ въ $7^1/_2$ вечера. Мы увидѣли штукъ 5 бревенчатыхъ домиковъ въ видѣ барака для рабочихъ, но рабочихъ было мало, человѣкъ 25 не больше; одинъ изъ домиковъ былъ довольно красиво отдѣланъ подъ пріемъ герцога и приспособленъ для ночлега. Лѣсничій тотчасъ-же предложилъ герцогу идти на тягу вальдшнеповъ, такъ какъ солнце уже начинало садиться; я и Зининъ пошли также; надъ нами протянуло штуки три очень высоко и мы, побродивши по лѣсу, вернулись домой. Герцогъ, Кокшаровъ и я прошли въ контору, гдѣ прикащикъ показалъ намъ скудный запасъ изумрудовъ, изъ которыхъ пытливыя руки Кокшарова насилу могли выбрать нѣсколько штукъ и то весьма неказистыхъ. Прикащикъ притомъ не переставалъ жаловаться на раззореніе своего хозяина, который, поставивъ въ этомъ году около 160 рабочихъ, до такой степени добылъ мало, что по истеченіи мѣсяца долженъ былъ ра-

спустить ихъ; у Турунова есть въ Ярославлѣ своя шлифовальная фабрика. Послѣ того мы пришли домой и стали пить чай, что съ бесѣдой продолжалось часовъ до 11, когда герцогъ подалъ сигналъ ложиться спать. Въ комнату набилось не мало комаровъ и потому первой нашей задачей было подъ предводительствомъ Зинина начать ихъ истребленіе. Намъ первый разъ пришлось устраиваться такъ по походному; герцогъ спалъ на своей походной кровати за перегородкой, Ребиндеръ и Зининъ заняли двѣ внесенныя кровати, я завладѣлъ диваномъ, а Кокшаровъ растянулся на полу. Ложась спать Ребиндеръ раздавилъ мышенка ногой, и это до того растревожило его нервозную натуру, что онъ долго еще болталъ и не давалъ намъ спать; наконецъ, мало по малу всѣ угомонились, вскорѣ раздался храпъ Кокшарова, уханье и отдуванье Зинина и я уснулъ. На другой день мы проснулись часовъ въ 8; всѣ жаловались на дурно проведенную ночь, только я выспался отлично, напились чаю и тотчасъ-же отправились на одинъ изъ старыхъ шуруповъ, въ которомъ молоденькій лѣсничій, ставши раньше всѣхъ, уже успѣлъ напасть на слѣдъ чистыхъ изумрудовъ. Изумрудъ замѣчаютъ въ глинистомъ сланцѣ, прослоенномъ слюдистымъ сланцемъ; послѣдній даетъ особенный видъ почвѣ, какого я никогда не встрѣчалъ: она вся блеститъ какимъ-то жирнымъ блескомъ и кажется глянцовитой и скользкой.

Мы каждый вырбали себѣ по жилѣ, предались работѣ, которая состоитъ въ томъ, что глыбы сланцевъ разбиваются каймали и въ изломѣ отыскиваются изумруды; герцогъ былъ самый усердный работникъ; но проработавши часа $1^1/_2$, мы добыли весьма немного неказистыхъ изумрудовъ. Кокшаровъ и горный инженеръ были убѣждены, что рабочимъ запрещено указывать намъ, гдѣ находятся богатыя жилы, хотя на мои глаза рабочіе на всѣ увѣщанія Кокшарова и посулы денегъ очень искренно отвѣчали, что они богатыхъ жилъ не знаютъ.

Отсюда мы поѣхали въ экипажахъ верстъ за 6 на главный разрѣзъ, гдѣ работа велась весьма солидно, много было выбито глубокихъ шахтъ, чтобы услѣдить жилы; шахты всѣ были затоплены водой; и здѣсь мы, разбившись въ одиночку, разбрелись по разрѣзу и долго колотили кайлами, но еще безуспѣшнѣе, чѣмъ въ первомъ мѣстѣ.

По возвращеніи домой герцогъ подарилъ Кокшарову, Зинину и мнѣ по одному изъ добытыхъ имъ изумрудовъ на память. Закусивши, мы поѣхали въ Екатеринбургъ; герцогъ теперь ѣхалъ верхомъ на бѣлой лошади лѣсничаго, причемъ не упустилъ случая показать свое замѣчательное гимнастическое искусство. Въ томъ-же самомъ домикѣ лѣсничаго, гдѣ мы останавливались въ передній проѣздъ, остановились мы обѣдать и теперь. Ѣдучи дальше при переѣздкѣ черезъ Мурзиху (нѣкогда знаменитую своими минералами) лѣсничій предложилъ герцогу поохотиться, а мы поѣхали дальше, причемъ къ намъ въ тарантасъ пересѣлъ Ребиндеръ; тутъ-же предупредили насъ, что на слѣдующей станціи въ Пышминскомъ заводѣ вчера былъ пожаръ и сгорѣло до 12 домовъ; — и дѣйствительно, вскорѣ мы поѣхали мимо большаго пожарища, которое еще дымилось, и мѣстами даже показывался огонь; несчастныя семьи погорѣльцевъ, оставшіяся безъ крова, устроились кое-какъ въ кибиткахъ тутъ-же на улицѣ, и какъ только поравнялся съ ними нашъ экипажъ, человѣкъ 50, мужиковъ и бабъ, упали на колѣни и завопили страшно. Мы сейчасъ-же устроили совѣтъ, какъ имъ помочь, и рѣшили, помимо помощи герцога, каждый съ своей стороны дать по 15 руб.

Часовъ въ 8 вечера мы были дома, а герцогъ пріѣхалъ часа черезъ два; оказалось, что онъ погорѣльцамъ далъ отъ себя 100 руб. За вечернимъ чаемъ пріѣхали къ нему гости: Добровольскій изъ Тагиля и молоденькій горный инженеръ Меллеръ, давнишній знакомый герцога, занимающійся геологіей, жидокъ такъ себѣ. На завтра утромъ

явилась депутація отъ чиновниковъ, чтобы пригласить герцога и насъ на балъ, назначенный въ этотъ вечеръ. Этотъ балъ былъ намъ всѣмъ не понутру, начиная съ герцога, и одинъ только Кокшаровъ былъ чрезвычайно доволенъ; герцогъ танцовать не любитъ и только по необходимости участвуетъ въ царской кадрили во дворцѣ въ парадные дни; поэтому онъ сначала говорилъ, что и на этомъ балу онъ танцовать не будетъ, но Ребиндеръ употребилъ все свое краснорѣчіе, чтобы доказать, что онъ долженъ, и не только онъ, но и всѣ мы; только Зининъ отвертѣлся тѣмъ, что у него болитъ нога и въ этотъ день замѣтно прихрамывалъ больше. Дѣло было дрянь и я уже просилъ Ребиндера повторить со мной французскую кадриль. Ровно въ 9 часовъ вечера всѣ мои генералы, сіяя звѣздами поѣхали на балъ и я между ними въ своемъ черномъ фракѣ торчалъ, какъ черное пятно. Улицы были полны народомъ; домъ Рязанова, гдѣ долженъ былъ происходить балъ, находился на краю города и блисталъ огнями. Какъ только герцогъ сталъ подниматься на лѣстницу, музыка грянула «Боже Царя храни», и мы вошли въ уродливо смѣшную по малымъ размѣрамъ залу, въ которой надо было протискиваться между кринолинами и саблями, чтобы раскланяться съ хозяйками бала: съ М-me Іосса и М-me Строльманнъ. Затѣмъ начались танцы; герцогъ первую кадриль танцовалъ съ М-me Миклашевской, а визави былъ Кокшаровъ; изъ насъ остальныхъ никто не танцовалъ, и я съ Зининымъ кочевалъ изъ одной комнаты въ другую, толкуя то съ тѣмъ, то съ другимъ. Будь зала хоть сколько-нибудь сносна, балъ вышелъ-бы хоть куда: наряды дамъ были свѣжи и хороши, но хорошенькихъ лицъ было мало; прелестны были только двѣ сестры Зелинцовы близнецы, до того схожія, что отличить ихъ даже затруднялась родная мать. Я долго бесѣдовалъ съ М-me Іосса; наконецъ, часовъ въ 12 Зининъ и я испросили у Ребиндера разрѣшеніе ѣхать домой и были рады, какъ дѣти, когда онъ насъ уволилъ.

На завтра герцогъ всталъ поздно, потому что они вернулись часа въ 2. Герцогъ перетанцовалъ почти со всѣми дамами и онъ былъ доволенъ баломъ. Все это утро мы возились съ минералами, собранными для герцога: кто писалъ этикеты, кто увертывалъ и укладывалъ въ ящики; въ это-же утро управляющій ягодинскимъ пріискомъ Асташевъ привезъ показывать тамошнее золото и подарилъ герцогу нѣсколько экземпляровъ кристаллическаго золота; потомъ Рязановъ поднесъ лучшія вещи изъ коллекціи своего отца; тутъ были превосходные одунчелонскіе топазы, бериллы и т. п. Словомъ, жатва была урожайная и герцогъ былъ восхищенъ; подарки Асташева и Рязанова были тысячные. Затѣмъ пріѣхала депутація отъ купечества, которая пригласила насъ на обѣдъ, даваемый въ этотъ день въ честь герцога.

. . . .

Къ сожалѣнію, по нерадѣнію автора, записки на этомъ обрываются и, чтобы не совсѣмъ пропалъ конецъ этой приснопамятной поѣздки, я черезъ 5 лѣтъ коротенько записываю дальнѣйшія судьбы экспедиціи.

Обѣдъ отъ купечества состоялся и былъ, конечно, хорошъ; онъ, между прочимъ, ознаменовался тѣмъ, что послѣ обѣда по предложенію поляка Меллера публика вышла на балконъ и передъ тысячной толпой зѣвакъ пѣла, кто въ лѣсъ, кто по дрова: Боже Царя храни! Вечеромъ я съ Зининымъ ходили въ прекрасный, но запущенный Харитоновскій садъ. На завтра прощальные визиты къ Блохину, Рязанову и Нурову; обѣдъ у Іосса съ красавицами Зелинцовыми и потомъ восхитительная прогулка въ катерѣ на пруду на дачу, гдѣ насъ ожидалъ bal champêtre съ фейерверкомъ; возвратъ домой въ 12 час. ночи. Отъѣздъ утромъ изъ Екатеринбурга при проливномъ дождѣ, что однако-же не помѣшало M-me Іосса съ Зелинцовыми сопровождать насъ, а хорошенькая библіотекарша Соловьева скакала подлѣ на-

шихъ экипажей верхомъ; осмотръ казеннаго Верхне-исетскаго завода, завтракъ на первой станціи отъ горныхъ офицеровъ; Сысутскій заводъ Турчаниновыхъ и Саломірскаго съ великолѣпнымъ мѣднымъ рудникомъ, находящійся въ казенномъ завѣдываніи. Рѣзкій переходъ къ югу, отъ горъ къ степи, черноземъ, озера, кишащія дичью, разнообразіе лѣсу и земли, въѣздъ во владѣнія Зотовыхъ и Харитоновыхъ—въ Касли, при свѣтѣ смоляныхъ бочекъ. Зотовъ и Дружининъ. Озера, уступленныя задаромъ башкирамъ и которыя ими теперь отдаются въ аренду за 60000 руб. на 12 лѣтъ. Отказъ народонаселенія отъ землянаго надѣла и бѣдствія, угрожающія оттого въ будущемъ. Осмотръ завода утромъ, отливка вещей для завода, герцогъ самъ отливаетъ нѣсколько штукъ, въ томъ числѣ россійскаго двуглаваго орла. Масса просьбъ и въ томъ числѣ просьба какой то вдовицы о надѣленіи ея наслѣдствомъ, такъ какъ мужъ померъ, не оставивъ ей ничего. Поклоненіе постели герцога. Послѣ обѣда выѣздъ въ Кыштымъ скучнѣйшей мѣстностью. Mediator pacificus или judex paganus Михаэлисъ; химикъ изъ мичковскаго ремесленнаго училища. На завтра — поѣздка на Борзовку, корундовыя копи, великолѣпная флора; assez de ces bati folages, il faut conclure; освященіе Николай-Максимиліановской горы, комары по 4 на фунтъ. Вечеръ на дачѣ Дружинина, угощеніе фруктами въ великолѣпныхъ оранжереяхъ, игра въ кегли, гимнастика, возвращеніе домой, прелестная иллюминація сада, лодки съ смольемъ на пруду, пѣсенники, живописный видъ на противоположныя горы. Пріѣздъ на завтра Рашетта и Скальковскаго; осмотръ завода, проба сортоваго желѣза, гвоздильная фабрика; послѣ обѣда поѣздка на дачу Зотова; великолѣпные виды, чай вверху на террасѣ. Моя борьба съ Зининымъ за нѣмцевъ, которыхъ онъ горячо ненавидитъ и отрицаетъ въ нихъ всякія заслуги; я его подзадоривалъ и, между прочимъ, сказалъ, что нѣтъ самой узкой сферы,

гдѣ-бы нѣмцы не ознаменовали себя открытіемъ. По пріѣздѣ домой мы снова нашли весь садъ прекрасно иллюминованнымъ цвѣтными фонарями, и какой-то странной представлялась эта иллюминація сада, въ которомъ не было ни души и мы вдвоемъ, герцогъ и я, уныло слонялись по волшебно освѣщенному саду; воображеніе невольно звало женщину и думалось,—вотъ-вотъ не покажется-ли какая-нибудь Венера Кыштымская и не раздѣлитъ-ли нашего холостаго одинокаго праздника. Эта тоска по женщинѣ дала и нашей бесѣдѣ неизбѣжное направленіе и герцогъ тогда же мнѣ высказалъ свое твердое намѣреніе при женитьбѣ не подчиняться августѣйшему выбору и дѣлалъ нѣкоторыя confidences о своихъ сердечныхъ дѣлахъ. Ужинъ простоквашей и варенцомъ. Выѣздъ изъ Кыштыма; Соймоновская долина (соймониты, карунды и даже сапфиры); пріиски разрабатываются большею частью старателями и даютъ Зотову около 14 пудовъ въ годъ; богатое мѣсторожденіе сѣры, теперь заброшенное, потому что съ закрытіемъ Екатеринбургскаго завода (котораго, между прочимъ, Зининъ оказался злополучнымъ акціонеромъ) прекратился единственный запросъ въ краю на сѣру; есть также и мѣдная руда, но развѣдка ея, стоившая до 50,000 руб. въ теченіе 3 лѣтъ, не привела ни къ какимъ точнымъ результатамъ; наконецъ, прекрасный мраморъ завершаетъ собой это удивительно разнообразное богатство долины, но богатство, для котораго нѣтъ сбыта въ настоящее время въ этой глуши. Золото залегаетъ и въ горахъ и довольно поверхностно, но богатое лежитъ на глубинѣ не менѣе 7 саженъ. Плата рабочимъ на пріискахъ за хозяйскую работу 25 и 30 коп. въ день. Башкиры плохіе работники; изъ 14 пудовъ золота $^1/_3$ добывается старателями. . . (здѣсь обрывается записка).

ЧИТАЛЬНЯ-БИБЛІОТЕКА имени А. И. Герцена въ Ниццѣ

На островѣ Рюгенѣ.

Немало пришлось мнѣ покочевать на своемъ вѣку по Западной Европѣ, захватывая мѣста, болѣе или менѣе прославленныя или своимъ просвѣтительнымъ значеніемъ (музеями, картинными галлереями или спеціально медицинскими учрежденіями и т. п.), или красотой своей природы, или другими какими-нибудь особенностями. Подъ старость въ воспоминаніяхъ отъ этихъ кочеваній образуется какой-то калейдоскопъ, въ которомъ смѣшиваются и краски, и впечатлѣнія; многое забылось, а многое перепуталось съ впечатлѣніями изъ другихъ экскурсій. Но вотъ уцѣлѣло въ памяти воспоминаніе объ одной поѣздкѣ, которая хотя и не блещетъ особенной оригинальностію похожденій, можетъ, однако же, быть признана типичной, а потому я и позволяю себѣ разсказать о ней читателямъ.

Это было въ 1861 г. Съ концомъ мая я только-что закончилъ благополучно свои докторскіе экзамены въ Москвѣ и выѣхалъ отдохнуть за-границу. Но полному отдыху отдаться я не могъ, потому что у меня на совѣсти лежала диссертація, которую я долженъ былъ къ сентябрю привезти готовой въ Москву съ тѣмъ, чтобы тотчасъ представить ее на просмотръ факультета, отпечатать и защитить въ теченіе 1861—62 академическаго года. Въ сущности диссертація въ головѣ у меня была уже готова и обдумана; темою для нея должна была

послужить работа, сдѣланная мною годомъ раньше въ лабораторіи берлинскаго патологическаго института; черновики самостоятельныхъ опытовъ лежали въ чемоданѣ, оставалось только систематизировать ихъ, изложить въ извѣстной послѣдовательности, снабдить ихъ исторической обработкой вопроса и пр.; словомъ, требовалось на это, по моему соображенію, около мѣсяца усидчивой, сосредоточенной работы. Выкроить же цѣлый мѣсяцъ изъ трехъ, посвященныхъ на отдыхъ послѣ утомительной экзаменаціонной зимы — было не такъ легко, какъ я полагалъ вначалѣ. Притомъ на бѣду мою при выѣздѣ изъ Россіи я прежде всего попалъ въ Парижъ, а русская пословица справедливо говоритъ: „пріѣдешь въ Парижъ — угоришь“, — и, принявъ во вниманіе мой тогдашній 26-лѣтній возрастъ, немудрено, что я подвергся угару въ этомъ Вавилонѣ, зажился дольше, чѣмъ слѣдовало, и только въ концѣ іюля спохватился, что добрая половина моихъ вакацій прожита, а за свою работу я еще и не принимался. Я поспѣшилъ поскорѣе перебраться въ Берлинъ, чтобы, запасшись тамъ необходимыми для диссертаціи источниками, хорошенько обдумать и выбрать для себя такое укромное мѣсто, гдѣ бы я могъ совершенно уединиться, не боясь ни развлеченій, ни знакомыхъ. Я особенно боялся праздныхъ соотечественниковъ, а потому тщательно отыскивалъ для себя такой глуши, куда бы русскій духъ никакъ занести не могло. Притомъ послѣ чуть не двухмѣсячнаго прожитія въ Парижѣ мои финансы сильно истощились и я долженъ былъ выбрать такое дешевое мѣсто, гдѣ на прожитіе хватило бы моихъ скудныхъ средствъ. Помню, что сначала я ухватился за окрестности Бреславля, видя въ нихъ идеалъ того, что мнѣ было нужно, т. е. дешевизну и полное отсутствіе русскихъ, но, штудируя сѣверную Германію, я случайно наткнулся на описаніе острова Рюгена и такъ заинтересовался его отчужденностью отъ живаго міра и всѣмъ, что говоритъ по его

поводу извѣстный путеводитель Бедеккера, что рѣшилъ предпочесть его и, не раздумывая дольше, отправиться въ эту никому невѣдомую глушь и въ ея уединеніи постараться скоротать поскорѣе мою обязательную работу.

Черезъ день не больше я привелъ мое намѣреніе въ исполненіе и двинулся въ путь. Островъ Рюгенъ лежитъ въ Нѣмецкомъ морѣ, въ южномъ направленіи отъ Помераніи, и по размѣрамъ своимъ считался самымъ большимъ островомъ, принадлежавшимъ на сѣверѣ Пруссіи. Попасть на него можно было двоякимъ способомъ: или доѣхать до Штетина и тамъ сѣсть на пароходъ, который послѣ 8-часоваго плаванія доставляетъ путешественника до Рюгена, или же проѣхать въ вагонѣ до Штральзунда, отдѣленнаго отъ Рюгена узкимъ морскимъ проливомъ, на переѣздъ котораго требовалось менѣе часа времени. Я выбралъ для себя первый путь, чтобы дольше воспользоваться морскимъ путешествіемъ. Выѣхавъ изъ Берлина, черезъ 4 часа я былъ въ Штетинѣ, ночевалъ въ этомъ городѣ, не представлявшемъ изъ себя ничего достопримѣчательнаго, но блиставшемъ такой опрятностью и благоустройствомъ, какія можно поставить въ образецъ нашимъ русскимъ городамъ; а на завтра утромъ я сидѣлъ на палубѣ парохода и любовался, какъ онъ рѣзалъ становившееся все шире и шире устье Одера, чтобы вступить затѣмъ въ открытое море. Передъ своимъ устьемъ Одеръ образуетъ огромный водный бассейнъ, носящій названіе Штетинергофъ. Выйдя примѣрно черезъ 3 часа въ море, мы вскорѣ прошли укрѣпленіе Свинемюнде и еще 10 верстами далѣе промелькнула передъ нами своими чистенькими бѣлыми домиками большая деревня Герингсдорфъ, одно изъ наиболѣе посѣщаемыхъ нѣмцами морскихъ купаній. Послѣ нея пароходъ вдался болѣе въ море и, держась вдали отъ береговъ, часовъ черезъ 9 по выѣздѣ изъ Штетина высадилъ насъ въ небольшой бухтѣ на южной оконечности Рюгена, а отсюда объемистый омнибусъ доставилъ

меня въ полчаса въ мѣстечко Путбусъ, которое я намѣтилъ себѣ резиденціей на время своего заточенія.

Островъ Рюгенъ представляетъ собою возвышенную надъ моремъ плоскость, имѣющую около 60 верстъ длины и около 40 верстъ ширины. На этомъ пространствѣ жили въ описываемое мною время около 40,000 жителей, которые занимались частью рыболовствомъ (преимущественно ловлею сельдей), а болѣе удаленные отъ берега — земледѣліемъ; внутри острова тянулись поля, засѣянныя злаками и картофелемъ; поля перемежались отлично содержимыми лѣсами; особенно хороши были буковыя рощи. Стоитъ посмотрѣть на карту, чтобы отмѣтить курьезный характеръ Рюгена; онъ весь изрытъ большими водоемами, образующими или озера внутри его, или входящими въ него со стороны моря въ видѣ очень глубокихъ заливовъ съ образованіемъ множества полуострововъ самыхъ причудливыхъ формъ. Геологи считаютъ, что и весь островъ есть не что иное какъ часть материка Европы, отдѣленная отъ континента постепеннымъ вторженіемъ моря, образовавшимъ проливъ между Штральзундомъ и Рюгеномъ; сохранившіяся отъ 18-го столѣтія измѣренія ширины этого пролива показываютъ, что проливъ этотъ постепенно дѣлается шире и островъ понемногу удаляется отъ континента.

Центромъ всѣхъ правительственныхъ учрежденій на Рюгенѣ служитъ городокъ Бергенъ, расположенный въ центрѣ острова и въ которомъ числилось около 4,000 жителей. Но не эту скромную столицу, какъ я уже сказалъ выше, выбралъ я своимъ мѣстопребываніемъ, а Путбусъ, потому что, какъ большой аматеръ морскихъ купаній, я, кромѣ намѣченной мною цѣли для занятій, имѣлъ въ виду воспользоваться кстати и имѣвшимися на Рюгенѣ купальнями. Путбусъ при въѣздѣ сдѣлалъ на меня своимъ благообразіемъ и чистотой пріятное впечатлѣніе, которое еще болѣе во мнѣ укрѣпилось, когда я, остановившись въ одной изъ двухъ имѣвшихся въ

мѣстечкѣ гостиницъ, пошелъ побродить и познакомиться съ новой моей резиденцiей, пользуясь остаткомъ догоравшаго дня. Весь Путбусъ съ своими 700 жителями размѣщается, строго говоря, въ одной улицѣ, потому что два или три отходившихъ отъ нея проулка не заслуживали никакого вниманiя; но за то эта единственная улица носила на себѣ печать добропорядочности; дома были каменные, чисто выбѣленные, въ одинъ или два этажа, съ скромными и самыми разнообразными магазинами. Къ концу улицы, съ одной стороны, примыкалъ большой и тѣнистый паркъ; большiя рѣшетчатыя ворота въ него были открыты съ ранняго утра до поздняго вечера, приглашая всякаго желающаго насладиться прогулкою по его отлично содержимымъ аллеямъ съ щедро разставленными, покойными скамейками въ тѣни вѣковыхъ каштановъ и липъ. Какъ паркъ съ находившимся въ глубинѣ его замкомъ новѣйшей архитектуры, такъ и весь Путбусъ принадлежалъ одному изъ первыхъ прусскихъ богачей и магнатовъ — члену палаты господъ, князю Путбусъ. Князь всякое лѣто прiѣзжалъ съ семьею провести мѣсяцъ или два въ Путбусѣ, но при немъ или безъ него одинаково паркъ былъ доступенъ для жителей Путбуса и служилъ великимъ рессурсомъ для нихъ, потому что въ немъ можно было проводить хоть цѣлый день, не стѣсняясь ни временемъ, ни присутствiемъ владѣльца; раза два въ недѣлю хорошо сыгравшiйся и не жидкiй оркестръ любителей игралъ по вечерамъ въ саду, привлекая публику насладиться подъ открытымъ воздухомъ любимыми произведенiями нѣмецкихъ классиковъ.

Но если первое знакомство съ Путбусомъ вполнѣ меня удовлетворило и я не могъ нарадоваться, что такъ удачно попалъ въ такое тихое, укромное и въ то же время такое живописное и благоустроенное мѣсто, что могу со всѣми удобствами сосредоточиться на моей работѣ и легко вынести 4—5 недѣльное заточенiе, зато съ дру-

гой стороны меня смущало отсутствіе подходящихъ квартиръ. Я попробовалъ было зайти въ нѣсколько домиковъ съ красовавшимися на нихъ надписями «меблированныя комнаты», но почти всѣ онѣ были уже заняты, а за оставшіяся свободными съ меня запрашивали такую цѣну, какую я не могъ дать по состоянію своего портмонэ. Оказалось, что и у Путбуса есть свой сезонъ для пріѣзжихъ, и я какъ разъ угодилъ въ него: въ Германіи около 1-го августа начинаются гимназическія вакаціи, и нѣмецкія семьи, прикованныя до того ученіемъ дѣтей къ казарменной и душной жизни городовъ, спѣшатъ вырваться на зелень, чтобы насладиться природой и укрѣпить здоровье болѣе привольнымъ сельскимъ житьемъ. На долю маленькаго Путбуса тоже досталось десятка два такихъ семей изъ окрестныхъ Грейсвальда, Штральзунда и др., которыя сразу заполонили въ немъ свободныя квартирки и внесли въ его тихую жизнь и на его единственную улицу необычное многолюдіе и движеніе. Такъ я съ вечера и не нашелъ для себя подходящаго жилья и вернулся въ гостиницу, разсчитывая, что авось мнѣ удастся устроиться въ ней на весь мѣсяцъ по дешевымъ цѣнамъ, но, переговоривъ съ хозяиномъ, убѣдился, что и этотъ способъ устройства мнѣ не по карману.

На слѣдующее утро я снова пустился въ поиски, и на этотъ разъ былъ счастливѣе. Судьба меня устроила въ табачной лавочкѣ, но довольно оригинальнымъ образомъ: при лавочкѣ отдавалась сзади хозяйская комната, выходившая своимъ окномъ во дворъ, и я занялъ ее подъ непремѣннымъ условіемъ наблюдать за входившими покупателями въ томъ случаѣ, если никого изъ хозяевъ не было въ ней на-лицо; всякій разъ, когда раздавался звонокъ у входной двери, я обязанъ былъ посмотрѣть въ небольшое окошечко, устроенное изъ моей комнаты въ лавку и завѣшанное кускомъ темной тряпки, и если видѣлъ, что хозяева отсутствуютъ, то долженъ былъ

громко крикнуть въ свое окно или хозяйку, или ея 14-ти лѣтнюю дочку Гедвигу, которыя по сдачѣ мнѣ комнаты переселились въ какое-то небольшое надворное строеніе. Какъ ни неудобно было для меня это обязательство, я долженъ былъ на это согласиться, потому что ничего другаго мнѣ на выборъ не представлялось; эту же комнату мнѣ отдавали очень дешево, имепно 5 талеровъ или 5 руб. въ мѣсяцъ.

Скажу теперь же, что и впослѣдствіи мнѣ раскаиваться въ этомъ отношеніи не пришлось: комнатка была хоть и очень мала, но чиста и покойна, а хозяева — добрые люди, окружавшіе меня всякими заботами, и притомъ настолько деликатные, что кто-нибудь изъ нихъ постоянно находился въ лавочкѣ и мнѣ рѣдко приходилось вступать въ свои сторожевыя обязанности. При помощи хозяевъ, я въ тотъ же день наладилъ и провіантскую часть: утромъ хозяйка должна была для меня готовить кофе, а въ 12 и 7 час. приносить мнѣ изъ кухмистерской мою незатѣйливую, но достаточно сытную трапезу. За обѣдъ и ужинъ я долженъ былъ заплатить въ мѣсяцъ 6 руб. и, устроившись такимъ образомъ дешево и сердито, я въ то же утро водворился въ новомъ своемъ жилищѣ. Комнатка была очень невелика, такъ что когда ее приспособили для моего житья, поставивши вдоль одной стѣны кровать, вдоль другой — диванъ со столомъ передъ нимъ, который долженъ былъ служить и для моихъ занятій и для трапезы, и наконецъ придвинувъ мой чемоданъ къ третьей стѣнѣ, оказалось свободнаго пространства такъ мало, что нельзя было сдѣлать и пяти шаговъ. Да мнѣ и не требовалось шагать: я умостился на диванѣ, разложилъ свои книги и бумаги и ретиво приступилъ къ дѣлу. Съ 8 час. утра и до 7 час. вечера я не сходилъ съ этого мѣста и отрывался отъ своихъ бумагъ только два раза — около 12 час. и потомъ въ 6 час., когда мнѣ приносили пищу; тогда работа отодвигалась, а посрединѣ стола очищалось мѣсто для двухъ

судковъ, съ незамысловатымъ нѣмецкимъ супомъ и съ неизмѣнной жареной телятиной съ картофелемъ въ избыткѣ.

Но я не безвыходно сидѣлъ въ своей каморкѣ и напротивъ строго слѣдилъ за тѣмъ, чтобы каждый день имѣть-движенiе. Всякое утро я вставалъ неукоснительно въ 5 часовъ и шелъ купаться; морской заливчикъ, въ которомъ устроены были купальни, находился отъ Путбуса въ 40 минутахъ ходу, который я и совершалъ ежедневно, только въ рѣдкихъ случаяхъ сильнаго дождя прибѣгая къ защитѣ омнибуса, каждый день ходившаго къ купаньямъ. Купанье было очень недурное, хотя и не носило характерныхъ особенностей моря, вода была мало солона и прибой ничтоженъ, вслѣдствiе большой защищенности бухты, но вода была свѣжая и чистая, температура воды большею частью была около 16° Реомюра и я купался съ удовольствiемъ. На помостѣ, вдававшемся въ воду, устроенъ былъ рядъ комнатокъ для раздѣванья и, раздѣвшись, надо было по лѣстницѣ, спускавшейся прямо въ воду, сходить въ море. Всѣ приспособленiя устроены просто, но практично, и каморки содержались съ нѣмецкой чистотой. Купающихся всегда было немного, потому что въ Путбусъ никто не прiѣзжаетъ ради купанiй, въ виду отсутствiя въ нихъ свойствъ, присущихъ морскимъ купаньямъ; ищущiе таковыхъ обыкновенно проѣзжаютъ дальше по Рюгену до деревни Сасницъ, расположенной на восточномъ берегу острова, гдѣ отличный прибой волнъ, привлекавшiй ежегодно болѣе сотни аматеровъ изъ Сѣверной Германiи, такъ что наѣздъ въ Сасницъ численностью оставляетъ за собою наѣздъ въ Путбусъ.

На обратномъ пути домой я всегда заходилъ въ булочную и бралъ свѣжiя булки къ своему кофе, который хозяйка мнѣ приносила, только лишь я вступалъ въ комнату. Отпивши ту невыразимую бурду, которая подавалась мнѣ подъ видомъ кофе, я усаживался за работу

на диванъ и вставалъ съ него только послѣ 6 час. веч., когда хозяйка ставила передо мною ужинъ и я, проглотивши свою вечернюю порцію, выходилъ на вечернюю прогулку; послѣднюю я направлялъ въ сторону, противоположную утренней, къ небольшой деревушкѣ Краневицъ, и шелъ пустынной дорогой, среди сплошныхъ пашенъ уже желтѣвшихъ злаковъ. Часа черезъ 1½ я былъ дома, а въ 10-мъ часу вечера, когда хозяйка закрывала свой магазинчикъ, ложился въ постель и безмятежно спалъ до 5 час. утра.

Нечего удивляться, что при такой усидчивости и правильности въ занятіяхъ работа у меня быстро подвигалась впередъ и я черезъ 3½ недѣли, къ немалому моему удовольствію, могъ поставить заключительную фразу. Однообразная жизнь моя въ Путбусѣ ничѣмъ особеннымъ не ознаменовалась, если не считать пріѣзда владѣльца мѣстечка кн. Путбуса съ семьей съ материка, о чемъ я узналъ отъ хозяйки и отъ моего пріятеля, сторожа при купаньяхъ Оссича, съ которымъ мнѣ приходилось ежедневно бесѣдовать. Придя однажды, по обыкновенію, купаться, я при входѣ въ свою раздѣвальную каморку сразу усмотрѣлъ, что на маленькомъ столикѣ ея лежитъ роговая гребенка, чего прежде не бывало, и спросилъ Оссича, принесшаго мнѣ бѣлье: «А это что за новость?» Оссичъ, очевидно ожидавшій моего вопроса, отвѣчалъ не безъ напускной важности: «А это вчера заходилъ самъ князь (Путбусъ), осматривалъ купальни и спрашивалъ, много ли купающихся, и я доложилъ ему, что больше прошлаго года, и сказалъ и объ васъ, что дескать есть одинъ пріѣзжій изъ Россіи—докторъ; и уходя, князь приказалъ купить для каждой раздѣвальни по гребенкѣ для того, чтобы было совсѣмъ благородно (damit es ganz nobel würde). Но это событіе ничѣмъ инымъ, кромѣ появленія гребенокъ, не отозвалось на моей отшельнической жизни; я только раза два прошелся по дворцовому парку, чтобы посмотрѣть, сказывается ли какими-нибудь

перемѣнами пріѣздъ владѣльца, но тамъ было все по старому, съ утра до вечера аллеи парка были доступны всякому, и только на крышѣ самаго дворца сталъ развѣваться скромныхъ размѣровъ флагъ, да оркестръ началъ нѣсколько дольше заигрываться въ саду.

Нѣсколько больше нарушило однообразіе моей жизни совершенно неожиданное приглашеніе хозяйки придти къ ней въ 4 часа на чашку кофе. Поводомъ къ этому импровизированному угощенію, какъ она мнѣ объяснила при этомъ, послужило совсѣмъ особое обстоятельство. Одна изъ уроженокъ Путбуса года три назадъ вышла замужъ за нѣмца-ремесленника, устроившагося въ Москвѣ. Дѣла у мужа шли очень хорошо, такъ что парочка зажила зажиточно и могла позволить такую роскошь, какъ женѣ пріѣхать въ это лѣто на Рюгенъ навѣстить родныхъ и земляковъ. Пріѣзжую очень чествовали и вотъ въ честь-то ея моя хозяйка устраивала тоже банкетъ, а мое приглашеніе присутствовать на немъ оправдывала тѣмъ, что мнѣ, вѣроятно, будетъ небезъинтересно увидать пріѣзжую изъ Москвы. Хотя случай увидать въ Путбусѣ московскую нѣмку не представлялъ для меня ни малѣйшаго интереса, однако я далъ слово придти, чтобы не огорчить хозяйку своимъ отказомъ. Когда въ назначенный день я явился ровно въ 4 часа въ хозяйскую лавочку, то меня попросили на небольшую терассу передъ магазиномъ, обращенную на улицу. Приглашенныхъ было человѣкъ 6, все рюгенскія обывательницы, и при моемъ приходѣ всѣ уже находились въ сборѣ; хозяйка меня отрекомендовала обществу словами: «нашъ жилецъ—русскій докторъ», а изъ дамъ мнѣ прямо указала на москвичку, какъ на виновницу торжества; сама же тотчасъ начала хлопотать о кофе. Пріѣзжая была самая ординарная нѣмка среднихъ лѣтъ; она видимо вошла въ свою роль рюгенской львицы за этотъ сезонъ и охотно пускалась въ разсказы о Москвѣ. По-русски она усвоила только нѣсколько словъ, такъ что я,

подсѣвши къ ней, долженъ былъ вести разговоръ на нѣмецкомъ діалектѣ. Мой первый вопросъ, съ которымъ я обратился къ ней, былъ:

— Ну, что же васъ больше всего поразило въ русской жизни по сравненію съ нѣмецкой?

— Мы въ Германіи очень привыкли и любимъ работать, а потому мнѣ прежде всего бросилось, какъ въ Россіи мало работаютъ, не любятъ труда и все отчего-то отдыхаютъ. У меня семья маленькая, хозяйство небольшое и здѣсь мнѣ достаточно было бы держать одну прислугу и то дѣвочку-подростка, чтобы управляться съ нимъ; въ Москвѣ же мы имѣемъ двухъ: кухарку и горничную, и при этомъ, чуть не досмотришь за ними, многое будетъ не сдѣлано или сдѣлано неряшливо; и я не въ правѣ требовать, чтобы онѣ другъ друга замѣнили въ работѣ въ случаѣ надобности; напримѣръ, приносить дрова въ комнаты и для кухни — обязанность дворника, и если на дворѣ морозъ или время растапливать кухню, а дворника нѣтъ подъ руками, я не могу приказать своей прислугѣ принести дровъ; она прямо отвѣчаетъ: это не наше дѣло.

Сидѣвшія подлѣ кумушки-слушательницы были возмущены такими странными порядками и засыпали говорившую вопросами: почему такая лѣнивая прислуга? зачѣмъ ее держатъ, не замѣняютъ лучшей и т. п.

— Да некѣмъ замѣнить, — отвѣчала пріѣзжая, — потому что лучшей не найти; и прислуга это знаетъ и не дорожитъ мѣстомъ. Къ тому же въ Россіи народъ очень богатый, куда богаче нашего, а потому ему и нѣтъ надобности работать, какъ у насъ, безъ отдыха. Даже простые мужики тамъ имѣютъ свои собственныя чайныя машины (ваши замоваръ, перевела нѣмка для меня) и пьютъ чай по нѣскольку разъ въ день.

Надо знать, какой предметъ роскоши въ Германіи составляетъ «чайная машина» и употребленіе чаю и особенно составляла 30 лѣтъ тому назадъ, чтобы понять

то благоговѣйное уваженіе къ богатству русскаго мужика, коимъ охватило слушательницъ, и нѣмка, довольная произведеннымъ эффектомъ, продолжала:

— Къ намъ въ домъ привозилъ воду водовозъ, простой мужикъ, про котораго говорили, что онъ богатъ. У него была только одна дочь и его при мнѣ разъ спрашиваютъ: сколько же ты дашь приданаго за дочерью?— Ну что же теперь, пока я живъ, я больше 40,000 руб., т. е. 40,000 талеровъ (слушательницы взвизгиваютъ отъ изумленія) дать не могу, а вотъ когда умру, тогда все ей останется.

Разсказы продолжались все въ томъ же родѣ и прискучили мнѣ до того, что при первой возможности я раскланялся съ обществомъ и ушелъ на свою половину. Многое изъ нихъ было справедливо, многое казалось небылицей или вслѣдствіе невѣрнаго истолкованія чужестраннаго языка, или неправильнаго освѣщенія явленій русской жизни съ нѣмецкой точки зрѣнія. Я счелъ, что съ моей стороны предъявлять какія-либо опроверженія или разъясненія было бы и безполезно и неумѣстно, потому что, съ одной стороны, я не могъ не согласиться въ душѣ, что нѣкоторыя стороны національнаго русскаго характера, напр., его лѣнь, распущенность, неряшливость и много другихъ,— не могутъ не поражать нѣмца и не казаться антипатичными ему, выросшему въ совсѣмъ иной школѣ жизни; съ другой стороны, не могъ же я пуститься въ объясненія моимъ собесѣдницамъ, что подъ варварской и толстой корой русскаго простолюдина скрывается много достоинствъ и такихъ чертъ, которыя показываютъ, что недостаетъ только культурной грани, чтобы эти достоинства ясно выступили наружу.

Моя работа около 25-го августа была совершенно закончена и такъ какъ у меня въ запасѣ оставалось еще нѣсколько дней, которые я могъ употребить на Рюгенъ, то я и рѣшилъ ими воспользоваться, съ тѣмъ, чтобы

хоть отчасти познакомиться, съ внутренностью острова. Изъ описанія острова я зналъ, что на восточномъ берегу его есть небольшая мѣстность, извѣстная подъ именемъ Штубенкаммеръ, своею оригинальною красотой привлекающая немало туристовъ съ материка Европы, и я, чтобы впослѣдствіи не дѣлать себѣ упрека, что, живя на Рюгенѣ, не удостоилъ посмотрѣть лучшаго его перла, пустился въ путь, тѣмъ болѣе, что на этотъ походъ достаточно было однѣхъ сутокъ. Пообѣдавъ, какъ всегда, въ 12 часовъ, я сѣлъ въ почтовую карету, которая черезъ два часа привезла меня въ мѣстечко, откуда мнѣ предстояло дойти до Штубенкаммеръ въ два «добрыхъ» часа, по увѣренію тѣхъ нѣмцевъ, которыхъ я распрашивалъ о направленіи дороги и о протяженіи ея. Мнѣ, какъ опытному туристу, было хорошо извѣстно, чтó разумѣютъ нѣмцы подъ понятіемъ «добраго» часа, и я опредѣлилъ для себя разстояніе до цѣли моего похода приблизительно въ 11 или 12 верстъ, и потому смѣло двинулся по дорогѣ въ 4-мъ часу, разсчитывая засвѣтло добраться до мѣста, но промахнулся въ разсчетѣ.

Погода мнѣ не благопріятствовала; дулъ рѣзкій сѣверо-восточный вѣтеръ и пронизывалъ холодомъ весь островъ вдоль, гоня по небу большія свинцовыя тучи; не прошло и часу со времени моего выхода изъ мѣстечка, какъ солнце скрылось совсѣмъ, тучи заволокли небо и полилъ упорный и частый дождь; вскорѣ дорога сильно размякла и мнѣ пришлось брести подъ зонтикомъ и по изрядной грязи, а такъ какъ лежавшее передо мной шоссе было плоско, мало лѣсисто и проходило черезъ сплошныя пашни, то прогулка моя представляла мало интереса. Я прошелъ такимъ образомъ около 2-хъ часовъ и отъ рѣдкихъ встрѣчныхъ путниковъ узнавалъ, что впереди у меня до Штубенкаммеръ еще «добрый» часъ; порядочно-таки иззябши и промокши, я прибавилъ шагу и очень былъ радъ, когда увидалъ передо мной

какого-то господина, шедшаго со мной въ одномъ направленіи и очевидно тоже туриста, потому что у него на спинѣ висѣла совершенно такая же котомка, какая болталась и за моей спиной. Я не замедлилъ его догнать и очень былъ радъ найти въ немъ попутчика — туриста, шагающаго также для осмотра Штубенкаммеръ. Онъ обрадовался не меньше моего, потому что идти намъ вдвоемъ въ такую скверную погоду и при наступившихъ сумеркахъ было гораздо веселѣе и удобнѣе; это былъ среднихъ лѣтъ нѣмецъ изъ Саксенъ-Альтенбурга, владѣлецъ магазина въ столицѣ этого герцогства Гера. Такъ какъ Гера городокъ небольшой и лежитъ въ сторонѣ отъ большихъ дорогъ, то мой спутникъ при характерномъ для всѣхъ саксонцевъ добродушіи поражалъ своей чисто провинціальной наивностью и застѣнчивостью.

Пройдя вмѣстѣ еще около часу, примѣрно около $7^1/_2$ часовъ вечера, мы увидали, наконецъ, въ лѣсу освѣщенное зданіе отеля и очень обрадовались найти пріютъ отъ продолжавшагося дождя, да и у насъ обоихъ разыгрался уже исправный аппетитъ. Къ немалому нашему горю мы попали въ отель какъ разъ въ тотъ моментъ когда только-что кончился общій столъ и довольно многочисленная публика выходила толпой изъ столовой, чтобы идти смотрѣть фейерверкъ или, точнѣе, искусственное освѣщеніе мѣловыхъ горъ, устраиваемое ежедневно хозяиномъ отеля. Поэтому мы пришли совсѣмъ не впопадъ и всѣ, къ кому мы ни обращались съ просьбой дать намъ поѣсть, отвѣчали намъ: «теперь некогда, идите смотрѣть фейерверкъ, да скорѣе, иначе опоздаете, а пообѣдать успѣете послѣ». Послѣ нѣсколькихъ попытокъ мы дѣйствительно убѣдились, что намъ ничего не остается дѣлать, какъ идти смотрѣть фейерверкъ, смиривъ свои аппетиты. Тогда одинъ изъ прислужниковъ отеля провелъ насъ по дождю и по такой тьмѣ, что ничего не было видно, минуты 4—5 отъ гостиницы и поставилъ

на какую-то площадку, уже занятую вышедшими раньше насъ туристами.

Мы опоздали; уже часть фейерверка кончилась и мы успѣли захватить только финальное и эффектное окончаніе его, заключавшееся въ слѣдующемъ оригинальномъ пріемѣ: зрители помѣщались на прибрежной надъ моремъ горѣ, а съ сосѣдней мѣловой скалы, отвѣсно спускавшейся къ морю, сбрасывался прислугой отеля разный горючій матеріалъ, заготовленный заранѣе, какъ-то: сухой хворостъ, сосновыя шишки, засмоленныя стружки; вся эта масса зажигалась и когда достаточно разгоралась, ее сбрасывали по покатости скалы, и она, шипя и довольно ярко освѣщая все окружающее, и бѣлую какъ снѣгъ скалу, и клочекъ прилегающаго моря, катилась въ темную бездну. Эффектъ получался сильный и своеобразный, и могъ бы быть еще болѣе сильнымъ, если бы былъ продолжительнѣе, но разсчетливый хозяинъ старался сберечь накопленный горючій матеріалъ на большое число дней, а потому не успѣвалъ глазъ разобраться въ вызываемыхъ эффектахъ, какъ спектакль прекращался.

Мы поспѣшили вернуться въ отель и насилу добились скудныхъ объѣдковъ, оставшихся послѣ общаго стола; оба мы кое-какъ насытились и, неудовлетворенный, я предложилъ своему спутнику вознаградить себя хоть бутылкой хорошаго вина. Онъ согласился и мы спросили Рейнвейну марка «Liebfrauenmilch» рубля въ два на наши деньги. Но въ это время хозяинъ повидимому сильно ревнивый къ красотамъ природы, окружавшей его отель, сталъ приставать къ намъ, что теперь сейчасъ луна выйдетъ изъ-за тучъ и мы должны поторопиться сходить на озеро Герты, которое въ 2-хъ шагахъ и которое при лунномъ освѣщеніи производитъ необыкновенное по силѣ впечатлѣніе своей дико романтической красотой. Въ подтвержденіе своихъ словъ онъ указалъ намъ на печатный путеводитель по Штубенкаммеру, гдѣ въ самыхъ живописныхъ краскахъ описывалась прелесть этого озера и прямо прибавлялось, что для полу-

ченія полнаго наслажденія его чарующей и дикой романтичностью нужно видѣть его не днемъ, а при освѣщеніи луной. Дѣлать было нечего, и мы, наскоро роспивъ бутылку вина, отдали себя въ распоряженіе одного изъ отельныхъ служителей, который провелъ насъ по непроницаемой ночной тьмѣ, предупреждая на каждомъ шагу, чтобы мы не оступились, или не стукнулись о дерево, до озера, находившагося приблизительно въ 100 саженяхъ отъ отеля. Здѣсь онъ насъ усадилъ въ потьмахъ на скамейку, попросилъ подождать немного выхода луны, которая уже начинала золотить замѣтно край мрачнаго облака, и затѣмъ отдаться наслажденію и созерцанію природы[1]).

---

[1]) На этомъ обрываются записки покойнаго Н. А. о пребываніи его на о. Рюгенѣ.

Изъ сибирскихъ воспоминаній Н. А. Бѣлоголоваго.

I.

Это было около 30-ти лѣтъ тому назадъ. Я по окончаніи курса въ московскомъ университетѣ пріѣхалъ въ августѣ 1855 г. въ Иркутскъ, гдѣ проживали мои родители и вся семья. По части врачей тогда была въ Сибири такая бѣдность, что теперешній недостатокъ представляется сравнительно роскошью: кромѣ инспектора врачебной управы и двухъ ея членовъ, причемъ акушеръ въ то же время завѣдывалъ больницею Приказа общественнаго призрѣнія, находился еще городовой врачъ, да и тотъ вскорѣ взялъ отпускъ и уѣхалъ въ Петербургъ. А потому, когда я сдѣлалъ визитъ для знакомства къ инспектору врачебной управы К. В. Кинасту, то онъ ухватился за меня какъ за рѣдкую драгоцѣнность и тотчасъ же сталъ уговаривать занять мѣсто уѣхавшаго городоваго врача. Я самъ жаждалъ дѣятельности и, согласившись безъ всякихъ колебаній, тотчасъ же вступилъ въ отправленіе дотолѣ незнакомыхъ мнѣ служебныхъ обязанностей. Дѣла было немало; кромѣ завѣдыванія острожной больницей, въ которой тогда было около 40 человѣкъ больныхъ, приходилось цѣлый день рыскать по городу, то дѣлая судебно-медицинскія вскрытія, то разныя экспертизы и т. п.; но не успѣлъ я еще вполнѣ освоиться съ своими занятіями, какъ врачебная управа предложила мнѣ принять на себя кромѣ того должность иркутскаго окружнаго врача и въ то же

время ветеринарнаго врача. Получивъ такую бумагу, я сталъ въ тупикъ, да и было отчего: Иркутскъ какъ городъ, имѣвшій тогда около 27,000 жителей, давалъ мнѣ уже порядочно дѣла какъ городовому врачу, но такъ какъ я былъ молодъ, нелѣнивъ, то я дѣла не бѣгалъ, и охотно принялъ бы на себя одновременно обязанности ветеринарнаго врача, если бы меня не смущало полное незнакомство съ этою специальностію, по которой мнѣ приходилось лѣчить и свидѣтельствовать казенныхъ животныхъ, свидѣтельствовать весь скотъ, пригоняемый въ городъ, а также и всѣ привозимые припасы; мороженую рыбу, муку, медъ, овощи и т. д. и т. д. Но больше всего казалось невозможнымъ совмѣстить въ одномъ лицѣ двухъ такихъ, прямо противоположныхъ должностей, какъ городоваго и окружнаго врачей: какъ городовой я долженъ былъ безотлучно находиться въ городѣ; какъ окружный я долженъ былъ безпрерывно мыкаться по огромному округу, превосходившему размѣрами любое изъ европейскихъ государствъ, ибо тогдашній Иркутскій округъ составлялъ все, что заключаютъ теперь въ себѣ округа Балаганскій, Верхоленскій и Иркутскій, и между предѣльными оконечностями его считалось около 1,200 верстъ. Поэтому, увидя въ полученномъ предписаніи совсѣмъ неразрѣшимую дилемму, я немедленно отправился къ К. В. Кинасту, чтобы попросить у него разъясненія.

Кинастъ былъ въ своемъ родѣ весьма интересная личность, а потому нелишнее на немъ остановиться. Ему было тогда около 35 лѣтъ, воспитывался онъ въ дерптскомъ университетѣ, откуда происходилъ и родомъ; человѣкъ онъ былъ дѣятельный, ретивый, любилъ свою науку со страстью и постоянно слѣдилъ за нею; большой помѣхою ему въ практикѣ являлось то, что онъ былъ изрядно глухъ, а потому и вынужденъ былъ больше сосредоточить свои знанія на хирургіи и акушерствѣ, какъ на отдѣлахъ, менѣе требовавшихъ слуха. Какъ служака былъ онъ дѣятеленъ и требователенъ, а такъ какъ во всей сибирской администраціи царствовала

тогда крайняя распущенность и лѣнь, то онъ безпрестанно выходилъ изъ себя и ссорился съ подчиненными. Говорилъ по-русски плохо, страшно коверкая слова и ударенія, но, будучи человѣкомъ очень способнымъ, скоро усвоилъ себѣ навыкъ хорошо и умно писать дѣловыя служебныя бумаги. Узнавъ еще покороче, нельзя было не уважать его за строгое исполненіе долга и за безукоризненную честность, и среди тогдашнихъ врачей въ Иркутскѣ онъ представлялъ прекрасное исключеніе. Когда я пришелъ къ нему за разъясненіями, онъ легко меня уговорилъ принять на себя всѣ три должности, говоря, что при отсутствіи врачей управѣ рѣшительно некому кромѣ меня поручить ихъ, и совершенно успокоилъ меня обѣщаніемъ, что я буду ѣздить въ округъ только въ крайнихъ, уголовныхъ случаяхъ, въ менѣе же важныхъ случаяхъ управа будетъ командировать лѣкарскаго помощника. Я уступилъ, но не прошло и мѣсяца, какъ сильно раскаялся въ своемъ согласіи: уголовныя вскрытія требовались безпрестанно, и я то и дѣло долженъ былъ летать въ разныхъ направленіяхъ по огромному округу; дѣло было зимой, въ декабрѣ и январѣ, и, проѣхавши нѣсколько сотъ верстъ, долженъ былъ еще жить дня два на мѣстѣ, въ какой-нибудь захолустной деревнѣ, поджидая, пока оттаетъ поднятый трупъ. А затѣмъ, вернувшись домой, я находилъ цѣлую кучу бумагъ, требовавшихъ отъ меня исполненія по должности городоваго и ветеринарнаго врачей,—а за-частую и новую бумагу, приглашавшую меня опять ѣхать куда-нибудь въ округъ за 300—400 верстъ. А тутъ подошелъ январь и съ нимъ вмѣстѣ составленіе годичныхъ отчетовъ,—и для меня опять-таки по тремъ должностямъ!

И вотъ однажды въ самый развалъ моего служебнаго угара, въ декабрѣ, я получаю отношеніе отъ тункинскаго засѣдателя, которымъ приглашаюсь для судебно-медицинскаго вскрытія тѣла одного поселенца изъ безчисленнаго сонма Ивановъ Непомнящихъ, найденнаго удавившимся въ своей избѣ въ Тункинскомъ селеніи.

Селеніе это находится въ разстояніи, помнится, 260-ти верстъ отъ Иркутска, но лежитъ въ одномъ изъ захолустныхъ угловъ округа, внѣ сѣти правильныхъ почтовыхъ путей, и съ которымъ зимой прекращалось всякое сообщеніе по причинѣ страшныхъ снѣговъ, а весной— по причинѣ розлива бурныхъ горныхъ рѣчекъ. Узнавъ это, я отправился къ Кинасту, чтобы спросить, какъ быть, и къ крайнему удивленію получилъ отъ него отвѣтъ, что въ такую дикую и отрѣзанную мѣстность нечего и думать ѣхать зимой, а надо отложить поѣздку до лѣта. «Какъ до лѣта? а какъ же вскрытіе? а какъ же будетъ трупъ лежать такъ долго?—вскричалъ я въ порывѣ своей 20-ти лѣтней наивности».—„Э, ничего,— съ спокойнымъ юморомъ возразилъ мнѣ инспекторъ,— вашъ трупъ пролежитъ и больше; если вамъ нельзя его вскрыть теперь, онъ отъ васъ не убѣжитъ, и россійское царство, повѣрьте, ничего отъ этого не потеряетъ, учините вы это вскрытіе теперь или полугодомъ позднѣе. И даже знаете,—продолжалъ онъ, подумавши,—у меня прекрасная мысль, и этотъ трупъ намъ сослужитъ даже отличную службу; я какъ разъ хотѣлъ будущее лѣто съѣздить въ эту часть округа по должности и между прочимъ посѣтить Нилову пустынь, чтобы осмотрѣть тамошнія сѣрныя воды; теперь же мы можемъ связать эту поѣздку и отправиться вмѣстѣ,—и вамъ будетъ веселѣе и мнѣ также“. Убѣдившись изъ словъ своего начальника, что я за такое промедленіе не подвергаюсь никакой отвѣтственности, я успокоился и, рѣшивъ, что, стало-быть, Иванъ Непомнящій можетъ подождать, припряталъ бумагу въ задній ящикъ.

Пришелъ конецъ и длинной зимѣ, наступила благодатная сибирская весна, о прелестяхъ которой я до сихъ поръ вспоминаю съ восхищеніемъ и съ замираніемъ сердца. Много бродилъ я на своемъ вѣку по бѣлому свѣту, встрѣчалъ весну подъ различными широтами Европы, въ мѣстностяхъ, наиболѣе прославленныхъ своею красотою, но нигдѣ не подмѣтилъ я, чтобы весна могла

производить такое чарующее влiянiе на организмъ, какъ на моей далекой и суровой родинѣ, и нигдѣ не видалъ я такого волшебнаго перехода природы отъ смерти къ возрожденiю, такого быстраго превращенiя оголенныхъ деревьевъ въ зеленыя кущи, а полей, покрытыхъ чуть не двѣ трети года высокимъ снѣгомъ, въ роскошнѣйшiе ковры самыхъ разнообразныхъ и прихотливыхъ цвѣтовъ и растенiй; никакой ароматъ цвѣтущихъ померанцевъ и одуряющихъ гелiотроповъ на прибрежьѣ Средиземнаго моря не могутъ изгладить изъ моей памяти благоуханье корявой сибирской черемухи, невзрачнаго багульника и молодыхъ побѣговъ большущихъ лиственницъ. Но лиризмъ въ моемъ разсказѣ неумѣстенъ, а потому возвращаюсь къ повѣствованiю. Чѣмъ болѣе подвигалась весна, тѣмъ чаще моя совѣсть напоминала мнѣ, что трупъ въ Тункѣ все въ ожиданiи моего прiѣзда411 бременитъ землю и своихъ односельчанъ, а потому я не упускалъ случая, чтобы не напомнить Кинасту, не пора ли намъ ѣхать? Но онъ съ свойственной ему флегмой давалъ все одинъ и тотъ же отвѣтъ: „Сидите смирно, не спѣшите; мнѣ дадутъ знать, когда спадутъ рѣки, а теперь ѣхать еще совсѣмъ невозможно". И такъ, ожиданiя мои протянулись до половины iюня, когда однажды вечеромъ инспекторъ зашелъ ко мнѣ и сообщилъ, что пора трогаться въ путь, и мы, наконецъ, 17-го iюня, подъ-вечеръ, выѣхали съ нимъ изъ Иркутска въ легкомъ тарантасикѣ, на козлахъ котораго помѣстился рядомъ съ ямщикомъ лакей Кинаста.

II.

На первой же станцiи въ Введенщинѣ мы остановились ночевать, потому что Кинастъ хотѣлъ обревизовать тамошняго оспеннаго ученика, да и для всего нашего маршрута это было въ томъ отношенiи удобно,

что, не ѣхавши ночью, мы могли лучше познакомиться съ предстоявшими намъ мѣстностями. На завтра утромъ, на самомъ разсвѣтѣ, мы были уже на ногахъ, напились на скорую руку чаю и тронулись въ путь. Здѣсь я долженъ сдѣлать оговорку и впередъ попросить извиненія у читателей: пускай не ждутъ они отъ меня солиднаго, научнаго и этнографическаго описанія нашей поѣздки; совершена она была 30 лѣтъ назадъ, а потому перезабылось многое; я передаю безо всякихъ претензій только то, что удержалось въ памяти. За Введенщиной мы миновали станціи Большія и Малыя Моты, замѣчательныя, между прочимъ, тѣмъ, что рѣдкій изъ жителей не имѣетъ зоба, а Кинасту удалось найти эту опухоль у встрѣченнаго нами теленка. Дорога шла съ горы на гору въ мѣстности, поросшей густымъ высокимъ хвойнымъ лѣсомъ, на которомъ рѣзко выдѣлялась свѣтлая зелень могучихъ лиственницъ. Помню послѣдній подъемъ на переѣздѣ къ станціи Култукъ; дорога тянется долго въ высокую и крутую гору и по мѣрѣ того, какъ мы поднимались, дикая панорама лѣсистыхъ горъ все расширялась и, наконецъ, мы увидали вдали вершину здѣшняго великана—горы Хамаръ-Дабанъ, достигающую свыше 5,500 футовъ, а при продолжительномъ спускѣ къ Култуку, наконецъ, блеснула впереди подъ ногами голубая полоска, которая, постоянно увеличиваясь, обратилась въ громадную неподвижную массу озера Байкала.

Много я потомъ видалъ на своемъ вѣку видовъ, но это одинъ изъ классическихъ, и я до сихъ поръ помню то сильное впечатлѣніе, какое онъ на меня произвелъ. За Култукомъ, вытянувшимся своими невзрачными домиками по берегу Байкала, мы повернули на югъ; озеро скоро исчезло изъ глазъ, и передъ нами съ каждымъ часомъ далѣе стала развертываться совершенно иная мѣстность и иная растительность, и небольшимъ плоскогорьемъ мы вскорѣ выѣхали въ Тункинскую степь. День былъ чудный и жаркій, лошади быстро несли насъ по мягкой, черноземной дорогѣ ровной степи, надъ кото-

рой звенѣли жаворонки и блеяли бекасы и несся отовсюду немолчный звонъ разныхъ насѣкомыхъ; растительность необычайно богатая, и особенно поражало чрезвычайное обиліе цвѣтовъ, среди которыхъ, кромѣ незабудокъ, желтыхъ лилій, кукушкиныхъ башмачковъ (Cypripedium), прелестныхъ экземпляровъ лютика и жаркова цвѣтка (Trollius), я впервые увидалъ дикоростущіе кусты расцвѣтшихъ темно-пурпуровыхъ піоній. Вообще ни до ни послѣ, мнѣ больше никогда не приходилось встрѣчать такихъ роскошныхъ цвѣтовыхъ ковровъ, по какимъ теперь мчала насъ удалая бурятская тройка. Поселенія встрѣчались рѣдко въ видѣ бурятскихъ юртъ, и только мѣстами попадались дома, которые уже тогда наиболѣе обрусѣвшіе и зажиточные буряты начинали строить для житья зимою. Часамъ къ 6-ти вечера мы стали замѣчать вокругъ что-то странное; до сихъ поръ путешествіе наше совершалось по совершенно пустынной и особенно безлюдной степи, а тутъ все чаще и чаще мы начинали обгонять бурятскія двухколесныя арбы еще издали наполнявшія воздухъ своимъ раздирающимъ уши скрипомъ, безпрестанно нагоняли и гарцовали вокругъ нашего тарантаса верховые буряты; сначала мы полагали, что вся эта толпа возвращается съ полевыхъ работъ по своимъ юртамъ, но когда она увеличилась значительно и съ десятка два бурятъ запрыгали справа и слѣва нашего экипажа, составляя какъ-бы почетную стражу, мы спросили у ямщика, что это значитъ? Но ямщикъ бурятъ такъ плохо владѣлъ русскимъ языкомъ, что при всемъ стараніи не могъ дать намъ удовлетворительнаго объясненія, и все указывалъ рукой на что то впереди. Наконецъ, мы увидали нѣсколько въ сторонѣ отъ дороги большой одно-этажный домъ казенной постройки, стоявшій одиноко въ степи, и передъ нимъ толпу въ нѣсколько сотъ человѣкъ собравшагося народа. Это было зданіе, гдѣ помѣщалась тункинская степная Дума, тоже что наше волостное правленіе; любопытство насъ разобрало, и мы съ Кинастомъ, видя такое большое скопище въ этой пустынѣ, рѣшили подъѣхать.

Только-что экипажъ нашъ свернулъ съ дороги, толпа, видимо, оживилась и задвигалась, множество людей высыпало кромѣ того изъ дома на широкое крыльцо. Мы подъѣхали и вышли; на крыльцѣ толпа бурятъ разступилась, и мы увидали передъ собою высокаго осанистаго бурята представительной наружности, которую впрочемъ значительно портило то, что обладатель ея былъ кривъ на одинъ глазъ; одѣтъ онъ былъ въ богатый халатъ, на шеѣ у него висѣла золотая медаль. Это былъ тайша (родоначальникъ) тункинскій. Онъ раскланялся съ нами и подалъ руку съ большимъ чувствомъ собственнаго достоинства. Мы назвали себя, и тайша повелъ насъ внутрь дома, комнаты котораго были также переполнены бурятами; въ послѣдней комнатѣ тайша попросилъ насъ сѣсть на кресла. Онъ говорилъ изрядно по-русски и тотчасъ-же объяснилъ, что они сегодня ждутъ изъ Иркутска пріѣзда какого-то совѣтника для ревизіи. Тайша держалъ себя необыкновенно гордо и солидно, безпрестанно поправляя на шеѣ медаль и весьма тонно распрашивалъ насъ о здоровьѣ генералъ-губернатора гр. Муравьева, губернатора и объ иркутскихъ новостяхъ.

Какъ я узналъ потомъ, это былъ тотъ самый тайша, у котораго съ гр. Муравьевымъ произошелъ слѣдующій случай: Муравьевъ, однажды объѣзжая Иркутскую губернію, заѣхалъ и въ эти глухія мѣста; встрѣча ему была приготовлена въ этомъ же домѣ, гдѣ мы теперь находились, самая помпёзная: еще дотолѣ ни одинъ генералъ-губернаторъ сюда не заглядывалъ; онъ долженъ былъ по заранѣе сочиненному маршруту тутъ и завтракать и обѣдать. Послѣ сытнаго завтрака Муравьевъ усѣлся въ одной изъ комнатъ съ сопровождавшими его чиновниками, пригласилъ и тайшу и сталъ распрашивать его о положеніи дѣлъ, хозяйства и пр. въ подначальной ему Думѣ. Дикарь-тайша тяготился бесѣдою съ такимъ высокопоставленнымъ лицомъ, боялся, чтобы не сказать чего-нибудь не впопадъ, и вообще всѣ его помыслы были

направлены на то, какъ бы сбыть поскорѣе съ рукъ приготовленное угощеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и высокаго гостя. А потому не прошло и 2-хъ часовъ послѣ завтрака, какъ онъ спросилъ Муравьева: не пора ли подавать обѣдать; Муравьевъ отвѣчалъ, смѣясь: «э, какъ можно, нѣтъ еще аппетита, надо подождать". Тайшѣ слово „аппетитъ" было незнакомо, и онъ, не понявъ отвѣта генерала, черезъ $^1/_4$ часа снова предложилъ ему обѣдать, и когда Муравьевъ ему опять отвѣтилъ: „Нельзя же безъ аппетита обѣдать; вотъ онъ придетъ, тогда и сядемъ", то тайша окончательно сталъ втупикъ, онъ понялъ, что гость кого-то поджидаетъ, но кого? Всѣ власти были на лицо, и адъютанты, и чиновники особыхъ порученій, и исправникъ и пр., стало быть, Муравьевъ упоминаетъ о какомъ-то второстепенномъ чиновникѣ. И вотъ когда онъ въ третій разъ обратился къ Муравьеву съ тѣмъ же вопросомъ, и тотъ, наконецъ, нетерпѣливо сказалъ: „Я вамъ сказалъ уже, что безъ аппетита нельзя обѣдать»,—то тайша ему возразилъ: „Ваше в—ство, аппетитъ — маленькій человѣкъ, ну придетъ послѣ, мы его послѣ и накормимъ".

Просидѣвъ минутъ десять въ Думѣ, мы отправились дальше. Лошадей намъ дали свѣжихъ, и мы во весь карьеръ пустились впередъ по степи. Вскорѣ намъ попался на встрѣчу небольшой тарантасикъ съ сидѣвшей внутри его духовной особой, въ которой я узналъ иркутскаго миссіонера о. Ф.; я замѣтилъ, что въ то время какъ мы старались разъѣхаться, не зацѣпившись ступицами на узкой дорогѣ, нашъ ямщикъ почтительно снялъ свою шапку и держалъ въ рукахъ; а потому, когда встрѣчный экипажъ уже отъѣхалъ, я спросилъ нашего возницу; „Какъ же ты это знаешь русскаго священника"?—Ямщикъ отвѣчалъ на коверканно-русскомъ языкѣ; „Какъ же не знать бачка? онъ меня крестилъ.

— А, такъ ты крещеный, и много у васъ тутъ крестятся?

— Да почитай всѣ.

— А какъ же тебя зовутъ?

На этотъ вопросъ бурятъ произнесъ мнѣ какой-то столь странный звукъ, что я попросилъ его повторить, и къ удивленію услыхалъ, что христіанское имя нашего ямщика „Тыръ-Тыръ“. „Да это не можетъ быть, —урезонивалъ я его,—такого имени нѣтъ, и священникъ не могъ тебя окрестить“?. По лукавой усмѣшкѣ бурята я видѣлъ, что и его самого немало забавляетъ то, что онъ крещеный и носитъ такое христіанское имя, и онъ въ краткихъ словахъ такъ разсказалъ исторію своего обращенія въ христіанство; пріѣхалъ священникъ, далъ цѣлковый рубль и рубаху, окрестилъ, записалъ въ книгу и сказалъ; „Ну теперь тебя зовутъ, какъ того святаго, который все ѣздитъ по небу и все гремитъ, знаешь тыррръ-тыррръ“,—прибавилъ батюшка, дѣлая безтолковому неофиту звукоподражаніе грома. Такъ нашъ ямщикъ и сталъ съ тѣхъ поръ называть себя Тыръ-Тыръ. И въ то старое отдаленное время подобныхъ христіанъ можно было встрѣтить множество среди бурятъ; за рубль серебромъ и за новую рубаху они охотно шли креститься, вносились въ списки христіанъ, а затѣмъ по-прежнему отправляли свое идолопоклонство. Надо думать, что теперь эти патріархальные обычаи уже болѣе или менѣе не существуютъ.

III.

Поздно вечеромъ мы пріѣхали въ Тункинскую слободу и остановились на казенной квартирѣ, поужинали привезенными съ собою запасами, напились чаю и стали устраиваться на ночь. Въ избѣ воздухъ былъ спертый и душный, а потому я предпочелъ лечь въ нашемъ тарантасѣ, стоявшемъ во дворѣ подъ навѣсомъ. Ночь была свѣжая, но ясная; надъ моей головой ярко сіяли звѣзды,—и подъ непрерывный лай собакъ, раздававшійся на селѣ, я уснулъ богатырскимъ сномъ, какъ спится

только въ 20 лѣтъ. Солнце рано разбудило меня, но Кинастъ сидѣлъ уже у открытаго окна съ сигарою во рту и весело звалъ меня пить чай. Вскорѣ явился староста, чтобы принять отъ меня распоряженія относительно вскрытія мертваго тѣла, а такъ какъ онъ при этомъ передалъ, что удавленникъ прогнилъ совсѣмъ, что „душина (вонь) идетъ отъ него страшенная", то я, посовѣтовавшись съ Кинастомъ, попросилъ старосту перенести тѣло въ укромное мѣсто за околицу, чтобы я могъ вскрыть его подъ открытымъ воздухомъ. Такъ и было сдѣлано, и вскрытіе было произведено при слѣдующей необычной обстановкѣ: 7 часовъ прелестнаго іюньскаго утра, въ полуверстѣ отъ обширной Тункинской слободы, среди поля съ сочною свѣжею зеленью и пестрѣющаго цвѣтами стоитъ столъ, а на столѣ лежитъ совершенно разложившійся и безобразно раздутый трупъ удавленника, прождавшаго около 7 мѣсяцевъ исполненія надъ нимъ судебно-медицинской формальности: надъ трупомъ съ засученными руками вожусь я, сознавая всю безплодность моей работы и диктуя протоколъ какому-то несчастному грамотѣю, примостившемуся подлѣ меня, который пишетъ, заткнувши лѣвою рукой свой носъ отъ ужаснаго трупнаго запаха; запахъ этотъ отогналъ саженъ на 50 отъ стола 12 понятыхъ, которые должны присутствовать при моей операціи, и они группою разлеглись на пригоркѣ. Передъ началомъ вскрытія староста спросилъ меня, что вдова покойника проситъ позволенія, можно ли ей поплакать надъ покойникомъ? Я, конечно, отвѣтилъ, что можно, и бѣдная женщина, подобравшись почти къ самому столу, повалилась ничкомъ на землю и стала громко причитать; ея пронзительныя, протяжныя выкрикиванья какимъ-то особенно надрывающимъ стономъ разносятся въ чуткомъ утреннемъ воздухѣ.

Наконецъ, вскрытіе окончено, понятые приблизились, подмахнули свои кресты подъ протоколомъ, и я отправился на нашу квартиру, удовлетворенный, что, нако-

нецъ, могу дать разрѣшеніе о преданіи землѣ по христіанскому обряду этого несчастнаго мертваго тѣла, цѣлыхъ 7 мѣсяцевъ заражавшаго деревню и ожидавшаго своего погребенія.—Кинастъ меня уже поджидалъ, лошади были готовы и мы немедленно двинулись далѣе по направленію къ Ниловой пустынѣ, до которой намъ предстояло проѣхать сначала верстъ 30 въ тарантасѣ до какой-то деревни, названіе которой я забылъ, а оттуда—верстъ 26 верхомъ. Первая часть шла тою же пустынной степью, какъ и прежде, мѣстами на ней попадались отдѣльныя бурятскія юрты, большею частью безлюдныя, потому что обитатели ихъ на лѣто откочевали въ другія мѣста; въ двухъ мѣстахъ тарантасу нашему пришлось въ бродъ переѣхать рѣку Иркутъ; воды было немного и мы перебрались благополучно безъ тѣхъ сюрпризовъ, какіе встрѣтились намъ на обратномъ пути, о чемъ разскажемъ своевременно. Верстахъ въ пяти послѣ втораго брода, мы проѣхали не вдалекѣ отъ оригинальнаго, не лишеннаго своеобразной красоты, дайцана, буддійской кумирной, который рѣшили осмотрѣть, когда поѣдемъ назадъ. По мѣрѣ приближенія къ послѣднему пункту тарантаснаго пути, на горизонтѣ стали появляться горы, вдали за которыми виднѣлись высокіе отроги Саянскаго хребта; степной характеръ мѣстности замѣтно прекращался.

На этой послѣдней станціи мы поспѣшили взять верховыхъ лошадей, чтобы успѣть пораньше пріѣхать въ пустынь; тарантасъ и лакей Кинаста остались тутъ ожидать нашего возвращенія. Кавалеристъ я былъ плохой, даже не помню, приходилось ли мнѣ раньше садиться на лошадь, а потому я не безъ сердечнаго трепета думалъ о предстоящемъ трехчасовомъ галопированіи и убѣдительно просилъ Кинаста принять въ разсчетъ мою неопытность дебютанта, не мчаться сломя голову и по временамъ дѣлать привалъ. Я взобрался на маленькую лошадку и, чуть не задѣвая землю своими длинными ногами, двинулся въ этомъ печальномъ образѣ Донъ-

Кихота за проводникомъ и Кинастомъ. Путь, который намъ предстояло сдѣлать, самъ по себѣ не представлялъ особенныхъ трудностей и могъ бы быть даже совершенъ въ экипажѣ, если бы не лежало на пути 3-хъ бурныхъ рѣчекъ, черезъ которыя бродъ не только весьма труденъ, но даже опасенъ; такъ года 3 до нашего проѣзда попробовали въ тарантасѣ провезти какого-то иркутскаго чиновника, разбитаго параличемъ и ѣхавшаго лѣчиться въ пустынь: экипажъ былъ опрокинутъ быстротою теченія, и больной утонулъ.

День былъ прекрасный, и мы, имѣя достаточно времени въ запасѣ, ѣхали умѣренною рысью, что мнѣ было особенно на руку. Но вотъ среди окружавшей насъ тишины послышался какой-то странный отдаленный шумъ, усиливавшійся постепенно по мѣрѣ того, какъ мы ѣхали дальше; этотъ шумъ былъ признакъ приближенія къ первой рѣкѣ, и вскорѣ мы ее увидали. На слабо-наклонной плоскости клокоталъ и бурлилъ широкій горный потокъ, заваленный огромными валунами,—и теперь онъ былъ саженъ въ 15 шириною, а послѣ дождей принимаетъ несравненно большіе размѣры; названіе онъ носитъ Большой Зангисанъ. Проводникъ нашъ переѣхалъ первый, попросилъ насъ старательно услѣдить за мѣстомъ его брода и руководиться тѣми пріемами, какихъ онъ будетъ держаться при переправѣ; а пріемы эти состояли главное въ томъ, чтобы, въѣхавши въ воду, тотчасъ же повернуть лошадь вдоль берега и головою на встрѣчу теченія и затѣмъ, опустивъ поводья, предоставить самой лошадп медленно и бокомъ пробраться черезъ клокочущую быстрину. За проводникомъ перебрался Кинастъ, а потомъ пустился и я: ощущать какой-бы то ни было страхъ при такой водѣ не приходилось, а потому я только съ большимъ любопытствомъ слѣдилъ, какъ осторожно и разсчетливо умная лошадка заносила и ставила свою ногу и крайне медленно пробиралась впередъ поперекъ рѣки, стараясь не ступить на скользкіе огромные камни. Перебравшись благополучно-

резъ это первое препятствіе, мы прискакали черезъ ½ часа ко второму такому же барьеру,—это былъ Зангисанъ Малый, и, дѣйствительно, онъ былъ нѣсколько менѣе грозенъ, чѣмъ его старшій братъ, хотя тоже бурлилъ и шумѣлъ издалека. Миновавъ его, мы нашли, что въ правѣ вознаградить себя получасовымъ отдыхомъ, да и желудки наши порядочно-таки проголодались послѣ верховой тряски. Выбравъ для этихъ цѣлей тѣнь большой березы, я поспѣшилъ прежде всего растянуть мои нывшіе члены на мягкой муравѣ; достали закуску, хлѣбъ, яица, кусокъ холоднаго мяса и бутылку наливки. Закусивъ съ аппетитомъ и закуривъ сигары, мы съ особеннымъ наслажденіемъ отдались кейфу тѣмъ болѣе, что главныя преграды нашего пути были уже за спиною, впереди оставалось еще верстъ десять до пустыни и одна только переправа и та—черезъ менѣе бурный Иркутъ. Я до сихъ поръ не могу забыть, какъ въ это время, мы, отдавшись блаженной нѣгѣ, лежа подъ деревомъ, лѣниво переговаривались и любовались и лазурнымъ небомъ и окружавшею насъ зеленою декораціею лѣса, вдругъ изъ-за деревьевъ появилась какая-то фигура всадника въ блестящемъ, сіявшемъ на солнцѣ, какомъ-то необыкновенномъ головномъ уборѣ быстро пронеслась по полянѣ и столь же быстро скрылась въ противоположной чащѣ деревьевъ, такъ что я едва успѣлъ разсмотрѣть гордое, надменное выраженіе на лицѣ всадника, не удостоившаго насъ даже косаго взгляда; вслѣдъ за нимъ пронеслись съ тою же быстротою двѣ болѣе скромныя фигуры бурятъ. Проводникъ объяснилъ намъ, что это одинъ изъ проживающихъ тутъ неподалеку главныхъ монгольскихъ ламъ. На меня появленіе этого оригинальнаго по костюму всадника среди дѣвственной глуши и окружавшаго насъ безлюдья произвело чисто театральный эффектъ.

Читальня-библіотека имени А. И. Герцена въ Ниццѣ

IV.

Получасовой нашъ отдыхъ кончился, мы снова взмостились на лошадей и поѣхали дальше. Переправа черезъ рѣку Иркутъ не представила никакихъ трудностей: рѣка въ этомъ мѣстѣ, хотя и шире обоихъ Зангисановъ, но зато теченіе ея менѣе быстро и менѣе бурно. За Иркутомъ мѣстность уже рѣзко измѣняется: высокія горы приближаются все ближе и тѣснѣе, и природа принимаетъ суровый альпійскій характеръ. Версты на 4 до Ниловой пустыни мы опять услышали грозный ревъ рѣки и вскорѣ поѣхали по берегу Эхе-угуна, опять такого же горнаго потока, какъ и Зангисаны, но только еще болѣе широкаго, а потому и болѣе шумнаго; а подъѣзжая къ самой пустыни шумъ этотъ переходитъ въ немолчный грохотъ, за которымъ намъ стало совершенно невозможно разговаривать между собою; это зависитъ отъ того, что передъ самою пустынью въ Эхе-угунъ впадаетъ съ сѣвера такой же бурный потокъ — Хонхолдой,—и воды обоихъ, смѣшиваясь вмѣстѣ, производятъ такой адскій шумъ, что даже глухой Кинастъ какъ-то одобрительно смотрѣлъ на меня и не безъ горделиваго сознанія указывалъ рукою на свои уши.

Но вотъ, наконецъ, и сама Нилова пустынь, заключающая въ себѣ нѣсколько зданій, расположенныхъ на берегу Эхе-угуна; тутъ гостинница, домикъ для купанья въ минеральной водѣ и пр. На противоположномъ берегу, на который переброшенъ мостъ, стоитъ деревянная, тогда новенькая церковь. Мѣстность при сліяніи двухъ бурныхъ потоковъ весьма живописна, противоположный берегъ гористъ и лѣсистъ, и недалекій отсюда высокій хребетъ Саянъ красиво замыкаетъ горизонтъ. Туранскія или, какъ ихъ здѣсь часто называютъ Тункинскія горячія сѣрныя воды давно пользовались извѣстностью за цѣлебность у бурятъ; со временемъ

стали наѣзжать сюда и русскіе, но долго жизнь здѣсь для больнаго человѣка была лишена самыхъ необходимѣйшихъ удобствъ. Такъ продолжалось до конца 40-хъ годовъ, когда однажды посѣтилъ эти мѣста, при своемъ объѣздѣ по епархіи, иркутскій архіерей Нилъ; замѣчательная красота мѣстности, безпомощность наѣхавшихъ больныхъ, репутація водъ, привлекавшихъ къ себѣ много некрещенныхъ, болота и пр.—все это вмѣстѣ навело его на мысль—устроить здѣсь миссіонерскій пунктъ для обращенія въ христіанство язычниковъ и въ то же время поднять значеніе минеральныхъ водъ. Планъ этотъ онъ не замедлилъ привести въ исполненіе и, помнится, въ 1850 г. освятилъ выстроенную имъ церковь, гостинницу и зданіе для ванны,—и мѣстность получила названіе Ниловой пустыни.

Когда мы подъѣхали къ скромному зданію гостинницы и слѣзали съ лошадей, къ намъ вышелъ съ крыльца на встрѣчу священникъ. Это былъ крѣпкій мускулистый человѣкъ лѣтъ 30-ти съ небольшимъ, скорѣе прекрасный типъ американскаго скваттера, ведущаго постоянную борьбу съ природою, живаго, энергичнаго и брыжжущаго здоровьемъ, чѣмъ чахлый типъ богослова-книжника. Его открытый взглядъ и покойныя манеры, чуждыя всякаго подобострастія и сдержанности, расположили насъ сразу въ его пользу. Какъ ни устали мы, и особенно я, послѣ необычной верховой тряски, однако вмѣсто отдыха, предпочли теперь же обойти въ сопровожденіи священника пустынь, ибо былъ уже 5-й часъ вечера, а солнце въ горахъ закатывается рано даже въ іюнѣ мѣсяцѣ. Первый нашъ визитъ, какъ и подобало, былъ сдѣланъ въ зданіе водъ; оно было самаго примитивнаго устройства и содержало въ себѣ довольно объемистый резервуаръ, въ который стекаетъ минеральная вода изъ источниковъ; запахъ сѣроводорода чувствительный, но не сильный; температура свыше 36°. Кинастъ меня уговорилъ выкупаться, и мы, на-скоро

раздѣвшись, погрузились въ воду, но высокая температура ея дѣлала купанье не особенно пріятнымъ, и мы наслаждались недолго. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что эти Туранскія минеральныя воды могутъ оказать большую и радикальную пользу въ случаяхъ ревматизма, подагры, нѣкоторыхъ формъ паралича, а также въ сифилисѣ, различныхъ сыпяхъ и др. формахъ болѣзней; чистый и свѣжій горный воздухъ такъ же много долженъ способствовать возстановленію силъ въ организмахъ, ослабленныхъ продолжительною хворью, а замѣчательная красота мѣстности можетъ сдѣлать изъ этого мѣста во всѣхъ отношеніяхъ прелестный курортъ, но, когда это случится, даже предвидѣть нельзя; уже одно то, что, чтобы попасть сюда, больной долженъ совершить 5-ти часовой переѣздъ верхомъ, дѣлаетъ это мѣсто недоступнымъ для трудно больныхъ, и долго, очень долго оно будетъ оставаться пустыню, а не курортомъ. Вотъ и теперь, несмотря на лучшій сезонъ для лѣченія, больныхъ вовсе не было, если не считать двухъ бурятъ, купавшихся, по словамъ сторожа, какъ имъ Богъ на душу положитъ.

Отсюда мы перешли на противоположный берегъ, осмотрѣли церковь и по довольно утоптанной и некрутой тропинкѣ взобрались на какую-то гору, гдѣ стоялъ незатѣйливый павильончикъ. Видъ съ этого пункта на долину Эхе-угуна, на монгольскія альпы, на раскинувшіяся подъ ногами постройки пустыни — былъ очень красивъ и сурово-грандіозенъ, но солнце уже закатывалось, а наступившая вечерняя заря и поднимавшійся отъ обѣихъ рѣкъ туманъ начинали окутывать все видимое въ полу-мракъ, а потому мы пошли домой, рѣшивъ, что завтра вернемся сюда, чтобы познакомиться съ окрестностями при лучшемъ освѣщеніи.

Дома мы поужинали сытно и пробесѣдовали часа два съ священникомъ. Первое впечатлѣніе насъ не обмануло: это былъ человѣкъ неглупый и живой; онъ страст-

но любилъ свою пустынь, былъ крайне дѣятеленъ, зналъ много ремеслъ, и въ его разсказахъ о длинной безконечной зимѣ, о его сношеніяхъ съ бурятами и съ пограничными урянхами [1]) и проч. слышался какой-то американскій эпосъ и не звучало ни малѣйшей ноты сожалѣнія о своей отрѣзанности отъ европейскаго міра. Мы рѣшили весь слѣдующій день провести въ пустыни, чтобы получше познакомиться какъ съ ея окрестностями, такъ и съ минеральными водами. Смущало насъ одно, что подъ вечеръ небо стало заволакивать тучами; священникъ не разъ выходилъ во дворъ и посматривалъ на небо, а возвращаясь, заботливо качалъ головой. Мы знали, что дурная погода могла испортить весь нашъ планъ, что небольшой дождь въ горахъ могъ затруднить переправу черезъ Зангисаны и Иркутъ, а продолжительное ненастье—замкнуть насъ на нѣсколько дней, даже на недѣлю, въ пустыни, что̀ ни въ какомъ отношеніи не входило ни въ планы Кинаста, ни мои. Часу въ 9-мъ мы разошлись, и я уснулъ, какъ убитый.

Утромъ, часу въ 5-мъ, меня разбудилъ сильный толчокъ; я открылъ глаза, надо мною стоялъ уже полуодѣтый Кинастъ и говорилъ: „Вставайте, вставайте и одѣвайтесь скорѣе; намъ надо поскорѣе выбираться отсюда“. Я вскочилъ. Въ комнату глядѣло сѣрое, темное утро, въ окна стучалъ частый дождь. Вошелъ священникъ: «Да, надо поторапливаться, а то плохо, и то не знаю, успѣете ли прорваться черезъ Зангисаны; я самъ хочу васъ проводить, чтобы не было бѣды. Лошадей уже осѣдлываютъ, не мѣшкайте, пейте чай и—айда въ дорогу!» Въ какія-нибудь 20 минутъ все было готово, и мы торопливо садились на лошадей. Священникъ до того простеръ свою любезность, что слышавъ наканунѣ мои

---

[1]) Монгольское племя, живущее около русско-китайской границы, которая, если не ошибаюсь, проходитъ въ 20-ти верстахъ отъ Ниловой пустыни.

жалобы на непривычную верховую ѣзду, осѣдлалъ мою лошадь сѣдломъ собственной работы, мягкостью и удобствами котораго не могъ нахвалиться,—и оно, дѣйствительно, показалось мнѣ очень покойнымъ. Небо было заволочено кругомъ, и упорный, не прекращавшійся ни на минуту дождь поливалъ насъ всю дорогу, такъ что вскорѣ промочилъ насквозь. Мы ѣхали крупною рысью и благополучно миновали одну за другою всѣ три переправы, хотя воды въ рѣкахъ уже замѣтно стало больше, и грохотъ ея раздавался еще оглушительнѣе. Несмотря на мягкость сѣдла, я, проскакавъ первый часъ сносно, началъ затѣмъ чувствовать такое утомленіе и разбитость во всѣхъ членахъ, что понемногу сталъ отставать отъ своихъ спутниковъ; мною овладѣвало непреодолимое желаніе слѣзть хоть минутъ на пять съ лошади и полежать на мокрой травѣ, но спутники мои продолжали скакать и погонять своихъ лошадей; я пробовалъ было кричать, умоляя ихъ подождать меня, но они даже не оборачивались, словно не слышали моего крика,—и я волей-неволей, чтобы не остаться одному въ этой дикой, безлюдной мѣстности, напрягалъ всѣ мои силы и въ нѣкоторомъ отдаленіи слѣдовалъ за своими товарищами, стараясь не потерять ихъ изъ виду. И только передъ самимъ въѣздомъ въ дер. Шимки, они, задержавъ своихъ лошадей, стали поджидать меня; взбѣшенный я подъѣхалъ къ нимъ и горячо напалъ на Киназта, говоря, что это было безчеловѣчно съ ихъ стороны не дать мнѣ немного отдохнуть, но жалкій видъ самого Киназта, страдальчески сокращенныя черты его лица меня тотчасъ же обезоружили, а священникъ, снисходительно улыбаясь, тотчасъ же принялся мнѣ доказывать, что, хотя они отлично слышали мои крики и просьбы остановиться, но, по его совѣту, согласились притвориться, будто не слышатъ, ибо малѣйшая остановка въ пути грозила имѣть если не гибельныя, то во всякомъ случаѣ весьма непріятныя послѣдствія для всего

нашего маленькаго каравана. Насилу добрались мы съ Кинастомъ до нашей квартиры, насилу слѣзли съ лошадей, и охая и хромая, поднялись въ отведенную намъ горницу. Здѣсь мы тотчасъ же попросили принести нѣсколько охапокъ сѣна и, разметавъ ихъ по полу, прикрыли ковромъ и немедленно растянулись; Кинастъ даже охалъ больше моего: ему сѣдломъ ссадило кожу и пришлось устраивать себѣ примочки. Онъ занялся этимъ, а меня тотчасъ же охватилъ глубокій сонъ. Мы проспали чуть не вплоть до вечера и, проснувшись, съ радостью увидали, что шедшій чуть не цѣлый день дождь началъ стихать, тучи мало-по-малу разрывались и тяжелыми облаками ползли по горамъ замыкавшимъ горизонтъ. Я совсѣмъ отдохнулъ, но Кинастъ чувствовалъ себя еще сильно разбитымъ, а потому мы рѣшили остаться ночевать въ Шимкахъ, и только завтра двинуться далѣе въ обратный путь.

V.

На завтра солнце весело глядѣло на насъ съ безоблачнаго неба, когда мы проснулись бодрые и совсѣмъ отдохнувшіе. Не спѣша и съ комфортомъ, мы напились чаю, приказали заложить нашъ тарантасъ и часовъ въ 10 утра выѣхали въ Тунку по порядочно-таки размытой дождемъ дорогѣ, весело болтая о вчерашнихъ невзгодахъ. Отъѣхавъ верстъ 7—8 отъ деревни, мы поровнялись съ дайцаномъ, который обратилъ на себя наше вниманіе при проѣздѣ въ передній путь,—и теперь мы остановились, чтобы осмотрѣть его. Память мнѣ измѣняетъ, и я боюсь, чтобы не впасть въ ошибки, подробно описывать его; помню, что тогда оригинальная внутренность его на меня сдѣлала довольно сильное впечатлѣ-

ніе; помню безобразныя статуи изъ металла и изъ дерева монгольскихъ боговъ (бурхановъ) съ многочисленными стоявшими передъ ними приношеніями или въ видѣ чашекъ, наполненныхъ зернами ржи, ячменя и т. д., или въ видѣ разноцвѣтныхъ лоскутьевъ и платковъ; лоскутья эти (омъ-мани-ласк-бад-ма-об-мени-бат-нихумъ) длинными разноцвѣтными лентами спускались внизъ съ высокаго потолка; помню множество мѣдныхъ трубъ разныхъ величинъ, употребляемыхъ при богослуженіи; сторожъ храма, по нашей просьбѣ, взялъ одну изъ большихъ трубъ и извлекъ изъ нея нѣсколько звуковъ,—получилось нѣчто оглушительное и дикое для европейскаго уха.

Мы поѣхали дальше и черезъ $^1/_2$ часа увидали кучку бурятскихъ юртъ, обратившую на себя наше вниманіе тѣмъ, что около проходившей подлѣ изгороди въ одномъ мѣстѣ стояли десятки привязанныхъ къ ней лошадей; издали доносился до насъ смѣшанный гулъ многихъ десятковъ голосовъ. На нашъ вопросъ, что тутъ такое происходитъ?—ямщикъ объяснилъ, что свадьба. Грѣшно было проѣхать мимо и не полюбопытствовать, и мы снова вылѣзли изъ тарантаса и пошли на шумъ. Буряты встрѣтили насъ весьма дружелюбно, многіе изъ нихъ были уже порядочно выпивши; сѣдой и сморщенный, какъ грибъ, отецъ жениха пригласилъ насъ въ свою юрту, гдѣ на почетномъ мѣстѣ на полу сидѣли, скрестивъ подъ себя ноги, женихъ и ближайшіе родственники. Нашъ приходъ мало смутилъ компанію, она только раздвинулась, и хозяинъ привѣтливо насъ попросилъ сѣсть подлѣ жениха; передъ нами тотчасъ же поставили на деревянной доскѣ по огромному куску жаренаго барана, но такъ какъ ѣсть приходилось съ грязной доски, да еще руками, то мы церемонно отдѣлались отъ угощенія, за то ужъ никакъ не могли отказаться, когда хозяинъ съ поклонами и упрашиваніями сталъ настаивать, чтобы мы выпили по деревянной чашкѣ

поднесеннаго намъ тарасуна (напитокъ совершенно однородный съ кумысомъ, только приготовляемый бурятами изъ коровьяго молока). Мы проглотили по нѣскольку глотковъ этого кисловатаго, прохладительнаго напитка и, пожавъ руки жениху и его компаніи, пожелали представиться и невѣстѣ. Насъ безъ затрудненія провели въ другую юрту, въ которой одинъ уголъ былъ отдѣленъ спускавшеюся сверху пестрою занавѣсью, и за этою-то занавѣсью сидѣла невѣста, окруженная старыми бурятками; нарядъ ея былъ общебурятскій, и главное украшеніе его составляла масса серебряныхъ монетъ, спускавшихся съ шеи на грудь. Невѣста видимо смутилась нашимъ приходомъ, а потому мы, не желая конфузить краснокожую красавицу, поспѣшили выдти вонъ, но, уходя, опять-таки должны были выпить нѣсколько глотковъ изъ грязныхъ деревянныхъ чашекъ. Мы тутъ же распростились съ гостепріимными бурятами и, отъѣхавъ съ версту, сдѣлали привалъ въ тѣни, чтобы позавтракать, и тутъ дочиста прикончили остатки взятой съ нами изъ Иркутска провизіи.

Сдѣлавъ еще нѣсколько верстъ пути, мы подъѣхали къ рѣкѣ (снова Иркутъ) и, хотя и замѣтили, что она при проѣздѣ нашемъ впередъ въ этомъ мѣстѣ не обратила на себя нашего вниманія, а теперь послѣ дождей обратилась въ солидную рѣку, тѣмъ не менѣе пустились въ бродъ; тарантасъ нашъ однако же вскорѣ завязъ посреди рѣки въ илѣ затопленнаго острова. Долго бились наши лошади, пока въ конецъ не измучились; ямщики отпрягли одну изъ пристяжныхъ и поѣхали въ только-что покинутый нами улусъ, гдѣ праздновалась свадьба, за помощью, а мы остались въ тарантасѣ среди рѣки; на бѣду нашу небо заволокло тучами и полилъ дождь. Въ такомъ печальномъ положеніи оставались мы около часу, когда человѣкъ 10 прибѣжавшихъ бурятъ, подпрягши своихъ свѣжихъ лошадей, при помощи шестовъ и гиканій насъ освободили. Поѣхали

дальше. Дождь продолжалъ упорно барабанить по кожѣ тарантаса,—и такимъ образомъ, сдѣлавъ снова верстъ 15, мы достигли послѣдней преграды, отдѣлявшей насъ отъ Тункинскаго села,—это былъ снова все тотъ же надоѣдливый Иркутъ, который отъ Иркутска до Ниловой пустыни, т. е. на протяженіи взадъ и впередъ 525 верстъ, намъ пришлось переѣзжать 14 разъ. Разливъ и въ этомъ мѣстѣ былъ великъ, а потому Кинастъ удержалъ ямщика, который уже совсѣмъ приготовился спуститься съ тарантасомъ въ рѣку, и настоялъ, чтобы онъ предварительно верхомъ попробовалъ, не очень ли глубоко, и возможенъ ли переѣздъ. Результатъ вышелъ не поощрительный: лошадь плыла у самаго берега, и въ какихъ направленіяхъ ни пробовалъ ямщикъ, броду нигдѣ найти не могъ.

Положеніе наше выходило довольно трагическимъ, мы оказывались замкнутыми между двумя рукавами Иркута, и ни вернуться въ Шимки, ни проѣхать въ Тунку не было возможности, а между тѣмъ дождь продолжалъ падать, и вода въ рѣкахъ еще больше прибывала. Мы стали держать съ Кинастомъ совѣтъ: такъ какъ день приходилъ къ концу, то надо было прежде всего озаботиться о ночлегѣ; на голой какъ ладонь, степной поверхности, гдѣ насъ застигла катастрофа, виднѣлось нѣсколько разбросанныхъ бурятскихъ юртъ, но, по словамъ ямщика, такъ называемыхъ зимниковъ, т. е. предназначенныхъ для зимняго житья; на лѣто же бурята покидаютъ эти жилища, откочевывая съ своими стадами въ иныя мѣста. Мы уже намѣревались объѣхать нѣкоторыя изъ этихъ юртъ и поискать, не найдется ли въ числѣ ихъ не запертой, гдѣ бы мы могли устроить себѣ пріютъ на ночь,—какъ вдругъ зоркій глазъ ямщика усмотрѣлъ, что изъ дымоваго отверстія одной изъ юртъ идетъ дымокъ. Обрадовались мы этому гостепріимному дымку неописанно и тотчасъ же поѣхали въ тарантасѣ цѣликомъ по степи къ этому жилищу. Въ юртѣ мы

нашли пожилаго бурята, весь костюмъ котораго составляли кожаные штаны, — это былъ рабочій плотникъ, возившійся съ топоромъ надъ починкою юрты; нашъ приходъ его очень изумилъ; на нашъ вопросъ, предложенный нами черезъ ямщика, — бурятъ по-русски не говорилъ, — нѣтъ ли по близости броду черезъ Иркутъ?—онъ отвѣчалъ—увы!—отрицательно. Этотъ отвѣтъ былъ данъ въ такой рѣшительной формѣ, что намъ ничего не оставалось, какъ покориться печальной неизбѣжности и устраивать нашъ ночлегъ въ сырой юртѣ.

Посреди жилища разведенъ былъ огонь, на которомъ бурятъ приготовлялъ свой незатѣйливый ужинъ, т. е. кипятилъ въ желѣзной сковородѣ воду, а въ ней плавало нѣсколько луковйцъ полевой лиліи (сараны). Въ насъ начиналъ подниматься аппетитъ, и мы не разъ упрекали себя, что такъ неосторожно и щедро уничтожили въ это утро весь запасъ своей провизіи; въ погребцѣ остался только чай и сахаръ, и къ счастію были два стакана, а потому мы, давъ буряту кончить его ужинъ, забрали его сковородку, по возможности постарались отмыть ее отъ грязи и вскипятили въ ней воду; въ стаканы мы клали немного чаю и затѣмъ наливали вскипяченную воду,—и такимъ образомъ получался напитокъ, если не особенно вкусный и не питательный, то во всякомъ случаѣ согрѣвающій въ окружающей насъ сырости, да и приготовленіе его служило намъ развлеченіемъ. Къ числу неудобствъ нашего неуютнаго помѣщенія прибавлялось то, что сквозь дырявую крышу ветхой юрты дождь проникалъ безпрепятственно внутрь ея, и кромѣ того дымъ отъ разведеннаго огня плохо выходилъ черезъ дымовое отверстіе, стлался по юртѣ, щипалъ горло и раздражалъ глаза. Напившись чаю, мы съ трудомъ отыскали въ нашемъ помѣщеніи небольшое пространство, болѣе другихъ защищенное отъ дождя, и, закутавшись въ теплое наше платье, улег-

лись съ Кинастомъ, плотно прижавшись другъ къ другу.

На утро мы проснулись въ грязи и сырости, но дождь за ночь пересталъ, и солнце всходило на безоблачномъ небѣ. Опять на вчерашній манеръ мы напились чаю и потолковали о нашемъ положеніи; оно было не завидно, но и называть его безвыходнымъ, конечно, никакъ нельзя было, потому что мы могли послать верхомъ ямщика въ Тункинское село и поручить привезти намъ какого-нибудь провіанта. Прежде чѣмъ рѣшиться на это мы согласились пойти въ разныхъ направленіяхъ по берегу и поискать броду; мысль не особенно геніальная, потому что и Кинастъ и я должны были искать этотъ бродъ только при помощи зрѣнія, ибо ни одинъ изъ насъ лѣзть въ воду не намѣревался. И дѣйствительно, пробродивъ часа полтора по высокой и мокрой травѣ, я возвращался домой, усталый и отощалый отъ голода, но безъ всякаго утѣшительнаго результата изъ своей рекогносцировки. Подходя къ юртѣ, я уже издали увидалъ Кинаста, стоявшаго на ея порогѣ и оживленно махавшаго мнѣ руками; я поспѣшилъ и тотчасъ же услышалъ радостную вѣсть.

Вскорѣ послѣ нашего ухода въ поиски за бродомъ, бурятъ разговорился съ нашимъ оставшимся при лошадяхъ ямщикомъ и прямо объявилъ ему, что есть прекрасный бродъ и что онъ согласенъ намъ его указать, если господа дадутъ ему двугривенный. Двугривенный! — и мы оба хохотали, какъ дѣти, потому что, попроси съ насъ бурятъ и 5 р., мы бы дали ему съ благодарностью. Наивный дикарь потомъ сознался, что онъ намъ наканунѣ наотрѣзъ сказалъ, что не знаетъ брода, думая, что послѣ того мы будемъ сулить ему деньги за то, чтобы онъ намъ какъ нибудь помогъ добраться до Тунки; намъ же послѣ его рѣшительнаго невѣдѣнія брода и въ голову не приходило настаивать, въ убѣжденіи, что нельзя же создать того, чего нѣтъ;

а между тѣмъ мы завладѣли его помѣщеніемъ и, какъ видѣлось, на-долго, а главное отобрали его единственную кухонную посуду—сковороду,—и онъ рѣшилъ за двугривенный вернуть насъ въ цивилизованный міръ. Лошади вскорѣ были запряжены, мы покинули нашъ первобытный и голодный отель и, сдѣлавъ объѣздъ версты въ четыре, бурятъ насъ доставилъ къ дѣйствительно весьма удобному броду.

Дальше разсказывать нечего; обратный путь уже описанъ раньше, и на завтра мы выѣзжали въ Иркутскъ, вполнѣ довольные своею поѣздкою и ея оригинальными впечатлѣніями.

Три встрѣчи съ Герценомъ.

I.

Въ 1859 г. осенью я жилъ въ Парижѣ и занимался въ тамошнихъ больницахъ. Переписка у меня съ Сибирью велась дѣятельная, а всѣ иркутскія письма тогда были полны подробностями о только-что происшедшей дуэли между двумя чиновниками особыхъ порученій при генералъ-губернаторѣ гр. Н. Н. Муравьевѣ-Амурскомъ, Беклемишевымъ и Неклюдовымъ. Туземное общество всегда относилось недружелюбно къ приближеннымъ Муравьева, далеко не умѣвшимъ держать себя съ должнымъ тактомъ и смотрѣвшимъ на туземцевъ съ явнымъ и высокомѣрнымъ пренебреженіемъ, а на свою службу въ Сибири какъ на временный этапъ своей служебной карьеры. Отношенія между этими двумя партіями, туземной и «навозной», какъ ее тогда называли въ Сибири, были и прежде—какъ покоренныхъ къ побѣдителямъ, а съ пробужденіемъ общественнаго сознанія, съ восшествіемъ на престолъ Александра II-го, стали дѣлаться еще болѣе натянутыми—тѣмъ болѣе, что къ этому времени и между туземцами появилось много людей съ университетскимъ образованіемъ. Поэтому, когда дуэль, происшедшая изъ-за какихъ-то пустяковъ, кончилась смертью, то скрытое недовольство стало переходить въ явное, и въ обществѣ стали открыто говорить, что это была не дуэль, а простое убійство, такъ какъ

при ней не были соблюдены нѣкоторыя гарантіи, установленныя обычаемъ; что секунданты Неклюдова не были выбраны имъ самимъ, а навязаны ему противникомъ и т. п.; въ силу чего общественная совѣсть начинала прямо требовать строгаго слѣдствія и суда надъ виновникомъ. Муравьевъ, который очень любилъ Б—а, страшно раздражался всѣми этими толками и пересудами и, давъ волю своей обычной горячности, началъ рвать и метать и тѣмъ еще болѣе осложнилъ все дѣло. Такъ, узнавъ, что особенно оживленные разговоры о дуэли ведутся въ частной библіотекѣ Шестунова, онъ распорядился немедленно закрыть ее, а самого Шестунова выслалъ административно за Байкалъ; тому же наказанію подвергся и извѣстный Буташевичъ-Петрушевскій, бывшій тогда на поселеніи и служившій въ Иркутскѣ по найму въ одномъ присутственномъ мѣстѣ; до этого времени онъ считался въ числѣ близкихъ къ Муравьеву людей и часто бывалъ у него, но въ дѣлѣ дуэли онъ примкнулъ къ оппозиціи и громко говорилъ о неправильностяхъ, сопровождавшихъ дуэль, а потому тоже былъ высланъ въ Енисейскую губернію.

Всѣ эти крутыя мѣры и гоненія только подливали масло на огонь и еще болѣе волновали общество,—а потому, понятно, что всѣ получаемыя мною письма только и говорили, что о различныхъ эпизодахъ этой исторіи и борьбы между Муравьевымъ и туземной интеллигенціей,—борьбы неравной, потому что Муравьевъ былъ вооруженъ всѣми аттрибутами своей диктаторской власти и не стѣснялся ими пользоваться. Узнавъ подробно изъ писемъ всю исторію дуэли и ея послѣдствія и будучи хорошо знакомъ со всѣми мѣстными вѣяніями, я рѣшился дать ей полную огласку и, изложивъ ее въ статьѣ, послалъ въ Лондонъ къ Герцену при письмѣ съ просьбою напечатать въ *Колоколѣ* или въ только-что начавшемъ выходить прибавленіи къ нему *Подъ Судъ*. Черезъ двѣ недѣли статья появилась въ 2-мъ № *Подъ*

Судъ и произвела въ Иркутскѣ большой переполохъ, причемъ встрѣчена была иркутской публикой съ радостью, въ средѣ же приближенныхъ Муравьева вызвала скрежетъ зубовный и тщетное желаніе добраться до виновника столь непріятнаго для нихъ разоблаченія. Въ средѣ этой рѣшено было не оставлять появившейся статьи безъ возраженія, но такъ какъ Герценъ не довѣрялъ оффиціальнымъ опроверженіямъ и едва ли помѣстилъ бы таковое въ своемъ изданіи, то составленное въ Иркутскѣ возраженіе отправлено было къ нему при письмѣ Бакунина, въ это время только-что переведеннаго изъ Томска въ Иркутскъ на поселеніе. Онъ, какъ свѣжій человѣкъ, не могъ знать ни обстоятельствъ дѣла, ни отношенія иркутскихъ партій, но, уступая желанію Муравьева, согласился выступить посредникомъ между нимъ и Герценомъ и попросилъ послѣдняго напечатать возраженіе. Понятно, что такая рекомендація имѣла въ глазахъ Герцена громадный вѣсъ, и возраженіе противъ моей статьи было напечатано зимой 1860—61 гг. Я это время жилъ въ Москвѣ и держалъ свой докторскій экзаменъ, но такъ какъ *Колоколъ* тогда циркулировалъ свободно въ Россіи, то я вскорѣ узналъ объ этомъ возраженіи и рѣшилъ не оставлять его безъ отвѣта. Когда начались лѣтнія вакаціи и вмѣстѣ съ ними перерывъ въ моихъ экзаменахъ, я въ началѣ іюня 1861 г. поѣхалъ за границу, имѣя въ виду прежде всего посѣтить Герцена и уговорить его на помѣщеніе моего отвѣта.

Изъ Петербурга отправился я на пароходѣ до Любека, оттуда по желѣзной дорогѣ черезъ Брюссель въ Остенде, гдѣ, сѣвши въ 12 часовъ ночи на пароходъ, я на завтра утромъ вошелъ въ Темзу и часу въ 4-мъ дня высадился въ Лондонѣ у Лондонскаго моста. Покуда я устроился въ отелѣ, подошелъ обѣденный часъ, когда явиться къ Герцену въ первый разъ было неудобно, а потому я отложилъ свое свиданіе съ нимъ до завтра и весь этотъ

вечеръ до изнеможенія силъ проброцилъ въ дремучемъ для меня лѣсу шумныхъ улицъ колоссальнаго города. Но зато на слѣдующій день, тотчасъ же послѣ кофе, я взялъ кэбъ и поѣхалъ разыскивать Orset House, гдѣ жилъ тогда Герценъ; но каково же было мое горе, когда, послѣ продолжительнаго переѣзда, позвонивъ у красиваго дома, я отъ отворившаго мнѣ дверь лакея узналъ, что Герценъ болѣе недѣли какъ уѣхалъ въ Парижъ и долженъ скоро вернуться, но когда именно—навѣрное извѣстно не было. Перенестись безостановочно, какъ я, такое пространство изъ Петербурга, переплыть Ламаншъ единственно затѣмъ, чтобы узнать, что Герцена въ Лондонѣ нѣтъ, было, конечно, очень досадно,—но затѣмъ являлся еще болѣе досадный вопросъ,—что же дѣлать дальше? Оставаться на неопредѣленное время въ Лондонѣ, гдѣ у меня не было ни одной знакомой души, вовсе не улыбалось, такъ какъ съ достопримѣчательностями города я былъ знакомъ по моей прежней поѣздкѣ, а потому я рѣшилъ, узнавъ отъ лакея парижскій адресъ Герцена, уѣхать въ тотъ же день въ Парижъ, хотя въ то же время сознавалъ возможность разъѣхаться съ Герценомъ и окончательно не достигнуть никакого результата.

На завтра я уже былъ въ Парижѣ и спрашивалъ у привратницы дома въ Люксембургской улицѣ, тутъ ли еще Герценъ и можно ли его видѣть? Получивъ въ отвѣтъ, что онъ возвращается въ Лондонъ и что его теперь нѣтъ дома, я оставилъ свою визитную карточку, надписавъ на ней просьбу принять меня завтра въ 9 часовъ утра.

На слѣдующій день въ назначенное время я былъ снова въ Люксембургской улицѣ, и меня ввели въ салонъ, куда не замедлилъ тотчасъ же выйти и Герценъ, радушно протягивая руку и прося садиться. Я съ понятнымъ любопытствомъ вглядывался въ черты знаменитаго писателя. Ему тогда было 45 или 46 лѣтъ, и

чуть замѣтная сѣдина начинала пробиваться въ его подстриженной бородѣ; видѣнные мною фотографическіе портреты очень были схожи съ оригиналомъ, но что болѣе всего очаровывало въ немъ и чего не въ состояніи была передать никакая фотографія — это удивительно живые, глубокіе глаза, которые, освѣщая огнемъ это красивое лицо съ высокимъ, прекрасно очерченнымъ лбомъ, придавали ему особенную привлекательность.

Отрекомендовавшись, я тотчасъ же разсказалъ ему свою неудачную поѣздку въ Лондонъ и свой страхъ разъѣхаться съ нимъ на пути между Лондономъ и Парижемъ. „И имѣли основаніе бояться,—сказалъ онъ, — потому что я завтра же отправляюсь обратно въ свою лондонскую берлогу. Здѣсь заживаться мнѣ не дадутъ, такъ какъ я изгнанъ изъ предѣловъ Франціи и теперь пріѣхалъ только по особенному разрѣшенію французскаго императора, вслѣдствіе ходатайства передъ нимъ принца Наполеона. Мнѣ надо было непремѣнно попасть на материкъ, чтобы проститься съ моимъ сыномъ, который надняхъ долженъ отправиться въ дальнюю ученую экспедицію съ профессоромъ Фогтомъ. Наживать новаго столкновенія съ парижской полиціею я не хотѣлъ, а потому порѣшилъ пріѣхать сюда не иначе, какъ вооруженный законнымъ разрѣшеніемъ и для этого воспользовался своимъ знакомствомъ съ принцемъ Наполеономъ. У принца—страсть корчить изъ себя радикала и заигрывать съ революціонными представителями всѣхъ странъ; вотъ въ бытность его въ Лондонѣ онъ завернулъ съ визитомъ и ко мнѣ и выразилъ сочувствіе къ моей дѣятельности. И теперь, когда мнѣ понадобилось побывать въ Парижѣ, я написалъ ему письмо съ просьбой выхлопотать мнѣ разрѣшеніе у Наполеона III на свободный кратковременный пріѣздъ и тотчасъ же получилъ отъ принца увѣдомленіе, что его кузенъ соизволилъ разрѣшить. Проживъ здѣсь, я, сколько нужно,

успѣлъ повидаться съ старыми пріятелями, и пора отправляться во-свояси».

Послѣ того я приступилъ къ цѣли моего визита, постарался сколько возможно безпристрастнѣе очертить характеръ двухъ враждующихъ сибирскихъ партій—туземцевъ и наѣзжихъ чиновниковъ. Я зналъ, что возраженіе противъ моей статьи было патронировано Бакунинымъ, зналъ, что такое покровительство должно быть очень вѣскимъ въ глазахъ Герцена, но тѣмъ не менѣе просилъ у послѣдняго разрѣшенія написать и помѣстить въ *Колоколѣ* мой отвѣтъ на возраженіе. Я лично не былъ знакомъ съ Бакунинымъ, потому что онъ пріѣхалъ въ Иркутскъ послѣ моего отъѣзда, но изъ всѣхъ писемъ моихъ иркутскихъ знакомыхъ я уже видѣлъ, что онъ вскорѣ послѣ прибытія возбудилъ противъ себя всю молодежь тѣмъ, что всецѣло примкнулъ къ генералъ-губернаторской партіи. Занятіе такой позиціи такъ категорически противорѣчило всей репутаціи и предшествовавшей дѣятельности знаменитаго агитатора, что становило всѣхъ въ тупикъ и могло быть объяснено только тѣмъ, что Бакунинъ, попавши въ Иркутскъ на поселеніе, былъ встрѣченъ съ родственнымъ радушіемъ генералъ-губернаторомъ Муравьевымъ, которому онъ приходился племянникомъ, и тотчасъ же сдѣлался постояннымъ членомъ интимнаго кружка Муравьева. Къ тому же вся эта борьба двухъ элементовъ, пришлаго и туземнаго, вращавшаяся въ узкой сферѣ провинціальныхъ интересовъ, не могла интересовать его, коновода общечеловѣческой революціи, и, вѣроятно, являлась ему съ высоты его орлинаго полета слишкомъ мелкой и ничѣмъ не отличающейся отъ обычныхъ сплетенъ и дрязгъ провинціальной жизни. А можетъ быть, работая уже въ головѣ надъ планомъ своего бѣгства изъ Сибири черезъ Америку, который онъ и привелъ въ исполненіе въ лѣто того же 1861 года, Бакунинъ хотѣлъ для болѣе вѣрнаго обезпеченія себѣ успѣха завоевать благорасположеніе

какъ Муравьева, такъ и властныхъ его фаворитовъ и вѣрно разсчиталъ, что услуга, оказанная его содѣйствіемъ для помѣщенія ихъ возраженія въ *Колоколѣ*, принесетъ ему лично большую пользу.

Герценъ выслушалъ весьма внимательно мою правдивую и безпристрастную передачу иркутскихъ раздоровъ (а безпристрастенъ я былъ до того, что во многомъ отдавалъ полную справедливость самому Муравьеву и далеко не во всемъ оправдывалъ и моихъ друзей-туземцевъ) и сказалъ: «Я вѣрю совершенно, что правда на вашей сторонѣ, а не на сторонѣ вашихъ противниковъ; даже помѣщенное мною противъ вашей статьи возраженіе—очень неубѣдительно на мой взглядъ и далеко не разбиваетъ всѣхъ вашихъ доводовъ; самый тонъ его мнѣ не нравится, но я не могъ отказать Бакунину въ его напечатаніи. Мало того, что съ Бакунинымъ меня связываетъ старинная дружба; я никогда не могу и даже не долженъ забывать, что этотъ человѣкъ всю свою жизнь борется за человѣческую свободу и чего-чего не вынесъ онъ за упорство свое въ этой неравной борьбѣ, и за непреклонность своихъ убѣжденій сидѣлъ и въ австрійскихъ, и въ русскихъ крѣпостяхъ, и вотъ теперь засаженъ, быть-можетъ, навсегда въ Сибири. У меня рѣшительно не поднялась бы рука напечатать что-нибудь противъ него. А потому не сердитесь на меня; я вамъ вѣрю; хотя разсказъ вашъ заставляетъ тускнѣть образъ героя Бакунина, но вы поймете сами, что печатать мнѣ теперь какое-нибудь разоблаченіе противъ него, когда онъ въ ссылкѣ и не можетъ ничего сказать въ защиту своихъ поступковъ, было бы съ моей стороны болѣе чѣмъ непростительно. Правда — мнѣ мать, но и Бакунинъ — мнѣ Бакунинъ» — заключилъ онъ.

Какъ ни былъ я огорченъ своей неудачей, но настаивать далѣе на помѣщеніи моей статьи не представлялось никакой возможности: отказъ Герцена былъ слишкомъ категориченъ, а потому разговоръ нашъ тотчасъ же

перешелъ на другіе предметы; я передалъ кой-какіе документы по сибирскому управленію для напечатанія въ *Колоколѣ*. Потомъ Герценъ сталъ разспрашивать о послѣднихъ русскихъ новостяхъ, объ общихъ знакомыхъ; въ это время въ комнату влетѣла прелестная дѣвочка, лѣтъ 10-ти, бросилась на шею Герцена и, поцѣловавъ нѣсколько разъ, также быстро выпорхнула изъ комнаты; Герценъ не безъ родительской гордости сказалъ: „это Ольга — вторая моя дочь". Вскорѣ постучался и вошелъ въ комнату молодой человѣкъ, котораго Герценъ, какъ оказалось, видѣлъ въ первый разъ и которому назначилъ это утро для свиданія. То былъ полякъ, не говорившій по русски, а потому разговоръ начался на французскомъ языкѣ. Пришедшій жаловался на неудачу какой-то только-что предпринятой имъ политической агитаціи, на встрѣчаемое имъ общее равнодушіе. Боясь быть лишнимъ при ихъ разговорѣ, я всталъ и простился. Герценъ проводилъ меня до выходной двери и дружески простился, приглашая въ слѣдующій разъ навѣстить его въ Лондонѣ.

II.

Но свидѣться съ нимъ во второй разъ мнѣ пришлось не въ Лондонѣ, а въ Женевѣ. Это случилось въ 1865 году, въ началѣ сентября, когда я на пути въ Италію остановился на сутки въ Женевѣ, чтобы повидаться съ декабристомъ А. В. Поджіо и его семьей, проживавшими въ этомъ городѣ. Утромъ я былъ у Поджіо и нашелъ старика очень озабоченнымъ болѣзнью своей жены; въ разговорѣ я, между прочимъ, узналъ, что Герценъ живетъ на дачѣ La Boissière, минутахъ въ 10-ти ходьбы изъ Женевы, и рѣшилъ немедленно же зайти къ нему; а

потому, условившись съ Поджіо, что я приду къ нему обѣдать и провести вечеръ, я отправился отыскивать жилище Герцена. По дорогѣ въ Chêne въ большомъ тѣнистомъ саду стоялъ совсѣмъ скрытый деревьями съ дороги домъ, который я искалъ; я позвонилъ у чугунной рѣшетки. Какая-то старушка повела меня по аллеѣ къ дому, чтобы доложить Герцену, но, уже подходя, я увидалъ его на террасѣ, съ любопытствомъ вглядывавшагося въ меня. Въ первый моментъ онъ меня не призналъ, но лишь только я себя назвалъ, обрадовался мнѣ, какъ старому знакомому и повелъ въ свой кабинетъ. На мои глаза онъ почти не измѣнился, только сѣдины прибавилось въ бородѣ, а блескъ выразительныхъ глазъ и юношеская живость рѣчи и движеній оставались тѣ же,— и я не подмѣтилъ въ немъ съ виду ничего, что бы говорило о разныхъ невзгодахъ, перенесенныхъ имъ со времени нашего парижскаго свиданія. Въ 1861 г. я видѣлъ его въ зенитѣ его славы; его имя и *Колоколъ* пользовались въ Россіи не только популярностью, но и представляли изъ себя своего рода высшую инстанцію, къ которой апеллировали всѣ искавшіе правды — и даже правительство не оставалось совсѣмъ глухо и нечувствительно къ тѣмъ внушеніямъ и замѣчаніямъ, какими такъ щедро и въ такой остроумной формѣ надѣлялъ его нашъ знаменитый публицистъ «съ того берега». Съ тѣхъ поръ много измѣнилось: польское возстаніе и радикальное отношеніе къ нему *Колокола*, наступившая затѣмъ и постепенно усилившаяся реакція — все это прямо отозвалось на положеніи Герцена тѣмъ болѣе, что русское общество не могло оказать ему существенной поддержки, а огромное реакціонное большинство съ жадностью прислушивалось къ злобнымъ инсинуаціямъ противъ Герцена, и индифференты легко проникались ими.

Съ этой темы и началась этотъ разъ наша бесѣда. Герценъ, безъ малѣйшей желчи, но съ искренней грустью, замѣтилъ, что реакціонное настроеніе не правительства, а

именно общества онъ чувствуетъ осязательно на умаленіи своего авторитета; не только уменьшился спросъ на *Колоколъ*, который расходится далеко не въ такомъ числѣ, какъ было до 1863 г., но значительно сократилось и число корреспонденцій изъ Россіи и число посѣщавшихъ его туристовъ, прежде въ такомъ изобиліи снабжавшихъ его разными извѣстіями и пикантными новостями для изданія. Онъ самъ сознавалъ, что теряетъ почву подъ ногами, неясно понимаетъ причинную связь между многими жгучими вопросами, волнующими современную Россію, — словомъ, что большее его отчужденіе отъ родины неизбѣжно вліяетъ невыгодно на свѣжесть его органа и на недостаточную отзывчивость его ко многимъ крупнымъ явленіямъ текущей государственной и общественной жизни. „Какъ мнѣ ни печально такое сознаніе" — говоритъ Герценъ, — но я не на столько самонадѣянъ, чтобы отрицать фактъ охлажденія ко мнѣ русской публики. Видя невозможность оказывать впредь давленіе на правительственные круга посредствомъ нашего общественнаго мнѣнія, которое стало ко мнѣ гораздо равнодушнѣе, я хочу теперь измѣнить свою тактику и обратиться къ суду европейскаго общества, хочу попробовать издавать *Колоколъ* на французскомъ языкѣ и сообщать въ немъ свѣдѣнія о русскихъ порядкахъ.... Жаль мнѣ мой прежній русскій *Колоколъ*, но дѣлать нечего!»

Лично я всегда, помимо преклоненія передъ писательскимъ талантомъ Герцена и искренностью его политическихъ убѣжденій, придавалъ большое значеніе *Колоколу*, но въ то же время видѣлъ ясно, что я представляю только ничтожное русское меньшинство и что мой протестъ противъ охлажденія къ нему русской публики былъ бы въ глазахъ Герцена неубѣдительнымъ въ виду аргументовъ, которые ему на каждомъ шагу даетъ дѣйствительность. Все же я попробовалъ было отстаивать сохраненіе *Колокола* въ русской редакціи. Но Герценъ

мнѣ возразилъ: „Да что же мнѣ-то дѣлать, когда газета вотъ уже два года приноситъ мнѣ чувствительный убытокъ? Не такія теперь времена, чтобы условія русской жизни скоро снова измѣнились и чтобы я могъ разсчитывать на то, чтобы изданіе окупало мои затраты на него. Мои же собственныя дѣла вовсе не такъ блестящи, чтобы не думать о будущемъ, о черномъ днѣ; вѣдь у меня семья большая. А капиталъ мой и безъ того значительно-таки посократился за послѣдніе годы; у меня крупная часть его была помѣщена въ американскихъ бумагахъ, а когда началась война сѣвера съ югомъ и всѣ американскія бумаги стали страшно и быстро падать,—мой банкиръ посовѣтовалъ поскорѣе развязаться съ ними, и я имѣлъ глупость его послушать и продалъ, конечно, съ весьма чувствительной для меня потерей. Теперь эти бумаги снова приходятъ по окончаніи войны въ прежнюю свою цѣнность, и я наказанъ чувствительнымъ уменьшеніемъ своего годоваго дохода; это наказаніе мнѣ подѣломъ и мнѣ теперь стыдно передъ самимъ собой, что я могъ сомнѣваться въ успѣхѣ такой благородной борьбы какъ за уничтоженіе рабства — и гдѣ же? — въ этакой здоровой и органически развитой странѣ, какъ американская республика. Этого я никогда себѣ не прощу, и, право же, мнѣ не столько жаль моихъ пропавшихъ денегъ, сколько совѣстно за свое легкомысліе и недовѣріе къ Америкѣ“...

Не могу обойти мимо еще одного поразившаго меня замѣчанія Герцена, высказаннаго при этомъ свиданіи. Я предупредилъ его между прочимъ, что вскорѣ къ нему явится одинъ мой пріятель, человѣкъ уже пожилой, умный, и знакомство съ которымъ могло быть только пріятно Герцену; говоря объ этомъ господинѣ, я упомянулъ также, что онъ хочетъ совсѣмъ порвать связи съ Россіею и примкнуть къ числу эмигрантовъ. На этомъ Герценъ прервалъ меня съ необыкновенною живостью: „Бога ради, уговорите вашего пріятеля не

дѣлать этого; эмиграція для русскаго человѣка — вещь ужасная; говорю по собственному опыту; это—не жизнь и не смерть, а это нѣчто худшее, чѣмъ послѣдняя, — какое-то глупое, безпочвенное прозябаніе. Пускай лучше вашъ пріятель поживетъ за границей, осмотрится самъ и хорошенько провѣритъ себя, прежде чѣмъ рѣшится совсѣмъ сжечь корабли, что онъ всегда успѣетъ сдѣлать. Мнѣ не разъ приходится раздумывать на эту тему, - и вѣрьте, не вѣрьте, — но если бы мнѣ теперь предложили на выборъ мою теперешнюю скитальческую жизнь или сибирскую каторгу, то, мнѣ кажется, я бы безъ колебаній выбралъ послѣднюю. Я не знаю на свѣтѣ положенія болѣе жалкаго, болѣе безцѣльнаго, какъ положеніе русскаго эмигранта». Герценъ всегда былъ человѣкомъ искреннимъ и далекимъ отъ всякой рисовки, а потому и этимъ словамъ его нельзя не вѣрить, и послѣ нихъ невольно спрашиваешь себя, если и этотъ человѣкъ при всемъ своемъ космополитизмѣ и живомъ интересѣ общечеловѣческими интересами, при прямомъ общеніи съ лучшими и блестящими міровыми дѣятелями, при всей своей яркой славѣ, могъ такъ думать и говорить послѣ 20-тилѣтняго изгнанія, то что же должно чувствовать большинство русскихъ эмигрантовъ, менѣе талантливыхъ и менѣе приспособленныхъ и къ дѣятельности, и къ образу жизни на чуждомъ Западѣ, сплошь и рядомъ съ плохимъ знаніемъ чужихъ языковъ и въ довершеніе всего часто безъ всякихъ средствъ къ жизни?

Просидѣвши часа полтора у Герцена, я сталъ прощаться, говоря, что завтра въ 6 часовъ утра уѣзжаю черезъ Симплонъ въ Италію, а потому болѣе съ нимъ не увижусь; онъ было звалъ меня отобѣдать вмѣстѣ, но я уже далъ слово въ этотъ день обѣдать у Поджіо. «Я знаю, — сказалъ Герценъ, — что у бѣднаго Поджіо жена очень серьезно больна и, можетъ, вамъ неудобно будетъ оставаться тамъ вечеръ, а мнѣ бы еще хотѣлось

поболтать съ вами. Условимтесь на всякій случай такъ: если Поджіо отпуститъ васъ отъ себя, то назначимъ другъ другу свиданіе въ кафе, ну хоть часовъ въ 8 вечера; но я васъ долженъ предупредить, что здѣсь много русскихъ шпіоновъ и выставляться вамъ въ моей компаніи было бы неосторожно и рискованно. Но противъ отеля, гдѣ вы остановились, есть очень укромный и свободный отъ любознательности этихъ господъ café de la Poste, и давайте сойдемся въ немъ; я приведу туда съ собой и Огарева, чтобы вы могли познакомиться съ нимъ. Да ужъ кстати... вѣдь вы вѣрно и во Флоренцію заѣдете?» Я отвѣчалъ, что непремѣнно, такъ какъ попадаю въ среднюю Италію въ первый разъ, а потому отвожу на Флоренцію дней пять для осмотра ея галлерей и церквей. «Вотъ и прекрасно,—продолжалъ Герценъ,—вѣдь у меня тамъ мой сынъ Саша, онъ теперь тамъ ассистентомъ у вашей медицинской знаменитости профессора Шиффа. Съ Сашей вамъ будетъ небезъинтересно познакомиться какъ съ коллегой, притомъ онъ вамъ пригодится какъ чичероне по Флоренціи, которую знаетъ, какъ свои пять пальцевъ; наконецъ онъ сведетъ васъ и съ Шиффомъ, у котораго свой человѣкъ, а Шиффъ, по моему мнѣнію, одинъ изъ умнѣйшихъ и любопытнѣйшихъ людей нашего времени. Я сейчасъ же приготовлю Сашѣ письмо, да ужъ кстати и небольшую посылочку ему, если только это васъ не затруднитъ, и захвачу все это съ собой вечеромъ въ кафе».

На этомъ мы и разстались, но случилось такъ, что, отобѣдавъ у Поджіо, я просидѣлъ у него весь вечеръ, потому что старикъ, зная, что я на завтра рано уѣзжаю изъ Женевы, никакъ не хотѣлъ отпустить меня въ 8 часовъ. Вернувшись только около 11 часовъ вечера въ гостиницу, я нашелъ письмо и посылку во Флоренцію и записку на свое имя отъ Герцена, въ которой онъ писалъ, что просидѣли съ Огаревымъ въ café de la Poste до 9-ти часовъ, тщетно поджидая меня, и прощался со

мной до будущаго свиданія, прося еще разъ приложенныя письмо и посылку передать его сыну.

На завтра въ 6 часовъ утра я уѣхалъ изъ Женевы.

III.

Въ третій разъ мнѣ пришлось увидаться съ Герценомъ, и этотъ разъ совершенно случайно, въ сентябрѣ 1869 года, т. е. за 4 мѣсяца до его смерти. Я собирался послѣ моей обычной лѣтней заграничной поѣздки возвращаться въ Петербургъ и доживалъ послѣдніе дни моей вакаціи. Вернувшись однажды въ 1-мъ часу ночи изъ театра, я нашелъ у себя записку отъ жены большаго моего друга — профессора С. П. Боткина, который тоже въ это время находился въ Парижѣ передъ возвращеніемъ въ Петербургъ. Въ запискѣ А. А. Боткина просила меня зайти въ тотъ же вечеръ, или, если записка меня не застанетъ, то на завтра утромъ въ 10 часовъ къ нимъ въ отель, обѣщая мнѣ какой-то весьма пріятный сюрпризъ. На завтра же я отправился на зовъ, и А. А. Боткина встрѣтила меня словами: «ну, надѣюсь, что вы поблагодарите за сюрпризъ: вчера пріѣхалъ Герценъ, былъ вечеромъ у насъ и долженъ сейчасъ придти; мужъ его сегодня осмотритъ, потому онъ все хвораетъ, а потомъ мы всѣ позавтракаемъ у насъ». Герценъ вскорѣ пришелъ веселый и оживленный, что онъ особенно приписывалъ своему пріѣзду въ Парижъ, который очень любилъ и который всегда на него дѣйствуетъ, какъ онъ выразился, какъ шампанское; съ виду онъ замѣтно похудѣлъ, постарѣлъ, и цвѣтъ лица принялъ болѣзненный желтоватый оттѣнокъ; эта перемѣна тотчасъ же объяснилась для меня, когда онъ разсказалъ, что врачи нашли у него около года назадъ діабетъ

и, по совѣту ихъ, онъ взялъ курсъ лѣченія въ Виши, откуда теперь и пріѣхалъ и гдѣ лѣченіе принесло ему значительную пользу какъ въ самочувствіи, такъ и относительно количества выводимаго сахара. Бѣглаго взгляда на химическій анализъ однако было достаточно, чтобы убѣдиться, что процентъ сахара былъ все-таки высокъ и что дѣло было серьезное; такъ и посмотрѣлъ Боткинъ и предписалъ строжайшую діэту и на будущую весну—лѣченіе въ Карлсбадѣ. Сильно поморщился Герценъ; серьезно онъ никогда не хворалъ, а потому не умѣлъ стѣснять свои вкусы и привычки, а тутъ еще поѣздка въ Австрію, къ которой онъ чувствовалъ большую антипатію и для поѣздки въ которую надо было заручиться гарантіей, чтобы его не выдало австрійское правительство, какъ Бакунина... Строгая діэта какъ въ пищѣ, такъ и въ употребленіи вина, особенно его тяготила,—и онъ употребилъ все свое краснорѣчіе, чтобы убѣдить Боткиныхъ и меня обѣдать вмѣстѣ съ нимъ у извѣстныхъ рестораторовъ тѣ немногіе дни, которые намъ оставалось провести въ Парижѣ; мы согласились, но взяли съ него предварительно обѣщаніе, что обѣды будетъ заказывать не онъ и будетъ покорно подчинять свои гастрономическіе порывы нашему медицинскому контролю.

И дѣйствительно, такъ мы и сдѣлали; по причинѣ близкаго отъѣзда утренніе часы у Боткиныхъ и меня были расхватаны, а потому мы каждый день сходились прямо въ условленномъ заранѣе ресторанѣ и обѣдали вчетверомъ. Обѣды эти проходили очень оживленно, потому что Герценъ былъ неистощимъ на остроумные разсказы разныхъ эпизодовъ своей жизни; тогдашняго положенія Россіи мы мало касались, потому что и время тогда стояло глухое, да и Герценъ видимо уже поотсталъ отъ истиннаго пониманія вещей въ Россіи, хотя продолжалъ старательно слѣдить и живо интересоваться всѣмъ у насъ происходящимъ. Продолжалъ онъ въ то

время писать свои воспоминанія, и послѣ одного изъ обѣдовъ онъ тутъ же, въ отдѣльномъ кабинетѣ ресторана, вынулъ изъ кармана рукопись, приготовляемую имъ для печати и которой суждено было появиться только послѣ его смерти, и прочелъ намъ изъ нея нѣсколько блестящихъ страницъ; слѣдуетъ прибавить, что чтецъ онъ былъ превосходный. Два раза послѣ обѣда мы отправлялись всей компаніей въ театръ; въ первый разъ я сманилъ идти въ театръ Гимназіи, гдѣ въ то время шла комедія „Fanny Lear“, въ которой я восхищался игрой Паска въ прекрасно выдержанной ею безъ всякой шаржировки роли англичанки. И досталось же потомъ мнѣ за этотъ зазывъ! Піеса сама по себѣ дѣйствительно скроена ходульно и до того не понравилась Герцену, что онъ весь вечеръ трунилъ надо мной и по окончаніи спектакля предложилъ, что на слѣдующій разъ онъ выберетъ для насъ спектакль, и потомъ Боткины пусть рѣшатъ, чей выборъ былъ лучше, его или мой? И онъ на завтра повелъ насъ въ театръ Palais Royal, но къ моему немалому удовлетворенію, шедшія въ этомъ спектаклѣ піесы были до того плоски и балаганны, въ залѣ стояла такая духота, что мы не досидѣли даже до конца и закончили этотъ вечеръ у Боткиныхъ.

Изъ 4-хъ прожитыхъ мною въ Парижѣ дней, мы только разъ не сошлись обѣдать вмѣстѣ съ Герценомъ и вотъ по какому случаю. Въ это время проживалъ въ Парижѣ проѣздомъ Василій Петровичъ Боткинъ, извѣстный авторъ „Писемъ объ Испаніи“; ему тогда было 55 лѣтъ, но онъ представлялъ изъ себя совершенную руину, страдая уже нѣсколько лѣтъ хроническими опухолями ручныхъ и ножныхъ суставовъ, такъ что съ трудомъ двигался; голова же его была свѣжа, и онъ продолжалъ живо слѣдить за политикой, и за литературой, а въ особенности за музыкой и живописью и въ этихъ областяхъ слылъ тонкимъ зна-

токомъ. Съ Герценомъ онъ былъ не только современникъ, но, будучи также однимъ изъ видныхъ представителей литературнаго движенія 30-хъ и 40-хъ годовъ, принадлежалъ къ тому же тѣсному кружку западниковъ и тогда находился, какъ извѣстно, въ близкихъ дружескихъ сношеніяхъ. Съ годами же, когда Герценъ дѣлался все болѣе и болѣе радикальнымъ въ воззрѣніяхъ, Боткинъ напротивъ суживался и застывалъ въ прежнихъ своихъ доктринахъ, становился все болѣе и болѣе сухимъ эгоистомъ и злобно, съ пѣной у рта, относился, какъ консерваторъ и завзятый классикъ, къ новымъ вѣяніямъ и особенно къ реалистическому направленію описываемой эпохи; явнаго разрыва между Герценомъ и В. П. Боткинымъ не было, но они съ каждымъ годомъ удалялись другъ отъ друга въ противоположныхъ направленіяхъ и разошлись до того, что, съѣхавшись теперь одновременно въ Парижѣ, не искали даже случая повстрѣчаться. А между тѣмъ еще до пріѣзда Герцена въ Парижъ В. П. Боткинъ пригласилъ своего брата, профессора, его жену и меня отобѣдать вмѣстѣ у Вефура, и назначенный для этого день какъ разъ совпалъ съ тѣмъ вечеромъ, когда Герценъ долженъ былъ вести насъ въ Пале-Ройальскій театръ, а потому мы и сговорились съ Герценомъ сойтись съ нимъ послѣ обѣда около 8-ми часовъ въ ближайшій café de la Rotonde. В. П. Боткинъ, узнавъ о нашемъ соглашеніи, прямо высказался, что онъ, съ своей стороны, очень даже радъ увидать Герцена на нейтральной почвѣ. Къ концу обѣда я, видя, что скоро 8 часовъ, поспѣшилъ выйдти изъ ресторана раньше остальной компаніи и нашелъ Герцена уже сидѣвшимъ въ ожиданіи насъ за однимъ изъ столиковъ снаружи кофейной. Поздоровавшись, я немедленно его предупредилъ, что ему не миновать встрѣчи съ В. П., который сейчасъ же придетъ и выражаетъ большое желаніе увидаться съ нимъ. „Ну, я то, положимъ, видѣть его особеннаго желанія не имѣю,—отвѣ-

чалъ Герценъ,—да и избѣгать встрѣчи не вижу особой крайности. Для меня онъ давно покойникъ, да и покойникъ-то не изъ числа горячо оплакиваемыхъ".

Черезъ минуты двѣ — старые пріятели стояли другъ противъ друга и, присутствуя при этой встрѣчѣ, посторонній свидѣтель никогда бы не подумалъ, что между ними когда-нибудь существовали близкія сношенія и что они не видались другъ съ другомъ очень много лѣтъ. Герценъ былъ холодно спокоенъ, только на лицѣ его всегда открытомъ и ласковомъ, появилось что-то дотолѣ мнѣ незнакомое: его добродушная улыбка исчезла, а глаза приняли строгое и даже жестокое выраженіе. В. П. видимо не ожидалъ такого суроваго пріема, въ смущеніи усиленно закивалъ головою (это была его особенность), безпокойно заерзалъ на стулѣ и заговорилъ какимъ-то заискивающимъ, не своимъ естественнымъ голосомъ: „Давно, давно не видались, А. И; а вотъ къ намъ и старость подкралась; я все хвораю, едва таскаю ноги, безъ костыля не могу, да и вы тоже, какъ слышалъ отъ брата, не въ порядкѣ".

Послѣ банальныхъ фразъ о здоровьѣ обоихъ Герценъ спросилъ, какъ живетъ Тургеневъ? В. П. отвѣчалъ, что онъ въ письмахъ все тоже жалуется на здоровье и живетъ по прежнему въ Баденѣ съ Віардо, но всѣ они хотятъ перебраться на жительство въ Парижъ, и въ заключеніе спросилъ: „да вы развѣ не переписываетесь съ нимъ"?

— Ужъ будто вы этого отъ него не знаете! — съ явнымъ недовѣріемъ спросилъ Герценъ; — съ тѣхъ поръ какъ онъ написалъ свою политическую брошюру о внутреннемъ строѣ Россіи, я увидалъ, что между нами все порвано; соглашеніе возможно, когда расходишься въ мелочахъ, въ частностяхъ; ну а изъ того, какъ Тургеневъ ставитъ вопросъ, мнѣ столковаться съ нимъ нѣтъ никакой возможности; вотъ почему, когда онъ послѣ того написалъ мнѣ письмо съ объясненіями, я нашелъ,

что лучше мнѣ ему вовсе не отвѣчать. Я вѣдь двусмысленности въ отношеніяхъ и прежде, вы это помните, В. П., не допускалъ, а теперь и подавно; вѣдь вы это помните?"—какъ-то внушительно переспросилъ Герценъ, глядя прямо въ лицо пріятеля.

Тотъ потупился и снова заёрзалъ безпокойно на стулѣ, говоря: „Помню, помню, а жаль, очень жаль, что вы разошлись; Тургеневъ такой славный человѣкъ, и талантъ его не слабѣетъ; романъ его „Дымъ" имѣлъ большой успѣхъ у насъ".

— Ну, ну,—сказалъ Герценъ,—вы я вижу, все тотъ же прежній, неизмѣнный Василій Петровичъ; успѣхъ для васъ все, и передъ всякимъ успѣхомъ вы готовы по прежнему падать на колѣна.

Слушая эти слова, я невольно вспомнилъ, какъ охарактеризовалъ того же Боткина Герценъ въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ *Колокола*, выразившись приблизительно такъ: „В. П. Боткинъ — это подсолнечникъ, поворачивающій свою голову ко всякому свѣтилу"; намекъ этотъ, вѣроятно, вспомнился и Василію Петровичу, и онъ еще болѣе съежился и какъ-то беззвучно засмѣялся, но не обидѣлся.

— Вотъ и Н—въ тоже большой талантъ, — между тѣмъ продолжалъ Герценъ, — а его исторія съ Огаревымъ такая, что для него одной тюрьмы мало, — и я нисколько не раскаиваюсь въ томъ, что не пустилъ его за порогъ своего дома, когда онъ въ пріѣздъ въ Лондонъ надумалъ сдѣлать мнѣ визитъ; онъ пріѣзжаетъ; я былъ дома, у меня были гости; онъ даетъ лакею въ передней для подачи мнѣ свою визитную карточку; я приказалъ лакею отдать ему карточку и сказать: „ не принимаютъ".

— Ну, а гдѣ и что нашъ общій пріятель Ханыковъ [1])?— спросилъ видимо все болѣе и болѣе озадачиваемый Василій Петровичъ.

---

1) Извѣстный оріенталистъ.

— Я все еще съ пріѣзда его не видалъ, — отвѣчалъ Герценъ,—но думаю, что здѣсь и живетъ по-прежнему въ Латинскомъ кварталѣ въ 4-мъ этажѣ. Высоконько, да въ Парижѣ надо привыкать къ лазанью по высотамъ. Кто-то разсказывалъ мнѣ такой анекдотъ про Гейне: онъ тоже жилъ въ 4-мъ этажѣ, и однажды при возвращеніи его домой Матильда его объявляетъ, что въ его отсутствіе приходилъ какой-то старичекъ и очень жалѣлъ, что не засталъ хозяина дома, и что по уходѣ его ей стало жаль, что она не попросила гостя отдохнуть въ салонѣ, потому что онъ былъ такой старенькій, такъ задохся отъ лѣстницы; при этомъ она подала оставленную гостемъ карточку, и Гейне прочиталъ на ней: „Александръ фонъ-Гумбольдтъ". „Ну, нашла кого жалѣть, — сказалъ онъ, — да этотъ старичекъ прытче насъ обоихъ и что ему слазить на 4-й этажъ, когда онъ лазилъ на Чимборазо".—Ну, однако, что же это я разболтался,—сказалъ Герценъ, вставая,—такъ мы рискуемъ пропустить нашъ спектакль. — И простились старые пріятели также холодно и натянуто, какъ встрѣтились, а черезъ годъ ни того, ни другаго изъ нихъ не было въ живыхъ.

Дни прошли быстро въ пріятной компаніи, но дольше я не могъ откладывать свой отъѣздъ въ Петербургъ, гдѣ меня ждали. Наканунѣ моего отъѣзда мы въ послѣдній разъ пообѣдали въ четверомъ и вечеръ провели у Боткиныхъ. Въ 11 часовъ я сталъ прощаться, потому что поѣздъ въ Берлинъ уходитъ около 8-ми часовъ утра, а мнѣ надо было еще уложиться. Герценъ вышелъ со мной; вечеръ былъ прекрасный, и Герценъ уговорилъ меня проводить его до Луврской гостиницы, гдѣ онъ остановился, хотя это мнѣ было вовсе не по пути. Дорогой онъ жаловался на свою скитальческую жизнь; болѣзнь и года вынуждали выбирать прочную осѣдлость, а между тѣмъ нигдѣ ему не нравилось; въ послѣднее время онъ колебался между Парижемъ и Брюсселемъ

и, какъ ни противенъ ему былъ наполеоновскій режимъ, склонялся больше въ пользу перваго, разсчитывая на частыя свиданья съ русскими и на болѣе живое общеніе съ Россіею. Дойдя до воротъ отеля, мы дружески обнялись, — и я обѣщалъ будущимъ лѣтомъ снова навѣстить его въ Парижѣ.

Но судьба судила иначе: въ январѣ 1870 г. Герценъ схватилъ воспаленіе легкаго, которое на діабетической почвѣ приняло неблагопріятный ходъ, и онъ черезъ нѣсколько дней умеръ, не доживъ нѣсколько мѣсяцевъ до полнаго крушенія столь ненавистнаго ему Наполеона III и съ нимъ всей императорской Франціи. Узнавъ объ этой преждевременной смерти въ Петербургѣ, я горько пожалѣлъ объ утратѣ Россіею одного изъ ея наиболѣе даровитыхъ писателей и среди его почитателей собралъ нѣсколько сотъ рублей и лѣтомъ же 1870 г. передалъ эту ничтожную лепту въ Женевѣ его семейству съ тѣмъ, чтобы въ памятникѣ, сооружавшемся ему въ Ниццѣ, было бы хоть сколько-нибудь и русскихъ общественныхъ денегъ. Это была дань моей еще не уходившейся тогда сентиментальности!

Свиданіе съ гр. Л. Н. Толстымъ.

Зиму 1894—95 г. я проводилъ въ Москвѣ послѣ 13-ти лѣтняго отсутствія изъ Россіи и жилъ на Маросейкѣ въ Петроверигскомъ переулкѣ, въ домѣ Боткина. Здоровье мое и особенно психика были такъ расшатаны, что я, чувствуя себя не въ состояніи заниматься больными, рѣшилъ совсѣмъ отказаться отъ медицинской практики; на это рѣшеніе подвинула меня и годъ отъ году усиливавшаяся глухота, мѣшавшая выслушивать добросовѣстно и точно грудь больнаго. Репутація однако моя, какъ врача, была установлена такъ прочно, что многіе больные не примирялись съ моими отказами и настаивали, чтобы я ихъ осмотрѣлъ, во что бы то ни стало. Чтобы не создавать исключеній и прецедентовъ я упорно отказывалъ. Но вскорѣ послѣ моего пріѣзда (около первыхъ чиселъ сентября), ко мнѣ зашелъ старшій сынъ проф. Маклакова, которому, года 4 тому назадъ, я очень помогъ и такъ убѣдительно просилъ меня осмотрѣть его пріятеля, страдавшаго, по его мнѣнію тѣмъ-же, чѣмъ страдалъ онъ и самъ, что я нарушилъ свое рѣшеніе и согласился осмотрѣть больного, тѣмъ болѣе, что пріятель этотъ былъ никто иной, какъ самый лучшій и способный сынъ гр. Л. Н. Толстаго, уже начавшій пріобрѣтать нѣкоторую извѣстность первыми своими литературными произведеніями.

Черезъ нѣсколько дней послѣ того ко мнѣ явился и самъ больной; это былъ молодой 25 лѣтній человѣкъ, страшно исхудалый, блѣдно желтый и совершенно развинченный: онъ даже не могъ сидѣть на стулѣ и прежде всего попросилъ позволенія развалиться на диванѣ. Разсказъ его о болѣзни былъ неудовлетворителенъ, страдалъ большимъ субъективнымъ преувеличенiемъ и односторонностью и слишкомъ много отводилъ мѣста жалобамъ на лѣчившихъ его прежде врачей, такъ что безпрестанно приходилось останавливать потокъ этихъ жалобъ и приводить больнаго къ фактической передачѣ дѣла. И объективное изслѣдованіе его было очень затруднительно и обнаружило такую повышенную чувствительность, что больной ежился и стоналъ отъ всякаго удара молотка, отъ прикосновенія стетоскопа; всѣ эти затрудненія еще болѣе увеличились, когда надо было перейти на изслѣдованіе брюшной полости, мѣста главныхъ его страданій, выражавшихся въ атоніи толстыхъ кишекъ,—и тутъ на первый разъ надо было отказаться отъ сколько-нибудь обстоятельнаго и рѣшающаго заключенія, потому что больной не допускалъ сколько-нибудь глубокаго надавливанія на животъ. Пришлось отложить это до вторичнаго свиданія; результаты же перваго свиданія были таковы, что у меня сложилось убѣжденіе, что я имѣю дѣло съ неврастеникомъ, страдающимъ катарромъ кишекъ съ сильно нарушеннымъ питаніемъ, но есть ли при этомъ какія нибудь существенныя органическія измѣненія въ самыхъ кишкахъ и сопредѣльныхъ органахъ,—это подлежало рѣшать дальнѣйшимъ наблюденіямъ и позднѣйшимъ, болѣе глубокимъ, изслѣдованіямъ.

Такимъ образомъ я навязалъ себѣ на шею этого больного, потому что онъ, возчувствовавъ ко мнѣ большое довѣріе и ободренный словами, что поправленіе его возможно черезъ продолжительный срокъ, сталъ являться ко мнѣ аккуратно каждое воскресное утро и я не имѣлъ достаточно жестокосердія, чтобы прогнать его отъ себя. А

между тѣмъ лѣченіе его было очень нелегко, потому что сводилось исключительно на діэтетическія наружныя средства и словесныя убѣжденія и успокоиванія, потому что больной не хотѣлъ и слышать о внутреннихъ укрѣпляющихъ средствахъ, приписывая всю свою болѣзнь прежде употребленнымъ имъ внутреннимъ средствамъ. Видя, что особенно видимаго улучшенія я не могу добиться, я сталъ совѣтовать поѣздку на югъ Франціи, разсчитывая, съ одной стороны, удалить больного изъ семейной обстановки, которая баловала его своимъ уходомъ и поддерживала въ немъ увѣренность, что онъ дѣйствительно тяжелый больной, а, съ другой, думалось, что въ лучшихъ климатическихъ условіяхъ, гдѣ онъ будетъ пользоваться несравненно больше солнцемъ и вольнымъ воздухомъ, поправленіе пойдетъ быстрѣе, чѣмъ въ Москвѣ. Но и въ этомъ я встрѣтилъ энергичный отпоръ: больной предшествовавшую зиму провелъ въ Каннѣ и сохранилъ о ней впечатлѣніе такой томительной скуки и тоски по родной семьѣ, что повторить этого впечатлѣнія ни за что не хотѣлъ.

Онъ передалъ наши препирательства семьѣ, и вскорѣ ко мнѣ явилась сначала старшая сестра (очень симпатичная дѣвушка), а вслѣдъ затѣмъ мать, чтобы узнать, на сколько неизбѣжна для больного эта поѣздка, но когда онѣ обѣ мнѣ разсказали, до чего доходила его тоска въ Каннѣ и что, если уже такъ необходима эта поѣздка, то они должны будутъ предпринять ее всей своей семьей т. е. тащить и старика графа и тѣхъ сыновей, которые находятся въ учебныхъ заведеніяхъ,—то у меня не хватило духу настаивать на такомъ колоссальномъ remue menag'ѣ и притомъ когда успѣхъ отъ поѣздки для больнаго такъ проблематиченъ — и я сказалъ, что, пожалуй, пусть больной остается зимовать въ Москвѣ, хотя я не ручаюсь, чтобы эта зимовка не вызвала у него остраго малокровія, исходъ котораго будетъ болѣе чѣмъ сомнительный. Премѣнить это рѣшеніе меня побудило и то, что изъ

словъ матери видно было, что больной сильно преувеличивалъ въ моихъ глазахъ свое состоянiе, что онъ и ѣстъ гораздо больше, чѣмъ я думалъ, и что онъ вовсе не такъ слабъ, какъ описывалъ мнѣ; вообще преувеличенiй оказалось неожиданно много. И такъ рѣшено было остаться, да и былъ уже ноябрь, когда переѣздъ черезъ всю Европу съ остановками въ сырыхъ, холодныхъ отеляхъ дѣлался очень непрiятнымъ и отчасти рискованнымъ; самого графа Л. Н. Толстаго не было въ Москвѣ и его вскорѣ поджидали изъ деревни.

Такъ стояли дѣла, когда 13 ноября вечеромъ, въ то время какъ мы съ дѣтьми сидѣли за 4 часовымъ чаемъ, кто-то позвонилъ и горничная объявила, что меня спрашиваетъ гр. Толстой; я вышелъ въ переднюю и увидѣлъ передъ собою невысокаго, плотнаго господина съ большой бородой, сильно начинавшей сѣдѣть, который очень скромно спросилъ меня: «могу я съ вами поговорить нѣсколько минутъ»? Я попросилъ его къ себѣ въ кабинетъ, куда поспѣшилъ впередъ, чтобы зажечь свѣчи, и онъ вошелъ вслѣдъ за мной.

Мы еще разъ пожали другъ другу руки, причемъ я сказалъ ему: а мы вѣдь съ вами не впервые видимся, графъ?—„Какже!—отвѣчалъ онъ,—я очень хорошо помню, что видѣлся съ вами лѣтъ 15 тому назадъ—у моей кузины Александры Александровны Толстой; меня тогда поразило въ васъ, что вы носили двойныя очки, чего я отроду не видывалъ; она такъ любила Боткина и васъ, и иначе не называла, какъ mes chers Botkine и Бѣлоголовый. А теперь плоха старушка“!—Гдѣ же она и что съ ней?—„Ее выслали въ Ментону на зиму: у ней что-то завязалось въ легкихъ и, говорятъ, едва-ли выживетъ“.

Мы, между тѣмъ, усѣлись другъ противъ друга и я съ великимъ любопытствомъ оглядѣлъ моего посѣтителя, котораго видѣлъ разъ мелькомъ, лѣтъ 15 назадъ; тогда онъ былъ только знаменитымъ романистомъ, а послѣ того прiобрѣлъ громкую и всемiрную славу великаго мыслителя,

хотя считаю не лишнимъ прибавить, что лично я продолжалъ преклоняться больше передъ романистомъ, чѣмъ передъ философомъ, взгляды и труды котораго носили въ моихъ глазахъ печать самодѣльнаго и мало обоснованнаго диллетантизма, трогательнаго по своей искренности, но мало убѣдительнаго. Передо мной сидѣлъ коренастый, бодрый старикъ характернаго типа великорусскаго мужика съ очень смуглымъ, загорѣлымъ цвѣтомъ лица, съ крупными неправильными чертами, съ большимъ некрасивымъ носомъ и съ большимъ выпуклымъ лбомъ,—и это лицо,въ сущности не имѣвшее права быть названнымъ красивымъ, освѣщалось такими глазами, или, вѣрнѣе, выраженіемъ глазъ, которые дѣлали его привлекательнѣе красиваго; взглядъ ихъ былъ глубокій и выражалъ большую нравственную и умственную силу, лежавшую внутри этого человѣка, который невольно притягивалъ къ себѣ. Одѣтъ онъ былъ въ короткую, темную блузу перетянутую поясомъ.

Разговоръ тотчасъ же начался съ состоянія здоровья сына; началъ онъ словами: „Я сказалъ ему, что отправляюсь къ вамъ и спросилъ, не надо ли мнѣ что нибудь передать о немъ, и онъ поручилъ сказать, что перемѣнъ никакихъ нѣтъ и все идетъ по прежнему“.—Я въ простомъ видѣ пересказалъ, какъ я вначалѣ, въ виду крайняго истощенія больного, подозрѣвалъ, нѣтъ ли скрытаго процесса органическаго въ брюшной полости, предполагая бугорчатку брыжечныхъ железъ, но теперь свожу все на неврастенію, что, конечно, и это сама по себѣ болѣзнь тяжелая, но что я все таки не теряю надежды, что больной поправится и что, главнѣйшимъ образомъ, основываю свою надежду на отсутствіи всякой наслѣдственности въ ихъ семьѣ.—„Тутъ меня Толстой перебилъ словами: „а я, знаете, никакой наслѣдственности не вѣрю. Вотъ я еще на дняхъ читалъ процессъ, разбиравшійся въ одномъ судѣ по дѣлу убійства, на которомъ подсудимый все свое оправданіе построилъ на своей невмѣня-

мости въ силу наслѣдственности, потому что и отецъ его былъ привлекаемъ къ суду за покушеніе къ убійству; помилуйте, что же это такое? Гдѣ же тутъ границы между истинными преступленіями и невмѣняемыми"? — На это я отвѣчалъ, что мы, врачи, ежедневно можемъ убѣждаться въ роковыхъ значеніяхъ наслѣдственности и, какъ самое бьющее въ глаза доказательство, представилъ сифилисъ, какъ неизбѣжно сифилисъ родителей передается дѣтямъ часто въ разныхъ маскированныхъ формахъ вырожденій, изученіе которыхъ очень подвинулось впередъ за послѣднее время и которое для насъ несомнѣнно. Толстой очень внимательно выслушалъ меня, но ничего не возразилъ, какъ мнѣ показалось потому, что вопросъ ему съ этой стороны до сихъ поръ ни разу не представлялся.—А что теперь, добавилъ я, съ наслѣдственностью явилось преувеличеніе, въ этомъ я совершенно согласенъ съ вами и вы, пожалуйста, не подумайте, что я раздѣляю взгляды Ломброзо и его школы на преступность; это уже крайность въ противоположную сторону. „Да,—добавилъ онъ,—этотъ взглядъ къ счастью провалился совсѣмъ, когда серьезная критика занялась имъ вплотную. Что же касается до моего сына, я очень радъ, что вы никакихъ серьезныхъ поврежденій въ его органахъ не находите; я, сколько ни присматриваюсь, самъ думаю, что тутъ главную роль играютъ нервы, просто вслѣдствіе избалованности жизнью: ничего бы этого не было, если бы онъ воспитывался не въ богатомъ домѣ, знакомъ былъ рано съ нуждой, жилъ бѣднымъ студентомъ, втроемъ въ одной комнатѣ, долженъ былъ каждый день утромъ бѣгать въ булочную за булкой для себя. Я вотъ все пристаю къ нему съ гимнастикой и думаю, что если бы онъ началъ ежедневно заниматься ею, это его укрѣпило бы. Что вы на это скажете?"—Сомнѣваюсь, чтобы одной гимнастики было достаточно,— какъ подспорье съ другими средствами и она была бы необходима. А что вы ею достигнете одной

въ такомъ случаѣ, гдѣ на первомъ планѣ стоитъ такой упадокъ духа и такое отсутствіе воли, какъ у вашего сына, да еще предоставивши ее ему самому въ руки? Гимнастика должна быть руководима тоже опытнымъ врачемъ, варьируя и приспособляясь къ индивидуальности больного; а если предоставить послѣднему самому хозяйничать и распоряжаться ею, то сегодня онъ ее сдѣлаетъ, завтра — нѣтъ; сегодня ему покажется, что онъ бодрѣе и онъ займется ею больше и легко переутомитъ свои слабыя мышцы, а потому завтра почувствуетъ большую общую усталость, — и въ концѣ концовъ его возьметъ отвращеніе къ этому въ сущности отличному средству. Вотъ, вы видите, какую ненависть чувствуетъ, онъ къ французскимъ врачамъ за то, что они лѣчили его желѣзомъ и приписываетъ всю свою болѣзнь имъ, а повѣрьте, и по моему мнѣнію, нѣкоторые препараты желѣза и въ умѣренныхъ дозахъ, были бы и теперь для него прекраснымъ средствомъ, но уговорить его на такія лѣкарства при его предубѣжденіи рѣшительно невозможно. Нѣтъ, тутъ надо не то; я уже говорилъ вашей женѣ, съ какой пользой примѣняется въ такихъ случахъ такъ называемая Contraint-Systême, когда больной помѣщается въ хорошую лѣчебницу и, такъ сказать, дрессируется въ строжайшей дисциплинѣ, гдѣ мѣсто этого характернаго безволія замѣняетъ строгая воля врача; гдѣ каждый день въ назначенный часъ является къ нему то баде-мейстеръ, то гимнастъ и продѣлываетъ то, что предписано врачомъ, гдѣ ѣда строго регулирована и гдѣ главное больной знаетъ, что за всякое нарушеніе предписаній врача онъ будетъ немедленно удаленъ изъ лѣчебницы.

— „Да, — перебилъ графъ, — это я васъ понимаю, это въ родѣ того, что и мнѣ иногда представлялось: взять его съ собой на тройкѣ, завести далеко и вывалить въ снѣгъ и самому уѣхать; выбирайся — дескать, голубчикъ, какъ самъ знаешь. Ну, а какъ и такой же-

стокій пріемъ не поможетъ?“ — И я не вполнѣ увѣренъ въ томъ, а потому и не смѣю настаивать на томъ, ибо польза отъ Contraint-Systême также вѣроятная, а не абсолютная, не дважды два—четыре, и надо лучше знать индивидуальность вашего сына, чѣмъ знаю ее я, чтобы рискнуть ее примѣнить въ данномъ случаѣ. Я вотъ стоялъ вначалѣ на зимовкѣ его на югѣ Франціи, разсчитывая на солнце и на большую возможность укрѣпляться внѣшнимъ воздухомъ и тепломъ, а теперь, когда узналъ, что для этого должна передвинуться съ нимъ и вся ваша семья, то крайне сомнѣваюсь, чтобы отъ этого переселенія больного на югъ съ сохраненіемъ всей его здѣшней обстановки, и привычекъ и капризовъ, можно было поднять его упавшій духъ и поправить его состояніе. А такъ какъ и вы находите въ немъ небольшую перемѣну къ лучшему, и мнѣ кажется, что и цвѣтъ лица у него лучше и состояніе кишекъ болѣе дѣятельное, то попробуемъ оставить его здѣсь; постарайтесь занять его умъ, пусть пишетъ, компилируетъ; я только не совѣтовалъ ему продолжать тотъ родъ беллетристической литературы, которому онъ до сихъ поръ отдавался; я нарочно просмотрѣлъ нѣкоторые изъ его разсказовъ и вижу, что все это плоды фантазіи нездоровой, съ охотой останавливающейся на такихъ картинахъ, анализъ которыхъ будетъ только поддерживать въ возбужденіи его воображеніе. — „Да, онъ мнѣ все это говорилъ,— отвѣчалъ Толстой,— и я съ вами совершенно согласенъ; вижу, что онъ теперь чѣмъ-то занятъ и каждый день диктуетъ какую-то свою работу, но что именно — не знаю и распрашивать его нахожу неудобнымъ.

На этомъ дѣловая часть нашего разговора была кончена и Толстой поднялся со стула, но снова присѣлъ съ вопросомъ; «а что же съ вами такое? говорятъ, вы всегда дома?» — Я коротко объяснилъ ему, что у меня аневризма подколѣнной артеріи, о которой я совсѣмъ

забываю, когда сижу смирно, а какъ начну ходить, то получаю и боли въ ногѣ и трудность двигаться. — «Что же вы дѣлаете дома? много читаете?»—Я сказалъ, что и читать много не могу, вслѣдствіе мозговаго утомленія, пріобрѣтеннаго мною неумѣренной работою уже лѣтъ 15 назадъ; вначалѣ меня это очень сокрушало, а теперь привыкъ къ бездѣлью и мирюсь съ нимъ, тѣмъ болѣе, что уже перешагнулъ за 60 лѣтъ.— «Ну вотъ; а я такъ на себѣ убѣдился, что никогда такъ ясно и такъ легко не работалъ мой мозгъ, какъ въ этотъ періодъ моей жизни, т.-е. между 60 и 70 годами».—Я согласился, что это такъ и быть должно въ совершенно здоровомъ организмѣ; недаромъ на Западѣ Европы называютъ 70 лѣтній возрастъ la seconde jeunesse d'un homme et surtout d'un homme politique. — „Но вы все же слѣдите за успѣхами вашей науки?“ еще спросилъ онъ и, получивъ утвердительный отвѣтъ, продолжалъ: «мнѣ очень хотѣлось бы знать ваше мнѣніе относительно этого новаго открытія противодифтеритнаго лѣченія, о которомъ такъ много пишутъ теперь? признаете ли вы его дѣйствительность?“ — Могу ли я не признавать, отвѣчалъ я, — когда въ подтвержденіе его приводятся такія краснорѣчивыя цыфры, но, какъ всякое открытіе громадной важности, оно требуетъ дальнѣйшаго и многолѣтняго изученія и наблюденія, — должно пройти черезъ разнообразнѣйшія видоизмѣненія прежде, чѣмъ сдѣлается непререкаемо цѣлебнымъ средствомъ. Вспомните, какъ еще недавно всѣ увлекались Коховскимъ туберкулиномъ, а теперь о немъ и не говорятъ; между тѣмъ, я увѣренъ, что и Коховское открытіе не меньшей важности, чѣмъ и это новое, а вся бѣда его та, что оно слишкомъ рано, прежде достаточнаго его изученія, вышло изъ лабораторій для примѣненія на практикѣ. Все это — и Коховскій туберкулинъ, и противодифтеритное лѣченіе Беринга и Ру и разныя цѣлебныя прививки животныхъ ядовъ—все это дѣтища громаднаго открытія Пастера и

его блистательнаго лѣченія водобоязни. — „Развѣ ужъ его лѣченіе водобоязни такъ оправдало себя? мнѣ кажется, это еще спорно,—сказалъ Толстой,—я, признаюсь, пока вѣрю только успѣху его лѣченія сибирской язвы“. — Ну, нѣтъ, и статистика прямо показываетъ, что смертность отъ водобоязни сильно понизилась, и оказывается безрезультатной только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ примѣняется слишкомъ поздно. Да, вѣдь, и оспа, наконецъ, не всегда же служитъ безусловно предохранительнымъ средствомъ, и при ней еще встрѣчаются довольно смертоносныя эпидеміи, хотя онѣ не могутъ идти и въ сравненіе съ прежними, бывшими до введенія оспопрививанія! — „Но и оспопрививаніе еще имѣетъ множество противниковъ,—возразилъ Толстой,—я сужу потому, что продолжаю получать часто письма, доказывающія вредныя слѣдствія оспопрививанія, а ужъ особенно многіе возстаютъ противъ вивисекціи“. — Отрицаніе оспопрививанія доказываетъ только, какъ трудно самой фактической истинѣ пробиться къ свѣту и быть признанной; чего же доказательнѣе цыфръ смертности отъ оспы между людьми съ привитой и не привитой оспою? Конечно, и у оспопрививанія есть свои темныя стороны, и оно не стоитъ на той точкѣ, какъ тогда, когда было открыто, а продолжаетъ изучаться и совершенствоваться; такъ, еще недавно прививку брали съ руки одного младенца и переносили на другаго, причемъ нерѣдко съ оспой переносилась какая-нибудь зараза, циркулирующая въ крови, съ перваго — на втораго совершенно здороваго, напр. тотъ же сифилисъ; теперь эта опасность устранена прививкой телячьяго детрита; позднѣйшему времени принадлежитъ также наблюденіе, что прививка оспы предохраняетъ только на извѣстное число лѣтъ; постарались по возможности точно опредѣлить сроки предохранительной силы и такимъ образомъ выработалось повторное оспопрививаніе. Никакое научное открытіе не выходитъ во всеоружіи изъ головы

его творца и подлежитъ долгой переработкѣ и усовершенствованію въ примѣненіи къ жизни; въ этой постоянной и вѣчной работѣ и лежитъ задача науки и въ то же время ея величайшая заслуга передъ человѣчествомъ. Вотъ почему и надъ дифтеритной сывороткой надо устойчиво и много лѣтъ поработать ученымъ врачамъ, чтобы достичь возможно совершеннаго ея примѣненія, а вначалѣ разочарованій ждетъ немало. Вотъ въ исторіи оспопрививанія мнѣ довелось лично и не дальше какъ 4 года назадъ пережить слѣдующій эпизодъ: лѣтъ 15 назадъ въ Швейцаріи возбужденъ былъ вопросъ о томъ, дѣлать ли оспопрививаніе обязательнымъ или нѣтъ, и, подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія и печати, рѣшено было предоставить его рѣшить каждому кантону въ своихъ предѣлахъ путемъ народнаго голосованія. Значительное большинство кантоновъ высказалось за обязательность, но 3 или 4, точно не помню, большинствомъ голосовъ отклонило эту мѣру,—и въ томъ числѣ одинъ изъ крупныхъ по числу народонаселенія, именно Бернскій. Помнится, въ 1890 г. зимой я случайно попалъ въ Бернъ какъ разъ въ то время, когда въ немъ свирѣпствовала эпидемія оспы. Начать съ того, что въ сосѣдніе кантоны, гдѣ совершалась прививка, эпидемія не распространялась, хотя не отрицаю возможности, что и въ нихъ проскальзывали отдѣльныя и легкія заболѣванія; въ Бернѣ же она буквально свирѣпствовала и уносила много жертвъ всѣхъ возрастовъ, и среди администраціи и населенія царила такая паника, какая, вѣроятно, часто повторялась въ Европѣ прошлаго столѣтія до введенія оспопрививанія и которая со введеніемъ его едва ли гдѣ-нибудь теперь можетъ случаться. Чтобы бороться съ распространеніемъ эпидеміи, у врачей и администраціи оставалось одно средство — изоляція, и они вынуждены были практиковать его широко; оспенные больные, взрослые и дѣти, забирались съ ихъ квартиры въ госпитальныя оспенныя отдѣленія,

куда доступъ къ нимъ близкихъ былъ абсолютно воспрещенъ, — и я слышалъ о многихъ случаяхъ смерти дѣтей, напримѣръ, когда родители получали уже по смерти ихъ извѣщеніе о томъ и даже, придя на похороны, не могли въ послѣдній разъ взглянуть на свое дѣтище, потому что гроба были заколочены тщательно, все во избѣжаніе заразы. Естественно, что населеніе, переживъ на опытѣ такое бѣдствіе, немедленно потребовало введенія снова оспопрививанія. Такой примѣръ, между прочимъ, служитъ доказательствомъ, какъ неосторожно допускать народъ къ рѣшенію такихъ спеціальныхъ вопросовъ, какъ медицинскіе.—„Это вѣрно",— сказалъ въ заключеніе моихъ словъ Толстой; „вѣдь мы профаны и совершенно незнакомы съ цыфрами вашей статистики".

Онъ простился и провожая его, я успѣлъ ему все-таки высказать свое сожалѣніе, что онъ прекратилъ писать беллетристическія произведенія и получилъ отъ него неожиданный мной отвѣтъ: „что прикажете дѣлать? рѣшительно не имѣю на то времени, а то бы и самъ съ величайшимъ наслажденіемъ принялся за такую работу, потому что она для меня служитъ величайшимъ наслажденіемъ".—Такимъ образомъ, и этотъ величайшій беллетристъ нашего времени вынужденно отказался отъ прямого своего назначенія и перешелъ отъ творчества къ разрѣшенію практическихъ вопросовъ и всякихъ неустройствъ нашей жизни, — и онъ въ этомъ созналъ свой гражданскій долгъ, какъ до него это сознали Глѣбъ Успенскій и Короленко. Конечно, такое отрѣшеніе крупныхъ талантовъ отъ своей художественной дѣятельности и переходъ ихъ на роли, такъ сказать, рядовыхъ работниковъ общественной мысли уже потому не можетъ подлежать осужденію, что такая перемѣна фронта есть дѣло личной ихъ совѣсти и вызвана въ нихъ въ высшей степени благородными побужденіями. Но чтобы Россія выиграла сколько-нибудь оттого, что гр. Толстой и Глѣбъ

Успенскій перешли на публицистическія и философскія темы и предоставили въ художественномъ творчествѣ занять теперь мѣсто нынѣшнимъ протоколистамъ, въ этомъ позволительно усомниться; Короленко еще не высказался рѣшительно и стоитъ пока на распутьи. Къ пользѣ же философіи Толстаго можно даже относиться не только скептически, но и враждебно, потому что его проповѣдь христіанскаго аскетизма, его отрицаніе науки и т. п. внесло только много сумбура въ молодые умы и имѣло скорѣе вредныя послѣдствія. Какъ я ни былъ предубѣжденъ противъ него за это, однако свиданіе мое съ нимъ произвело на меня глубокое впечатлѣніе, потому-то я его и записалъ.

Изъ этой записи видно, что говорилъ больше я, но я говорилъ только потому, что чувствовалъ, что передо мной былъ человѣкъ большого ума, чрезвычайно искренній,—и меня, въ защитѣ достоинства науки, невольно подмывало желаніе вызвать его на объясненіе болѣе детальное своихъ взглядовъ, потому что многое высказанное мною должно было идти въ разрѣзъ съ ними. Но онъ перчатки не поднялъ, внимательно меня выслушалъ, но не возразилъ.

Читальня-библіотека имени А. И. Герцена въ Ниццѣ

Н. А. Бѣлоголовый († 1895 г.).

Могила Н. А. Бѣлоголоваго, въ Покровскомъ монастырѣ въ Москвѣ.

Тип. К. Ѳ. Александрова.

2007079434